

Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Д.Н.
МАМИН
СИБИРЯК

9

Annotation

Мамин-Сибиряк – подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности – мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк – один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

В девятый том вошли: роман «Хлеб», очерки из цикла «Разбойники» и рассказы 1901–1907 гг. («Ийи», «Ответа не будет» и «Мумма»)

<https://ruslit-traumlibrary.net>

- [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк](#)

- [Хлеб*](#)

- [Часть первая](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)

- [Часть вторая](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)

- [Часть третья](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)

- [Часть четвертая](#)

- [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)

- [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [Часть пятая](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [Эпилог](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [Разбойники*](#)
 - [Аверко](#)
 - [Савка](#)
 - [Последние клейма](#)
 - [Разбойник и преступник](#)
 - [Рассказы 1902–1907](#)
 - [Ийи](#)
 - [Ответа не будет*](#)
 - [Мумма*](#)
 - [Комментарии](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
-

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Собрание сочинений в десяти томах
Том 9. Хлеб. Разбойники. Рассказы

Хлеб*

Часть первая

I

– А ты откедова взялся-то, дедко?

– А божий я...

– Божий, обшит кожей?.. Знаем мы вашего брата, таких-то божьих... Говори уж прямо: бродяга?

– Случалось... От сумы да от тюрьмы не отказывайся, миленький. Из-под Нерчинска улег, с рудников.

– Так-то вот ладнее будет... Каторжный, значит?

– Как есть каторжный: ни днем, ни ночью покоя не знаю.

– Ну, мы тебя упокоим... К начальству предоставим, а там на высидку определят пока што.

Толпа мужиков обступила старика и с удивлением его рассматривала. Да и было чему подивиться. Сгорбленный, худенький, он постоянно улыбался, моргал глазами и отвечал зараз на все вопросы. И одет был тоже как-то несообразно: длинная из синей пестрядины рубаха спускалась ниже колен, а под ней как есть ничего. На ногах были надеты шерстяные бабьи чулки и сибирские коты. Поверх рубахи пониток, а на голове валеная крестьянская белая шляпа. За плечами у старика болталась небольшая котомка. В одной руке он держал берестяной бурачок, а в другой длинную черемуховую палку. Одним словом, необычный человек.

– Бурачок-то у тебя зачем, дедко?

– Бурачок?.. А это хитрая штука. Секрет... Он, бурачок-то, меня из неволи выкупил.

– Он и то с бурачком-то ворожил в курье, – вступился молодой парень с рябым лицом. – Мы, значит, косили, а с угору и видно, как по осокам он ходит... Этак из-под руки приглянет на реку, а потом присядет и в бурачок себе опять глядит. Ну, мы его и взяли, потому... не прост человек. А в бурачке у него вода...

– Ты чего, дедко, на нашу-то реку обзарился?

– А больно хороша река, вот и глядел... ах, хороша!.. Другой такой, пожалуй, и не найти... Сердце радуется.

Старик оглянул мужиков своими моргавшими глазками, улыбнулся и прибавил:

– Я старичок, у меня бурачок, а кто меня слушает – дурачок... Хи-хи!.. Ну-ка, отгадайте загадку: сам гол, а рубашка за пазухой. Всею деревней не угадать... Ах, дурачки, дурачки!.. Поймали птицу, а как зовут – и не знаете. Оно и выходит, что птица не к рукам...

– Да што с ним разговоры-то разговаривать! – загалдело несколько голосов разом. – Сяди его в темную, а там Флегонт Василич все разберет... Не совсем умом-то старичонко...

– Больно занятный! – вмешались другие голоса. – На словах-то, как гусь на воде... А блажененьким он прикидывается, старый хрен!

Описываемая сцена происходила на улице, у крыльца суслонского волостного правления. Летний вечер был на исходе, и возвращавшийся с покосов народ не останавливался около волости: наработавшиеся за день рады были месту. Старика окружили только те мужики, которые привели его с покоса, да несколько других, страдавших неизлечимым любопытством. Село было громадное, дворов в пятьсот, как все сибирские села, но в страду оно безлюдно.

– Отпустить его, чего взять со старика? – заметил кто-то в толпе. – Много ли он и наживет? Еле душа держится...

– Не пушайте, дурачки! – засмеялся старик. – Обеими руками держитесь за меня... А отпустите – больше и не увидите.

– Нет, надо Флегонта Василича обождать, робя!.. Уж как он вырешит это самое дело, а пока мы его Вахрушке сдадим.

Волостной сторож Вахрушка сидел все время на крыльчке, слушал галденье мужиков и равнодушно посасывал коротенькую солдатскую трубочку-носогрейку. Когда состоялось решение посадить неизвестного человека в темную, он молча поднялся, молча взял старика за ворот и молча повел его на крыльцо. Это был вообще мрачный человек, делавший дело с обиженным видом. В момент, когда расщелявшаяся дверь волостного правления готова была проглотить свою жертву, послышался грохот колес и к волости подкатили длинные дроги. Мужики сняли свои шапки. На дрогах, на подстилке из свежего сена, сидели все важные лица: впереди всех сам волостной писарь Флегонт Васильевич Замараев, плечистый и рябой мужчина в плисовых шароварах, шелковой канаусовой рубашке и мягкой серой поярковой шляпе; рядом с ним, как сморчок, прижался суслонский поп Макар, худенький, загорелый и длинноносый, а позади всех мельник Ермилыч, рослый и пухлый мужик с белобрысым ленивым лицом. Писарь только взглянул на стоявшего на крыльце старика с котомкой и сразу понял, в чем дело.

– Бродягу поймали? – коротко спросил он.

– Был такой грех, Флегонт Василич... В том роде, как утенок попался: ребята с покоса привели. Главная причина – не прост человек. Мало ли бродяжек в лето-то пройдет по Ключевой; все они на один покррой, а этот какой-то мудреный и нас всех дурачками зовет...

– Ну-ка, ты, умник, подойди сюда! – приказал писарь.

Старик подошел к дрогам и пристально посмотрел на сидевшую знать своими моргавшими глазками.

– Умник, а порядка не знаешь! – крикнул писарь, шибая кнутовищем с головы старика шляпу. – С кем ты разговариваешь-то, варнак?

– Пока ни с кем... – дерзко ответил старик. – Да моей пестрядине с твоим плисом и разговаривать-то не рука.

– Што за человек? Как звать? – грянул писарь.

– Прежде Михеем звали...

– А фамилия как?

– Человек божий...

– Непомнящий родства?

– Где же упомнить, миленький? Давненько ведь я родился...

– Да што с ним разговаривать-то! – лениво заметил мельник Ермилыч, позевывая. – Вели его в темную, Флегонт Василич, а завтра разберешь... Вот мы с отцом Макаром о чае соскучились. Мало ли бродяжек шляющихся по нашим местам...

– А какой ты веры будешь, старичок? – спросил о. Макар.

– Веры я христианской, батюшка.

– Православной?

– Около того.

– И видно, што православный. Не то тавро...

– Уж какое есть.

– Из ваших, – смиренно заметил о. Макар, обращаясь к мельнику Ермилычу.

– Имеет большую дерзость в ответах, а, между прочим, человек неизвестный.

– Да ну его к ляду! – лениво протянул мельник. – Охота вам с ним разговаривать... Чаю до смерти охота...

Писарь сделал Вахрушке выразительный знак, и неизвестный человек исчез в дверях волости. Мужики все время стояли без шапок, даже когда дроги исчезли, подняв облако пыли. Они постояли еще несколько времени, погалдели и разбрелись по домам, благо уже солнце закатилось и с реки потянуло сыростью. Кое-где в избах мелькали огоньки. С ревом и бляньем прошло стадо, возвращавшееся с поля. Трудовой крестьянский день кончался.

Темная находилась рядом со сторожкой, в которой жил Вахрушка. Это была низкая и душная каморка с соломой на полу. Когда Вахрушка толкнул в нее неизвестного бродягу, тот долго не мог оглядеться. Крошечное оконце, обрешеченное железом, почти не давало света. Старик сгрудил солому в уголок, снял свою котомку и расположился, как у себя дома.

– Вот бог и квартиру послал... – бормотал он, побряхтывая. – Что же, квартира отменная.

Вахрушка в это время запер входную дверь, закурил свою трубочку и улегся с ней на лавке у печки. Он рассчитывал, по обыкновению, сейчас же заснуть.

– Эй, служба, спишь? – послышался голос из темной.

– Сплю, а тебе какая печаль?

– Ты в солдатах служил?

– Случалось... А ты у меня поговори!..

Молчание. Вахрушка вздыхает. И куда эти бродяги только идут? В год-то их близко сотни в темной пересидит. Только настоящие бродяги приходят объявляться поздно осенью, когда ударят заморозки, а этот какой-то оглашенный. Лежит Вахрушка и думает, а старик в темной затянул:

– Се жених грядет во полночи и блажен раб, его же обрящет бдяща...

– Эй, будет тебе, выворотень! – крикнул Вахрушка. – Нашел время горло драть...

– Да я духовное, служба... А ты послушай: «И блажен раб, его же обрящет бдяща», а ты дрыхнешь. Это тебе раз... А второе: «Недостойн, его же обрящет унывающа»... Понимаешь?

– Вот навязался-то! – ворчал Вахрушка.

Опять молчание. Слышно, как по улице грузно покатила телега. Где-то далеко, точно под землей, лают неугомонные деревенские собаки.

– Ты не здешний? – спрашивает старик, укладываясь на соломе.

– А ты как знаешь?

– Да видно по обличью-то... Здесь все пшеничники живут, богатей, а у тебя скула не по богатому: может, и хлеб с хрустом ел да с мякиной.

– Я чердынский... Это верно. Убогие у нас места, земля холодная, неродимая. И дошлый же ты старичонко, как я погляжу на тебя!

– Дошлый, да про себя... А поп у вас богатый?

– Богатый поп... Коней одних у него с тридцать будет, больше сотни десятин запахивает. Опять хлеба у попа не в проворот: по три года хлеб в кладях лежит.

– А писарь?

– И писарь богатый... Не разберешь, кто кого богаче. Не житье им здесь, а масленица... Мужики богатые, а земля – шуба шубой. Этого и званья нет, штобы навоз вывозить на пашню: земля-матушка сама родит. Вот какие места здесь... Крестьяны государственные, наделы у них большие, – одним еловом, пшеничники. Рожь сеют только на продажу... Да тебе-то какая печаль? Вот привязался человек!

– А мельник у вас плут: на руку нечист.

– Да ты почем знаешь, что он мельник?

– А по сапогам вижу: бус^[1] на сапогах, значит мельник.

Вахрушка даже сел на своем конике, пораженный наблюдательностью неизвестного бродяги. Вот так старичонко задался: на два аршина под землей все видит. Вахрушка в конце концов рассердился:

– Да ты што допытываешь-то меня, окаянная твоя душа? Вот завтра тебе Флегонт Василич покажет... Он тебя произведет. Вишь, какой дошлый выискался!

– Страшен сон, да милостив бог, служба. Я тебе загадку загадаю: сидит баба на грядке, вся в заплатках, кто на нее взглянет, тот и заплачет. Ну-ка, угадай?

– Капуста.

– Ах, дурачок, дурачок, и этого не знаешь! Лук, дурашка... Ну, а теперь спи: утро вечера мудренее.

– Да ты што ругаешься-то в самом деле? – зарычал Вахрушка, вскакивая.

– Полюбил я тебя, как середя пятницу... Как увидал, так и полюбил. Сроду не видались, а увиделись – и сказать нечего. Понял?.. Хи-хи!.. А картошку любишь? Опять не понял, служба... Хи-хи!.. Спи, дурачок.

II

Утром писарь Замараев еще спал, когда пришел к нему волостной сторож Вахрушка.

– Гости у нас вечер засиделись, – объясняла ему стряпка. – Ну, выпили малость с отцом Макаром да с мельником. У них ведь компания до белого свету. Люты пить... Пельмени заказали рыбные, – ну, и компанились. Мельник Ермилыч с радостей и ночевать у нас остался.

Вахрушка был настроен необыкновенно мрачно. Он присел на порог и молча наблюдал, как стряпка возилась у топившейся печи. Время от времени он тяжело вздыхал, как загнанный коренник.

– Сказывают, вечер наши суслонские ребята бродяжку в курье поймали? – тараторила стряпуха, громыхая ухватами.

– А тебе какая забота? – озлился Вахрушка.

Молва говорила, что у Вахрушки с писарскою стряпкой Матреной дело нечисто. Главным доказательством служили те пироги, которые из писарской кухни попадали неведомыми никому путями в волостную сторожку. Впрочем, Матрена была вдова, хотя и в годках, а про вдову только ленивый не наплетет всякой всячины. Писарский пятистенный дом, окруженный крепкими хозяйственными постройками, был тем, что называется полною чашей. Недаром Флегонт Васильевич целых двадцать пять лет выслужил писарем в Суслоне. На всю округу славился суслонский писарь и вторую жену себе взял городскую, из Заполья, а запольские невесты по всему Уралу славятся – богачки и модницы. К своему богатству Замараев прибавил еще женино приданое и жил теперь в Суслоне князь князем.

– Ах, пес! – обругался неожиданно Вахрушка, вскакивая с порога. – Вот он к чему про картошку-то меня спрашивал, старый черт... Ну, и задался человек, нечего сказать!

Когда писарь, наконец, проснулся, Вахрушка вошел в горницу и, остановившись на пороге, заявил:

– Как хошь, Флегонт Василич, а я боюсь.

– Кого испугался-то? – удивился не прочухавшийся хорошенько после вчерашних пельменей писарь.

– А этого самого бродяги. В тоску меня вогнал своими словами. Я всю ночь, почитай, не спал. И все загадки загадывает. «А картошку, грит, любишь?» Уж я думал, думал, к чему это он молвил, едва догадался. Он это про бунт словечко закинул.

– Про картофельный бунт? – вскипел вдруг писарь. – Ах, мошенник! Да я его в три дуги согну!.. я...

– Колдун какой-то, я так полагаю.

– Ну, это пустяки! Я ему покажу... Ступай теперь в волость, а я приду, только вот чаю напьюсь.

– А ежели он што надо мной сделает, Флегонт Василич? Боюсь я его.

– Ступай, дурак!

Вахрушка почесал в затылке и почтительно выпятился в двери. Через минуту мимо окон мелькнула его вытянутая солдатская фигура.

Село Суслон, одно из богатейших зауральских сел, красиво разлеглось на высоком правом берегу реки Ключевой. Ряды изб, по сибирскому обычаю, выходили к реке не лицом,

а огородами, что имело хозяйственное значение: скотину поить ближе, а бабам за водой ходить. На самом берегу красовалась одна белая каменная церковь, лучшая во всей округе. От церкви открывался вид и на все село, и на красавицу реку, и на неоглядные поля, занявшие весь горизонт, и на соседние деревни, лепившиеся по обоим берегам Ключевой почти сплошь: Роньжа, Заево, Бакланиха. Вдали, вниз по течению Ключевой, грязным пятном засела на Жулановском плесе мельница-раструска Ермильча, а за ней свечой белела колокольня села Чуракова. Вверх по течению Ключевой владения суслонских мужиков от смежных деревень отделяла Шеинская курья, в которой поймали вчера мудреного бродягу. Повыше этой курьи река была точно сжата крутыми берегами, – это был Прорыв. Летом можно было залюбоваться окрестностями Суслона.

В сороковых годах Суслон сделался центром странного «картофельного бунта». Дело вышло из-за министерского указа об обязательном посеве картофеля. Запольский уезд населен исключительно государственными крестьянами, объяснившими обязательный посев картофеля как меру обращения в крепостную зависимость. Темная крестьянская масса всколыхнулась почти на расстоянии всего уезда, и волнение особенно сильно отразилось в Суслоне, где толпа мужиков поймала молодого еще тогда писаря Замараева и на веревке повела топить к Ключевой как главного виновника всей беды, потому что писаря и попы скрыли настоящий царский указ. В этот критический момент, когда смерть была на носу, писарь пустился на отчаянную штуку.

– Ведите меня в волость, я все покажу! – смело заявил он.

Когда тысячная толпа привела писаря в волость, он юркнул за свой стол, обложился книгами и еще смелее заявил:

– Ну-ка, возьмите меня через закон. Вот он, закон-то, весь тут.

Мужики совершенно растерялись, что им делать с увертливым писарем. Погалдели, поругались и начали осаживать к двери.

– Робята, пойдем домой! – послышался первый голос, и вся толпа отхлынула от волости, как морская волна.

Находчивость неизвестного писарька составила ему карьеру и своего рода имя. Так он и остался в Суслоне. Вот именно этот неприятный эпизод и напомнил ему Вахрушка свою картошкой.

Напившись на скорую руку чаю и опохмелившись с гостем рюмкой настойки на березовой почке, он отправился в волость. Ермильч пошел за ним.

– Надо его проучить, – советовал мельник, когда они подходили к волости.

У волости уже ждали писаря несколько мужиков и стояла запряженная крестьянская телега. Волостных дел в Суслоне было по горло. Писарь принимал всегда важный вид, когда подходил к волости, точно полководец на поле сражения. Мужиков он держал в ежовых рукавицах, и даже Ермильч проникался к нему невольным страхом, когда завертывал в волость по какому-нибудь делу. Когда писарь входил в волость, из темной донеслось старческое пение:

Тяжело душеньке с телом расставатися, Тяжелее душеньке во грехах оставатися.

– Вон он, идол, какую обедню развел, – жаловался Вахрушка.

Писарь Замараев занял с приличною важностью свое место за волостным столом, а мельник Ермильч поместился в качестве публики на обсиженной скамеечке у печки. Ермильч, как бывший крестьянин, сохранял ко всякой власти подобострастное уважение и участенно вздыхал, любуясь властными приемами дружка писаря.

– Ну-ка, приведи сюда эту ворону! – лениво сказал Замараев, для пущей важности перелистывая книгу входящих бумаг.

Вахрушка молодецкато подтянулся и сделал налево кругом. Тайнственный бродяга появился во всем своем великолепии, в длинной рубахе, с котомочкой за плечами, с бурачком в одной руке и палкой в другой.

Писарь сделал вид, что не замечает его, продолжая перелистывать журнал, а потом быстро поднял глаза и довольно сурово спросил:

– Бродяга? Непомнящий родства? Так... А прозвище?

– Колобок, – смело ответил старик, с улыбочкой поглядывая на мельника.

– Божий человек, значит.

– Слыхали, – протянул писарь. – Много вас, таких-то божьих людей, каждое лето по Ключевой идет. Достаточно известны. Ну, а дальше што можешь объяснить? Паспорт есть?

– По сусекам метен, по закромам скребен, – вот тебе и весь паспорт.

Писарь ударил кулаком по столу и закричал:

– Ты петли-то не выметывай, ворона желторотая! Говори толком, когда спрашивают!

– Не кричи ты на меня, пужлив я... Ох, напужал!

Бродяга скорчил такую рожу, что Ермилыч невольно фыркнул и сейчас же испугался, закрыв пасть ладонью. Писарь сурово скосил на него глаза и как-то вдруг зарычал, так что отдельных слов нельзя было разобрать. Это был настоящий поток привычной стереотипной ругани.

– Да я тебя заморю! сгною! изотру в порошок!.. Да я... я... я...

Ермилыч даже закрыл глаза, когда задыхавшийся под напором бешенства писарь ударил кулаком по столу. Бродяга тоже съежился и только мигал своими красными веками. Писарь выскочил из-за стола, подбежал к нему, погрозил кулаком, но не ударил, а израсходовал вспыхнувшую энергию на окно, которое распахнул с треском, так что жалобно зазвенели стекла. Сохранял невозмутимое спокойствие один Вахрушка, привыкший к настоящему обращению всякого начальства.

– Ну, что ты молчишь, а? – ревел писарь, усаживаясь на место и приготовляя бумагу, чтобы записать дерзкого бродягу. – Откуда ползешь?

– Все мы из одних местов. Я от бабки ушел, я от дедки ушел и от тебя, писарь, уйду, – спокойно ответил бродяга, переминаясь с ноги на ногу.

– Ах, ты... да я... я...

Писарь только хотел выскочить из-за стола, но бродяга его предупредил и одним прыжком точно нырнул в раскрытое окно, только мелькнули голые ноги.

– Держи его, подлеца! Лови! – орал Замараев, подбегая к окну.

Сидевшие на крыльце мужики видели, как из окна волости шлепнулся бродяга на землю, быстро поднялся на ноги и, размахивая своею палкой, быстро побежал по самой середине улицы дробною, мелкою рысцой, точно заяц.

– Держи его! Лови! – кричал Замараев, выставляясь из окна. – Эй вы, челдоны, чего вы смотрите?

Какой-то белобрысый парень «пал» на телегу и быстро погнался за бродягой, который уже был далеко. На ходу бродяга оглядывался и, заметив погоню, прибавил ходу.

– Ловко щекотит, – заметил какой-то голос из толпы. – Ай да бродяга, настоящий скороход!

Бродяга действительно оказал удивительную легкость на ногу и своим дробным шагом летел впереди догонявшей его телеги. Крестьянская лошаденка, лохматая и пузатая, с трудом поспевала за ним, делая отчаянные усилия догнать. Белобрысый парень неистово лупил ее вожжами и что-то такое орал. Кое-где из окон деревенских изб показывались бабьи головы в платках, игравшие на улице ребятишки сторонились, а старичок все бежал, размахивая своею палочкой. Так он добежал до последних худеньких избенок и заметно сбавил шаг. Телега стала его догонять. Попались какие-то мужики, которые пробовали заградить дорогу беглецу, но старичок прошел мимо них невредимо и еще обругал:

– Эх, дурачки, куда вам ловить Колобка!

За селением он опять прибавил шаг. У поскотины,^[2] где стояли ворота, показались встречные мужики, ехавшие в Суслон. Белобрысый парень неистово закричал им:

– Держи варнака! Держи!

Бродяга на мгновение остановился, смерил глазами расстояние и тихую рысцой, как травленный волк, побежал в сторону реки. Телега осталась на дороге, а за ним теперь погнался

какой-то рыжий мужик на захомутанной рыжей лошади. Он был без шапки и отчаянно болтал локтями. Бродяга опять остановился, потому что рыжий мужик летел к нему наперерез, а потом усиленно рысью побежал к недалекой поскотине. Здесь рыжий мужик чуть-чуть его не догнал, но бродяга одним прыжком перескочил через изгородь и остановился. Теперь он был в полной безопасности, потому что дальше начинался тощий лесок, спускавшийся к реке.

– Эй, дурачки, кланяйтесь своему писарю! – крикнул варнак бежавшим к нему мужикам и, не торопясь, скрылся в лесу.

Погоня сбилась в одну кучку у поскотины. Мужики ошалелыми глазами глядели друг на друга.

– Вот так старичонко! В том роде, как виноходец.^[3] Так и стелет, так и стелет.

– Оборотень какой-то, надо полагать.

Подъехавший на телеге белобрысый парень и рыжий мужик на рыжей лошади служили теперь общим посмешищем и поэтому усиленно ругались.

– Ужо вот задаст вам Флегонт-то Василич!

III

Часов десять утра. Широкий двор, утрамбованный желтым песком, походит на гуменный ток. На него с одной стороны глядит большими окнами двухэтажный нештукатуренный каменный дом с террасой, а с другой – расположился плотный ряд хозяйственных пристроек: амбары, конюшни, каретники, сеновалы. Вся постройка крепкая, хозяйственная, как умеют строить только купцы. В углу у деревянной конуры дремлет киргизский желтый волкодав. В середине двора стоят два кучера и держат под уздцы горбоносого и вислозадного киргиза-иноходца, который шарашится, храпит, поводит поротыми ушами и выворачивает белки глаз.

– Эй вы, челдоны, держите крепче! – визгливо кричит с террасы седой толстый старик в шелковом халате.

– Да черт его удержит, Храпуна, – отвечает старший кучер Никита, степенный мужик с окладистой бородой. – Задавить его, вот и весь разговор.

Другой кучер, башкир Ахметка, скуластый молодой парень с лоснящимся жирным лицом, молча смотрит на лошадь, точно впился в нее своими черными глазами.

– Дайте ей поводок! – кричит старик с террасы.

Кучера отпускают повод, и лошадь делает отчаянный курбет, поднимая Ахметку на воздух. Никита крепко держит волосяной чумбур, откинув назад свой корпус.

– Тпру!.. Черт кыргызской!

– Держите крепче! – кричит старик, размахивая руками. – Ах, галманы!

Лошадь делает отчаянную попытку освободиться от своих мучителей, бьет задними ногами, дрожит и раздувает ноздри.

– Тпру, анафема!

Старик в халате точно скатывается с террасы по внутренней лесенке и кубарем вылетает на двор. Подобрал полы халата, он заходит сзади лошади и начинает на нее махать руками.

– Спусти чумбур, Никита... Дай поводок... Сперва на корде прогоним. Ахметка, свиное ухо, ты чего глаза-то вытаращил?

Калитка отворяется, и во двор въезжает верхом на вороной высокой лошади молодой человек в черкеске, папахе и с серебряным большим кинжалом на поясе. Великолепная вороная лошадь-степняк, покачиваясь на тонких сухих ногах, грациозно подходит на середину двора и останавливается. Молодой человек с опухшим красным лицом и мутными глазами сонно смотрит на старика в халате.

– Лиодорка, откуда черт принес? – крикливо спрашивает старик, прищуривая свои желтые глазки.

– Где был, там ничего не осталось, – хрипло отвечает молодой человек и по пути вытягивает нагайкой Ахмета по спине.

– Ай-яйй! – взвизгивает башкир, хватаясь за спину. – ан, бачка!..

– Разве так лошадей выводят? – кричит молодой человек, спешиваясь и выхватывая у Ахметки повод. – Родитель, ты ее сзаду пугай... Да не бойся. Ахметка, а ты чего стоишь?

Все четверо начинают гонять пугливого иноходца на корде, но он постоянно срывает и затягивает повод. Кончается это представление тем, что иноходец останавливается, храпит и затягивает шею до того, что из ноздрей показывается кровь.

– Бей его!.. Валяй! – визжит старик, привскакивая на месте.

Никита откинулся всем корпусом назад, удерживая натянувшийся, как струна, волосяной чумбур, а Лиодор и Ахметка жарят ошалевшую лошадь в два кнута.

– Ой, батюшки, до смерти забьют! – вскрикивает в кухне толстая стряпка Аграфена, высовываясь из окна.

Кухня в подвале, и ей приходится налегать своим жирным телом на тощего старичка странника, который уже давно лежит на подоконнике и наблюдает, что делается во дворе.

– Тетка, этак и задавить можно живого человека! – ворчит странник, напрасно стараясь высвободить свое тощее старое тело из-под навалившегося на него бабьего жира.

– Ох ты, некошной! – ругается стряпка. – Шел бы, миленький, свою дорогой... Поел, отдохнул, надо и честь знать.

Стряпка Аграфена ужасно любит лошадей и страшно мучается, когда на дворе начинают тиранить какую-нибудь новопкупку, как сейчас. Главное, воротился Лиодор на грех: забьет он виноходца, когда расстервенится. Не одну лошадь уходил, безголовый.

Странник слез с окна, поправил длинную синюю рубашу, надел котомку, взял в руки берестяной бурачок и длинную палку и певуче проговорил:

– Спасибо, Аграфенушка, за хлеб, за соль...

Это был тот самый бродяга, который убежал из суслонского волостного правления. Нахлобучив свою валеную шляпу на самые глаза, он вышел на двор. На террасе в это время показались три разодетых барышни. Они что-то кричали старику в халате, взвизгивали и прятались одна за другую, точно взбесившаяся лошадь могла прыгнуть к ним на террасу.

– Папенька!.. Папенька, не бейте лошадку!

– Лиодор, иди сюда, завтрак готов!

Бродяга внимательно посмотрел на визжавших барышень и подошел к Лиодору.

– Дай-ка мне повод-то, хозяин, – заговорил он, протягивая руку.

Лиодор оглянулся и, презрительно смерив бродягу с ног до головы, толкнул его локтем.

– Дай, тебе говорят!

У Лиодора мелькнула мысль: пусть Храпун утешит старичонку. Он молча передал ему повод и сделал знак Никите выпустить чумбур. Все разом бросились в стороны. Посреди двора остались лошадь и бродяга. Старик отпустил повод, смело подошел к лошади, потрепал ее по шее, растянул душивший ее чумбур, еще раз потрепал и спокойно пошел вперед, а лошадь покорно пошла за ним, точно за настоящим хозяином. Подведя успокоенного Храпуна к террасе, бродяга проговорил:

– Вот как учат лошадей, сударыни-барышни!

Барышни весело рассмеялись и забили в ладоши, а бродяга отвел лошадь под навес и привязал к столбу.

– Да ты откуда взялся-то, ярыга-мученик? – визгливо спрашивал старик в халате, подступая к бродяге. – Сейчас видно зазнамого конокрада.

– Стоило бы што воровать, Харитон Артемич. Аль не узнал!

– Где всех прощелыг визнаешь.

– Ну, так я уж сам скажусь: про Михея Зотыча Колобова слышал? Видно, он самый... В гости пришел, а ты меня прощельгой да конокрадом навеличиваешь. Полтора ста верст пешком шел.

– Вот так фунт! – ахнул Харитон Артемьич, не вполне доверяя словам странного человека. – Слыхивал я про твои чудеса, Михей Зотыч, а все-таки оно тово...

– Ладно... Мне с тобой надо о деле поговорить.

– Пойдем в горницы... Ну, удивил!.. Еще как Лиодорка тебе шею не накостилял: прост он у меня на этикие дела.

– Кормильца вырастил, – ядовито заметил Колобов, поглядывая на снявшего папаху Лиодорку. – Вон какой нарядный: у шутов хлеб отбивает.

– Ох, и не говори!.. Один он у меня, как смертный грех. Один, да дурак, хуже этого не придумаешь.

– Один сын – не сын, два сына – полсына, а три сына – сын... Так старинные люди сказывали, Харитон Артемьич. Зато вот у тебя три дочери.

– Наградил господь... Ох, наградил! – как-то застонал Харитон Артемьич, запахивая халат. – Как их ни считай, все три девки выходят... Давай поменяемся: у тебя три сына, а у меня три дочери, – ухо на ухо сменяем, да Лиодорку прикину впридачу.

Теперь все с удивлением оглядывали странного гостя: кучера, стряпка, Лиодор, девицы с террасы. Всех удивляло, куда это тятенька ведет этого бродягу.

– Как он сказался по фамилии-то? – спрашивал Лиодор кучера.

– Коробов али Колобов, – не разобрал хорошенько.

– Вот так фунт! – удивился в свою очередь Лиодор. – Это, значит, родитель женихов-то, которые наезжали на той неделе... Богатеющий старичонко!

Стряпка Аграфена услышала это открытие и стрелой ринулась наверх, чтобы предупредить «самое» и девиц. Она едва могла перевести дух, когда ворвалась на террасу, где собрались девицы.

– Барышни... родные... Ведь этот странник-то... странник-то... – бормотала она, делая отчаянные жесты.

– Да вон он с тятенькой у крыльца остановился... Сестрицы, тятенька сюда его ведет!

– Барышни... ох, задохлась! Да ведь это женихов отец... Два брата-то наезжали на той неделе, так ихний родитель. Сам себя обозначил.

Все девицы взвизгнули и стайкой унеслись в горницы, а толстуха Аграфена заковыляла за ними. «Сама» после утреннего чая прилегла отдохнуть в гостиной и долго не могла ничего понять, когда к ней влетели дочери всем выводком. Когда-то красивая женщина, сейчас Анфуса Гавриловна представляла собой типичную купчиху, совсем заплывшую жиром. Она сидела в ситцевом «холодае» и смотрела испуганными глазами то на дочерей, то на стряпку Аграфену, перебивавших друг друга.

– Женихов отец, мамынька, приехал... Колобов старик.

– Не приехал, а пешком пришел. С палочкой идет по улице, я сама видела, а за плечами котомка.

– Дайте мне словечушко вымолвить, – хрипела Аграфена, делая умоляющие жесты. – Красавицы вы мои, дайте...

– Молчите вы, девицы! – окликнула дочерей «сама». – А ты говори, Аграфена, да поскорее.

– Ох, задохлась!.. Стряпаю я это даве утром у печки, оглянулась, а он и сидит на лавочке... Уж отколь он взялся, не могу сказать, точно вот из земли вырос. Я его за странного человека приняла... Ну, лепешки у нас к чаю были, – я ему лепешку подала. Ей-богу!.. Прикушал и спасибо сказал. Потом Никита с Ахметкой вертелись в куфне и с ним што-то болтали, а уж мне не до них было. Ну, потом кучера ушли виноходца нового выводить, а он в куфне остался. Подсел к окошечку и глядит на двор, как виноходец артачится... Я еще чуть

не задавила его: он в окошке-то, значит, прилег на подоконник, а я забыла о нем, да тоже хотела поглядеть на двор-то, да на него и навалилась всем туловом.

– Ах, батюшки! – застонала Анфуса Гавриловна, хватаясь за голову. – Да ведь ты, Аграфенушка, без ножа всех зарезала... Навалилась, говоришь?... Ах, грех какой!..

– Мамынька, зачем же он в куфню забрался? – заметила старшая дочь Серафима. – Ты только посмотри на него, каков он из себя-то. На улице встретишь – копеечку подашь.

– В том роде, как бродяга али странник, – объясняла Аграфена в свое оправдание. – Рубаха на нем изгребная, синяя, на ногах коты... Кабы знатье, так разве бы я стала его лепешкой кормить али наваливаться?

– Ну, ну, ладно! – оборвала ее Анфуса Гавриловна. – Девицы, вы приоденьтесь к обеду-то. Не то шток уж совсем на отличку, а как порядок требует. Ты, Харитинушка, барежево платье одень, а ты, Серафимушка, шелковое, канаусовое, которое тебе отец из Ирбитской ярманки привез... Ох, Аграфена, сняла ты с меня голову!.. Ну, надо ли было дурише наваливаться на такого человека, а?... Растерзать тебя мало...

Младшие девицы, Агния и Харитина, особенно не тревожились, потому что все дело было в старшей Серафиме: ее черед выходить замуж. Всех красивее и бойчее была Харитина, любимица отца; средняя, Агния, была толстая и белая, вся в мать, а старшая, Серафима, вступила уже в годы, да и лицо у нее было попорчено веснушками. Глядя на дочерей, Анфуса Гавриловна ругала про себя хитрого старичонка гостя: не застань он их врасплох, не показала бы она Харитины, а бери из любых Серафиму или Агнию. Уж не первому жениху Харитина заперла дорогу, а выдавать младшую раньше старших не приходится.

IV

– Я тебе наперво домишко свой покажу, Михей Зотыч, – говорил старик Малыгин не без самодовольства, когда они по узкой лесенке поднимались на террасу. – В прошлом году только отстроился. Раньше-то некогда было. Семью на ноги поднимал, а меня господь-таки благословил: целый огород девок. Трех с рук сбыл, а трое сидят еще на гряде.

– Ваши-то запольские невесты на слуху, – поддакивал гость. – Богатые да щеголихи. Далеко слава-то прошла. По другим местам девки сидят да завидуют запольским невестам.

– Уж это што говорить: извелись на модах вконец!.. Матери-то в сарафанах еще ходят, а дочкам фигли-мигли подавай... Одно разоренье с ними. Тяжеленько с дочерьми, Михей Зотыч, а с зятьями-то вдвое... Меня-таки прямо наказал господь. Неудачлив я на зятьев.

Гость ничего не отвечал, а только поджал свои тонкие губы и прищурился, причем его сморщенное обветренное лицо получило неприятное выражение. Ему не поправился разговор о зятях своею бестактностью. Когда они очутились на террасе, хозяин с видимым удовольствием оглянул свой двор и все хозяйственные пристройки.

– Хорош дворик, – вслух полюбовался гость. – А што в амбарах-то держишь?

– А разное, Михай Зотыч: и семя льняное, и кудельку, и масло.

– Вот это ты напрасно, Харитон Артемьич. Все такой припас, што хуже пороху. Грешным делом, огонек пыхнет, так костер костром, – к слову говорю, а не беду накликаю.

– Покедова бог хранил. У нас у всех так заведено. Да и дом каменный, устоит. Да ты, Михей Зотыч, сними хоть котомку-то. Вот сюда ее и положим, вместе с бурачком и палочкой.

Гость охотно исполнил это желание и накрыл свои пожитки шляпой. В своей синей рубахе, понитке и котях он походил не то на богомольца, не то на бродягу, и хозяин еще раз пожал плечами, оглядывая его с ног до головы. Юродивый какой-то.

– Што, на меня любиешься? – пошутил Колобов, оправляя пониток. – Уж каков есть: весь тут. Привык по-домашнему ходить, да и дорожка выпала не близкая. Всю Ключевую, почитай, пешком прошел. Верст с двести будет... Так оно по-модному-то и неспособно.

– Шутки шутишь, Михей Зотыч, – усомнился хозяин. – Какая тебе нужда пешком-то было идти столько места?

– А привык я. Все пешком больше хожу: которое место пешком пройдешь, так оно памятливей. В Суслоне чуть было не загостился у твоего зятя, у писаря... Хороший мужик.

Одно имя суслонского писаря заставило хозяина даже подпрыгнуть на месте. Хороший мужик суслонский писарь? Да это прямой разбойник, только ему нож в руки дать... Живодер и христопродавец такой, каких белый свет не видывал. Харитон Артемьич раскраснелся, закашлялся и замахал своими запухшими красными руками.

– И как он обманул меня тогда дочерью-то, когда, значит, женился на Анне, ума не приложу! – упавшим голосом прибавил он, выпустив весь запас ругательств. – Дела тогда у меня повихнулись немножко, караван с салом затонул, ну, он и подсыпался, писарь. А дочь Анна была старшая и в годках, за ней целый мост их, девок, – ну, он и обманул. Прямой разбойник... Еще и сейчас с меня приданое свое справляет и даже судом грозил. Я бы ему на свои деньги веревку купил, только бы повесился... Вот какие у меня зятя! Да и низко мне с писарями родню-то разводить. Што такое писарь? Приехал становой: «А ну-ка, ты, такой-сякой...» И сейчас в скулу. А я в первой гильдии.

– Всякие и писаря бывают.

– Да стыдно мне, Михей Зотыч, и говорить-то о нем: всему роду-племени покор. Ты вот только помянул про него, а мне хуже ножа... У нас Анна-то и за дочь не считается и хуже чужой.

– Это уж напрасно, Харитон Артемьич. Горденек ты, как я погляжу. И птица перо в перо не родится, а где же зятьев набрать под одну шерсть?

Взглянув на двор, по которому ехал Лиодор верхом на своей лошади, старик подбежал к перилам и, свесившись, закричал:

– Ты это опять куды наклался-то, непутевая голова?... Который это день музыку-то разводишь? Я до тебя доберусь!.. Я тебе покажу!..

– К Булыгиным, – коротко ответил Лиодор, свешиваясь в седле по-татарски, на один бок.

– Ах, аспид! ах, погубитель! – застонал старик. – Видел, Михей Зотыч? Гибель моя, а не сын... Мы с Булыгиным на ножах, а он, слышь, к Булыгиным. Уж я его, головореза, три раза проклинал и на смирение посылал в степь, и своими руками терзал – ничего не берет. У других отцов сыновья – замена, а мне нож вострый. Сколько я денег за него переплатил!

– В годы войдет – образумится.

Харитон Артемьич спохватился, что сгоряча сболтнул лишнее, и торопливо повел мудреного гостя в горницы. Весь второй этаж был устроен на отличку: зал, гостиная, кабинет, столовая, спальня, – все по-богатому, как в первых купеческих домах. Стены везде были оклеены бархатными дорогими обоями, потолки лепные, мебель крыта шелком и трипом. Один только недостаток чувствовался в этой богатой обстановке: от нее веяло нежилым. Вся семья жалась в нижнем, этаже, в маленьких, низких комнатах, а парадный верх служил только для приемов. Летом еще девицы получали дозволение проходить на террасу.

– Одна мебель чего мне стоила, – хвастался старик, хлопая рукой по дивану. – Вот за эту орехову плачено триста рубликов... Кругленькую копеечку стоило обзаведенье, а нельзя супротив других ниже себя оказать. У нас в Заполье по-богатому все дома налажены, так оно и совестно свиньей быть.

Гость внимательно все осмотрел, поддакивая хозяину, а потом проговорил:

– Наладил ты себе, Харитон Артемьич, не дом, а пряменько сказать – трактир.

Это замечание поставило хозяина в тупик: обидеться или поворотить на шутку? Вспомнив про дочерей, он только замычал. Ответил бы Харитон Артемьич, – ох, как тепленько бы ответил! – да лиха беда, по рукам и ногам связан. Провел он дорогого гостя в столовую, где уже был накрыт стол, уставленный винами и закусками.

– Ну-ка, Михей Зотыч, огорчимся для первоначалу.

Гость пожевал сухими губами, прищурился и быстро ответил:

– Не принимаю я огорчения-то, Харитон Артемьич. И скусу не знаю в вине, какое оно такое есть. Не приводилось отведывать смолоду, а теперь уж года ушли учиться.

«Вот гостя господь послал: знакомому черту подарить, так назад отдаст, – подумал хозяин, ошеломленный таким неожиданным ответом. – Вот тебе и сват. Ни с которого краю к нему не подойдешь. То ли бы дело выпили, разговорились, – оно все само бы и наладилось, а

теперь разводи бобы всухую. Ну, и сват, как кривое полено: не уложишь ни в какую поленицу».

Пришлось «огорчиться» одному. Налил себе Харитон Артемьич самую большую рюмку, «протодьяконскую», хлопнул и, не закусывая, повторил.

– У нас между первой и второй не дышат, – объяснил он. – Это по-сибирски выходит. У нас все в Заполье не дураки выпить. Лишнее в другой раз переложим, а в компании нельзя. Вот я и стар, а компании не порчу... Все бросить собираюсь.

Дальше хозяин уже не знал, что ему и говорить. Но на выручку появилась Анфуса Гавриловна в своем новом тяжелом шелковом платье, стоявшем коробом, и в купеческой косынке-головке. Она степенно поклонилась гостю. За ней показались девицы. Они жеманно переглянулись, оглядев гостя с ног до головы. Все невесты на подбор: любую бери. Старшая имела скучающий вид, потому что ей уже надоела эта церемония «смотрины», да она плохо и рассчитывала на «судьбу», когда на глазах вертится Харитина. Анфуса Гавриловна с первого раза заметила, что отец успел «хлопнуть» прежде времени, а гость и не притронулся ни к чему.

– Ну-ка, как он теперь откажется, ежели хозяйка угощать будет? – заметил хозяин, глупо хихикнув. – Фуса, ну и гость: ни единой капли...

– Что же, не всем пить, – заметила политично хозяйка, подбирая губы оборочкой. – Честь честью, а неволить не можем.

– Это ты правильно, хозяйюшка, – весело ответил гость. – Необычен я, да и стар. В черном теле прожил всю жизнь, не до питья было.

Хозяин, воспользовавшись случаем, что при госте жена постеснится его оговорить, налил себе третью «протодьяконскую». Анфуса Гавриловна даже отвернулась, предчувствуя скандал. Старшая дочь Серафима нахмурила брови и вопросительно посмотрела на мать. В это время Аграфена внесла миску со щами.

– Садитесь, Михай Зотыч, – приглашала хозяйка. – Не обессудьте на угощении.

– Вот што, милая, – обратился гость к стряпке, – принеси-ка ты мне ломтик ржаного хлеба черствого да соли крупной, штобы с хрустом... У вас, Анфуса Гавриловна, соль на дворянскую руку: мелкая, а я привык по-крестьянски солить.

– Вот это я люблю! – поддержал его хозяин. – Я сам, брат, не люблю все эти трень-брень, а все бабы моду придумывают. Нет лучше закуски, как ржаная корочка с солью да еще с огурчиком.

Серафима была посажена напротив гостя, чтобы вся была на виду. На ней лежала сейчас нелегкая обязанность показать себя в лучшем виде, какой только полагается для девиц. Впрочем, она была опытной в подобных делах и нисколько не стеснялась, тем более что и будущий свекор ничего страшного не представлял своею особой. Мать взглянула на нее всего один раз, и Серафима отлично поняла этот взгляд: «Притворяется старичонко, держи ухо востро, Сима». Когда хозяйка налила гостю тарелку щей, он сделал смешное лицо и сказал еще смешнее:

– Матушка, а ведь я обожгусь серебряною-то ложкой. Мне бы деревянную.

Бойкая Харитина сразу сорвалась с места и опрометью бросилась в кухню за ложкой, – эта догадливость не по разуму дорого обошлась ей потом, когда обед кончился. Должна была подать ложку Серафима.

– Стрела, а не девка! – еще больше некстати похвалил ее захмелевший домовладыка. – Вот посмотри, Михай Зотыч, она и мне ложку деревянную приволокет: знает мой характер. Еще не успеешь подумать, а она уж сделала.

Харитина действительно вернулась с двумя ложками, сияющая своею раннею молодостью, веселая, улыбающаяся. Взглянув на мать, она поняла, какую глупость сделала, и раскраснелась еще сильнее – и стала еще красивее. Серафима ела выскочку глазами, и только одна Агния оставалась безучастной ко всему и внимательно рассматривала лысую голову мудреного гостя. Анфуса Гавриловна завела политичный разговор о погоде, о соборном протопопе, об ярмарке и т. д. Она несколько раз давала случай Серафиме вставить словечко, – не прежнее время, когда девки сидели, набравши воды в рот, как немые. Одним словом, Анфуса Гавриловна оказалась настоящим полководцем, хотя гость уже давно про себя

прикинул в уме всех трех сестер: младшая хоть и взяла и красотой и удалью, а еще невитое сено, икона и лопата из нее будет; средняя в самый раз, да только ленива, а растолстеет – рожать будет трудно; старшая, пожалуй, подходящее всех будет, хоть и жидковата из себя и модничает лишнее. Ну, в годы войдет и раздобреет, а главное, у ней в глазу огонек есть, – упрямо таково взглянет. По матери девицы издались, нечего напрасно хаять.

Хозяйку огорчало главным образом то, что гость почти ничего не ел, а только пробовал. Все свои ржаные корочки сосет да похваливает. Зато хозяин не терял времени и за жарким переехал на херес, – значит, все было кончено, и Анфуса Гавриловна перестала обращать на него внимание. Все равно не послушает после третьей рюмки и устроит штуку. Он и устроил, как только она успела подумать.

– Михей Зотыч, вот мои невесты: любую выбирай, – брякнул хозяин без обиняков. – Нет, врешь, Харитину не отдам! Самому дороже стоит!

– Харитон Артемьич, перестань ты непутевые речи говорить, только девиц конфузишь, – попробовала оговорить мужа Анфуса Гавриловна.

– Я?! Ты меня учить?..

Гость остановил хозяйский кулак, готовившийся ударить по столу.

– Полюбился ты мне с первого раза, Харитон Артемьич, – проговорил он ласково. – Душа нараспашку... Лишнее скажешь: слышим – не слышим. Вы не беспокойтесь, Анфуса Гавриловна. Дело житейское.

Вспыхнувшая пьяная энергия сразу сменилась слезливым настроением, и Харитон Артемьич принялся жаловаться на сына Лиодора, который от рук отбил и на него, отца, бросился как-то с ножом. Потом он повторил начатый еще давеча разговор о зятях.

– Первого зятя ты у меня видел, – говорил Харитон Артемьич, откладывая один палец. – Он у меня из счету вон, потому как нам низко с писарями родство разводить. Вторая дочь Татьяна вышла за Пашку Булыгина: с моим-то Лиодоркой два сапога пара. Тоже такой зятек, не обрадуешься... Как-то обещался своими руками меня задавить, ежели попадусь. Ну, дурак, а у дурака дурацкий и разговор... А третий зять у меня немец Штофф, – это как, по-твоему? Мы его полуштофом зовем, потому как ростом маленько не дошел... Евлампию дочь у меня этот самый полуштоф сманул, и мне никакого уважения. Хоть бы богатый был, а то шантрапа немец. Одно у него: крещеный по нашему православному закону. Вот какие все патреты вышли!.. Трех дочерей отдал замуж, а доведись – и пообедать ни у одного зятя не пообедаешь: у писаря мне низко обедать, Пашка Булыгин еще побьет, а немец мой сам глядит, где бы пообедать. А теперь вот этих трех надо замуж выдать. Тоже еще неизвестно, каких зятьев господь пошлет... Только вперед тебе скажу: Харитину не отдам. Ни-ни...

– Харитон Артемьич, будет тебе, – со слезами в голосе молила Анфуса Гавриловна. – Голову ты с дочерей снял.

– Не отдам Харитину! – кричал старик. – Нет, брат, шалишь!.. Самому дороже стоит!

– Дело божье, Харитон Артемьич, – политично ответил гость, собирая свои корочки в сторону. – А девицам не пристало слушать наши с тобой речи. Пожалуй, и лишнее скажем.

Девушки посмотрели на мать и все разом поднялись. Харитон Артемьич понял свою оплошку и только засопел носом, как давешний иноходец. К довершению скандала, он через пять минут заснул.

– Уж вы не обессудьте на нашем невежестве, – умоляюще проговорила Анфуса Гавриловна, поднимаясь.

– Что же, дело житейское, – наставительно ответил гость и вздохнул. – А кто осудит, тот и грех на себя примет, Анфуса Гавриловна.

– Ах, замаялась я, Михей Зотыч!..

– Главная причина: добрый человек, а от доброго человека и потерпеть можно. Слабенец Харитон Артемьич к винцу... Ах, житейское дело! Веселенько у вас поживают в Заполье, слыхивал я. А не осужу, никого не осужу... И ты напрасно огорчаешься, мать.

Это простое приветливое слово сразу ободрило Анфусу Гавриловну, и она посмотрела на гостя, как на своего домашнего человека, который сору из избы не вынесет. И так у него все просто, по-хорошему. Старик полюбился ей сразу.

На прощание Михай Зотыч потрепал хозяйшку по плечу и проговорил:

– Хороши твои девушки, хороши красные... Которую и брать, не знаю, а начинают с краю. Серафима Харитоновна, видно, богоданной дочкой будет... Галактиона-то моего видела? Любимый сын мне будет, хоша мы не ладим с ним... Ну, вот и быть за ним Серафиме. По рукам, сватья...

Анфуса Гавриловна расплакалась. Очень уж дело выходило большое, и как-то сразу все обернулось. Да и жаль Серафиму, точно она ее избывала.

V

Про Заполье далеко шла слава, как про город бойкий, богатый и оборотистый. Он залег в низовьях реки Ключевой, главной артерии благословенного Зауралья, – в самом горле, как говорили старожилы. Река была главной кормилицей. Другим важным обстоятельством было то, что Заполье занимало границу, отделявшую собственно Зауралье от начинавшейся за ним степи, или, как говорили мужики, «орды». В сущности настоящая степь была далеко, но это название сохранялось за тою смешанною полосою, где русская селитба мешалась с башкирской и казачьими землями. Весь бассейн Ключевой представлял собой настоящее золотое дно, потому что здесь осело крепкое хлебопашественное население, и благодатный зауральский чернозем давал баснословные урожаи, не нуждаясь в удобрении. С другой стороны, степь давала богатое степное сырье – сало, кожи, конский волос, гурты курдючных баранов и степных быков, косяки степных лошадей и целый ряд бухарских товаров. Бывший пограничный городок захватил в свои руки всю хлебную торговлю и все операции со степным сырьем. Условия были самые благоприятные. Скупленный в Зауралье хлеб доставлялся запольскими купцами на все уральские горные заводы и уходил далеко на север, на холодную Печору, а в засушливые годы сбывался в степь. Заполье пользовалось и степною засухой и дождливыми годами: когда выдавалось сырое лето, хлеб родился хорошо в степи, и этот дешевый ордынский хлеб запольские купцы сбывали в Зауралье и на север, в сухое лето хлеб родился хорошо в полосе, прилегавшей к Уральским горам, где влага задерживалась лесами, и запольские купцы везли его в степь, обменивая на степное сырье. Все шло на пользу начетистому запольскому купцу – и засуха и дождливые годы. Он получал свою выгоду и от дешевого и от дорогого хлеба, а больше всего от тех темных операций в безграмотной простоватой орде, благодаря которым составилось не одно крупное состояние.

Ко всему этому нужно прибавить еще одно благоприятное условие, именно, что ни Зауралье, населенное наполовину башкирами, наполовину государственными крестьянами, ни степь, ни казачьи земли совсем не знали крепостного права, и экономическая жизнь громадного края шла и развивалась вполне естественным путем, минуя всякую опеку и вмешательство. Поэтому и объявленная воля не произвела здесь никаких коренных изменений в общем укладе, а только получилась некоторая разница в названиях. Наш рассказ относится именно к этому периоду, к первой половине шестидесятых годов, когда Заполье находилось в зените своей славы, как главный хлебный рынок и посредник между степью и собственно Россией.

По внешнему виду Заполье ничего особенного из себя не представляло: маленький уездный городок с пятнадцатью тысячами жителей, и больше ничего. Купечество составляло здесь все, и в целом уезде не было ни одного дворянского имения. В Заполье из дворян проживало человек десять, не больше, да и те все были наперечет, начиная с знаменитого исправника Полуянова и кончая прибудным русским немцем Штоффом, явившимся неизвестно откуда и еще более неизвестно зачем. Остальные дворяне были тоже сомнительного свойства, больше из сибирских выходцев – семинаристы, дослужившиеся до Владимира, отставные казачьи офицеры и потомки каких-то мифических сибирских князев. Сообразно этому купеческому складу устроился и весь город. Купец сказывался во всем. Самым живым местом являлся старый гостинный двор, а затем Хлебная улица, усаженная крепкими купеческими хороминами, – два порядка этой улицы со своими каменными белыми домами походили на две гигантских челюсти, жевавших каменными зубами благосостояние Зауралья и прилегавшей к нему «орды». Все эти купеческие дома строились по одному плану: верх составлял парадную половину, пустовавшую от одних именин до других, а нижний этаж делился на две половины, из которых в одной помещался мучной лабаз, а в другой ютилась вся купеческая семья. Все богатое, именитое в Заполье сбилось именно на Хлебной улице и частью на Хлебном рынке, которым она заканчивалась, точно переходила в

громадный желудок. Совершенно отдельно стояли дома купцов-степняков, то есть торговавших степным сырьем, как Малыгин. Они большею частью проживали по своим салотопенным заимкам, приютившимся на реке Ключевой выше и ниже города. Река Ключевая должна была бы составлять главную красоту города, но этого не вышло, – городскую стройку отделяло от реки топкое болото в целую версту. Церквей было не особенно много – зеленый собор в честь сибирского святого Прокопия, память которого празднуется всею Сибирью 8 июля, затем еще три церкви, и только. Этим Заполье резко отличалось от коренных российских городов. Сибирь вообще не богомольна, а затем половина запольского купечества держалась старой веры или считалась единоверцами. Остальные улицы были заняты мещанскою стройкой и домами разночинцев. Все это были деревянные домики, в один этаж, с целым рядом служб. И мещанину и разночинцу жилось в Заполье хорошо, благо работы всем было по горло.

– Правильный город, – вслух думал старик Колобов, выходя на Хлебную улицу. – Нечего сказать, хороший город.

День уже склонялся к вечеру, и где-то звонили к вечерне. Летом Хлебная улица пустовала, и у лавок без дела слонялись только приказчики да подрушние. От безделья они с утра до вечера жарили в шашки или с хлыстами в руках гонялись за голубями, смело забиравшимися прямо в лавки, где в открытых сусеках ссыпаны были разные крупы, овес и горох. Народ был все рослый, краснорожий, как и следует быть запольским приказчиком. Старик Колобов остановился у одной лавки, где шла ожесточенная игра, сопровождавшаяся веселым ржаньем, прибаутками и тычками, посмотрел на молодцов и только покачал головой.

– Тебе что понадобилось, дедко?

– А вчерашний день потерял, миленькие...

– Проваливай в палевом, приходи в голубом...

Старик шел не торопясь. Он читал вывески, пока не нашел то, что ему нужно. На большом каменном доме он нашел громадную синюю вывеску, гласившую большими золотыми буквами: «Хлебная торговля Т. С. Луковникова». Это и было ему нужно. В лавке дремал благообразный старый приказчик. Подняв голову, когда вошел странник, он машинально взял из деревянной чашки на прилавке копеечку и, подавая, сказал:

– Прими, старичок.

– Спасибо, миленький... – отказался странник. – Мне бы Тараса Семеныча повидать.

– Тараса Семеныча? Ступай-ка своей дорогой... Ежели каждый полезет к Тарасу Семенычу, так ему и пообедать некогда будет.

– Может, он почивает?

– Нет, какой теперь сон, когда еще восьмой час на дворе?

– Ну, так я его подожду здесь. Доложи, што некоторый человек очень желает его видеть по некоторому делу.

– Да я тебе мальчик дался?

– Ты-то не мальчик, а послать можешь... Очень бы хотел его повидать.

Прочухавшийся приказчик еще раз смерил странного человека с ног до головы, что-то сообразил и крикнул подрушного. Откуда-то из-за мешков с мукой выскочил молодец, выслушал приказ и полетел с докладом к хозяину. Через минуту он вернулся и объявил, что сам придет сейчас. Действительно, послышались тяжелые шаги, и в лавку заднею дверью вошел высокий седой старик в котиковом картузе. Он посмотрел на странного человека через старинные серебряные очки и проговорил не торопясь:

– Это ты меня спрашивал?

– Видно, я... Аль не узнаешь, Тарас Семеныч?

Старик приподнял голову, еще раз внимательно рассмотрел мудреного человека и с прежним спокойствием проговорил:

– Пойдем в горницы, Михей Зотыч.

Михей Зотыч был один, и торговому дому Луковникова приходилось иметь с ним немалые дела, поэтому приказчик сразу вытянулся в струнку, точно по нему выстрелили. Молодец тоже был удивлен и во все глаза смотрел то на хозяина, то на приказчика. А хозяин шел, как ни в чем не бывало, обходя бунты мешков, а потом маленькою дверцей провел гостя к себе в низенькие горницы, устроенные по-старинному.

– Ну, здравствуй, дорогой гостенек, – поздоровался он, наконец. – Али на богомолье куда наклался?

– Нет, по-дорожному, Тарас Семеныч... Почитай всю Ключевую пешком прошел. Да вот и завернул тебя проведать...

– Так, так... Заходил ко мне Галактион-то, поклончик от тебя сказывал. Да... Невесту высматривать приехали у Малыгиных.

– Есть и такой грех, Тарас Семеныч. Житейское дело... Надо обженить Галактиона-то, пока не избаловался.

– Так, так.

Хозяин что-то хотел сказать, но только посмотрел на гостя своими темными близорукими глазами. Гость понял этот немой вопрос и ответил:

– Сам-то Харитон Артемьич не совсем, а кровь хорошая... Хорошая кровь, нечего хаять.

– Которую выбрал?

– А с краешку, значит, Серафиму. Малость жидковата, а такие-то живущее... Закинул я даве словечко с самой-то. Правильная женщина, обстоятельная...

– Еще бы, из старинного рода Анфуса-то Гавриловна. В свойстве мы с ней, хотя и небольшая родня.

Горницы у Тараса Семеныча были устроены по-старинному, низенькие, с небольшими оконцами, запиравшимися на ночь ставнями, с самодельными ковриками из старого тряпья, с кисейными занавесками, горками с посудой и самым простеньким письменным столом, приткнутым в гостиной. Были еще две маленьких комнаты, в одной из которых стояла кровать хозяина и несгораемый шкаф, а в другой жила дочь Устинька с старухой нянькой. Даже на неприхотливый взгляд Михея Зотыча горницы были малы для такого человека, как Тарас Семеныч.

– Ты ведь нынче в больших тысячах, – заговорил гость после длинной паузы. – Надо бы наверх перебраться.

– Ладно и здесь, Михей Зотыч. Как-то обжился, а там пусто, наверху-то. Вот, когда гости наберутся, так наверх зову.

– Другие-то вон как у вас поживают в Заполье. Недалеко ходить, взять хоть того же Харитона Артемьича. Одним словом, светленько живут.

– Другие и пусть живут по-другому, а нам и так ладно. Кому надо, так и моих маленьких горниц не обегают. Нет, ничего, хорошие люди не брезгают... Много у нас в Заполье этих других-то развелось. Модники... Смотреть-то на них тошно, Михей Зотыч. А все через баб... Испотачили бабешек, вот и мутят: подавай им все по-модному.

– Денежки у вас дикие, вот они петухами и поют.

– Есть и такой грех. Не пожалуемся на дела, нечего бога гневить. Взысканы через число... Только опять и то сказать, купца к купцу тоже не применишь. Старинного-то, кондового купечества немного осталось, а развелся теперь разный мусор. Взять вот хоть этих степняков, – все они с бору да с сосенки набрались. Один приказчиком был, хозяина обворовал и на воровские деньги в люди вышел.

– Это ты насчет Малыгина?

– Не один он такой-то... Другие в орде темным делом капитал приобрели, как Харитонка Булыгин. Известное дело, как там капиталы наживают. Недаром говорится: орда слепая. Какими деньгами рассчитываются в орде? Ордынец возьмет бумажку, посмотрит и просит дать другую, чтобы «тавро поятнее».

– Фальшивой работы бумажки?

– И своей фальшивой и привозные. Как-то наезжал ко мне по зиме один такой-то хахаль, предлагал купить по триста рублей тысячу. «У вас, говорит, уйдут в степь за настоящие»... Ну, я его, конечно, прогнал. Ступай, говорю, к степнякам, а мы этим самым товаром не торгуем... Есть, конечно, и из мучников всякие. А только деньги дело наживное: как пришли так и ушли. Чего же это мы с тобой в сухую-то тары-бары разводим? Пьешь чай-то?

– Ох, пью, миленький... И грешно, а пью. Великий соблазн, а пью... По нашей-то вере это даже вот как нехорошо.

– Пустяки это все... Чай – знак божий и создан он на потребу человеку. А потом, не сквернит человека входящее во уста, а исходящее из уст... Эй, Матрена!

В дверях показалась старуха няня, из-за которой выглядывала детская русая головка.

– Наставь-ка нам самоварчик, честная мать. Гость у меня... А ты, Устюша, иди сюда. Да не бойся, глупая.

Старик должен был сам подойти к девочке и вывел ее за руку. Устюше было всего восемь лет. Это была прехорошенькая девочка с русыми волосами, голубыми глазками и пухлым розовым ротиком. Простое ситцевое розовое платьице делало ее такою милою куклой. У Тараса Семеныча сразу изменился весь вид, когда он заговорил с дочерью, – и лицо сделалось такое доброе, и голос ласковый.

– Да ты не бойся, Устюша, – уговаривал он дичившуюся маленькую хозяйку. – Михай Зотыч, вот и моя хозяйка. Прошу любить да жаловать... Вот ты не дождался нас, а то мы бы как раз твоему Галактиону в самую пору. Любишь чужого дедушку, Устюша?

– Не-е-т, – недоверчиво протянула девочка. – Он беззубый.

– Ну, это пустяки: мы ему зубы молодые вставим.

– А я тебе гостинца привезу в другой раз, – пробовал задобрить гость упрямившуюся маленькую хозяйку. – Любишь пряники?

– Подымай выше, – засмеялся счастливый отец. – Нам пряники нипочем, а подавай фрукты.

– Набалуешь дочь, Тарас Семеныч.

– Пока мала, и пусть побалуется, а когда в разум войдет, мы и строгость покажем. Одна ведь она у меня, как перст... Только и свету в окне.

Колобов совсем отвык от маленьких детей и не знал, как ему разговаривать с Устюшей. Впрочем, девочка недолго оставалась у отца и убежала в кухню к няне.

– Вот рашу дочь, а у самого кошки на душе скребут, – заметил Тарас Семеныч, провожая глазами убегающую девочку. – Сам-то стар становлюсь, а с кем она жить-то будет?.. Вот нынче какой народ пошел: козырь на козыре. Конечно, капитал будет, а только деньгами зятя не купишь, и через золото большие слезы льются.

За самоваром старики разговорились. Михай Зотыч снял свою сермяжку и остался в одной синей рубахе.

– Ты это что добрых-то людей пугаешь? – еще раз удивился хозяин улыбаясь. – Бродяга не бродяга, а около этого.

– Да так нужно было, Тарас Семеныч... Ведь я не одну невесту для Галактиона смотреть пришел, а и себя не забыл. Тоже жениться хочу.

– Хорош жених!

– А то как же... И невесту уж высмотрел. Хорошая невеста, а женихов не было. Ну, вот я и пришел... На вашей Ключевой женюсь.

– Н-но-о?

– Верно тебе говорю... Заводы бросаю и всю семью вывожу на Ключевую. Всем работы хватит... И местечко приглядел, повыше Суслона, где малыгинский зять писарит. Ах, хорошо местечко!.. Ужо меленку поставлю.

– А свою бросаешь?

– Жаль, а приходится бросать. Тоже ведь на Ключевой стоит. Своя река-то... Ну, пока мы к заводам обязанные были, так оно некуда было деться, а теперь совсем другое. О сынах надо позаботиться... Дела там мало, в горах. Много ли там хлеба сеют, а здесь у вас приволье. Вот я всю Ключевую наскрость и прошел... Не река, а угодница. Два города стоят, три завода, а сколько фабрик, заимок, мельниц – и не пересчитаешь... Иду и дивлюсь. Верст с триста прошел, а все в виду селенья. Другой такой реки и в Расее с огнем не сыщешь. Ах, хороша речка!

– Большую мельницу-то думаешь строить?

– А уж это как бог приведет... Вот еще как мои-то помощники. Емельян-то, значит, большак, из воли не выходит, а на Галактиона как будто и не надеюсь. Мудреный он у меня.

– Знаю, знаю, что любимый сын... Сам виноват, что набаловал.

– Нет, не то... Особенный он, умственный. Всякое дело рассудит... А то упрется на чем, так точно на пень наехал.

– Постой, Михей Зотыч, а ведь ты неправильно говоришь: наклался ты сына середняка женить, а как же большак-то неженатый останется? Не порядок это.

Гость немного замаялся и только потом объяснил:

– Особенное тут дело выходит, Тарас Семеныч. Да... Не спросился Емельян-то, видно, родителя. Грех тут большой вышел... Там еще, на заводе, познакомился он с одною девицей... Ну, а она не нашей веры, и жениться ему нельзя, потому как или ему в православные идти, или ей в девках сидеть. Так это самое дело и затянулось: ни взад ни вперед.

– И хорошая девушка?

– Ему, значит, хороша, а я не видал.

Луковников был православный, хотя и дружил по торговым делам со староверами. Этот случай его возмутил, и он откровенно высказал свое мнение, именно, что ничего Емельяну не остается, как только принять православие.

– Ведь вот вы все такие, – карал он гостя. – Послушать, так все у вас как по-писаному, как следует быть... Ведь вот сидим вместе, пьем чай, разговариваем, а не съели друг друга. И дела раньше делали... Чего же Емельяну поперек дороги вставать? Православной-то уж ходу никуда нет... Ежели уж такое дело случилось, так надо по человечеству рассудить.

– И то я их жалею, про себя жалею. И Емельян-то уж в годах. Сам не маленький... Ну, вижу, помутился он, тоскует... Ну, я ему раз и говорю: «Емельян, когда я помру, делай, как хочешь. Я с тебя воли не снимаю». Так и сказал. А при себе не могу позволить.

Хозяин только развел руками. Вот тут и толкуй с упрямым старичонкой. Не угодно ли дожидаться, когда он умрет, а Емельяну уж под сорок. Скоро седой волос прошибет.

– Однако я у тебя закалякался, – объявил гость, поднимаясь. – Мне и спать пора... Я ведь, как воробей, поднимаюсь вместе с зарей.

– Да где ты остановился-то, Михей Зотыч?

– А сам еще не знаю где, миленький. Где бог приведет... На постоянный двор куда-нибудь заверну.

– Оставайся у меня. Место найдем.

– Место-то найдется, да я не люблю себя стеснять... А там я сам большой, сам маленький, и никому до меня дела нет.

– Ну, с тобой каши не сварить. Заходи как-нибудь.

Уходя от Тараса Семеныча, Колобов тяжело вздохнул. Говорили по душе, а главного-то он все-таки не сказал. Что болтать прежде времени? Он шел опять по Хлебной улице и думал о том, как здесь все переменится через несколько лет и что главной причиной перемены будет он, Михей Зотыч Колобов.

Старик Колобов зажился в Заполье. Он точно обыскивал весь город. Все-то ему нужно было видеть, со всеми поговорить, везде побывать. Сначала все дивились чудному старику, а потом привыкли. Город нравился Колобову, а еще больше нравилась река Ключевая. По утрам он почти каждый день уходил купаться, а потом садился на бережок и проводил целые часы в каком-то созерцательном настроении. Ах, хороша река, настоящая кормилица.

– А вы неладно с городом-то устроились, – говорил Колобов мучникам, жарившим в шашки у своих лавок. – Ох, неладно!

– А чем мы провинились, дедко?

– Да так... Грешным делом, огонек пыхнет, вы за водой, да в болоте и завязнете. Верно говорю... Не беду накликаю, а к примеру.

Все соглашались с ним, но никто не хотел ничего делать. Слава богу, отцы и деды жили, чего же им иначе? Конечно, подъезд к реке надо бы вымостить, это уж верно, – ну, да как-нибудь...

Колобов поджидал сыновей, уезжавших по делам на заводы. Они должны были вернуться давно, да что-то замешкались. Старику пришлось проболтаться в Заполье целых две недели, пока они вернулись. Приехали двое старших, Емельян и Галактион. Они одевались уже по-новому, в пиджаки и сюртуки, как следует быть новым людям. Емельяну уже было под сорок, и на макушке у него просвечивала порядочная лысина. Это был молчаливый человек, занятый какими-то своими мыслями. Много-много, если взглянет на кого, а то и так сойдет. Окладистая русая борода и строгие серые глаза придавали ему вообще довольно суровый вид. Галактион был моложе на целых пятнадцать лет. Это был высокий статный молодец с типичным русским лицом, только что опушенным небольшою бородкой. Ласковые темные глаза постоянно улыбались. У старика Колобова все надежды заключались в Галактионе, – очень уж умный паренек издался. За что ни возьмется, всякая работа горит в руках. Он и механик, и мельник, и бухгалтер, и все, что хочешь. Никакое дело от рук не отобьется.

– Высмотрел я место себе под мельницу, – объяснял старик сыновьям. – Всю Ключевую прошел – лучше не сыскать. Под Суслоном, где Прорыв.

– Что же, будем строиться, – согласился Галактион. – Мы проезжали мимо Суслона. Место подходящее... А только я бы лучше на устье Ключевой поставил мельницу.

– Далеконько отбилось устье-то, почитай в самой орде, – сказал старик, – а Суслон в самом горле... Кругом, как полная чаша.

Пораздумавшись, старик решил, что нужно съездить на устье Ключевой, до которого от Заполья не больше верст шестидесяти.

– Посмотрим, – бормотал он, поглядывая на Галактиона. – Только ведь в устье-то вода будет по весне долить. Сила не возьмет... Одна другую реки будут подпирать.

Емельян, по обыкновению, молчал, точно его кто на ключ запер. Ему было все равно: Суслон так Суслон, а хорошо и на устье. Вот Галактион другое, – у того что-то было на уме, хотя старик и не выпытывал прежде времени.

Поездка на устье Ключевой являлась одной прогулкой, – так было все хорошо кругом. Сначала старик не соглашался ехать на лошадях и непременно хотел идти пешком, но Галактион его уломал. Дорога шла правым степным берегом, где зеленым ковром расстились поемные луга, а за ним разлеглась уже степь, запаханная только наполовину. И селитьба здесь пошла редкая. Похаять места, конечно, нельзя, а все-таки не то, что под Суслоном. Быстрою сибирскою ездой шестьдесят верст сделали в пять часов: выехали пораньше утром, а к десяти часам были уже на месте.

– Вот это так место! – проговорил Галактион, когда дорожный коробок остановился на мысу.

Действительно, картина была замечательная. Глубокий Тобол шел по степи «в трубе», точно в нарочно прорытой канаве. Ключевая впадала с левой стороны, огибая отлогий мыс, известный под названием Городища, потому что на нем еще сохранились следы старых земляных валов и глубоких рвов. Место слияния двух рек образовало громадное плесо, в котором вода сейчас стояла, как зеркало. Михей Зотыч долго ходил по берегу, присматривая

открывавшуюся даль из-под руки. Он что-то бормотал себе под нос, крутил головой и, наконец, вырешил все дело:

– Какое же это место? Тут надо какую плотину – страшно вымолвить... Да и весной вода вон куда поднимается.

Он показал размывы берега, где черта водяного весеннего уровня была налицо.

– Тут надо каменную плотину налаживать, да и ту прорвет, – ворчал старик, тыкая своею черемуховою палкой в водоройны.

– А я бы так не ушел отсюда, – думал вслух Галактион, любуясь местом.

– Ведь что только можно здесь сделать, родитель!

– Ну-ка, што? – поддразнил старик.

– Пароходную пристань вот тут, а повыше буян для склада всяких товаров... Вот что!

– А пароходы где?

– За пароходом дело не встанет... По другим-то местам везде пароходы, а мы все гужом волокем. Отсюда во все стороны дорога: под Семипалатинск, в степь, на Обь к рыбным промыслам... Работы хватит.

Галактион даже закрыл глаза, рисуя себе заманчивую картину будущего пароходства. Михей Зотыч понял, куда гнул любимый сын, и нахмурился. Не о пустяках надо было сейчас думать, а у него вон что на уме: пароходы... Тоже придумает.

– Ну, уж ты сам езд на своих пароходах, – ворчал он, размахивая палкой, – а мы на берегу посидим.

– Одно другому не мешает, родитель.

– А вот и мешает! За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь... Надо выкинуть дурь-то из головы. Я вот покажу тебе такой пароход...

Повернувшись к Галактиону, старик неожиданно проговорил:

– Я тебе невесту высватал, дураку, а у тебя пароходы на уме. Благодарить будешь.

Галактион ничего не ответил отцу, а только опустил глаза. Он даже не спросил, кто невеста. Это последнее окончательно возмутило старика, и он накинудся на своего любимца с неожиданною яростью:

– Да ты што молчишь-то, пень березовый?.. Я для него убиваюсь, хлопочу, а он хоть бы словечко.

– Что же мне говорить? – замялся Галактион. – Из твоей воли я не выхожу. Не перечу... Ну, высватал, значит так тому делу и быть.

– А для кого я хлопотал-то, дерево ты стоеросовое?.. Ты что должен сделать, идол каменный? В ноги мне должен кланяться, потому как я тебе судьбу устраиваю. Ты вот считаешь себя умником, а для меня ты вроде дурака... Да. Ты бы хоть спросил, какая невеста-то?.. Ах, бесчувственный ты истукан!

– Знаю, какая-такая невеста, – уже спокойно ответил Галактион, поднимая глаза на отца. – Что же, девушка хорошая... Немножко в годках, ну, да это ничего.

– Ну, а еще-то што? Ну, договаривай.

– А еще то, родитель, что ту же бы девушку взять да самому, так оно, пожалуй, и лучше бы было. Это я так, к слову... А вообще Серафима Харитоновна девица вполне правильная.

– Вот как ты со мной разговариваешь, Галактион! Над родным отцом выкомуриваешь!.. Хорошо, я тогда с тобой иначе буду говорить.

Эта сцена более всего отозвалась на молчавшем Емельяне. Большак понимал, что это он виноват, что отец самовольно хочет женить Галактиона на немиллой, как делывалось в старину. Бойтся старик, чтобы Галактион не выкинул такую же штуку, как он, Емельян. Вот и торопится... Совестно стало большаку, что из-за него заедают чужой век. И что это накатилося на старика? А Галактион выдержал до конца и ничем не выдал своего настроения.

Упрямый старик сердился всю дорогу и все поглядывал на Галактиона, который не проронил ни слова. Подъезжая к Заполью, Михай Зотыч проговорил:

– Думал я, по осени сыграем свадьбу... По-хорошему, думал, все дельце пойдет. А теперь другое... Да. Через две недели теперь свадьба будет.

– А по мне все равно, – проворчал Галактион. – Хоть завтра.

– Ты у меня поговори, Галактион!.. Вот сынка бог послал!.. Я о нем же забочусь, а у него пароходы на уме. Вот тебе и пароход!.. Сам виноват, сам довел меня. Ох, согрешил я с вами: один умнее отца захотел быть и другой туда же... Нет, шабаш! Будет веревки-то из меня вить... Я и тебя, Емельян, женю по пути. За один раз терпеть-то от вас. Для кого я хлопочу-то, галманы вы этикие? Вот на старости лет в новое дело впутываюсь, петлю себе на шею надеваю, а вы...

Михай Зотыч ужасно волновался и несколько раз ссылался на покойную жену, которая еще не так бы поступила с послушниками отцовской воли.

– Она не посмотрела бы, что такие лбы выросли... Да!.. – выкрикивал старик, хотя сыновья и не думали спорить. – Ведь мы так же поженились, да прожили век не хуже других.

Братья нисколько не сомневались, что отец не будет шутить и сдержит свое слово. Не такой человек, чтобы болтать напрасно. Впрочем, Галактион ничем не обнаруживал своего волнения и относился к своей судьбе, как к делу самому обыкновенному.

Вообще вся колобовская семья была какая-то странная, что объясняется отчасти их генеалогией. Первым объявился на Урале дедушка Колобок; он был из сибирских беглых. Пробираясь из Сибири в Расею, он застрял на одном из горных уральских заводов, женился, да так и остался навсегда. Откуда он был родом и кто такой – никто не знал, даже единственный сын Михай Зотыч. Дед не любил говорить о своем прошлом. Известно было только одно, что он был «по старой вере». На заводах в то время очень нуждались в живой рабочей силе и охотно держали бродяг, скрывая их по рудникам и отдаленным куреням и приискам. Дед так и прожил «колобком» до самой смерти, а сын, Михай Зотыч, уже был приписан к заводским людям, наравне с другими детьми. Этому «заводскому сыну» пришлось пройти очень тяжелую школу, пока он выбился в люди, то есть достиг известной самостоятельности. Время было крепостное, суровое, а на заводах царили порядки доброго каторжного времени. Михай Зотыч проходил «механический цех», потом попал к паровым котлам, потом на медный рудник к штанговой машине, откачивавшей из шахты воду, потом к лесным поставкам, – одним словом, прошел сложный и тяжелый путь. Его спасли так называемые отрядные работы, которые сдавались своим же заводским рабочим с торгов. Тут впервые сказалась вся сметка и находчивость недавнего простого рабочего. Он быстро выдвинулся вперед и начал копить деньги. Так продолжалось лет десять. В это время Михай Зотыч успел жениться и обзавелся своим домком. Одно оставалось у него на душе – и при деньгах он оставался подневольным человеком, неся отцовское иго. Добиться воли, сбросив с себя отцовский плен, сделалось заветною мечтой настойчивого и предприимчивого человека. Но выкупиться богатому подрядчику из заводской неволи было немислимо: заводы не нуждались в деньгах, как помещики, а отпускать от себя богатого человека невыгодно, то есть богатого по своей крепостной заводской арифметике. Но тут спас Михея Зотыча счастливый случай. Нужно было соединить канал одну горную речку с заводским прудом. Русские инженеры, делавшие промеры, решили, что это невозможно. Их сменил какой-то французский инженер и подтвердил то же самое. Тогда Михай Зотыч «прошел линию» с своим бурачком с водой и заявил, что проведет канал, если ему дадут вольную. Работы по приблизительным сметам равнялись тридцати тысячам рублей. Счет шел на ассигнации, но эти крепостные ассигнации стоили дороже вольных серебряных рублей. Заводу управление согласилось, – вероятно, в виде курьеза, – и через три года работы канал был готов и самым блестящим образом оправдал все расчеты самоучки-инженера.

Получив вольную (действие происходило в сороковых годах), Михай Зотыч остался на заводах. Он арендовал у заводовладельца мельницу в верховьях Ключевой и зажил на ней совсем вольным человеком. Нужно было снова нажать капитал, чтобы выступить на другом поприще. И этот последний шаг Михай Зотыч делал сейчас.

Дело со свадьбой быстро пошло вперед. Двухнедельный срок, данный Михеем Зотычем, поднял малыгинский дом вверх дном. Анфуса Гавриловна просто сбилась с ног с своими бабьими хлопотами. Оказалось, как всегда бывает в таких случаях, что и того нет, и этого недостает, и третьего не хватает, а о четвертом и совсем позабыли. И в то же время нужно было сделать все по-настоящему, чтобы не осрамиться перед другими и не запретить ход оставшимся невестам. Чужие-то люди все заметят и зубы во рту у невесты пересчитают, и Анфуса Гавриловна готова была вылезти из кожи, чтобы не осрамить своей репутации. А тут еще наехали разные тетki, свояченицы и дальние родственницы, и каждая чем-нибудь расстраивала.

– Женишок, нечего хаять, хорош, а только капитал у них сумнительный, да и делить его придется промежду тремя братьями, – говорила тетка со стороны мужа. – На запольских-то невест всякий позарится, кому и не надо.

– Ну, капитал дело наживное, – спорила другая тетка, – не с деньгами жить... А вот характером-то ежели в тятеньку родимого женишок издастся, так уж оно не того... Михей-то Зотыч, сказывают, двух жен в гроб заколотил. Аспид настоящий, а не человек. Да еще сказывают, что у Галактиона-то Михеича уж была своя невеста на примете, любовным делом, ну, вот старик-то и торопит, чтобы огласки какой не вышло.

Анфуса Гавриловна все это слышала из пятого в десятое, но только отмахивалась обеими руками: она хорошо знала цену этим расстройным свадебным речам. Не одно хорошее дело рассыпалось вот из-за таких бабьих шепотов. Лично ей жених очень нравился, хотя она многого и не понимала в его поведении. А главное, очень уж пришелся он по душе невесте. Чего же еще надо? Серафимочка точно помолодела лет на пять и была совершенно счастлива.

– Высидела жениха, – шептали бедные родственницы, не могшие простить этого счастья и подыскивавшие что-нибудь неприятное. – Ну, да ему, голенькому, как раз по зубам невеста-перестарок.

Теперь весь верх малыгинского дома был занят женщинами, хлопотавшими около невестина приданого. Особенно хорошо было по вечерам, когда наезжали со всего Заполя подружки невесты и все комнаты наполнялись беззаботным девичьим смехом, молодыми голосами и старинными свадебными песнями. Сколько тут было хорошеньких девичьих лиц, блестящих молодостью глаз и того беспричинного веселья, которое приходит и уходит вместе с молодостью. Выворочены были из кладовых старинные сундуки с заготовленным уже раньше приданым, по столам везде разложены всевозможные новые материи, – одним словом, работа шла вовсю. Делалось все это, между прочим, и с тою целью, чтобы все видели, как Малыгины выдают дочь замуж. Из всех девушек веселилась, главным образом, Харитина, на которую теперь мать почему-то особенно ворчала и не давала прохода.

– И что ты хвостом-то повертываешь, бессовестная? – ворчала Анфуса Гавриловна. – Ты у меня смотри, я до тебя доберусь!

– Мамынька, да что вы в самом-то деле привязываетесь ко мне?

– Погоди, я тебе покажу, вертихвостка!

Особенно доставалось Харитине, когда приезжал жених. Анфуса Гавриловна не спускала глаз с нее. Дело доходило до подзатыльников и слез.

– А не лезь на глаза, не представляйся! – как-то по-змеиному шипела Анфуса Гавриловна. – Вон другие-то девушки прячутся от мужчин, а ты все на выставку, все на выставку!

– Мамынька, да, право же, ей-богу, я ничего... Я тоже буду прятаться.

Жених держал себя с большим достоинством и знал все порядки по свадебному делу. Он приезжал каждый день и проводил с невестой как раз столько времени, сколько нужно – ни больше, ни меньше. И остальных девушек не забывал: для каждой у него было свое словечко. Все невестины подружки полюбили Галактиона Михеича, а старухи шептали по углам:

– Ну, этот из молодых да ранний! Пожалуй, другим-то зятьям и пикнуть не даст.

Нравился девушкам и другой брат, Емельян. Придет на девичник, сядет в уголок и молчит, как пришитый. Сначала все девушки как-то боялись его, а потом привыкли и насмелились до того, что сами начали приставать к нему и свои девичьи шутки шутить.

– Емельян Михеич, расскажите сказочку! Емельян Михеич, спойте песенку!

А Емельян Михеич сидит и только молча улыбается. Самые смелые девушки кончали тем, что стали примеривать на него невестины наряды, надевали на него чепцы и шляпы и хохотали до слез. Одно появление Емельяна уже вызывало общее веселье, и девушки нападали на него всю гурьбой, как осиное гнездо. А он все молчал и только улыбался. При нем не стеснялись и болтали все, что взбредет в голову, его же тащили во все девичьи игры и шалости, теребили за бороду, целовали и проделывали всякие дурачества, особенно когда старухи уходили после обеда отдохнуть. С другими мужчинами не смели и сотой доли того сделать, а жениха даже побаивались, хотя на вид он и казался ласковее. Все чувствовали, что жених только старается быть вежливым и что его совсем не интересуют девичьи шутки и забавы.

И действительно, Галактион интересовался, главным образом, мужским обществом. И тут он умел себя поставить и просто и солидно: старикам – уважение, а с другими на равной ноге. Всего лучше Галактион держал себя с будущим тестем, который закрутил с самого первого дня и мог говорить только всего одно слово: «Выпьем!» Будущий зять оказывал старику внимание и делал такой вид, что совсем не замечает его беспорядочного пьянства.

– Богоданный тятенька, вы бы на террасе посидели... Оно на свежем воздухе приятнее.

Такое поведение, конечно, больше всего нравилось Анфусе Гавриловне, ужасно стеснявшейся сначала перед женихом за пьяного мужа, а теперь жених-то в одну руку с ней все делал и даже сам укладывал спать окончательно захмелевшего тестя. Другим ужасом для Анфусы Гавриловны был сын Лиодор, от которого она прямо откупалась: даст денег, и Лиодор пропадет на день, на два. Когда он показывался где-нибудь на дворе, девушки сбивались, как овечье стадо, в одну комнату и запирались на ключ.

Раз все-таки Лиодор неожиданно для всех прорвался в девичью и схватил в охапку первую попавшуюся девушку. Поднялся отчаянный визг, и все бросились врассыпную. Но на выручку явился точно из-под земли Емельян Михеич. Он молча взял за плечо Лиодора и так его повернул, что у того кости затрещали, – у великого молчальника была железная сила.

– Да ты, черт, не очень того! – бормотал потерявшийся Лиодор. – Мы и сами с усами. Мелкими можем расчет дать!

Емельян только показал глазами на окошко, а потом вытолкнул Лиодора в дверь. Девушки не знали, как и благодарить великодушного силача, который опять молча улыбался.

Появилась в малыгинском доме и Евлампия Харитоновна, или, по-домашнему, «полуштофова жена». Прямой ссоры с зятем-немцем у Малыгиных не было, но и родственной близости не выходило. Видались больше по праздникам да на именинах. Евлампия была большая модница и щеголяла напропалую. И на свадьбу она явилась в таком платье, что все ахнули. Все удивлялись только одному, откуда хитрый немец берет деньги, чтобы так наряжать жену: ни торговли, ни службы, ни определенных занятий, ни капитала, а живет на широкую ногу. Познакомившись с женихом, Евлампия сделала презрительное движение плечами и только заметила:

– Не большого бобра убили, мамынька!

– Какого еще тебе жениха нужно, Евлампия? – обиделась Анфуса Гавриловна. – Все завидуют... Пожалуй, почище твоего-то немца будет.

– Ну, моего немца вы оставьте, мамынька. Вы ему теперь цены еще не знаете.

– То-то он что-то уж очень скрывает свою цену, – ядовито заметила Анфуса Гавриловна. – Как будто и другие тоже ничего не замечают.

Вечерком заглянула и Татьяна Харитоновна, бывшая за Булыгиным. Она урвалась из дому тайком, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Серафимина жениха. Не красно жилось Татьяне, похудела она, как щепка, под глазами синие круги. Болело о ней сердце у Анфусы Гавриловны, постоянно болело, а помочь было нечем. Такая уж неудача родилась. Она посмотрела на жениха из другой комнаты, похвалила и незаметно ушла домой, точно боялась своим присутствием нарушить веселье в отцовском доме. Анфуса Гавриловна даже всплакнула потихоньку, – очень уж жаль ей было Татьяны. Кажется, всех бы дочерей собрала под свое материнское крыло и никому не дала бы в обиду. Вот и Анны, писаревой жены, тоже нет на свадьбе, и мать не раз о ней вспомнила. Так, ни за грош девку загубили... Отец и слышать ничего не хотел о суслонском писаре.

– Ну что, каков жених? – спрашивала Анфуса Гавриловна, провожая Татьяну по черной лестнице.

– Женихи-то все хороши, мамынька, – уклончиво ответила Татьяна. – Ничего, хороший. Женихов-то, как гусей, по осени считают. Что-то очень уж ласковый. Я это так, к слову.

– Не буян бы да не пьяница, Татьянушка! А наша Серафима прямо ума решилась. Горит вся.

– Дай бог, мамынька.

– Ох, Татьянушка, болит у меня сердце за всех вас! Вот как болит! Хотела выписать Анну из Суслона, да отец сразу поднялся на дыбы: слышать не хочет.

В Заполье еще сохранились старинные свадебные обряды, хотя они и перемешались с новыми модными обычаями. Колобовская свадьба благодаря спеху прошла кое-как в этом отношении, и старухи, собравшиеся на свадьбу, сильно пеняли на старика Колобова. Куда ускорился старичонко, подумаешь, а дело не таковское. Блох ловить торопятся, а жену берут честь-честью. Не было настоящего сватовства, не было рукобитья, а прямо начали с девичников, точно на пожар погнали. Опытные старушки ничего хорошего в этом спехе не видели и сулили молодым незадачу. Конечно, все это говорилось по углам, а не в глаза мужниной и жениной родне. Ломался старый вековой обычай, а это не к добру. Сам-то Михай Зотыч небось и глаз не казал на свадьбу, а отсиживался у себя на постоялом дворе да на берегу Ключевой. Все обсудили старушки, все вызнали и по-своему рассудили дело: неправильная свадьба и все равно проку не будет. Вон и жених уж сейчас туманный ходит.

Веселилась и радовалась одна невеста, Серафима Харитоновна. Очень уж по сердцу пришелся ей молодой жених, и она видела только его одного. Скорее бы только все кончилось... С нею он был сдержанно-ласков, точно боялся проявить свою жениховскую любовь. Только раз Галактион Михеич сказал невесте:

– Вы доброю волею за меня идете, Серафима Харитоновна? Пожалуйста, не обижайтесь на меня: может быть, у вас был кто-нибудь другой на примете?

– Что вы, Галактион Михеич, – смущенно ответила невеста. – Никого у меня не было и никого мне не нужно. Я вся тут. Сами видите, кого берете. Как вы, а я всей душой...

Галактиону Михеичу вдруг сделалось совестно, потому что он не мог ответить невесте так же искренне и просто. Собственно невеста ему и нравилась, ему хотелось иногда ее приласкать, сказать ласковое словечко, но все как-то не выходило, да и свадебные гости мешали. Жениху с невестой не приходилось оставаться с глазу на глаз.

Однажды вечером на девичнике, когда девушки запели старинную песню:

Расступитесь, люди добрые, Дайте-ко мне путь-дороженьку, Что на все на четыре стороны!

Мне идти к родному батюшке!.. – у жениха вдруг упало сердце, точно он делал что-то нехорошее и кого-то обманывал, у него даже мелькнула мысль, что ведь можно еще отказаться, время не ушло, а впереди целая жизнь с нелюбимой женой. Но это было только проявление минутной слабости. Ничего не оставалось, как идти до конца. Взглянув на пригорюнившегося брата Емельяна, Галактион понял, что они оба охвачены одним сомнением, оба думали одну думу и оба приходили к одному заключению. Да, суженой-ряженой, видно, на коне не объедешь.

VIII

На свадьбе Галактион перезнакомился со всем Запольем, потому что теперь в малыгинский дом валили званый и незваный. Это тоже старинный обычай, и чем больше гостей, тем больше почету невестину дому. Даже старые недруги могли приходиться, и старое зло на время забывалось. Из приходивших в малыгинский дом большинство были купцы средней руки. Знать составляли такие именитые люди, как старик Луковников и запольский богач Евграф Огибенин. Огибенинский купеческий род пользовался громадно популярностью во всем округе, центр которого составляло Заполье. Еще деды вели здесь торговлю и завязывали первые узлы. Нынешний Евграф Огибенин являлся последним словом купеческого прогресса, потому что держал себя совсем на господскую ногу: одевался по

последней моде, волосы стриг под гребенку, бороду брил, усы завивал и в довершение всего остался старым холостяком, чего не случилось в купечестве, как стояло Заполье.

– Пошел род на перевод, – говорил старик Луковников, особенно недолюбливавший Евграфа.

Другие называли Огибенина просто «Еграшкой модником». Анфуса Гавриловна была взята из огибенинского дома, хотя и состояла в нем на положении племянницы. Поэтому на малыгинскую свадьбу Огибенин явился с большим апломбом, как один из ближайших родственников. Он относился ко всем свысока, как к дикарям, и чувствовал себя на одной ноге только с Евлампией Харитоновной.

Из всей этой малыгинской родни и сборных гостей Галактиону ближе всех пришелся по душе будущий родственник, немец Штофф. Это был небольшого роста господин, немного припадавший на левую ногу. Лицо у немца было совсем русское и даже обросло по-русски какою-то мочальной бороденкой. Знакомство состоялось как-то сразу, и будущие зятья полюбили друг друга.

– Я здесь совсем чужой, – откровенно объяснял Штофф. – Да и вы тоже не совсем свой... Впрочем, ничего, привыкнете со временем. Первое время мне приходилось довольно-таки тяжеленько, а теперь ничего, обтерпелся.

В разговоре немец постоянно улыбался и немного подмигивал правым глазом, точно этот глаз у него тоже прихрамывал, как левая нога.

– И знаете, на чем я сошелся с ними? – объяснял он. – На водке... У меня счастливый желудок, а это здесь считается величайшим достоинством. Мне это много помогло.

Немец жил в Заполье лет пять и знал всех наперечет, а также знал и все торговые дела.

– Зачем вы здесь живете, Карл Карлыч? – спрашивал Галактион в том же откровенном тоне, в каком начал немец.

– Зачем? – удивился Штофф. – О, батенька, здесь можно сделать большие дела!.. Да, очень большие! Важно поймать момент... Все дело в этом. Край благодатный, и кто пользуется его богатствами? Смешно сказать... Вы посмотрите на них: никто дальше насиженного мелкого плутовства не пошел, или скромно орудует на родительские капиталы, тоже нажитые плутовством. О, здесь можно развернуться!.. Только нужно людей, надежных людей. Моя вся беда в том, что я русский немец... да!

Этим Штофф открывал свои карты, и Галактион понял, почему немец так льнет к нему. Лично он ему очень нравится, как человек обстоятельный и энергичный. Что же, в свое время хитрый русский немец мог пригодиться.

Свадебное дело близко шло к развязке. Гости набиралось все больше и больше. Появились какие-то совсем неизвестные люди, которых знал по своим степным делам один Харитон Артемьич, но сейчас отрекся от них обеими руками. Это были купцы из глухих пограничных степных городков. Народ все рослый и совсем дикий. Из них запольские купцы признали только одного, известного степного богатыря Сашку Горохова, крестившегося четырехпудовою гирей. Этот Сашка Горохов быстро сделался настоящим героем дня, потому что никто не мог его перепить, даже немец Штофф. И вид у него был какой-то несообразный, как у старинного бронзового памятника какому-нибудь герою, – бычья шея, маленькая голова, невероятной величины руки и ноги. Эту фундаментальную структуру степного богатыря портила только сильная сутуловатость. К довершению курьеза Сашка говорил какою-то жалобно тоненькою фистулой и шепелявил, как младенец. Харитон Артемьич впился в него, как клещ, и не отходил. Сам уж он допил до того, что не мог отличить водки от воды, чем и пользовались, а зато любовался подвигами Сашки, получившего сразу кличку «луженого брюха».

– Саша, выпей!

Саша молча наливал чайный стакан водки и молча его выпивал, точно выливал в какое-то подполье.

– А еще можешь, Саша?

– Могу-с, – слащаво пищал Саша и выпивал второй стакан.

Около этого богатыря собиралась целая толпа поклонников, следивших за каждым его движением, как следят все поклонники за своими любимцами. Разве это не артист, который мог выпивать каждый день по четверти ведра водки? И хоть бы пошатнулся. Таким образом, Сашка являлся главным развлечением мужской компании.

Появились и другие неизвестные люди. Их привел неизвестно откуда Штофф. Во-первых, вихлястый худой немец с бритой верхней губой, – он говорил только вопросами: «Что вы думаете? как вы сказали?» Штофф отрекомендовал его своим самым старым другом, который попал в Заполюе случайно, проездом в Сибирь. Фамилия нового немца была Драке, Федор Федорыч.

– О, это большой человек! – по секрету сообщал Штофф жениху. – Настоящий большой человек!

А большой немец как-то особенно глупо хлопал глазами, вытягивал тонкую гусиную шею, сосал какие-то лепешки и спрашивал с удивлением:

– Зачем они женятся? Что? Разве это необходимо для каждого русского купца? А впрочем, может быть, я плохо понимаю по-русски?

Не получая ответа на такие вопросы, немец принимал сонный вид и начинал сосать свои лепешки.

Этот потешный немец сделался жертвой знаменитого запольского исправника Полуянова, только что вернувшегося из уезда. Имя Полуянова гремело далеко и наводило панику своим зверством, особенно с купцами. Это был плечистый, среднего роста мужчина, с каким-то дубленным загаром энергичного лица, – он выбился в исправники из знаменитых сибирских фельдъегерей. Ходил Полуянов всегда в военной тужурке, заложив руки в карманы. В компании он был милейшим человеком – забавник, балагур, питух, песенник, бабий угодник, – на все руки. Но стоило ему только оставить веселую компанию, как сейчас же он превращался в зверя. Тяжелая была рука у Ильи Фирсыча Полуянова, и недаром его называли дантистом. Сейчас Полуянов старался наверстать пропущенное время и успевал напиваться по три раза в день. В светлые промежутки он занимался травлей нового немца, потешая почтенную публику разными выходками. Лучшим номером в этом репертуаре был тот, когда Полуянов незаметно усаживал рядом с Драке только что приехавшего богатого степного татарина Шахму.

– Шалтай-балтай, поговори с немцем, – упрашивал Полуянов. – В ножки поклонюся твоей татарской образине.

– Мало-мало калякаем немца... – бормотал Шахма, грузно подсаживаясь к Драке. – Эй, знаком, карта гуляешь?

– Зачем карта?

– Э-э... Шахма любит карта... Один карта на левой нога, другой карта на правой нога. Купца много смеял, а Шахма много платил... Исправник любит деньга Шахма... Шахма любит исправник.

Этот Шахма был известная степная продувная бестия; он любил водить компанию с купцами и разным начальством. О его богатстве ходили невероятные слухи, потому что в один вечер Шахма иногда проигрывал по несколько тысяч, которые платил с чисто восточным спокойствием. По наружности это был типичный жирный татарин, совсем без шеи, с заплывшими узкими глазами. В своей степи он делал большие дела, и купцы-степняки не могли обойти его власти. Он приехал на свадьбу за триста верст.

– Да разве я тебя звал? – удивлялся Харитон Артемьич, продирая глаза.

– Виделись-то еще в прошлом году.

– Ну, тогда и звал, – невозмутимо отвечал Шахма. – Сама говорил: девка буду пропивать, приезжай, Шахма. Вот я и гулял на твой свадьба.

– А водку не выучился пить?

– Закон Шахме не велит... Карта гулял, деньга платил, а водка тебе оставял.

Полуянов значительно оживил свадебное торжество. Он отлично пел, еще лучше плясал и вообще был везде душой компании. Скучавшие девушки сразу ожили, и веселье полилось широкою рекой, так что стоном стон стоял. На улице собиралась целая толпа любопытных,

желавшая хоть издали послушать, как тешится Илья Фирсыч. С женихом он сейчас же перешел на «ты» и несколько раз принимался целовать его без всякой видимой причины.

– Мы ведь тут, каналья ты такая, живем одною семьей, а я у них, как посаженный отец на свадьбе... Ты, ангел мой, еще не знаешь исправника Полупьянова. За глаза меня так навеличивают. Хорош мальчик, да хвалить некому... А впрочем, не попадайся, ежели что – освежую... А русскую хорошо плясешь? Не умеешь? Ах ты, пентюх!.. А вот постой, мы Харитину в круг выведем. Вот так девка: развей горе веревочкой!

Устраивался круг, и Полуянов пускался в пляс. Харитина действительно плясала русскую мастерски, и мать только удивлялась, где она могла научиться разным вывертам. Такая пляска заканчивалась каким-нибудь неистовым коленом разудалого исправника: он начинал ходить колесом, кувырkalся через голову и т. д.

Последними уже к большому столу явились два новых гостя. Один был известный поляк из ссыльных, Май-Стабровский, а другой – розовый, улыбающийся красавец, еврей Ечкин. Оба они были из дальних сибиряков и оба попали на свадьбу проездом, как знакомые Полуянова. Стабровский, средних лет господин, держал себя с большим достоинством. Ечкин поразил всех своими бриллиантами, которые у него горели везде, где только можно было их посадить.

– Вот так штука: жид на свадьбе проявился! – дивились добродушные запольские купцы и видели в этом новую дурную примету.

Но Полуянов всех успокоил. Он знал обоих еще по своей службе в Томске, где пировал на свадьбе Май-Стабровского. Эта свадьба едва не закончилась катастрофой. Когда молодых после венца усадили в коляску, лошади чего-то испугались и понесли. Плохо пришлось бы молодым, если бы не выручил Полуянов: он бросился к взбесившимся лошадям и остановил их на всем скаку, причем у него пострадал только казенный мундир.

– Мои сибирские дружки, – хвалился Полуянов, представляя незваных гостей. – Захотят – купят и продадут все наше Заполье и еще сдачи дадут.

Штофф отвел таинственно жениха в сторону, огляделся и сообщил:

– Вы ничего не слыхали про Ечкина, Бориса Яковлича Ечкина?

– Нет, не слыхал.

Штофф приподнял плечи, повертел у своего лба пальцем и торжественно проговорил:

– Это, голубчик, гениальнейший человек, и другого такого нет, не было и не будет. Да... Положим, он сейчас ничего не имеет и бриллианты поддельные, но я отдал бы ему все, что имею. Стабровский тоже хорош, только это уж другое: тех же щей, да пожиже клей. Они там, в Сибири, большие дела обделывали.

Галактион с особенным вниманием посмотрел на Ечкина и еще раз удивился: решительно ничего особенного в нем не было. Просто какой-то приказчик из магазина с золотыми вещами. И улыбается глупо и глазами шмыгает. А впрочем, кто их знает, – Штофф зря не будет говорить. Курьезнее всего вышло то, как напыжился Евграф Огибенин на новых гостей, затмивших его и костюмами и галантерейностью обращения. Особенно проклятый жид его возмущал, – со всеми перознакомился, всем успел сказать что-нибудь приятное и сейчас же уселся с Шахмой за карточный стол. Нечего сказать, увертливый жид, а держит себя в размашку, как будто уж совсем не по-жидовски. Дамы находили тоже, что сибирский жид скорее походит на ярославского лихого коробейника.

Венчание молодых происходило, по старому обряду, в старинной раскольничьей моленной. Провожавшие молодых все оделись по старинке: мужчины в длиннополые кафтаны, а женщины в сарафаны. Невеста в этом наряде была совсем хороша, и жених ею невольно полюбовался. Замечательный этот женский русский костюм, он ко всякой идет – к красивой и некрасивой, к молодой и старой. Но Галактион просто ахнул, когда среди провожавших невесту он увидел Харитину: это была такая красавица, что у него на душе захолонуло. В детстве он испытывал подобное же чувство, когда на качелях подкидывало вверх. Да, она стояла перед ним, сама красота, и жгла-палила своими девичьими глазами его сердце... Эта встреча произошла уже в моленной, куда жених уехал вперед и там ожидал невесту. У него все завертелось перед глазами, и во время самого обряда венчания он не мог избавиться от преступной теперь мысли о другой девушке. Да и обряд венчания по

старинным уставам, с крюковыми напевами, ничего веселого не имел, и Галактиону казалось, что он уже умер и его хоронят. Ему сделалось страшно, страшно за себя, за ту девушку, которая сегодня делается его подругой на всю жизнь... Не скрылось это настроение жениха от следивших за каждым его шагом женских глаз, и зашушукали сдержанные голоса, точно шуршала шелковая материя.

Дома оставались купцы из православных, как старик Луковников, привезший почти насильно упрямявшегося Михея Зотыча, да игроки в карты. Метал банк сначала Ечкин и проигрался. Понтировавший ему Евграф Огибенин с особенным удовольствием положил в свой бумажник несколько сторублевых ассигнаций, – игра шла, ввиду малого времени, крупными цифрами. Ечкина сменил Стабровский и тоже проигрался. Выигрывали Огибенин и Шахма. Последний задыхался от радости и спускал выигранные деньги куда-то за пазуху, точно в подвал. Кончилось тем, что начал метать Огибенин и в несколько талий проиграл не только все, что выиграл раньше, но и все деньги, какие были при нем, и деньги Шахмы. Все выиграл Стабровский и даже не моргнул глазом.

– Ах ты, шайтан! – ругался Шахма, ощупывая опустевшую пазуху и делая гримасы. – Ну, шайтан!.. Левая нога, правая нога, и нет ничего, а старый Шахма дурак.

– Дома еще осталось, – успокаивал его Стабровский, подавая на чай подручному, подававшему карты, десятирублевую ассигнацию.

Большой послесвадебный стол представлял собой оригинальную по пестроте картину. В главной зале, где сидели молодые, были размещены ближайшие родственники и самые почетные гости. В последнее число попали исправник Полуянов, Евграф Огибенин, Май-Стабровский, Шахма и даже Драке. Старик Луковников, как самый почетный гость, сидел рядом с Михеем Зотычем, казавшимся каким-то грязным пятном среди окружавшей его роскоши, – он ни за что не согласился переменить свою изгребную синюю рубаху и дорожную сермяжку. Из дам выделялись своим нарядом красавица жена Полуянова, а потом Евлампия Харитоновна, явившаяся в довольно смелом декольте, что немало смущало благочестивых древних старушек.

– Ох, стыдобушка головушке глядеть-то на полуштофову жену!.. У, срамница!.. Вся заголилась, точно в баню собралась идти...

В других комнатах были рассажены остальные гости, причем самые неважные были переведены вниз.

Свадебное веселье пошло своим чередом, увеличиваясь с каждой минутой, как катившийся с горы ком снега. Впрочем, все шло благополучно вплоть до того момента, когда начали поздравлять молодых шампанским. Гости сбились в одной комнате. Сашка Горохов стоял с своим бокалом за спиной Огибенина и довольно терпеливо ждал своей очереди чокнуться с молодыми, но потом ему надоело ждать, он взглянул направо и увидел декольтированные женские плечи Евлампии Харитоновны. Она сидела к нему спиной, и он видел только разрез платья сзади, открывавший белую налитую спину, уходившую желобом под корсет. У Сашки моментально мелькнула счастливая мысль, и он весь свой бокал вылил за спину «полуштофовой жене». Поднялся визг, гвалт, хохот. Взбешенный Штофф кинулся с кулаками на обидчика, все повскочили с своих мест, – одним словом, весь стол рушился. Но этим скандал еще не кончился. Благодаря происходившей суматохе наверх незаметно пробрались два новых гостя: сын Лиодор и зять Булыгин, оба пьяные, с каким-то определенным намерением.

– Тут жиды да немцы радуются, а родному сыну да зятю и места нет! – гаркнул Лиодор. – Пашка, валяй жидов, а я немцев молотить начну!

Толпа расступилась, и новые гости предстали во всей красе. Лиодор был, по обыкновению, в черкеске и папахе. Женщины завизжали, а «полуштофова жена» забралась под стол, где ее потом едва нашли. Выручил всех Сашка Горохов, стоявший к Лиодору ближе других. Он бросился на смутьянов, схватил их в охапку и торжественно вынес из залы, не обращая внимания, как его молотили четыре кулака, четыре ноги, а Лиодор в бешенстве даже вцепился зубами в плечо. На лестнице догнал Полуянов и собственноручно спустил гостей вниз, так что затрещали деревянные ступени.

Одним словом, большой стол закончился крупным скандалом. Когда все немного успокоились и все пришло в порядок, хватились Михея Зотыча, но его и след простыл.

Колобовская свадьба отозвалась в Суслоне далеким эхом. Особенно волновались в писарском доме, куда вести собирались со всех сторон.

– Хорошую роденьку бог послал, – ворчал писарь Флегонт Васильич. – Оборотни какие-то... Счастье нам с тобой, Анна Харитоновна, на родню. Зятя-то на подбор, один лучше другого, да и родитель Харитон Артемьич хорош. Брезгует суслонским зятем.

– Погордилась сестрица Серафима Харитоновна, – соображала писарская жена Анна Харитоновна, – очень погордилась.

– И мамынька тоже хороша: про родную дочь забыла. Сказывают, на свадьбе-то какие-то жиды да татары радовались.

– Не будет добра, Флегонт Васильич. Все говорят, что неправильная свадьба. Куда торопились-то? Точно на пожар погнали. Так-то выдают невест с заминочкой... А все этот старичонко виноват. От него все...

– Уж этот мне старичонко! – рычал писарь, вспоминая нанесенный бродягой конфуз. – Колдун какой-то!

В писарском доме теперь собирались гости почти каждый день. То поп Макар с попадшей, то мельник Ермилыч. Было о чем поговорить. Поп Макар как раз был во время свадьбы в Заполье и привез самые свежие вести.

– Сбежал от большого стола старичок-то, женихов отец, – рассказывал он. – Бой у них вышел промежду гостей, ну, оглянулись, а свекра-то и нет. Словно в воду канул...

– Ох, неспроста это, отец Макар!.. Не таковский он человек.

– Бродяга какой-то, вот и бегаёт.

Раз, когда так вечерком гости разговаривали разговоры, писарская стряпка Матрена вошла в горницу, вызвала Анну Харитоновну и заявила:

– Тут он, сродственник-то.

– Какой сродственник?

– Ну, а этот... старичонко с палочкой... Еще который сына женил в Заполье на твоей сестре.

– Да где он?

– А в кухне сидит у меня... Я пельмени делаю, оглянулась, а он сидит на лавочке. Точно из земли вырос, как гриб-дождевик.

Можно себе представить общее удивление. Писарь настолько потерялся, что некоторое время не мог выговорить ни одного слова. Да и все другие точно онемели. Вот так гостя бог послал!.. Не успели все опомниться, а мудреный гость уже в дверях.

– Флегонту Васильичу, родственнику, наше почтение и всей честной компании.

– Здравствуйте, Михей Зотыч, – здоровался хозяин. – Будет вам шутки-то шутить над нами... И то осрамили тогда на всю округу. Садитесь, гостем будете.

– От свадьбы убежал... да... А у меня дельце до тебя, Флегонт Васильич, и не маленькое дельце.

– Утро вечера мудренее, Михей Зотыч... Завтра о деле-то поговорим. Да, пожалуй, я тебе вперед сам загадку загадаю.

Отведя гостя в сторону, писарь сказал на ухо:

– Меленку хотите у нас оборудовать? Я-то уж потом догадался и вперед с мужичками насчет земли словечка два закинул.

– Вот умница! – похвалил гость. – Это и мне так впору догадаться... Ай да молодец писарь, хоть на свадьбу и не звали!.. Не тужи, потом позовут, да сам не пойдешь: низко будет.

Появление старика Колобова в Суслоне было целым событием. Теперь уж все поняли, зачем птица прилетела. Всех больше волновался мельник Ермилыч, под рукой распускавший

нехорошие слухи про старика Колобова. Он боялся сильного конкурента. Но Колобов сам пришел к нему на мельницу в гости, осмотрел все и сказал:

– А ты не беспокойся, мельник, тесно не будет... Я ведь крупчатку буду ставить. Ты мели да помалывай серячок, а мы белую мучку будем делать, даст бог.

Потом старик побывал у попа Макара и тоже осмотрел все поповское хозяйство. Осмотрел и похвалил:

– Ничего, светленько живете, отец Макар... Дай бог так-то всякому. Ничего, светленько... Вот и я вырос на ржаном хлебце, все зубы съел на нем, а под старость захотел пшенички. Много ли нужно мне, старику?

– Что же, нам не жаль... – уклончиво отвечал отец Макар, отнесшийся к гостю довольно подозрительно. – Чем бог послал, тем и рады. У бога всего много.

– Бог-то бог, да и сам не будь плох. Хорошо у вас, отец Макар... Приволье кругом. Вы-то уж привыкли и не замечаете, а мне в диковинку... Одним словом, пшеничники.

– Мельницу хочешь строить? – спрашивал поп Макар, слегка прищуривая один глаз.

– Не знаю, что выйдет, а охота есть.

От новых знакомых получалось одно впечатление; все жили по-богатому – и писарь, и мельник, и поп, – не в пример прочим народам. И мужики тоже не бедовали. Рожь сеяли только на продажу, а сами ели пшеничку. И хороша была эта ключевская пшеничка, хоть насквозь смотри. Смолотая на раструске пшеничная мука была хоть и серая, но такая душистая и вкусная. Суслонские бабы отлично пекли свой пшеничный хлеб, а ржаного и в заводе не было. Так уж велось исстари, как было поставлено еще при дедах. От всего веяло тугим хорошим достатком. И народ был все рослый и крепкий – недаром этих «пшеничников» узнавали везде.

Раз ночью писарский дом был поднят весь на ноги. Около часу к воротам подкатила почтовая тройка.

– Здесь живет писарь Замараев? – спрашивал в темноте сильный мужской голос.

Писарь растворил окно и довольно грубо ответил:

– Он самый.

– Запольские молодые приехали. Можно остановиться?

– Ах, милости просим!.. Это вы, Галактион Михеич?

– Да, да.

Большой сибирский тарантас тяжело вкатился на двор, а писарь выскочил на крыльцо со свечой в руках.

– Вот не ожидали-то, дорогие гости!

– Просим любить и жаловать, Флегонт Васильич.

Зятья оглядели друг друга и расцеловались. Молодая не выходила из экипажа, сладко потягиваясь. Она ужасно хотела спать. Когда вышла хозяйка, она с ленивою улыбкой, наконец, вылезла из тарантаса. Сестры тоже расцеловались.

– Давно мы с тобой не видались, Сима, – повторяла Анна Харитоновна, продолжая рассматривать сестру. – Какая-то ты совсем другая стала.

– Уж какая есть, Анюта. Мамаша тебе наказала кланяться и не велела сердиться.

– Хорошо, хорошо. Еще поговорим... А муж у тебя молодец, Сима. Красивый.

– Разве?

Серафима Харитоновна тихо засмеялась и еще раз поцеловала сестру. Когда вошли в комнату и Серафима рассмотрела суслонскую писаршу, то невольно подумала: «Какая деревенщина стала наша Анна! Неужели и я такая буду!» Анна действительно сильно опустила плечи, обрюзгла и одевалась чуть не по-деревенски. Рядом с ней Серафима казалась барыней. Ловко сшитое дорожное платье сидело на ней, как перчатка.

– Вы нас извините, – говорил Галактион, – не во-время побеспокоили... Ночь, да и остановиться негде.

– Ну, что за счеты между родственниками! – политично отвечал писарь. – Тятенька-то ваш здесь, в Суслоне... Только у нас не хочет жить. Карахтерный старичок.

– Папаша, вероятно, опять пешком пришли? – осведомилась Серафима. – Они все по-своему... на особицу.

Галактион очень понравился и писарю и жене. Настоящий молодец, хоть куда поверни. На отца-то и не походит совсем. И обращение самое политичное.

– Ну, этот из молодых, да ранний, – задумчиво говорил писарь, укладываясь на кровать с женой. – Далеко пойдет.

– А Симка-то так ему в глаза и заглядывает, как собачка.

– Что же, насиделась она в девках. Тоже любопытно... Известная ваша женская слабость. Какого еще принца нужно?

– Здесь, говорит, жить будут.

– Отлично. Нам веселее... Только вот старичонко-то того... Я его просто боюсь. Того гляди, какую-нибудь штуку отколет. Блаженный не блаженный, а около этого. Такие-то вот странники больше по папертям стоят с ручкой.

Молодой Колобов понравился всем в Суслоне: и учен, и прост, и ловок. Зато молодая не пришлась по вкусу, начиная с сестры Анны. Очень уж модная и на все фыркает.

– Неужто мы здесь будем жить? – капризно спрашивала она мужа.

– А то где же?

– Да здесь с тоски пропадешь.

– Некогда будет тосковать.

Серафима даже всплакнула с горя. С сестрой она успела поссориться на другой же день и обозвала ее неотесаной деревенщиной, а потом сама же обиделась и расплакалась.

– Вы на нее не обращайтесь внимания, Анна Харитоновна, – спокойно заметил Галактион и строго посмотрел на жену.

Этого было достаточно, чтобы Серафима сейчас же притихла и даже попросила у Анны прощения.

Вот с отцом у Галактиона вышел с первого раза крупный разговор. Старик стоял за место для будущей мельницы на Шеинской курье, где его взяли тогда суслонские мужики, а Галактион хотел непременно ставить мельницу в так называемом Прорыве, выше Шеинской курьи версты на три, где Ключевая точно была сдавлена каменными утесами.

– Нельзя на курье строиться, – авторитетно говорил Галактион. – По весне вода широко будет разливаться, затопит пашни, и не оберешься хлопот с подтопами.

– А у Ермилыча поставлена мельница на Жулановском плесе? – спросил Михай Зотыч.

– Во-первых, родитель, у Ермилыча мельница-раструска и воды требует вдвое меньше, а потом Ермилыч вечно судится с чураковскими мужиками из-за подтопов. Нам это не рука. Здешний народ бедовый, не вдруг уломаешь. В Прорыве вода идет трубой, только косою плотиной ее поджать.

– На берегу места мало.

– Ничего, родитель: в тесноте, да не в обиде.

– Тебя разве переспоришь?

– А ежели я дело говорю?

Теперь роли переменялись. Женившись, Галактион сделался совершенно другим человеком. Свою покорность отцу он теперь выкупал вызывающею самостоятельностью, и старик покорился, хотя и не вдруг. Это была серьезная борьба. Михай Зотыч сердился больше всего на то, что Галактион начал относиться к нему свысока, как к младенцу, – выслушает из вежливости, а потом все сделает по-своему.

– Ты у меня смотри! – пригрозился раз старик. – Я не посмотрю, что ты женатый... да!

Галактион только улыбнулся. Ушло время учить да свою волю родительскую показывать. Женился из-под палки, – чего же еще нужно?

X

Дело с постройкой мельницы закипело благодаря все той же энергии Галактиона. Старик чуть не испортил всего, когда пришлось заключать договор с суслонскими мужиками по аренде Прорыва. «Накатился упрямый стих», как говорил писарь. Мужики стояли на своем, Михай Зотыч на своем, а спор шел из-за каких-то несчастных двадцати пяти рублей.

– Эх, родитель, родитель! – корил Галактион. – Двадцать пять рублей дороги, а время нипочем... Мы еще с осени выложим фундамент, а за зиму выстроимся. Время-то дороже денег. Дай я переговорю с мужиками-то.

– А ты, щучий сын, умнее отца хочешь быть?

– Постой, родитель... Знаешь, как большую рыбу из воды вытаскивают: дадут ей поводок, она и ходит, а притомилась – ее на берег.

С мужиками Галактион говорил, как свой брат, и живо повернул все дело. Обе стороны остались довольны. Контракт был подписан, и Галактион принялся за работу. План мельницы был составлен им еще раньше. Теперь нужно было торопиться с постройками. Стояла осень, и рабочих на месте нельзя было достать ни за какие деньги, пока не кончится уборка хлеба. И это предвидел Галактион и раньше нанял артель вятских плотников в сорок человек да другую артель каменщиков. Деревенские мужики по-настоящему не умели и топора в руки взять. Будет с них и того, если привезут бревна да камень наломают.

У Прорыва в несколько дней вырос настоящий лагерь. Больше сотни рабочих принялись за дело опытной рукою. С плотничьей артелью вышел брат Емельян и сделался правую рукою Галактиона. Братья всегда жили дружно.

Галактион задался целью непременно выстроить жилой дом к заморозкам, чтобы переселиться с женой на место работы. Жизнь у писаря его тяготила, да и ездить было тяжело. На счастье ему попался в Баклановой пустовавший поповский дом, который он и купил на снос. Оставалось только перевезти его да заложить фундамент. Галактиону везде везло, – такой уж удачливый зародился. Даже поп Макар одобрял за «благопоспешность». Больше всего Галактион был доволен, что отец уехал на заводы заканчивать там свои дела и не мешался в дело. Старик был умный, да только очень уж упрям.

Постройка новой мельницы отозвалась в Суслоне заметным оживлением, особенно по праздникам, когда гуляли здесь обе вятские артели. Чувствовалось, что делалось какое-то большое дело, и все ждали чего-то особенного. Были и свои скептики, которые сомневались, выдержит ли старый Колобов, – очень уж большой капитал требовался сразу. В качестве опытного человека и родственника писарь Замараев с большими предосторожностями завел об этом речь с Галактионом.

– Нет, у отца больших денег нет, – откровенно объяснил тот.

– Так-с... да. А как же, например, с закупкой хлеба, Галактион Михеич? Ведь большие тысячи нужны будут.

– Добудем. Ту же мельницу в банк заложим.

– Это как же так: в банк?

Галактион объяснил, и писарь только развел руками. Да, хитрая штучка, и без денег и с деньгами. Видно, не старые времена, когда деньги в землю закапывали да по подпольям прятали. Вообще умственно. Писарь начинал смотреть теперь на Галактиона с особенным уважением, как на человека, который из ничего сделает, что захочет. Ловкий мужик, нечего оказать.

– А мы-то тут живем дураки дураками, – со вздохом говорил писарь. – У нас все по старинке... На гроши считаем.

– Ничего, выучитесь.

Утром Галактион вставал в четыре часа, уезжал на работу и возвращался домой только вечером, когда стемнеет. Эта энергия приводила всех в невольное смущение. В Суслоне не привыкли к такой работе.

– А что будет, если я буду чай распивать да выеду на работу в восемь часов? – объяснял Галактион. – Я раньше всех должен быть на месте и уйти последним. Рабочие-то по хозяину бывают.

– Уж это что говорить... Правильно. Какая это работа, ежели с чаями проклажаться?

Писарь давно обленился, отстал от всякой работы и теперь казнил, поглядывая на молодого зятя, как тот поворачивал всякое дело. Заразившись его энергией, писарь начал заводить строгие порядки у себя в доме, а потом в волости. Эта домашняя революция закончилась ссорой с женой, а в волости взбунтовался сторож Вахрушка.

– Что я тебе каторжный дался? – заявил сторож. – Нет, брат, будет мудрить! Шабаш!

– Што-о?! Да как ты смеешь, кислая шерсть?

– А вот и смею... Не те времена. Подавайте жалованье, и конец тому делу. Будет мне терпеть.

Писарь выгнал Вахрушку с позором, а когда вернулся домой, узнал, что и стряпка Матрена отошла. Вот тебе и новые порядки! Писарь уехал на мельницу к Ермилычу и с горя кутил там целых три дня.

Сестры в течение двух месяцев совместной жизни успели перессориться и помириться несколько раз, стараясь не доводить своих размолвок до Галактиона. Обе побаивались его, хотя он никогда не сказал ни одного грубого слова.

– Высидела ты себе мужа, Сима, – корила Анна сестру. – Пожалуй, и не по чину тебе достался. Вон какой орел!

– А тебе завидно? Не чета твоему писарю.

– Смотри, матушка, не прохвались. Боек уж очень.

Счастье влюбленной в мужа Серафимы кололо глаза засидевшейся в деревне Анне. Вместе росли, а судьба разная. Анна начинала теперь придирается к мужу и на каждом шагу ставила ему в пример Галактиона.

– Ты посмотри на себя-то, – поговаривала Анна, – тебе водку пить с Ермилычем да с попом Макаром, а настоящего-то ничего и нет. Ну, каков ты есть человек, ежели тебя разобрать? Вон глаза-то заплыли как от пьянства... Небойсь Галактион компании не ломает, а всегда в своем виде.

– Отстань, смола! Галактион, Галактион, – дался вам этот Галактион! Еще посмотрим: летать летает, да где сядет.

– У вас с Ермилычем не спросит.

– Молчать! Ты вот лучше училась бы у сестры Серафимы, как следует уважать мужа... да! И по домашности тоже все запустила... Вон стряпка Матрена ушла.

– Все из-за тебя же, изверг. Ты прогнал Вахрушку, а он сманил Матрену. У них уж давно промежду себя узоры разные идут. Все ты же виноват.

Писарь Замараев про себя отлично сознавал недостижимые совершенства нового родственника, но удивлялся ему про себя, не желая покориться жене. Ну что же, хорош – и пусть будет хорош, а мы и в шубе навыворот проживем.

Слухи о новой мельнице в Прорыве разошлись по всей Ключевой и подняли на ноги всех старых мельников, работавших на своих раструсочных мельницах. Положим, новая мельница будет молотить крупчатку, а все-таки страшно. Это была еще первая крупчатка на Ключевой, и все инстинктивно чего-то боялись.

– О девяти поставках будет мельница-то, – жаловался Ермилыч. – Ежели она, например, ахнет в сутки пятьсот мешков? Съест она нас всех и с потрохами. Где хлеба набраться на такую прорву?

– Были бы деньги, а хлеба навезут.

Чтобы отвести душу, Ермилыч и писарь сходились у попа Макара и тут судачили вволю, благо никто не мог подслушать. Писарь отстаивал новую мельницу, как хорошее дело, а отец Макар задумчиво качал головой и повторял:

– Увидим, увидим, братие... Все увидим.

– Нечего и смотреть: дело ясное, – сказал писарь.

– Первое, не есть удобно то, что Колобовы старoverы... да. А второе, жили мы без них, благодаря бога и не мудрствуя лукаво. У всех был свой кусок хлеба, а впредь неведомо, что и как.

– И ведать нечего, отец, – уныло повторял Ермилыч. – Раздавят нас, как лягушек. Разговор короткий. Одним словом – силища.

– А вы того не соображаете, что крупчатка хлеб даст народам? – спросил писарь. – Теперь на одной постройке сколько народу орудует, а дальше – больше. У которых мужичков хлеб-то по три года лежит, мышь его ест и прочее, а тут на, получай наличные денежки. Мужичок-то и оборотится с деньгами и опять хлебца подвезет.

– Деньги – весьма сомнительный и даже опасный предмет, – мягко не уступал поп Макар. – Во-первых, деньги тоже к рукам идут, а во-вторых, в них сокрыт великий соблазн. На что мужику деньги, когда у него все свое есть: и домишко, и земляца, и скотинка, и всякое хозяйственное обзаведение? Только и надо деньги, что на подати.

– А ежели у нас темнота? Будут деньги, будет и торговля. Надо же и купцу чем-нибудь жить. Вот и тебе, отец Макар, за требы прибавка выйдет, и мне, писарю. У хлеба не без крох.

– Вот главное, чтобы хлеб-то был, во-первых, а во-вторых, будущее неизвестно. С деньгами-то надобно тоже уметь, а зря ничего не поделаешь. Нет, я сомневаюсь, поколику дело не выяснится.

А Галактион точно не хотел ничего замечать и продолжал свою работу. Если бы все те, которые теперь судили и пересуживали его крупчатку, могли видеть, что он думал! Начать с того, что мельницу он считал делом так себе, пока, а настоящее было не здесь. Сколько хлопот с мельницей, а дело все-таки мертвое. Пришит к своему месту, как пуговица, и никуда не сдвинешься. Его тянуло дальше, на широкий простор. Наблюдая работы, он часто вспоминал свой разговор с немцем Штоффом и крепко задумывался. Умен и оборотист немец, вообще – ловкач. Выжидает, выжидает, да к настоящему делу и приспособится. Немало огорчало Галактиона и то, что не с кем ему было в Суслоне даже поговорить по душе. Всем им и мельница-крупчатка в диковину.

«Эх, если бы не отец! – с какою-то злобой иногда думал Галактион. – А то сиди в Суслоне».

К жене Галактион относился попрежнему с сдержанною ласковостью. Он даже начинал ее любить за ее безответность и за страстную любовь. Правда, иногда ему делалось совестно, что он по-настоящему не может ответить на ее робкие ласки, но в нем накалило и крепло хорошее чувство к ней. Молодость брала свое, а потом сознание, что сделанного не переделаешь. Не раз глядя на нее, он вспоминал красавицу Харитину, – у той все бы вышло не так. Странно, что безответная Серафима каким-то чутьем слышала эти его тайные мысли, стихала и точно делалась меньше. Такая несчастная вся, и ему вдруг станет ее жаль. Чем же она виновата, что так судьба вышла? А вот с Харитиной он мог бы и поговорить по душе, и посоветоваться, и все пополам разделить. Разве она стала бы скучать, как Серафима? Небойсь нашла бы дело и всех бы постановила.

Впрочем, Галактион упорно отгонял от себя все эти мысли. Так, глупость молодая, и больше ничего. Стерпится – слюбится. Иногда Серафима пробовала с ним заговаривать о серьезных делах, и он видел только одно, что она ровно ничего не понимает. Старается подладиться к нему и не умеет.

– Ты уж лучше молчи, Сима, – ласково шутил он.

– Может, привыкну и буду понимать, Глаша. Все девицы сначала ничего не понимают, а потом замужем и выучатся.

Ему не нравилось, что она зовет его Глашей, – какое-то бабье имя.

Но все эти сомнения и недосказанные мысли разрешились сами собой, когда Серафима, краснея и заикаясь, призналась, что она беременна. Муж посмотрел на нее непонимающими глазами, а потом так хорошо и любовно обнял и горячо поцеловал... еще в первый раз поцеловал.

– Милая... Милая!..

– Ты меня любишь, да? Немножечко? – шептала она, сгорая от нахлынувшего на нее счастья.

Потом она расплакалась, как плачут дети, а он взял ее на руки и носил по комнате, как ребенка.

– Милая... Милая!..

XI

Пропавший на время из Суслона Михей Зотыч был совсем близко, о чем никто не подозревал. Он успел устроить кое-какие дела у себя на заводе и вернулся на Ключевую, по обыкновению, в своем бродяжническом костюме. Он переходил из деревни в деревню, из села в село, все высматривал, обо всем разузнавал и везде сохранял самое строгое incognito. Это уже была такая крепостная привычка делать все исподтишка, украдом. Никто не знал, что старик Колобов был в Суслоне и виделся со старым приятелем Вахрушкой, которого и сманил к себе на службу.

– За битого семь небитых дают, – шутил он, по обыкновению. – Тебя в солдатчине били, а меня на заводской работе. И вышло – два сапога пара. Поступай ко мне на службу: будешь доволен.

– А какое твое жалованье, Михей Зотыч?

– Вот и вышел дурачок, а еще солдат: жалованье по жалованью. Что заслужишь, то и получишь.

– А ежели ты меня оманешь?

– А ты старайся.

Вахрушка почесал в затылке от таких выгодных условий, но, сообразив, согласился. Богатый человек Михей Зотыч, и не стать ему обижать старого солдата.

– Поглянулся ты мне, вот главная причина, – шутил Михей Зотыч. – А есть одна у тебя провинка.

– Ну, говори, какая?

– А такая, дурачок. Били тебя на службе, били, а ты все-таки не знаешь, в какой день пятница бывает.

– Ну, пошел огород городить... Так не оманешь?

– Сказано: будешь доволен. Главное, скула мне у тебя нравится: на ржаной хлеб скула.

Сказано – сделано, и старики ударили по рукам. Согласно уговору Михей Зотыч должен был ожидать верного слугу в Баклановой, где уже вперед купил себе лошадь и телегу. Вахрушка скоро разделался с писарем и на другой день ехал уже в одной телеге с Михеем Зотычем.

– Ах, служба, служба: бит небитого везет! – смеялся мудреный хозяин, похлопывая Вахрушку по плечу. – Будем жить, как передняя нога с задней, как грива с хвостом.

– Страсть это я люблю, как ты зачнешь свои загадки загадывать, Михей Зотыч. Даже мутит... ей-богу... Ну, и скажи прямо, а то прямо ударь.

– А ты головой, дурашка, головой добивайся, умишком раскинь, обмозгуй... хе-хе!..

Эти хозяйские шуточки нагоняли на Вахрушку настоящую тоску, и он начинал угрюмо молчать. В корень изводил его хитрый старичонко, точно песку в башку насыпет.

– Ты вот что, хозяин, – заявил Вахрушка на другой день своей службы, – ты не мудри, а то...

– Ну, ну, испугай!

– Уйду!.. Вот тебе и весь сказ!

– Это ты загадку загадываешь, мил человек? Ах, дурашка, дурашка! Никуда ты не уйдешь, потому как я на тебя зарок положил великий, и при этом задаток четыре недели на месяц ты уж получил вперед сполна...

Цель старика Колобова была объехать тот хлебный район, который должен был поставлять пшеницу на будущую мельницу. Ему хотелось на месте познакомиться с будущими производителями и поставщиками сырья. Пусть мельницу строит Галактион – ему и книги в руки, а Михай Зотыч объезжал теперь свое будущее царство. Нужно было создать целый рынок и вперед сообразить все условия. Это было поважнее постройки мельницы, и он не мог доверить такого ответственного труда даже Галактиону. Молод еще и ничего не понимает, да и яйца курицу не учат.

В лице Вахрушки хитрый старик приобрел очень хорошего сотрудника. Вахрушка был человек бывалый, насмотрелся всячины, да и свою округу знал как пять пальцев. Потом он был с бедной приуральской стороны и знал цену окружавшему хлебному богатству, как никто другой.

– Вахрушка, ты у меня в том роде, как главнокомандующий!

– Похоже, Михай Зотыч, ежели считать по заплатам.

– Ну, вот, вот... Выговорил-таки хоть одно умное слово.

Приезжая куда-нибудь в село, Михай Зотыч сказывался работником, а Вахрушку навеличивал хозяином. Эта комедия была только продолжением предыдущего шутовства, и Вахрушка скоро привык. «Что ж, хозяин так хозяин!» По пути они скупали у баб коноплю, лен и дешевые деревенские харчи, а эта купля служила только предлогом для подробных расспросов – что и как. Чем дальше они таким образом ехали, тем ярче выступала картина зауральского крестьянского богатства. Хорошо здесь жил народ, запасливо, и не боялся черного дня.

Всего больше приводил в восторг Михея Зотыча аршинный зауральский чернозем.

– Вот так земля! – восхищался старик. – Овчина овчиной!

– Уж я тебе говорил, што удобрять здесь землю и не слыхивали, – объяснил Вахрушка. – Сама земля родит.

А какие попадались деревни и села – одно загляденье. Хоть картину пиши. Справно жил народ, с тугим крестьянским достатком. Всего было вволю – и земли, и хлеба, и скотины. Правда, мужик-пшеничник сильно поленивался, но от достатка и вор не ворует. У большинства крестьян были запасы на год, на два вперед. Сбывали только столько, сколько было нужно на подати, а остальное все шло впрок. Так хозяйство ставилось еще отцами и дедами, отнимавшими благодатный край у неумытой орды. Башкирские волости раздвинулись как-то по краям и не имели никакого экономического значения в общем хозяйстве богатейшего края.

В Вахрушке, по мере того как они удалялись вглубь бассейна Ключевой, все сильнее сказывался похороненный солдатчиной коренной русский пахарь. Он то и дело соскакивал с телеги, тыкал кнутовищем в распаханную землю и начинал ругаться.

– Разе это работа, Михай Зотыч? На два вершка в глубину пашут... Тьфу! Помажут кое-как сверху – вот и вся работа. У нас в Чердынском уезде земелька-то по четыре рублика ренды за десятину ходит, – ну, ее и холят. Да и какая земля – глина да песок. А здесь одна божеская благодать... Ох, бить их некому, пшеничников!

Путешественники несколько раз ночевали в поле, чтобы не тратиться на постой. Михай Зотыч был скуп, как кощей, и держал солдата впроголодь. Зачем напрасно деньги травить? Все равно – такого старого черта не откормишь. Сначала солдат роптал и даже ругался.

– Ах ты, дурашка, брюхо-то не зеркало, да и мы с тобой на ржаной муке замешаны. Есть корочка черного хлеба, и слава богу... Как тебя будет разжигать аппетит, ты богу молись, чревоугодник!

Солдат никак не мог примириться с этой теорией спасения души, но покорялся по солдатской привычке, – все равно нужно же кому-нибудь служить. Он очень скоро подпал под

влияние своего нового хозяина, который расшевелил его крестьянские мысли. И как ловко старичонко умел наговаривать, так одно слово к другому и лепит, да так складно.

Хорошо было со стариком ночевать у огонька. Осенние ночи такие темные, огонек горит так весело.

– Земля – все, понимаешь? – говорил Михей Зотыч. – А остальное пустяки... И заводы, и фабрики, и машины.

– Это ты правильно.

– А почему земля все? Потому, что она дает хлеб насущный... Поднялся хлебец в цене на пятак – красный товар у купцов встал, еще на пятак – бакалея разная остановилась, а еще на пятак – и все остальное село. Никому не нужно ни твоей фабрики, ни твоего завода, ни твоей машины... Все от хлебца-батюшки. Урожай – девки, как блохи, замуж поскакали, неурожай – посиживай у окошечка да поглядывай на голодных женихов. Так я говорю, дурашка?

– Тоже вот и насчет водки, Михей Зотыч... Солдату плепорция казенная, а отставному где взять в голодный-то год?

Иногда на Михея Зотыча находило какое-то детское умиление, и он готов был целовать благодатную землю, точно еврей после переселения в обетованную землю. Уж очень хорошо было кругом. Народ жил полною чашей, – любо посмотреть. Этакого-то угодного места по всей Расее не сыщешь с огнем. Народ еще не «испотачился» и жил по-божески. Все свое, домашнее, – вот и достаток, потому что как все от матушки-земли жили и не гнались на городскую руку моды заводить. Прикидывая в уме хлебный район по одной Ключевой, Михей Зотыч видел, что сырья здесь хватит на двадцать таких крупчаток, какую он строил в Прорыве.

– Всем хватит, Вахрушка, и еще от нас останется, да.

– Как не хватить, Михей Зотыч?

Другой вопрос, который интересовал старого мельника, был тот, где устроить рынок. Не покупать же хлеб в Заполье, где сейчас сосредоточивались все хлебные операции. Один провоз съест. Мелкие торжки, положим, кое-где были, но нужно было выбрать из них новин пункт. Вот в Баклановой по воскресеньям бывал подвоз хлеба, и в других деревнях.

– Эх, повернуть бы торжок в Суслон! – мечтал старик.

Он прикинул еще раньше центральное положение, какое занимал Суслон в бассейне Ключевой, – со всех сторон близко, и хлеб сам придет. Было бы кому покупать. Этак, пожалуй, и Заполью плохо придется. Мысль о повороте торжка сильно волновала Михея Зотыча, потому что в этом заключалась смерть запольским толстосумам: копеечка с пуда подешевле от провоза – и конец. Вот этого-то он и не сказал тогда старику Луковникову.

Это путешествие чуть не закончилось катастрофой. Старики уже возвращались домой. Дело происходило ночью, недалеко от мельницы Ермилыча. Лошадь шла шагом, нога за ногу. Старики дремали, прикорнув в телеге. Вдруг Вахрушка вздрогнул, как строевая лошадь, слышавшая трубу.

– Михей Зотыч, родимый, не ладно!

– А! Что? – бормотал спросонья хозяин.

– Слышишь?

Где-то вдали тонко прозвонили дорожные колокольчики и замерли, точно порвалась струна.

– Исправник навстречу гонит! – в ужасе прошептал Вахрушка, проникнутый смертным страхом ко всякому начальству.

– Ну, и пусть гонит. Мы ему не мешаем.

– Ах, ты какой, право!.. Лучше бы своротить с дороги. Неровен час... Ежели пьяный, так оно лучше не попадаться ему на глаза.

– Давай сюда вожжи, дурашка.

Вахрушка так и замер от страха. А колокольчики так и заливаются. Ближе, ближе, – вот уж совсем близко.

– Михей Зотыч, своротим от греха, – молил Вахрушка.

– Молчи, дурашка.

Ночь была темная, и съехались носом к носу.

– Эй, кто там дорогу загородил? – рявкнул голос из исправничьего экипажа.

– Черт с репой! – спокойно ответил Михей Зотыч.

– Сворачивай с дороги, каналья!

– Ты сворачивай, порожнем на тройке едешь, а я с возом на одной!

Кто-то соскочил с козел исправничьего экипажа и накинулся с неистовым ревом на непокорную телегу. В воздухе свистнула нагайка.

– Бей каналью! – кричал сам Полуянов, сидя в экипаже.

– Илья Фирсыч, да ты никак с ума спятил! – крикнул Колобов, ловко защищаясь кнутиком от казачьей нагайки. – Креста на тебе нет... Аль не узнал?

– Да кто там? – сердился исправник.

– Сказано: черт с репой! Бит небитого везет.

– Тьфу! Дурак какой-то... Ну, подойди сюда.

– Ох, не подходи! – в ужасе шептал Вахрушка, ухватывая хозяина за рукав.

Но Колобов смело подошел к экипажу. Полуянов чиркнул спичку и с удивлением смотрел на бродягу.

– Не признаешь? Хе-хе. А еще на свадьбе вместе пировали в Заполье.

– Да это ты, Михей Зотыч? Тьфу, окаянный человек! – засмеялся грозный исправник. – Эк тебя носит нелегкая! Хочешь коньяку? Нет? Ну, я скоро в гости к тебе на мельницу приеду.

– Милости просим.

Когда исправничий экипаж покатило дальше, Вахрушка снял шапку и перекрестился. Он еще долго потом оглядывался и встряхивал головой. С этого момента он проникся безграничным удивлением к смелости Михея Зотыча: уж если исправника Полуянова не испугался, так чего же ему бояться больше?

XII

Как Галактион сказал, так и вышло: жилой дом на Прорыве был кончен к первопутку, то есть кончен настолько, что можно было переехать в него молодым. Серафима торжествовала. Ей так надоело жить в чужих людях, у всех на виду, а тут был свой угол, свое гнездо. Она больше не робела перед мужем и с затаенною радостью чувствовала, что он начинает ее любить. Это высказывалось в тысяче тех обыденных мелочей, которые в отдельности даже назвать трудно. Муж теперь предупреждал ее малейшие желания и следил за каждым шагом. Но ей решительно ничего было не нужно. Боже мой, как она была счастлива, а новый дом на Прорыве казался ей раем.

– У нас теперь свое гнездо, – повторяла она, ласкаясь к мужу. – И никто, никто не смеет его тронуть. Да, Глаша?

– Кому же это нужно, Сима?

– Нет, я так, к примеру. Мне иногда делается страшно. Сама не знаю отчего, а только страшно, страшно, точно вот я падаю куда-то в пропасть. И плакать хочется, и точно обидно за что-то. Ведь ты сначала меня не любил. Ну, признайся.

– Перестань болтать глупости!

– Как же ты мог любить, когда совсем не знал меня? Да я тебе и не нравилась. Тебе больше нравилась Харитина. Не отпирайся, пожалуйста, я все видела, а только мне было

тогда почти все равно. Очень уж надоело в девицах сидеть. Тоска какая-то, все не мило. Я даже злая сделалась, и мамаша плакала от меня. А теперь я всех люблю.

Это счастливое настроение заражало и Галактиона, и он находил жену такую хорошей и даже красивой. От девичьей угловатости не осталось и следа, а ее сменила чарующая женская мягкость. Галактиону доставляло удовольствие ухаживать за женой.

Серафиме нравилось и самое место, выбранное Галактионом под мельницу. Ключевая была здесь такая быстрая да глубокая, а напротив каменным гребнем поднималась большая гора. Из-за горы, вниз по Ключевой, виднелась Шеинская курья, а за ней белую свечой поднималась церковь в Суслоне. Место под мельницу было выбрано на левом берегу, на каменном мысу, вдававшемся в Ключевую. Правда, уже теперь чувствовалась некоторая теснота, но когда будут кончены постройки, сделается совсем свободно. Серафима по-своему мечтала о будущем этого клочка земли: у них будет свой маленький садик, где она будет гулять с ребенком, потом она заведет полное хозяйство, чтобы дома все было свое, на мельничном пруду будет плавать пара лебедей и т. д. Эти лебеди снились Серафиме даже во сне, как символ семейного счастья. Да, она была счастлива и чувствовала, что все ее любят, даже старик Михей Зотыч. Она понимала, что он любит собственно не ее, а тех будущих внучат, которых она подарит ему.

– Так, невестушка, так, милая... – повторял старик, глядя на нее любящими глазами. – Внучка мне нужно.

– Будет внучек, папаша.

– То-то, смотри, Серафима Харитоновна, не осрамись, да и меня не подведи.

Такие откровенные разговоры заставляли Серафиму вспыхивать ярким румянцем, хотя она и сама была уверена, что родится именно мальчик. Даже молчаливый Емельян теперь как-то особенно подолгу заглядывался на невестку и начинал ухмыляться. Ему тоже нравилась ласковая и старавшаяся всем угодить сноха. Приехал и третий брат, Симон, совсем еще молодой человек, состоявший в семье на положении мальчика. Он был самый красивый и походил на мать, но отец как-то недолюбливал его за недостаток характера. Мальчик был такой ласковый, и Серафима полюбила его с первого раза, как родного брата.

– У нас вся семья сердитая, – потихоньку рассказывал мальчик. – И я всех боюсь.

Это была первая женщина, которую Симон видел совсем близко, и эта близость поднимала в нем всю кровь, так что ему делалось даже совестно, особенно когда Серафима целовала его по-родственному. Он потихоньку обожал ее и боялся выдать свое чувство. Эта тайная любовь тоже волновала Серафиму, и она напрасно старалась держаться с мальчиком строго, – у ней строгость как-то не выходила, а потом ей делалось жаль славного мальчугана.

– Симон, не смотри на меня так! – строго говорила она.

– Я... я ничего.

– Если Галактион увидит, он тебе задаст.

Вообще в новом доме всем жилось хорошо, хотя и было тесновато. Две комнаты занимали молодые, в одной жили Емельян и Симон, в четвертой – Михей Зотыч, а пятая носила громкое название конторы, и пока в ней поселился Вахрушка. Стряпка Матрена поступила к молодым, что послужило предметом серьезной ссоры между сестрами.

– Жили-жили, да в благодарность и стряпку сманили, – корила жена писаря.

– Никто и не думал сманивать, – оправдывалась Серафима. – Сама пришла и живет. Мы тут ни при чем. Скажешь, что и солдата тоже мы сманили?

– И солдата... Умны уж очень.

Между зятьями временно пробежала черная кошка, и недоразумения возникали из-за всяких пустяков. Впрочем, они скоро помирились благодаря политике Галактиона. По первопутку приехал в гости дорогой тестюшка Харитон Артемьевич вместе с любимой дочерью Харитиной, – вернее сказать, не приехал, а его привезла Харитина. Старик с самой свадьбы не переставал кутить и начал заговариваться. Анфуса Гавриловна решительно ничего не могла с ним поделаться и отправила на поправку к новому зятю, на которого надеялась теперь, как на каменную стену. Очень уж умный и почтительный зять и все устроит. Из писем Серафимы Анфуса Гавриловна знала их жизнь и заочно восторгалась

новым зятем. Галактион воспользовался появлением гостей, чтоб устроить новоселье, как того требовали деревенские порядки. Был приглашен в первую голову писарь Замараев.

– Да ты с ума сошел, Галактион? – удивилась даже смелая на все Харитина.

– Нисколько. Он такой же зять, как и я. Родне не приходится считаться. Нечего нам делить.

– А тятенька?

– Ничего и тятенька. В гостях воля хозяйская.

Поведение Галактиона навсегда примирило Анну с добрым и умным новым зятем. Писарь тоже не мог не согласиться, что Галактион все по-умному делает.

Были приглашены также мельник Ермилыч и поп Макар. Последний долго не соглашался ехать к староверам, пока писарь не уговорил его. К самому новоселью подоспел и исправник Полуянов, который обладал каким-то чутьем попадать на такие праздники. Одним словом, собралась большая и веселая компания. Как-то все выходило весело, начиная с того, что Харитон Артемьевич никак не мог узнать зятя-писаря и все спрашивал:

– Да ты кто таков, человек, будешь?

– Не чужой человек, тятенька. Прежде зятем считали.

– Зятем? Тьфу!.. Тоже и скажет человек. Разе у меня такие зятя? Ах ты, капустный зверь!

Молодая хозяйка была счастлива, как никогда, и сияла своим молодым счастьем. Она походя обнимала Харитину и целовала ее от избытка радости. Бойкая и взбалмошная Харитина против обыкновения держала себя как-то особенно солидно и казалась даже грустной. Ее только забавляли преследовавшие ее глаза Симона. Мальчик совсем увлекся, увлекся сразу и ничего больше не видел, кроме запольской красавицы с ее поджигающим смехом, вызывающе улыбкою и бойкою речью. Он так ел ее глазами, что даже заметил Галактион и сказал жене:

– Ты скажи Симону, что так нельзя... Мне самому неловко сказать. Совсем дурак мальчишка.

– Что же тут мудреного? Харитину как увидят, так и влюбятся. Уж такая уродилась... Она у меня сколько женихов отбила. И ты тоже женился бы на ней, если бы не отец.

– Перестань болтать глупости! Как тебе не стыдно?

– Я ведь не ревную, а так, к слову сказала.

Веселье продолжалось целых три дня, так что Полуянов тоже перестал узнавать гостей и всех спрашивал, по какому делу вызваны. Он почувствовался только тогда, когда его свозили в Суслон и выпарили в бане. Михей Зотыч, по обыкновению, незаметно исчез из дому и скрывался неизвестно где.

Больше всего доставлял хлопот дорогой тестюшка, с которым никто не мог управиться, кроме Галактиона. Старших дочерей он совсем не признавал, да и любимицу Харитину тоже. Раз ночью с ним сделалось совсем дурно. Стерегший гостя Вахрушка только махал руками.

– Я боюсь, – заявила Серафима разбуженному мужу. – Иди ты... Ах, господи, вот согрешенье-то!.. Мамаша тоже послала гостя.

Галактион накинул халат и отправился в контору, где временно помещен был Харитон Артемьевич. Он сидел на кровати с посиневшим лицом и страшно выкаченными глазами. Около него была одна Харитина. Она тоже только что успела соскочить с постели и была в одной юбке. Плечи были прикрыты шалью, из-под которой выбивалась шелковая волна чудных волос. Она была бледна и в упор посмотрела на Галактиона.

– Пошли скорее Вахрушку за нашатырным спиртом, – тихо и повелительно приказала она. – Да чтобы живо. Потом принеси снегу и воды.

Девушка знала, как нужно отваживаться с пьяницей-отцом, и распорядилась, как у себя дома. Старик сидел попрежнему на кровати и тяжело хрипел. Временами из его груди вырывалось неопределенное мычание, которое понимала только одна Харитина.

– Ммм... моч... рю... ку... ррюмочку.

– Подожди, будет и рюмочка, – сурово говорила Харитина, щупая голову ошалевшего родителя. – Вот до чего себя довел.

– Мм... не ббуду... не ббуду...

Лицо его искривилось, глаза страшно выкатились, и он повалился на постель. В этот момент вбежал Галактион со снегом и водой. Холодные компрессы сделали свое дело, а поданная рюмка водки на время успокоила пьяницу. Он теперь лежал на постели с закрытыми глазами, опухший, налитый пьяным жиром, а над ним наклонилась Харитина, такая цветущая, молодая, строгая. Днем у нее глаза были серые, а ночью темнели, как у кошки; золотистые волосы обрамляли бледное лицо точно сиянием. Галактион стоял в изголовье кровати и невольно любовался ею, любовался не так, как прежде, а как мужчина, полный сил, который видит красивую женщину. Все эти дни он почти совсем не обращал на нее внимания и даже не замечал, хотя они и были по-родственному на «ты» и даже целовались, тоже по-родственному. В комнате горела одна сальная свечка, и при ее красноватом свете Харитина походила на русалку. Она не смотрела на Галактиона, но чувствовала на себе его пристальный взгляд и машинально поправила под шалью спустившийся рукав рубашки. Потом она смело посмотрела прямо в лицо Галактиону, посмотрела почти с ненавистью, плотно сжав губы. Потом он видел, как она медленно и спокойно подошла к нему, обняла его своими голыми руками и безмолвно прильнула к его лицу горевшими губами.

– Харитина, опомнись!.. Харитина, что ты делаешь? – шептал он, напрасно стараясь освободиться из ее объятий. – Харитина!..

Белые руки распались сами собой, и она засмеялась нехорошим смехом.

– Не любишь? забыл? – шептала она, отступая. – Другую полюбил? А эта другая рохля и плакса. Разве тебе такую было нужно жену? Ах, Галактион Михеич! А вот я так не забыла, как ты на своей свадьбе смотрел на меня... ничего не забыла. Сокол посмотрел, и нет девушки... и не стыдно мне нисколько.

Она опять обняла его и целовала, вернее – душила своими поцелуями, лицо, шею, даже руки целовала. Галактион чувствовал только, как у него вся комната завертелась перед глазами, а эти золотые волосы щекотали ему лицо и шею.

– Милый, милый! – шептала она в иступлении, закрывая глаза. – Только один раз. Разве та, другая, умеет любить? А я-то тосковала по нем, я-то убивалась!

– Харитина!..

– Нет здесь никакой Харитины. Харитина там, где ее любят.

Эта дикая сцена была прекращена появлением Вахрушки, который успел вернуться из Суслона со спиртом.

– Ты меня будешь помнить, – повторила несколько раз Харитина, давая отцу нюхать спирт. – Я не шутки с тобой шутила. О, как я тебя люблю, несчастный!

Когда Галактион проснулся на другой день, все случившееся ночью ему показалось тяжелым кошмаром. Он даже посомневался, было ли все это на самом деле. Харитина вышла к чаю, как всегда. На ней была та же шаль, что и ночью, и это кольнуло Галактиона. Она ему хотела показать, что ставит его ни во что. Припоминая подробности вчерашней сцены, Галактион отчетливо знал только одно, именно, что он растерялся, как мальчишка, и все время держал себя дураком. Нужно было сделать решительный шаг в ту или другую сторону, а теперь оставалось делать такой вид, что он все принял за глупую выходку и не придает ничему серьезного значения.

– Мы с папашей сегодня едем домой, – заявила Харитина усталым голосом.

– Видно, чем ушибся, тем и лечись. Кстати, нас проводит Илья Фирсыч. Ему тоже пора домой.

Полуянов даже стал на колени и принялся целовать руки капризной красавицы.

– О, богиня, я могу только повиноваться, как слабый смертный!

Симон, бывший свидетелем этой глупой сцены, бледнел и краснел, до крови кусая губы. Бедный мальчуган страстно ревновал запольскую красавицу даже, кажется, к ее шали, а когда на прощанье Харитина по-родственному поцеловала его, он не вытерпел и убежал.

– Что ты делаешь с мальчиком? – упрекнула ее Серафима, находившаяся в лениво-спокойном настроении беременной женщины.

– Я? Ничего, – резко ответила Харитина. – Кто меня полюбит, тот несчастный человек навек.

Галактион все время молчал и старался не смотреть на нее. Она поцеловалась с ним, опустив глаза.

– Желаю тебе быть паинькой, – пошутила над ним Харитина, усаживаясь в экипаж. – Пряничка дадут.

В этот момент Галактион ненавидел ее и был счастлив, что ночью был дураком.

Часть вторая

I

Прошло пять лет.

Все Заполье переживало тревожное время. Кажется, в самом воздухе висела мысль, что жить по-старинному, как жили отцы и деды, нельзя. Доказательств этому было достаточно, и самых убедительных, потому что все они били запольских купцов прямо по карману. Достаточно было уже одного того, что благодаря новой мельнице старика Колобова в Суслоне открылся новый хлебный рынок, обещавший в недалеком будущем сделаться серьезным конкурентом Заполью. Это была первая повестка.

– Нет, брат, шабаш, – повторяли запольские купцы. – По-старому, брат, не проживешь. Сегодня у тебя пшеницу отнимут, завтра куделю и льняное семя, а там и до степного сала доберутся. Что же у нас-то останется? Да, конечно. Надо все по-полированному делать, чтобы как в других прочих местах.

Запас сведений об этих других прочих местах оказался самым ограниченным, вернее сказать – запольские купцы ничего не знали, кроме своего родного Заполья. Молодые купцы были бы и рады устраиваться по-новому, да не умели, а старики артачились и не хотели ничего знать. Вообще разговоров и пересудов было достаточно, а какая-то невидимая беда надвигалась все ближе и ближе.

В собственном смысле событий за эти пять лет не случилось. Было три пожара, потом открыли новую городскую думу, причем старик Луковников был избран первым городским головой, потом Малыгины выдали младшую дочь Харитину раньше старшей и т. д. Харитина вышла замуж чуть не убегом, против воли родителей, и теперь была исправницей Полуяновой. Жена у Полуянова умерла через год после свадьбы Серафимы, а через год он с пьяных глаз женился на красавице Харитине, вернее сказать – она сама высватала его. Свадьба была сыграна еще скорее, чем у Серафимы, потому что жених вдовец. Анфуса Гавриловна на коленях умоляла дочь не делать этого, но Харитина твердила одно:

– Мамаша, я хочу быть благородной. Очень мне интересно выходить замуж за какого-нибудь сиволапого купца! Насмотрелась я на своих сестриц, как они в темноте живут.

– Поглядим мы на твое пьяное да старое благородство!

– Исправницей буду, мамаша. Чаем губернатора буду угощать, а он у меня руку будет целовать. В благородных домах везде такой порядок. В карете буду ездить.

– Дура ты, Харитинка, и больше ничего.

– Не виновата, что такая родилась, мамаша.

В сущности Харитина вышла очертя голову за Полуянова только потому, что желала хотя этим путем досадить Галактиону. На, полюбуйся, как мне ничего не жаль! Из-за тебя гибну. Но Галактион, кажется, не почувствовал этой мести и даже не приехал на свадьбу, а послал вместо себя жену с братом Симоном. Харитина удовольствовалась тем, что заставила мужа выписать карету, и разъезжала в ней по магазинам целые дни. Пусть все смотрят и завидуют, как молодая исправница катается.

Если запольские купцы не знали, что им нужно, то отлично это знали люди посторонние, которые все набивались в город. Кто они такие, откуда, чего домогаются – никто не знал. У Штоффа уже давно жил безымянный немец Драке, потом приехал и поселился Май-Стабровский. Он занял лучшую квартиру в городе, завел выездных лошадей, целый штат прислуги и зажил на широкую ногу. В Заполье и во сне не видали такой роскоши, и молодая исправница сгорала от зависти. Впрочем, она была принята у Стабровских, и сам старик ухаживал за ней с чисто польским джентльменством. Потом поселился подозрительный еврей Ечкин. Впрочем, он сам мало жил в Заполье, а все где-то разъезжал. Около этих новых людей жалась целая кучка безымянных и прожорливых панов, немцев и евреев. Они все чего-то искали, куда-то ездили по каким-то никому не известным делам и вообще ужасно торопились. Не было, кажется, такого угла, которого они не обнюхали бы и не обыскали. Одним словом, что-то готовилось, и запольские купцы вперед чувствовали, как их забирает страх.

– А все это проклятый Полуштоф, – ругались они за спиной. – Все от него пошло. Дай лисе хвост просунуть, она и вся залезет. А у немцев так уж заведено: у одного крючок, у другого петля – друг за дружкой и волокутся.

Доставалось на орехи и «полуштофову тестю», то есть Харитону Артемьичу. Он первый призрел голого немца, да еще дочь за него замуж выдал. Вот теперь все и расхлебывай. Да и другой зять, Галактион, тоже хорош: всем мельникам запер ход, да еще рынок увел к себе в Суслон.

Сами по себе новые люди были все очень милые, вежливые и веселые. Везде сами бывали, всех принимали у себя и умели товар лицом показать. На другой же год в Заполье открылся клуб, учреждение невиданное. Старики не пошли, а молодежь была рада. В Заполье до сих пор не было ни одного веселого приюта. По зимам проворные немцы начали устраивать в клубе семейные вечера с танцами, благотворительные «лотереи-аллегри», а главное, напропалую дулись в карты. Это выходило гораздо удобнее, чем у себя дома. И хлопот никаких, и удовольствие получай, какое хочешь. Май-Стабровский и Ечкин повели настоящую большую игру, особенно когда приехал Шахма, этот степной крез, о котором составлялись настоящие легенды. Играл в большую Еграшка Огибенин, исправник Полуянов и даже аккуратный немец Штофф. Одним словом, зажили по-настоящему, как в других прочих местах, особенно когда появились два адвоката, Мышников и Черевинский, забившие сразу местных доморожденных ходатаев и дельцов. Впрочем, Мышников был свой запольский. Он происходил из разорившейся купеческой семьи и кончил курс в университете.

Этот прилив новых людей закончился нотариусом Меридиановым, тоже своим человеком, – он был сын запольского соборного протопопа, – и двумя следователями. Говорили уже о земстве, которое не сегодня-завтра должно было открыться. Все эти новые люди устраивались по-своему и не хотели знать старых порядков, когда всем заправлял один исправник Полуянов да два ветхозаветных заседателя.

Больше всех суетился и хлопотал немец Штофф, как человек, достаточно освоившийся с положением местных дел. Он брал какие-то подряды, хлопотал об открытии местной женской прогимназии и реального училища, открыл какое-то таинственное «депо земледельческих усовершенствованных машин», и так далее, без конца. Время от времени он тоже исчезал из города и шнырял по уезду, выискивая какие-то новые дела. Впрочем, его деятельность скоро обнаружилась, когда Май-Стабровский купил в уезде упраздненный винокуренный казенный завод и назначил его своим главным управляющим. Были и свои винокуры, но это был народ все мелкий, работавший с грехом пополам для местного потребления, а Стабровский затевал громадное, миллионное дело и повел его сильною рукой. Все устраивалось по последнему слову винокуренной науки. От Заполья до нового завода было верст сто, и туда отхлынула вся польская челядь, окружавшая Стабровского. Запольские купцы только смотрели и ожигались. Их «старинка» оставалась позади, а вперед лезли новые люди, удивлявшие своею пробойностью и прожорливостью. По старинке считали на тысячи и много-много на десятки тысяч, а тут сразу счет пошел на сотни тысяч.

– Что же это будет? – удивлялись недавние запольские богачи. – Что же нам-то останется? Все немцы забирают.

Винокуренный завод Стабровского находился всего в двадцати верстах от Суслона, и это сразу придавало совершенно другое значение новому хлебному рынку. Для этого завода ежегодно имелось в виду скупать до миллиона пудов ржи, а это что-нибудь значило. Старик Колобов только ахнул, когда услышал про новую затею.

– Съест нас всех Стабровский, – говорил он, качая головой. – Мы тут мышей ловим, а он прямо на медведя пошел.

Новая крупчатая мельница действительно являлась ничтожеством по сравнению с грандиозным заводом. Было тут о чем подумать. Хлопотавший по постройке завода Штофф раза два завертывал в Прорыв и ночевал.

– Ты это что же затеваешь-то? – ворчал Михей Зотыч. – Мы тут вот мучку мелем, а ты хлеб собираешься изводить на проклятое зелье.

– Ничего, ничего, старичок. Всем хлеба хватит... Мы ведь себе только рожь берем, а вам всю пшеницу оставляем. Друг другу не будем мешать, старичок.

– Да я не о том, немецкая душа: дело-то ваше неправильное... да. Божий дар будете переводить да черта тешить. Мы-то с молитвой, а вам наплевать... тьфу!..

– Да ведь народу же деньги-то пойдут, старичок? Ах, какой ты!.. Теперь хлеб напрасно пропадает, а тогда на, получай наличными. Все будут довольны... Так-то!

– Богу вы все ответите за свои выдумки! – грозил Михей Зотыч. – Да и какой у вас бог? Ни бога, ни черта... Про совесть-то слышал, Карл Карлыч?

– У нас сколько угодно совести, старичок.

– Так вы ее, совесть-то свою, в процент отдавайте... А я тебе скажу пряменько, немец: не о чем нам с тобой разговоры разговаривать... так, попусту, языком болтать...

Штофф только улыбнулся. Он никогда не оскорблялся и славился своим хладнокровием. Его еще никто не мог вывести из себя, хотя случаев для этого было достаточно. Михей Зотыч от всей души возненавидел этого увертливом немца и считал его главной причиной всех грядущих зол.

– Послушай, старичок, поговорим откровенно, – приставал Штофф. – Ты живой человек, и я живой человек; ты хочешь кусочек хлеба с маслом, и я тоже хочу... Так? И все другие хотят, да не знают, как его взять.

– Ну, заговаривай зубы, заговаривай, змей!

– А я понимаю одно: я имею свою пользу и должен дать пользу другим... Так?

– Уж ты дашь, что говорить... Даже вот как дашь... Не обрадуешься твоей-то пользе.

– Все зависит от того, как смотреть на вещи.

Хитрый немец проник даже к попу Макару. Едва ли он сам знал, зачем есть поп Макар, но и он тоже ест свой кусочек хлеба с маслом и может пригодиться. Поп Макар был очень недоверчивый человек и отнесся к немцу почти враждебно.

– Во-первых, я живу здесь уже двадцать лет и никого не касаюсь, – объяснил он откровенно, – и во-вторых, я ничего не понимаю.

– Да ведь мне, батюшка, ничего от вас и не нужно, – объяснил Штофф, не сморгнув глазом. – Престо, счел долгом познакомиться с вами, так как будем жить в соседях.

– Оно, конечно, милостивый государь... Коль скоро человек отменяет от себя всяческую суету, потолику он принадлежит самому себе, во-первых, а во-вторых...

– Послушайте, батюшка, вы ведете громадное хозяйство, у вас накапливается одной ржи до пяти тысяч пудов, я говорю примерно. Вам приходится хлопотать с ее продажей, а тут я приеду, и мы покончим без всяких хлопот. Это я говорю к примеру.

– Позвольте, во-первых, какая ваша будет цена, милостивый государь?

– На одну восьмую копейки с пуда больше, чем на рынке... Это... это составит за пять тысяч пудов ровно шесть рублей двадцать пять копеек. Кажется, я выражаюсь ясно? Ведь деньги не валяются на дороге?

Штофф попал в самое больное место скуповатого деревенского батюшки. Он жил бездетным, вдвоем с женой, и всю любовь сосредоточил на скромном стяжании, – его интересовали не столько сами по себе деньги, а главным образом процесс их приобретения, как своего рода спорт.

II

Старшему сыну Серафимы было уже четыре года, его звали Сережей. За ним следовали еще две девочки-погодки, то есть родившиеся через год одна после другой. Старшую звали Милочкой, младшую Катей. Как Серафима ни любила мужа, но трехлетняя, почти без перерыва, беременность возмутила и ее.

– Я хочу и сама пожить, – заявила она с наивностью намучившегося человека. – Будет с нас детей.

– И я то же думаю, – соглашался Галактион.

Тот красивый подъем всех сил, который Серафима переживала сейчас после замужества, давно миновал, сменившись нормальным существованием. Первые радости материнства тоже прошли, и Серафима иногда испытывала приступы беспричинной скуки. Пять лет выжили в деревне. Довольно. Особенно сильно повлияла на Серафиму поездка в Заполье на свадьбу Харитины. В городе все жили и веселились, а в деревне только со скуки пропадай.

– Переедем в город, – все чаще и чаще повторяла Серафима мужу, – а то совсем деревенские мужики будем.

Эти слова каждый раз волновали Галактиона. Деревня тоже давно надоела ему, да и делать здесь было нечего, – и без него отец с Емельяном управятся. Собственно удерживало Галактиона последнее предприятие: он хотел открыть дорогу зауральской крупчатке туда, на Волгу, чтоб обеспечить сбыт надолго. Нужно было только предупредить других, чтобы снять сливки.

Дела по мельнице установились окончательно и шли прекрасно. В первую зиму свежую крупчатку возили в Ирбит, на ярмарку, на тройках. Ее брали нарасхват. Происходила конкуренция с дорогою казанскою крупчаткой. За эти четыре года мельница не только окупилась, но и дала большой доход. Теперь пшеница заготавливалась вперед за год и покупалась на наличные деньги. Вообще дела шли отлично. Мысль открыть сбыт своей крупчатке в «Расею» очень понравилась Михею Зотычу, и он с большим удовольствием отпустил Галактиона съездить в Казань, Рыбинск, Саратов и Нижний, чтобы на месте познакомиться с делами. Галактион проездил все лето и вернулся уже по окончании Нижегородской ярмарки. Эта поездка имела для него решающее значение.

– Ну что, как там у них? – спрашивал Михей Зотыч.

– Ах, папаша, даже рассказывать стыдно, то есть за себя стыдно. Там настоящие дела делают, а мы только мух здесь ловим. Там уж вальцовые мельницы строят... Мы на гроши считаем, а там счет идет на миллионы.

– С большим-то счетом и запутаться можно, Галактион.

– В лес ходить – не бояться волков, а делать дело, так по-настоящему.

– Ну, с меня будет и этого, а когда я помру, как знаете.

Бойкая жизнь Поволжья просто ошеломила Галактиона. Вот это, называется, живут всюю. Какими капиталами ворочают, какие дела делают!.. А здесь и развернуться нельзя: все гужом идет. Не ускачешь далеко. А там и чугунка и пароходы. Все во-время, на срок. Главное, не ест перевозка, – нет месячных распутиц, весенних и осенних, нет летнего ненастья и зимних выюг, – везде скатертью дорога.

– А какие там люди, Сима, – рассказывал жене Галактион, – смелые да умные! Пальца в рот не кладут... И все дело ведется в кредит. Капитал – это вздор. Только бы умный да надежный человек был, а денег сколько хочешь. Все дело в обороте. У нас здесь и капитал-то у кого есть, так и с ним некуда деться. Переваливай его с боку на бок, как дохлую лошадь. Все от оборота.

Серафима слушала мужа только из вежливости. В делах она попрежнему ничего не понимала. Да и муж как-то не умел с нею разговаривать. Вот, другое дело, придет Карл Карлыч, тот все умеет понятно рассказать. Он вот и жене все наряды покупает и даже в шляпах знает больше толку, чем любая настоящая дама. Сестра Евлампия никакой заботы не знает с мужем, даром, что немец, и щеголяет напропалую.

Заезжая на мельницу в Прорыв, хитрый немец никогда не забывал захватить и ребятишкам игрушек и невестке какой-нибудь пустяковый подарочек. Себя в убыток не введет и другим удовольствие доставит.

В последнюю зиму, когда строился у Стабровского завод, немец начал бывать у Колобовых совсем часто. Дело было зимой, и нужно было закупать хлеб на будущий год, а главный рынок устраивался в Суслоне.

– Это нам Михей Зотыч дорожку проторил, – похваливал немец хмурившегося старика, – мы на готовое-то, как на чужую кашу со своей ложкой приходим.

– Только не подавитесь, – ворчал Михей Зотыч. – Ложка-то у вас больно велика. Пожалуй, и каши не хватит.

– Всем, дедушка, хватит, которые ежели с умом.

Главный подвоз хлеба происходил в ноябре, когда устанавливался крепкий санный путь. Штофф прожил целую неделю в Суслоне у писаря, изучая складывавшийся новый хлебный рынок. Галактион тоже приезжал делать закупки, и они вместе провели всю неделю. Приходилось вставать ранним утром, задолго до свету, часа в четыре. Широкая суслонская улица с обеих сторон была уставлена бесконечными возами. Скупщики ходили от воза к возу с фонарями, и рынок получал какой-то фантастический характер. Народное богатство лежало тут, на виду, прикрытое домашней работы пологам. Галактиона уже знали, и он ставил цену. Остальные только прикупали, как Ермилыч и небольшие мельники.

– По-деревенски живем, Карл Карлыч, – иронически говорил Галактион про самого себя. – Из-за хлеба на квас.

– Ну, а вы-то пожаловаться не можете.

– Да и радоваться нечему. Из маленького дела не выскочишь. Мне, собственно, и делать на мельнице больше нечего.

– А вы приезжайте к нам в Заполье. Может быть, и дельце найдем. Люди нужны, а их нет.

Немец чего-то не договаривал, а Галактион не желал выпытывать. Нужно, так и сам скажет. Впрочем, раз ночью они разговорились случайно совсем по душам. Обоим что-то не спалось. Ночевали они в писарском доме, и разговор происходил в темноте. Собственно, говорил больше немец, а Галактион только слушал.

– Видите ли, в чем дело, Галактион Михеич... Будемте рассуждать математически, так сказать. В природе ничто не должно пропадать, ни один атом. Так, да? Каждый человек представляет собой известную силу, а сила – только тогда сила, когда она находит свое приложение. Да? С одной стороны, вот мы с вами, как сила, ищущая своего приложения, а с другой – благодатный край, переполненный сырьем. Наше приложение в том, чтобы дать оборот этим богатствам. Не правда ли? Ум – самая страшная из всех сил. Вы вот умный человек и понимаете совершенно верно, что с мельницей у вас лет через пять будет все кончено. Значит, нужно пристроиться к другому делу.

– Я и сам это думаю, Карл Карлыч. Давненько думаю.

Немец сделал паузу. Где-то тяжело тикали старинные часы.

– У вас есть деньги? – спросил Штофф уже совершенно другим тоном, продолжая какую-то свою мысль.

– То есть как деньги?

– Ну, тысяч тридцать – сорок.

– Карл Карлыч, ведь вы знаете, что у меня своих и сорока копеек нет.

– Но у вас есть обычай выделять сыновей. Наконец, вы получили кое-что за женой.

– Женины деньги меня не касаются, а что касается выдела, едва ли отец согласится. Вы знаете, какой у него характер.

– А вы имейте свой характер. Требуйте свою часть.

– Он меня просто выгонит вон.

Немец подумал, что-то прикинул в уме и проговорил убежденно:

– И то для вас будет выгоднее, чем сидеть здесь и ждать у моря погоды. Поверьте мне. А я вас устрою.

– Вы теперь так говорите, а когда отец прогонит, вы можете заговорить другое.

– Поверьте, что нет, Галактион Михеич. Это мой прямой интерес, и я вам скажу сейчас, в чем дело. Да. Вот у вас мельница, и вы в зависимости от урожая, от рынка, от конкуренции, да? Я теперь управляющий Стабровского и завишу от него. Дело громадное и будет зависеть от тысячи случайностей, начиная с самой жестокой конкуренции, какая существует только в нашем водочном деле. Не правда ли? Возьмите всякое другое коммерческое дело – везде риск, везде опасность, везде сомнения. А есть такое дело, которое ничего не боится, скажу

больше: ему все на пользу – и урожай и неурожай, и разорение и богатство, и даже конкуренция. Это моя заветная мечта.

Галактион сел на кровати и проговорил:

– Банк? Вы хотите, чтобы в числе учредителей стояло мое русское имя?

– Да. Прибавьте к этому, что русских имен мы найдем сколько угодно, а нам нужны работники, хорошие, энергичные работники. Признаюсь, я вас изучал в течение пяти лет и знаю вас больше, чем вы сами себя знаете. Извините за нескромное любопытство... У вас есть размах, есть кровь, а это главное. Придется много работать и ставить все на карту. Потом у вас есть умение иметь дело с людьми. Пример: скажу я – и мне не поверят, скажете вы то же самое – и вам поверят. Это величайший секрет науки, называемой психология. Мне скажут: «У! немец хитрит!» Я это в глазах читаю, и мне делается обидно, хотя я и хладнокровный человек. А вам поверят, все поверят, – о, как поверят!.. Да, у вас сейчас нет денег, но умрет отец, – будемте говорить откровенно, – у вас сто тысяч верных. Значит, вы сейчас стоите эти сто тысяч и можете иметь кредит.

– Банк будет в Заполье?

– Да... Коммерческий Зауральский банк. Главные учредители: Стабровский, Ечкин, Шахма, Драке и я. Видите, все иностранцы, то есть не русские фамилии, а это неудобно. Нам необходимо привлечь Луковникова, Огибенина и еще человека три-четыре. У нас устав уже написан, и Ечкин выхлопочет его утверждение. О, этот человек может сделать решительно все на свете!.. Знаете, говоря между нами, я считаю его гениальным человеком. Да. Представьте себе, у него решительно ничего нет, а он всегда имеет такой вид, точно у него в бумажнике чек на пятьсот тысяч. Стабровский умен и тоже гениальный человек, но до Ечкина ему далеко, как до звезды небесной... И Стабровский это сам знает.

– Что же я буду делать в Заполье, пока ваш банк не откроется?

– Э, дела найдем!.. Во-первых, мы можем предоставить вам некоторые подряды, а потом... Вы знаете, что дом Харитона Артемьича на жену, – ну, она передаст его вам: вот ценз. Вы на соответствующую сумму выдаете Анфусе Гавриловне векселей и дом... Кроме того, у вас уже сейчас в коммерческом мире есть свое имя, как дельного человека, а это большой ход. Вас знают и в Заполье и в трех уездах... О, известность – тоже капитал!

Галактион так и не мог заснуть всю ночь. У него горела голова, и мысли в голове толклись, как в жаркий летний день толкнутся комары над болотом. Хитрый немец умело и ловко затронул его самое больное место, именно то, о чем он мечтал только про себя. Правда, предстояло сделать решительный шаг; но все равно его нужно было когда-нибудь сделать. От этого зависело все. Одно только нагоняло на Галактиона сомнение: он не доверял хитрому немцу. Продаст и надует при случае за какой-нибудь «кусочек хлеба с маслом». От таких людей нужно ожидать всего.

Галактиону делалось обидно, что ему не с кем даже посоветоваться. Жена ничего не понимает, отец будет против, Емельян согласится со всем, Симон молод, – делай, как знаешь.

Перед отъездом из Суслона Штофф имел более подробный разговор с Галактионом и откровенно высказался:

– Я знаю, что вы не доверяете мне... Это отлично. Никому не нужно верить, даже самому себе, потому что каждый человек может ошибаться. Да. А можно верить только одному – делу. Вы только подумайте: вот сейчас мы все хлопочем, бьемся, бегаем за производителем и потребителем, угождаем какому-нибудь хозяину, вообще зависим направо и налево, а тогда другие будут от нас зависеть. У нас всегда будет урожай на нашей ниве... Расчет самый простой: по вкладам мы будем платить семь процентов, а по ссудам будем получать до двадцати. Капитал будет... Вы только сообразите, сколько пропадает теперь мертвого капитала у попов, писарей, купцов, а из этих мелочей составит страшная сила, как из мелких реченок наливается море.

III

Решительный разговор с отцом Галактион думал повести не раньше, как предварительно съездив в Заполье и устроив там все. Но вышло совершенно наоборот.

После отъезда Штоффа Галактион целых три недели ходил точно в тумане. И сон плохой и аппетита нет. Даже Серафима заметила, что с мужем творится что-то неладное.

– Тебе нездоровится, Глаша?

– Мне? Нет, ничего.

Такой ответ совершенно удовлетворял простоватую Серафиму, и это возмущало Галактиона. Другая жена допыталась бы, в чем дело, и не успокоилась бы, пока не вызнала бы всего. Теперь во время бессонницы Галактион по ночам уходил на мельницу и бродил там из одного этажа в другой, как тень. Мельница работала зимой полным ходом. Рабочих было очень немного. Они, засыпанные мучным бусом, походили на каких-то мертвецов, бродивших бесшумно из одного отделения в другое. Обыкновенно по ночам обходил мельницу Емельян, как холостой человек, или сам Михей Зотыч. Рабочие удивлялись, встречая теперь Галактиона. Раз ночью у жернова Галактион встретил отца. Старик как-то позаячи прислушивался к грузному движению верхнего камня, припадавшего одним краем.

– А, это ты! – удивился старик. – Вот и отлично. Жернов у нас что-то того, припадает краем.

– Нужно поставить запасный.

– Остановка выйдет.

– Ничего не поделаешь.

Они вместе прошли по всем отделениям. Везде все было в порядке.

– Если бы еще пять поставов прибавить, так работы хватило бы, – задумчиво говорил Галактион, когда они очутились в мельничной конторке, занесенной бусом, точно инеем.

– Воды не хватит.

– Можно паровую машину поставить, родитель.

– Ни за что! Спалить хочешь все обзаведение?

Мельница давно уже не справлялась с работой, и Галактион несколько раз поднимал вопрос о паровой машине, но старик и слышать ничего не хотел, ссылаясь на страх пожара. Конечно, это была только одна отговорка, что Галактион понимал отлично.

– Вот ты про машину толкуешь, а лучше поставить другую мельницу, – заговорил Михей Зотыч, не глядя на сына, точно говорил так, между прочим.

Галактион отлично понял его. Значит, отец хочет запрячь его в новую работу и посадить опять в деревню года на три. На готовом деле он рассчитывал управиться с Емельяном и Симоном. Это было слишком очевидно.

– Нет, я не согласен, – спокойно ответил Галактион.

– Как не согласен? Что не согласен? Да как ты смеешь разговаривать так с отцом, щенок?

– Вторую мельницу строить не буду, – твердо ответил Галактион. – Будет с вас и одной. Да и дело не стоящее. Вон запольские купцы три мельницы-крупчатки строят, потом Шахма затевает, – будете не зерно молотить, а друг друга есть. Верно говорю... Лет пять еще поработаешь, а потом хоть замок весь на свою крупчатку. Вот сам увидишь.

– Да ты понимаешь, что говоришь-то?

– Да очень понимаю... Делать мне нечего здесь, вот и весь разговор. Осталось только что в Расею крупчатку отправлять... И это я устроил.

– Ну, а потом?

– А потом вы сами по себе, а я сам по себе.

– Как же это так будет, напримерно?

– Да уж так, как случится. Дадите мне что в отдел – спасибо, не дадите – тоже спасибо.

– Так, так, миленький... Своим умом хочешь жить.

Старик пожевал губами, посмотрел на сына прищуренными глазами и совершенно спокойно проговорил:

– Ничего ты от меня, миленький, не получишь... Ни одного грошика, как есть. Вот, что на себе имеешь, то и твое.

– Покорно благодарю, родитель.

Больше отец и сын не проговорили ни одного слова. Для обоих было все ясно, как день. Галактион, впрочем, этого ожидал и вперед приготовился ко всему. Он настолько владел собой, что просмотрел с отцом все книги, отсчитался по разным статьям и дал несколько советов относительно мельницы.

– Завтра, то есть сегодня, я уеду, – прибавил он в заключение. – Если что вам понадобится, так напишите. Жена пока у вас поживет... ну, с неделю.

– А кто же ее кормить будет?

– Я пришлю денег из Суслона на прокорм, а за квартиру потом рассчитаюсь.

– За пять лет, миленький. Не забудь... По три целковых в месяц – сто восемьдесят рубликов.

– И это заплачу. Сейчас у меня ничего нет, а вышлю, как пришлю подводу за семьей.

Когда Галактион вышел, Михей Зотыч вздохнул и улынулся. Вот это так сын... Правильно пословица говорится: один сын – не сын, два сына – полсына, а три сына – сын. Так оно и выходит, как по-писаному. Да, хорош Галактион. Другого такого-то и не сыщешь.

«А денег я тебе все-таки не дам, – думал старик. – Сам наживай – не маленький!.. Помру, вам же все достанется. Ох, миленькие, с собой ничего не возьму!»

Вернувшись домой, Галактион почувствовал себя чужим в стенах, которые сам строил. О себе и о жене он не беспокоился, а вот что будет с детишками? У него даже сердце защемило при мысли о детях. Он больше других любил первую дочь Милочку, а старший сын был баловнем матери и дедушки. Младшая Катя росла как-то сама по себе, и никто не обращал на нее внимания.

– Ну, Серафима, собирайся в дорогу, – коротко объяснил Галактион жене.

– Через неделю я за тобой пришлю. Переезжаем в Заполье.

– Совсем?

– Совсем.

Серафима даже заплакала от радости и бросилась к мужу на шею. Ее заветною мечтой было переехать в Заполье, и эта мечта осуществилась. Она даже не спросила, почему они переезжают, как все здесь останется, – только бы уехать из деревни. Городская жизнь рисовалась ей в самых радужных красках.

Только на прощанье с отцом Галактион не выдержал. Он достал бумажник и все, что в нем было, передал отцу, а затем всю мелочь из кошелька. Михей Зотыч не поморщился и все взял, даже пересчитал все до копеечки.

– Денежка счет любит, – бормотал старик.

У жены Галактион тоже не взял ни копейки, а заехал в Суслон к писарю и у него занял десять рублей. С этими деньгами он отправился начинать новую жизнь. На отца Галактион не сердился, потому что этого нужно было ожидать.

Анфуса Гавриловна обрадовалась и испугалась, когда увидела зятя. Она совсем не ждала гостя.

– Надолго ли, Галактион? – спрашивала расхлопотавшаяся старушка.

– А совсем, мамаша.

– Как совсем?

Галактион любил тещу, как родную мать, и рассказал ей все. Анфуса Гавриловна расплакалась, а потом обрадовалась, что зять будет жить вместе с ними. Главное – внучата будут тут же.

– Поживите пока с нами, а там видно будет, – говорила она, успокоившись после первых излияний. – Слава богу, свет не клином сошелся. Не пропадешь и без отцовских капиталов. Ох, через золото много напрасных слез льется! Тоже видывали достаточно всячины!

Харитона Артемьевича не было дома, – он уехал куда-то по делам в степь. Агния уже третий день гостила у Харитины. К вечеру она вернулась, и Галактион удивился, как она постарела за каких-нибудь два года. После выхода замуж Харитины у нее не осталось никакой надежды, – в Заполье редко старшие сестры выходили замуж после младших. Такой уж установился обычай. Агния, кажется, примирилась с своею участью христовой невесты и мало обращала на себя внимания. Не для кого было рядиться.

– Ну, а что зелье-то наше? – сурово спросила ее Анфуса Гавриловна, – она все больше и больше не любила Харитину.

– Ничего... Два новых платья заказала да соболий воротник велела переделать.

– Наказал меня господь дочкой, – жаловалась Анфуса Гавриловна зятю. – Полуштофова жена модница, а эта всех превзошла. Ох, плохо дело, Галактион!.. Не кончит она добром.

Вечером, когда уже подали самовар, неожиданно приехала Харитина. Она вошла, не раздеваясь, прямо в столовую, чтобы показать матери новый воротник. Галактион давно уже не видал ее и теперь был поражен. Харитина сделалась еще красивее, а в лице ее появилось такое уверенное, почти нахальное выражение.

– А, деревенская родня приехала! – здоровалась Харитина с гостем, по своему обыкновению глядя прямо ему в лицо. – Надолго ли?

– Не знаю, как поживется.

– Оставайся на святки. Будем веселиться напропалую.

– Это у тебя веселье только на уме, – оговорила мать. – У других на уме дело, а у тебя пустяки.

– Что же, мамаша, не всем умным быть.

– Да ты сядь, не таранти. Ох, не люблю я вот таких-то верченых! Точно сорока на колу.

– Что же, я и разденусь. Хотела только показать вам, мамаша, новый воротник. Триста рублей всего стоит.

Харитину задело за живое то равнодушие, с каким отнесся к ней Галактион. Она уже привыкла, чтобы все ухаживали за ней. Снимая шубку, она попросила его помочь.

– Не умеешь помочь раздеться, увалень! – пошутила она. – Привык с деревенскими бабами обращаться!

На Галактиона так и пахнуло душистою волной, когда он подошел к Харитине. Она была в шерстяном синем платье, красиво облегавшем ее точеную фигуру. Она нарочно подняла руки, делая вид, что поправляет волосы, и все время не спускала с Галактиона своих дерзких улыбающихся глаз.

– Что, хороша? – сказала она и засмеялась.

– Перестань ты, бесстыдница! – заворчала Анфуса Гавриловна. – Хоть и зять, а все-таки мужчина. Что руки-то задираешь, срамница?

– Я в корсете, мамаша.

Галактион опустил глаза, чувствуя, как начинает краснеть. Ему как-то вся кровь бросилась в голову. Агния смотрела на него добрыми глазами и печально улыбалась. Она достаточно насмотрелась на все штуки сестрицы Харитины.

– Ну, а что твоя деревенская баба? – спрашивала Харитина, подсаживаясь к Галактиону с чашкой чая. – Толстеет? Каждый год рожает ребят?.. Ха-ха! Делать вам там нечего, вот и плодите ребятешек. Мамаша, какой милый этот следователь Куковин!.. Он так смешно ухаживает за мной.

– Да будет тебе! – сердито крикнула Анфуса Гавриловна. – Не пристало нам твои-то гадости слушать... Постыдилась бы хоть Галактиона.

– Что мне его стыдиться, мамаша? Дело прошлое: я была в него сама влюблена. Даже отравиться хотела. И он...

– Будет! Перестань, срамница!

Анфуса Гавриловна была рада, когда Харитина начала собираться. Ей нужно было еще захватить к портнихе, в два магазина, потом к сестре Евлампии, потом еще в два места. Когда Галактион надевал ей шубку, Харитина успела ему шепнуть:

– А помнишь, дурачок, как я тебя целовала? Я тебя все еще немножко люблю... Приезжай ко мне с визитом. Поговорим.

Никогда еще Галактион не был так несчастлив, как в эту первую ночь в Заполье. Ему было как-то особенно больно и обидно. Что будет? Как он будет жить? А тут еще Харитина! Эта встреча была последнею каплей в чаше испытаний. Разве она такая была? Да, она сейчас красивее, в полном расцвете молодости, а ему было больно на нее смотреть. Какое у нее сделалось нахальное лицо, как она смотрит, какие движения, какие слова! И не стыдно... Галактион с каким-то ужасом думал об этой погибшей душе, припоминая свое минутное увлечение. Да, она тогда была другая, – такая чистая, нетронутая, красивая именно этою своею чистотою. А теперь кто ее окружает? Какие разговоры она слышит? Что ее интересует? Если б она гнала, что у него сейчас на душе и как ему больно за нее! О ее выходке тогда на мельнице, у кровати больного отца, он как-то даже забыл и не придавал этому особенного значения. Так, молодая глупость. Кровь молодая расходилась. А теперь уже совсем другое...

Галактион лежал и думал о Харитине, думал и сердился, что думает именно о ней, а не о своих детях.

IV

Отправляясь в первый раз с визитом к своему другу Штоффу, Галактион испытывал тяжелое чувство. Ему еще не случалось фигурировать в роли просителя, и он испытывал большое смущение. А вдруг Штофф сделает вид, что не помнит своих разговоров на мельнице? Все может быть.

Штофф был дома и принял гостя с распростертыми объятиями. Он по-русски расцеловался с Галактионом из щеки в щеку.

– Слышал, слышал, голубчик, – повторил он. – Этим и должно было кончиться... Чем скорее, тем лучше.

– Откуда вы узнали, Карл Карлыч? – удивился Галактион.

– А сорока на хвосте принесла... Право, отлично. Одобряю.

Штофф занимал очень скромную квартиру. Теперь небольшой деревянный домик принадлежал уже ему, потому что был нужен для ценза по городским выборам. Откуда взял немец денег на покупку дома и вообще откуда добывал средства – было покрыто мраком неизвестности. Галактион сразу почувствовал себя легче в этих уютных маленьких комнатах, – у него гора свалилась с плеч.

– Будем устраиваться... да... – повторял Штофф, расхаживая по комнате и потирая руки. – Я уже кое-что подготовил на всякий случай. Ведь вы знаете Луковникова? О, это большая сила!.. Он знает вас. Да... Ничего, помаленьку устроимся. Знаете, нужно жить, как кошка: откуда ее ни бросьте, она всегда на все четыре ноги встанет.

Было часов одиннадцать, и Евлампия Харитоновна еще спала, чему Галактион был рад. Он не любил эту модницу больше всех сестер. Такая противная бабенка, и ее мог выносить только один Штофф.

– Одного у нас нет, – проговорил хозяин, заметив, как гость оглядывает обстановку. – Недостает деточек... А я так люблю детей. Да... Вот у вас целых трое.

– Заботы много с детьми.

– А для чего же тогда жить?

Взглянув на часы, Штофф прибавил совсем другим тоном:

– Скоро двенадцать. Поедьте в думу. Там сразу со всеми перезнакомитесь.

– Да я, кажется, и без того всех знаю.

– Нет, то другое... Мало ли кого можно встретить на свадьбе, – это в счет у нас нейдет.

У Штоффа была уже своя выездная лошадь, на которой они и отправились в думу. Галактион опять начал испытывать смущение. С чего он-то едет в думу? Там все свои соберутся, а он для всех чужой. Оставалось положиться на опытность Штоффа. Новая дума помещалась рядом с полицией. Это было новое двухэтажное здание, еще не оштукатуренное. У подъезда стояло несколько хозяйских экипажей.

– Здесь вы всех найдете, – объяснял Штофф, здороваясь с представительным швейцаром. – Тарас Семеныч здесь?

– Точно так-с, – вытянувшись по-солдатски, ответил швейцар.

Поднявшись по лестнице во второй этаж, они прошли куда-то направо, откуда доносился гул споривших голосов. Большая комната, затянутая табачным дымом, с длинным столом посередине, походила на железнодорожный буфет. На столе кипело два самовара, стояла чайная посуда, а кругом стола разместились представители местного самоуправления.

– Господа, я привел к вам дорогого гостя! – громко отрекомендовал Штофф своего спутника. – Прошу любить и жаловать!

Подхватив Галактиона под руку, Штофф повел его вокруг стола, рекомендуя всем:

– Тараса Семеныча вы знаете? А это два купца Ивановых... три купца Поповых... старший городской врач Кацман, а это его помощник, доктор медицины Кочетов... член управы Голяшкин.

– Ба, ба! – крикнул знакомый голос.

Это был Полуянов. Он обнял Галактиона и расцеловал.

– Слышал, батенька... как же! Вчера жена что-то такое рассказывала про тебя и еще жаловалась, что шубы не умеешь дамам подавать. Ничего, выучим... У нас, батенька, все попросту. Живем одною семьей.

Член управы Голяшкин, рослый и краснощекий детина, все время смотрел на Галактиона какими-то масляными глазами и сладко улыбался. Он ужасно походил на вербного херувима, хотя и простой работы. Выждав, когда все перездоровались, Голяшкин подошел к Галактиону, крепко пожал ему руку и каким-то сладким голосом проговорил:

– Очень, очень рады, Галактион Михеич. Мы здесь все попросту. Да... Одною семьей.

Херувим страдал манией повторять чужие слова, точно эхо. Проделав свою партию, он подсел к столу и широко вздохнул. Рядом с ним сидел доктор Кочетов, красивый черноволосый мужчина лет тридцати. Молодое лицо доктора носило явные следы усиленного пьянства – кожа на лице была красная, потная, глаза опухли и слезились, нос просвечивал синими жилками. Галактион почему-то обратил особенное внимание на эту типичную пару. Впрочем, и вся остальная компания не напоминала праведников, за исключением Луковникова, резко выделявшегося своею степенностью и благообразною старостью.

– Ну, что родитель, какво прыгает? – спросил он Галактиона, улыбаясь одними глазами. – Завязали вы нам узелок с вашей мельницей... да.

– Так уж вышло, Тарас Семеныч, – оправдывался Галактион смущаясь. – Обижать никого не хотели.

– Что же, дело житейское, – проговорил старик и вздохнул. – К тестю в гости приехал, Галактион Михеич?

– Да... Может быть, вам говорил что-нибудь Карл Карлыч?

– Ах, да, да!.. Ндравный старик. Ничего, как-нибудь устроимся. Заходи ко мне, – потолкуем.

Солидный старик очень понравился Галактиону. Не то, что тятенька Михей Зотыч. Мысль об отце у Галактиона являлась теперь в какой-то обидной форме. Ему казалось, что Тарас Семеныч смотрит на него с сожалением.

Чай продолжался довольно долго, и Галактион заметил, что в его стакане все больше и больше прибавляется рому. Набравшаяся здесь публика произвела на него хорошее впечатление своей простотой и откровенностью. Рядом с Галактионом оказался какой-то ласковый седенький старичок, с утиным носом, прилизанными волосами на височках и жалобно моргавшими выцветшими глазками. Он все заглядывал ему в лицо и повторял:

– Очень мы рады... Да, рады.

– Господа, что мы тут напрасно время теряем? – провозгласил захмелевший Полуянов. – Едем!

Все разом поднялись, как по команде, и, не прощаясь друг с другом, повалили к двери. Галактион догнал Штоффа уже на лестнице и начал прощаться.

– Ну, это дудки! – заявил немец. – У нас так не играют!.. Едем!

– Куда?

– А вот увидите.

От думы они поехали на Соборную площадь, а потом на главную Московскую улицу. Летом здесь стояла непролазная грязь, как и на главных улицах, не говоря уже о предместьях, как Теребиловка, Дрекольная, Ерзовка и Сибирка. Миновали зеленый кафедральный собор, старый гостинный двор и остановились у какого-то двухэтажного каменного дома. Хозяином оказался Голяшкин. Он каждого гостя встречал внизу, подхватывал под руку, поднимал вверх и передавал с рук на руки жене, испитой болезненной женщине с испуганным лицом.

– Милости просим, господа! – повторял хозяин. – У нас все попросту!.. Пожалуйста!

Галактиона удивило, что вся компания, пившая чай в думе, была уже здесь – и двое Ивановых, и трое Поповых, и Полуянов, и старичок с утиным носом, и доктор Кочетов. Галактион подумал, что здесь именины, но оказалось, что никаких именин нет. Просто так, приехали – и делу конец. В большой столовой во всю стену был поставлен громадный стол, а на нем десятки бутылок и десятки тарелок с закусками, – у хозяина был собственный ренсковый погреб и бакалейная торговля.

– Вот теперь мы добрались и до настоящего фундамента, – повторял Полуянов, расхаживая по комнате с видом человека, вернувшегося домой. – Галактион, выпьем.

– Да я не пью, Илья Фирсыч... Так разве, одну рюмочку.

– Э-э! у нас между первой и второй рюмкой не дышат... У нас попросту.

Выпитые две рюмки водки с непривычки сильно подействовали на Галактиона. Он как-то вдруг почувствовал себя и тепло и легко, точно он всегда жил в Заполье и попал в родную семью. Все пили и ели, как в трактире, не обращая на хозяина никакого внимания. Ласковый старичок опять был около Галактиона и опять заглядывал ему в лицо своими выцветшими глазами.

– А я ведь знавал Михея-то Зотыча, – говорил он, подвигая стул ближе к Галактиону. – Еще там, на заводах... Как же! У него три сына было, три молодца.

Дальше события немножко перепутались. Галактион помнил только, что поднимался опять куда-то во второй этаж вместе с Полуяновым и что шубы с них снимала красивая горничная, которую Полуянов пребольно щипнул. Потом их встретила красивая белокурая дама в сером шелковом платье. Кругом были все те же люди, что и в думе, и Голяшкин обнимал при всех белокурую даму и говорил:

– А вот эта сестрица Пашенька. У нас все попросту. Давайте, Пашенька, поцелуемтесь.

Брат и сестра громко расцеловались. Потом Пашенька очутилась около Галактиона и ласково говорила:

– А вы забыли, как я на вашей свадьбе была? Как же, мы тогда еще с Харитиной русскую отплясывали. Какие мы тогда глупые были: ничего-то, ничего не понимали. Совсем девчонки.

Кругом все пили, хлопая рюмку за рюмкой. Вместе с другими пил и Галактион, то есть заставляла его пить Пашенька. Он видел ее белые, точно налитые молоком руки, и эти руки подавали ему одну рюмку за другой. Пашенька смеялась и садилась так близко к гостю, что своим плечом касалась его. Что-то такое горячее прилило к самому сердцу Галактиона, ему вдруг захотелось веселиться и называть хозяйку тоже Пашенькой, как Голяшкин, но в самый интересный момент опять появился старичок с утиным носом и помешал. Галактион рассердился и чуть не наговорил дерзостей. Пашенька во-время отвела его в сторону и прошептала на самое ухо с милой интимностью:

– Будьте осторожны... Это наш миллионер Нагибин. У него единственная дочь невеста, и он выскивает ей женихов. Вероятно, он не знает, что вы женаты. Постойте, я ему скажу.

Она действительно что-то поговорила старичку, и тот моментально исчез, точно в воду канул. Потом Галактион поймал маленькую теплую руку Пашеньки и крепко пожал ее. У Пашеньки даже слезы выступили на глазах от боли, но она стерпела и продолжала улыбаться.

– У нас попросту... да... – проговорил Голяшкин над самым ухом Галактиона и захохотал. – Пашенька, поцелуемся.

Пашенька вскочила и убежала.

Потом Галактион что-то говорил с доктором, а тот его привел куда-то в дальнюю комнату, в которой лежал на диване опухший человек средних лет. Он обрадовался гостям и попросил рюмочку водки.

– Это муж Прасковьи Ивановны, – рекомендовал доктор, считая пульс у больного. – Вот что делает водочка, а какой был богатырь!

– Рюмочку, – мычал больной.

В этот момент в комнату ворвалась Пашенька, и больной закрыл голову подушкой. Она обругала доктора и увела Галактиона за руку.

Дальше, кажется, был обед. Пашенька опять сидела рядом с Галактионом и угощала его виноградом, выбирая самые крупные ягоды своими розовыми пальчиками.

V

Странное было пробуждение Галактиона. Он с трудом открыл глаза. Голова была точно налита свинцом. Он с удивлением посмотрел кругом. Комната совершенно незнакомая, слабо освещенная одной свечой под зеленым абажуром. Он лежал на широком кожаном диване. Над его головой на стене было развешено всевозможное оружие.

– Где я? – вслух подумал Галактион, не узнавая собственного голоса.

Он напрасно старался припомнить последовательный ход событий, – они обрывались Пашенькой, а что было дальше, он не помнит, как не помнит, как попал в эту комнату. Э, все равно!.. Галактион хотел опять заснуть, но почувствовал, что ему что-то мешает. Это была не головная боль, а что-то внешнее, что-то такое, что было вот в этой комнате. Он приподнялся на локоть и стал внимательно осматривать комнату. Вдруг он вздрогнул – у дальнего конца письменного стола, совсем в тени, в глубоком кресле сидела неподвижная женская фигура. Ему сделалось страшно. Лица ее нельзя было рассмотреть, но он узнал ее, потому что чувствовал, как она пристально смотрит на него.

– Харитина, это ты?

Она молчала.

– Харитина!

Фигура поднялась, с трудом перешла комнату и села к нему на диван, так, чтобы свет не падал на лицо. Он заметил, что лицо было заплакано и глаза опущены. Она взяла его за руку и опять точно застыла.

– Харитина, я был пьян, как скотина... в первый раз в жизни. Я себя презираю... и ты... и все...

– Что же тут особенного? – с раздражением ответила она. – Здесь все пьют. Сколько раз меня пьяную привозили домой. И тоже ничего не помнила. И мне это нравится. Понимаешь: вдруг ничего нет, никого, и даже самой себя. Я люблю кутить.

– Перестань говорить глупости! Ты прикидываешься такой, а сама совсем не такая.

– А какая я?

Она подвинулась совсем близко к его лицу и, заглядывая в глаза, с нетерпением спрашивала:

– Ну, говори... говори, какая я?

– Ты?

Галактион с трудом перекатил голову на подушке, закрыл глаза и ответил шепотом:

– Хорошая... вся хорошая.

Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. Он видел только, как вздрагивала эта высокая лебединая грудь, видел эти удивительные руки, чудные русалочьи волосы и чувствовал, что с ним делается что-то такое большое, грешное, бесповоротное и чудное. О, только один миг счастья, тень счастья! Он уже протянул к ней руки, чтоб схватить это гибкое и упругое молодое тело, как она испуганно отскочила от него.

– Галактион, не нужно!.. Галактион, оставь!.. Этого не нужно, не нужно, не нужно!

– Ну, иди, глупая, сюда... Не бойся, не трону.

– Я сейчас...

Она своею грациозною, легкою походкой вышла и через минуту вернулась с мокрым полотенцем, бутылкой сельтерской воды и склянкой нашатырного спирта. Когда он с жадностью выпил воду, она велела ему опять лечь, положила мокрое полотенце на голову и дала понюхать спирта. Он сразу отрезвел и безмолвно смотрел на нее. Она так хорошо и любовно ухаживала за ним, как сестра, и все выходило у нее так красиво, каждое движение.

– Не смотри на меня так, Галактион... Не хорошо.

– Не буду.

Он закрыл глаза и слышал, как она села опять к нему. Он чувствовал близость этого молодого, цветущего тела, точно окруженного благоухающим облаком, слышал, как она порывисто дышала, и не мог только разобрать, чье это сердце так сильно бьется – его или ее. Это был его ангел-хранитель.

– Харитина, помнишь мою свадьбу? – заговорил он, не открывая глаз, – ему страстно хотелось исповедаться. – Тогда в моленной... У меня голова закружилась... и потом весь вечер я видел только тебя. Это грешно... я мучился... да. А потом все прошло... я привык к жене... дети пошли... Помнишь, как ты меня целовала тогда на мельнице?

Она сделала нетерпеливое движение.

– Подожди, – говорил он. – Я знаю, что это пустяки... Тебе просто нужно было когонибудь любить, а тут я подвернулся...

– Скажи одно: ты думал когда-нибудь обо мне?

– О, часто!.. Было совестно, а все-таки думал. Где-то она? что-то она делает? что думает? Поэтому и на свадьбу к тебе не приехал... Зачем растревлять и тебя и себя? А вчера... ах, как мне было вчера тяжело! Разве такая была Харитина! Ты нарочно травила меня, – я знаю, что ты не такая. И мне так было жаль тебя и себя вместе, – я как-то всегда вместе думаю о нас обоих.

– А жена?

Он опять сделал движение, она опять отскочила.

– Я уйду совсем, если ты не будешь лежать смирно... Вытяни руку вот так. Ну, будь теперь паинькой.

Она опять села около него и заговорила, быстро роняя слова, точно боялась, что не успеет высказать всего.

– Тогда я была девчонкой и не знала, что такое значит любить... да. А теперь я... я тебя не люблю...

Он схватил ее и привлек к себе. Она не сопротивлялась и только смотрела на него своими темными большими глазами. Галактион почувствовал, что это молодое тело не отвечает на его безумный порыв ни одним движением, и его руки распустились сами собой.

– Не люблю... не люблю, – повторяла она и даже засмеялась, как русалка. – Ты сильнее меня, а я все-таки не люблю... Милый, не обижайся: нельзя насильно полюбить. Ах, Галактион, Галактион!.. Ничего ты не понимаешь!.. Вот ты меня готов был задушить, а не спросишь, как я живу, хорошо ли мне? Если бы ты действительно любил, так первым бы делом спросил, приласкал, утешил, разговорил... Тошно мне, Галактион... вот и сейчас тошно.

Галактион слушал эту странную исповедь и сознавал, что Харитина права. Да, он отнесся к ней по-звериному и, как настоящий зверь, схватил ее давеча. Ему сделалось ужасно совестно. Женатый человек, у самого две дочери на руках, и вдруг кто-нибудь будет так-то по-звериному хватать его Милочку... У Галактиона даже пошла дрожь по спине при одной мысли о такой возможности. А чем же Харитина хуже других? Дома не у чего было жить, вот и выскочила замуж за первого встречного. Всегда так бывает.

– Харитина, у тебя есть муж... – вдруг проговорил Галактион.

– Муж? – повторила она и горько засмеялась. – Я его по неделям не вижу... Вот и сейчас закатился в клуб и проиграет там до пяти часов утра, а завтра в уезд отправится. Только и видела... Сидишь-сидишь одна, и одурь возьмет. Тоже живой человек... Если б еще дети были... Ну, да что об этом говорить!.. Не стоит!

Потом она прибавила совсем другим тоном:

– Ступай умойся да приходи в столовую чай пить.

От этих разговоров и холодной воды Галактион совсем отрезвился. Ему теперь было совестно вообще, потому что он в первый раз попал к Харитине в таком виде.

Обстановка в квартире Полуянова была устроена на господскую руку. Не было той трактирной роскоши, как у Малыгиных, а все по-своему. Какие-то мудреные столики, кушетки, картины, альбомы, даже рояль в зале. Столовая тоже отличалась и громадным буфетом, походившим на орган в католической церкви, и неудобными, но дорогими резными стульями, и мудреною сервировкой. Харитина необыкновенно скоро вошла во вкус новой обстановки и устраивала все, как у других, то есть главным образом как у Стабровских. Она показала Галактиону свою спальню, поразившую его своею роскошью: две кровати красного дерева стояли под каким-то балдахином, занавеси на окнах были из розового шелка, потом великолепный мраморный умывальник, дорогой персидский ковер во весь пол, а туалет походил на целый магазин.

– Муж откупается от меня вот этими пустяками, – объясняла Харитина. – Ни одной вещи в доме не осталось от его первой жены... У нас все новое. Нравится тебе?

– Право, не знаю... К чему все это нагорожено?

– Как к чему?.. Ах ты, глупый! Посмотрел бы ты, как все устроено у Стабровских... Мне и во сне не видать такой роскоши. Что стоит им, миллионерам...

Когда они вошли в столовую, Харитина проговорила уже другим тоном:

– А знаешь, кто тебя привез сюда?

– Илья Фирсыч, конечно.

– А вот и нет... Сама Прасковья Ивановна. Да... Мы с ней большие приятельницы. У ней муж горький пьяница и у меня около того, – вот и дружим... Довезла тебя до подъезда, вызвала меня и говорит: «На, получай свое сокровище!» Я ей рассказывала, что любила тебя в девицах. Ух! умная баба!.. Огонь. Смотри, не запутайся... Тут не ты один голову оставил.

– То у меня и на уме... Тоже и сказала.

– Мало ли у кого что на уме, а выходит совсем наоборот. На словах-то все города берут.

Потом Харитина вдруг замолчала, пригорюнилась и начала смотреть на Галактиона такими глазами, точно видела его в первый раз. Гость пил чай и думал, какая она славная, вот эта Харитина. Эх, если б ей другого мужа!.. И понимает все и со всяким обойтись умеет, и развеселится, так любо смотреть.

– А муж тебя любит?

– Очень... Раза два колотил.

– Как колотил?

– Да так, как бьют жен. Все это знают... Ревнует он меня до смерти, – ну, такие и побои не в обиду. Прислуга разболтала по всему городу.

– И ты так говоришь об этом?

Она засмеялась.

– Не беспокойся, в долгу не останусь... ха-ха! Не знал, за что бить-то.

– Что ты говоришь, Харитина?

– А мне что!.. Какая есть... Старая буду, грехи буду замаливать... Ну, да не стоит о наших бабьих грехах толковать: у всех у нас один грех. У хорошего мужа и жена хорошая, Галактион. Это уж всегда так.

Еще вчера Галактион мог бы сказать ей, как все это нехорошо и как нужно жить по-настоящему, а сегодня должен был слушать и молчать.

– Муж-то побьет, а мил-сердечный друг приласкает, да приголубит, да пожалеет... Без побоев тоже и совестно, а тут оно и сойдет за настоящее. Так-то вот.

Галактион перевел разговор на другое. Он по-купчески оценил всю их обстановку и прикинул в уме, что им стоило жить. Откуда у исправника могут такие деньги взяться? Ведь не щепки, на дороге не подынешь.

– Уж это не мое дело, – равнодушно ответила Харитина. – Когда на молодых женятся, так о деньгах не думают.

– Может, раньше скопил?

– Не знаю и не хочу знать.

– А ежели он попадетя и место потеряет, тогда как?

– Тоже не знаю... Да и все равно мне. Ох, как все равно!

Этот первый визит оставил в Галактионе неизгладимое впечатление. Что-то новое хлынуло на него, совсем другая жизнь, о какой он знал только понаслышке. Харитина откачнулась от своего купечества и жила уже совсем по-другому. Это новое уже было в Заполье, вот тут, совсем близко.

Домой Галактион вернулся поздно. В столовой его ждала Анфуса Гавриловна. Старушка не могла заснуть, поджидая зятя.

– Ты это что же, Галактион Михеич? – с тихим упреком проговорила она.

– Мамаша, ничего не говорите: в первый и последний раз.

– Да я не про то, что ты с канпанией канпанился, – без этого мужчине нельзя. Вот у Харитины-то что ты столько времени делал? Муж в клубе, а у жены чуть не всю ночь гость сидит. Я уж раз с пять Аграфену посылала узнавать про тебя. Ох, уж эта мне Харитина!..

VI

Штофф не дремал. Он отлично помнил все, что говорил Галактиону на мельнице, и на первое время пристроил его к «бубновскому конкурсу». Пьянствовавший запольский коммерсант отчаяннейшим образом запустил всю свою коммерцию и в заключение отказался платить кредиторам. Пришлось назначить конкурс, председателем которого был старик Луковников, а членами адвокат Мышников и несколько купцов. Вот на помощь этому конкурсу Луковников и пригласил Галактиона, потому что купцы не желали работать, а Мышников не понимал практики коммерческих запольских тонкостей.

– Молодой человек, постарайся, – наставительно говорил Луковников покровительствовавший Галактиону, – а там видно будет... Ежели в отца пойдешь, так без хлеба не останешься.

С своей стороны Штофф предупредил Галактиона, чтобы он обратил особенное внимание на Мышникова.

– Этот далеко пойдет... да. Ухо с ним надо остро держать... А впрочем, мужик умный и серьезный.

Видимо, Штофф побаивался быстро возраставшей репутации своего купеческого адвоката, который быстро шел в гору и забирал большую силу. Главное, купечество верило ему. По наружности Мышников остался таким же купцом, как и другие, с тою разницей, что носил золотые очки. Говорил он с рассчитанною грубоватою простотой и вообще старался держать себя непринужденно и с большим гонором. К Галактиону он отнесся подозрительно и с первого раза заявил:

– Решительно не понимаю, что вы тут будете делать, Галактион Михеич. Нам и без вас делать нечего.

А между тем в тот же день Галактиону был прислан целый ворох всевозможных торговых книг для проверки. Одной этой работы хватило бы на месяц. Затем предстояла сложная поверка наличности с поездками в разные концы уезда. Обрадовавшийся первой работе Галактион схватился за дело с медвежьим усердием и просиживал над ним ночи. Это усердие не по разуму встревожило самого Мышникова. Он под каким-то предлогом затащил к себе Галактиона и за стаканом чая, как бы между прочим, заметил:

– Вы что это, батенька, надрываетесь над конкурсом?

– Да так... Надобно привести все в известность, Павел Степаныч. Что же тянуть?

– Да тут и тянуть нечего: дело ясно как день. В сущности никакой и несостоятельности нет, а одно бубновское беспросыпное пьянство.

– Тем более...

– Ну, торопятся только блох ловить, – загадочно ответил Мышников и посмотрел на Галактиона через очки.

Галактион только теперь понял, в чем дело. Конкурс Бубнова составлял статью постоянного дохода, и чем дольше он будет тянуться, тем выгоднее для членов конкурса, получавших определенное жалованье и, кроме того, известный процент с «конкурсной массы»...

– Да, дело совершенно верное, – тянул Мышников. – И даже очень глупое... А у Прасковьи Ивановны свой отдельный капитал. Притом дни самого Бубнова уже сочтены... Мне говорил доктор... ну, этот сахар, как его... Кочетов. Он тут что-то этакое вообще... Да, нам положительно некуда так торопиться.

Жил Мышников очень просто, на чиновничью ногу. Он не был женат, хотя его уютная квартира и говорила о семейных наклонностях хозяина.

Галактион понял только одно, что производилось разорение спившегося купца на самом законном основании, а затем, что деньги можно получать совершенно даром. Он мог уже существовать с семьей только на жалованье с конкурса. В первый еще раз Галактиону пришлось столкнуться с нечистым делом, и он поколебался, продолжать его или бросить в самом начале. Но ведь не он, так на его место найдется десяток других охотников, притом во главе конкурса стоял такой почтенный человек, как старик Луковников; наконец, ему не из чего было выбирать, а жить было нужно. Чтобы оправить себя в своих собственных глазах, Галактион решил, что будет участвовать в конкурсе пока, до приискания настоящего дела. Он именно жаждал этого настоящего дела, а не темной наживы.

– А ты, брат, не сомневайся, – уговаривал его Штофф, – он уже был с Галактионом на «ты». – Как нажиты были бубновские капиталы? Тятенька был приказчиком и ограбил хозяина, пустив троих сирот по миру. Тут, брат, нечего церемониться... Еще темнее это винокуренное дело. Обрати внимание.

Винокуренный завод интересовал Галактиона и без этих указаний. Главное затруднение при выяснении дела заключалось в том, что завод принадлежал Бубнову наполовину с Евграфом Огибениным, давно уже пользовавшимся невменяемостью своего компаньона и ловко хоронившим концы. Потом оказалось, что и сам хитроумный Штофф тоже был тут при чем-то и потому усиленно юлил перед Галактионом. Все-таки свой человек и, в случае чего, не продаст. Завод был небольшой, но давал солидные средства до сих пор.

По конкурсным делам Галактиону теперь пришлось бывать в бубновском доме довольно часто. Сам Бубнов по болезни не мог являться в конкурс для дачи необходимых объяснений, да и дома от него трудно было чего-нибудь добиться. На выручку мужа являлась обыкновенно сама Прасковья Ивановна, всякое объяснение начинавшая с фразы:

– У меня свой капитал, и я ничего не понимаю в делах.

Но это была только одна отговорка. Она отлично понимала всякие дела, хотя и относилась к конкурсу совершенно равнодушно.

– Она ждет не дождется, когда муж умрет, чтобы выйти замуж за Мышникова, – объяснила Харитина эту политику. – Понимаешь, влюблена в Мышникова, как кошка. У ней

есть свои деньги, и ей наплевать на мужнины капиталы. Все равно прахом пойдут.

С Галактионом Прасковья Ивановна держалась на деловую ногу, хотя и не прочь была покочетничать слегка. Все-таки нужный человек и может пригодиться. Галактион отлично понимал только одно, что она находится под каким-то странным влиянием своего двоюродного брата Голяшкина и все делает по его совету. В конкурсной массе были явные следы хозяйничанья этого сладкого братца, и Галактион сильно его подозревал в больших плутнях. Вообще, чем дальше в лес, тем больше дров. Братец умильно старался ухаживать за Галактионом, хотя и не знал, с какой стороны к нему подступиться. Он что-то не договаривал и только воровато шмыгал глазами. Галактион почему-то чувствовал уже себя неловко, когда появлялся этот братец. Да и появлялся он всегда как-то неожиданно, точно вырастал из земли.

Главное действующее лицо всех этих происков, вожделий и тайных желаний не принимало никакого участия в общей суматохе. Большой обыкновенно лежал в своем кабинете на широком клеенчатом диване и бессмысленно смотрел куда-нибудь в одну точку. Когда к нему входил Галактион, он сначала смотрел на него испуганными глазами, напрасно стараясь припомнить, кто это такой. Как он страдал, этот несчастный пропойца!.. Лицо получало какой-то зеленоватый трупный оттенок, на лбу выступал холодный пот, кулаки судорожно сжимались, лицо кривилось ужасною улыбкой.

– Мн... мадерцы, – хрипел он.

Бубнов пил только мадеру и без нее не мог ни двигаться, ни говорить. Шелест женина платья попрежнему его пугал, и больной делал над собой страшное усилие, чтобы куда-нибудь не спрятаться. Для дела он был совершенно бесполезен, и Галактион являлся к нему только для проформы. Раз Бубнов отвел его в сторону и со слезами на глазах проговорил:

– Вы сделаете для меня?

– Что такое сделать?

– Нет, вы скажите: сделаете?

– Ну хорошо, сделаю.

Большой подвел его к какому-то угловому шкафику и шепотом проговорил:

– Голубчик, поймайте его... Он там всегда прячется.

– Кто он?

– А чертик... такой зелененький!

Что было тут говорить? Больной несколько раз избавлялся от своих галлюцинаций, а потом начиналась та же история.

В бубновском доме Галактион часто встречал доктора Кочетова, который, кажется, чувствовал себя здесь своим человеком. Он проводил свои визиты больше с Прасковьей Ивановной, причем обязательно подавалась бутылка мадеры. Раз, встретив выходящего из кабинета Галактиона, он с улыбкой заметил:

– Что вы мучите напрасно Ефима Назарыча?

– Такое уж дело, доктор... Не для собственного удовольствия.

– Ха-ха! Мне нравится этот вежливый способ грабежа. Да... Не только ограбят, но еще спросят, с которого конца. Все по закону, главное... Ах, милые люди!

Галактион вспыхнул и готов был наговорить доктору дерзостей, но выручила Прасковья Ивановна.

– Да ведь и вы, доктора, тоже хороши, – азартно вступилась она. – Также по закону морите живых людей... Прежде человек сам умирал, а нынче еще заплати доктору за удовольствие помереть.

– Что же, вы правы, – равнодушно согласился доктор, позабыв о Галактионе. – И мы тоже... да. Ну, что лечить, например, вашего супруга, который представляет собой пустую бочку из-под мадеры? А вы приглашаете, и я еду, прописываю разную дрянь и не имею права отказать. Также комедия на законном основании.

Провожая Галактиона в переднюю, Прасковья Ивановна с милою интимностью проговорила:

– Доктор очень милый человек, но он сегодня немного того... понимаете? Ну, просто пьян! Вы на него не обижайтесь.

– Да я, кажется, ничего не сказал. Вы сами можете подумать то же самое.

– Я-то? Ах, мне решительно все равно!

Эта первая неудачная встреча не помешала следующим, и доктор даже понравился Галактиону, как человек совершенно другого, неизвестного ему мира. Доктор постоянно был под хмельком и любил поговорить на разные темы, забывая на другой день, о чем говорилось вчера.

– А у вас все Мышников орудует? – спрашивал доктор почти при каждой встрече. – О, у него громадный аппетит!.. Он вас всех слопаёт.

Доктор почему-то ненавидел этого адвоката. Прасковья Ивановна пользовалась, чтобы поддразнить его.

– Вы просто ревнуете Павла Степаныча, доктор. Вам завидно, что он тоже образованный. Да, из нашего, из купеческого звания и образованный... Умница.

– Вот посмотрим, что вы заговорите, когда он вас оберет, как липку.

– Да я сама бы ему с радостью все отдала: на, милый, ничего не жаль. И деньги, доктор, к рукам.

Эти разговоры кончались обыкновенно тем, что доктор выходил из себя и начинал ругать Мышникова, а если был трезв, то брал шапку и уходил. Прасковья Ивановна провожала его улыбающимися глазами и только качала своею белокурою головкой.

Раз доктор приехал сильно навеселе. Прасковьи Ивановны не было дома.

– Вы все еще жилы тянете из моего пациента? – спросил он Галактиона сильно заплетавшимся языком. – И я тоже... С двух сторон накаливаем. Да?

– Вы это так говорите, доктор, без толку.

– Нет, с толком, ваше степенство. Вы нигде не учились, Галактион Михеич?

– Нет, нигде. Раскольничья своя мастерица кое-как грамоте обучила.

– Это ваше счастье... да... Вот вы теперь будете рвать по частям, потому что боитесь влопаться, а тогда, то есть если бы были выучены, начали бы глотать большими кусками, как этот ваш Мышников... Я знаю несколько таких полированных купчиков, и все на одну колодку... да. Хоть ты его в семи водах мой, а этой вашей купеческой жадности не отмыть.

– Это тоже глядя по человеку, доктор. Разные и купцы бывают.

– Разные-то разные, а жадность одна. Вот вас взять... Молодой, неглупый человек... отлично знаете, как наживаются все купеческие капиталы... Ну, и вы хотите свою долю урвать? Ведь хотите, признайтесь? Меня вот это и удивляет, что в вас во всех никакой совести нет.

– Вы это правильно, а только суди на волка, суди и по волку, – так пословица говорится, доктор. Видали мы и настоящих господ, и господ иностранцев, какие они узоры-то выводят? Еще нас поучат.

– Да, бывает... Все бывает. Слопаёте все отечество, а благодарных потомков пустите по миру... И на это есть закон, и, может быть, самый страшный: борьба за существование. Оберете вы все Зауралье, ваше степенство.

Слушая ожесточенные выходки доктора, Галактион понимал только одно, что он действительно полный неуч и даже не знает настоящих образованных слов.

VII

Старик Луковников, сделавшись городским головой, ни на волос не изменил образа своей жизни. Он по-прежнему жил в нижнем этаже в своих маленьких каморках, а наверху принимал только гостей в торжественные дни именин и годовых праздников. Крепкий был

старик и крепко жил, не в пример другим прочим. Устенке было уже двенадцать лет, и у отца с ней вместе росла большая забота. Сам-то вот прожил век по старинке, а дочери уж как будто и не приходится. Требовалось что-то новое, чтобы потом не стыдно было в люди показать. Вот у протопопа обе дочери в гимназии учатся в Екатеринбурге, потом из чиновничьих дочерей тоже не отстают. Мельком Луковников видал этих новых птиц, и они ему нравились. И платица такие скромненькие, коричневенькие, и переднички беленькие, и волосики гладко-гладко причесаны, и разговор по-образованному, и еще на фортепьянах наигрывают, – куда же купеческим девицам против них? Тем и отличаются от деревенских девок, что шляпки носят да рядятся, а так-то дуры дурами.

Умный старик понимал, что попрежнему девушку воспитывать нельзя, а отпустить ее в гимназию не было сил. Ведь только и свету было в окне, что одна Устенка. Да и она тосковать будет в чужом городе. Думал-думал старик, и ничего не выходило; советовался кое с кем из посторонних – тоже не лучше. Один совет – отправить Устенку в гимназию. Легко сказать, когда до Екатеринбурга больше четырехсот верст! Выручил старика из затруднения неожиданный и странный случай.

«Вот уж поистине, что не знаешь, где потеряешь, где найдешь», – удивлялся он сам.

Дело вышло как-то само собой. Повалился к Луковникову ездить Ечкин. Очень он не нравился старику, но, нечего делать, принимал его скрепя сердце. Сначала Ечкин бывал только наверху, в парадной половине, а потом пробрался и в жилые комнаты. Да ведь как пробрался: приезжает Луковников из думы обедать, а у него в кабинете сидит Ечкин и с Устенкой разговаривает.

– Уж вы меня извините, Тарас Семеныч.

– Пожалуйста, Борис Яковлич... Только мне принимать-то вас здесь как будто и совестно... Ну, я-то привык, а вы в хороминах живете.

– По необходимости, Тарас Семеныч, по необходимости... А сам я больше всего простоту люблю. Отдохнул у вас... Вот и с Устенкой вашей познакомился. Какая милая девочка!

– Хороша дочка Аннушка, только хвалит мать да бабушка.

– Нет, я серьезно... Мы с ней сразу друзьями сделались.

Старика покорило от этой дружбы, но ничего не поделаешь. Как это Ечкин мог только пробраться в домашние горницы? – удивления достойно! Чего старуха нянька смотрела? Как бы изумился и вознегодовал Тарас Семеныч, если б узнал правду: бывая наверху, Ечкин каждый раз давал старухе по три рубля на чай и купил ее этим простым путем. Полюбился старухе ласковый да тароватый барин, и она ни за что не хотела верить, что он «из жидов». Жиды скупущие, сами с других деньги берут, а этот так и сыплет бумажками. Не может этого и быть, чтобы «из жидов». Да и собой мужчина красавец, так соколом и выглядывает. Какой же это жид? Одним словом, старуха была куплена и провела гостя в жилые горницы.

– Сняла ты с меня голову, – корил ее потом Луковников. – Из настоящих он жидов и даже некрещеный.

Старуха так и не поверила, а потом рассердилась на хозяина: «Татарина Шахму, кобылятника, принимает, а этот чем хуже? Тот десять раз был и как-то пятак медный отвалил, да и тот с дырой оказался».

И сам Луковников, хотя и испытывал предубеждение относительно «жида», но под конец сдался. Человек как человек, ничем не хуже других народов, а только умнее. Поговорить с ним даже приятно, – все-то он знает, везде-то бывал и всякое дело понимает. Любопытный вообще человек. Приедет и всегда вежливый такой. Устенке непременно подарочек привезет и даже старуху няньку не забудет, – как-то на два платья ситцу привез. Нечего сказать, увертлив и ловок. Конечно, недаром он к нему ездит, хочет что-нибудь вытянуть, но и то надо сказать, что волка ноги кормят. Один раз Ечкин чуть не потерял своего реноме зараз: приехал и просит пять тысяч на три дня. Смутила эта просьба Луковникова, но точно на него что нашло – пошел и дал деньги. Однако Ечкин оправдал себя и вернул деньги из минуты в минуту.

– Послушайте, Тарас Семеныч, я знаю, что вы мне не доверяете, – откровенно говорил Ечкин. – И даже есть полное основание для этого... Действительно, мы, евреи, пользуемся не

совсем лестной репутацией. Что делать? Такая уж судьба! Да... Но все-таки это несправедливо. Ну, согласитесь: когда человек рождается, разве он виноват, что родится именно евреем?

– Это, конечно, Борис Яковлич. От необразования больше.

– А между тем обидно, Тарас Семеныч. Поставьте себя на мое место. Ведь еврей такой же человек. Среди евреев есть и дураки и хорошие люди. Одним словом, предрассудок. А что верно, так это то, что мы люди рабочие и из ничего создаем капиталы. Опять-таки: никто не мешает работать другим. А если вы не хотите брать богатства, которое лежит вот тут, под носом... Упорно не хотите. И средства есть и энергия, а только не хотите.

– Послушайте, кто же себе враг, Борис Яковлич? От денег никто еще не отказывался.

– Да вы первый. Вот возьмите хотя ваше хлебное дело: ведь оно, говоря откровенно, ушло от вас. Вы упустили удобный момент, и какой-нибудь старик Колобов отбил целый хлебный рынок. Теперь другие потянутся за ним, а Заполье будет падать, то есть ваша хлебная торговля. А все отчего? Колобов высмотрел центральное место для рынка и воспользовался этим. Постройте вы крупчатные мельницы раньше его, и ему бы ничего не поделаться... да. Упущен был момент.

– Это вы действительно верно изволите рассуждать. Кто же его знал?.. Еще приятель мой. И небогатый человек, главное... Сказывают, недавно целую партию своей крупчатки в Расею отправил.

– Из этого ничего не выйдет, пока не проведут Уральскую железную дорогу. Все барыши перевозка съест.

– Так я, по-вашему, должен был крупчатку выстроить?

– И даже не одну, а несколько, и рынок остался бы в ваших руках. Впрочем, и теперь можно поправить дело.

– Именно?

– Вальцовую мельницу выстроить. Ведь для одной такой мельницы нужно миллион пудов пшеницы. Извольте-ка конкурировать с таким зверем.

– Необычное это дело, Борис Яковлич, и больших тысяч стоит.

– Я говорю к примеру... Мало ли есть других дел, Тарас Семеныч? Только нужны люди и деньги... да.

– Что же деньги – и деньгами отца с матерью не купишь.

Для Ечкина это было совсем не убедительно. Он развил широкий план нового хлебного дела, как оно ведется в Америке. Тут были и элеватор, и подъездные пути, и скорый кредит, и заграничный экспорт, и интенсивная культура, – одним словом, все, что уже существовало там, на Западе. Луковников слушал и мог только удивляться. Ему начинало казаться, что это какой-то сон и что Ечкин просто его морочит.

– Да вы это так все говорите, Борис Яковлич? Конечно, мы люди темные и прожили век, как тараканы за печкой... Темные люди, одним словом.

– Все видел своими глазами, – уверял Ечкин. – Да, все это существует. Скажу больше: будет и у нас, то есть здесь. Это только вопрос времени.

Впрочем, у него было несколько других проектов, не менее блестящих, чем хлебное дело на новых основаниях.

– Вот хоть бы взять ваше сальное дело, Тарас Семеныч: его песенка тоже спета, то есть в настоящем его виде. Вот у вас горит керосиновая лампа – вот где смерть салу. Теперь керосин все: из него будут добывать все смазочные масла; остатки пойдут на топливо. Одним словом, громаднейшее дело. И все-таки есть выход... Нужно основать стеариновую фабрику с попутным производством разных химических продуктов, маргаринный завод. И всего-то будет стоить около миллиона. Хотите, я сейчас подсчитаю?

– Мы этим делом совсем не занимаемся. Это уж вы степнякам объясняйте.

– А как вы думаете относительно сибирской рыбы? У меня уже арендованы пески на Оби в трех местах. Тоже дело хорошее и верное. Не хотите? Ну, тогда у меня есть пять

золотых приисков в оренбургских казачьих землях... Тут уж дело вернее смерти. И это не нравится? Тогда, хотите, получим концессию на устройство подъездного пути от строящейся Уральской железной дороги в Заполье? Через пять лет вы не узнали бы своего Заполья: и банки, и гимназия, и театр, и фабрики кругом. Только нужны люди и деньги.

– Вот что, Борис Яковлич, со мной вы напрасно хорошие слова только теряете, а идите-ка вы лучше к Евграфу Огибенину. Он у нас модник и, наверное, польстится на новое.

– Я уже был у него. Кажется, у нас устраивается одно дельце.

– Ну, в добрый час!

Для Луковникова ясно было одно, что новые умные люди подбираются к их старозаветному сырью и к залежавшимся купеческим капиталам, и подбираются настойчиво. Ему делалось даже страшно за то будущее, о котором Ечкин говорил с такою уверенностью. Да, приходил конец всякой старинке и старинным людям. Как хочешь, приспособляйся новому. Да, страшно будет жить простому человеку.

К Ечкину старик понемногу привык, даже больше – он начал уважать в нем его удивительный ум и еще более удивительную энергию. Таким людям и на свете жить. Только в глубине души все-таки оставалось какое-то органическое недоверие именно к «жиду», и с этим Тарас Семеныч никак не мог совладеть. Будь Ечкин кровный русак, совсем бы другое дело.

Но и тут Ечкин купил упрямого старика, да еще как ловко купил – со всем потрохом. Лучше и не бывает.

Завернул как-то Ечкин по пути, – он вечно был занят по горло и вечно куда-нибудь торопился.

– Вот что, Тарас Семеныч, я недавно ехал из Екатеринбурга и все думал о вас... да. Знаете, вы делаете одну величайшую несправедливость. Вас это удивляет? А между тем это так... Сами вы можете жить, как хотите, – дело ваше, – а зачем же молодым запирают дорогу? Вот у вас девочка растет, мы с ней большие друзья, и вы о ней не хотите позаботиться.

– То есть это как же не хочу?

– Да нельзя ее оставлять так, чумичкой. Вы уж меня извините за откровенность... Да, нельзя. Вырастет большая и вас же попрекнет.

– Да уж я и сам думал, Борис Яковлич, и так и этак. Все равно ничего не выходит. Думаю вот, когда у протопопа старшая дочь кончит в гимназии, так чтоб она поучила Устюшу... Оболванит немного.

– Нет, это не годится. Время дорого, Тарас Семеныч... Так я ехал, думал о вас и придумал. И не только придумал, а даже наполовину устроил. Теперь все будет от вас зависеть. Ведь вы хорошо знаете Болеслава Брониславича Стабровского? У него тоже есть дочь, одних лет с вашей Устенкой. Он без ума ее любит, как и вы, и недавно выписал для ее воспитания англичанку прямо из Англии. Одного жалованья платит ей тысячу рублей. Так вот хотите свою Устенку учить вместе? На всякий случай я уже переговорил с Стабровским, и он очень рад, чтоб ваша дочь училась вместе с его Дидей.

Это предложение совершенно ошеломило Тараса Семеныча, и он посмотрел на гостя какими-то испуганными глазами. Как же это так вдруг и так просто?..

– Послушайте, Борис Яковлич, я вам очень благодарен, но это такое особенное дело, что нужно подумать и подумать.

– Я и не требую, чтоб вы решили сейчас. Стабровский как-нибудь сам к вам заедет.

– Знаете что, не люблю я вашего Стабровского! Нехорошее он дело затевает, неправильное... Вконец хочет спаивать народ. Бог с ними и с деньгами, если на то пошло!

– Ах, какой вы, Тарас Семеныч! Стабровский делец – одно, а Стабровский семейный человек, отец – совсем другое. Да вот сами увидите, когда поближе познакомитесь. Вы лучше спросите меня: я-то о чем хлопочу и беспокоюсь? А уж такая натура: вижу, девочка растет без присмотра, и меня это мучит. Впрочем, как знаете.

– Да я-то ничего не знаю, Борис Яковлич.

Эта забота об Устенке постороннего человека растрогала старика до слез, и он только молча пожал руку человеку, которому не верил и которого в чем-то подозревал. Да, не знаешь, где потеряешь, где найдешь.

VIII

Судьба Устенки быстро устроилась, – так быстро, что все казалось ей каким-то сном. И долго впоследствии она не могла отделаться от этого чувства. А что, если б Стабровский не захотел приехать к ним первым? если бы отец вдруг заупрямился? если бы соборный протопоп начал отговаривать папу? если бы она сама, Устенка, не понравилась с первого раза чопорной английской гувернантке мисс Дудль? Да мало ли что могло быть, а предвидеть все мелочи и случайности невозможно.

Стабровский приехал к Луковникову ровно через два дня. Это было около двенадцати часов. Тарас Семеныч очень встревожился и провел гостей в парадную половину. Ему понравилось, как Дидя хорошо и просто была одета и как грациозно сделала ему реверанс. Девочка была некрасивая, но личико такое умненькое и все, как комнатная собачка, заглядывает на гувернантку, строгую и какую-то всю серую девицу неопределенных лет. Сам Стабровский, несмотря на свои за пятьдесят и коротко остриженные седые волосы, выглядел молодцом. За ним уже установилась репутация миллионера, и Тарас Семеныч, по купеческому уважению ко всякому капиталу, относился к нему при редких встречах с большим вниманием, хотя и не любил его.

– Вот мы приехали знакомиться, – с польскою ласковостью заговорил Стабровский, наблюдая дочь. – Мы, старики, уже прожили свое, а молодым людям придется еще жить. Покажите нам свою славяночку.

Луковникову пришлось по душе и это название: славяночка. Ведь придумает же человек словечко! У меня, мол, дочь, хоть и полька, а тоже славяночка. Одна кровь.

– Я вот ее, козу, сюда приведу, Бронислав...

– Болеслав Брониславич, – поправил Стабровский с улыбкой. – Впрочем, что же вам беспокоить маленькую хозяйку? Лучше мы сами к ней пойдем... Не правда ли, мисс Дудль?

– О, yes...^[4]

– Да у нас, знаете, все не прибрано.

– Ничего, ничего, не – беспокойтесь. Нам необходимо посмотреть, как живет славяночка, какие у нее привычки. Вы простите наше невинное любопытство.

Мягкая настойчивость Стабровского победила смущение хозяина, и он по внутренней узенькой лестнице провел их в нижние жилые горницы. Как ни привык Стабровский к купеческой обстановке, но и он только съезжил плечи, оглядывая ветхозаветные горницы. Англичанка сморщила свой утиный нос, нюхая воздух, пропитанный ароматом русских щей, горевшей в углу лампадки и еще чего-то «русского», как она определила про себя. Выведенная напоказ, Устенка страшно переконфузилась и неловко подавала свою руку «дощечкой», как назвала это деревянное движение Дидя про себя. Она была одета в простеньком ситцевом платье, и мисс Дудль точно впиалась в ее недостаточно вымытую шейку. В своем детском смущении Устенка рядом с Дидей выглядела почти красавицей. Особенно хорошо было это простое русское лицо, глядевшее такими простыми темными глазами. Стабровский залюбовался «славяночкой», обнял ее и поцеловал.

– Ну, славяночка, будем знакомиться. Это вот моя славяночка. Ее зовут Дидей. Она считает себя очень умной и думает, что мир сотворен специально только для нее, а все остальные девочки существуют на свете только так, между прочим.

Мисс Дудль после шеи Устенки пришла в ужас от ее имени и по-английски спросила Стабровского:

– Это все равно, что Уильки?

– Да, да, все равно.

– Совершенно неорганизованная девочка.

– И прехорошенькая. Посмотрите, какая у нее умненькая мордашка.

– О, yes...

В дверную щель с ужасом смотрела старая няня. Она оторопела совсем, когда гости пошли в детскую. Тарас-то Семеныч рехнулся, видно, на старости лет. Хозяин растерялся не меньше старухи и только застегивал и расстегивал полу своего старомодного сюртука.

Крошечная детская с одним окном и двумя кроватями привела мисс Дудль еще раз в ужас, а потом она уже перестала удивляться. Гости произвели в детской что-то вроде обыска. Мисс Дудль держала себя, как опытный сыщик: осмотрела игрушки, книги, детскую кровать, заглянула под кровать, отодвинула все комоды и даже пересчитала белье и платья. Стабровский с большим вниманием следил за ней и тоже рассматривал детские лифчики, рубашки и кофточки.

«Вот бесстыжие-то! – думала няня, делавшая несколько напрасных попыток не пустить любопытных гостей в комод. – Это похуже всяких жидов!»

– Обстановка и гардероб девочки пещерного периода, – резюмировала мисс Дудль впечатление обыска.

– Уж вы нас извините, – оправдывался Тарас Семеныч. – Сиротой растет девочка, вот главная причина, а потом ведь у нас все попросту.

– Что ж, каждый живет по-своему, – ответил Стабровский, что-то соображая про себя.

Тарасу Семенычу было и совестно, что англичанка все распотрошила, а с другой стороны, и понравилось, что миллионер Стабровский с таким вниманием пересмотрел даже белье Устенки. Очень уж он любит детей, хоть и поляк. Сам Тарас Семеныч редко заглядывал в детскую, а какое белье у Устенки – и совсем не знал. Что нянька сделает, то и хорошо. Все дело чуть не испортила сама Устенка, потому что под конец обыска она горько расплакалась. Стабровский усадил ее к себе на колени и ласково принялся утешать.

– О чем мы плачем, славяночка? Нехорошо плакать. У славяночки будет новая подруга. Им вместе будет веселее. Они будут учиться, играть, гулять.

Отправив домой Дидю и гувернантку, Стабровский остался для окончательных переговоров с Тарасом Семенычем. Они сидели теперь в маленьком кабинете. Стабровский закурил сигару и заговорил:

– Мы себя держали сегодня немного нахально, Тарас Семеныч, и это не входило совсем в нашу программу. Так уж случилось. Нужно сказать, что я безумно люблю детей и вхожу до последних мелочей в воспитание своей дочери. И я рад, что мисс Дудль – эта святая девушка – произвела надлежащую ревизию детской вашей Устенки. Знаете, дорогой Тарас Семеныч, так нельзя. Скажу больше: это дико. Вы человек состоятельный, умный, серьезный, любящий, а о воспитании не имеете даже приблизительного понятия. Это слишком ответственная вещь, и я не взялся бы сам воспитывать собственную дочь. Знаете, в нас есть эта проклятая славянская распушенность, предательская мягкость характера, наконец, азиатская апатия, и с этим нужно бороться. Вот мисс Дудль даст настоящую европейскую закалку нашим девочкам. Когда ваша Устенка будет жить в моем доме, то вы можете точно так же прийти к девочкам в их комнату и сделать точно такую же ревизию всему.

– То есть как это Устенка будет жить в вашем доме, Болеслав Брониславич?

– Иначе не можно... Раньше я думал, что она будет только приезжать учиться вместе с Дидей, но из этого ничего не выйдет. Конечно, мы сделаем это не вдруг: сначала Устенка будет приходить на уроки, потом будет оставаться погостить на несколько дней, а уж потом переедет совсем.

– Надо подумать, Болеслав Брониславич.

– Конечно, конечно... Виноват, у вас является сам собой вопрос, для чего я хлопочу? Очень просто. Мне не хочется, чтобы моя дочь росла в одиночестве. У детей свой маленький мир, свои маленькие интересы, радости и огорчения. По возрасту наши девочки как раз подходят, потом они будут дополнять одна другую, как представительницы племенных разновидностей.

Впоследствии сам Тарас Семеныч удивлялся, как он мог решиться на такой важный шаг и как вообще мог позволить совершенно посторонним людям вмешиваться в свою интимную жизнь. Очень уж он любил свою дочурку и для нее в первый раз поступился старинкой, особенно когда Стабровский в целом ряде серьезных бесед выяснил ему во всех

подробностях план того образования, который должны были пройти рука об руку обе славянки. Он умел говорить необыкновенно увлекательно, и Тарас Семеныч отлично понял, что воспитание гораздо сложнее и ответственнее всяких вальцовых мельниц, стеариновых фабрик, винокуренных заводов и прочей премудрости.

Устенка навсегда сохранила в своей памяти этот решительный зимний день, когда отец отправился с ней к Стабровским. Старуха нянька ревела еще с вечера, оплакивая свою воспитанницу, как покойницу. Она только и повторяла, что Тарас Семеныч рехнулся и хочет обасурманить родную дочь. Эти причитания навели на девочку тоску, и она ехала к Стабровским с тяжелым чувством, вперед испытывая предубеждение против долговязой англичанки, рывшейся по комодам.

Стабровский занимал громадную квартиру, которую отделал с настоящею тяжелою роскошью. Это чувствовалось еще в передней, где гостей встречал настоящий швейцар, точно в думе или в клубе. Стабровский выбежал сам навстречу, расцеловал Устенку и потащил ее представлять своей жене, которая сидела обыкновенно в своей спальне, укутанная пледом. Когда-то она была очень красива, а теперь большое лицо казалось старше своих лет. Она тоже приласкала гостью, понравившуюся ей своею детскою свежестью.

– Не правда ли, какая она милая? – спрашивал Стабровский, точно боялся, что Устенка не понравится жене.

– Какая она здоровая! – с грустью заметила она, любясь девочкой. – Вся крепкая, как рыба.

«Неорганизованную девочку» больше всего интересовала невиданная никогда обстановка, особенно картины на стенах, статуэтки из бронзы и терракоты, а самое главное – рояль. Ей казалось, что она перенеслась на крыльях в совершенно иной мир. Благодарная детская память сохранила и перенесла это первое впечатление через много лет, когда Устенка уже понимала, как много и красноречиво говорят вот эти гравюры картин Яна Матейки и Семирадского, копии с знаменитых статуй, а особенно та этажерка с ногами, где лежали рыдающие вальсы Шопена, старинные польские «мазуры» и еще много-много других хороших вещей, о существовании которых в Заполье даже и не подозревали.

– Вот здесь я деловой человек, – объяснил Стабровский, показывая Луковникову свой кабинет. – Именно таким вы меня знали до сих пор. Сюда ко мне приходят люди, которые зависят от меня и которые завидуют мне, а вот я вам покажу другую половину дома, где я самый маленький человек и сам нахожусь в зависимости от всех.

Познакомив с женой, Стабровский провел гостя прежде всего в классную, где рядом с партой Диди стояла уже другая новенькая парта для Устенки. На стенах висели географические карты и рисунки, два шкафа заняты были книгами, на отдельном столике помещался громадный глобус.

– Вот это главная комната в доме, потому что в ней мы зарабатываем свое будущее, – объяснял Стабровский гостю. – Вот и вашей славяночке уже приготовлена парта. Здесь царство мисс Дудль, и я спрашиваю ее позволения, прежде чем войти.

Затем осмотрена была детская, устроенная мисс Дудль по всем правилам строгой английской школы. Самая простая кровать, мебель, вся обстановка, а роскошь заключалась в какой-то вызывающей чистоте. Детскую показывала сама мисс Дудль, и Тарасу Семенычу показалось, что англичанка сердится на него. Когда он сообщил это хозяину, тот весело расхохотался.

– Нет, вы ошибаетесь... Это добрейшее существо, но уж такую наружность бог дал. Ничего не поделаешь... Идемте завтракать.

Первый завтрак у Стабровских опять послужил предметом ужаса для мисс Дудль. «Неорганизованная девочка» решительно не умела держать себя за столом, клала локти чуть не на тарелку, стучала ложкой, жевала, раскрывая рот, болтала ногами и – о, ужас! – вытащила в заключение из кармана совсем грязный носовой платок. Мисс Дудль чуть не сделалось дурно.

Вечером Стабровский работал в своем кабинете за полночь и все думал о маленькой славяночке, которая войдет в дом. Кто знает, что из этого может произойти? Из маленьких причин очень часто вырастают большие и сложные последствия.

– Ах, Дидя, Дидя! – шептал он, отодвигая бумаги.

Никто не подозревал, ни посторонние, ни свои, как мучился этот магнат, оставаясь вот так один. Никто не знал, как он боялся за свою любимицу. Один знаменитый психиатр предсказал ему, что в период формирования с девочкой может быть плохо. У нее были задатки к острым нервным страданиям и даже к психической ненормальности. Это было тяжелое наследство от пьянствовавших и распутничавших предков по женской линии. И вот он должен ждать и мучиться вперед, готовый каплю по капле перелить собственную кровь в жилы ребенка. Ведь все остальное пустяки, а все главное в ней, в этой умненькой не по летам девочке. Может быть, присутствие и совместная жизнь с настоящей здоровой девочкой произведут такое действие, какого не в состоянии сейчас предвидеть никакая наука. Ведь передается же зараза, чахотка и другие болезни, – отчего же не может точно так же передаться и здоровье? Стабровский давно хотел взять подругу для дочери, но только не из польской семьи, а именно из русской. Ему показалось, что Устенка – именно та здоровая русская девочка, которая принесет в дом с собой целую атмосферу здоровья.

– Ах, Дидя, Дидя! – шептал удрученный предчувствиями отец, хватаясь за голову.

IX

Серафима приехала в Заполье с детьми ночью. Она была в каком-то особенном настроении. По крайней мере Галактион даже не подозревал, что жена может принимать такой воинственный вид. Она не выдержала и четверти часа и обрушилась на мужа целым градом упреков.

– Я знаю, что тебе неприятно, что мы приехали, – говорила Серафима. – Ты обрадовался, что бросил нас в деревне... да.

– Что ты говоришь? – удивлялся Галактион. – Никого я не думал бросать.

– Не отпирайся... Обещал прислать за нами лошадей через две недели, а я прожила целых шесть, пока не догадалась сама выехать. Надо же куда-нибудь деваться с ребятишками... Хорошо, что еще отец с матерью живы и не выгонят на улицу.

– Сима, мне не хотелось тебя вызывать, пока я не устроюсь. Только и всего.

– Знаю, знаю, что ты тут хорошо устроился. Совсем хорошо... Ну, как поживает любезная сестрица Харитина Харитоновна? А потом, как эту мерзавку зовут? Бубнику?.. Хорошими делами занялся, нечего сказать!

Свидетелями этой сцены были Анфуса Гавриловна, Харитон Артемьич и Агния. Галактион чувствовал только, как вся кровь бросилась ему в голову и он начинает терять самообладание. Очевидно, кто-то постарался и насплетничал про него Серафиме. Во всяком случае, положение было не из красивых, особенно в тестевом доме. Сама Серафима показалась теперь ему такую некрасивой и старой. Ей совсем было не к лицу сердиться. Вот Харитина, так та делалась в минуту гнева еще красивее, она даже плакала красиво.

– Сима, ты бы и потом могла с мужем переговорить, – политично заметила Анфуса Гавриловна. – Мы хоть и родители тебе, а промежду мужем и женой один бог судья.

– Это ты верно, Фуса, – подтвердил Харитон Артемьич, стараясь не смотреть на зятя. – В другой раз и помолчать надо бы, Сима.

Этого было достаточно, и Серафима залилась слезами. С ней даже сделалось дурно. Проснувшиеся дети тоже принялись кричать. Одним словом, получилась жестокая семейная сцена, и Галактион не мог заснуть до утра. Он даже не оправдывался, а только затаил ненависть к жене, главным образом потому, что она срамила его в чужом доме, на людях. А он еще так соскучился о ребятишках и так рад был их видеть. И дети тоже обрадовались и так мило льнули к нему, точно цыплята. В первый раз еще охватила его какая-то смутная жалость по отношению вот к этим детским головкам, точно над ними собиралась темная туча. Ему, наконец, было совестно смотреть в эти чистые детские глаза, припоминая сцену, когда он обнимал Харитину. Если бы жена не накинулась на него, он, вероятно, сам бы рассказал все, чтоб отрезать всякую возможность повторения чего-нибудь подобного, а теперь жена точно заперла его на замок своими обвинениями. Результат этой сцены был один: во что бы то ни стало выбраться как можно скорее из тестева дома. В своем углу все-таки сам большой, сам маленький, а здесь чувствовалась тяжелая зависимость. Перебирая в уме, кто

бы мог напелеть жене разные сплетни, Галактион решил, что это была тихоня Агния, и возненавидел ее. Как бы он удивился, если б узнал, что писала сама Харитина!

Так началась семейная жизнь Галактиона в Заполье. Наружно он помирился с женой, но это плохо скрывало глубокий внутренний разлад. Между ними точно выросла невидимая стена. Самым скверным было то, что Галактион заметно отшатнулся от Анфусы Гавриловны и даже больше – перешел на сторону Харитона Артемьича.

– А ты, зятюшка, не очень-то баб слушай... – тайно советовал этот мудрый тесть. – Они, брат, изведут кого угодно. Вот смотри на меня: уж я, кажется, натерпелся от них достаточно. Даже от родных дочерей приходится терпеть... Ты не поддавайся бабам.

Харитон Артемьич дошел до того, что тайно передавал зятю все домашние разговоры и пересуды по его адресу.

Ссорившиеся муж и жена теперь старались сосредоточить неизрасходованный запас нежных чувств на детях, причем встретили самую отчаянную конкуренцию со стороны бабушки, уцепившейся за внучат с особенной энергией. Ни у одной дочери не было детей, кроме Серафимы. У писарши Анны родились двое, но скоро умерли. Баловнем Анфусы Гавриловны сделалась самая младшая девочка, Катя, напомнившая бабушке умершую дочь Марью. Вот такая же была, как две капли воды. Открылась старая материнская рана, и Анфуса Гавриловна горько плакала, вспоминая мертвого ребенка. Это проснувшееся материнское горе точно было заслонено все время заботами о живых детях, а теперь все уже были на своих ногах, и она могла отдаться своему чувству. Старушке делалось даже страшно, когда она подолгу и пристально вглядывалась в Катю: вот точь-в-точь такая же была Маня, так же смеялась и так же смотрела. Входя в роль матери, Анфуса Гавриловна искренне удивлялась, что Катя зовет мамой не ее, а дочь Серафиму.

К детям же прильнула рыхлая и по наружному виду апатичная Агния. Девушка сначала долго присматривалась к детям, точно не верила чему-то, такому теплomu и хорошему, так тепло и хорошо накипавшему на ее душе. В этой девушке проснулось неудовлетворенное и неиспытанное материнство, которое даже пугало ее. И странно, что дети льнули инстинктивно к ней гораздо больше, чем к бабушке. Огорченная Анфуса Гавриловна серьезно ссорилась с Агнией и употребляла разные дипломатические хитрости, чтоб устранить ее. Несколько раз мать и дочь предъявляли взаимные претензии Серафиме, как матери.

– Да возьмите их хоть совсем, – равнодушно отвечала Серафима. – Вам в охоту с чужими детьми поводитьяся.

Галактион был другого мнения и стоял за бабушку. Он не мог простить Агнии воображаемой измены и держал себя так, точно ее и на свете никогда не существовало. Девушка чувствовала это пренебрежение, понимала источник его происхождения и огорчалась молча про себя. Она очень любила Галактиона и почему-то думала, что именно она будет ему нужна. Раз она даже сделала робкую попытку объясниться с ним по этому поводу.

– Ты напрасно думаешь, Галактион, что я про тебя писала Симе.

– Хорошо, хорошо. Все вы на одну статью, – грубо ответил Галактион. – И цена вам всем одна. Только бы вырваться мне от вас.

– Грешно тебе, Галактион.

– Молчи лучше, сплетница! Говорить-то с тобой противно!

Агния молча проглотила эту обиду и все-таки не переставала любить Галактиона. В их доме он один являлся настоящим мужчиной, и она любила в нем именно этого мужчину, который делает дом. Она тянулась к нему с инстинктом здоровой, неиспорченной натуры, как растение тянется к свету. Даже грубая несправедливость Галактиона не оттолкнула ее, а точно еще больше привязала. Даже Анфуса Гавриловна заметила это тяготение и сделала ей строгий выговор.

– Ты у меня смотри, тихоня... Погляди на себя в зеркало-то, на рожу свою. Только мать срамишь, бесстыдница!

Про себя Агния решила давно, что она останется незамужницей и уйдет от грешного мира куда-нибудь в скиты замаливать чужие грехи.

Дела Галактиона шли попережнему. Бубновский конкурс мог тянуться бесконечно. Но его интересовал больше всех устав нового банка, который писал Штофф. По этому делу Галактион несколько раз был у Стабровского, где велись предварительные обсуждения этого устава, причем Стабровский обязательно вызывал Ечкина. Этот странный человек делал самые ценные замечания, и Стабровский приходил в восторг.

– Ах, Борис Яковлич, вы будете у нас министром финансов! – повторял хитрый пан. – Этакая удивительная голова!

Галактион прежде всего испытывал какое-то ребячье смущение в кабинете Стабровского, где так свободно и просто делались миллионные дела. Он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, потому что в первый раз лицом к лицу встретился с настоящими большими дельцами, рассуждавшими о миллионах с таким же равнодушием, как другие говорят о двугривенном. С уставом, когда он был совсем готов, вышло неожиданное затруднение: из числа учредителей старик Луковников отказался наотрез его подписать. Как старика ни улаживали, из этого ничего не вышло.

– Неподходящее дело, – повторял упрямый старик.

Старик Стабровский был серьезно возмущен, но не выдал себя ни одним движением.

– Может быть, Тарас Семеныч, вы сами впоследствии пожалеете о своем отказе, – говорил он.

– Уж это как бог даст... – упрямо повторял старик.

В числе консультантов большую силу имел Мышников; он был единственным представителем юриспруденции и держал себя с достоинством. Только Ечкин время от времени «подковывал» его каким-нибудь замечанием, а другие скромно соглашались. В последнем совещательном заседании принимали участие татарин Шахма и Евграф Огибенин.

– Гуляй банк! – повторял Шахма. – Одна рука брал, другая рука давал... Обе барыша получал.

Штофф измучился с уставом до смерти, и когда, наконец, все было оформлено и подписано, он проговорил, обращаясь к Галактиону:

– Ну, голубчик, я устал... Надо отдохнуть. Знаешь, что мы сделаем? Ну, да об этом потом поговорим.

Отдых Штоффа скоро объяснился. Он пригласил Галактиона съездить вместе в бубновский винокурный завод для какой-то внезапной ревизии. Когда выехали вечером из Заполья, Штофф неожиданно заявил кучеру:

– Поворачивай в Кунару.

Кунара была подгородная деревушка, куда купцы ездили кутить. Там теперь шли деревенские посиделки и супрядки.

– Надо будет произвести неожиданную и самую строгую ревизию, – смеялся Штофф, хлопая Галактиона по плечу.

– Карл Карлыч, оно того... Еще узнают дома.

– Э, вздор!.. Никто и ничего не узнает. Да ты в первый раз, что ли, в Кунару едешь? Вот чудак. Уж хуже, брат, того, что про тебя говорят, все равно не скажут. Ты думаешь, что никто не знает, как тебя дома-то золотят? Весь город знает... Ну, да все это пустяки.

Немец попал в самое больное место, и Галактион угрюмо замолчал.

Скоро замелькали желтые огоньки потонувшей в глубоком снегу Кунары. Деревня была небольшая, но богатая, как все раскольничьи деревни. Она пользовалась плохой репутацией, как притон бродяг. Искони здесь утвердился своеобразный кустарный промысел приготовления домашним способом ассигнаций. Потом эти «кунарские деньги» уходили в безграмотную орду.

– К Спиридону! – командовал Штофф.

Кошевая остановилась у большой новой избы. В волоковое окно выглянула мужская голова и без опроса скрылась. Распахнулись сами собой шатровые ворота, и кошевая

очутилась в темном крытом дворе. Встречать гостей вышел сам хозяин, лысый и седой старик. Это и был Спиридон, известный всему Заполью.

– Карлу Карлычу, сто лет не видались, – певуче говорил Спиридон. – А это кто с тобой будет?

– Да так... Тоже из немцев.

Они прошли в новую заднюю избу, где за столом сидел какой-то низенький, черный, как жук, старик. Спиридон сделал ему головой какой-то знак, и старик вышел. Галактиону показалось, что он где-то его видел, но где – не мог припомнить.

– Милости просим, дорогие гости, – повторял Спиридон, тяжело шмыгая больными ногами; он ужасно напоминал загнанную и опоенную лошадь.

На помощь старику явилась его жена, высокая, худая старуха с злыми глазами.

– Ну, бабушка, сердце повеселить приехали, – говорил Штофф. – Ну, что у вас тут нового?

– Есть и новое, Карла Карлыч... Хороша девушка объявилась у Маркотиных. И ростом взяла, и из себя уж столь бела... Матреной звать. Недавно тут Илья Фирсыч наезжал, тот вот как обихаживал с ней вприсядку. Лебедь белая, а не девка.

«Двоеданы», то есть раскольники, отличались вообще красотой, не в пример православному населению.

Дальше вынесли из кошевой несколько кульков и целую корзину с винами, – у Штоффа все было обдуманно и приготовлено. Галактион с каким-то ожесточением принялся за водку, точно хотел кому досадить. Он быстро захмелел, и дальнейшие события происходили точно в каком-то тумане. Какие-то девки пели песни, Штофф плясал русскую, а знаменитая красавица Матрена сидела рядом с Галактионом и обнимала его точеною белою рукой.

– Откуда ты взялся-то, мил-хороший? – шептала она.

Потом послышался какой-то стук, кто-то кричал в сенях, а в заключение в избу ворвался пьяный Лиодор.

– А, вот вы где, милые зятюшки! – гаркнул он, кидаясь на Штоффа с кулаками.

Произошла свалка. Кто-то кого-то бил, девки бросились из избы, а Штофф спрятался под стол.

X

Встреча с Лиодором в Кунаре окончательно вырешила дело. Галактион дальше не мог оставаться у тестя. Он нанял себе небольшую квартирку за хлебным рынком и переехал туда с семьей. Благодаря бубновскому конкурсу он мог теперь прожить до открытия банка, когда Штофф обещал ему место члена правления с жалованьем в пять тысяч.

– А что касается нашей встречи с Лиодором, то этому никто не поверит, – успокаивал немец. – Кто не знает, что Лиодор разбойник и что ему ничего не значит оговорить кого угодно? Одним словом, пустяки.

Прищуривав один глаз и прищелкнув языком, Штофф прибавил:

– Бабец-то, Матрена эта самая, ничего... хе-хе!..

Галактион ничего не отвечал на эти заигрыванья. Он дал себе слово ничего не пить и не путаться с веселою компанией. Да и характер у него был совсем не такой, а вышло все как-то так, само собой. Поездка в Кунару в малыгинской семье вызвала целую бурю. Анфуса Гавриловна плакала целую неделю и даже не пожелала проститься с зятем, когда он переезжал на новую квартиру. Зато Харитон Артемьич, сам время от времени покучивавший у двоеданов, радовался от чистого сердца. Вот тебе и непьющий зять... Ловко его немец поддел, да и Лиодорка охулки на руку не положил. Наткнулись зятья на ерша.

Заступницами Галактиона явились Евлампия и Харитина. Первая не хотела верить, чтобы муж был в Кунаре, а вторая старалась оправдать Галактиона при помощи системы разных косвенных доказательств. Ну, если б и съездили в Кунару – велика беда! Кто там из запольских купцов не бывал? Тятеньку Харитона Артемьича привозили прямо замертво.

– Вам-то какая забота припала? – накидывалась Анфуса Гавриловна на непрошенных заступниц. – Лучше бы за собой-то смотрели... Только и знаете, что хвостами вертите. Вот я сдери шляпки-то, да как примусь обихаживать.

Евлампия обиделась и уехала, не простившись с матерью. А Харитина не унялась. Она прямо от матери отправилась к Галактиону. Ее появление до того изумило Серафиму, что она не могла выговорить слова.

– Ну, квартирку-то могли бы и получше найти, – как ни в чем не бывало, советовала Харитина, оглядывая комнаты. – Ты-то чего смотрела, Сима?

– Ах, мне все равно!

Харитина разделась, полюбовалась хорошенькими ребятишками и потом без всяких подходов проговорила:

– Вот что, Сима, ты на меня сердисься?

– И не думала.

– Ну, перестань. Я знаю, что сердисься. А только напрасно... Я тебе зла не жалаю, и мне ничего твоего не нужно. Своего достаточно.

От этого намека некрасивое лицо Серафимы покрылось красными пятнами, губы задрожали, и она крикнула сдавленным голосом:

– Вон, мерзавка! И видеть тебя не желаю... Ты у нас в семье какая-то проклятая уродилась. Вон... вон!.. Я знаю, что ты такое!

Спокойно посмотрев на сестру своими странными глазами, Харитина молча ушла в переднюю, молча оделась и молча вышла на улицу, где ее ждал свой собственный рысак. Она ехала и горько улыбалась. Вот и дождалась награды за свою жалость. «Что же, на свете всегда так бывает», – философствовала она, пряча нос в новый соболий воротник.

Невесело было новоселье Галактиона. Жена упорно молчала, молчал и он, потому что нечего было говорить. Она его ни в чем не обвиняла, он ни в чем не оправдывался, да и трудно было бы оправдываться. Его охватывало жгучее раскаяние только при виде детей, на которых больше всего сказывался тяжелый семейный разлад. Опять Галактион думал о Харитине, – разве она так бы сделала? Стала бы плакать, ругаться, убежала бы из дому, наконец ударила бы чем ни попадя и все-таки не стала бы опалы тянуть. Да, он был два раза неправ относительно жены, но и другие мужья не лучше, а еще хуже. У него являлось желание помириться с женой, рассказать ей всю чистую правду, но стоило взглянуть на ее убитое лицо, как всякое желание пропадало. Страшная тоска охватывала Галактиона, и он начинал чувствовать себя чужим человеком в собственном доме. Теперь он был рад всякому случаю уйти куда-нибудь из дому и с особенной энергией принялся за бубновский процесс. Галактион начинал побаиваться, как бы не запутаться с этим делом в чужих плутнях. Кураторы все ловкий народ, сухими из воды выйдут, а его как раз утопят.

У Бубновых в доме было попрежнему. Та же Прасковья Ивановна, тот же доктор, тот же умильный братец и тот же пивший мертвую хозяйин. В последнее время Прасковья Ивановна как-то особенно ласково заглядывала на Галактиона и каждый раз упрашивала его остаться или как-нибудь посидеть вечерком.

– Мне некогда, – отговаривался Галактион.

– Ну, ну, бука!.. Разве отказывают кавалеры, когда дама просит?

– Какой я кавалер, Прасковья Ивановна? Неподходящее дело.

– Хорошо. Тогда я иначе буду поступать: не отпущу домой, и все тут. Ведь драться не будете?

Несколько раз она удерживала таким образом упрямого гостя, а он догадался только потом, что ей нужно было от него. О чем бы Прасковья Ивановна ни говорила, а в конце концов речь непременно сводилась на Харитину. Галактиону делалось даже неловко, когда Прасковья Ивановна начинала на него смотреть с пытливым лукавством и чуть-чуть улыбалась...

– Она красавица, – уверяла Прасковья Ивановна.

– Говорят.

– А вы будто уж и не замечали ничего?

– Да ведь она мне свояченица, Прасковья Ивановна, и замечать не приходится. Пусть уж другие замечают.

– Хорошо, хорошо. Какой вы хороший, Галактион Михеич! А вот она так мне все рассказывала. Чуть не отравилась из-за вас. Откуда у мужчин такая жестокость?

– Извините меня, а только от глупости, Прасковья Ивановна. Мало ли что девушки придумывают, а замуж выйдут – все и пройдет.

– А помните, как на мельнице она вас целовала?

– Это ей во сне приснилось.

– Ведь она не говорит, что вы ее целовали. Ах, какой вы скрытный! Ну, уж я вам, так и быть, сама скажу: очень вам нравится Харитина. Конечно, родня, немножко совестно.

Раз Прасковья Ивановна заставила Галактиона проводить ее в клуб. Это было уже на святках. Штофф устроил какой-то семейно-танцевальный вечер с туманными картинами, и Прасковья Ивановна непременно желала быть там. Штофф давно приглашал Галактиона в этот клуб, но он все отказывался под разными предлогами, а тут пришлось ехать поневоле.

Дорогой Прасковья Ивановна ни с того ни с сего расшалилась. Она сама прижалась к Галактиону и шепнула:

– Ах, какой вы!.. Держите меня крепче!

Лицо у нее разгорелось от мороза, и она заглядывала ему прямо в глаза, улыбающаяся, молодая, красивая, свежая. Он ее крепко обхватил за талию и тоже почувствовал себя так легко и весело.

– Ведь я хорошенькая, да?

– Ничего.

– У, медведь! Разве так отвечают даме? А кто красивее: я или Харитина? Да держите же меня крепче, мямля!

Первым в клубе встретился Штофф и только развел руками, когда увидел Галактиона с дамой под руку. Вмешавшись в толпу, Галактион почувствовал себя еще свободнее. Теперь уже никто не обращал на них внимания. А Прасковья Ивановна крепко держала его за руку, раскланиваясь направо и налево. В одной зале она остановилась, чтобы поговорить с адвокатом Мышниковым, посмотревшим на Галактиона с удивлением.

– Мы сегодня кутим, – объясняла ему Прасковья Ивановна, играя глазами.

– А вам весело?

– Ничего... Так себе, – лениво ответил адвокат, ежа плечи. – Мы еще увидимся, Прасковья Ивановна.

– Почему вы всегда бежите от меня? Неужели уж я такая старая и страшная?

Адвокат ничего не ответил, а только еще раз пожал плечами и с улыбкой посмотрел на Галактиона. Происходило что-то непонятное для последнего, и он начинал испытывать смущение.

Клуб был маленький, и комнаты не были еще отделаны с надлежащей клубной роскошью. Играл плохонький еврейский оркестр. Но невзыскательная запольская публика, наскучавшая у себя дома, была рада и этому, особенно дамы.

– Подождите меня здесь, – сказала Прасковья Ивановна, останавливаясь у дамской уборной. – Я сейчас.

Здесь Галактиона нашла Харитина. Она шла, обмахиваясь веером, с развязностью и шиком настоящей клубной дамы. Великолепное шелковое платье тащило длинным шлейфом, декольтированные плечи, голые руки – все было в порядке. Но красивое лицо было бледно и встревожено. Она сначала прошла мимо, не узнав Галактиона, а потом вернулась и строго спросила:

– Скажи, пожалуйста, ты-то зачем здесь? Впрочем, я видела, как ты разгуливаешь с Пашенькой. Ах ты, глупенький глупенький!.. Ну, давай, делай руку кренделем!

– А у меня ведь своя дама есть. Кажется, не полагается ее оставлять одну.

– Хорошо, не беспокойся. Она обойдется и без тебя, а мне нужно с тобой серьезно поговорить. Да, да...

Она нахмурила брови и потащила Галактиона в самую дальнюю комнату, где усадила в укромный уголок, и заговорила:

– Вот я здесь только что сидела с Мышниковым... да. И он объяснял мне в любви... Мне все признаются в любви. Ну, Мышников-то долго ходил около меня, а потом и не выдержал. Понимаешь, я сама виновата... Грешным делом, сильно кокетничала с ним. Ведь умный человек, а того не понимает, что я его не люблю, а просто извожу для собственного удовольствия. Схватил меня за руку, сам весь дрожит, глаза горят... И какой дерзкий... Ну, я сейчас: «Милостивый государь, за кого вы меня принимаете? Кажется, вы ошиблись адресом...» Озлился, побледнел... А потом и говорит: «Мне это хороший урок, а вы меня вспомните, Харитина Харитоновна». Вот ведь какой злока!.. А разве я обязана всех любить? Ну, теперь он будет мне мстить.

– Что же он может с тобой сделать?

– Не знаю, я только боюсь... Мне даже домой хочется уехать. Ты знаешь, доктор у меня нашел болезнь: нервы.

Харитина действительно волновалась, и в голосе у нее слышались слезы. Галактион сидел с опущенными глазами, кусая губы.

– Что же ты молчишь? – неожиданно накинулась на него Харитина. – Ты мужчина... Наконец, ты не чужой человек. Ну, говори что-нибудь!

– Что же я тебе скажу, когда ты сама кругом виновата. Вперед не кокетничай. Веди себя серьезно.

Этого было достаточно, чтобы Харитина вышла из себя и обрушилась на него целым градом попреков.

– И это ты мне говоришь, Галактион?.. А кто сейчас дурака валял с Бубнихой?.. Ведь она тебя нарочно затащила в клуб, чтобы показать Мышникову, будто ты ухаживаешь за ней.

Галактион ничего не понимал.

– Да что я с тобой буду делать? – взмолилась Харитина в отчаянии. – Да ты совсем глуп... ах, как ты глуп!.. Пашенька влюблена в Мышникова, как кошка, – понимаешь? А он ухаживает за мной, – понимаешь? Вот она и придумала возбудить в нем ревность: дескать, посмотри, как другие кавалеры ухаживают за мной. Нет, ты глуп, Галактион, а я считала тебя умнее.

– Каков уж есть. Знаю только одно, что мне здесь нечего делать.

– Нет, стой!.. А как ты со мной поступил, а?

– Никак я не поступал.

– Не ври... Ведь ты знаешь, что твоя жена меня выгнала вон из дому и еще намекнула, за кого она меня считает.

– При чем же я тут? Вы будете ссориться, а я отвечай.

– Дурак! Из-за тебя я пострадала... И словечка не сказала, а повернулась и вышла. Она меня, Симка, ловко отзолотила. Откуда прыть взялась у кислятины... Если б ты был настоящий мужчина, так ты приехал бы ко мне в тот же день и прощения попросил. Я целый вечер тебя ждала и даже приготовилась обморочку разыграть... Ну, это все пустяки, а вот ты дома себя дурак дураком держишь. Помиришься с женой... Слышишь? А когда помиришься, приезжай мне сказать.

Галактион поднялся и хотел уйти. Он разозлился на болтовню Харитины, да и делать ему было нечего. Она опять удержала его, взяла за руку и проговорила усталым голосом:

– Проводи меня домой... Все равно – тебе зараза отвечать: в Кунаре кутил, Бубниху привез в клуб, а из клуба увез Харитину.

Одеваясь в передней, Харитина несколько раз повторяла:

– А он мне будет мстить... да.

Каждому человеку присвоена своя психология, и таковая была также и у исправника Полуянова. Он служил давно и, что называется, набил руку. Особенно развернулся он в Запольском уезде, где являлся грозой. Начальство поощряло эту усердную службу, и Полуянов благоденствовал. Получал он жалованья что-то около трех тысяч, а проживал двенадцать. Все это знали и смотрели снисходительно, потому что прямых взяток Полуянов не брал, а только принимал иногда «благодарности». С женьбой на Харитине расходы возросли, а с открытием клуба в Заполье тем более. Пришлось прибегать к экстраординарным мерам. Изобретательность Полуянова достигла своего апогея. В одной деревне он увидел лежавший в поле громадный валун, тысяч в пять пудов, и объявил, что такую редкость необходимо отправить в Петербург на обывательских подводах. Мужики пришли в ужас и стали откупаться от проклятой редкости гривенником с души. Это была настоящая дань. В другой деревне Полуянов с этою же целью опечатав целое озеро, то есть взял веревку, спустил один конец в воду, а другой припечатал к вбитому на берегу колу. Озеро давало мужикам до десяти тысяч рублей дохода ежегодно, и за распечатание Полуянов стал получать половину. Обложены были данью все деревенские торжки, натуральная повинность по исправлению тракта, винокуренные заводы, мельницы и всякое проявление пытливого промышленного и торгового духа. Но особенно налег Полуянов на мертвые тела. Убитый или скоростижно умерший являлся настоящим кладом. Исправник морил мужиков в качестве понятых и, приняв мзду, вез тело в следующий пункт, чтобы получить и здесь откуп. Одно такое мертвое тело он возил чуть не по всему уезду и по пути завез на мельницу к Ермильчу, а когда Ермильч откупился, тело очутилось на погребке попа Макара.

В течение целых пятнадцати лет все художества сходили Полуянову с рук вполне благополучно, а робкие проявления протеста заканчивались тем, что жалобщики и обиженные должны были выкупать свою строптивость новою данью. Одним словом, все привыкли к художествам Полуянова, считая их неизбежным злом, как градобитие, а сам Полуянов привык к этому оригинальному режиму еще больше. Но с последним казусом вышла большая заминка. Нужно же было сибирскому исправнику насчитать на упрямого сибирского попа.

В одно прекрасное утро была запряжена заслуженная кобыла, и поп Макар покати в Заполье. Здесь он прежде всего толкнулся к соборному протопопу, с которым вместе учился в семинарии, и по пунктам изложил нанесенную Полуяновым обиду.

– Да, казус, – глубокомысленно согласился протопоп. – Не благопотребно для твоего сана, а, между прочим, того...

– А я, во-первых, буду жаловаться.

– Смотри, отец, чтобы хуже не вышло. Иные неции пробовали прати противу рожна и должны были заплатить сугубую мзду за свою излишнюю и неблаговременную строптивость.

– Во-вторых, я никого не боюсь, – смело заявлял суслонский поп. – Я буду обличать нового Ахава...

– А может быть, возможно все кончить по соглашению?

В этих видах поп Макар отправился к старому Луковникову, как к человеку почтенному и облеченному властью. Тарас Семеныч выслушал деревенского попа, покачал головой и заявил:

– Я тут ничего не могу сделать, отец Макар.

– Да вы поговорите с Ахавом, Тарас Семеныч. Может быть, он вас выслушает.

– Попробую.

Эта проба привела только к тому, что Полуянов страшно вспылел.

– Да я этого попишку самого... Да я его в порошок изотру!

– Вам ближе знать, Илья Фирсыч, – политично заметил Луковников. – Я для вашей же пользы говорю... Неровен час, все может быть.

– Ученого учить – только портить, – с гордостью ответил Полуянов, окончательно озлившийся на дерзкого суслонского попа. – Весь уезд могу одним узлом завязать и отвечать

не буду.

Как это ни странно, но до известной степени Полуянов был прав. Да, он принимал благодарности, а что было бы, если б он все правонарушения и казусы выводил на свежую воду? Ведь за каждым что-нибудь было, а он все прикрывал и не выносил сору из избы. Взять хоть ту же скоропостижную девку, которая лежит у попа на погребке: она из Кунары, и есть подозрение, что это работа Лиодорки Малыгина и Пашки Булыгина. Всех можно закрутить так, что ни папы, ни мамы не скажут.

Полный сознания своей правоты, Полуянов и в ус себе не дул. Такие ли дела сходили с рук! Он приберегал теперь Малыгиных и Булыгиных, как постоянную доходную статью. Потом голова его была занята неотступною мыслью, как обработать Шахму: татарин богатый и до сих пор отделялся грошами. У Полуянова явилась смелая мысль пристегнуть к делу о скоропостижной девке вот этого миллионера-татарина, который кутил с Штоффом в Кунаре. Осталось восстановить только факт, что он кутил именно с этой девкой. Требовалась тонкая работа. Кстати, эта скоропостижная девка была та самая красавица Матрена, которая обнимала Галактиона. Убитую хитрые двоюродники увезли в другой конец уезда и подбросили к православной деревне.

«Только бы подтянуть к этому делу Шахму, – мечтал Полуянов, хмуря глаза, – растерзали бы мы его на части».

С этой целью Полуянов несколько раз ездил в Кунару, жестоко кутил и наводил справки под рукой. Его бесило главным образом то, что в этой истории замешался проклятый немец Штофф, который, в случае чего, вывернется, как уж. Вся эта сложная комбинация поглощала теперь все внимание Полуянова, и он плевать хотел на какого-то несчастного попа. А тут еще деньги нужны. Проигравшись как-то в клубе в пух и прах, Полуянов на другой день с похмелья отправился к Шахме и без предисловий заявил свои подозрения. Богач-татарин струсил сразу.

– Да, жаль, – повторил Полуянов. – Может быть, ты и не виноват, а затаскают по судам, посадят в тюрьму.

Шахма расступился и отвалил исправнику сразу пять тысяч.

– Одна рука давал, другая не знал, – говорил он.

– Хорошо, хорошо. Увидим.

Разлакомившись легкой добычей, Полуянов захотел проделать такую же штуку с Малыгиными и Булыгиными. Но здесь получилась большая ошибка в расчете. Харитон Артемьич даже обрадовался, когда Полуянов заявил подозрение на Лиодора.

– Он, непременно он, Лиодорка, убил... Хоть сейчас присягу приму. В ножки поклонюсь, ежели ты его куда-нибудь в каторгу определишь. Туда ему и дорога.

– Позвольте, как же вы так говорите, Харитон Артемьич? Ведь он вам все-таки родной сын.

– На свои деньги веревку куплю, только пусть повесится!..

Тесть и зять совершенно забыли, что они родные. Когда Полуянов для ускорения переговоров уже назначил сумму благодарности, Харитон Артемьич опомнился.

– Постой, голова... Да ты куда пришел-то? Ведь я тебе родной тесть прихожусь?.. Есть на тебе крест-то?

– По поговорке: хлебцем вместе, а табачком врозь.

Увлеченный своими планами, Полуянов совершенно забыл о своих родственных отношениях к Малыгиным и Булыгиным, почесал в затылке и только плюнул. Как это раньше он не сообразил?.. Да, бывают удивительные случаи, а все проклятое похмелье. Просто какой-то анекдот. Для восстановления сил тесть и зять напились вместе.

– Вот тебе и зять! – удивлялся Харитон Артемьич. – У меня все зятя такие: большая родня – троюродное наплевать. Ты уж лучше к Булыгиным-то не ходи, только себя осрамишь.

– Что поделаешь? Забыл, – каялся Полуянов. – Ну, молитесь бога за Харитину, а то ободрал бы я вас всех, как липку. Даже вот бы как ободрал, что и кожу бы с себя сняли.

Хотя Харитон Артемьич и предупредил зятя относительно Булыгиных, а сам не утерпел и под пьяную руку все разболтал в клубе. Очень уж ловкий анекдот выходил. Это происшествие облетело целый город, как молния. Очень уж постарался Илья Фирсыч. Купцы хохотали доупаду. А тут еще суслонский поп ходит по гостиному двору и рассказывает, как Полуянов морозит у него на погребке скоростное девичье тело.

Странно, что все эти переговоры и пересуды не доходили только до самого Полуянова. Он, заручившись благодарностью Шахмы, вел теперь сильную игру в клубе. На беду, ему везло счастье, как никогда. Игра шла в клубе в двух комнатах старинного мезонина. Полуянов заложил сам банк в три тысячи и метал. Понтировали Стабровский, Ечкин, Огибенин и Шахма. В числе публики находились Мышников и доктор Кочетов. Игра шла крупная, и Полуянов загребал куши один за другим.

– Вам сегодня везет, как висельнику, – заметил разозлившийся Стабровский.

Именно в этот момент Полуянова вызвали.

– А, черт, умереть спокойно не дадут! – ругался он. – Скажи, чтобы подождали!

Лакей ушел и вернулся.

– Ваше высокоблагородие, Илья Фирсыч, приказано.

– Что-о?

– От следователя.

Произошел небывалый в стенах клуба скандал. Полуянов был взят прямо из-за карточного стола и арестован. Ему не позволили даже заехать домой.

Следователь Куковин был очень непредставительный мужчина, обремененный многочисленным семейством и живший отшельником. Он, кажется, ничего не знал, кроме своих дел.

– Я считаю необходимым подвергнуть вас аресту, господин Полуянов, – сонно заявил следователь, потягиваясь в кресле.

– Вы не имеете права.

– Позвольте мне самому знать мои права... А вас я вызову, когда это будет нужно.

И только всего. Полуянов совершенно растерялся и сразу упал духом. Сколько тысяч людей он заключал в скверный запольский острог, а теперь вот приходится самому. Когда он остался один в камере, – ему предоставили льготу занять отдельную камеру, – то не выдержал и заплакал.

– За что? О господи, за что?.. Ах, все это проклятый суслонский поп наделал!.. Только бы мне освободиться отсюда, уж я бы задал перцу проклятому попу!

Когда на другой день приехал к Харитине встревоженный Галактион, она встретила его довольно равнодушно и лениво проговорила:

– Этого нужно было ожидать... Ах, мне решительно все равно!

– Скверная штука может быть... Ссыпка на поселение в лучшем случае.

Харитина что-то соображала про себя, а потом оживленно проговорила:

– Ведь я говорила, что Мышников будет мстить. Это он научил суслонского попа... Ах, какой противный человек, а еще уверял, что любит меня!

Легкомыслие Харитины, как к нему Галактион ни привык, все-таки изумило его. Она или ребенок, или безвозвратно погибшая женщина. Его начинало коробить.

– Послушай, Харитина, поговорим серьезно... Ведь надо чем-нибудь жить. Есть у вас что-нибудь про черный день?

– Муж говорил, что, когда умрет, я буду получать пенсию.

– И только? Теперь нечего и думать о пенсии. Ну, значит, тебе придется идти к отцу.

– Благодарю покорно... Никогда! Я лучше на содержание к Мышникову пойду.

– Перестань болтать глупости. Нужно обсудить дело серьезно... Да, серьезно.

– Что тут обсуждать, когда я все равно ничего не понимаю? Такую дуру вырастили тятенька с маменькой... А знаешь что? Я проживу не хуже, чем теперь... да. Будут у меня руки целовать, только бы я жила попржему. Это уж не Мышников сделает, нет... А знаешь, кто?

– Ничего я не знаю.

– Ступай и посмотри в зеркало.

Харитина засмеялась и выбежала из комнаты, а Галактион действительно подошел к зеркалу и долго смотрел в него. Его лицо тоже искривилось улыбкой, – он вспомнил про детей.

«Нет, никогда этому не бывать, Харитина Харитоновна!» – сказал он самому себе, повернулся и вышел.

На лестнице он встретил полицию, явившуюся опечатывать имущество Полуянова.

XII

Арест Полуянова и следствие по этому делу заняли все внимание Заполя и всего Запольского уезда. Ничего подобного еще не случалось до сих пор. Выплыла целая серия мелких плутней, подлогов, вымогательств, всяческих правонарушений и побоев без конца. Появилась даже в столичных газетах длинная корреспонденция о деле Полуянова, причем неизвестный корреспондент намекал, что это дело служит только к целому ряду других, которые Полуянов покрывал «из благодарности». Между прочим, был намек и на бубновский конкурс. Эта корреспонденция была ударом грома. Все переполошились окончательно. Главное, кто мог написать все это? Где корреспондент? А несомненно должен быть, и несомненно – свой человек, знавший всю подноготную Заполя.

– Это он только сначала о Полуянове, а потом и до других доберется, – толковали купцы. – Что же это такое будет-то? Раньше жили себе, и никому дела до нас не было... Ну, там пожар, неурожай, холера, а от корреспондента до сих пор бог миловал. Растерзать его мало, этого самого корреспондента.

Явилось предположение, что писал кто-нибудь «из поляков» или «из жидов», – народ известный. От полуяновского-то дела никому не поздоровится, ежели начнут делать переборку.

Бубновский конкурс встревожил больше всех Галактиона.

– Э, вздор! – успокаивал Штофф. – Черт дернул Илюшку связаться с попом. Вот теперь и расхлебывай... Слышал, Шахма-то как отличился у следователя? Все начистоту ляпнул. Ведь все равно не получит своих пять тысяч, толстый дурак... Ну, и молчал бы, а то только самого себя осрамил.

Галактион понимал только одно, что не сегодня-завтра все конкурсные плутни выплывут на свежую воду и что нужно убираться отсюда подобру-поздорову. Штоффу он начинал не доверять. Очень уж хитер немец. Вот только бы банк поскорее открыли. Хлопоты по утверждению банковского устава вел в Петербурге Ечкин и писал, что все идет отлично.

Несколько раз Галактион хотел отказаться от конкурса, но все откладывал, – и жить чем-нибудь нужно, и другие члены конкурса рассердятся. Вообще, как ни кинь – все клин. У Бубновых теперь Галактион бывал совсем редко, и Прасковья Ивановна сердилась на него.

– Впрочем, вам теперь много хлопот с Харитиной, – язвила она с женскою жестокостью. – У нее только и осталось, что дала ей природа.

– Прасковья Ивановна, вы забываете, что Харитина – моя близкая родственница и что она сейчас в таком положении...

– Да? Скажите, пожалуйста, а я и не подозревала, что она в таком положении... Значит, вам предстоят новые хлопоты.

Ей нравилось сердить Галактиона, и эта игра увлекала ее. Очень красиво, когда настоящий мужчина сердится, – так бы, кажется, в мелкие крошки расшиб, а только вот по закону этого не полагается. Раз, увлекшись этою игрой, Прасковья Ивановна даже испугалась.

– Да вы меня и в самом деле ударите, – говорила она, отодвигая свое кресло. – Слава богу, что я не ваша жена.

Галактион был бледен и смотрел на нее остановившимися глазами, тяжело переводя дух. «Ах, какой он милый! – восхищалась Прасковья Ивановна, сама деспот в душе. – Это какой-то тигр, а не мужчина!»

Поведение Прасковьи Ивановны положительно отталкивало Галактиона, тем более что ему решительно было не до любовных утех. Достаточно было одного домашнего ада, а тут еще приходится заботиться о сумасбродной Харитине. Она, например, ни за что не хотела выезжать из своей квартиры, где все было описано, кроме ее приданого.

– Буду здесь жить, и конец! – повторяла она. – Пусть и меня описывают!

Она дошла до того, что принялась тосковать о муже и даже плакала. И добрый-то он, и любил ее, и напрасно за других страдает. Галактиону приходилось теперь частенько ездить с ней в острог на свидания с Полуяновым, и он поневоле делался свидетелем самых нежных супружеских сцен, причем Полуянов плакал, как ребенок.

– Он из-за меня страдает, – повторяла Харитина. – Из-за меня Мышников подвел его.

Полуянов в какой-нибудь месяц страшно изменился, начиная с того, что уже по необходимости не мог ничего пить. С лица спал пьяный опух, и он казался старше на целых десять лет. Но всего удивительнее было его душевное настроение, складывавшееся из двух неравных частей: с одной стороны – какое-то детское отчаяние, сопровождавшееся слезами, а с другой – моменты сумасшедшей ярости.

– Ведь я младенец сравнительно с другими, – уверял он Галактиона, колотя себя в грудь. – Ну, брал... ну, что же из этого? Ведь по грошам брал, и даже стыдно вспоминать, а кругом воровали на сотни тысяч. Ах, если б я только мог рассказать все!.. И все они правы, а я вот сижу. Да это что... Моя песня спета. Будет, поцарствовал. Одного бы только желал, чтобы меня выпустили на свободу всего на одну неделю: первым делом убил бы попа Макара, а вторым – Мышникова. Рядом бы и положил обоих.

Странно, что первый об утверждении устава нового банка сообщил Галактиону в остроге Полуянов и тут же предупредил:

– Ну, я скажу тебе, голубчик, по секрету, ты далеко пойдешь... Очень далеко. Теперь ваше время... да. Только помни старого сибирского волка, исправника Полуянова: такова бывает превратность судьбы. Был человек – и нет человека.

Эта новость была отпразднована у Стабровского на широкую ногу. Галактион еще в первый раз принимал участие в таком пире и мог только удивляться, откуда берутся у Стабровского деньги. Обед стоил на плохой конец рублей триста, – сумма, по тугой купеческой арифметике, очень солидная. Ели, пили, говорили речи, поздравляли друг друга и в заключение послали благодарственную телеграмму Ечкину. Галактион, как ни старался не пить, но это было невозможно. Хозяин так умел просить, что приходилось только пить.

– Ведь вы только представьте себе, господа, – кричал Штофф, – мы поднимаем целый край. Мертвые капиталы получают движение, возрождается несуществовавшая в крае промышленность, торговля оживляется, земледелие процветает. Одним словом, это... это... это – воскресение из мертвых!

Кто-то даже припомнил, что для полноты торжества недостает только Полуянова, и пьяные дельцы будущего банка выпили даже за его здоровье.

Галактион вышел от Стабровского с каким-то сладким туманом в голове. Он долго стоял на подъезде, слегка пошатываясь и не зная, куда ему идти с таким настроением. Куда угодно, но только не домой. Там уныние, тоска, убитое лицо жены... Он припомнил, что бросает бубновский конкурс, следовательно, должен предупредить Прасковью Ивановну. Давно желанный момент наступил. Да, теперь уж ему не нужно будет ездить в бубновский дом и принимать за это всяческие неприятности дома, а главное – вечно бояться. Слова Полуянова стали перед ним живьем.

Прасковья Ивановна, по обыкновению, была дома и посмотрела с удивлением на Галактиона, который вошел к ней с необычною развязностью.

– Вы где-то веселились, Галактион Михеич?

– Да, немножко обрадовались, Прасковья Ивановна... да. Вот заехал к вам объявить, что кончено, выхожу из вашего конкурса... да. Свое дело будет, – некогда.

Она смотрела на него и не узнавала. Видимо, что человек много выпил, но что значит выпивка такому цветущему молодому мужчине?

– Вы садитесь вот сюда, рядом со мной, и потолкуем, – предложила она.

– Меня удивляет ваша радость. Вы ведь рады именно потому, что, наконец, избавляетесь от меня, да? А только нужно спросить и меня: а может быть, я не согласна?

– То есть как же это так не согласны?

– Да так. Возьму и не отпущу.

Он засмеялся и взял ее за руку.

– Уж это вы кого другого не отпускайте, Прасковья Ивановна, а я-то в таких делах ни при чем.

– Да, я знаю, что вам все равно, – как-то печально ответила она, опуская глаза. – Что же делать, силою милому не быть. А я-то думала... Ну, да это все равно – что я думала!

– Нет, вы скажите, что вы думали?

Он крепко сжал ее руку, так что она вскрикнула от боли. Потом она хотела подняться со своего стула, но он удержал ее и засмеялся.

– Раньше вы со мной шутки шутили... да, – шептал он. – Помните? Ну, да это все равно... Видите, как у нас дело-то сошлось: вам все равно и мне все равно.

Вечером поздно Серафима получила записку мужа, что он по неотложному делу должен уехать из Заполя дня на два. Это еще было в первый раз, что Галактион не зашел проститься даже с детьми. Женское сердце почуяло какую-то неминуемую беду, и первая мысль у Серафимы была о сестре Харитине. Там Галактион, и негде ему больше быть... Дети спали. Серафима накинула шубку и пешком отправилась к полуяновской квартире. Там еще был свет, и Серафима видела в окно, что сестра сидит у лампы с Агнией. Незачем было и заходить.

Ужасная была эта первая ночь. Серафима больше не верила мужу и переживала теперь жгучую боль. Да, он теперь радуется с другой, а постылая жена убивается одна-одинешенька. Тихо-тихо в квартире. Слышно, как сердце бьется. Ну что же, разлюбил, бросил ее, а как же детей не жаль, как не стыдно будет им-то в глаза смотреть?.. И за что? Да и горе такое, что и рассказать про него трудно кому-нибудь, даже родной матери. Видела Серафима таких постылых жен и вперед рисовала себе то неприглядное будущее, которое ее ожидало. А она-то как его любила!.. Как хорошо они жили там, на мельнице!.. И еще она же сама желала переехать в город, чтобы здесь веселиться и жить, как все другие живут. Хорошо веселье, нечего сказать!.. Серафима проплакала всю ночь, стоя у окна и поджидая, не подъедет ли он, тот, кому она отдала всю душу.

Галактион вернулся домой только вечером на другой день. Серафима бросилась к окну и видела, как от ворот отъезжал извозчик. Для нее теперь было все ясно. Он вошел сердитый, вперед приготовившись к неприятной сцене.

– Ну, что, как Бубниха поживает? – спросила Серафима, не выдержав.

– Тебе кланяется.

– У нее ночевал?

Вместо ответа Галактион размахнулся и ударил жену по лицу. Она вскрикнула и присела. Его охватило внезапное бешенство, и он схватил ее за плечо. Но в этот момент в дверях показался какой-то старик небольшого роста, в раскольничьем полукафтаны. Взглянув на него, Галактион так и обомлел: это был тот самый старик, черный, как жук, которого он тогда встретил в Кунаре у двоюродного Спиридона. Теперь он его узнал, – старик бывал еще у отца на заводах, куда приезжал откуда-то из скитов. Он пользовался громкою популярностью, как человек святой жизни и прозорливец.

– Галактион Михеич, иди-ка сюда... – коротко произнес старец.

Галактиону вдруг захотелось обругать и выгнать старца, но вместо этого он покорно пошел за ним в боковую комнату, заменяющую ему кабинет. За ними ворвалась Серафима и каким-то хриплым голосом крикнула:

– Бей... ну, бей!.. Будет лучше, если убьешь... и вместе с детьми...

Потом она зарыдала, начала причитать, и старик вежливо вывел ее из комнаты. Галактион присел к письменному столу и схватился за голову. У него все ходило ходенем перед глазами, точно шатался весь дом. Старик вернулся, обошел его неслышными шагами и сел напротив...

– Галактион Михеич...

– Ну, что тебе нужно? – отозвался грубо Галактион.

– А ты не сердитуй, миленький... Сам кругом виноват. На себя сердисься... Нехорошо, вот что я тебе скажу, миленький!.. Затемнил ты образ нескверного брачного жития... да. От скверны пришел и скверну в себе принес. Свое-то гнездо постылишь, подружью слезишь и чад милых не жалеешь... Вот что я тебе скажу, миленький!.. Откуда пришел-то?

– Где был, там ничего не осталось.

– А остуду-то с собой захватил, миленький? Домашний-то грех побольше будет стороннего... Яко червь точит день и ночь.

Старик пересел рядом с Галактионом и заговорил тихим ласковым голосом:

– Свое-то маленькое бросил, Галактион Михеич, а за большим чужим погнался. С бритоусыми и табашниками начал знаться, с жидами и немцами смесился... Они-то, как волки, пришли к нам, а ты в ихнюю стаю забежал... Ох, нехорошо, Галактион Михеич! Ох, велики наши грехи, и конца им нет!.. Зачем подружью милую обидел? Чадо милое, не лютуй, не злосья, не впадайся в ненужную ярость, ибо великий ответ дадим на великом судилище христове...

Галактион закрыл лицо руками и рыдал.

– Дедушка, сам не знаю, что со мной делается...

Часть третья

I

Перед Ильиным днем поп Макар устраивал «помочь». На покос выходило до полуторых сот косцов. Мужики любили попа Макара и не отказывались поработать денек. Да и как было не поработать, когда поп Макар крестил почти всех косцов, венчал, а в будущем должен был похоронить? За глаза говорили про попа то и се, а на деле выходило другое. Теперь в особенности популярность попа Макара выросла благодаря свержению ига исправника Полуянова.

– Никто же не смел ему препятствовать, исправнику, – говорили между собой мужики, – а поп Макар устиг и в тюрьму посадил... Это все одно, что медведю зубы лечить.

Недоволен был только сам поп Макар, которому уже досталось на орехи от некоторых властодержцев. Его корили, зачем погубил такого человека, и пугали судом, когда потребуют свидетелем. Даже такие друзья, как писарь Замараев и мельник Ермилыч, заметно косились на попа и прямо высказывали свое неудовольствие.

– Ты бы то подумал, поп, – пенял писарь, – ну, пришлют нового исправника, а он будет еще хуже. К этому-то уж мы все привесились, вызнали всякую его повадку, а к новому-то не будешь знать, с которой стороны и подойти. Этот нащечился, а новый-то приедет голенький да голодный, пока насосется.

– А ежели он, во-первых, хотел взятку с меня вымогать? – слабо оправдывался поп. – Где это показано, чтобы с попов взятки-то брали?

– Ах, ты какой!.. – удивлялся писарь. – Да ведь ежели разобрать правильно, так все мы у батюшки-то царя воры и взяточники. Правду надо говорить... Пчелка, и та взятку берет.

Нашлись доброхоты и заступники, которые припоминали за Полуяновым немало добра. Конечно, все дело по сравнению с другими. Другие-то разве лучше? Дай-ка им такую силу, так и не то бы наделали. Крут был Полуянов, да зато отходчив: расскажит и тут же помилует. А главное то, что был орел орлом. С налету все брал. Складывалась о Полуянове живая легенда, и никто не хотел верить, что его засудят. Судьи-то разве слепые? Судить, так всех суди, а не одного Полуянова. Мало ли греха наберется, а за всех отвечай Полуянов один.

Когда мельник Ермилыч слышал о поповской помочи, то сейчас же отправился верхом в Суслон. Он в последнее время вообще сильно волновался и начинал не понимать, что делается кругом. Только и радости, что поговорит с писарем. Этот уж все знает и всякое дело может рассудить. Закон-то вот как выучил... У Ермилыча было страстное желание еще раз обругать попа Макара, заварившего такую кашу. Всю округу поп замутил, и никто ничего не знает, что дальше будет.

Писарь Замараев чувствовал тоже себя не совсем хорошо и встретил старого приятеля довольно сумрачно.

– А я к тебе, Флегонт Васильич... – замялся Ермилыч. – Сегодня у попа «помочь».

– Ну?

– Есть у меня словечко ему сказать... Осрамил он нас всех, вот что. Уж я думал, думал и порешил: поеду и обругаю попа.

– Ты дурак, Ермилыч. Вместе с Полуяновым хочешь посидеть?

– Да нет... Я от писания буду попа донимать, чтобы он чувствовал. Невозможно... Поедем на покос.

Писарь сумрачно согласился. Он вообще был не в духе. Они поехали верхами. Поповский покос был сейчас за Шеинскою курьей, где шли заливные луга. Под Суслонем это было одно из самых красивых мест, и суслонские мужики смотрели на поповские луга с завистью. С высокого правого берега, точно браню зеленою скатертью, развертывалась широкая картина. Сейчас она была оживлена сотнями косцов, двигавшихся стройною ратью. Ермилыч невольно залюбовался и со вздохом проговорил:

– Этакое житье этим попам!

- Отберут, – сумрачно заметил писарь. – И у попа... У всех отберут.
- У попа-то отберут? Да кто это посмеет чужое добро трогать?
- И трогать не будут, а сам отдашь... да. Такие нынче мудреные народы проявились.
- А, это ты про запольских немцев да жидов говоришь!.. Гм... Д-да-а, нар-родец!

Прежде Ключевую под курьей нужно было только в лодке переплывать, а теперь переехали в брод, вода едва хватала лошади по брюхо. Писарь опять озлился и, посмотрев вверх по Ключевой к Прорыву, заметил:

– Это проклятый колдун нашу воду копит... Вон как подпер всю реку! Вот навязался тоже чертушка... Настоящий водяной!

Они поехали сначала берегом вверх, а потом свернули на тропу к косцам. Издали уже напахнуло ароматом свежескошенной травы. Косцы шли пробившеюся широкою линией, взмахивая косами враз. Получался замечательный эффект: косы блестели на солнце, и по всей линии точно вспыхивала синеватая молния, врезывавшаяся в зеленую живую стену высокой травы. Работа началась с раннего утра, и несколько десятин уже были покрыты правильными рядами свежей кошенины.

– А вот и поп! – указал Ермилыч на кусты, из-за которых поднималась струйка синего дыма.

Поп Макар скоро показался и сам. Он вышел из-за кустов в одной рубашке и жилете. Черная широкополая поповская шляпа придавала ему вид какого-то гриба или Робинзона из детской книжки. Разница заключалась в тоненькой, как крысиный хвост, косице, вылезавшей из-под шляпы.

– Поздненько на помочь-то выехали, други милые, – попенял старик, здороваясь с приятелями.

– Иже в девятом часу вышли на работу и те получили ту же мзду, – ответил Ермилыч, понахватавшийся от писания.

– То-то вот очень уж много охотников-то до мзды, во-первых, а во-вторых, надо ее умеючи брать, ибо и мзда идет к рукам.

Поповский стан был устроен очень уютно. Стояли три телеги с поднятыми оглоблями, а на них раскинут громадный полог. Получался импровизированный шатер, перед которым курился какой-то сказочный «огонечек малешенек». Под дымом стояла неизменная поповская кобыла, отмахивавшаяся от овода куцым, точно обгрызленным хвостом. В телегах была навезена разная снедь и стояла целая бочка домашнего квасу. Три мужика цедили квас в деревянные ведерки и разносили по косцам. Поп Макар тревожно поглядывал на солнце и думал о том, управится ли дома попадьа во-время. Легко ли накормить и напоить такую ораву помочан. Он был совсем не рад приехавшим гостям. Не до них было.

– Не в пору гость – хуже татарина, – заметил Ермилыч, слезая с лошади.

– Что делать, поп, потерпи... Мы от тебя и не это терпим. Мы здесь все попросту. Да... Одною семьей...

– А ты опять про Ахава нечистивого?

– Ахав-то Ахавом, а прежде старинные люди так говорили: доносчику первый кнут... Ты это слыхивал?

– Ну, а потом? – спрашивал поп, снимая свою шляпу.

– Потом-то?.. А потом будем говорить так: у апостола Павла что сказано насчет мзды?

– Разное сказано.

– Нет, не разное, а пряменько говорится: делающему мзда не по благодати, а по долгу, – значит, бери, а только выручи. Так, Флегонт Васильич?

– Ничего я не знаю от писания, – признался писарь. – Вот насчет закона, извини, могу соответствовать кому угодно.

– Друг, тебя научили этому, во-первых, ваши старые бабы-начетчицы, – заговорил поп Макар, – а во-вторых, други, мне некогда.

Поп надел шляпу и пошел к косцам. Это было почетное бегство, и Ермилыч захохотал.

– Это называется – милости просим через забор шляпой щей хлебать, – объяснил писарь, разваливаясь на траве.

– А угощенье, которым ворота запирают, дома осталось. Ха-ха! Ловко я попа донял... Ну, нечего делать, будем угощаться сами, благо я с собой захватил бутылочку.

Ермилыч добыл из-за пазухи бутылку с водкой, серебряный стаканчик, а потом отправился искать на возу закуски. И закуска нашлась – кочан соленой капусты и пшеничный пирог с зеленым луком. Лучшей закуски не могло и быть.

– Выпьем за здоровье Макара, – предлагал Ермилыч, подавая писарю первый стаканчик. – Ловко он стрекача задал.

Писарь отмалчивался и все хмурился. Они прилегли к огоньку и предались кейфу. Ермилыч время от времени дрыгал ногами и ругал надоедавший овод.

– У! Чтобы вам пусто было, окаанным!

– Да... вообще... – думал писарь вслух... – Вот мы лежим с тобою на травке, Ермилыч... там, значит, помочане орудуют... поп Макар уж вперед все свои барыши высчитал... да... Так еще, значит, пацанами и дедами заведено, по старинке, и вдруг – ничего!

– Как ничего?

– Да так... Вот ты теперь ешь пирог с луком, а вдруг протянется невидимая лапа и цап твой пирог. Только и видел... Ты пасть-то раскрыл, а пирога уж нет. Не понимаешь? А дело-то к тому идет и даже весьма деликатно и просто.

Ермилыч сел и с каким-то ожесточением выпил два стаканчика зараз. Очень уж изводил его писарь своим разговором.

– Ты это все насчет Заполья, Флегонт Васильич, тень наводишь?

– Да насчет всего... Ты вот думаешь: «далеко Заполье», а оно уж тут, у тебя под носом. Одним словом – все слопают.

– Каким же это манером, Флегонт Васильич?

– А даже очень просто... Хлеб за брюхом не ходит. Мы-то тут дураками печатными сидим да мух ловим, а они орудуют. Взять хоть Михея Зотыча... С него вся музыка-то началась. Помнишь, как он объявился в Суслоне в первый раз? Бродяга не бродяга, юродивый не юродивый, а около того... Промежду прочим, оказал себя поумнее всех. Недаром он тогда всех нас дурачками навеличивал и прибаутки свои наговаривал. Оно и вышло, как по-писаному: прямые дурачки. Разе такой Суслон-то был тогда?

– Тебе же лучше, Флегонт Васильич... И народ умножился и рукомесло всякое. По зиме-то народ у вас, как вода в котле кипит.

– Глуп ты, Ермилыч, свыше всякой меры... У тебя вот Михай-то Зотыч сперва-наперво пшеницу отобрал, а потом Стабровский рожь уведет.

– Всем хватит, Флегонт Васильич.

– Опять ты глуп... Раньше-то ты сам цену ставил на хлеб, а теперь будешь покупать по чужой цене. Понял теперь? Да еще сейчас вам, мелкотравчатым мельникам, повадку дают, а после-то всех в один узел завяжут... да... А ты сидишь да моргаешь... «Хорошо», говоришь. Уж на что лучше... да... Ну, да это пустяки, ежели сурьезно разобрать. Дураков учат и плакать не велят... Похожи есть патреты. Вот как нашего брата выучат!

Для Ермилыча было много непонятного в этих странных речах, хотя он и привык подчиняться авторитету суслонского писаря и верил ему просто из вежливости. Разве можно не поверить этакому-то человеку, который всякий закон может рассудить?

– И это еще ничего, Ермилыч, – ну, отобрали у тебя пшеницу, отобрали рожь... Ничего, говорю. А тут они вредную самую штуку удумали... Слышал про банк-то? Это уж настоящая музыка. Теперь у меня, напримерно, три тыщи капиталу. Государственный банк дает пять процентов. Так? А они сейчас: бери девять. Лестно тебе это или нет? Конечно, лестно... А они этот же самый капитал в оборот пустят по двадцать четыре процента... Это как, по-

твоему? Силища неочерпаемая. Мне это милые зятя объяснили, Галактион да Карла. Вот какое дело выходит... Всех заберут в лапы, Ермилыч, как пить дадут.

Вместо ответа Ермилыч упал на траву и удушливо захохотал.

– Да ты что ржешь-то, свинья? – озлился писарь.

– Удивил!.. Ха-ха!.. Флегонт Васильич, отец родной, удивил! А я-то всего беру сто на сто процентов... Меньше ни-ни! Дело любовное: хочешь – не хочешь. Кто шубу принесет в заклад, кто телегу, кто снасть какую-нибудь... Деньги деньгами, да еще отработай... И еще благодарят. Понял?

Писарь опешил. Он слышал, что Ермилыч ссужает под заклады, но не знал, что это уже целое дело. И кому в башку придет: какой-то дурак мельник... В конце концов писарь даже обиделся, потому что, очевидно, в дураках оказался один он.

II

Этот разговор с Ермилычем засел у писаря в голове клином. Вот тебе и банк!.. Ай да Ермилыч, ловко! В Заполье свою линию ведут, а Ермилыч свои узоры рисует. Да, штучка тепленькая, коли на то пошло. Писарю даже сделалось смешно, когда он припомнил родственника Карлу, мечтавшего о своем кусочке хлеба с маслом. Тут уж дело пахло не кусочком и не маслом.

Выпивший почти всю водку Ермилыч тут же и заснул, а писарь дождался попа Макара, который пришел с покоса усталый, потный и казавшийся еще меньше, как цыпленок, нечаянно попавший в воду.

– Ну, слава богу, покончили, – проговорил он, припадая запекшимися губами к ведру с квасом. – И по домам пора.

– Что же ты нас-то с Ермилычем не пригласишь в гости? – обиделся писарь, наблюдая попа Макара.

– Чего вас звать? Сами приедете.

– Все-таки в церковь ходят по звону, а в госта по зову.

– Ну, коли так, так милости просим.

– Значит, ходите почаще мимо, без вас веселее?.. Поп, не гордись... В некоторое время и мы с Ермилычем можем пригодиться.

– Послушай, да что ты ко мне-то привязался, сера горячая? – озлился о. Макар.

– Ну, ладно, ладно... И так приедем.

Солнце еще не село, когда помочане веселою гурьбой тронулись с покоса. Это было целое войско, а закинутые на плечи косы блестели, как штыки. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил, и она полилась, как река, выступившая в половодье из своих берегов. Суслонцы всегда возвращались с помочей с песнями, – так уж велось исстари.

Поп Макар уехал раньше, чтобы встретить помочан у себя в доме, а писарь с Ермилычем возвращались прежнею дорогой. Писарь еще раз полюбовался поповскими лугами, от которых поднимался тяжелый аромат свежескошенной травы.

– Эх, хорошо! – вслух думал писарь, приглядывая поемный луг из-под руки. – Неужто же они и это слопают?

Мысль была обидная и расстраивала писаря, хотя благодаря разговору с Ермилычем у него явилась слабая надежда на что-то лучшее, на возможность какого-то выхода. Да, еще не все пропало. Писарский нос чуял какую-то поживу, хотя форма этой поживы еще и не определилась ясно. Потом ему делалось обидно, что другие мальгинские зятя все зажили по-новому, кончая Галактионом, и только он один остался точно за штатом. Конечно, обидно, потому что чем он хуже этих других прочих? Почтище еще будет, только дай срок развернуться. Тоже родня называется: хоть бы чем-нибудь поманили для начала. Писарство уже надоело Замараеву, да и времена наступали трудные. Неизвестно, кого еще назначат вместо Полуянова, а новая метла всегда чисто начинает мести. Привыкай-ка к новому начальству да подлаживайся.

– Эх, жисть каторжная! – вздыхал Замараев, вспоминая Полуянова. – И дернуло тогда попа... Лучше бы, кажется, своими деньгами тогда откупиться.

Вообще, как ни поверни, – скверно. Придется еще по волости отсчитываться за десять лет, – греха не оберешься. Прежде-то все сходило, как по маслу, а нынче еще неизвестно, на кого попадешь. Вот то ли дело Ермилычу: сам большой, сам маленький, и никого знать не хочет.

Первый, кто встретил писаря и Ермилыча в поповском доме, был Вахрушка.

– Ты, крупа, по какой-такой причине объявился здесь? – сердито спросил его писарь, все еще имевший на старика «зуб».

– А уж так, Флегонт Васильич, – довольно смело ответил Вахрушка, вытягиваясь по-солдатски. – Куды добрые люди, туды и мы.

– Видно, в Прорыве насчет водки плохо? – подсмеивался Ермилыч.

– Какая там водка! И в заведении этого состава нет. В том роде, как монастырское положение.

– Колдунами живете, – ругался писарь. – Только добрых людей морочите.

– Плохая наша ворожба, Флегонт Васильич. Михай-то Зотыч того, разнемогся, в лежку лежит. Того гляди, скапугится. А у меня та причина, что ежели он помрет, так жалованье мое все пропадет. Денег-то я еще и не видывал от него, а уж второй год живу.

– Так тебе и надо, старому черту! Зачем службу настоящую бросил? Вот теперь и поглядывай, как лиса в кувшин.

– Уж как господь пошлет, а я только об одном молюсь, как бы я с него лишнего не взял... да. Вот теперь попадье пришел помогать столы ставить.

Вахрушка не сказал главного: Михай Зотыч сам отправил его в Суслон, потому что ждал какого-то раскольничьего старца, а Вахрушка, пожалуй, еще табачище свой запалит. Старику все это казалось обидным, и он с горя отправился к попу Макару, благо помочь подвернулась. В самый раз дело подошло: и попадье подсобить и водочки с помочанами выпить. Конечно, неприятно было встречаться с писарем, но ничего не поделаешь. Все равно от писаря никуда не уйдешь. Уж он на дне морском сыщет.

А в поповском доме с раннего утра шло настоящее столпотворение. Сколько было нужно всего заготовить, чтобы накормить и напоить такую ораву помочан! Рябая и толстая попадья Луковна (сокращенное от Лукинична) сбилась с ног, несмотря на помощь писарихи Анны Харитоновны. Она обливалась потом и бегала на погреб, чтобы перевести дух и хлебнуть холодненького домашнего пивца. Попадья была строга и держала мужа в ежовых рукавицах, а тут распинайся для всех, как каторжная. Кроме писарихи, ей помогала еще одна, совсем новая женщина в Суслоне, не имевшая официального положения: это была Арина Матвеевна, сожительница Емельяна. Она недавно приехала и проживала в Суслоне, не смея показать носу на мельницу. Высокая и красивая, она всем понравилась, и попадья принимала ее, как будущую жену Емельяна.

– Вот помрет старик, тогда Емельян и примет закон, – говорила попадья с уверенностью опытного в таких делах человека. – Что делать, нашей сестре приходится вот как терпеть... И в законе терпеть и без закона.

Арина Матвеевна каждый раз так хорошо смущалась от таких разговоров, и попадья ее жалела. Хорошо уж очень застыдится бабочка. Сейчас Арина Матвеевна старалась услужить попадье, чтобы хоть этим отплатить ей за доброту.

Появление Вахрушки обрадовало попадью больше всего.

– Все-таки мужчинка, хоть и старо место, – откровенно объяснила она. – Бабы-то умаялись без тебя, Вахрушка... Скудельный сосуд.

– Уж постараясь, попадья, – заявил Вахрушка. – Старый конь борозды не портит.

– А ты бы по первоначалу хлебнул пивца холодненького, Вахрушка. Кошей-то заморил тебя.

– Ох, заморил!

Помощь Вахрушки дала сейчас же самые благодетельные результаты. Он кричал на баб, ставивших столы во дворе, чуть не сшиб с ног два раза попадаью, придавил лапу поповскому коту, обругал поповскую стряпуху, – одним словом, старался. Писаря и мельника он встречал с внутренним озлоблением, как непрошенных гостей.

– Вот черт принес! – жаловался он попадаье. – Не нашли другого время, а еще мы да мы... и всякое обращение понимаем. Лезут не знамо куда.

– Поп и то жалился на них, – по секрету сообщила попадаья. – Наехали, говорит, на покос и учили меня ругать за исправника.

Впрочем, незваные гости ушли в огород, где у попа была устроена под черемухами беседка, и там расположились сами по себе. Ермилыч выкрал у зазевавшейся стряпухи самовар и сам поставил его.

– На вольном-то воздухе вот как чайку изопьем, – говорил он, раздувая самовар. – Еще спасибо поп-то скажет. Дамов наших буду отпаивать чаем, а то вон попадаья высуня язык бегаает.

Писарь улегся на траву и ничего не говорил. Он был поглощен какою-то тайною мыслью и только угнетенно вздыхал.

Поповский дом теперь походил на крепость, занятую неприятелем. Пока ужинали, дело еще шло ничего, а потом началась уже настоящая попойка. Одной водки было выставлено шесть ведер, не считая домашнего пива. Глухой сдержанный говор во время еды быстро сменялся пьяным галдением, криком и песнями. Скоро уже ничего нельзя было различить, и каждый орудовал в свою голову. Откуда-то явилась балалайка, и под ее треньканье поднялась ожесточенная пляска. Мужики галдели, бабы визжали, и стонала, кажется, сама земля от этого пьяного веселья. Писарь прислушивался к гомонившей помочи и только покачивал головой. Ну, пусть порадуются на последках, а там уж, что бог даст. Конечно, темный народ и ничего не понимает. Мысль о том, что все отберут, засела клином в крепкую писарскую голову. Ермилыч легкомысленно занят был настоящим и постоянно бегал к помочанам, где и успел порядочно выпить. В последний раз он вернулся в сопровождении писарихи я Арины Матвеевны.

– Испейте чайку, мадамы, а то без задних ног останетесь.

Последним пришел в садик поп Макар, не могший от усталости даже говорить, а попадаью Луковну привели под руки.

– Ох, моченьки не стало! – жаловалась старушка. – До смертыньки умаялась. И кто это только придумал помочи!

– А вы наливочки, матушка, – предлагал Ермилыч. – Весь устаток как рукой снимет. Эй, Вахрушка, сорудуй насчет наливки!

– Слушаю-с! – ответил голос Вахрушки неизвестно откуда.

Спускалась уже безмолвная летняя ночь. Помочане разбрелись уже по своим домам. Только издали доносились обрывки пьяных песен, да на Ключевой гоготали сторожившиеся гуси. Поп увел Ермилыча в горницы, а писарь заснул на траве под шумок разговоров в беседке. Когда он проснулся, было уже совершенно темно и только из беседки доносился голос попадады, рассказывавшей что-то бесконечное. Писарь прислушался. Речь шла о Галактионе и разных запольских делах. Изредка вставляли свое словечко Анна и Арина Матвеевна. Оказалось, что суслонские дамы отлично знали решительно все, что делалось в Заполье, всю подноготную: и про Бубниху, с которой запутался Галактион, и про адвоката Мышникова, усадившего Полуянова в острог из-за Харитины, и про бубновский конкурс, и про банк и т. д.

– Вот так бабы! – изумлялся писарь, протирая глаза. – Откуда только они все вызнали?

– Серафима-то Харитоновна все глаза проплакала, – рассказывала попадаья тягучим речитативом. – Бьет он ее, Галактион-то. Известно, озверел человек. Слышь, Анфуса-то Гавриловна сколько разов наезжала к Галактиону, уговаривала и тоже плакала. Молчит Галактион, как пень, а как теща уехала – он опять за свое.

– Гордилась Серафима мужем, – объясняла Анна. – Вот и плачется. За гордость господь наказал.

– И это бывает, – согласилась Арина Матвеевна с тяжелым вздохом. – А то, может, Бубниха-то чем ни на есть испортила Галактиона. Сперва своего мужа уходила, а теперь принялась за чужого.

– Убить ее мало, подлячку. Прежде таких-то в воду бросали.

Потом женщины начали говорить шепотом. Слышался сдержанный смех. Часто упоминалось имя Харитины.

«Ах, проклятые бабы! – начал сердиться писарь. – Это им поп Макар навозит новостей из Заполя, да пьяный Карла болтает. Этакое зелье эти самые бабы! До всего-то им дело».

Дальше писарь узнал, как богато живет Стабровский и какие порядки заведены у него в доме. Все женщины от души жалели Устенку Луковникову, отец которой сошел с ума и отдал дочь полякам.

– Изведут девку вконец, – говорила попадья. – Сама полячкой сделается, а полячки – злые-презлые. Так и шипят, как змеи подколенные.

– У Стабровских англичанка всем делом правит, – объяснила Анна, – тоже, говорят, злющая. Уж такие теперь дела пошли в Заполье, что и ума не приложить. Все умнее да мудренее хотят быть.

Закончилась эта интимная беседа своими домашними делами, причем досталось на орехи суслонским мужьям.

– Ну, наши-то совсем еще ничего не понимают, – говорила попадья. – Да оно и лучше.

– Куда им! – смеялась Анна. – В трех соснах заблудятся!

Это уже окончательно взбесило писаря. Бабы и те понимают, что попрежнему жить нельзя. Было время, да отошло... да... У него опять заходил в голове давешний разговор с Ермилычем. Ведь вот человек удумал штуку. И как еще ловко подвел. Сам же и смеется над городским банком. Вдруг писаря осенила мысль. А что, если самому на манер Ермилыча, да не здесь, а в городе? Писарь даже сел, точно его кто ударил, а потом громко засмеялся.

– Ай, батюшка, кто тут крещеный? – всполошилась попадья. – Никак посторонний мужчина... ай!

А писарь все хохотал и, погрозив кому-то кулаком, проговорил:

– Вот я вам пок-кажу, прохвосты!

Когда писарь вошел в поповскую горницу, там сидел у стола, схватившись за голову, Галактион. Против него сидели о. Макар и Ермилыч и молча смотрели на него. Завидев писаря, Ермилыч молча показал глазами на гостя: дескать, человек не в себе.

Ш

Галактион попал в Суслон совершенно случайно. Он со Штоффом отправился на новый винокурный завод Стабровского, совсем уже готовый к открытию, и здесь услышал, что отец болен. Прямо на мельницу в Прорыв он не поехал, а остановился в Суслоне у писаря. Отца он не видал уже около года и боялся встречи с ним. К отцу у Галактиона еще сохранилось какое-то детское чувство страха, хотя сейчас он совершенно не зависел от него.

Из поповского дома писарь и Галактион скоро ушли домой. Оба были расстроены, каждый по-своему, и молчали. Первым нарушил молчание писарь, заговоривший с каким-то озлоблением:

– Наладили завод Стабровскому? Карла сказывал, что годовой выход на двести тысяч ведер чистого спирта. Вот ахнет такое заведение, так все наскрозь пропьемся. Только кто и вылакает такую прорву винища.

– Прост ты, Флегонт Васильич, и ничего не понимаешь в таких делах.

– Прост, да про себя, Галактион Михеич. Даже весьма понимаем. Ежели Стабровский только по двугривенному получит с каждого ведра чистого барыша, и то составит сумму... да. Сорок тысяч голеньких в год. Завод-то стоит всего тысяч полтораста, – ну, дивиденд настоящий. Мы все, братец, тоже по-своему-то рассчитали и дело вот как понимаем... да. Конечно, у Стабровского капитал, и все для него стараются.

Галактион засмеялся наивности писаря.

– А если, Флегонт Васильич, Стабровский и не будет курить вино на своем заводе, а дивиденд получит такой же?

Писарь только захопал глазами, пораженный такою неожиданностью, а потом обиделся.

– Ты меня и впрямь за дурака считаешь, Галактион Михеич.

– Нет, верно! Ты слышал про винокуренные заводы Прохорова и К о? Там дело миллионное, твердое, поставленное. На три губернии работает, и каждый уголок у них обнюхан. Просунься-ка к ним: задавят. Так?

– Уж это что говорить. Силища, известно.

– Маленькие заводчики Прохоров еще терпит: ну, подыши. Да и неловко целую округу сцапать. Для счету и оставляют такие заводчики, как у Бубнова. А Стабровский-то серьезный конкурент, и с ним расчеты другие.

– Резаться будут до зла-горя, пока которого-нибудь не разорвут.

Галактион опять засмеялся и проговорил другим тоном:

– Вот что, Флегонт Васильич, ты мужик умный, не проболтаешься. Этого еще никто не знает, кроме меня. И самому Стабровскому никогда бы не придумать. А есть тут необыкновенного ума жид Ечкин. Его штука. Никто этого не знает, даже Штофф, а я сообразил, когда по делам бубновского конкурса ездил на прохоровские заводы. Ах, умен Ечкин! Ему министром быть. Видишь, какая тут штука: Прохоров забрал силу, а Ечкин и высчитал, что его можно поджать, и даже очень. Расчет в хлебном рынке и в провозной плате. Если поставить завод ближе к хлебу, так у каждого пуда можно натянуть две-три копейки – вот тебе раз, а второе, везти сырой хлеб или спирт – тоже три-четыре копейки барыша... да... Вот уж тебе тысяча пятнадцать – двадцать Стабровский имеет за здорово живешь и может выдержать конкуренцию. Так? Теперь какой расчет у Прохорова затягивать себе петлю на шею? Ечкин и придумал. Я это только один понимаю, и ты молчи до поры. Он устроит так, что Стабровский будет получать с Прохорова отступную побольше сорока-то тысяч. Обоим будет выгодно. А чуть Прохоров на дыбы, Стабровский завод пустит. Понял теперь?

Писарь сел и смотрел на Галактиона восторженными глазами. Господи, какие умные люди бывают на белом свете! Потом писарю сделалось вдруг страшно: господи, как же простецам-то жить? Он чувствовал себя таким маленьким, глупым, несчастным.

– А мы-то! – проговорил он с тяжелым вздохом и только махнул рукой. – Одним словом, родимая мамынька, зачем ты только на свет родила раба божия Флегонта? Как же нам-то жить, Галактион Михеич? Ведь этак и впрямь слопают, со всем потрохом.

– Ничего, поживем. На всякую загадку есть своя отгадка.

Писаря охватила жажда поделиться мучившею его мыслью. Откровенность Галактиона подзадорила его. Он начал разговор издали, с поповской помочи, когда с Ермилычем пил водку на покосе.

– Как это он мне сказал про свой-то банк, значит, Ермилыч, меня точно осенило. А возьму, напримерно, я, да и отворю ссудную кассу в Заполье, как ты полагаешь? Деньжонок у меня скоплено тысяч за десять, вот рухлядишку побоку, – ну, близко к двадцати набежит. Есть другие мелкие народы, которые прячут деньжонки по подпольям... да. Одним словом, оборочусь.

– Грязное дело, Флегонт Васильич. Бедноту да голь обирать.

– Ах, какой ты! Со богатых-то вы все оберете, а нам уж голенькие остались. Только бы на ноги встать, вот главная причина. У тебя вон пароходы в башке плавают, а мы по сухому бережку с молитвой будем ходить. Только бы мало-мало в люди выбратся, чтобы перед другими не стыдно было. Надоело уж под начальством сидеть, а при своем деле сам большой, сам маленький. Так я говорю?

– Нечистое дело, Флегонт Васильич.

– Э, деньги одинаковы! Только бы нажить. Ведь много ли мне нужно, Галактион Михеич? Я да жена – и все тут. А без дела обидно сидеть, потому как чувствую призвание. А деньги будут, можно и на церковь пожертвовать и слепую богадельню устроить, мало ли что!

– Что же, начинай.

– Одобряешь, значит?

У Галактиона вдруг сделалось скучное лицо, и он нахмурился. Писарь понял, откуда нанесло тучу, и рассказал, что давеча болтала попадья с гостями.

– Откуда только визнают эти бабы! – удивлялся писарь и, хлопнув Галактиона по плечу, прибавил: – А ты не сумлевайся. Без стыда лица не износишь, как сказывали старинные люди, а перемелется – мука будет.

– Нечего сказать, хороша мука. Удивительное это дело, Флегонт Васильич: пока хорошо с женой жил – все в черном теле состоял, а тут, как ошибочку сделал – точно дверь распахнул. Даром деньги получаю. А жену жаль и ребятишек. Несчастный я человек... себе не рад с деньгами.

– Силом женили – с них и взыск.

– Ничего я не знаю, а только сердце горит. Вот к отцу пойду, а сам волк волком. Уж до него тоже пали разные слухи, начнет выговаривать. Эх, пропадай все проподом!

Этот случайный разговор с писарем подействовал на Галактиона успокоивающим образом. Кажется, ничего особенного не было сказано, а как-то легче на душе. Именно в таком настроении он поехал на другой день утром к отцу. По дороге встретился Емельян.

– А, здравствуй, Емельян! Ну, как поживаете?

– Да ничего, – заметил Емельян и замялся. – Ты бы того, Галактион, повременил, а то у родителя этот старец сидит.

– Ну, и пусть сидит... Авось не съедим друг друга.

Галактион как-то чутьем понял, что Емельян едет с мельницы украдом, чтобы повидаться с женой, и ему сделалось жаль брата. Вся у них семья какая-то такая, точно все прячутся друг от друга.

– До свидания, – проговорил Емельян, видимо вырвавшийся на минутку. – Увидимся на мельнице.

– Ладно, приезжай.

Галактион давно собирался к отцу, но все откладывал, а сегодня ехал совершенно спокойно. Чему быть, того не миновать.

Михей Зотыч лежал у себя в горнице на старой деревянной кровати, покрытой войлоком. Он сильно похудел, изменился, а главное – точно весь выцвел. В лице не было ни кровинки. Даже нос заострился, и глаза казались больше.

– А, вспомнил отца! – заговорил он равнодушно, когда Галактион вошел.

– Случайно узнал, папаша, что вы больны. Отчего вы мне ничего не написали? Я сейчас же приехал бы...

– Что писать-то, милый сын? Какой я писатель? Вот смерть приходила... да. Собрался было совсем помирать, да, видно, еще отсрочка вышла. Ох, грехи наши тяжкие!

– Прежде смерти никто не помрет, – ответил из угла старец, которого Галактион сейчас только заметил. – А касаемо грехов, это ты верно, Михей Зотыч. Пора мир-то бросать, а о душе тягчать.

Это был тот самый старец, который был у Галактиона с увещанием. Галактион сделал вид, что не узнал его.

– Ох, пора! – стонал Михей Зотыч, тяжело повертываясь на своем жестком ложе. – Много грехов, старче... Вот как мышь в муку заберется, так и я в грехах.

– Не за себя одного дашь ответ, – отозвался сердито старец. – Говорю: пора... Спихватись, да как бы не опоздать. Мирское у тебя на уме.

Старец рассердился без всякой причины и вышел, хлопнув дверью. Михей Зотыч закрыл глаза и улыбнулся.

– В скиты меня тащат, – заговорил он, – да... Оно пора бы, ежели бы... Зачем ты сюда-то приехал. Галактион?

– На заводе был у Стабровского, папаша. По пути и сюда завернул.

– Нанялся к Стабровскому в подрушные?

– Нет, я так... У меня свое дело.

– Хорошее дело, сыночек...

– Какое уж есть... Не помирать же с голоду.

– Отцу не хотел служить, а бесу служишь. Ну, да это твое дело... Сам не маленький и правую руку от левой отличишь.

Галактион замер, ожидая, что отец начнет выговаривать ему относительно жены, но Михай Зотыч закрыл глаза и опять улыбнулся.

– Думал: помру, – думал он вслух. – Тяжело душеньке с грешным телом расставаться... Ох, тяжело! Ну, лежу и думаю: только ведь еще жить начал... Раньше-то в египетской работе состоял, а тут на себя... да...

С трудом облокотившись на подушку, старик прибавил другим голосом:

– А я два места под мельницы арендовал, Галактион. Одно-то на Ключевой, пониже Ермильча, а другое – на притоке.

– Для чего ж тебе еще две мельницы?

– Ну уж это не твое дело.

– Что же, я могу составить тебе планы и сметы, а выстроите и без меня. У меня своего дела по горло.

Старик посмотрел на сына прищуренными глазами, как делал, когда сердился, но сдержал себя и проговорил деловитым тоном:

– Сами управимся, бог даст... а ты только плант наведи. Не следовало бы тебе настоящему так с отцом разговаривать, – ну, да уж бог с тобой... Яйца умнее курицы по нынешним временам.

Галактион провел целый день у отца. Все время шел деловой разговор. Михай Зотыч не выдал себя ни одним словом, что знает что-нибудь про сына. Может быть, тут был свой расчет, может быть, нежелание вмешиваться в чужие семейные дела, но Галактиону отец показался немного тронутым человеком. Он помешался на своих мельницах и больше ничего знать не хотел.

Вечером Галактиона поймал Симон.

– Братец, совсем вы забыли нас, – жаловался он. – А мы тут померли от скуки... Емельян-то уезжает по ночам в Суслон, а я все один. Хоть бы вы меня взяли к себе в Заполье, братец... Уж я бы как старался.

– погоди, вот сам сначала устроюсь... Тебе Харитина кланяется.

– Станет она думать обо мне, братец! На всякий случай скажите поклончик, что, мол, есть такой несчастный молодой человек, который жисть свою готов за вас отдать. Так и скажите, братец.

– Сладко уж очень, а я не умею так говорить, – отшучивался Галактион.

Потом Галактион с неожиданною нежностью обнял брата и проговорил:

– Симон, бойся проклятых баб. Всякое несчастье от них... да. Вот смотри на меня и казись. У нас уж такая роковая семья... Счастья нет.

С отцом Галактион расстался совсем сухо, как чужой.

Емельян поехал провожать Галактиона и всю дорогу имел вид человека, приготовившегося сообщить какую-то очень важную тайну. Он даже откашливался, кряхтел и поправлял ворот ситцевой рубахи, но так ничего и не сказал. Галактион все думал об отце и приходил к заключению, что старик серьезно повихнулся.

Галактион отъехал уже целых полстанции от Суслона, как у него вдруг явилось страстное желание вернуться в Прорыв. Да, нужно было все сказать отцу.

– Поворачивай! – крикнул он ямщику таким голосом, что тот оглянулся. – Да живее!

Какое-то странное волнение охватило Галактиона, точно он боялся чего-то не донести и потерять дорогой. А потом эта очищающая жажда высказаться, выложить всю душу... Ему сделалось даже страшно при мысли, что отец мог вдруг умереть, и он остался бы навсегда с тяжестью на душе.

Симон испугался, когда увидел вернувшегося Галактиона, – у него было такое страшное лицо. Он еще не видал брата таким.

– Что случилось, Галактион?

– Ничего... Забыл переговорить с отцом об одном деле.

Михей Зотыч, наоборот, нисколько не удивился возвращению Галактиона. Скитский старец попрежнему сидел в углу, и Галактион обрадовался, что он здесь, как живой посредник между ним и отцом.

– Чего позабыл? – грубо спросил Михей Зотыч улыбаясь.

– Чего забыл? – точно рванул Галактион. – А вот это самое... да. Ведь я домой поехал, а дома-то и нет... жена постылая в дому... родительское благословение, навеки нерушимое... Вот я и вернулся, чтобы сказать... да... сказать... Ведь все знают, – не скроешь. А только никто не знает, что у меня вся душенька выболела.

– А ты всем скажи: отец, мол, родной виноват, – добавил Михей Зотыч с прежнею улыбкой. – Отец насильно женил... Ну, и будешь прав, да еще тебя-то пожалеют, особенно которые бабы ежели с жиру бесятся. Чужие-то люди жалостливее.

– Хорошо тебе наговаривать, родитель, да высмеивать, – как-то застонал Галактион, – да. А я вот и своей-то постылой жизни не рад. Хлопочу, работаю, тороплюсь куда-то, а все это одна видимость... у самого пусто, вот тут пусто.

– Ишь как ты разлакомился там, в Заполье! – засмеялся опять Михей Зотыч. – У вас ведь там все правые, и один лучше другого, потому как ни бога, ни черта не знают. Жиды, да табашники, да потворщики, да жалостливые бабешки.

Галактион вскочил со стула и посмотрел на отца совсем дикими глазами. О, как он сейчас его ненавидел, органически ненавидел вот за эту безжалостность, за смех, за самоуверенность, – ведь это была его собственная несчастная судьба, которая смеялась над ним в глаза. Потом у него все помутилось в голове. Ему так много было нужно сказать отцу, а выходило совсем другое, и язык говорил не то. Галактион вдруг обессилел и беспомощно посмотрел кругом, точно искал поддержки.

– А в Кирилловой книге сказано, – отозвался из угла скитский старец: – «Да не будем к тому младенцы умом, скитающиеся во всяком ветре учения, во лжи человеческой, в коварстве козней льщения. Блюдем истинствующие в любви».

– Это ежели у кого совесть, – добавил Михей Зотыч смиренным тоном. – А у нас злоба и ярость.

– Смейся, родитель. Да, смейся! – крикнул Галактион. – А над кем смеешься-то?

– Слышишь, старче, как нынче детки с родителями разговоры разговаривают? – обратился Михей Зотыч к своему гостю. – Ну, сынок, скажи еще что-нибудь.

– И скажу! От кого плачется Серафима Харитоновна? От кого дом у меня пустует? Кто засиротил малых детушек при живом отце-матери? От кого мыкается по чужим дворам Емельянова жена, как беспастушная скотина? Вся семья врозь пошла.

– А вот помру, так все поправитесь, – ядовито ответил Михей Зотыч, тряхнув головой. – Умнее отца будете жить. А сейчас-то надо бы тебя, милый сынок, отправить в волость, да всыпать горячих штук полтора, да прохладить потом в холодной недельки с две. Эй, Вахрушка!

На счастье Галактиона, Вахрушки не случилось дома, и он мог обратиться из-под гостеприимной родительской кровли цел и невредим.

– Ужо в город приеду к тебе в гости! – крикнул ему вслед Михей Зотыч, напрасно порываясь подняться. – Там-то не уйдешь от меня... Найдем и на тебя управу!

Когда под окнами проехала дорожная повозка Галактиона, скитский старец проговорил:

– А ты напрасно изводишь сына-то, Михей Зотыч. На каком дереве птицы не сиживали, – так и грехи на человеке. А мужнин-то грех за порогом... Подурит, да домой воротится.

– А ежели я его люблю, вот этого самого Галактиона? Оттого я женил за благо время и денег не дал, когда в отдел он пошел... Ведь умница Галактион-то, а когда в силу войдет, так и никого бояться не будет. Теперь-то вон как в нем совесть ходит... А тут еще отец ему спуску не дает. Так-то, отче!

Всю дорогу до Заполья Галактион ехал точно в каком-то тумане. С отцом вышло какое-то дикое объяснение, и он не мог высказать того, что хотел. Свою душевную тяжесть он вез обратно с собой. Теперь у него не выходила из головы жена. Какая-то жгучая жалость охватывала его сердце, а глаза видели заплаканное, прежде времени старившееся лицо Галактиону делалось совестно за свое поведение. В самом деле, зачем он зорил свой собственный дам? Кстати, и с Прасковьей Ивановной все кончилось так же быстро, как началось... Они не сошлись характерами. Прасковья Ивановна жаждала безусловного повиновения, а Галактион не умел поддаваться, да и не любил ее настолько, чтобы исполнять каждый женский каприз. Положим, Прасковья Ивановна была и красива, и молода, и пикантна, но это было совсем не то. Из-за нее для Галактиона выдвигалось постоянно другое женское лицо, ласковое и строгое, с такими властными глазами, какою-то глубокою внутреннею полнотой. Под этим взглядом он чувствовал себя как-то и хорошо, и жутко, и спокойно, точно в ясное солнечное летнее утро, когда все кругом радуется. Прасковья Ивановна сама догадалась, что из этой связи ничего не выйдет, и объявила Галактиону без слез и жалоб, деловым тоном:

– Идите вы, Галактион Михеич, к жене... Соскучилась она без вас, а мне с вами скучно. Будет... Как-никак, а все-таки я мужняя жена. Вот муж помрет, так, может, и замуж выйду.

– За Мышникова?

– Уж какая судьба выпадет. Вот вы гонялись за Харитиной, а попали на меня. Значит, была одна судьба, а сейчас вам выходит другая: от ворот поворот.

Так и расстались, и ни которому ни тепло, ни холодно не сделалось.

Именно с такими мыслями возвращался в Заполье Галактион и последнюю станцию особенно торопился. Ему хотелось поскорее увидеть жену и детей. Да, он соскучился о них. На детей в последнее время он обращал совсем мало внимания, и ему делалось совестно. И жены совестно. Подъезжая к городу, Галактион решил, что все расскажет жене, все до последней мелочи, вымолит прощение и заживет по-новому.

– Эй, ямщик, живее!

Но в Заполье его ожидал неожиданный сюрприз. Дома была одна кухарка, которая и объявила, что дома никого нет.

– Как никого?

– Да так. Серафима Харитоновна забрала ребятку и увезла их к тятеньке. Сказала, што сюда не вернется.

Это был настоящий удар. В первый момент Галактион не понял хорошенько всей важности случившегося. Именно этого он никак не ожидал от жены. Но опустевшие комнаты говорили красноречивее живых людей. Галактиона охватило озлобленное отчаяние. Да, теперь все порвалось и навсегда. Возврата уже не было.

– Что же, сам виноват, – вслух думал Галактион. – Так и должно было быть... Серафиме ничего не оставалось делать, как уйти.

Долго Галактион ходил по опустевшему гнезду, переживая щемящую тоску. Особенно жутко ему сделалось, когда он вошел в детскую. Вот и забытые игрушки, и пустые кроватки, и детские костюмчики на стене... Чем бедные детки виноваты? Галактион присел к столу с игрушками и заплакал. Ему сделалось страшно жаль детей. У других-то все по-другому, а вот эти будут сиротами расти при отце с матерью... Нет, хуже! Ах, несчастные детки, несчастные!

Много передумал Галактион за эти часы, пока не перешел к самому близкому. Да, теперь уж, вероятно, целый город знает, что жена ушла от него. Худые вести не лежат на месте. Как он теперь в люди глаза покажет? Ведь все будут на него пальцами указывать. Чувство жалости к жене сменилось теперь затаенным озлоблением. Да, она хотела устроить ему скандал и устроила в полной форме. Хуже ничего не могла придумать. И опять от этого скандала хуже будет все тем же несчастным детям. Если бы Серафима по-настоящему любила детей, так никогда бы так не сделала.

«Ну, ушла к отцу, что же из этого? – раздумывал Галактион. – Ну, будут дети расти у бабушки, что же тут хорошего? Пьянство, безобразие, постоянные скандалы. Ах, Серафима, Серафима!»

Галактион дождался сумерек и отправился к Малыгиным. Он ужасно боялся, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых, и нарочно обошел самые людные улицы, как вор, который боится собственной тени.

Его неожиданное появление в малыгинском доме произвело настоящий переполох, точно вошел разбойник. Встретившая его на дворе стряпка Аграфена только ахнула, выронила из рук горшок и убежала в кухню. Сама Анфуса Гавриловна заперлась у себя в спальне. Принял зятя на террасе сам Харитон Артемьич, бывший, по обыкновению, навеселе.

– Ну, милый зятек, как мы будем с тобой разговаривать? – бормотал он, размахивая рукой. – Оно тово... да... Наградил господь меня зятьками, нечего сказать. Один в тюрьме сидит, от другого жена убежала, третий... Настоящий альбом! Истинно благословил господь за родительские молитвы.

– Поговоримте серьезно, Харитон Артемьич.

– Да ты с кем разговариваешь-то, путаная голова? – неожиданно закричал старик. – Вот сперва свою дочь вырасти... да. А у меня с тобой короткий разговор: вон!

Старик даже затопал ногами и выбежал с террасы. Галактион чувствовал, как он весь холодеет, а в глазах стоит какая-то муть. Харитон Артемьич сбегал в столовую, хлопнул рюмку водки сверх абонемента и вернулся уже в другом настроении.

– Вот что, Галактион, неладно... да.

– Я и сам знаю, что хорошего ничего нет. А только вот дети.

– Ах, нехорошо, брат!.. И мы не без греха прожили... всячески бывало. Только оно тово... Вот ты вырасти свою дочь... Да, вырасти!..

Старик опять закричал и затопал ногами, но в этот критический момент явилась на выручку Анфуса Гавриловна. Она вошла с опущенными глазами и старалась не смотреть на зятя.

– Иди-ка ты, отец, к себе лучше, – проговорила старушка с решительным видом, какого Галактион не ожидал. – Я уж сама.

– Что же, я и уйду, – согласился Харитон Артемьич. – Тошно мне глядеть-то на всех вас. Разорвал бы, кажется, всех. Наградил господь. Что я тебе по-настоящему-то должен сказать, Галактион? Какие-такие слова я должен выговаривать? Да я...

– Ну, иди, иди, Харитон Артемьич.

– И уйду. А ты, Фуса, не верь ему, ни единому слову не верь, потому нынешние-то зятя... тьфу!

Когда Харитон Артемьич вышел с террасы, наступила самая томительная пауза, показавшаяся Галактиону вечностью. Анфуса Гавриловна присела к столу и тихо заплакала. Это было самое худшее, что только можно было придумать. У Галактиона даже зануло под ложечкой и вылетели из головы все слова, какие он хотел сказать теще.

– Вся надежда у меня только на тебя была, Галактион, – заговорила Анфуса Гавриловна, не вытирая слез, – да. А ты вот что придумал.

– Меж мужем и женой один бог судья, мамаша, а вторая причина... Эх, да что тут говорить! Все равно не поймете. С добром я ехал домой, хотел жене во всем покаяться и зажить по-новому, а она меня на весь город ославила. Кому хуже-то будет?

– Сам же запустошил дом и сам же похваляешься. Нехорошо, Галактион, а за чужие-то слезы бог найдет. Пришел ты, а того не понимаешь, что я и разговаривать-то с тобой настоящему не могу. Я-то скажу правду, а ты со зла все на жену переведешь. Мудрено с зятьями-то разговаривать. Вот выдай свою дочь, тогда и узнаешь.

Галактион заходил по террасе, как раненый зверь. Потом он тряхнул волосами и проговорил:

– Вот что, мамаша, кто старое помянет, тому глаз вон. Ничего больше не будет. У Симы я сам выпрошу прощенье, только вы ее не растравляйте. Не ее, а детей жалею. И вы меня простите. Так уж вышло.

V

Жена вернулась к Галактиону, но этим дело не поправилось. Супруги встретились затаенными врагами, прикованными на одну цепь. Серафима понимала одно, именно, что все это хуже того, если б муж бранил ее и даже бил. Побои и брань проходят и забываются, а у них было хуже. Галактион был чужим человеком в своем доме и говорил только при детях. С женой он не сказал двух слов, и это молчание убивало ее больше всего. Она даже боялась думать о том, что будет дальше, и чувствовала себя живым покойником. И раньше муж не любил ее по-настоящему, но жалел, и она чувствовала себя покойно. Сейчас Галактион сидел почти безвыходно дома и все работал в своей комнате над какими-то бумагами, которые приносил ему Штофф. Изредка он выезжал только по делам, чаще всего к Стабровскому.

Чужие люди не показывались у них в доме, точно избегали зачумленного места. Раз только зашел «сладкий братец» Прасковьи Ивановны и долго о чем-то беседовал с Галактионом. Разговор происходил приблизительно в такой форме:

– Заехал я к вам, Галактион Михеич, по этой самой опеке, – говорил Голяшкин, сладко жмуря глаза. – Хотя вы и отвернулись от нее, а между прочим, и мы не желаем тонуть одни-с. Тонуть, так вместе-с.

– Ах, мне все равно! – соглашался Галактион. – Делайте, как знаете!

– На манер Ильи Фирсыча Полуянова?

– Опять-таки дело ваше.

– Так-то оно так, а все-таки будто и неприятно, ежели, например, в острог. Прасковья Ивановна наказали вам сказать, что большие слухи ходят по городу. Конечно, зря народ болтает, а оно все-таки...

– Послушайте, мне решительно все равно. Понимаете?

У Голяшкина была странная манера во время разговора придвигаться к собеседнику все ближе и ближе, что сейчас как-то особенно волновало Галактиона. Ему просто хотелось выгнать этого сладкого братца, и он с большим трудом удерживался. Они стояли друг против друга и смотрели прямо в глаза.

– Как же я скажу Прасковье Ивановне? – неожиданно спросил Голяшкин?

– А так и скажите, что пропадай все.

– Позвольте-с, как же это так-с? Прасковья Ивановна...

Галактион неожиданно вспылал, затопал ногами и крикнул:

– Да что ты из меня жилы тянешь... Уходи, ежели хочешь быть цел! Так и своей Прасковье Ивановне скажи! Одним словом, убирайся ко всем чертям!

– Так-с. Так вы вот как-с, – бормотал Голяшкин, пятясь к двери. – Да-с. Очень вежливо...

Галактион остановил его и, взяв за борт сюртука, проговорил задыхавшимся голосом:

– Ну, чего ты боишься, сахар? Посмотри на себя в зеркало: рожа прямо на подсудимую скамью просится. Все там будем. Ну, теперь доволен?

– Вы-то как знаете, Галактион Михеич, а я не согласен, что касаемо подсудимой скамьи. Уж вы меня извините, а я не согласен. Так и Прасковье Ивановне скажу. Конечно, вы вовремя из дела ушли, и вам все равно... да-с. Что касаемо опять подсудимой скамьи, так от суммы да от тюрьмы не отказывайся. Это вы правильно. А Прасковья Ивановна говорит...

– Вон, дурак!

Этот визит все-таки обеспокоил Галактиона. Дыму без огня не бывает. По городу благодаря полуяновскому делу ходили всевозможные слухи о разных других назревающих делах, а в том числе и о бубновской опеке. Как на беду, и всеведущий Штофф куда-то провалился. Впрочем, он скоро вернулся из какой-то таинственной поездки и приехал к Галактиону ночью, на огонек.

– У тебя был Голяшкин? – спрашивал немец без всяких предисловий.

– Был.

– Он сладкий дурак и больше ничего.

– Знаю. Я ему это сам сказал. Все-таки знаешь...

– Э, вздор!.. Так, зря болтают. Я тебе скажу всего одно слово: Мышников. Понял? У нас есть адвокат Мышников. У него, брат, все предусмотрено... да. Я нарочно заехал к тебе, чтобы предупредить, а то ведь как раз горячку будешь пороть.

Уходя, Штофф пришаркнул своею хромою ногой, подмигнул и проговорил:

– А какая есть девчурка в Кунаре... пхе!..

– Ну, брат, я этими делами не занимаюсь. Отваливай.

– Да ты спятил с ума, братец?

– Около того.

– Ты глуп, несчастный!

– Пусть.

Галактион действительно прервал всякие отношения с пьяной запольской компанией, сидел дома и бывал только по делу у Стабровского. Умный поляк долго приглядывался к молодому мельнику и кончил тем, что поверил в него. Стабровскому больше всего нравились в Галактионе его раскольничья сдержанность и простой, но здоровый русский ум.

– Мне почему-то кажется, что мы будем большими друзьями, – проговорил однажды Стабровский, пытливо глядя на Галактиона. – Одним словом, вы будете нашим вполне.

– Благодарю, Болеслав Брониславич, только оно как будто и не подходит: вы – барин, а я – мужик.

Стабровский только улыбнулся, взял Галактиона под руку и проговорил:

– Идемте завтракать.

Это простое приглашение, как Галактион понял только впоследствии, являлось своего рода посвящением в орден наших. В официальные дни у Стабровского бывал целый город, а запросто бывали только самые близкие люди.

Завтрак был простой, но Галактиону показалось жуткой царившая здесь чопорность, и он как-то сразу возненавидел белобрысую англичанку, смотревшую на него, как на дикаря. «Этакая выдра!» – думал Галактион, испытывая неловкое смущение, когда англичанка начинала смотреть на него своими рыбьими глазами. Зато Устенка так застенчиво и ласково улыбалась ему.

– Это тоже ваша дочь? – спросил Галактион.

– Нет, это просто славяночка Устенка, дочь Тараса Семеныча. Она учится вместе с моей Дидей.

Маленькая полечка все время наблюдала гостя и, когда он делал что-нибудь против этикета, сдержанно улыбалась и вопросительно смотрела на гувернантку, точно на каланчу, которая могла каждую минуту выкинуть сигнал тревоги. Англичанка на этот немой вопрос поднимала свои сухие плечи и рыжие брови, а потом кивала головой с грацией фарфоровой куклы, что в переводе значило: мужик. Устенка отлично понимала этот немой язык и волновалась за каждую неловкость Галактиона: он гремел чайною ложечкой, не умел намазать масла на хлеб, решительно не знал, что делать с сэндвичами. Когда Галактион начал есть рыбу ножом, англичанка величественно поднялась и павой выплыла из столовой. Дидя бросилась за ней, захватив рот рукой. Но отец приказал ей вернуться и сделал строгое лицо.

Устенка сидела вся красная, опустив глаза. Она понимала, что Стабровский делается усиленно вежливым с гостем, чтобы тот не заметил устроенной англичанкой демонстрации. Он дошел до того, что даже сам начал есть рыбу с ножа. Это уже окончательно переломило терпение Диди, – девочка расхохоталась неудержимым детским хохотом и убежала в детскую, где англичанка уже укладывала свои чемоданы.

– Я попала куда-то к самоедам... – объясняла мисс Дудль.

В столовой оставались только хозяин, гость и Устенка.

– Славяночка, ты будешь угощать нас кофе, – говорил Стабровский с какою-то особенною польскою ласковостью.

А Галактион сидел и не понимал, в чем дело, хотя смутно и догадывался, что проклятая англичанка уплыла неспроста. Хохот Диди тоже его смущал.

Вывел всех из неловкого положения доктор Кочетов, который явился с известием, что Бубнов умер сегодня ночью.

– Самое лучшее, что он мог сделать, – заметил Стабровский, делая брезгливое движение, – да. Для чего такие люди живут на свете?

– И все-таки жаль, – думал вслух доктор. – Раньше я говорил то же, а когда посмотрел на него мертвого... В последнее время он перестал совсем пить, хотя уж было поздно.

– Тут была какая-то темная история. А впрочем, не наше дело. Разве может быть иначе, когда все удовольствие у этих дикарей только в том, чтоб напиться до свинства? Культурный человек никогда не дойдет до такого положения и не может пойти.

Известие о смерти несчастного Бубнова обрадовало Галактиона: эта смерть развязывала всем руки, и проклятое дело по опеке разрешалось само собой. У него точно гора свалилась с плеч.

– Девочка, принесите мне коньячку, – просил доктор Устенку.

Он, по обыкновению, был с похмелья, что являлось для него нормальным состоянием. Устенка достала из буфета бутылку финьяшампань и поставила ее на стол. Доктор залпом выпил две больших рюмки и сразу осовел.

– Да, был человек, и нет человека, – бормотал он. – А все-таки жаль разумное божье созданье.

Потом он неожиданно обратился к Галактиону и с пьяною улыбкой проговорил:

– А вы, ваше степенство, небось рады, да? Что же, это в порядке вещей: сегодня Бубнов умер от купеческого запоя, а завтра умрем мы с вами. Homo sum, nihil humanum alienum puto... [5]

Доктор в доме Стабровского был своим человеком и желанным гостем, как врач и образованный человек. Даже мисс Дудль благоволила к нему, и Стабровский любил подшутить над нею по этому поводу, когда не было девочек. Доктору прощалось многое, чего не могли позволить никому другому. Так, выпивши, он впадал в обличительное настроение и начинал громить «плутократов». Особенно доставалось Штоффу. Стабровский хохотал до слез, когда доктор бывал в ударе. Сейчас Штоффа не было, а доктор сосредоточил свое внимание на Галактионе.

– Ну что, начинающий плутокрот, как дела?

– Ничего, доктор, понемножку.

– Плутовать понемножку невыгодно. Вот учитесь у Болеслава Брониславича, который ловит только крупную рыбу, а мелкие плуты кончают, как Полуянов.

– Послушайте, доктор, прийти в дом и называть хозяина большим плутом... – заговорил Стабровский, стараясь сохранить шуточный тон. – Это... это...

– Вы хотите сказать, что это свинство? – поправил доктор. – Может быть, вы хотите к этому прибавить, что я пьяница? И в том и в другом случае вы будете правы, хотя... Я еще выпью плутокротского коньячку.

– А потом опять будете нас обличать?

– И буду, всегда буду. Ведь человек, который обличает других, уже тем самым как бы выгораживает себя и садится на отдельную полочку. Я вас обличаю и сам же служу вам. Это напоминает собаку, которая гоняется за собственным хвостом.

Галактион только выжидал случая, чтоб уйти. Завтрак был кончен, а слушать пьяного доктора не представляло удовольствия.

– А, испугался! – провожал его доктор. – Не понравилось... Хха! А вы, ваше степенство, заверните к Прасковье Ивановне. Сия особа очень нуждается в утешении... да. У ней такое серьезное горе... хха!..

В передней Галактиона догнала Устенка и шепнула:

– Вы никогда, никогда не ешьте рыбы ножом. Это не принято. И чайною ложкой не стучите... и хлеб отламывайте маленькими кусочками, а не откусывайте прямо от ломтя.

– Хорошо, я не буду.

Галактион поднял девочку и поцеловал.

– Тоже нельзя, – строго заметила она. – Я уж большая.

Этот первый завтрак служил для Галактиона чем-то вроде вступительного экзамена. Скоро он почувствовал себя у Стабровских если не своим, то и не чужим. Сам старик только иногда конфузил его своею изысканною внимательностью. Галактион все-таки относился к магнату с недоверием. Их окончательно сблизил случайный разговор, когда Галактион высказал свою заветную мечту о пароходстве. Стабровский посмотрел на него прищуренными глазами, похлопал по плечу и проговорил:

– Вот это я понимаю... да! Очень хорошо, молодой человек! Я и сам об этом подумывал, да одному не разорваться. Мы еще потолкуем об этом серьезно. А вы далеко пойдете, Галактион Михеич. Именно нам, русским, недостает разумной предприимчивости.

VI

Полуяновское дело двигалось вперед, как ком снегу, нарастая от собственного движения. В первую минуту, подавленный неожиданностью всего случившегося, бывший исправник повел свое дело, как и другие в его положении, исходя из принципа, что пропадать, так пропадать не одному, а вместе с другими. Результатом этой психологии явился оговор десятков прикосновенных так или иначе к его делу лиц. Следовательно выбивался из сил, вызывая десятки свидетелей. Полуянов торжествовал, что хотя этим путам мог досадить тому обществу, которое выдавало его головой. Но через полгода в нем произошел какой-то таинственный внутренний переворот. Он начал молиться, притих и вообще смирился. Даже самая наружность изменилась: пьяный опух исчез, отросшая борода придала старческое благообразие, даже голос сделался другим. В одно прекрасное утро Полуянов признался следователю, что больше половины привлеченных к делу лиц оговорил по злобе. Следователь был огорашен, потому что хоть начинай дело снова.

– Вы уж как там знаете, а я не могу, – упрямо повторял Полуянов на все увещания следователя. – Судите меня одного, а другие сами про себя знают... да. Моя песенка спета, зачем же лишний грех на душу брать? Относительно себя ничего не утаю.

Странные отношения теперь установились у Полуянова к жене. Он ужасно ее жалел и мучился постоянно мыслью о ее судьбе. Харитина ежедневно ездила в острог и всячески поддерживала новое настроение в муже.

– Молода ты, Харитина, – с подавленною тоской повторял Полуянов, с отеческой нежностью глядя на жену. – Какой я тебе муж был? Так, одно зверство. Если бы тебе настоящего мужа... Ну, да что об этом говорить! Вот останешься одна, так тогда устраивайся уж по-новому.

– Перестань ты, Илья Фирсыч... Еще неизвестно, кто кого переживет, а раньше смерти не умирают.

Раз Полуянов долго-долго смотрел на жену и проговорил со слезами на глазах:

– За одно благодарю бога, именно, что у нас нет детей... да. Ты только подумай, Харитина, что бы их ждало впереди? Страшно подумать. Добрые люди показывали бы

пальцами... Благодарю господу за его великую милость!

– Ты меня не любишь, Илья Фирсыч, – говорила Харитина, краснея и опуская глаза; она, кажется, никогда еще не была такою красивой, как сейчас. – Все желают детей, а ты не хочешь.

– Перестань, дурочка.

На Полуянова теперь часто находило слезливое настроение, что очень трогало Харитину. Ей делалось жаль и себя, и мужа, и что-то такое, что не было изжито. Иногда на нее находила жажда какого-то истерического покаяния – броситься в ноги мужу и каяться, каяться. Но, перебирая свою жизнь, она не находила ничего подходящего, за исключением отношений к Галактиону, да и здесь ничего серьезного не было, кроме самой обыкновенной девичьей глупости. Она знала, что муж ей изменял на каждом шагу, но сама она ни разу ему не изменила. Впрочем, последнее могло быть каждую минуту, если бы подвернулся подходящий случай. Мысль о Галактионе опять начала посещать Харитину, как она ни старалась ее отогнать. Это ее мучило, и при всей жажде покаяния она именно этого никак не могла сказать мужу. Затем ее начинало злить, что он вернулся из поездки и не кажет к ней глаз. О разрыве его с Прасковьей Ивановной она знала и поэтому не могла понять, почему он не хочет ее видеть. Она надеялась, что Галактион обратится к ней за помощью, чтобы помириться с женой, но и тут он обошелся без нее. Он вообще не хотел ее знать, и это ее злило.

Харитине доставляла какое-то жгучее наслаждение именно эта двойственность: она льнула к мужу и среди самых трогательных сцен думала о Галактионе. Она не могла бы сказать, любит его или нет; а ей просто хотелось думать о нем. Если б он пришел к ней, она его приняла бы очень сухо и ни одним движением не выдала бы своего настроения. О, он никогда не узнает и не должен знать того позора, какой она переживала сейчас! И хорошо и худо – все ее, и никому до этого дела нет.

Даже накануне суда Харитина думала не о муже, которого завтра будут судить, а о Галактионе. Придет он на суд или не придет? Даже когда ехала она на суд, ее мучила все та же мысль о Галактионе, и Харитина презирала себя, как соучастницу какого-то непростительного преступления. И все-таки, войдя в залу суда, она искала глазами не мужа.

Судить Полуянова выехало отделение недавно открытого екатеринбургского окружного суда. Это была новость. И странно, что первым делом для нового суда попало по списку дело старого сибирского исправника Полуянова. Весь город сбегался смотреть на новый суд и старого грешника, так что не хватало места и для десятой доли желающих. Всех больше набралось своей братии – купцов. Полуянов занял скамью подсудимых с достоинством, как человек, который уже вперед пережил самое худшее. Это настроение изменило ему только тогда, когда он узнал в публике лицо жены. Он как-то весь съезжился и точно сделался меньше. Он не чувствовал на себе теперь жадного внимания толпы, а видел только ее одну, цветущую, молодую, жизнерадостную, и понял то, что они навеки разлучены, и что все кончено, и что будут уже другие жить. Его охватила жгучая тоска, и он с ненавистью оглядел толпу, для которой еще недавно был своим и желанным человеком.

«А, вы вот как! – сверлило у Полуянова в мозгу, так что он ощущал физическую боль. – Подождите!»

Рядом с Харитиной на первой скамье сидел доктор Кочетов. Она была не рада такому соседству и старалась не дышать, чтобы не слышать перегорелого запаха водки. А доктор старался быть с ней особенно любезным, как бывают любезными на похоронах с дамами в трауре: ведь она до некоторой степени являлась тоже героиней настоящего судебного дня. После подсудимого публика уделяла ей самое большое внимание и следила за каждым ее движением. Харитина это чувствовала и инстинктивно приняла бесстрастный вид.

– Не вредно, – повторял доктор, ухмыляясь. – Да-а... *Suum cuique*.^[6]

Это скрытое торжество волновало и сердило Харитину, и ей опять делалось жаль мужа. Она даже насильно вызывала в памяти те нежные сцены, которые происходили у нее с мужем в остроге. Ей хотелось пожалеть его по-хорошему, пожалеть, как умеют жалеть любящие женщины, а вместо этого она ни к селу ни к городу спросила доктора:

– Доктор, вы не видали Галактиона?

– Какого Галактиона, madame?

– Ах, какой вы! Ну, мой зять, Колобов.

– А!.. Едва ли он будет здесь. У них открытие банка.

В следующий момент Харитине сделалось совестно за свой вопрос. Что ей за дело до Галактиона? Если б его и совсем не было на свете, так для нее решительно все равно. Пусть открывает банк, пусть строит свои пароходы, – она все равно останется одна. Ее еще первый раз охватило это щемящее чувство одиночества. Ведь она такая молодая, ведь она еще совсем не жила, а тут точно затворяется под самым носом какая-то дверь, которая отнимет и небо, и солнце, и свет. А виновник ее одиночества сидел на скамье подсудимых такой несчастный, жалкий, даже не вызывавший в ней прежних добрых чувств, точно он был далеко-далеко и точно он был ее мужем давно-давно. Харитину начало охватывать молчаливое бешенство и к этому жалкому арестанту, который смел называть себя ее мужем, и к этому бессовестному любопытству чужой толпы, и к судьям, и к присяжным. Ей хотелось крикнуть что-то такое обидное для всех, всех выгнать и остаться одной.

В течение целого дня происходил допрос свидетелей, которых вызывали без конца. С Полуяновым сделался какой-то новый переворот, когда он увидел лицом к лицу своих обвинителей. Он побледнел, подтянулся и на время сделался прежним Полуяновым. К нему вернулось недавнее чувство действительности.

– Все, что я показывал у господина следователя, неверно, – заявил он спокойно и твердо. – Да, неверно.

В Полуянове вспыхнула прежняя энергия, и он вступил в ожесточенный бой с свидетелями, подавляя их своею находчивостью, опытом и смелостью натиска. Потухшие глаза заблестели, на лице выступили красные пятна, – это был человек, решившийся продать дорого свою жизнь.

Этот поворот оживил всех. Старый волк показал свои зубы. Особенно досталось попу Макару. В публике слышался смех, когда он с поповскою витиеватостью давал свое показание. Председатель принужден был остановить проявление неуместного веселья.

– Как же вы могли позволить, батюшка, чтобы Полуянов привез покойницу к вам на погреб? – допрашивал защищающий Полуянова адвокат. – Ведь в своем селе вы большая сила, первый человек.

– А что же я поделаю с ним? – отвечал вопросом о. Макар. – По-нашему, по-деревенски, так говорят: стогом мыши не задавишь.

Публика опять смеялась, так что председатель пригрозил удалить из зала заседания всех. Харитина точно вся приподнялась и вызывающе оглядывала соседей. Чему они радуются?

В зале делалось душно, особенно когда зажгли лампы. Свидетелям не было конца. Все самые тайные подвиги Полуянова выплывали на свет божий. Свидетельствовала крестьяне, мещане, мелкие и крупные купцы, какие-то бабы-торговки, – все это были данники Полуянова, привыкшие ему платить из года в год. Страница за страницей разворачивалась картина бесконечного сибирского хищения. Многие Полуянов сам забыл и с удивлением говорил:

– Что же, может быть... Все может быть. А я не помню... Да и где все одному человеку упомнить?

Было два-три случая артистического взяточничества, и Полуянов сам поправлял свидетелей, напоминая подробности. Он особенно напирал на то, что брал взятки и производил вымогательства, но председатель его остановил.

– Это к делу не относится... да-с.

Потом был сделан на два часа перерыв. Харитина добилась свидания с мужем.

– Нет, погоди, я им еще покажу! – повторял он, сжимая кулаки. – Будут помнить Полуянова!.. А около тебя кто там сидит?

– Доктор Кочетов.

– Ты у меня смотри!

Отдохнув, Полуянов повел атаку против свидетелей с новым ожесточением. Он требовал очных ставок, дополнительных допросов, вызова новых свидетелей, – одним словом, всеми силами старался затянуть дело и в качестве опытного человека пользовался всякою оплошностью. Больше всего ему хотелось притянуть к делу других, особенно таких важных свидетелей, как о. Макар и запольские купцы.

Доктор опять сидел рядом с Харитиной и слегка раскачивался.

– Это конец древней истории Заполя, – говорил он Харитине, забывая, что она жена подсудимого. – Средней не будет, а прямо будем лупить по новой.

– Вы-то чему радуетесь?

– Я-то? Я – публика.

Потом поднялся какой-то глухой шум и доктор шепнул соседке:

– Вот и новая история привалила.

В залу, – несмотря на давку, была впущена услужливым сторожем целая толпа. Это был новый Коммерческий Зауральский банк в полном составе. Харитина сразу узнала и Май-Стабровского, и Драке, и Штоффа, и Шахму, и Галактиона. Ей показалось, что последний точно прятался за другими. Банковская компания приехала в суд прямо с обеда по случаю открытия банка, и все имели празднично-рассеянный вид, точно приехали на именины. Последним сквозь толпу пробился Харитон Артемьич. Он был пьян и глупо улыбался, обводя публику ничего не видевшими глазами. Кстати, за обедом, в качестве почетного гостя, он чуть не побил Мышникова, который поэтому не явился в суд вместе с другими.

– Вот у меня какие зятя! – хрипел Малыгин, указывая на скамью подсудимых. – Семейная радость, одним словом.

Его с трудом увели. На подъезде неистовый старик все-таки успел подраться с судейским курьером и сейчас же заплатил за обиду.

Харитина вся выпрямилась, когда почувствовала присутствие Галактиона, – она именно чувствовала, а не видела его. Ей сделалось и обидно и стыдно за него, за то, что он ничего не понимает, что он мог обедать с своими банковскими, когда она здесь мучилась одна, что и сейчас он пришел в это страшное место с праздничным хмелем в голове. Другим-то все равно, и ему тоже. Даже Полуянов не сделал бы так. Затем она чувствовала, что он смотрит на нее и жалеет, и ей захотелось вдруг плакать, броситься к нему на шею, убежать. Он действительно подошел к ней, когда доктора зачем-то вызвал судейский курьер, сел рядом и молча пожал ей руку. Потом он наклонился к ней и шепнул:

– Вот нас с тобой так же будут судить, только вместе.

Она со страхом отодвинулась от него, а он смотрел на нее и улыбался такую недоброю улыбкой.

VII

Полуянов был осужден. Его приговорили к ссылке в не столь отдаленные места Сибири, что было равносильно возвращению на родину. Он опять упал духом и вместо последнего слова расплакался самым глупым образом. Его едва успокоили. В момент приговора Харитины в зале суда уже не было. Она перестала интересоваться делом и уехала с доктором утешать Прасковью Ивановну.

– Мы теперь обе овдовели, – говорила она, целуя подругу, – ты по-настоящему, а я по-соломенному. Ах, как у тебя хорошо здесь, Прасковья Ивановна! Все свое, никто тебя не потревожит: сама большая, сама маленькая.

– В чужом рте кусок велик, – уклончиво ответила Прасковья Ивановна.

Окончания дела должен был ждать в суде доктор. Когда дамы остались одни, Харитина покачала головой и проговорила:

– Сопьется вконец паренек-то.

– Близко того дело.

– Знаешь что, Прасковья Ивановна, беспрерменно его надо женить.

Эта мысль очень понравилась обеим, и они принялись обсуждать ее на все лады. За невестами в Заполье дело не станет. Вот, например, хоть взять Нагибина – куда он квасит дочь? Денег у него тысяч триста, а дочь-то одна. Положим, что она рябовата и немного косит, – ну, да доктору с женина лица не воду пить. Умный человек и сам поймет, что с голою красавицей наплачешься. Жалованьишко-то куда не велико, а тут и одень, и обуь, и дом поставь, и гостей принимай. Трудненько женатому-то с голою женой жить, а у Нагибиной всего много. В самый раз доктору нагибинская дочь, хотя она и в годках. Сказывают, и с ноготком девушка, – попридержит мужа, когда нужно.

В самый разгар этих матримониальных соображений вернулся из суда доктор с известием об осуждении Полуянова. Харитина отнеслась к этой новости почти равнодушно, что удивило даже Прасковью Ивановну.

– Какая-то ты каменная, Харитина. Ведь не чужой человек, а муж.

– Был муж, а теперь арестант... Что же, по-твоему, я пойду за ним с арестантского партии в ссылку... надену арестантский халат и пойду? Покорно благодарю!

– Все-таки... Ты бы хоть съездила к нему в острог.

– А если я не хочу? Не хочу, и все тут... И домой не хочу и к отцу не пойду... никуда!

– Что же ты будешь делать?

– Не знаю.

Доктор присутствовал при этой сцене неммым свидетелем и только мог удивляться. Он никак не мог понять поведения Харитины. Разрешилась эта сцена неожиданными слезами. Харитина села прямо на пол и заплакала. Доктор инстинктивно бросился ее поднимать, как человека, который оступился.

– Не надо... не надо... – шептала Харитина, закрывая лицо руками и защищаясь всем своим молодым телом. – Ах, какой вы глупый, доктор! Ведь я еще не жила... совсем не жила! А я такая молодая, доктор! Оставьте меня, доктор! Какая я гадкая... Понимаете, я ненавижу себя!.. Всех ненавижу... вас...

Прасковья Ивановна сделала доктору глазами знак, чтоб он уходил.

– Муж – арестант и жена тоже, значит, арестантка, – повторяла Харитина, ломая в отчаянии руки. – Я не хочу... не хочу... не хочу!

Прасковья Ивановна долго отваживалась с ней и никак не могла ее успокоить.

– Что я такое? Ни девка, ни баба, ни мужняя жена, – говорила Харитина в каком-то бреду. – А мужа я ненавижу и ни за что не пойду к нему! Я выходила замуж не за арестанта!

– Все-таки нужно съездить к нему в острог, – уговаривала Прасковья Ивановна. – После, как знаешь, а сейчас нехорошо. Все будут пальцами на тебя показывать. А что касается... Ну, да за утешителями дело не станет!

– Никого мне не нужно!

– А Галактион?.. Ведь он был на суде и сидел рядом с тобой. Что он тебе говорил?

Харитина вспомнила предсказание Галактиона и засмеялась. Вот придумал человек!.. А все-таки он пришел в суд, и она уже не чувствовала убивавшего ее одиночества.

Придумывая, чем бы развлечь гостью, Прасковья Ивановна остановилась на блестящей мысли, которая поразила ее своею неожиданностью.

– Харитина, знаешь что: мы ищем богатую невесту доктору, а невеста сама его ждет. Знаешь кто? Будем сватать за него твою сестру Агнию. Самому-то ему по мужскому делу неудобно, а высватаю я.

– Ты?

– Я. Думаешь, испугалась, что говорят про Галактиона?

– Да тебя мамынька на порог не пустит.

– А вот и пустит. И еще спасибо скажет, потому выйдет так, что я-то кругом чиста. Мало ли что про вдову наболтают, только ленивый не скажет. Ну, а тут я сама объявлюсь, – ежели бы была виновата, так не пошла бы к твоей мамыньке. Так я говорю?.. Всем будет хорошо...

Да еще что, подошлем к мамыньке сперва Серафиму. Еще того лучше будет... И ей будет лучше: как будто промежду нас ничего и не было... Поняла теперь?

Этот смелый проект совсем захватил Харитину, так что она даже о своем горе позабыла.

– А доктор-то как? – думала она вслух. – Вдруг он не согласится?... Агния в годках, да и лицом не дошла.

– Ну, это уж мое дело! Я уговорю доктора, а ты к Серафиме съезди... да.

Харитина настолько успокоилась, что даже согласилась съездить к мужу в острог. Полуянов был мрачен, озлоблен и встретил жену почти враждебно.

– Спасибо, милая, что не забываешь мужа, – говорил он с притворным смирением. – Аще бог соединил, человек да не разлучает... да.

– Не понимаю я, Илья Фирсыч, какие ты загадки загадываешь, – равнодушно ответила Харитина.

– Не понимаешь? Для других я лишенный прав и особенных преимуществ, а для тебя муж... да. Другие-то теперь радуются, что Полуянова лишили всего, а сами-то еще хуже Полуянова... Если бы не этот проклятый поп, так я бы им показал. Да еще погоди, доберусь!.. Конечно, меня сошлют, а я их оттуда добывать буду... хха! Они сейчас радуются, а потом я их всех подберу.

Харитина слушала Полуянова, и ей казалось, что он рехнулся и начинает заговариваться. Свидание кончилось тем, что он поссорился с женой и даже, затопал на нее ногами.

– И до тебя доберусь! – как-то зашипел он. – Ты думаешь, я совсем дурак и ничего не вижу? Своими руками задушу.

– Руки коротки, – дерзко ответила Харитина и ушла, не простившись.

На другой день Харитина получила от мужа самое жалкое письмо. Он униженно просил прощения и умолял навестить его. Харитина разорвала письмо и не поехала в острог. Ее теперь больше всего интересовала затея женить доктора на Агнии. Серафима отнеслась к этой комбинации совершенно равнодушно и только заметила:

– Хочется тебе, Харитина, вязаться в такое дело... Да и жених-то ваш горькая пьяница.

– Да ты только мамыньке скажи, Серафима.

– Говори сама.

В сущности этот план задел в Серафиме неистребимую женскую слабость, и, поломавшись, она отправилась к матери для предварительных переговоров. Анфуса Гавриловна даже испугалась, когда было упомянуто имя ненавистной Бубнихи.

– Мамынька, ведь нам с ней не детей крестить, – совершенно резонно объяснила Серафима. – А если бог посылает Агнии судьбу... Не век же ей в девках вековать. Пьяница проспится, а дурак останется дураком.

– Ох, боюсь я, Сима... Как-то всех боюсь. Это тебя Харитина подослала?

– Хоть бы и она, мамынька. Дело-то такое, особенное.

Два дня думала Анфуса Гавриловна, плакала, молилась, а потом послала сказать Серафиме, что согласна.

В малыгинском доме поднялся небывалый переполох в ожидании «смотрин». Тут своего горя не расхлебашь: Лиодор в остроге, Полуянов пойдет на поселение, а тут новый зять прикачнулся. Главное, что в это дело впуталась Бубниха, за которую хлопотала Серафима. Старушка Анфуса Гавриловна окончательно ничего не понимала и дала согласие на смотрины в минуту отчаяния. Что же, посмотрят – не съедят.

Как согласился на эту комедию доктор Кочетов, трудно сказать. Он попрежнему бывал у Прасковьи Ивановны по вечерам, как и раньше, пил бубновскую мадеру и слушал разговоры о женитьбе. Сначала эти разговоры поразили его своею нелепостью, а потом начали развлекать. Надо же чем-нибудь развлекаться. Прасковья Ивановна с тактом опытной женщины не называла долго невесты по имени, поджигая любопытство подававшегося жениха. Доктор шутил, пил мадеру и чувствовал, что его охватывает еще неиспытанное волнение, а матримониальные разговоры создавали сближающую обстановку.

Раз, когда доктор был особенно в ударе, Прасковья Ивановна поймала его на слове и повезла.

– Интересно, что это будет за комедия, – посмеивался доктор.

– А вот увидите... Будьте смелее. Ведь девушка еще ничего не понимает, всего стесняется, – понимаете?

– Хорошо, хорошо... Знаете русскую поговорку: свату первая палка.

Доктор был неприятно удивлен, когда Прасковья Ивановна подвезла его к малыгинскому дому. Он хотел даже улизнуть с подъезда, но было уже поздно.

– Глупости! – решительно заявляла Прасковья Ивановна, поддерживая доктора за руку. – Для вас же хлопот. Женитесь и человеком будете. Жена-то не даст мадеру пить зря.

Малыгинский дом волновался. Харитон Артемьич даже не был пьян и принял гостей с озабоченною солидностью. Потом вышла сама Анфуса Гавриловна, тоже встревоженная и какая-то несчастная. Доктор понимал, как старушке тяжело было видеть в своем доме Прасковью Ивановну, и ему сделалось совестно. Последнее чувство еще усилилось, когда к гостям вышла Агния, сделавшаяся еще некрасивее от волнения. Она так неловко поклонилась и все время старалась не смотреть на жениха.

– А у меня все поясница к ненастью тоскует, – завел было Харитон Артемьич политичный разговор, стараясь попасть в тон будущему зятю доктору.

– И с чего бы, кажется, ей болеть?

Прасковья Ивановна шушукалась с невестой и несколько раз без всякой побудительной причины стремительно начинала ее целовать. Агния еще больше конфузилась, и это делало ее почти миловидной. Доктор, чтобы выдержать свою жениховскую роль до конца, подошел к ней и заговорил о каких-то пустяках. Но тут его поразили дрожавшие руки несчастной девушки. «Нет, уж это слишком», – решил доктор и торопливо начал прощаться.

– Куда же это вы? – каким-то упавшим голосом заговорил хозяин. – Выпили бы мадерцы... Я от поясницы грешным делом мадерцей лечусь.

– Как-нибудь в другой раз, Харитон Артемьич, – бормотал доктор.

– Что, понравилась вам невеста? – спрашивала дорогой Прасковья Ивановна, еще охваченная свадебным волнением.

– Во-первых, вы не должны мне говорить «вы», будущая посаженная мать, – ответил доктор, крепко притягивая к себе сваху за талию, – они ехали в одних санях, – а во-вторых, я хочу мадеры, чтобы вспрыснуть удачное начало.

В передней, помогая раздеваться свахе, доктор обнял ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками отделялись короткие прядки волос. Прасковья Ивановна кокетливо ударила его по руке и убежала в свою комнату с легкостью и грацией расшалившейся девочки.

«А ведь посаженная маменька того...» – думал доктор, расхаживая в ожидании мадеры по гостиной.

Прасковья Ивановна заставила себя подождать и вышла по-домашнему, в шелковом пенюаре. Ставя на стол бутылку какой-то заветной мадеры, она с кокетливой строгостью проговорила:

– Вот что, посаженный сынок, от тебя-то я не ожидала, что ты такой повеса... Смотри, я строгая!

– Мамынька, я больше не буду.

По возбужденному лицу Прасковьи Ивановны румянец разошелся горячими пятнами, и она старалась не смотреть на доктора, пока он залпом выпил две рюмки.

– Ну, так что же, как невеста? – спросила она изменившимся голосом, вскидывая на доктора влажные глаза. – Девушка славная.

– Мне главное – сколько приданого... Будемте говорить серьезно, мамынька. Уговор на берегу.

– Вот ты какой, а?.. А раньше что говорил? Теперь, видно, за ум хватился. У Малыгиных для всех зятьев один порядок: после венца десять тысяч, а после смерти родителей по разделу с другими.

– А нельзя до смерти ухватить все, мамынька?

Прасковья Ивановна лукаво посмотрела на дурачившегося доктора и тихо засмеялась.

– Ах, повеса, повеса! – шептала она, оказывая слабое сопротивление, когда доктор обнял ее и начал целовать. – Я сейчас закричу... Как вы смеете, нахал?.. Я... я...

VIII

Коммерческий Зауральский банк был открыт. Помещался он на главной Московской улице в большем двухэтажном доме, отделанном специально для этой цели. Великолепный подъезд, отделанная дубом передняя, широкая лестница, громадный зал с дубовыми конторками для служащих, кассирская с металлической сеткой, комната правления с зеленым столом и солидной мебелью, приемная, – одним словом, все в солидно-деловом, банковском стиле. Когда Галактион вошел сюда в первый раз, его охватило какое-то особенное чувство почти детского страха. Да, здесь будут вершиться миллионные дела, решаться судьба громадного края и сосредоточиваться самые жгучие интересы всех прикосновенных к коммерции людей.

Правление нового банка организовано было раньше. В него вошли членами Стабровский, Штофф, Драке, Галактион, Шахма и Мышников. По настоянию Стабровского, управляющим банка был избран Драке. Галактион отлично понимал политику умного поляка, не хотевшего выставлять себя в первую голову и выдвинувшего на ответственный пост безыменного и для всех безразличного немца. Это было сделано замечательно остроумно, как оказалось впоследствии, потому что все члены правления в затруднительных случаях ссылались на упрямого немца, с которым никак не сладишь. Мышников, кроме своего членства, еще получил звание юрисконсульта. Самый щекотливый вопрос был на первое время относительно членских взносов. Из всех членов только Стабровский и Шахма были людьми богатыми и не стеснялись средствами. Затем немцы где-то раздобылись, и Мышников тоже. Оставался один Галактион, у которого ничего не было.

– Это пустяки, – успокаивал его Стабровский. – Мы это дело устроим.

Стабровский сам предложил Галактиону тридцать тысяч, обеспечив себя, конечно, расписками и домашними векселями.

– Ведь это мне решительно ничего не стоит, – объяснял он смущавшемуся Галактиону. – Деньги все равно будут лежать, как у меня в кармане, а года через три вы их выплатите мне.

Получалось все-таки неловкое положение, и Галактион почувствовал те невидимые пути, которыми связывал его Стабровский. Ведь даром не оказывают такого широкого доверия и не дают таких денег. Но другого исхода не было, и Галактион вынужден был принять эту подачку. Кстати, эта комбинация оставила в его душе затаенное и тяжелое чувство по отношению к благодетелю. А тут еще Мышников, который почему-то невзлюбил Галактиона и позволял себе делать какие-то темные намеки относительно таинственного происхождения членского взноса Галактиона. Определенного никто ничего не знал, даже Штофф, но Галактион чувствовал себя первое время очень скверно, как человек, попавший не в свою компанию. Мышников только из страха перед Стабровским не смел высказывать про Галактиона всего, что думал о нем про себя. Новый юрисконсульт отлично понимал, что Стабровский «создает» Галактиона в каких-то своих личных интересах и целях. Это его злило, потому что Мышников завидовал всякому успеху, а тут еще являлось глухое соперничество по отношению к Харитине. Одним словом, с первого же раза Мышников и Галактион сделались настоящими врагами и взаимно ненавидели друг друга.

– А знаешь, что я тебе скажу, – заметил однажды Штофф, следивший за накипающей враждой Мышникова и Галактиона, – ведь вы будете потом закадычными друзьями... да.

– Гусей по осени считают, Карл Карлыч.

– Будем посмотреть, Галактион Михеич.

Кстати, Штофф был избран председателем правления, хотя это и не входило в планы Стабровского – он предпочел бы Галактиона, но тот пока еще не «поспел». Стабровский

вообще считал необходимым выдерживать приткого немца и не давать ему излишнего хода. Он почему-то ему не доверял.

В жизни нового банка на первых же порах возникало крупное недоразумение с Ечкиным, который остался в Петербурге, устраивая акции нового банка на бирже. Это было очень сложное и ответственное дело, которое мог устроить только один Ечкин. Но он чуть не бросил всего в самом начале, когда узнал, что не попал в члены банковского правления, чего, видимо, ожидал. Он даже прислал на имя нового правления формальный отказ, что обеспокоило всех. Но Стабровский только улыбнулся. Ечкин иногда позволял себе бунтовать, но все это была одна комедия, – он был совершенно «в руках» у Стабровского. У них были какие-то многолетние сибирские счеты, которые в таких случаях являлись для Ечкина холодной водой, отрезвлявшею его самое законное негодование, как было и в данном случае. Стабровский ни за что не хотел участия Ечкина в администрации банка.

– Он и без этого получил больше всех нас, – спокойно объяснял Стабровский в правлении банка. – Вы только представьте себе, какая благодарная роль у него сейчас... О, он не будет напрасно терять дорогого времени! Вот посмотрите, что он устроит.

Политика Стабровского по отношению к Галактиону скоро разъяснилась. Он пригласил его к себе вечером и предупредил с обычной своею улыбкой:

– Мы сегодня серьезно займемся, Галактион Михеич, одним делом... да.

Можно было предположить, что Стабровский собирается путешествовать, потому что он подвел гостя к отдельному столику, на котором была разложена большая карта.

– Вы не учились географии? – спросил он.

– Нет.

– Ну, ничего, выучимся... Это карта Урала и прилегающих к нему губерний, с которыми нам и придется иметь дело. У нас своя география. Какие все чудные места!.. Истинно страна, текущая млеком и медом. Здесь могло бы благоденствовать население в пять раз большее... Так, вероятно, и будет когда-нибудь, когда нас не будет на свете.

После этих чувствительных рассуждений Стабровский перешел к делу. Он обозначил булавками все пункты, где были винокуренные заводы, их производительность и район действия.

– Нам приходится серьезно считаться с этими господами, Галактион Михеич. Они очень уж просто привыкли забирать барыши совсем даром. Например, Прохоров и К о. Вы слышали о нем?

– О да!.. Только вам нечего бояться конкуренции с ним, Болеслав Брониславич. Конечно, у них дело старинное, установившееся, а у вас есть свои преимущества в рынке и в перевозке.

– Да? Тем лучше, что мне не нужно вам объяснять. Мы отлично понимаем друг друга.

Сообразительность Галактиона очень понравилась Стабровскому. Он так ценил людей, умеющих понимать с полуслова, как было в данном случае. Все эти разговоры имели только подготовительное значение, а к главному Стабровский приступил потом.

– Дело вот в чем, Галактион Михеич... Гм... Видите ли, нам приходится бороться главным образом с Прохоровым... да. И мне хотелось бы, чтобы вы отправились к нему и повели необходимые переговоры. Понимаете, мне самому это сделать неудобно, а вы посторонний человек. Необходимые инструкции я вам дам, и остается только выдержать характер. Все дело в характере.

Это предложение немного смутило Галактиона, и он откровенно проговорил:

– Отчего вы не поручите этого Штоффу? Он опытнее меня.

– Хотите, чтобы я сказал вам все откровенно? Штофф именно для такого дела не годится... Он слишком юрок и не умеет внушать к себе доверия, а затем тут все дело в такте. Наконец, мешает просто его немецкая фамилия... Вы понимаете меня? Для вас это будет хорошим опытом.

Не теряя времени, Стабровский сейчас же разъяснил сущность дела, причем Галактион пришел в ужас. Этот богатый пан знал, кажется, решительно все и вперед сосчитал каждое

зерно у мужика и каждую копейку выгоды, какую можно было получить. Говоря о конкуренции с сильной фирмой Прохоров и К о, он вперед определил сумму возможных убытков и все комбинации, при которых могли получиться такие убытки. Это уж совсем не походило на тот авось, с каким русские купцы вели свои дела. Тут все было на счету, и Стабровский мог рассказать чужие дела, как свои.

«Что же это такое? – спрашивал Галактион самого себя, когда возвращался от Стабровского домой. – Как же другие-то будут жить?»

Он понимал, что Стабровский готовился к настоящей и неумолимой войне с другими винокурами и что в конце концов он должен был выиграть благодаря знанию, предусмотрительности и смелости, не останавливающейся ни перед чем. Ничего подобного раньше не бывало, и купеческие дела велись ощупью, по старинке. Галактион понимал также и то, что винное дело – только ничтожная часть других финансовых операций и что новый банк является здесь страшною силой, как хорошая паровая машина.

Он шел домой пешком, чтоб освежиться. Падал первый снежок. В окнах мелькали желтые огоньки. Где-то звонили ко всеобщей. Дневная суতোлка кончалась, и только освещены были лавки и магазины. Галактиону вдруг сделалось жаль этого маленького городка, жившего до сих пор тихо и мирно. Что с ним будет через несколько лет? Надвигалась какая-то страшная сила, которая ломала на своем пути все, как прорвавшая плотину вода. И он явился покорным слугой этой силы с первого раза. Для него оставалось много непонятного, начиная с собственного положения. Как это все легко делается: недавно еще у него ничего не было, а сейчас уже он зарабатывал столько, что не мог даже мечтать раньше о подобном благополучии. И притом он являлся нужным человеком, у него было уже свое определенное место. Впереди рисовались радужные картины, и нехорошо было только то, что все это будущее неразрывно было связано со Стабровским и его компанией. Галактиону казалось, что он чему-то изменяет, изменяет такому хорошему и заветному.

С другой стороны, с каждым днем его все сильнее и сильнее охватывала жажда широкой деятельности и больших дел. Он уже понимал, что личное обогащение еще не дает ничего, а запольские коммерсанты дальше этого никуда не шли, потому что дальше своего носа ничего не видели и не желали видеть. Галактиону стоило только подумать о Стабровском или Ечкине, которые ворочали миллионными делами, как он сейчас же видел самого себя таким маленьким и ничтожным. Да, это были настоящие, большие люди, и только они умели жить по-настоящему, по-большому.

Под этим настроением Галактион вернулся домой. В последнее время ему так тяжело было оставаться подолгу дома, хотя, с другой стороны, и деваться было некуда. Сейчас у Галактиона мелькнула была мысль о том, чтобы зайти к Харитине, но он удержался. Что ему там делать? Да и нехорошо... Муж в остроге, а он будет за женой ухаживать.

Подходя к дому, Галактион удивился, что все комнаты освещены. Гости у них почти не бывали. Кто бы такой мог быть? Оказалось, что приехал суслонский писарь Замараев.

– Ты уж меня извини, что по-деревенски ввалился без спросу, – оправдывался Замараев. – Я было заехал к тестю, да он меня так повернул... Ну, бог с ним. Я и поехал к тебе.

– Что ж, я очень рад... А что касается Харитона Артемьича, так не каждое лыко в строку. Как на него взглянет.

– Обидно оно, Галактион Михеич. Ведь не чужой человек приехал. Анфуса-то Гавриловна была рада, а он чуть в шею не вытолкал. Конечно, я – деревенский человек, а все-таки...

– Пустяки... Потом помиритесь.

Галактион искренне был рад гостю, потому что не так тошно дома. За чаем он наблюдал жену, которая все время молчала, как зарезанная. Тут было все: и ненависть к нему и презрение к деревенской родне.

– А вы тут засудили Илью Фирсыча? – болтал писарь, счастливый, что может поговорить. – Слышали мы еще в Суслоне... да. Жаль, хороший был человек. Тоже вот и про банк ваш наслышались. Что же, в добрый час... По другим городам везде банки заведены. Нельзя отставать от других-то, не те времена.

– Да... – неопределенно отвечал Галактион, не зная, что ему отвечать.

– И Бубнова похоронили, – не унимался Замараев. – Знал я его в прежние времена... Жаль. А слушали новость: Прасковья Ивановна замуж выходит.

– Как выходит? – спросили в голос муж и жена.

– Выходит, как другие прочие вдовы выходят.

– За кого?

– А за доктора... Значит, сама нашла свою судьбу. И то сказать, баба пробойная, – некогда ей горевать. А я тут встретил ее брата, Голяшкина. Мы с ним дружки прежде бывали. Ну, он мне все и обсказал. Свадьба после святок... Что же, доктор маху не дал. У Прасковьи Ивановны свой капитал.

Потом, оказалось, что Замараев успел побывать и в остроге, у Ильи Фирсыча, – одним словом, обежал целый город.

IX

Замараев поселился у Галактиона, и последний был рад живому человеку. По вечерам они часто и подолгу беседовали между собой, и Галактион мог только удивляться той особенной деревенской жадности, какою был преисполнен суслонский писарь, – это не была даже жажда наживы в собственном смысле, а именно слепая и какая-то неистовая жадность.

– Нет, брат, шабаш, старинка-то приказала долго жить, – повторял Замараев, делая вызывающий жест. – По нынешним временам вон какие народы проявились. Они, брат, выучат жить. Темноту-то как рукой снимут... да. На што бабы, и те вполне это самое чувствуют. Вон Серафима Харитоновна как на меня поглядывает, даром что хлеб-соль еще недавно водили.

– Не от ума она, Флегонт Васильич.

– А вот и нет! И я даже весьма понимаю, потому что мы, деревенские, прямые дураки выходим. Серафима-то Харитоновна и выходит права, потому как темнота-с... А только по женской своей части она, конечно, не понимает, что и темнота тоже проснулась и начала копошиться. Все ищутся, Галактион Михеич... Вы вот тут банки открываете и разные прочие огромные дела затеываете, а от вас и к нам щепки летят... да-с. Теперь взять Ключевую, – она вся зашевелилась. Мельники-то, которые жили всю жизнь по старинке, и те очухались. Недалеко ходить, взять хоть вашего тятеньку, Михея Зотыча, – зараз две новых мельницы строит. Ведь старичок, а как хлопочет. Ну, и другие народы поднялись на дыбы... Кто во что горазд. И у всех уж на уме: не хватит своего капитала, в банке прихвачу и оборочусь. Вот какое дело... Уж все пронюхали, где жареным пахнет.

На поверку оказалось, что Замараев действительно знал почти все, что делалось в Заполье, и мучился, что «новые народы» оберут всех и вся, – мучился не из сожаления к тем, которых оберут, а только потому, что сам не мог принять деятельного участия в этом обирании. Он знал даже подробности готовившегося похода Стабровского против других винокуров и по-своему одобрял.

– Так и надо... Валяй их! Не те времена, чтобы, например, лежа на боку... Шабаш! У волка в зубе – Егорий дал. Учить нас надо, а за битого двух небитых дают.

– Ну, а как твоя ссудная касса?

– Большим кораблям большое плавание, а мы около бережку будем ползать... Перед отъездом мы с попом Макаром молебствие отслужили угодникам бессребренникам. Как же, все по порядку. Тоже и мы понимаем, как и што следует: воздадите кесарево кесарю... да. Главная причина, Галактион Михеич, что жаль мелкие народы. Сейчас-то они вон сто процентов платят, а у меня будут платить всего тридцать шесть... Да там еще кланялись сколько, да еще отрабатывали благодарность, а тут на, получай, и только всего.

Эта теория благодеяния бедным рассмешила Галактиона своею наивностью, хотя в основе и была известная доля правды.

– Так благодетелем хочешь быть? – смеялся он, хлопая Замараева по плечу. – С зубов кожу будете драть, из блохи голенища кроить?

– А вы? У вас, Галактион Михеич, учимся... Даже вот как учимся. Вам-то вот смешно, а нам слезы.

– Перестань ты дурака валять, Флегонт Васильич. Сами вы кого угодно проведете и надуете.

Замараев, живя в Заполье, обнаружил необыкновенную проницательность, и, кажется, не было угла, где бы он не побывал, и такой щели, которую бы он не обнюхал с опытностью настоящего сыщика. Эта энергия удивляла Галактиона, и он раз, незадолго до отъезда в резиденцию Прохорова и К о, спросил:

– А ты не был у Харитины, Флегонт Васильич?

– Нет, не довелось.

– Почему?

– Все собираюсь, да как-то не могу пойти. А надо бы повидать. Прежде-то не посмел бы, когда Илья Фирсыч царствовали, а теперь-то даже очень просто.

– Вот что, Флегонт Васильич... – замялся немного Галактион. – А если я тебя попрошу зайти к ней? Понимаешь, ты как будто от себя...

– Могу.

– Пожалуйста, не проболтайся.

– Сделай милость. Тоже не левою йогой сморкаемся.

– Видишь ли, в чем дело... да... Она после мужа осталась без гроша. Имущество все описано. Чем она жить будет? Самому мне говорить об этом как-то неудобно. Гордая она, а тут еще... Одним словом, женская глупость. Моя Серафима вздумала ревновать. Понимаешь?

– В лучшем виде. Известно, бабы.

– Так вот я с удовольствием помог бы ей... на первое время, конечно. К отцу она тоже не пойдет.

– Вот это даже совсем напрасно. Одно малодушие.

– Я знаю ее характер: не пойдет... А поголодает, посидит у хлеба без воды и выкинет какую-нибудь глупость. Есть тут один адвокат, Мышников, так он давно за ней ухаживает. Одним словом, долго ли до греха? Так вот я и хотел предложить с своей стороны... Но от меня-то она не примет. Ни-ни! А ты можешь так сказать, что много был обязан Илье Фирсычу по службе и что мажешь по-родственному ссудить. Только требуй с нее вексель, а то догадается.

– Весьма понимаю. Горденька Харитина Харитоновна.

– Да, да. Так сделай это для меня. Как-нибудь сочтемся. Рука руку моет, Флегонт Васильич.

– Уж будь спокоен. Так подведем, что и сама не услышит. Тоже и мы не в угол рожей, хоша и деревенские.

– Пожалуйста. Меня она очень беспокоит.

Суслонский писарь отправился к Харитине «на той же ноге» и застал ее дома, почти в совершенно пустой квартире. Она лежала у себя в спальне, на своей роскошной постели, и курила папиросу. Замараева больше всего смутила именно эта папироса, так что он не знал, с чего начать.

– Завернул к вам, Харитина Харитоновна... Жена Анна наказывала. Непременно, грит, проведай любезную сестрицу Харитину и непременно, грит, зови ее к нам в Суслон погостить.

– Это в деревню-то? – удивилась Харитина. – Да вы там с женой оба с ума спятили!

– А вы не сердитесь на нашу деревенскую простоту, Харитина Харитоновна, потому как у нас все по душам... А я-то так кругом обязан Ильей Фирсычем, по гроб жизни. Да и так люди не чужие... Ежели, напримерно, вам насчет денежных средств, так с нашим удовольствием. Конечно, расписочку там на всякий случай выдадите, – это так, для порядку, а только несумлевайтесь. Весь перед вами, в там роде, как свеча горю.

Против ожидания, Харитина отнеслась к этому предложению с деловым спокойствием и не без гордости ответила:

– Сейчас мне не хочется занимать денег у отца, но я отдам в самом скором времени... У меня будут деньги.

– Само собою разумеется, как же без денег жить? Ведь я хоша и говорю вам о документе, а даю деньги все одно, как кладу к себе в карман. По-родственному, Харитина Харитоновна. Чужим-то все равно, а свое болит... да. Заходил я к Илье Фирсычу. В большое малодушие впадает.

– Не говорите мне про него!

– Я так, к слову.

– Вот вы о родственниках заговорили... Хороши бывают родственнички! Ну, да не стоит об этом говорить!

Харитина разошлась до того, что предложила чаю. Она продолжала лежать на постели совсем одетая и курила одну папиросу за другой.

– Извините меня, Харитина Харитоновна, – насмелился Замараев. – Конечно, я деревенский мужик и настоящего городского обращения не могу вполне понимать, а все-таки дамскому полу как будто и не того, не подобает цыгарки курить. Уж вы меня извините, а это самое плохое занятие для настоящей дамы.

– Пустяки, это от скуки, – коротко объяснила Харитина улыбаясь. – Что мне больше-то делать? А тут мысли разгоняет.

– Это, конечно-с. А когда прикажете доставить вам деньги? Впрочем, я и сейчас могу-с, а вы только на бумажке-с черкните.

– А сколько вы можете мне дать сейчас? Тысячу?

– Многонько-с. Сотенный билет могу, а когда издержите – другой. Тысячу-то и потерять можно по женскому делу.

Харитина взяла деньги, небрежно сунула их под подушку, и оттуда вынула два мужских портрета.

– Который больше нравится? – спрашивала она улыбаясь.

– Одно-то я знаю... господин Мышников-с?

– А другой – еврей Ечкин.

– Так-с, слышали.

– Вот я и гадаю: на которого счастье выпадет.

Замараев поднялся с видом оскорбленного достоинства и проговорил:

– Непригоже вам, Харитина Харитоновна, отечкой дочери, такие слова выговаривать, а мне непригоже их слушать. И для ради шутки даже не годится.

– Ну, так проваливай! – грубо ответила Харитина. – Тоже сахар нашелся!.. А впрочем, мне все равно. Ты где остановился-то?

– Я-то? Значит, сперва к тятеньке размахнулся, ну, а как они меня обзатылили, так я к Галактиону Михеичу... у них-с.

– А! Скажи Галактиону поклончик.

Вторая половина разговора шла уже на «ты», и Замараев только качал головой, уходя от разжалованной исправницы.

Вернувшись домой, писарь ничего не сказал Галактиону о портретах, а только встряхивал годовой и бормотал что-то себе под нос.

– Нда-с, дама-с... можно сказать... и притом огненный карахтер.

– А что? – спрашивал Галактион.

– Да так, вообще... Однако деньги соблаговолили принять и расписку обещали прислать. Значит, своя женская гордость особо, а денежки особо. Нда-с, дама-с!

Галактион только молча пожал руку своему сообщнику и сейчас же уплатил выданные Харитине деньги.

– Не в коня корм, – заметил наставительно писарь. – Конечно, у денег глаз нет, а все-таки, когда есть, например, свои дети...

– Ну, об этом не беспокойся. Деньги будут, сколько угодно. Не в деньгах счастье.

Замараев только угнетенно вздохнул. Очень уж легко нынче в Заполье о деньгах разговаривают. Взять хотя того же Галактиона. Давно ли по красному билету занимал, а тут и сотенной не жаль. Совсем малодушный человек.

По вечерам писарь оставался обыкновенно дома, сохраняя деревенскую привычку, а Галактион уходил в свой банк или к Стабровскому. Писарю делалось иногда скучно, особенно когда дети укладывались спать. Он бесцельно шагал по кабинету, что-то высчитывая и прикладывая в уме, напевал что-нибудь из духовного и терпеливо ждал хозяина, без которого не мог ложиться спать. Это сиденье поневоле сблизило его с хозяйкой, относившейся к нему сначала с холодным пренебрежением. Притом писарь заметил, что вечером Серафима делалась как-то добрее и даже сама вступала в разговор. Расспрашивала его о Суслоне, как живет Емельян с тайною женой, что поделявает Михей Зотыч и т. д. Замараев каждый раз думал, что Серафима утишилась и признала его за равноправного родственника, но каждое утро его разочаровывало в этом, – утром к Серафиме не было приступа, и она не отвечала ему и даже не смотрела на него. Он объяснял это тем, что она не хотела уронить своего достоинства при муже. Но в конце концов он понял истинную причину.

Раз за вечерним чаем Серафима была особенно оживлена и проговорила:

– Скучно вам у нас, Флегонт Васильич?

– Зачем скучать? Нет, ничего.

– Ведь я вижу... И мне тоже скучно. Вот что, давайте играть в дурачки.

– Что же, с удовольствием, Серафима Харитоновна. Мы иногда с нашею попадьею Луковной до зла-горя играем... Даже ссоримся.

Они устроились тут же, за чайным столиком. Серафима под села совсем близко, и Замараев, сдавая карты, должен был наклоняться. Когда он остался в дураках и Серафима расхохоталась, на него вдруг пахнуло вином. Игра повторилась в другой раз, и Замараев заметил то же самое. Серафима выходила по нескольку раз из-за стола и возвращалась из своей комнаты еще веселее. Больше не оставалось сомнения, что она тайком напивалась каждый вечер тою самою мадерой, которую нещадно пило все Заполье. Раз Серафима «перепаратила» настолько, что даже чуть не упала.

Что было делать Замараеву? Предупредить мужа, поговорить откровенно с самой, объяснить все Анфусе Гавриловне, – ни то, ни другое, ни третье не входило в его планы. С какой он стати будет вмешиваться в чужие дела? Да и доказать это трудно, а он может остаться в дураках.

«Э, моя хата с краю! – решил писарь и махнул рукой. – Сказанное слово – серебряное, а несказанное – золотое».

В доме Галактиона пахло уже мертвым.

X

Перед самым отъездом Галактиона была получена новая корреспонденция, взволновавшая все Заполье. Неизвестный корреспондент разделявал новых дельцов, начинавших с организации банка. Досталось тут и Галактиону, как перебежчику от своей купеческой партии. Писал, видимо, человек свой, знавший в тонкости все запольские дела и всех запольских воротил. К разысканию таинственного писаки приняты были все меры, которые ни к чему решительно не привели. Обозленные банковцы дошли до невероятных предположений. Особенно волновался Штофф.

– Это писала протопопская дочь, – уверял он в отчаянии. – Она кончила гимназию, – ну, и написала.

В розыске принял участие даже Замараев, который под величайшим секретом сообщил Галактиону:

– Некому больше, как вашему адвокату Мышникову. У тебя с ним контры, вот он и написал. Небойсь о себе-то ничего не пишет. Некому другому, кроме него.

Как это иногда случается, от излишнего усердия даже неглупые люди начинали говорить глупости.

На Галактиона корреспонденция произвела сильное впечатление, потому что в ней было много горькой правды. Его поразило больше всего то, что так просто раскрывались самые тайные дела и мысли, о которых, кажется, знали только четыре стены. Этак, пожалуй, и шевельнуться нельзя, – сейчас накроют. Газета в его глазах получила значение какой-то карающей судьбы, которая всякого найдет и всякому воздаст по его заслугам. Это была не та мистическая правда, которой жили старинные люди, а правда новая, называющаяся всенародно вещи их именами.

Из Заполя Галактион уехал под впечатлением этой корреспонденции. Ведь если разобрать, так в газете сущую правду пропечатали. Дорогой как-то лучше думается, да и впечатления другие. Заводы Прохорова и К о были уже в степи, и ехать до них приходилось целых полтора суток. Кругом расстилались поля. Теперь они были занесены снегом. Изредка попадались степные деревушки. Здесь уже была другая стройка, чем на Ключевой: избенки маленькие, крыши соломенные, надворные постройки налажены кое-как из плетня, глины и соломы. Но народ жил справно благодаря большим наделам, степному чернозему и близости орды, с которой шла мена на хлеб. Много было всякого крестьянского добра, а корреспондент уже пишет о разорении края и о будущем обеднении. Галактиону вдруг сделалось совестно, когда он припомнил слова отца. Вот и сейчас он едет в сущности по нечистому делу, чтобы Стабровский за здорово живешь получал отступное в сорок тысяч.

Да, нехорошо. А все оттого, что приходится служить богатым людям. То ли бы дело, если бы завести хоть один пароходик, – всем польза и никто не в обиде.

– Ну, как вы тут живете? – спрашивал Галактион одного рыжебородого ямщика, бойкого и смышленного.

– А ничего, ваше степенство. Слава богу, живем, нога за ногу не задеваем.

Обернувшись, ямщик прибавил:

– У нас вот как, ваше степенство... Теперь страда, когда хлеб убирают, так справные мужики в поле не дожинают хлеб начисто, а оставляют «Николе на бородку». Ежели которые бедные, – ну, те и подберут остатки-то. Ничего, справно народ живет. Богатей есть, у которых по три года хлеб в скирдах стоит.

Отъехав станций пять, Галактион встретил, к своему удивлению, Ечкина, который мчался на четверке в Заполье. Он остановил лошадей.

– Вы это к Прохорову? – спрашивал Ечкин.

– Да... А вот вы были в Петербурге, а едете из степи.

– Э, батенька, волка ноги кормят! Из Петербурга я проехал через Оренбург в степь, дела есть с проклятым Шахмой, а теперь качу в Заполье. Ну, как у вас там дела?

– Да ничего, помаленьку.

– Вот все вы так: помаленьку да помаленьку, а я этого терпеть не могу. У меня, батенька, целая куча новых проектов. Дела будем делать. Едва уломал дурака Шахму. Стеариновый завод будем строить. Шахма, Малыгин и я. Потом вальцовую мельницу... да. Потом стеклянный завод, кожевенный, бумагу будем делать. По пути я откупил два соляных озера.

Ечкин не утерпел и выскочил из своего щегольского зимнего экипажа. Он так и сиял здоровьем.

– Ах, сколько дела! – повторял он, не выпуская руки Галактиона из своих рук. – Вы меня, господа, оттерли от банка, ну, да я и не сержусь, – где наше не пропало? У меня по горло других дел. Скажите, Луковников дома?

– Да... Он, кажется, никуда не ездит.

– Отлично. Мне его до зарезу нужно. Полуянова засудили? Бубнов умер? Слышал... Все к лучшему в этом лучшем из миров, Галактион Михеич. А я, как видите, не унываю. Сто неудач – одна удача, и в этом заключается вся высшая математика. Вот только времени не хватит. А вы синдикат устраивать едете?

– Какой синдикат?

– Ну, по-вашему, сделочка. Знаю... До свидания. Лечу.

Неугомонный человек исчез как метеор. Ечкин поражал Галактиона своею необыкновенной энергией, смелостью и умением выпутаться из какого угодно положения. Сначала он относился к нему с некоторым предубеждением, как к жиду, но теперь это детское чувство совершенно заслонялось другими соображениями. Вот как нужно жить на белом свете, вот как работать.

Прохоровские винокуренные заводы в степи представляли собой что-то вроде небольшого городка. Издали еще виднелись высокие дымившиеся трубы, каменные корпуса, склады зерна, амбары и десятки других заводских построек. Отдельно стояла контора, дом самого Прохорова, квартиры для служащих и простые избышки для рабочих. Место было глухое, и Прохоров выбрал его по какому-то дикому капризу. Поговаривали, что главный расчет заключался в отдаленности акцизного надсмотрщика, хотя это и относилось уже к доброму старому времени.

Сам Прохоров был дома. Впрочем, он всегда был дома, потому что никуда и никогда не ездил уже лет двадцать. Его мучило вечное недоверие ко всему и ко всем: обкрадут, подожгут, зарежут, – вообще изведут. Простой народ называл его «пяточком», – у Прохорова была привычка во что бы то ни стало обесчитать на пяточок. Ведь никто не пойдет судиться из-за пяточка и терять время, а таких пяточков набегало при расчетах тысячи. Даже жалованье служащим он платил на пяточок меньше при каждой выдаче. Это был налог, который несли все, так или иначе попадавшие в Прохоровку.

Галактиона винокуренный степной король принял с особенным недоверием.

– Так-с, так-с, – повторял он. – О Стабровском слышали... да. А только это нас не касается.

По наружности Прохоров напоминал ветхозаветного купца. Он ходил в длиннополом сюртуке, смазных сапогах и ситцевой рубахе. На вид ему можно было дать лет шестьдесят, хотя ни один седой волос не говорил об этом. Крепкий вообще человек. Когда Галактион принялся излагать подробно свою миссию, Прохоров остановил его на полдороге.

– Это нас не касается, милый человек. Господин Стабровский сами по себе, а мы сами по себе... да-с. И я даже удивляюсь, что вам от меня нужно.

– Вы сейчас не хотите понять, а потом будете жалеть.

– Что делать, что делать. Только вы напрасно себя беспокоите.

– Я так и передам.

– Пожалуйста.

На прощанье упрямый старик еще раз осмотрел гостя и проговорил:

– Да вы-то кто будете Стабровскому?

– Никто. Просто, он мне поручил предупредить вас и войти в соглашение.

– Так-с, так-с. Весьма даже напрасно. Ваша фамилия Колобов? Сынок, должно быть, Михею Зотычу? Знал старичка... Лет с тридцать не видались. Кланяйтесь родителю. Очень жаль, что ничего не смогу сделать вам приятного.

Эта неудача для Галактиона имела специальное значение. Прохоров показал ему его полную ничтожность в этом деловом мире. Что он такое в самом деле? Прохоров только из вежливости не наговорил ему дерзостей. Уезжая из этого разбойничьего гнезда, Галактион еще раз вспомнил слова отца.

Стабровский отнесся к неудаче с полным равнодушием.

– Что же, мы со своей стороны сделали все, – объяснил он. – Прохорову обойдется его упрямство тысяч в пятьдесят – и только. Вот всегда так... Хочешь человеку добро сделать, по

совести, а он на стену. Будем воевать.

План войны у Стабровского уже был готов, как и вся кабацкая география. Оставалось только пустить всю машину в ход.

– Говоря откровенно, мне жаль этого старого дурака, – еще раз заметил Стабровский, крутя усы. – И ничего не поделаешь. Будем бить его же пяточком, а это самая беспощадная из всех войн.

За завтраком у Стабровского Галактион неожиданно встретил Харитину, которая приехала вместе с Ечкиным. Она была в черном платье, которое еще сильнее вытенило молочную белизну ее шеи и рук. Галактиону было почему-то неприятно, что она приехала именно с Ечкиным, который сегодня сиял, как вербный херувим.

– Давненько мы не видались, – заговорила она первая, удерживая руку Галактиона в своей. – Ну, как поживаешь? Впрочем, что я тебя спрашиваю? Мне-то какое до тебя дело?

– Зачем ты приехала с Ечкиным? – тихо спросил Галактион, не слушая ее болтовни.

– Да так... Он такой смешной. Все ездит ко мне, болтает разный вздор, а сегодня потащил сюда. Скучно... Поневоле рад каждому живому человеку.

– А муж?

– Он все богу молится. Да и пора грехи замаливать. А что твоя Серафима?

– В самый раз бы отправить ее вместе с Полуяновым.

– Смотри, Галактион, теперь вот ты ломаешься да мудришь над Серафимой, и бог-то и найдет. Это уж всегда так бывает.

– Э, все равно, – один конец! Тошно мне!

Галактион больше не разговаривал с ней и старался даже не смотреть в ее сторону. Но он не мог не видеть Ечкина, который ухаживал за Харитиной с откровенным нахальством. У Галактиона перед глазами начали ходить красные круги, и он после завтрака решительным тоном заявил Харитине:

– Я тебя провожу домой.

– Меня Борис Яковлич провожает.

Галактион посмотрел на нее такими безумными глазами, что она сейчас же с детской торопливостью начала прощаться с хозяевами. Когда они выходили из столовой, Стабровский поднял брови и сказал, обращаясь к жене:

– Они добром не кончат, эти молодцы.

– Ах, какая она красавица! – говорила с завистью пани Стабровская, любовавшаяся всяким здоровым человеком. – Право, таким здоровым и сильным людям и умереть не страшно, потому что они живут и знают, что значит жить.

– Да, это нужно иметь в виду почтенному Борису Яковлевичу, – шутил Стабровский. – Иногда кипучая жизнь проявляется в не совсем удобных формах.

– Я? Что же я, мне все равно, – смешно оправдывался Ечкин, улыбаясь виноватую улыбкой. – Я действительно немножко ухаживал за Харитиной Харитоновной, но я ведь не виноват, что она такая хорошенькая.

– Прежде всего, мой милый, тебя в этих делах всегда выручало спасительное чувство страха.

Галактион молча усадил Харитину на извозчика и, кажется, готов был промолчать всю дорогу. Чувство страха, охватившее ее у Стабровских, сменилось теперь мучительным желанием освободиться от его присутствия и остаться одной, совершенно одной. Потом ей захотелось сказать ему что-нибудь неприятное.

– На свадьбе у Прасковьи Ивановны ты, конечно, будешь? – спросила она Галактиона с деланным спокойствием, когда уже подъезжали к дому.

– Ечкин будет посаженным отцом, а я шафером.

– Оставь, пожалуйста, Ечкина в покое. Какое тебе дело до него?

– А вот какое.

Галактион схватил ее за руку и пребольно сжал, так что у нее слезы выступили на глазах.

– Ты, кажется, думаешь, что я твоя жена, которую ты можешь бить, как бьешь Серафиму? – проговорила она дрогнувшим голосом.

Он только засмеялся, высадил ее у подъезда и, не простившись, пошел домой.

XI

Харитина вбежала к себе в квартиру по лестнице, как сумасшедшая, и сейчас же затворила двери на ключ, точно Галактион гнался за ней по пятам и мог ворваться каждую минуту.

– Вот нахал! – повторяла она, улыбаясь и размахивая рукой, у которой от пожатия Галактиона слиплись пальцы. – Это какой-то сумасшедший.

Она опять лежала у себя в спальне на кровати и смеялась неизвестно чему. Какой-то внутренний голос говорил ей, что Галактион придет к ней непременно, придет против собственной воли, злой, сумасшедший, жалкий и хороший, как всегда. Как он давеча посмотрел на нее у Стабровских – точно огнем опалил. Харитина захохотала и спрятала голову в подушку. Интересно было бы свести его с Ечкиным. Потом Харитине вдруг пришла в голову мысль, которая заставила ее сесть на кровати. Да ведь это он, Галактион, подослал к ней этого дурака писаря с деньгами, и она их взяла. Ах, какая дура! И как было не догадаться? Харитина озлилась на это непрошенное участие Галактиона и сразу успокоилась. Теперь она была рада, что он придет. Да, пусть придет.

Галактион действительно пришел вечером, когда было уже темно. В первую минуту ей показалось, что он пьян. И глаза красные, и на ногах держится нетвердо.

– Ты зачем это ко мне пьяный приходишь? – проговорила она.

– Я? Пьяный? – повторил машинально Галактион, очевидно не понимая значения этих слов. – Ах, да!.. Действительно, пьян... тобой пьян. Ну, смотри на меня и любуйся, несчастная. Только я не пьян, а схожу с ума. Смейся надо мной, радуйся. Ведь ты знала, что я приду, и вперед радовалась? Да, вот я и пришел.

Галактион присел к столу, закрыл лицо руками, и Харитина видела только, как вздрагивали у него плечи от подавленных рыданий. Именно этого Харитина не ожидала и растерялась.

– Галактион, бог с тобой, – бормотала она упавшим голосом. – Какой ты, право. Мне хуже во сто раз, да ведь я ничего.

– Ничего ты не понимаешь – вот и ничего. Ну, зачем я сюда пришел?

Он поднялся и, не вытирая катившихся по лицу слез, посмотрел на нее давешними безумными глазами.

– Ты думаешь, что я тебя люблю? Нет, я пришел сказать тебе, что ненавижу тебя... всю ненавижу... и себя ненавижу... Ненавижу и жалею... Как-то кругом все пусто... темно... и страшно, страшно. И Симу жаль и детишек. Малюсенькие, а уж начинают понимать по-своему, что в доме неладно. Встретишь знакомого и боишься, что вот он скажет тебе то самое, о чем боишься думать. Как-то я был у старика Луковникова, так ему на меня было стыдно смотреть. Разве я на понимаю? А я бессовестным прикинулся и все притворялся, что ничего не замечаю.

– Тебе уж это кажется все.

– Ничего не кажется, а только ты не понимаешь. Ведь ты вся пустая, Харитина... да. Тебе все равно: вот я сейчас сижу, завтра будет сидеть здесь Ечкин, послезавтра Мышников. У тебя и стыда никакого нет. Разве девушка со стыдом пошла бы замуж за пьяницу и грабителя Полуянова? А ты его целовала, ты... ты...

У Галактиона перехватило горло от запоздавшей ревности к Полуянову, и он в изнеможении схватился за грудь.

– Говори... ну, говори все, – настаивала Харитина. – Я жена Полуянова, а ты... ты...

– Молчи, ради бога молчи!

– Нет, ты молчи, а я буду говорить. Ты за кого это меня принимаешь, а? С кем деньги-то подослал? Писарь-то своей писарихе все расскажет, а писариха маменьке, и пошла слава, что я у тебя на содержании. Невелика радость! Ну, теперь ты говори.

– Оно действительно глупо вышло, а только я, Харитина...

– Только меня срамишь. Теперь про меня все можно говорить, кому что нравится.

– О тебе же заботился. В самом деле, Харитина, будем дело говорить. К отцу ты не пойдешь, муж ничего не оставил, надо же чем-нибудь жить? А тут еще подвернутся добрые люди вроде Ечкина. Ведь оно всегда так начинается: сегодня смешно, завтра еще смешнее, а послезавтра и поправить нельзя.

– По себе судишь?

Это был намек на Прасковью Ивановну, и Галактион немного смутился.

– Оставь глупости. Я серьезно говорю. Пока что я действительно хотел тебе помочь.

– А потом?

– Потом видно будет, что и как.

– Дешево содержанку хочешь купить, Галактион Михеич.

– Перестань молоть!

Этот деловой разговор утомил Харитину, и она нахмурилась. В самом деле, что это к ней все привязываются, точно сговорились в один голос: чем будешь жить да как будешь жить? Живут же другие вдовы, и никто их не пытается.

– Ну ладно, не будем теперь об этом говорить, – решил Галактион, махнув рукой. – Разве с тобой кто-нибудь сговаривал?

Он опять сел к столу и задумался. Харитина ходила по комнате, заложив руки за спину. Его присутствие начинало ее тяготить, и вместе с тем ей было бы неприятно, если бы он взял да ушел. Эта двойственность мыслей и чувств все чаще и чаще мучила ее в последнее время.

– Ведь вот старики-то прожили век, – думал Галактион вслух, отдаваясь внутреннему течению своих мыслей. – Да, целый век прожили. И худо было и хорошо, а все-таки прожили. Дом не пустовал, беспризорные жены не оставались. Эх, неладно!.. Вот я ехал, Харитина, в степи, а ямщик рассказывает, как у них Николе на бородку оставляют, когда страда. И этого не будет... Все отберут, и никуда не уйдешь. Вот посмотри на меня: по видимости как будто и человек, а в середине уж труха. Я-то первый своему брату купцу животы буду подводить. И самому мне деваться некуда. И другие прочие народы тоже соображают, где плохо лежит. Вон Замараев-то кассу ссуд хочет открывать в Заполье.

– Он уж меня в кассирши приглашал.

– Тебя?.. Ха-ха... Это будет у вас театр, а не ссудная касса. Первым делом – ему жена Анна глаза выцарапает из-за тебя, а второе – ты пишешь, как курица лапой.

– Выучусь.

– Другому чему не научись.

– Тебя не спрошу. Послушай, Галактион, мне надоело с тобой ссориться. Понимаешь, и без тебя тошно. А тут ты еще пристаешь... И о чем говорить: нечем будет жить – в прорубь головой. Таких ненужных бабенок и хлебом не стоит кормить.

Харитина не понимала, что Галактион приходил к ней умирать, в нем мучительно умирал тот простой русский купец, который еще мог жалеть и себя и других и говорить о совести. Положим, что он не умел ей высказать вполне ясно своего настроения, а она была еще глупа молодою бабьей глупостью. Она даже рассердилась, когда Галактион вдруг поднялся и начал прощаться:

– Ты это куда?

– Куда-нибудь надо идти. Не все ли равно, куда ни идти? Ну, прощай, Харитина.

Она молча подала ему руку и не шевельнулась с места, чтобы проводить его до передней. В ее душе жило смутное ожидание чего-то, и вот этого именно и не случилось.

Вечером, измучившись от тоски, Харитина отправилась к матери, где, к своему удивлению, застала Замараева, который уже называл ее сестрицей.

– Вот тятеньки нет дома, значит, я – гость, – объяснил он откровенно.

– Горденек Харитон Артемьич, а напрасно-с.

Анфуса Гавриловна была рада суслонскому зятю. Положим, не из важных зять, а все-таки живет хорошо и родню уважает. Ей делалось совестно за мужа, который срамил писаря в глаза и за глаза. Каков уж есть, – из своей кожи не вылезешь. В малыгинском доме вообще переживалось тяжелое время: Лиодор сидел в остроге, ожидая суда, Полуянова на днях отправляли в Сибирь. Галактион жил неладно, – все как-то шло врозь. А тут еще Харитина со своею красотой осталась ни на дворе, ни на улице. Последнюю дочь Агнию, и ту заперочила Бубниха своим сватовством. Теперь девушке никуда глаз нельзя показать в люди. Она даже похудела с горя и ходила, как в воду опущенная, и пряталась в своей комнатке от чужих.

– Уж эта Бубниха! – удивлялась Анфуса Гавриловна. – И что ей было изводить девушку? Подвела жениха, а потом сама за него поклалась.

– Это она с горя, маменька, – объясняла Харитина. – Ей до зла-горя нравился Мышников, а Мышников все за мной ухаживал, – ну, она с горя и махнула за доктора. На, мил сердечный друг, полюбуйся!

– И не пойму я вас, нонешних, – жаловалась старушка. – Никакой страсти в нонешних бабах нет. Не к добру это, когда курицы по-петушину запоют.

В другой раз Анфуса Гавриловна отвела бы душеньку и побранила бы и дочерей и зятьев, да опять и нельзя: Полуянова ругать – битого бить, Галактиона – дочери досадить, Харитину – с непокрытой головы волосы драть, сына Лиодора – себя изводить. Болело материнское сердце день и ночь, а взять не с кого. Вот и сейчас, налетела Харитина незнамо зачем и сидит, как зачумленная. Только и радости, что суслонский писарь, который все-таки разные слова разговаривает и всем старается угодить.

– Богоданная маменька, как будто вы из лица сегодня не совсем?

– Ох, тоже и скажет! На што мне и лицо это самое? Провалилась бы я, кажется, сквозь землю, а ты: из лица не совсем!

– Не убивайтесь, богоданная маменька, может, все дела помаленьку наладятся. Господь терпел и нам наказал терпеть. Испытания господь посылает любя и любя наказует за нашу гордость. Кто погордится, а ему сейчас усмирение.

– Это ты на Харитона Артемьича?

– Зачем же-с? Так, вообще-с.

Сегодня Замараев имел какой-то особенно таинственный и загадочно-грустный вид. Он воспользовался моментом, когда Анфуса Гавриловна зачем-то вывернулась из комнаты, поманил пальцем Харитину и змеинным сипом сказал:

– Сестрица, и что я вам скажу.

Затем он оглянулся, подошел совсем близко, так, что Харитина могла убедиться, что он за обедом наелся по-деревенски луку, и еще таинственнее спросил:

– Уж как мне быть – ума не приложу... Ах, какое дело, сестрица!

– Да ну тебя, говори толком! – вскипела Харитина.

– Дело следующее-с, то есть, собственно, два дела-с, сестрица. Первое, что сестрица Серафима подверглась прахтикованному запою.

– Сима?..

– Они-с... Я ведь у них проживаю и все вижу, а сказать никому не смею, даже богоданной маменьке. Не поверят-с. И даже меня же могут завинить в напраслине. Жена перед мужем всегда выправится, и я же останусь в дураках. Это я насчет Галактиона, сестрица. А вот ежели бы вы, напримерно, вечером заглянули к ним, так собственноручно увидели бы всю грусть. Весьма жаль.

Это известие ужасно поразило Харитину. У нее точно что оборвалось в груди. Ведь это она, Харитина, кругом виновата, что сестра с горя спилась. Да, она... Ей живо представился

весь ужас положения всей семьи Галактиона, иллюстрировавшегося народной поговоркой: муж пьет – крыша горит, жена запила – весь дом. Дальше она уже плохо понимала, что ей говорил Замараев о каком-то стеариновом заводе, об Ечкине, который затягивает богоданного тятеньку в это дело, и т. д.

– А мать ничего не знает? – прервала она поток писарского красноречия.

– Никак нет-с, потому как сестрица Серафима наезжают к ним по утрам, когда еще они в своем виде. А по вечерам они даже не сказываются дома, ежели, напримерно, навернутся гости.

– И давно это с ней? Впрочем, что это я спрашиваю глупости? Надо все матери рассказать.

– Уж это только вы, сестрица, сделайте, а я не смею.

Когда Анфуса Гавриловна вернулась, Харитина даже раскрыла рот, чтобы сообщить роковую новость, но удержалась и только покраснела. У нее не хватило мужества принять на себя первый напор материнского горя. Замараев понял, почему сестрица струсилась, сделал благочестивое лицо и только угнетенно вздохнул.

Харитина посидела еще из приличия и ушла в комнату к сестре Агнии, чего раньше никогда не делала.

– Что это попритчилось нашей исправнице? – удивлялась Анфуса Гавриловна. – Раньше-то Агнию и за сестру не считала.

– Молодо-зелено, маменька.

XII

Открытый в Заполье банк действительно сразу оживил все, точно хлынула какая-то магическая сила. Запольское купечество заволновалось, придумывая новые «способа» и «средствия». Все отлично понимали, что жить попрежнему невозможно и что жить по-новому без банка, то есть без кредита, тоже невозможно. Попрежнему среднее купечество могло вести свои обороты с наличным капиталом в двадцать – тридцать тысяч, а сейчас об этом нечего было и думать. Особенно ясно это сделалось всем, когда Стабровский объявил открытую войну Прохорову и К о. Чтобы открыть действие своего завода, он начал производить закупку хлеба в невиданных еще размерах. Штофф забирал весь хлеб в Заполье, а Галактион в Суслоне. В общем, вся эта хлебная операция достигала на первый раз почтенной цифры в четыреста тысяч пудов. Только теперь запольские хлебники, скупавшие десятками тысяч, поняли ту печальную истину, что рынок от них ушел и что цену хлеба даже теперь уже ставят доверенные Стабровского. Они били своих конкурентов по всем боевым хлебным пунктам самым простым способом, набавляя всего четверть копейки на пуд. Что значило Стабровскому выкинуть лишнюю тысячу рублей на эту беспощадную войну, а другим тягаться уже становилось не под силу. Все понимали также, что все эти убытки Стабровский наверстает вдвойне – и на скупленном хлебе и на водке, а потом будет ставить цену, какую захочет. А главное – его выручал банк, дававший те средства, которых не доставало. И везде почувствовалась гнетущая власть навалившейся новой силы.

Результатом этого движения было то, что сразу открылся целый ряд новых предприятий. На первом плане выдвинулась постройка громадного стеаринового завода, устраивавшегося новой компанией, составленной Ечкиным: в нее входили сам Ечкин, Шахма и старик Малыгин. Дело затевалось миллионное, и все только ахали. Пошатнулся и старик Луковников, задумавший громадную вальцовую мельницу в самом Заполье, – он хотел перехватить у других мелкотравчатых мельников пшеницу. Теперь дело сводилось именно на то, кто захватит вперед и предупредит других. Все остальные тоже по мере сил набросились на новые предприятия, главным образом – на хлеб. По Ключевой строилось до десятка новых мельниц-крупчаток.

Это небывалое оживление всей хлебной торговли отразилось на всех сторонах коммерческой деятельности. Ходко пошел красный товар, скобяной, железный, галантерея, а главным образом – кабак. Мужик продавал хлеб и деньги тратил на ситцы, самовары и водку. Все исходило от этого хлеба, в нем было основание и залог всего остального. Торговля в Заполье оживилась до неузнаваемости, и прежние лавки и лавчонки быстро превратились в магазины с зеркальными стеклами, где торговали без запроса. Возникла страшная

конкуренция в погоне за покупателем, и все старались перещеголять друг друга. Недостававшие деньги черпались полной рукой из банка. Удерживались от общего потока только такие заматерелые старики, как миллионер Нагибин, он ничего не хотел знать и только покачивал своею головой.

– Распыхались наши купцы не к добру, – пошептывал миллионер, точно колдун. – Ох, не быть добру!.. Очень уж круто повернулись все, точно с печи упали.

Происходили странные превращения, и, может быть, самым удивительным из них было то, что Харитон Артемьич, увлеченный новым делом, совершенно бросил пить. Сразу бросил, так что Анфуса Гавриловна даже испугалась, потому что видела в этом недобрый признак. Всю жизнь человек пил, а тут точно ножом обрезал.

– Нет, брат, теперь не те времена, – повторял он. – Дикость-то свою надо бросить, а то все мы тут мохом обросли.

Новый стеариновый завод строился на упраздненной салотопенной заимке Малыгина. По плану Ечкина выходило так, что Шахма будет поставлять степное сало, Харитон Артемьевич заведовать всем делом, а он, Ечкин, продавать. Все, одним словом, было предусмотрено вперед, особенно громадные барыши, как законный результат этой компанейской деятельности.

Старик настолько увлекся своею новою постройкой, что больше ничего не желал знать. Дело дошло до того, что он отнесся как-то совсем равнодушно даже к оправданию родного сына Лиодора.

– Лучше бы уж его в Сибирь сослали, – думал он вслух. – Может, там наладился бы парень... Отец да мать не выучат, так добрые люди выучат. Вместе бы с Полуяновым и отправить.

Эта бесчувственность больше всего огорчила Анфусу Гавриловну, болевшую всеми детьми зараз. Рехнулся старик, ежели родного детища не жалеет. Высидевший в остроге целый год Лиодор заявился домой, прожил дня два тихо и мирно, а потом стащил у матери столовое серебро и бесследно исчез.

– Ох, напрасно его в Сибирь не сослали, – жалел Харитон Артемьич, предчувствуя недоброе. – Еще зарежет с пьяных глаз.

В своем увлечении Малыгин дошел до того, что не мог равнодушно видеть чужих построек, которые ему казались лучше, чем у него. Он потихоньку ездил смотреть на строящуюся новую мельницу Луковникова и старался находить какие-нибудь недостатки – трубу для паровой машины выводили слишком высоко, пятиэтажный громадный корпус самой мельницы даст осадку на левый бок, выходявший к Ключевой, и т. д. Стеариновый завод строился по одну сторону города, а вальцовая мельница – по другую; это были аванпосты грядущих преобразований.

Анфуса Гавриловна теперь относилась к остепенившемуся мужу с уважением и, выбрав удачный момент, сообщила ему печальную новость о болезни Серафимы.

– Ну, это уж дело мужа, а не каше, – ответил старик.

– Да ведь дочь-то наша?

– Много их... На всех и жалости не хватит. Сама не маленькая. Что это Галактиона не видать?

– А он все ездит по делам Стабровского. Хлеб скупают с Карлой в четыре руки. Дома-то хоть трава не расти. Ох, согрешила я, грешная, Харитон Артемьич!

– Кабы хороший, правильный муж у Серафимы, так бы он сразу вышиб из нее эту дурь.

– Не дурь, а болезнь. Я уж с доктором советовалась, с Кацманом. Он хоша и из жидов, а правильный человек. Так и говорит: болезнь в Серафиме.

– Ну вас совсем! Отстаньте! Не до вас! С пустяками только пристаешь. У меня в башке-то столбы ходят от заботы, а вы разные пустяки придумываете. Симке скажи, промежду прочим, что я ее растерзаю.

Спорить и прекословить мужу Анфуса Гавриловна теперь не смела и даже была рада этому, потому что все-таки в доме был настоящий хозяин, а не прежний пьяница. Хоть на

старости лет пожить по-настоящему, как добрые люди живут. Теперь старушка часто ездила навещать Симу, благо мужа не было дома. Там к чему-то околачивалась Харитина. Так и юлит, так и шмыгает глазами, бесстыжая.

В сущности ни Харитина, ни мать не могли уследить за Серафимой, когда она пила, а только к вечеру она напивалась. Где она брала вино и куда его прятала, никто не знал. В своем пороке она ни за что не хотела признаться и клялась всеми святыми, что про нее нагнал проклятый писарь.

Галактион действительно целую зиму провел в поездках по трем уездам и являлся в Заполье только для заседаний в правлении своего банка. Он начинал увлекаться грандиозностью предстоявшей борьбы и работал, как вол. Домой он приезжал редким гостем и даже как-то не удивился, когда застал у себя Харитину, которая только что переехала к нему жить.

– Что же, и отлично, – одобрил он эту новую выходку. – Симе одной скучно, а вдвоем вам будет веселее.

– Это уж наше дело, что там будет, – загадочно ответила Харитина, имевшая такой серьезный вид. – А тебя не спросим.

Несмотря на некоторую резкость, Харитина заметно успокоилась и вся ушла в домашние дела. Она ухаживала за ребятишками, вела все хозяйство и зорко следила за сестрой. К Галактиону она отнеслась спокойно и просто, как к близкому родственнику, и не испытывала предававшего ее волнения в его присутствии.

– А я тебя раньше, Галактион, очень боялась, – откровенно признавалась она. – И не то чтобы боялась по-настоящему, а так, разное в голову лезло. Давно бы следовало к тебе переехать – и всему конец.

Он только сумрачно посмотрел на нее, пожал плечами и ничего не ответил. Действительно, безопаснее места, как его собственный дом, она не могла выбрать.

Только раз Галактион поссорился с своей гостьей из-за того, что она не захотела даже проститься с мужем, когда его отправляли в ссылку, и что в виде насмешки послала ему на дорогу банку персидского порошка.

– Провожать ты его могла и не ходить, а смеяться над человеком в таком положении просто бессовестно, – выговаривал Галактион.

– Я и не думала смеяться... По этапам поведут, так порошок там первое дело. Меня же будет благодарить.

Серафима относилась к сестре как-то безразлично и больше не ревновала ее к мужу. По целым дням она ходила вялая и апатичная и оживлялась только вечером, когда непременно усаживала Харитину играть в дурачки. Странно, что Харитина покорно исполняла все ее капризы.

Для Галактиона вся зима вышла боевая, и он теперь только понял, что значит «дохнуть некогда». Он под руководством Стабровского выучился работать по-настоящему, изо дня в день, из часа в час, и эта неустанная работа затыгивала его все сильнее и сильнее. Он чувствовал себя и легко и хорошо, когда был занят.

– Бисмарк сказал, что умрет в своих оглоблях, как водовозная кляча, – объяснял ему Стабровский. – А нам и бог велел.

Чем ближе Галактион знакомился со Стабровским, тем большим и большим уважением проникался к нему, как к человеку необыкновенному, начиная с того, что совершенно было неизвестно, когда Стабровский спал и вообще отдыхал. Только Галактион знал, как работает этот миллионер и с какой осторожностью ведет свои дела. Война с Прохоровым и К о была задумана давно и теперь только осуществлялась шаг за шагом по ранее выработанному плану. Одна закупка хлеба чего стоила, и, не бывав ни в одном хлебном рынке, Стабровский знал дело лучше всякого мучника.

– Самое интересное будет впереди, – объяснял Стабровский. – Мы будем бить Прохорова шаг за шагом его же пяточком, пока не загоним совсем в угол, и тогда уже в качестве завоевателей пропишем ему условия, какие захотим. Раньше я согласен был получить с него отступного сорок тысяч, а сейчас меньше шестидесяти не возьму... да.

Галактион просто ужаснулся, когда Стабровский еще раз обстоятельнейшим образом познакомил его со всеми подробностями кабацкой географии и наступательного плана кабацкой стратегии. Вперед намечены были главные боевые пункты, места для вирных складов и целая сеть кабаков, имевших в виду парализовать деятельность Прохорова и К^о.

– В сущности очень глупое дело, а интересно добиться своего, – объяснял Стабровский. – В этом и заключается жизнь.

– Отчего бы вам, Болеслав Брониславич, не заняться другим делом? – решил заметить Галактион. – Ведь всякое дело у вас пошло бы колесом.

– Что делать, сейчас вернее водки у нас нет дела.

Впрочем, и сам Галактион начинал уже терять сознание разницы между промышленным добром и промышленным злом. Это делалось постепенно, шаг за шагом. У Галактиона начинала вырабатываться философия крупных капиталистов, именно, что мир создан специально для них, а также для их же пользы существуют и другие людишки.

Только раз Галактион видел Стабровского вышибленным из своей рабочей колен. Он сидел у себя в кабинете за письменным столом и, закрыв лицо руками, глухо рыдал.

– Болеслав Брониславич, успокойтесь.

– Ах, ничего мне не нужно!.. Все вздор!.. Дидя, Дидя, Дидя!

Галактион понял, что с девочкой припадок, именно случилось то, чего так боялся отец. В доме происходила безмолвная суэта. Неслышными шагами пробежал Кацман, потом Кочетов, потом пронеслась вихрем горничная.

– Боже мой, за что ты меня наказываешь? – стонал Стабровский, ломая руки. – Ведь живут же дети бедняков, нищие, подкидыши, и здоровы, а у меня одна дочь... Ах, Дидя, Дидя!

Это громкое горе отозвалось в душе Галактиона горькою ноткой, напоминая смутно о какой-то затаенной несправедливости.

Часть четвертая

I

Как быстро идет время, нет – летит. Давно ли, кажется, доктор Кочетов женился на Прасковье Ивановне, а уж прошло больше трех лет.

Почти каждый раз, просыпаясь утром, доктор несколько времени удивлялся и старался сообразить, где он и что с ним. Он жил в бывшем кабинете Бубнова, где все оставалось по-старому. Тот же письменный стол, на котором стояла чернильница без чернил, тот же угловой шкафчик, где хранилась у Бубнова заветная мадера, тот же ковер на полу, кресло, этажерка в углу, какая-то дамская шифоньерка. Женившись, доктор перестал пить и через год принял вид нормального человека. Это радовало всех знакомых, и все приписывали этот переворот благотворному влиянию Прасковьи Ивановны. Сам доктор ни слова не говорил никому о своей семейной жизни, даже Стабровскому, с которым был ближе других. Он молча мучился под давлением мысли, что женился с пьяных глаз, как заматавшийся купчик, и притом женился на богатой, что давало повод сделать предположение о его самом корыстном благоразумии. Доктору казалось, что все именно так и смотрят на него и все его презирают.

Семейная жизнь доктора сложилась как-то странно, и он удивлялся фантазии Прасковьи Ивановны выйти за него замуж. Она совсем не любила его и, кажется, никого не могла любить. Но у нее была какая-то болезненная потребность, чтобы в доме непременно был мужчина, и притом мужчина непременно законный. В самый день свадьбы доктор сделал приятное открытие, что Прасковья Ивановна – совсем не та женщина, какую он знал, бывая у покойного Бубнова в течение пяти лет его запоя ежедневно, – больше того, он не знал, что за человек его жена и после трехлетнего сожительства. Они оставались на «вы» и были более чужими людьми, чем в то время, когда доктор являлся в этот дом гостем. Затем доктор начал замечать за самим собою довольно странную вещь: он испытывал в присутствии жены с глазу на глаз какое-то гнетуще-неловкое чувство, как человек, которого все туже и туже связывают веревками, и это чувство росло, крепло и захватывало его все сильнее. Между тем Прасковья Ивановна решительно ничего не делала такого, что говорило бы о желании поработить его и, говоря вульгарно, забрать под башмак. Скорее она относилась к нему равнодушно, как к своим приказчикам, и чуть-чуть с оттенком холодного презрения. Да, она третировала его молча и особенно третировала почему-то ненавистную для нее его «ученость». Доктор волновался молча и глухо и как-то всем телом чувствовал, что не имеет никакого авторитета в глазах жены, а когда она была не в духе или капризничала, он начинал обвинять себя в чем-то ужасном, впадал тоже в мрачное настроение и готов был на все, чтобы Прасковья Ивановна не дулась. Какая-то невидимая, более сильная воля давила и глушила его.

Целые часы доктор проводил в том, что разбирал каждый свой шаг и ловил самого себя в самом постыдном малодушии. Например, ему хотелось посидеть вечер у Стабровского, где всегда есть кто-нибудь интересный, а он оставался дома из страха, что это не понравится Прасковье Ивановне, хотя он сознавал в то же время, что ей решительно все равно и что он ей нужен столько же, как прошлогодний снег. Сидя где-нибудь в гостях, доктор вдруг схватывался и уходил домой, несмотря на все уговоры недавних приятелей посидеть и не лишать компании. Он чувствовал, что вот эти самые приятели начинают презирать его за это малодушие и за глаза смеются над ним, как раньше сам он вышучивал забитых женами мужей.

Это самоедство все разрасталось, и доктор инстинктивно начал сторониться даже людей, которые были расположены к нему вполне искренне, как Стабровский. Доктора вперед коробила мысль, что умный поляк все видит, понимает и про себя жалеет его. Именно вот это сожаление убивало доктора, поднимая в нем остаток мужской гордости.

«За кого они меня принимают, черт их всех побери?» – с ожесточением думал про себя доктор, чувствуя, что всех ненавидит.

Он отдыхал только у себя на службе, где чувствовал себя прежним Кочетовым. Но и тут происходили удивительные вещи: усиленное внимание, с каким он относился к своим больным, казалось ему аффектированным и деланным и что в сущности он только ломает жалкую комедию, напрасно стараясь убежать хоть на несколько часов от самого себя. Ему казалось, что и его пациенты это чувствуют и инстинктивно не доверяют ему, а слушают

безграмотного фельдшера, который давил его тупою и самодовольною непосредственностью своей фальдшерской натуры.

Как за последний якорь спасения, доктор хватался за святую науку, где его интересовала больше всего психиатрия, но здесь он буквально приходил в ужас, потому что в самом себе находил яркую картину всех ненормальных психических процессов. Наука являлась для него чем-то вроде обвинительного акта. Он бросил книги и спрятал их как можно дальше, как преступник избывает самых опасных свидетелей своего преступления.

Оставалось еще одно средство, когда Кочетов чувствовал себя живым человеком, это те громовые обличительные корреспонденции, которые он время от времени печатал в столичных газетах, разоблачая подвиги запольских дельцов. Прodelьвалось это в страшной тайне, и даже Прасковья Ивановна не подозревала, какой опасный человек ее муж. Дома писать доктор не решался, чтобы не попасться с поличным, он не смел затворить дверей собственного кабинета на ключ, а сочинял корреспонденции в дежурной своей больницы. Но раз он попался самым глупым образом. С истеричною больноу сделался припадок, доктор бросился к ней на помощь, позабыв об оставленной на столе рукописи, – этого было достаточно, чтоб имя таинственного корреспондента, давно интриговавшего все Заполье, было раскрыто. Может быть, заглянул в его рукопись фельдшер, может быть, сиделка или Кацман, но это все равно, а только через два дня Прасковья Ивановна явилась к нему в кабинет и с леденящим презрением проговорила:

– Так это вы, Анатолий Петрович, в газетах всех ругаете? Очень превосходно... да. Нечего сказать, хорошая ученость – всех срамить!..

– Прасковья Ивановна, вы...

– Я и разговаривать-то с вами не желаю, несчастный!

Прасковья Ивановна повернулась и вышла.

Результатом этого рокового открытия было то, что, когда доктор уходил из дома, вслед неслоь:

– Корреспондент!..

Положение доктора вообще получалось критическое. Все смотрели на него, как на зачумленного. На его имя получались анонимные письма с предупреждением, что купцы нанимают Лиодора Малыгина избить его до полусмерти. Только два самых влиятельных лица оставались с ним в прежних отношениях – Стабровский и Луковников. Они были выше всех этих дрызг и пересудов.

Раньше доктор изредка завертывал в клуб, а теперь бросил и это из страха скандала. Что стоило какому-нибудь пьяному купчине избить его, – личная неприкосновенность в Заполье ценилась еще слишком низко. Впрочем, доктор приобрел благодаря этим злключениям нового друга в лице учителя греческого языка только что открытой в Заполье классической прогимназии, по фамилии Харченко. Кстати, этот новый человек сейчас же по приезде на место служения женился на Агнии Малыгиной, дополнив коллекцию малыгинских зятьев.

Господин Харченко явился к Кочетову знакомиться и заявил ему свое полное сочувствие.

– Очень рад, доктор... да. Мы поведем борьбу вместе... да. Нужно держать высоко знамя интеллигенции. Знаете, если бы открыть здесь свою собственную газету, да мы завязали бы в один узел всех этих купчишек, кабатчиков и вообще сибирских человекoв.

– Если вы считаете меня богатым человеком, то это грустная ошибка, – предупредил Кочетов. – Газета прекрасная вещь, но она требует денег во-первых, во-вторых и в-третьих.

– О, за деньгами дело не станет! – уверенно говорил Харченко. – Важно, чтоб интеллигенция объединилась и дала отпор капиталу.

По наружности учителя греческого языка трудно было предположить о существовании такой энергии. Это был золотушный малорослый субъект с большою головою рахитика и кривыми ногами. К удивлению доктора, в этом хохлацком выродке действительно билась общественная жилка. Сначала он отнесся к нему с недоверием, а потом был рад, когда учитель завертывал потолковать.

Попрежнему доктор бывал только у Стабровского. Старик всегда был рад ему, хотя и мучил вечными разговорами о своей Диде. Девочке было уже пятнадцать лет, но она плохо

формировалась и рядом с краснощекою и здоровою Устенькой походила на какую-то дальнюю бедную родственницу, которую недокармливают и держат в черном теле вообще. Но зато ум Диди работал гораздо быстрее, чем было желательно, и она была развита не по годам. Период формирования девочке стоил очень дорого, и на ее лице часто появлялось пугавшее отца выражение взрослой женщины.

– О, она плохо кончит! – уверял Стабровский в отчаянии и сам начинал смотреть на врачей, как на чудотворцев, от которых зависело здоровье его Диди. – Теперь припадки на время прекратились, но есть двадцать первый год. Что будет тогда?

– Самое лучшее, что вы сделаете, это – бросьте читать медицинские книги, – советовал Кочетов.

Стабровский действительно перерыл всю литературу о нервных болезнях и модной наследственности, и чем больше читал, тем больше приходил в отчаяние. Он в своем отцовском эгоизме дошел до того, что точно был рад, когда Устенька серьезно заболела тифом, будто от этого могло быть легче его Диде. Потом он опомнился, устыдился и старался выкупить свою несправедливость усиленным вниманием к больной.

Устенька лежала в классной. Мисс Дудль ни за что не согласилась отпустить больную домой, в «пещерную обстановку». Эта привязанность замороженной англичанки тронула Тараса Семеныча до слез, и он согласился оставить дочь у Стабровских. Та же мисс Дудль настояла, чтобы лечил Устеньку доктор Кочетов, а не Кацман. Она вообще питала тайные симпатии к Кочетову и каждый раз испытывала неловкое смущение в его присутствии. Теперь она была счастлива, что целых две недели могла проводить с доктором по несколько часов в день среди самой сближающей обстановки. Больная тоже предпочитала молодого доктора и слабо улыбалась, когда он входил в ее комнату. Дидя, конечно, была изолирована, хотя брюшной тиф и не заразителен.

Кочетов с удовольствием ехал каждый раз к своей больной и проводил здесь больше времени, чем было нужно. Тарас Семеныч встречал его умоляющими глазами, так что доктору делалось даже совестно.

– Я тут ни при чем, – точно оправдывался он. – Все зависит от природы... А Устенька, слава богу, субъект вполне нормальный.

Были два дня, когда уверенность доктора пошатнулась, но кризис миновал благополучно, и девушка начала быстро поправляться. Отец радовался, как ребенок, и со слезами на глазах целовал доктора. Устенька тоже смотрела на него благодарными глазами. Одним словом, Кочетов чувствовал себя в классной больше дома, чем в собственном кабинете, и его охватывала какая-то еще не испытанная теплота. Теперь Устенька казалась почти родной, и он смотрел на нее с чувством собственности, как на отвоеванную у болезни жертву.

«Какие они все хорошие, простые и добрые! – думал часто доктор. – И Устенька, и Тарас Семеныч, и Стабровский, и мисс Дудль...»

Больная привязалась к доктору и часто задерживала его своими разговорами. Чем-то таким хорошим, чистым и нетронутым веяло от этого девичьего лица, которому болезнь придала такую милую серьезность. Раньше доктор не замечал, какое лицо у Устеньки, а теперь удивлялся ее типичной красоте. Да, это было настоящее русское лицо, хорошее своим простым выражением и какою-то затаенною ласковою силой.

Раз доктор засиделся у больной особенно долго и чувствовал себя как-то особенно легко.

– Мы скоро встанем на ноги и будем совсем большими, – шутил он. – У нас опять будет румянец на щеках, а потом мы...

Доктор вдруг замолчал, нахмурился и быстро начал прощаться. Мисс Дудль, зная его семейную обстановку, пожалела доктора, которого, может быть, ждет дома неприятная семейная сцена за лишние полчаса, проведенные у постели больной. Но доктор не пошел домой, а бесцельно бродил по городу часа три, пока не очутился у новой вальцовой мельницы Луковникова.

– Да... да... – вслух думал он и горько улыбался. – Да, я схожу с ума... Это верно... так и должно быть.

Голова доктора горела, ему делалось душно, а перед глазами стояло лицо Устеньки, – это именно то лицо, которое одно могло сделать его счастливым, чистым, хорошим, и, увы, как

поздно он это понял!

II

Против гостиного двора на каменном домике недавно умершего соборного протопопа красовалась желтая вывеска, гласившая красноречиво: «Банкирская контора Замараева и К^о». Это учреждение существовало уже два года. С первых же шагов дела пошли прекрасно. Явились и вкладчики, и клиенты, и закладчики. Потребность в мелком кредите чувствовалась давно, и контора попала «в самую точку», как говорили обыватели. Сам Замараев переоделся на городскую руку и держал себя вообще очень солидно. Жена Анна Харитоновна тоже употребляла самые отчаянные усилия, чтоб отполировать себя на городскую руку, в чем ей усиленно помогала «полуштофова жена», как записная модница.

– Деревенщину-то пора бросать, – говорила она, давая наставления, как устроить по-городски квартиру, как одеваться и как вообще держать себя. – И знакомиться со всеми тоже не следует... Как я буду к вам в гости ездить, ежели вы меня будете сажать за один стол с каким-нибудь деревенским попом Макаром или мельником Ермильчем?

– Уж вы только научите нас, сестрица, а мы по гроб жизни будем вам благодарны.

Замараевы, устраиваясь по-городски, не забывали своей деревенской скупости, которая переходила уже в жадность благодаря легкой наживе. У себя дома они питались редькой и горошницей, выгадывая каждую копейку и мечтая о том блаженном времени, когда, наконец, выдерутся в настоящие люди и наверстают претерпеваемые лишения. Муж и жена шли рука об руку и были совершенно счастливы.

– Да, без копеечки и рублика не бывает, – говорил каждый вечер Замараев, укладываясь спать и подводя в уме дневной баланс.

Благодаря «полуштофовой жене» Замараевы завели приличные знакомства и даже бывали в клубе. За спиной их бранили закладчиками и выжигами, а в лицо улыбались и даже заискивали. Мелкое купечество, не пользовавшееся кредитом в Коммерческом банке, обращалось за ссудами в замараевскую контору, не говоря уже о мелких торговцах, ремесленниках и просто гольтьбе. Деньги так и плыли в новую контору, и в каких-нибудь два года Замараев совсем оперился. Ему много помог Голяшкин, знавший весь город, как свои пять пальцев, и являвшийся одним из главных вкладчиков конторы. Он сделался своим человеком у Замараевых и первым другом.

Чурался Замараевых попрежнему один Харитон Артемьич. Зятя он не пускал к себе на глаза и говорил, что он только его срамит и что ему низко водить хлеб-соль с ростовщиками. Можно представить себе удивление бывшего сулонского писаря, когда через два года старик Малыгин заявился в контору самолично.

– Пришел посмотреть на твою фабрику, – грубо объяснял он. – Любопытно, как вы тут публику обманываете... Признаться оказать, я всегда считал тебя дураком, а вышло так, что ты и нас поучишь... да. По нынешним-то временам не вдруг разберешь, кто дурак, кто умный.

– Все это вы, тятенька, так говорите для морали, а мы вам завсегда рады... Уж так рады... Чайку бы вечером откушать.

– Ладно, ладно, не заговаривай зубов. В долг поверю... У меня из вашего брата, зятьев, целый иконостас.

Харитон Артемьич давно уже не пил ничего и сильно постарел, – растолстел, обрюзг, поседел и как-то еще сильнее озлобился. В своем доме он являлся настоящею грозой.

Замараев, конечно, понимал, что грозный тятенька неспроста приходил к нему. Действительно, через неделю он явился к нему уже на квартиру, прямо к вечернему чаю.

– Вот и пришел, – говорил он, тяжело дыша. – Да, пришел... И не сам пришел, а неволя привела... да.

Замараевы не знали, как им и принять дорогого гостя, где его посадить и чем угостить. Замараев даже пожалел про себя, что тятенька ничего не пьет, а то он угостил бы его такою деревенскую настойкой по рецепту попа Макара, что с двух рюмок заходили бы в башке столбы.

– Да вы не хлопочите: не за угощением я пришел, а по делу. Ты бы, Анна, тово, вышла, а мы тут покалякаем.

– Пойдемте, тятенька, в кабинет.

– В кабинет? Ах ты, подкопленная мышь!.. Х-ха!.. Тоже и слово знает.

Усевшись в кресло в кабинете, Харитон Артемьич вытер лицо бумажным платком и проговорил:

– Подлецы все – вот что я тебе скажу, милый зятюшка. Вот ты меня и чаем угощаешь, и суетишься, наговариваешь: «тятенька! тятенька!» – а черт тебя знает, какие у тебя узоры в башке... да.

– Помилуйте, тятенька, да я... провалиться на этом самом месте.

– Не перешибай. Не люблю... Говорю тебе русским языком: все подлецы. И первые подлецы – мои зятья... Молчи, молчи! Пашка Булыгин десятый год грозитя меня удавить, немец Штофф продаст, Полуянов арестант, Галактион сам продан, этот греческий учительшка тоже оборотень какой-то... Никому не верю! Понимаешь?

– В лучшем виде все могу понять-с, тятенька.

– Не перешибай, сказано тебе! – крикнул старик и даже стукнул кулаком по письменному столу. – Забыл, с кем разговариваешь-то? Все подлецы... Мы были хороши, когда обманывали слепую орду кунарскими деньгами, а нашлись почище нас. Вот как обувают – одна нога в сапоге, а на другой уж лапоть. Теперь возьми хоть мою стеариновую фабрику... Ведь это прямо петля на шею! Травим-травим деньжищ, а конца краю нет, точно в яму какую. Прорва... Я больше ста тыщ законопатил в нее, Шахма близко двухсот, Ечкин векселей на столько же выдавал... Понял?

– Агромадное дело-с, тятенька...

– Дурак! Кто тебя спрашивает?

Старик даже вскочил и затрясся от злости, а потом бессильно опустился на кресло и как-то захрипел.

– Спьяну я тогда всунулся в это самое дело... Некрещеный жид обошел. Ну, да уж дело сделано, а снявши голову, по волосам не тужат... Главное, что подлецы все! Шахма уж прижал уши и больше денег не дает, кыргызская образина, у Ечкина, окромя векселей, одни перстеньки да жилетки – значит, должен я вывозить... Фабрика-то готова, и стеариновые свечи мы делаем, а тут из Казани нас вот как зачали поджимать своею казанскою свечой. Дело-то на конкуренцию пошло, а барыши потом. Ежели я не дам денег – конец тому делу. Жаль бросать... Понимаешь, затравка-то какая сделана: сто тысяч не баран начихал... да. То есть, как я увижу сейчас эту самую стеариновую свечу, так меня даже мутить начинает. Дурака я свалил такого, что и не перелезешь. Прямо тебе говорю: дурак старый дурак... По-настоящему-то как бы следовало сделать: повесить замочек на всю эту музыку – и конец тому делу, да лиха беда, что я не один – компаньоны не дозвоят.

Старик показал рукой, как он запер бы на замок проклятую фабрику и как его связали по рукам и по ногам компаньоны.

– Да, так вот какое дело, зятюшка... Нужно мне одну штуку удумать, а посоветоваться не с кем. Думал-думал, нет, никому не верю... Продадут... А ты тоже продашь?

– Тятенька, да вот я сейчас образ со стены сниму.

– Ну, ну, ладно... Притвори-ка дверь-то. Ладно... Так вот какое дело. Приходится везти мне эту стеариновую фабрику на своем горбу... Понимаешь? Деньжонки у меня есть... ну, наскребу тысяч с сотню. Ежели их отдать – у самого ничего не останется. Жаль... Тоже наживал... да. Я и хочу так сделать: переведу весь капитал на жену, а сам тоже буду векселя давать, как Ечкин. Ты ведь знаешь законы, так как это самое дело, по-твоему?

– Даже весьма просто: вы переводите весь капитал на маменьку, а она вам пишет духовную – так и так, отказываю все по своей смерти мужу в вечное и потомственное владение и собственность нерушимо. Дом-то ведь на маменьку, – ну, так заодно и капитал пойдет.

– А ошибки не выйдут?

– Какая же тут ошибка? Жена ваша и капитал, значит, ваш, то есть тот, который вы положите на ее имя. Я могу вам и духовную составить... В лучшем виде все устроим. А там векселей выдавайте, сколько хотите. Это уж известная музыка, тятенька.

– Вот, вот... Люблю умственный разговор. Я то же думал, а только законов-то не знаю и посоветоваться ни с кем нельзя, – продадут. По нынешним временам своих боишься больше чужих... да.

– Уж не сумлевайтесь, тятенька.

– Хорошо, я подумаю. А ты держи язык за зубами и даже жене – ни-ни.

– Помилуйте, как же можно, тятенька? Совсем даже не женское это дело.

Когда старик ушел, Замараев долго не мог успокоиться. Он даже закрывал глаза, высчитывая вперед разные возможности. Что же, деньги сами в руки идут... Горденек тятенька, – ну, за свою гордость и поплатится. Замараеву даже сделалось страшно, – очень уж легко деньги давались.

Через неделю старик опять явился. Проект духовной уже был готов.

– Главное, чтобы никто не знал, – упрасивал Харитон Артемьич.

– Будьте спокойны, комар носу не подточит.

Из предосторожности Харитон Артемьич сначала заставил жену подписать духовную, а потом уже внес сто тысяч на ее имя в Коммерческий Запольский банк.

– Так-то будет вернее, – говорил он, еще раз прочитывая составленную Замараевым духовную. – Вот что, Флегонт, как я теперь буду благодарить тебя?

– Помилуйте, тятенька, да я для вас из собственной кожи завсегда готов выскочить, а не то чтобы подобные сущие пустяки.

– Хорошо, хорошо. Помру, так вам же все достанется. Не для себя хлопочу.

Устроив эту операцию, Харитон Артемьич совершенно успокоился и сразу повеселел. Что же, другие живут, и мы будем жить.

В мальгинском доме было много перемен, начиная с остепенившегося хозяина и кончая принятым в дом последним зятем. Харитон Артемьич больше не ездил в степь и всецело посвятил себя новой фабрике и радостям семейной жизни. Последнему Анфуса Гавриловна, пожалуй, была даже и не рада, потому что очень уж «сам» строжил всех и неистово ругался с утра до ночи. От него все домашние теперь сторонились, по возможности избегая встреч. Даже бойкая Харитина, и та появлялась только, когда отца не было дома. Исключение представлял новый зять. Сначала Харитон Артемьич относился к нему, как к дурачку, навеличивая «грецкой губой» и выкидывая разные грубые шутки. Харченко сам за словом в карман не лазил и в свою очередь вышучивал тестя с хохлацким юмором. Иногда эти словесные ратоборства принимали опасную форму, и вступалась уже Анфуса Гавриловна.

– Да будет вам, петухи галанские... Еще подеретесь. Поговорили, и довольно.

В течение целого года старушка присматривалась к последнему зятю, подыскивая какой-нибудь недостаток, и решительно ничего не могла найти. Главное – неизвестный совсем человек и потом с хохлацкой стороны. Иногда старушке приходили совсем нелепые мысли: а вдруг он двоеженец? Был один такой случай в Заполье, – простой бондарь и вдруг оказался двоеженцем. Анфуса Гавриловна точно боялась полюбить последнего зятя, как любила раньше других зятьев. Очень уж горько ей доставались они. Старушка вообще заметно опускалась и постепенно впадала в старческое детство. Боевой период, когда она маялась с мужем, детьми и зятьями, миновал, и она начинала чувствовать, что как будто уж и не нужна даже в своем доме, а в том роде, как гостья. Часто, сидя за обедом, когда «самого» не было, Анфуса Гавриловна долго и внимательно рассматривала зятя, качала головой и говорила:

– И отколь ты взялся только, Иван Федорыч?.. Вот уж воистину, что от своей судьбы не уйти. Гляжу я на вас и думаю, точно я гостья... Право!

Старушка любила пожаловаться новому зятю на его предшественников, а он так хорошо умел слушать ее старческую болтовню. Да и вообще аккуратный человек, как его ни поверни. Анфусе Гавриловне иногда делалось смешно над Агнией, как она ухаживала за мужем, – так

в глаза и смотрит. Насиделась в девках-то, так оно и любопытно с своим собственным мужем пожить.

Впрочем, у Харченки была одна привычка, которая не нравилась теще: все-то ему нужно было знать, и везде он совал нос, особенно по части городских дел. И то не так и это не так, – всех засудит и научит.

– Больно ты прыток до чужих дел, как я погляжу, Иван Федорыч, – заметила ему старушка. – И все у тебя неладно.

– Нельзя, мамаша. Я человек общественный...

III

Харитина жила попрежнему у Галактиона, нигде не бывала и вела себя очень скромно, как настоящая вдова. Она как-то вся притихла, сделалась серьезной и много занималась хозяйством. За сестрой она ухаживала, как мать, и всячески старалась ее вылечить от запоя. Серафима продолжала упорствовать и ни за что не хотела сознаться в своей болезни. Галактион знал все, но не подавал виду, а только стал вести все хозяйственные дела с Харитиной, – она получала деньги, производила все расчеты и вела весь дом. Она же наблюдала и детей, которые быстро росли и требовали ухода.

Многого, что делается в доме, Галактион, конечно, не знал. Оставшись без денег, Серафима начала закладывать и продавать разные золотые безделушки, потом столовое серебро, платье и даже белье. Уследить за ней было очень трудно. Харитина нарочно покупала сама проклятую мадеру и ставила ее в буфет, но Серафима не прикасалась к ней.

– С чего это ты взяла, что я буду пить мадеру? – удивлялась она. – Вот выдумают!

Уговоры матери тоже не производили никакого действия, как наговоры и нашептывания разных старушек, которых подсылала Анфуса Гавриловна. Был даже выписан из скитов старец Анфим, который отчитывал Серафиму по какой-то старинной книге, но и это не помогло. Болезнь шла своим чередом. Она растолстела, опухла и ходила по дому, как тень. На нее было страшно смотреть, особенно по утрам, когда ломало тяжелое похмелье.

По утрам Серафима иногда подсаживалась к окну и плакала.

– Ты это о чем плачешь, Сима? – спрашивала Харитина.

– Так.

– У тебя что-нибудь болит?

– Нет... Уйди от меня.

– Ты на меня сердишься?

– Нет, я тебя боюсь... уйди... Скоро я умру, тогда... ах, я ничего не знаю!

О муже она никогда не спрашивала, к детям была равнодушна и ни на что не обращала внимания, до своего костюма включительно. Что ей подадут, то она и наденет.

Харитине иногда казалось, что сестра ее упорно наблюдает, точно хочет в чем-то убедиться. Ей делалось жутко от взгляда этих воспаленных глаз. Виноватой Харитина все-таки себя не чувствовала. Кажется, уж она про все забыла, да и не было ничего такого, в чем бы можно было покаяться.

– Сима, ты меня не любишь? – спрашивала Харитина сестру, когда та изводила ее своим упорным взглядом.

– Нет, люблю.

– Что ты так смотришь на меня?

– Красивая ты, вот я и смотрю... Тебя все любят, и я тоже люблю. Красивым хорошо жить на свете...

Раз ночью Харитина ужасно испугалась. Она только что заснула, как почувствовала, что что-то сидит у ней на кровати. Это была Серафима. Она пришла в одной рубашке, с распущенными волосами и, кажется, не понимала, что делает. Харитина взяла ее за руку и, как лунатика, увела в ее спальню.

Какие отношения были у Галактиона с Харитиной, никто не знал, но все говорили, что он живет с ней, и удивлялись отчаянной смелости бывшей исправницы грешить на глазах у сестры.

Впрочем, Галактион почти не жил дома, а все разъезжал по делам банка и делам Стабровского. Прохоров не хотел сдаваться и вел отчаянную борьбу. Стороны зашли уже слишком далеко, чтобы помириться на пустяках. Стабровский с каждым годом развивал свои операции все шире и начинал теснить конкурента уже на его территории. Весь вопрос сводился только на то, которая сторона выдержит дольше. О пощаде не могло быть и речи.

Все Зауралье и громадный степной край были заинтересованы этой отчаянной борьбой. В этих мирных краях еще не бывало ничего подобного. Все следили с возрастающим интересом за исходом этого рабоборства, обставленного небывалыми средствами. Являлось уже вопросом чести, кто выйдет победителем, и стороны не щадили ничего. Главным деятелем со стороны Стабровского являлся Галактион, который настолько увлекся этим делом, что считал его своим. Его затащила горячка борьбы, где уже не было места размышлениям, что худо и что хорошо. Стабровский не ошибся, выбрав такого помощника, и при всяком удобном случае говорил:

– В тот день, когда Прохоров принесет повинную, у вас будет первый пароход... да. Даю вам мое честное слово.

Зная хорошо, что значит даже простое слово Стабровского, Галактион ни на минуту не сомневался в его исполнении. Он теперь пропадал целыми неделями по деревням и глухим волостям, устраивая новые винные склады, заключая условия с крестьянскими обществами на открытие новых кабаков, проверяя сидельцев и т. д. Работы было по горло, и время летело совершенно незаметно. Галактион сам увлекался своею работой и проявлял редкую энергию.

Склады и кабаки открывались в тех же пунктах, где они существовали у Прохорова и К^о, и открывалось наступательное действие понижением цены на водку. Получались уже технические названия дешевых водок: «прохоровка» и «стабровка». Мужики входили во вкус этой борьбы и усиленно пропивались на дешевке. Случалось нередко так, что конкуренты торговали уже себе в убыток, чтобы только вытеснить противника.

Характерный случай выдался в Суслоне. Это была отчаянная вылазка со стороны Прохорова, именно напасть на врага в его собственном владении. Трудно сказать, какой тут был расчет, но все произошло настолько неожиданно, что даже Галактион смутился. Одно из двух: или Прохоров получил откуда-нибудь неожиданное подкрепление, или в отчаянии хотел погибнуть в рукопашной свалке. Важно было уже то, что Прохоров и К^о появились в самом «горле», как выражались кабатчики.

Галактион полетел в Суслон.

– Ничего не жалеете, чтобы задушить его, – давал Стабровский последние инструкции. – Раненный смертельно, медведь всегда бросается прямо на охотника... да...

Для Галактиона этот ход противника был крупною неприятностью, как непредусмотренное действие. Что тут ни говори, а Прохоров жив, о чем кричала каждая кабацкая вывеска.

Дело было в начале декабря, в самый развал хлебной торговли, когда в Суслон являлись тысячи продавцов и скупщиков. Лучшего момента Прохоров не мог и выбрать, и Галактион не мог не похвалить находчивости умного противника.

В течение десяти лет Суслон совершенно изменил свою физиономию. Из простого зауральского села он превратился в боевой торговый пункт, где начала развиваться уже городская торговля, как лавки с красным товаром, и даже появился галантерейный магазин. Раньше был один кабак, а теперь целых десять. Простые деревенские избы перестраивались на городскую руку, обшивались тесом и раскрашивались. Появились дома с мезонинами и городскими палисадниками. Суслонских мужиков деревенские соседи называли купцами. Крупчатные мельницы, выстроенные на Ключевой, подняли торговлю пшеницей до неслыханных размеров, а винокуренный завод Стабровского скупал ежегодно до миллиона пудов ржи. Поверенные крупных фирм жили в Суслоне безвыездно, что придавало ему вид какого-то ярмарочного городка. Галактион не был здесь больше трех лет, не желая встречаться с отцом, и был поражен происшедшею переменой. Ему сделалось как-то неловко, точно он давно-давно уехал отсюда и успел состариться.

Появление Галактиона в Суслоне произвело известное волнение в среде разных доверенных, поверенных и приказчиков. Его имя уже пользовалось популярностью. Он остановился в бывшем замараевском доме, о котором квартировал поверенный по закупке хлеба Стабровского молодой человек из приказчиков.

– Ну, как дела? – спрашивал Галактион.

– Да ничего, помаленьку... Очень уж много здесь народу набилось, друг друга начинаем давить. Ходят слухи, что Прохоров тоже хочет строить винокуренный завод на Ключевой. И место выбрал у Бакланихи.

– Немного он поздно догадался, – засмеялся Галактион. – Пороху не хватит... Если бы раньше он это устроил, годика три назад, а теперь трудно с нами тягаться.

Между прочим, поверенный с некоторыми предосторожностями сообщил, что Михай Зотыч достраивает уже третью мельницу: одна пониже Ермилыча на Ключевой уж работает, а другая – в Шабрах, на притоке Ключевой достраивается.

– Знаю, – коротко ответил Галактион. – Напрасно старик затягивается, – тоже пороху не хватит. Мельницы-то выстроит, а на товар, пожалуй, и не хватит.

– И то поговаривают, Галактион Михеич. Зарвался старичок... Да и то сказать, горит у нас работа по Ключевой. Все так и рвут... Вот в Заполье вальцовая мельница Луковникова, а другую уж строят в верховье Ключевой. Задавят они других-то крупчатников... Вот уж здесь околачивается доверенный Луковникова: за нашею пшеницей приехал. Своей-то не хватает... Что только будет, Галактион Михеич. Все точно с ума сошли, так и рвут.

Не теряя времени, Галактион сейчас же открыл наступательное действие против Прохорова, понизив цену на водку из склада и в пяти кабаках. Время было самое удобное, потому что в Суслоне был большой съезд крестьян, привезших на базар хлеб. Слух о дешевке «стабровки» разнесся сейчас же, и народ бросился наперебой забирать дешевую водку, благо близился зимний Никола, а там и святки не за горами, – водки всем нужно. К вечеру поверенный Прохорова и К о тоже понизил цену и стал продавать свою «прохоровку» дешевле «стабровки». Покупатели отхлынули к кабакам Прохорова.

Настоящий поход начался на следующий день, когда Галактион сделал сразу понижение на десять процентов. Весть о дешевке разнеслась уже по окрестным деревням, и со всех сторон неслись в Суслон крестьянские сани, точно на пожар, – всякому хотелось попробовать дешевки. Сам Галактион не выходил и сидел на квартире. Он стеснялся показываться на улице. Его разыскал Вахрушка, который прибежал из Прорыва на дешевку пешком.

– Ах, Галактион Михеич, отец родной, и что только делается! – повторял задыхавшийся от волнения старик. – Вот скоро на седьмой десяток перевалит мне, а чтобы этакого, например, подобного... Я перво-наперво бросился в твой кабак, ну, и стаканчик дешевки хлебнул, а потом побежал к Прохорову и тоже стаканчик зарядил. Народ-то последнего ума решился: так и ходит из кабака в кабак. Тоже всякому любопытно... Скоро и посуды не хватит. Ах, боже мой!.. А краснорядцы сидят в пустых лавках и ругательски ругаются... Пропьются мужики напрочь.

– Ты не торопись, Вахрушка. Еще успеешь, – советовал Галактион.

– Н-но-о? Ведь в кои-то веки довелось испить дешевки. Михай-то Зотыч, тятенька, значит, в Шабрах строится, Симон на новой мельнице, а мы, значит, с Емельяном в Прорыве руководствуем... Вот я и вырвался. Ах, братец ты мой, Галактион Михеич, и что вы только придумали! Уж можно сказать, што уважили вполне.

– А ты погоди напиваться-то, еще дешевле будет.

– Н-но-о?! И что такое только будет... Как бы только Михай Зотыч не выворотился... До него успеваю буду уж как-нибудь, а то всю музыку испортит. Ах, Галактион Михеич, отец ты наш!.. Да мы для тебя ничего не пожалеем!

Вахрушка, не внимая предостережению Галактиона, прямо из писарского дома опять ринулся в кабак. Широкая деревенская улица была залита народом. Было уже много пьяных. Народ бежал со стеклянной посудиною, с квасными жбанами и просто с ведерками. Слышалось пьяное галденье, хохот, обрывки песен. Где-то надрывалась гармония.

– Ах, братцы мои... родимые вы мои! – кричал Вахрушка, врезываясь в двигавшуюся толпу. – Привел господь на старости лет... ах, братцы!

Приказчики стояли у магазинов и смотрели на одуревшую толпу. Какие-то пьяные мужики бежали по улице без шапок и орал:

– «Стабровка» три копейки стакан!.. Братцы!.. Три копейки!..

Вахрушка отведал сначала «прохоровки», потом «стабровки», потом опять «прохоровки», – сидельцы все понижали цену. В кабаке Прохорова один мужик подставлял свою шапку и требовал водки.

– Лей!.. Пусть и шапка пьет!

Вахрушка пробежал село из конца в конец раз десять. Ноги уже плохо его слушались, но жажда оставалась. Ведь другого раза не будет, и Вахрушка пробивался к кабацкой стойке с отчаянной энергией умирающего от жажды. Закончилась эта проба тем, что старик, наконец, свалился мертвецки пьяным у прохоровского кабака.

IV

Вахрушка проснулся с страшной головной болью и долго не мог сообразить, где он и что с ним. Башка трещала неистово, точно готова была расколоться на несколько частей. Вахрушка лежал на полу, на какой-то соломе. С левого бока его давило что-то холодное, чего он не мог даже оттолкнуть, потому что сам лишен был способности двигаться. Только присмотревшись кругом, Вахрушка с ужасом сообразил, в чем дело. Во-первых, он находился в «темной» при волости, куда сам когда-то сажал Михея Зотыча; во-вторых, теперь темная битком была набита мертвецки пьяными, подобранными вчера «на дешевке», а в-третьих, с левого бока лежал рядом с ним окоченевший труп запившегося насмерть.

Последнее открытие вышибло из старого солдата весь хмель, и он бросился к двери.

– Ради Христа, отпусти живую душу на покаянье! – умолял он сторожа, тоже из отставных солдат.

Хорошо, что еще сторож-то знакомый человек и сейчас выпустил.

– Здорово ты вчера лакнул, – коротко объяснил он. – Хорошо, што мельник Ермилыч подобрал тебя и привез сюда, а то так бы и замерз в снегу.

– Отец родной, отпусти!

Сторож только покачал головой, когда Вахрушка опрометью кинулся из волости, даже позабыл шапку.

– Эй, служба, шапку-то забыл!

Вахрушка только махнул рукой и летел по улице, точно за ним гналась стая волков. У него в мозгу сверлила одна мысль: мертвяк... мертвяк... мертвяк. Вот нагонит Полуянов и сгноит всех в остроге за мертвое тело. Всех изведет.

Старик немного опомнился только в кабаке Стабровского, где происходила давка сильнее вчерашней. Дешевка продолжалась с раннего утра, и народ окончательно сбился с ног. Выпив залпом два стакана «стабровки», Вахрушка очухался и даже отплюнулся. Ведь вот как поблазнит человеку... Полуянова испугался, а Полуянов давным-давно сам на поселении. Тьфу!

– Ах, братец ты мой... ддаа! – мычал Вахрушка. – Ну-ка, лени ищо один стаканчик.

Припоминая «мертвяка», рядом с которым он провел ночь, Вахрушка долго плевался и для успокоения пил опять стаканчик за стаканчиком, пока совсем не отлегло от души. Э, наплевать!.. Пусть другие отвечают, а он ничего не знает. Ну, ночевал действительно, ну, ушел – и только. Вахрушке даже сделалось весело, когда он представил себе картину приятного пробуждения других пьяниц в темной.

Вахрушка оставался в кабаке до тех пор, пока не разнеслось, что в темной при волости нашли трех опившихся. Да, теперь пора было и домой отправляться. Главное, чтобы достигнуть своего законного места до возвращения Михея Зотыча. Впрочем, Вахрушка находился в самом храбром настроении, и его смущало немного только то, что для полной формы недоставало шапки.

– Э, наплевать! – ругался в пространство Вахрушка. – С голого, что со святого – взятки гладки... Врешь, брат!.. Вахрушка знает свою линию!

Он так и отправился к себе на мельницу без шапки, а подходя к Прорыву, затянул солдатскую песню:

Во злосчастный день, во среду...
Злы... злые турки собирались!..
Да они во хмелюшке похвалялись:
Мы Рассеюшку наскрозь пройдем...
Граф Паскевича во полон возьмем!..

Расхрабрившийся старик уже шел по мельничной плотине, когда его остановил знакомый голос:

– Эй ты, крупа несчастная, куда прешь?

Вахрушка оглянулся и обомлел: перед ним стоял Михай Зотыч.

– Да откуда ты взялся-то? – бормотал Вахрушка, разводя руками. – Вот так оказия!

– Нет, ты скажи, куда ты прешь-то, кислая шерсть? – наступал хозяин.

– Я? А я домой...

– Обознался, миленький. Твой дом остался на дешевке... Вот туда и ступай, откуда пришел.

Михай Зотыч взял старика за плечо, повернул и толкнул в шею.

– Ступай, ступай, кабацкая затычка!.. И скобленого своего рыла не смей показывать!

Вахрушка по инерции сделал несколько шагов, потом обернулся и крикнул:

– А ты думаешь, я тебя боюсь?.. Ах ты, тараканья кость!.. Да я тебя так расчешу!.. Давай расчет, одним словом!.. За все за четыре года.

– Какой это расчет? Это расчет за то, что я тебя держал-то четыре года из милости да хлебом кормил?

На Вахрушку опять накатила храбрый стих, и он пошел на хозяина.

– Так ты не хочешь мне жалованья платить, собачья жила, а?.. Не хочешь?

Михай Зотыч сначала отступил, а потом побежал с криком:

– Ах, батюшки, солдат убил!.. Убил солдат проклятый!

На хозяйский крик выскочили с мельницы рабочие и кинулись на Вахрушку. Произошла горячая свалка. Старика порядочно помяли, а кто-то из усердия так ударил по носу, что у Вахрушки пошла кровь.

– Что, получил расчет? – кричал издали Михай Зотыч.

Вахрушку выпроводили с мельницы в три шеи. Очутившись опять на дороге в Суслон, старик долго чесал затылок, ругался в пространство и, наконец, решил, что так как во всем виноват Галактион благодаря его проклятой дешевке, то он и должен выручать. Вахрушка заявился в писарский дом весь окровавленный и заявил:

– Уж ты как хочешь, Галактион Михеич, а только того... Одним словом, расчет получил от тятеньки.

– Ты ступай сначала на кухню и вымойся.

Галактион кое-как понял, в чем дело. Конечно, Вахрушка напился свыше меры – это так, но, с другой стороны, и отец был неправ, не рассчитав старика. Во всем этом было что-то такое дикое.

– Из-за тебя вся оказия вышла, Галактион Михеич, – с наивностью большого ребенка повторял Вахрушка. – Вчера еще был я человеком, а сегодня ни с чем пирог... да. Значит, на подножный корм.

У Галактиона явилась мысль досадить отцу косвенным образом, и он, подумав, проговорил:

– Вот что, Вахрушка, и ты неправ и отец тоже... Ну, я тебя, так и быть, увезу в город и определю на место. Только смотри, уговор на берегу: водки ни-ни.

– Да я, Галактион Михеич... Ни боже мой!.. Да мне наплевать, хоть вовсе ее не будь... Уж я заслужу!..

Огорченный старый солдат даже прослезился и, глотая слезы, прошептал:

– Да ведь я, Галактион Михеич, блаженные памяти государю ампиратору Николаю Первому двадцать пять лет верой и правдой послужил... Ведь нет косточки неломаной... Агличанку вышибал под Севастополем... Да я... Ах, боже мой!..

– Ты ступай в кухню, там переночуешь, а завтра вместе уедем.

Вахрушка только ударил себя в грудь и молча вышел.

Вечером этого дня дешевка закончилась. Прохоров был сбит и закрыл кабаки под предлогом, что вся водка вышла. Галактион сидел у себя и подсчитывал, во сколько обошлось это удовольствие. Получалась довольно крупная сумма, причем он не мог не удивляться, что Стабровский в своей смете на конкуренцию предусмотрел почти из копейки в копейку ее стоимость специально для Суслона. Именно за этим занятием накрыл Галактиона отец. Он, по обыкновению, пробрался в дом через кухню.

– Что, сынок, барыши считаешь? Так... Прикинь на счетах еще трех мужиков, опившихся до смерти твоею-то дешевкой.

– Ах, это вы, папаша!..

Старик мало изменился за эти три года, и Галактион в первую минуту немного смутился каким-то детским, привычным к повиновению, чувством. Михай Зотыч так же жевал губами, моргал красными веками и имел такой же загадочный вид.

– Хорошо, сынок... Метлой подметаете три уезда. Скоро голодной мыши нечем будет накормить. Поглядел я сегодня, как народ-то радуется... да.

– Мы-то при чем тут, родитель? Кажется, никого не неволим.

– Так, так, сынок... Это точно, неволи нет. А я-то вот по уезду шатаюсь, так все вижу: которые были запасы, все на базар свезены. Все теперь на деньги пошло, а деньги пошли в кабак, да на самовары, да на ситцы, да на трень-брень... Какая тут неволя? Бога за вас благодарят мужички... Прежде-то все свое домашнее было, а теперь все с рынка везут. Главное, хлебушко всем мешает... Ох, горе душам нашим!

– Папаша, а сколько ваши крупчатки-мельницы этого хлеба перемелют? Ваш почин...

– Крупчатка пшеничку мелет, – это особь статья, – а вы травите дар божий на проклятое винище... Ох, великий грех!.. Плохо будет, – и мужику плохо, и купцу, и жиду. Ведь все хлебом живем. Не потерпит господь нашего неистовства. Попомни мое слово, Галактион... Может, я и не доживу, а вы-то своими глазами увидите, какую работу затеяли. По делам вашим и воздается вам... Бесу служите, маммону свою тешите, а господь-то и найдет, найдет и смирит. Ты своим-то жидам скажи это, – вот, мол, какое слово мне родитель сказал. Выжил, мол, старик совсем из ума и свои старые слова болтает.

Галактион ждал этого обличения и принял его с молчаливым смирением, но под конец отцовской речи он почувствовал какую-то фальшь не в содержании этого обличения, а в самой интонации, точно старик говорил только по привычке, но уже сам не верил собственным словам. Это поразило Галактиона, и он вопросительно посмотрел на отца.

– Правда, родитель, – коротко согласился он. – Только ведь мы, молодые, у вас, старичков, учимся.

– Так, так, сынок... Худому учитесь, а доброго не видите. Ну, да это ваше дело... да. Не маленькие и свой разум должны иметь.

Наступила неловкая пауза. Старик присел к письменному столу и беззвучно жевал губами. Его веки закрепились точно у засыпающего человека. Галактион понимал, что все предыдущее было только вступлением к чему-то.

– Завтра в город едешь? – спросил старик, глядя в упор.

– Да, пора. Сегодня мы все покончили.

– Так, так... гм...

Опять молчание. Михай Зотыч тяжело повернулся на своем стуле, похлопал рукой по столу и проговорил с деланным равнодушием:

– Ну, а что ваш банк?

– Ничего... Дело идет.

– Так, так... Сказывают, что запольские-то купцы сильно начали закладываться в банке. Прежде-то этого было не слышать... Нынче у тебя десять тысяч, а ты затеваешь дело на пятьдесят. И сам прогоришь, да на пути и других утопишь. Почему у вас берут-то на заклад?

– Смотря по тому, что закладывают, папаша. Процент двенадцать набегит, а то и побольше.

– А тут еще страховка да поземельные.

– Это уж банк за счет заемщика делает.

– Так, так... Ну, а что бы вы дали, например, за мельницу на Прорыве? Это я к примеру говорю.

Галактион прикинул в уме и заявил:

– Больше десяти тысяч не дадут.

– Что-о?

Старик подскочил на месте.

– Да она мне восемьдесят стоит... Ты сам знаешь. Это грабеж.

– Для вас, папаша, она восемьдесят стоит, а для банка десять. Станьте-ка ее продавать по вольной цене – и десяти напроситесь.

– Да ведь я выкуплю свое добро! Для чего же тогда ваш банк?... Десять тысяч – не деньги.

– Знаешь что, родитель: это я тебе даю десять тысяч, а так банк не даст.

Старик спохватился и как-то виновато забормотал:

– Ну, мне-то не нужно... Я так, к слову. А про других слышал, что начинают закладываться. Из наших же мельников есть такие, которые зарвутся свыше меры, а потом в банк.

Галактион понял, в чем дело, и, сделав вид, что поверил отцу, проговорил:

– А на всякий случай, папаша, запомните мою цену. Мало ли что не бывает на свете. Не прежние времена, папаша.

– Да, да... Ох, не прежние!.. И наш брат, купец, и мужик – все пошатнулись.

Отец и сын на этот раз расстались мирно. Галактион даже съездил в Прорыв, чтобы повидаться с Емельяном, который не мог приехать в Суслон, потому что его Арина Матвеевна была больна, – она в отсутствие грозного тестя перебралась на мельницу. Михай Зотыч делал вид, что ничего не знает о ее присутствии. Этот обман тяготил всех, и Галактион от души пожалел молчавшего, по обыкновению, Емельяна.

V

Вахрушка, отправляясь в город с Галактионом, торжествовал и всю дорогу болтал.

– Ух, надоела мне эта самая деревенская темнота! – повторял он. – Ведь я-то не простой мужик, Галактион Михеич, а свою полировку имею... За битого двух небитых дают. Конечно, Михай Зотыч жалованья мне не заплатили, это точно, а я не сержусь... Что же, ему, может, больше надо. А уж в городе-то я вот как буду стараться. У меня короткий разговор: раз, два – и готово. Ха-ха... Дела не подгадим. Только вот с мертвяком ошибочка вышла.

Галактион дорогой думал об отце. Для него было ясно, что старик начинает запутываться в делах и, может быть, даже сам не знает еще многого. Деньги, как здоровье, начинают чувствоваться, когда их нет. В хлебном деле с поразительной быстротой выростала самая

отчаянная конкуренция главным образом по Ключевой, на которой мельницы-крупчатки росли, как грибы. Предсказания Галактиона отцу, которые он делал перед своим уходом, начинали сбываться. В дело выдвигались громадные капиталы, и обороты шли на миллионы рублей. У старика Колобова, может быть, весь капитал был не больше двухсот тысяч, в чем Галактион сейчас окончательно убедился, а с такими деньгами трудно бороться на оживившемся хлебном рынке. Запольские капиталы двинулись оптом на хлебный рынок, и среднему купцу становилось невозможным существовать без кредита. Михею Зотычу тяжело было признаться в последнем, но, очевидно, он сильно зарвался и начинал испытывать первые приступы безденежья.

«Ведь вот какой упрямый старик! – повторял про себя Галактион и только качал головой. – Ведь за глаза было бы одной мельницы, так нет, давай строить две новых!»

Впрочем, это общая черта всех людей, выбившихся из полной неизвестности. Успех лишает известного чувства меры и вызывает ничем не оправдываемую предприимчивость.

Понимая вполне всю сложную психологию отца, Галактион параллельно думал о своих пароходах. Заветная мечта уже близилась к осуществлению. Своих денег у него, конечно, было немного, но обещает помочь Стабровский, когда закончится война с Прохоровым и будет получаться отступное, а затем можно будет прихватить часть в банке, а другую часть кое у кого из знакомых. Конечно, дело было рискованное и слишком смелое, но для чего же тогда и жить? Что значили все эти мельницы, стеариновые заводы, винокурные дела по сравнению с пароходным делом? Это действительно предприятие, которое оживило бы не одно Зауралье, а всю Западную Сибирь. Вот в Тюмени уже есть два парохода, но владельцы не понимают, какое сокровище у них в руках. Если бы двинуть в Сибирь уральское железо, а оттуда дешевый сибирский хлеб, сало, кожи, разное другое сырье... У Галактиона кружилась голова от этих мыслей, и он уже слышал шум своего собственного парохода, его несла вперед живая дорога, и он даже закрывал глаза от душевной истомы. Странно, что именно в такие сны наяву он видел себя вместе с Харитиной. Да, она была тут, рядом с ним, и смотрела к нему прямо в душу своими улыбающимися, светлыми глазами. И это была совсем не та Харитина, которую он видел у себя дома, и сам он был не тот, каким его знали все, – о! он еще не начинал жить, а только готовился к чему-то и ради этого неизвестного работал за четверых и отказывал себе во всем. Теперь другие живут, а тогда будет жить он, то есть они с Харитиной.

Подъезжая к Заполю, Вахрушка вдруг приуныл. Он опять вспомнил про «мертвяка», с которым переночевал в холодной.

– Ах, братец ты мой! – ахал старик, встряхивая головой. – Покойник-то к счастью, а все-таки тово... не совсем правильно. Ах ты, братец, и угораздило тебя!

Когда показался вдали город, Вахрушка упал духом. В городе-то все богатые живут, а он с деревенским рылом лезет. Ох, и что только будет!

– Пока поживешь у меня, а там увидим, – коротко объяснил Галактион. – Без места не останешься.

– Да уж я, Галактион Михеич... Ах, боже мой!..

Впрочем, солдат скоро успокоился. Их встретила Харитина и как-то особенно просто отнеслась к нему. Она, видимо, поджидала Галактиона и не могла скрыть своей женской радости, которую и обратила на Вахрушку. Кажется, никто так не умел обойтись с человеком, как Харитина, когда она была в духе. Она потащила солдата в кухню и сама принялась угощать его обедом.

– Ешь, солдат, а утро вечера мудренее. Зачем в город-то притащился?

– Ох, барыня, и не спрашивай!.. Такое случилось, такое, – не слушай теплая хороминка.

Рассказ о дешевке смешил Харитину до слез, и она забывала, что смеяться над опившимися до смерти мужиками нехорошо. Ей было как-то безотчетно весело, весело потому, что Вахрушка все время говорил о Галактионе.

– Уж это такой человек, Харитина Харитоновна, такой... Таких-то и не видывано еще. Ума – палата, вот главное... На што тятенька грозен, а и тот ничего не может супротив. Полная неустойка.

– А ты его любишь, Галактиона?

– Все его любят... Уж такой человек уродился. Значит, особенный человек... да. У него все на отличку супротив других. Вон как он Прохорову-то хвост куфтой подвязал.

В тот же день вечером пришел Замараев. Он имел какой-то особенно торжественный вид и, по обыкновению, начал издали.

– Каково съездили, Галактион Михеич? Слышали мы, как вы воевали с Прохоровым... да-с. Что же, будет, поцарствовали, то есть Прохоров и К о. Пора и честь знать. Не те времена, Галактион Михеич, чтобы, например, разиня рот.

После этого вступления Замараев добыл из бокового кармана затасканный номер газеты и передал его Галактиону.

– Вот, почитайте-ка, как вас золотят в газетине, Галактион Михеич. Даже как будто и выше меры.

Корреспонденция действительно была хлесткая, на тему о водочной войне и дешевках, причем больше всего доставалось Галактиону. Прослежен был каждый его шаг, все подсчитано и разобрано. Галактион прочел два раза, пожал плечами и равнодушно проговорил:

– Доктор писал.

– Вот в том-то и дело, что совсем не доктор... да-с. А некоторый другой человек... Мы сперва-то тоже на доктора подумали, что подкупил его Прохоров, а потом и оказалось...

Замараев огляделся и сообщил шепотом:

– Греческий язык писал... Милый наш родственник, значит, Харченко. Он на почте заказным письмом отправлял статью, – ну, и вызнали, куда и прочее. И что только человеку нужно? А главное, проклятый хохол всю нашу фамилию осрамил... Добрые люди будут пальцами указывать.

– Ничего, Флегонт Васильич: собака лает – ветер носит.

– Я ходил к нему, к хохлу, и говорил с ним. Как, говорю, вам не совестно тому подобными делами заниматься? А он смеется и говорит: «Подождите, вот мы свою газету откроем и прижимать вас будем, толстосумов». Это как, по-вашему? А потом он совсем обошел стариков, взял доверенность от Анфусы Гавриловны и хочет в гласные баллотироваться, значит, в думу. Настоящий яд...

– Что же, дело его. Пусть попробует.

– Нет, как он всех обошел... И даже не скрывается, что в газеты пишет. Другой бы посовестился, а он только смеется. Настоящий змей... А тятенька Харитон Артемьич за него же и на всю улицу кричит: «Катай их, подлецов, в хвост и гриву!» Тятенька весьма озлоблены. Даже как будто иногда из разума выступают. Всех ругательски ругают.

Замараев был встревожен и, не встретив сочувствия у Галактиона, даже обиделся. Помилуйте, что же это такое? Этак всякий будет писать. Один напишет, а прочитают-то все. Вон купцы в гостинном дворе вслух газеты читают. Соберутся кучей и галдят, как черти над кашей.

Корреспонденция Харченки имела другое неожиданное последствие. Кто-то из обозленных ею людей послал доктору Кочетову длинное анонимное письмо, в котором излагалась довольно подробно биография Прасковьи Ивановны. В первый момент доктор не придал письму никакого значения, как безыменной клевете, но потом оно его начало беспокоить с новой точки зрения: лично сам он мог наплевать на все эти сплетни, но ведь о них, вероятно, говорит целый город. По безграмотности можно было предположить только одно, именно, что письмо шло из своей купеческой среды. В виде предисловия разбирались отношения Прасковьи Ивановны к ее сладкому братцу, что будто бы послужило причиной мертвого бубновского запоя, затем подробно излагались ее ухаживания за Мышниковым, роман с Галактионом и делались некоторые предположения относительно будущего. Заканчивалось письмо так: «Вот, г. корреспондент, как бывает: в чужом глазу сучок видим, а в своем бревна не замечаем. Мы это жалуячи вас говорим, потому как вы законный муж и должны соблюдать свой антирес. Промежду прочим, до свидания, г. корреспондент. Главное, у нас-то вы совсем чужой и пожалеть вас некому. Мы вам добром за зло платим».

Конечно, все это было глупо, но уж таковы свойства всякой глупости, что от нее никуда не уйдешь. Доктор старался не думать о проклятом письме – и не мог. Оно его мучило, как смертельный грех. Притом иметь дело с открытым врагом совсем не то, что с тайным, да, кроме того, здесь выступали против него целую шайкой. Оставалось выдерживать характер и ломать самую дурацкую комедию.

В первый момент доктор хотел показать письмо жене и потребовать от нее объяснений. Он делал несколько попыток в этом направлении и даже приходил с письмом в руке в комнату жены. Но достаточно было Прасковье Ивановне взглянуть на него, как докторская храбрость разлеталась дымом. Письмо начинало казаться ему возмутительно нелепостью, которой он не имел права беспокоить жену. Впрочем, Прасковья Ивановна сама вывела его из недоумения. Вернувшись как-то из клуба, она вызывающе проговорила:

– Вы получили письмо?

– Какое письмо?

– Ах, идиот!.. Подавайте его сюда!

Доктор с виноватым видом подал заношенный лист почтовой бумаги. Прасковья Ивановна по-писаному разбирала с грехом пополам только магазинные счета и заставила мужа читать вслух.

– Отлично, – проговорила она, когда чтение кончилось. – Как вы полагаете, Анатолий Петрович, порядочному мужу кто-нибудь посмеет написать подобную гадость?

– Да ведь письмо не подписано? Наконец, моя роль в этом деле самая жалкая... Я не могу даже избить этого мерзавца.

– Да? А я вам скажу, кто этот мерзавец.

– Очень интересно.

– Это вы... Да, вы, вы! Не понимаете? Вам все нужно объяснять? Если бы вы не писали своих дурацких корреспонденции, ничего бы подобного не могло быть. Из-за вас теперь мне глаз никуда нельзя показать.

Получился совершенно неожиданный оборот. Прасковья Ивановна проявила отчаянную решимость сейчас же уехать от мужа куда глаза глядят, и доктор умолял ее, стоя на коленях, остаться, простить его и все забыть. Получилась самая нелепая и жалкая сцена, за которую доктор презирал себя целый месяц. Как это могло случиться? Он опять анализировал свои поступки, каждое душевное движение и чувствовал, что начинает сходить с ума. Мысль о сумасшествии все чаще и чаще приходила ему в голову и наводила на него ужас. Он чувствовал, как стены кабинета начинали его давить, что какое-то страшное ощущение пустоты душит его, что... В отчаянии он хватался за бутылку с мадерой, и все проходило сейчас же.

Ясно было одно, что он боится и ненавидит жену и не может выбиться из-под ее гнета.

В результате этого состояния получилось то, что доктор принялся выслеживать жену. Он тщательно следил, когда она уходит и приходит, где бывает, с каким лицом встречает своих гостей. Дошло до того, что он начал подслушивать из соседней комнаты. Прodelывая все это, доктор все больше и больше презирал самого себя. Раз он сделал сцену сладкому братцу Голяшкину, а потом сейчас же попросил у него извинения и, извиняясь, еще сильнее ненавидел эту сладкую тварь. Ведь письмо говорило прямо об отношениях к нему Прасковьи Ивановны.

Получалось в общем что-то ужасное, глупое и нелепое. В отчаянии доктор бежал к Стабровским, чтобы хоть издали увидеть Устенку, услышать ее голос, легкую походку, и опять ненавидел себя за эти гимназические выходки. Она – такая чистая, светлая, а он – изношенный, захватанный, как позабытая бутылка с недопитой мадерой.

VI

Деятельность банка все росла. С одной стороны неудержимым потоком приливали вклады, с другой – шел отлив в форме кредита. Скоро определилась во всех подробностях экономическая картина, и каждая торговая фирма была точно взвешена. Известны были все торговые обороты, сумма затраченных капиталов, доходность предприятия и все финансовые

возможности, до прогара включительно. В первое время банк допускал кредиты в более широкой форме, а потом начались систематические сокращения. Это была целая система, безжалостная и последовательная. Люди являлись только в роли каких-то живых цифр. Главные банковские операции сосредоточивались на хлебном деле, и оно было известно банковскому правлению лучше, чем производителям, торговым посредникам и потребителям. Здесь шел в счет и глубокий снег, и весенние дожди, и сухие ветры, и урожай, и недороды в соседних округах, и весь тот круг интересов и злорадия, какие сцепились железным кольцом около хлеба. Понижение на копейку в пуде ржи уже отражалось на банковском хозяйстве, как повышение или понижение денежной температуры. В общем банк походил на громадную паутину, в которой безвозвратно запутывались торговые мухи. Конечно, первыми жертвами делались самые маленькие мушки, погибавшие без сопротивления. Охватившая весь край хлебная горячка сказывалась в целом ряде таких жертв, другие стояли уже на очереди, а третьи готовились к неизбежному концу.

По протекции Галактиона Вахрушка занял при банке самый выдающийся пост, пост банковского швейцара. Он теперь стоял в передней, одетый в новенькую синюю ливрею, и с важностью отворял и затворял банковские двери, кланялся, помогал раздеться, ловко принимал пятиалтынные и двугривенные и еще раз кланялся. Он с необыкновенной быстротой освоился с своим новым положением, точно был создан с специальной целью быть банковским швейцаром. Служба была совсем нетрудная, и Вахрушка старался. Он поднимался ранним утром и с ожесточением чистил все медные ручки, заслонки, вытирал пыль, прибирал, приводил все в порядок и в десять часов утра говорил:

– Ну, теперь наша мельница готова!

У Вахрушки была своя комната рядом с передней, первого числа он получал аккуратно десять рублей жалованья, – одним словом, благополучие полное. Ни о чем подобном старик не смел даже мечтать, и ему начинало казаться, что все это – какой-то радужный сон, фантазмагория, бред наяву. Старик всю жизнь прожил в черном теле, а тут, на старости лет, прикачнулось какое-то безумное счастье. Конечно, причиной и единственным источником этого счастья был Галактион, и Вахрушка относился к нему, как к существу высшей породы. Он выбегал встречать его на крыльцо и по первому взгляду знал вперед, в каком настроении Галактион Михеич Вахрушка изучал это серьезное лицо с строгими глазами, походку, каждое движение и всем любовался. Разве может быть другой такой человек?

– Бога мне, дураку, не замолить за Галактиона Михеича, – повторял Вахрушка, задыхаясь от рабского усердия. – Что я такое был?.. Никчемный человек, червь, а тетерь... Ведь уродятся же такие человеки, как Галактион Михеич! Глазом глянет – человек и сделался человеком... Ежели бы поп Макар поглядел теперь на меня. Х-ха!.. Ах, какое дело, какое дело!

Вахрушка через прислугу, конечно, знал, что у Галактиона в доме «неладно» и что Серафима Харитоновна пьет запоем, и по-своему жалел его. Этому-то человеку жить бы да жить надо, а тут дома, как в нетопленной печи. Ах, нехорошо! Вот ежели бы Харитина Харитоновна, так та бы повернула все единым духом. Хороша бабочка, всем взяла, а тоже живет ни к шубе рукав. Дальше Вахрушка угнетенно вздыхал и отмахивался рукой, точно отгонял муху.

В течение двух месяцев старик вызнал всех своих банковских и всех клиентов и рассортировал их по-своему. Немец Полуштоф тоже умен, только уж очень увертлив, старик Стабровский, конечно, из поляков и гордо себя содержит; Мышников – ловкий барин, сурьезный, и т. д. Зато киргиз Шахма возмущал Вахрушку, и он навеличивал его про себя татарскою образиной. Наконец, молчаливый Драке, двигавшийся как манекен из папье-маше, наводил на Вахрушку какую-то оторопь. Старик испытывал панический страх, когда молчаливый немец деревянным шагом проходил через его переднюю. Пробовал Вахрушка угодать ему всячески – и опять ничего. Немец молчит, как зарезанный.

«И что только у него, у идола, на уме? – в отчаянии думал Вахрушка, перебирая репертуар собственных мыслей. – Все другие люди как люди, даже Шахма, а этот какой-то омморок... Вот Полуштоф так мимо не пройдет, чтобы словечка не сказать, даром что хромой».

Клиентов банка Вахрушка разделил на несколько категорий: одни – настоящие купцы, оборотистые и важные, другие – пожиже, только вид на себя напускают, а остальные – так, как мякина около зерна. Одна видимость, а начинки-то и нет.

Итак, Вахрушка занимал ответственный пост. Раз утром, когда банковская «мельница» была в полном ходу, в переднюю вошел неизвестный ему человек. Одет он был по купечеству, но держал себя важно, и Вахрушка сразу понял, что это не из простых чертей, а важная птица. Незнакомец, побряхтывая, поднялся наверх и спросил, где можно видеть Колобова.

– Как прикажете доложить?

– Прохоров.

Этой одной фамилии было достаточно, чтобы весь банк встрепенулся. Приехал сам Прохоров, – это что-нибудь значило. Птица не маленькая и недаром прилетела. Артельщики из кассы, писаря, бухгалтеры – все смотрели на знаменитого винного короля, и все понимали, зачем он явился. Галактион не вышел навстречу, а попросил гостя к себе, в комнату правления.

– Вы, значит, и член правления? – довольно грубо спросил Прохоров, протягивая руку Галактиону.

– Да... Чем могу служить вам? – деловым тоном ответил Галактион, прищуривая глаза. – Не угодно ли вам присесть...

– Что же, в ногах правды нет, – присядем.

Прохоров еще раз осмотрел комнату, повел плечами и проговорил:

– Это вы тогда приезжали ко мне?

– Да.

– Так-с... гм... Значит, вы же и конкуренцию устраивали мне?

– Я вам не обязан давать отчета, господин Прохоров. Здесь я только член правления.

– Так-с... да...

– Нас несколько членов правления: Штофф, Стабровский, Мышников, Шахма, Драке... Может быть, вы с ними желаете переговорить?

– Так-с... Это все единственно-с. Разговоры-то короткие... да.

– Всего лучше, если вы подадите ваше заявление в банк письменно. Правление его рассмотрит и даст ответ.

– Так-с... А в сущности все единственно.

Прохоров сознавал собственное унижение, сознавал, что вот этот, неизвестный в коммерческом мире еще три года назад, Колобов торжествует за его счет, и не мог уйти, не покончив дела. Да, нужно было испить чашу до дна. В свою очередь Галактион смотрел на Прохорова такими глазами, точно это был медведь, поднявшийся из далекой родной берлоги и ввалившийся всею тушей в банк. Кстати, он припомнил, что Стабровский предсказал его появление в банке еще после окончания войны в Суслоне, и Галактион тогда мог только подивиться его смелости высказать такое невероятное предположение. Для него лично «конченный» Прохоров имел специальное значение, потому что победой над ним открывалось осуществление его заветной мечты.

Собралось банковское правление. Предстояло обсудить важный вопрос о том, открыть Прохорову кредит под его винокурные заводы или нет. Он желал получить сумму в триста тысяч. Обсуждали этот вопрос Штофф, Мышников, Галактион и Драке. Стабровский отказался приехать в заседание под предлогом болезни. Совещавшиеся члены знали вперед, какую они комедию ломают, но вели переговоры с серьезными лицами. В результате получился отказ. Это приятное известие должен был сообщить Драке, как делалось во всех затруднительных случаях.

– Вы хотели получить триста тысяч под ваши заводы? – тянул Драке, глядя на винного короля своими рыбьими глазами.

– Так-с... да.

– Мы этот вопрос обсуждали и нашли, что он неудобноисполним. Вы меня понимаете? Одним словом, мы не можем.

В сущности Прохоров ожидал такого ответа, как человек, бывалый в переделках, и только съезжил плечи. Он ничего не ответил немцу, даже не поклонился и вышел.

– Это какая-то разбойничья шайка, – ругался он, когда Вахрушка подавал ему шубу и калоши. – Так-с...

Вечером Галактион поехал к Стабровскому. Старик действительно был не совсем здоров и лежал у себя в кабинете на кушетке, закутав ноги пледом. Около него сидела Устенька и читала вслух какую-то книгу. Стабровский, крепко пожимая Галактиону руку, проговорил всего одно слово.

– Поздравляю... Устенька, вы можете идти к себе.

Девушка поднялась и вышла.

– Да, да, поздравляю, – повторял Стабровский. – У меня был Прохоров, но я его не принял. Ничего, подождет. Его нужно выдержать. Теперь мы будем предписывать условия. Заметьте, что не в наших интересах топить его окончательно, да я и не люблю этого. Зачем? Тем более что я совсем и не желаю заниматься винокурным делом... Только статья дохода – не больше того. А для него это хороший урок.

Прохоров добился аудиенции у Стабровского только через три дня. К удивлению, он был принят самым любезным образом, так что даже немного смутился. Старый сибирский волк не привык к такому обращению. Результатом этого совещания было состоявшееся, наконец, соглашение: Стабровский закрывал свой завод, а Прохоров ежегодно выплачивал ему отступного семьдесят тысяч.

– Заметьте, что раньше мы могли сойтись на более выгодных для вас условиях, – заметил Стабровский на прощанье. – А затем, я сейчас мог бы предложить вам еще более тяжелые... Но это не в моих правилах, и я никому не желаю зла.

– Так-с... Что уж тут говорить-то. Конечно, темнота наша.

Вечером Стабровский сам приехал к Галактиону.

– Поздравьте: мы все кончили, – весело проговорил он. – Да, все... Хорошо то, что хорошо кончается. А затем, я приехал напомнить вам свое обещание... Я вам открываю кредит в пятьдесят тысяч. Хоть в воду их бросьте. Сам я не могу принять участия в вашем пароходном деле, потому что мой принцип – не разбрасываться. Надеюсь, что мы всегда останемся друзьями.

Заветная мечта Галактиона исполнялась. У него были деньги для начала дела, а там уже все пойдет само собой. Ему ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своею радостью, и такого человека не было. По вечерам жена была пьяна, и он старался уходить из дому. Сейчас он шагал по своему кабинету и молча переживал охватившее его радостное чувство. Да, целых четыре года работы, чтобы получить простой кредит. Но это было все, самый решительный шаг в его жизни.

VII

Харитина совсем собралась уходить от Галактиона, когда случилось одно событие, которое точно пришло к ней на помощь. Это было незадолго до масленицы. Раз ночью к Галактиону прибежала толстая малыгинская стряпка Аграфена и с причитаниями объявила, что Анфуса Гавриловна умерла.

– Ох, бедовушка головушке! – вопила баба. – Еще с вечера она была ничего, только на сердце жалилась... Скушно, говорит. Давно она сердцем скудалась... Ну, а тут осередь ночи ее и прикончило. Харитон-то Артемьич за дохтуром бегал... кровь отворяли... А она, сердешная, как убитая. И что только будет, господи!..

Старушка умерла от разрыва сердца. Малыгинский дом точно весь застонал. Пока была жива бабушка, ее почти не замечали, а теперь для всех было ясно как день, что с нею вместе рушился весь дом. И всех лучше понимал это сам Харитон Артемьич, ходивший из комнаты в комнату, как оглушенный.

– Как же это так? – повторял он. – Ведь вчера еще жива была... Наказывала еще осетра пудового купить для солки... икрыного... А тут вдруг...

Еще раз в отцовском доме сошлись все сестры. Даже пришла Серафима, не показывавшаяся нигде. Все ходили с опухшими от слез глазами. Сошлись и зятья. Самым деятельным оказался Замараев. Он взял на себя все хлопоты, суетился, бегал и старался изо всех сил.

– Один ты у меня правильный зять, – говорил Харитон Артемьич, забывая старую семейную рознь. – Золото, а не мужик... Покойница Фуса постоянно это говорила, а я перечил ей. Теперь вот и перечить некому будет. Ох, горюшко!.. Ты уж, писарь, постарайся на последях-то.

– Да уж не беспокойтесь, тятенька... Уж для богоданной маменьки готов надвое расколотся. Что же, предел... все там будем.

Рядом с искренним горем выплыли сейчас же и другие чувства. Первые начали следить друг за другом сестры, мысленно делившие между собой маменькино наследство. Запасливая была старушка, всю жизнь копила да берегла, – мало ли наберется в доме маменькина добра. Сундуки ломятся... Прежде всего сестры заподозрили тихоню Агнию, – ведь она в доме оставалась все время и как раз заграбастает самое лучшее. Много ли нужно, чтобы спрятать столовое серебро? Одних серег сколько было у маменьки, пять собольих воротников, бархату на два платья, три не шитых лисьих меха... Конечно, Агния знала, где все лежит, и не упустит случая. Та же Аграфена поможет... За Аграфеной был устроен правильный надзор, как и за Агнией, и сестры дежурили попеременно. Всех схватила самая отчаянная жадность, и каждая думала, что все другие обманут именно ее. Мужья, конечно, были посвящены во все тайны этой бабьей политики, и, нужно отдать им справедливость, все точно сговорились и ни во что не желали вступаться.

– Делайте, как знаете... Не наше это дело.

Явившийся Лиодор усилил смуту. Он приехал совершенно неожиданно ночью. Дежурившая «полуштофова жена» спала. Лиодор взломал в столовой буфет, забрал все столовое серебро и скрылся. Утром произошел настоящий скандал. Сестры готовы были, кажется, разорвать «полуштофову жену», так что за нее вынужден был вступить сам Харитон Артемьич.

– Да вы никак сбесились, сороки? – зыкнул он на дочерей. – Разе такое теперь время, оглашенные? Серебро жалеете, а мать не жаль... Никому и ничего не дам! Так и знайте... Пусть Лиодор пропивает, – мне ничего не нужно.

Благодарнее других оказалась Харитина, удерживавшая сестер от открытого скандала. Другие начали ее подозревать, что она заодно с Агнией, да и прежде была любимой тятенькиной дочерью. Затем явилось предположение, что именно она переедет к отцу и заберет в руки все тятенькино хозяйство, а тогда пиши пропало. От Харитины все сбудется... Да и Харитон Артемьич оказывал ей явное предпочтение. Особенно рвала и метала писариха Анна, соединившаяся на этот случай с «полуштофовой женой».

Из зятьев неотлучно были в доме Харченко и Замараев. Они часто уходили в кабинет учителя, притворяли за собой двери, пили водку и о чем-то подолгу шушукались. Вообще держали себя самым подозрительным образом.

В малыгинском доме перебивал весь город и даже заехал Ечкин. Он повертелся неизвестно зачем, попробовал любезничать с Харитиной и, не встретив сочувствия, исчез.

– Справки наводить приезжал, – сообщил Замараев шепотом Харченке. – Знает, где жареным пахнет. В последнее-то время тятенька на фабрике вексельями отдувался, – ну, а тут после богоданной маменьки наследство получит. Это хоть кому любопытно... Всем известно, какой капитал у маменьки в банке лежит. Ох, грехи, грехи!.. Похоронить не дадут честь-честью.

Похороны были устроены самые пышные. Харитон Артемьич ничего не жалел, и ему все казалось, что бедно. Замараев терял голову, как устроить еще пышнее. Кажется, уж всего достаточно... Поминальный стол на полтораста персон, для нищей братии отведен весь низ и людская, потом милостыня развозилась по всему городу возами.

Наконец, все было кончено. Покойница свезена на кладбище, поминки съедены, милостыня роздана, и в малыгинском доме водворилась мучительная пустота, какая бывает только после покойника. Сестры одна за другой наезжали проведать тятеньку, а Харитон Артемьич затворился у себя в кабинете и никого не желал видеть.

– Это наследство вынюхивают, – объяснял он Замараеву. – Как бы не так!.. Покойница-то все мне оставила по духовной.

– Уж это известно, тятенька. А все-таки оно того... духовную-то надо по закону представить... Закон требует порядка.

– Ты меня учить? Да ты с кем разговариваешь-то, чернильная твоя душа?

– Для вас же говорю, тятенька, чтобы не вышло чего... Духовную-то нужно представить куда следует, а потом опись имущества и всякое прочее.

– Да ты никак с ума спятил?! – закричал старик. – Ведь Анфуса Гавриловна, чай, была моя жена, – ну, значит, все мое... Я же все заводил. Кажется, хозяин в доме, а ты пристаешь... Вон!

Старик рассвирепел и выгнал писаря. Вот бог наградил зятьями! Другие-то хоть молчат, а этот так в ухо и зудит. И чего пристал с духовной? Ведь сам писал.

Приставанья и темные намеки писаря все-таки встревожили Харитона Артемьича, и он вечером отправился к старичку нотариусу Меридианову, с которым водил дела. Всю дорогу старик сердился и ругал проклятого писаря. Нотариус был дома и принял гостя в своем рабочем кабинете.

– А я к тебе с секретом, – объяснил Харитон Артемьич, доставая из кармана духовную. – Вот посмотри эту самую бумагу и научи, как с ней быть.

Нотариус оседлал нос очками, придвинул бумагу к самой свече и прочел ее до конца с большим вниманием. Потом он через очки посмотрел на клиента, пожевал сухими губами и опять принялся перечитывать с самого начала. Эта деловая медленность начинала злить Харитона Артемьича. Ведь вот как эти приказные ломаются над живым человеком! Кажется, взял бы да и стукнул прямо по башке старую канцелярскую крысу. А нотариус сложил попрежнему духовную и, возвращая, проговорил каким-то деревянным голосом:

– Завещание недействительно, Харитон Артемьич.

В первую минуту Малыгин хорошенько даже не понял, в чем дело, а только почувствовал, как вся комната завертелась у него перед глазами.

– Как недействительно?! – вскипел он уже после драматической паузы.

– Очень просто... Недостает одного свидетеля.

– Как недостает? Целых двое подписались.

– В том-то и дело, что двое... По закону нужно троих.

– Врешь... Я сам подписывал духовную у старика Попова, и нас было двое: протопоп да я.

– Совершенно верно: когда подписывает духовную в качестве свидетеля священник, то совершенно достаточно двух подписей, а без священника нужно три. И ваше завещание имеет сейчас такую же силу, как пустой лист бумаги.

– Не может этого быть, потому как у меня деньги на жену положены были.

– Дело ваше, а духовная все-таки недействительна.

– Значит, все прахом?... Нет, не может этого быть... Тогда что же мне-то останется?

– По закону вы получите четвертую часть из движимого и восьмую из недвижимого.

– И это только потому, что нет третьего свидетеля?

– Только поэтому. В законе сказано прямо.

– Да ведь жена была моя, и я свой дом записывал на нее и свои деньги положил на ее имя в банк?

– Это все равно. Вы только наследник после нее.

Харитон Артемьич забежал по кабинету, как бешеный. Лицо побагровело, и нотариус даже испугался.

– Успокойтесь, Харитон Артемьич... Бывает и хуже.

– Да ведь это мне зарез... Сам себя зарезал... Голубчик, нельзя ли поправить как-нибудь?
Ну, подпишись третьим ты сам.

– Нельзя.

– На коленки встану... не уйду отсюда.

– Ничего не могу.

– Ну, чего тебе стоит? Будь отцом родным... Ведь никто не узнает.

– Не могу... Я присягу принимал.

– А ежели я сам подпишусь третьим?

– Нельзя.

С Малыгиным сделалось дурно, и нотариусу пришлось отпаивать его холодной водой.

– Это меня проклятый писарь подвел! – хрипел старик, страшно ворочая глазами. – Я его разорву на мелкие части, как дохлую кошку!

– Успокойтесь, Харитон Артемьич. Ведь со своими дело будете иметь, а не с чужими.

– Со своими? Вот в том-то и вся моя беда... Свои! Ха-ха!

От нотариуса Малыгин направился прямо в ссудную кассу Замараева. Он ворвался, как ураган, и сгоряча не узнал даже зятя.

– Где разбойник? где погубитель?

– Тятенька, кого вам нужно? – спрашивал Замараев.

– Ах, это ты!.. Тебя нужно!.. Тебя... Задушу своими руками!

– Какие вы слова, тятенька, выражаете... Вот лучше напьемся чайку и потолкуем.

– Чайку? Вот где мне твой чаек... Твоя работа, разбойник! Ты составлял духовную!

– Все по закону, тятенька, и духовная по всей форме.

– А где третий свидетель?

– Это уж было ваше дело, тятенька... Вы подбирали свидетелей.

– Не говори, душегубец!

Старик страшно бунтовал, разбил графин с водой и кончил слезами. Замараев увел его под руку в свой кабинет, усадил на диван и заговорил самым убедительным тоном:

– Тятенька, напрасно вы на меня мораль пущаете... И даже лучше, что так вышло.

– Что-о?! Ах, разбойник!

– Нет, вы меня выслушайте... Допустим, что духовная была бы правильно составлена – третий свидетель и прочее... Хорошо... Вы предъявляете духовную, ее утверждают, а деньги получили бы ваши кредиторы. Ведь у вас векселей, слава богу, выдано достаточно.

– Всего-то тысяч на шестьдесят. Значит, мне осталось бы чистых сорок тысяч да дом.

– Ах, какой вы, тятенька! Тогда бы кредиторы получили сполна все свои шестьдесят тысяч, а теперь они получают всего из капитала богоданной маменьки вашу четвертую часть, то есть двадцать пять тысяч, да вашу восьмую часть из дома. Значит, всех-на-всех тридцать тысяч.

– Ну, ну, говори, разбойник!

– Я, тятенька, по закону. Я тут ни при чем. Уж лучше, ежели деньги достанутся родным детям, чем чужим.

– Значит, по закону?

– Точно так-с.

Замараев взял счета и принялся подводить баланс.

– Вы, тятенька, яко законный супруг своей жены, получите из движимого свою законную четвертую часть, то есть двадцать пять тысяч, да из недвижимого свою восьмую законную супружескую часть. Теперь... У вас шесть дочерей и сын. По закону, дочерям из движимого

должна быть выделена законная седьмая часть, и Лиодору достанется тоже седьмая, значит на персону выйдет... выйдет по десяти тысяч семисот четырнадцати рублей двадцати восьми копеек и четыре седьмых-с. Из недвижимого, что останется после вычета вашей восьмой части, дочерям шесть четырнадцатых, значит, близко половины, а три восьмых – Лиодору. Вот и все по закону, тятенька... Я ничего от вас не скрываю. Заметьте, что я ни одной вашей копейки не желаю получить... Анна, как знает, так и пусть делает.

– А ты забыл еще подсчитать, что на всех на вас креста нет... Ах, разбойники!.. Ах, душегубы!.. Ведь я-то, значит, хуже нищего остался?

– А стеариновая фабрика, тятенька? Это капитал-с...

VIII

История с малыгинским наследством сделалась злобой дня для всего Заполя. Пересудам, слухам и комментариям не было конца. Еще ничего подобного в купеческой среде не случилось. Положение Харитона Артемьича получилось трагикомическое в самой обидной форме. Дело в том, что всем было ясно, как он хотел скрыть капитал от своих кредиторов и как глупо поплатился за это. Сложилась целая легенда о малыгинских дочерях, получивших наследство до последней копейки при живом отце и пустивших этого отца буквально нищим. Малыгинские зятья вошли в половицу.

В действительности происходило так. Все зятья, за исключением Пашки Булыгина, не принимали в этом деле никакого участия, предоставив все своим женам. Из сестер ни одна не отказалась от своей части ни в пользу других сестер, ни в пользу отца.

– Все равно у тятеньки опишут кредиторы, – объясняла «полуштофова жена» с обычно авторитетностью. – Вольно ему было засаживать весь свой капитал в фабрику, да еще выдавать векселя... Он только нас разорил.

– Конечно, разорил, – поддакивала писарша Анна. – Теперь близко полуторых сот тысяч в фабрике сидит да из мамынькиных денег туда же ушло близко тридцати, – по седьмой части каждой досталось бы. Плакали наши денежки... Моих двадцать пять тысяч сожрала проклятая фабрика.

Сестры ужасно волновались и смело говорили теперь все прямо в глаза отцу. Сначала Харитон Артемьич отчаянно ругался, кричал, топал ногами, гнал всех, а потом говорил всего одно слово:

– Проклянун!..

Первыми получать наследство явились Лиодор с Пашкой Булыгиным. Последний действовал по доверенности от жены. Харитон Артемьич едва успел скрыться от них через кухню и в одном халате прибежал к Замараеву. Он совершенно упал духом и плакал, как ребенок.

– Тятенька, успокойтесь, – уговаривал Замараев. – Зачем малодушествовать? Слава богу, у вас еще есть целая фабрика... Проживете получше нас всех.

– Не поминай ты мне про фабрику, разбойник! – стонал старик. – И тебя проклянун... всех! По миру меня пустили, родного отца!

Нападение Лиодора и Булыгина не повторилось. Они удовольствовались получением своих денег из банка и пропали в Кунаре. Дом и остальное движимое подлежало публичной продаже для удовлетворения кредиторов. Разорение получалось полное, так что у Харитона Артемьича не оставалось даже своего угла. Тут уж над ним сжалились дочери и в складчину уплатили следовавшую кредиторам восьмую часть. Отказалась уплатить свою часть только одна писариха Анна.

– Просто не понимаю, что сделалось с женой, – удивлялся Замараев, разводя руками. – Уж я как ее уговаривал: не бери мамынькиных денег. Проживем без них... А разве с бабой сговоришь?

Молва приписывала всю механику малыгинского завещания именно Замараеву, и он всячески старался освободить себя от этого обвинения. Вообще положение малыгинских зятьев было довольно щекотливое, и они не любили, когда речь заходила о наследстве. Все

дело они сваливали довольно бессовестно на жен, даже Галактион повторял вместе с другими это оправдание.

– Поговорят да перестанут, – успокаивал Штофф других.

– Да о чем говорить-то? – возмущался Замараев. – Да я от себя готов заплатить эти десять тысяч... Жили без них и проживем без них, а тут одна мораль. Да и то сказать, много ли мне с женой нужно? Ох, грехи, грехи!..

Харченко отмалчивался. Десять тысяч для него были заветною мечтой, потому что на них он приобретал, наконец, собственный ценз для городского гласного. Галактион тоже избегал разговоров на эту тему. Сначала он был против этого наследства, а потом мысленно присоединил их к тем пятидесяти тысячам, какие давал ему Стабровский. Лишних денег вообще не бывает, а тут они как раз подошли к случаю.

Лучше всех держала себя от начала до конца Харитина. Она даже решила сгоряча, что все деньги отдаст отцу, как только получит их из банка. Но потом на нее напало раздумье. В самом деле, дай их отцу, а потом и поминай, как звали. Все равно десятью тысячами его не спасешь. Думала-думала Харитина и придумала. Она пришла в кабинет к Галактиону и передала все деньги ему.

– Это что? – удивился Галактион.

– А на пароходы... И я тоже хочу кусочек хлеба с маслом.

Галактион молча ее обнял.

– Только ты мне расписку выдай, – деловым тоном говорила она, освобождаясь, – да.

– Для чего же тебе расписка, глупая?

– Как для чего? А не хочу дурой быть... Вот Серафима помрет, ты и женишься на другой. Я все обдумала вперед, и меня не проведешь.

– Ах, глупая, глупая!

Эти Харитинины десять тысяч Галактиону были особенно дороги. Они округляли его капитал до семидесяти тысяч, а там можно со временем дополучить тысяч тридцать из банка. Одним словом, все шло как по маслу, и Галактион не испытывал никаких угрызений совести по отношению к обобранному до нитки тестю. Он про себя негодовал на него: вместо того чтобы травить такие страшные деньги на дурацкую фабрику, отдал бы ему на пароходы... Дело-то повернее во сто раз. Поступок Харитины радовал Галактиона и потому, что он не просил у нее денег, а она сама их отдала. Он даже отложил их отдельно, как счастливые.

«Умная эта Харитина, – думал Галактион, пересчитывая ее капитал. – И расписку требует».

Харитина действительно была не глупа. Свое отступление из дома Галактиона она затушевала тем, что сначала переехала к отцу. Предлог был налицо: Агния находилась в интересном положении, отец нуждался в утешении.

– Куда ты деньги дела? – допытывался Харитон Артемьич.

– Полуянову послала... Ведь он мне муж, тятенька, а в Сибири-то где ему взять?

– Врешь, все врешь... Все вы врете.

Полуянов как-то совсем исчез из поля зрения всей родни. О нем не говорили и не вспоминали, как о покойнике, от которого рады были избавиться. Харитина время от времени получала от него письма, сначала отвечала на них, а потом перестала даже распечатывать. В ней росло по отношению к нему какое-то особенно злобное чувство. И находясь в ссылке, он все-таки связывал ее по рукам и по ногам.

Жизнь в родительском доме была уже совсем не красна. Харитон Артемьич по временам впадал в какое-то буйное ожесточение, и с ним приходилось отваживаться, как с сумасшедшим. Он проклинал дочерей и зятьев, а весь остальной мир обещал привлечь к суду. Для последнего у него были свои основания. Стеариновый завод работал в убыток и требовал все новых расходов. Шахма денег больше не давал, а у Ечкина их никогда не было. Давила главным образом конкуренция с «казанскою свечой». Харитон Артемьич, как на службу, отправлялся каждый день утром на фабрику, чтобы всласть поругаться с Ечкиным и хоть

этим отвести душу. Ечкин выслушивал все совершенно хладнокровно и говорил постоянно одно и то же:

– Вот вы теперь ругаетесь, а потом благодарить будете.

– Отдай мои деньги, ничего знать не хочу!..

Ечкину оставалось только пожимать плечами, точно его просили снять с неба луну. Собственно, он уже давно вышел из своей роли и сидел на фабрике, что совсем было не его делом. Представлялось два выхода: найти четвертого компаньона или заложить фабрику в банке. Последнее равнялось собственному признанию своей несостоятельности, и Ечкин медлил. В конце зимы он, наконец, подыскал компаньона – это был Евграф Огибенин. Коммерсант последней формации жаждал примазаться к какому-нибудь модному промышленному предприятию и попался на удочку. Ечкин получил с него деньги и сейчас же уехал в Петербург, где по выданной ему доверенности заложил в одном из столичных банков и стеариновую фабрику. В общем эти операции дали ему около полутора ста тысяч, и Ечкин как добросовестный человек ровно на эту сумму выслал компаньонам векселей.

Беда не приходит одна, и Малыгин утешался только тем, какого дурака свалил Еграшка-модник, попавший, как кур во щи. Благодаря коварству Ечкина фабрику пришлось совсем остановить. Кредиторы Ечкина в свою очередь поспешили наложить на нее свое запоздавшее veto. Но Харитон Артемьич не терял надежды и решил судиться, со всеми судиться – и с Ечкиным, и с Шахмой, и с Огибениным, и с дочерьми.

– Всех в бараний рог согну! – кричал он, расхаживая по своему кабинету в халате. – Я им покажу!..

Лучшее утешение в несчастье, как известно, – чужие несчастья. За этим дело не стало. В великом посту приехал в Заполье старик Колобов и завернул навестить Харитона Артемьича.

– А! пришел посмотреть на голого свата! – встретил его Малыгин, впадая в ожесточенный тон. – Вот полюбуйся... Один халат доченьки оставили из милости.

– Все под богом ходим, Харитон Артемьич, – уклончиво ответил Михей Зотыч, моргая и шамкая. – Господь даде, господь отъя... Ох, не возьмем с собой ничего, миленький! Все это суета.

– Нечего сказать, хороша суета!.. А ты-то зачем приехал к нам? Небойсь в банк хочешь закладываться? Ха-ха... У всех теперь одна мода, а ваши мучники готовы кожу с себя заложить.

– Уж как бог даст... да... – шамкал Колобов. – Оно тово, действительно поджимают нас, очень поджимают... У вас в городе-то лес рубят, а к нам щепки летят.

– Так, так, сватушка. У тебя и рука в банке своя... Галактион-то вызволит.

– Уж это што говорить – заступа... Позавидовал плешивый лысому. По-твоему хочу сделать: разделить сыновей. Хорошие ноне детки. Ох-хо-хо!.. А все суета, Харитон Артемьич... Деток вон мы с тобой судим и рядим, а о своей душе не печалуемся. Только бы мне с своим делом развязаться... В скиты пора уходить. Вот вместе и пойдем.

– Нет, брат, шалишь! Я сперва еще всех на подсудимую скамью запячу! Жив не хочу быть, пока не оборудую этого самого дела!

– Крутенок ты, сватушка, как я погляжу, а на сердитых иоду возят.

– Ничего, авось за собакой камень не пропадет! Я теперь на отчаянность пошел... С голого, что со святого, – взять нечего.

Старики разговорились. Все-таки они были свои и думали одинаково, не то что молодежь. Михей Зотыч все качал своею лысою головой и жаловался на худые дела.

– Ох, плохо будет, сватушка, всем плохо!.. Ведь можно было бы жить, и еще как можно, если бы все не набросились строить мельницы. По Ключевой-то теперь стоном стон стоит... Так и рвут, так и рвут. Что только и будет!..

– Зачем две-то новых мельницы выстроил?

– А затем, сватушка, что три сына у меня. Хотел каждому по меленке оставить, чтобы родителя поминали... Ох, нехорошо!.. Мучники наши в банк закладываются, а мужик весь хлеб на базары свез. По деревням везде ситцы да самовары пошли... Ослабел мужик. А тут

водкой еще его накачивают... Все за легким хлебом гонятся да за своим лакомством. Что только и будет!..

– Чему быть-то? Ничего не будет.

– А бог-то? Не потерпит батюшко нашего зверства... Божий дар травим да беса тешим.

Михей Зотыч прожил в Заполье недели две и, по обыкновению, обошел весь город и везде побывал. За десять лет город нельзя было узнать, и старик только качал головой. Все-то по-новому, по-модному, на отличку. Старинку как метлой вымело. Побывал Михей Зотыч и на новой вальцовой мельнице Луковникова и уже не знал, дивиться ему или нет. Это была уже не мельница, а целая фабрика. Даже жаль делалось, как гоняют хлеб по всем пяти этажам, с жернова на жернов, между валами, по ситам, веялкам и самотаскам. Завернул Михей Зотыч и к Замараеву. Тут дело верное – без обрезков и без моды. Закончились эти путешествия новым банком, где встретил Михея Зотыча старый приятель Вахрушка.

– Здравствуй, чиновник, – говорил Колобов, разглядывая Вахрушкину ливрею. – Шут не шут, а около того.

– Вот и вы на нашу мельницу завернули, Михей Зотыч, – отвечал в гон Вахрушка. – У нас чистая работа.

– Пришел в сапогах, а ушел босиком? На что чище... Вон и ты какое себе рыло наел на легком-то хлебе... да. Что же, оно уж всегда так: лупи яичко – не сказывай, облупил – не показывай. Ну, чиновник, а ты как думаешь, возьмут меня на вашей мельнице в заклад?

– Как же можно, Михей Зотыч, чтобы вам не дали под заклад... Всякие народы закладываются, а вам-то на особицу дадут.

– Так, так, миленький... Верно. Когда волк таскал – никто не видал, а когда волка потащили – все увидели.

IX

Заручившись кредитом, Галактион полетел в Тюмень, где у него уже был на примете продававшийся пароход. Правда, что пароход был старой конструкции, вообще дрянной, но тюка и он мог служить. Главное, чтобы не откладывать дела в долгий ящик. По пути Галактион прихватил и две небольшие баржи. Зимы оставалось немного, и нужно было поспевать. Из Тюмени он проехал на Городище, которое уже давно арендовал у крестьян. План пристани, контор и амбаров был заготовлен раньше, и теперь приходилось только его выполнять. Работа на мысу закипела, как по щучьему веленью. Камень и лес были заготовлены Галактионом еще раньше. Одним словом, все было предусмотрено до последних мелочей.

Ровно через две недели на Городище уже стояла новая пятистенная изба, в которой Галактион и поселился. Тут была и контора, и его квартира, и склад. Никогда еще Галактион не торопился в такой степени и никогда не чувствовал себя так хорошо. Каждый удар топора, раздававшийся на Городище, осуществлял его заветную мечту. Утром он вставал в пять часов, а ложился спать позже всех. С одной стороны, было неудобно, что река Ключевая была судоходна до Заполья только в полую воду, а с другой стороны, это неудобство представляло для Галактиона большие выгоды. Он вот здесь, на Городище, только чувствовал себя дома и был рад, что город далеко. Заполье ему давно надоело, да и не любил он его никогда. А здесь так хорошо. Под рукой были только те люди, которые были нужны, и больше никого. Галактион блаженствовал и смотрел на Тобол с чувством собственности, как на лошадь-новокупку.

В Заполье Галактион приезжал только на несколько часов, когда бывали заседания банковского правления. Здесь он, между прочим, встретился и с отцом.

– Здравствуй, сынок, – остановил его Михей Зотыч. – Аль не узнал родителя?

– Виноват, папаша... Как это вы сюда попали?

– По делу, сынок, по делу... Хочу отведать, как деньги из банка берут.

– Что же вы мне не писали раньше? Я устроил бы все вперед.

– Спасибо, сынок... Не привык я чужими руками жар загребать. Да и тебе-то некогда... Сказывают, пароходы заводишь?

– Завожу, родитель.

– Так, так... А денег где взял?

– Добрые люди дали.

– Люди-то добрые, а чужие денежки зубасты, милый сын... Не по себе дерево гнешь.

– Уж как бог даст, папаша... Я еще молод, в охотку и поработать. Приезжайте, папаша, посмотреть как-нибудь.

– И то приеду, сынок. Место на Городище привольное... Вот только как плавать-то будешь? Мы вон по сухому-то берегу еле бродим.

Галактиона неприятно поразило то, что отец попросил его похлопотать за него в правлении относительно ссуды.

– Папаша, знаете, неудобно просить за своих... Этого у нас не водится. В банке все равны и нет родственников.

– Спасибо и на этом, сынок.

– Если хотите, я могу поставить свой бланк на ваш вексель – это мне удобнее.

– Нет, спасибо, сынок... Пока бог миловал от векселей.

Встреча с отцом вышла самая неудобная, и Галактион потом пожалел, что ничего не сделал для отца. Он говорил со стариком не как сын, а как член банковского правления, и старик этого не хотел понять. Да и можно бы все устроить, если бы не Мышников, – у Галактиона с последним оставались попрежнему натянутые отношения. Для очищения совести Галактион отправился к Стабровскому, чтобы переговорить с ним на дому. Как на грех, Стабровский куда-то уехал. Галактиона приняла Устенка.

– Вы подождите, Галактион Михеич, – говорила девушка деловым тоном.

Она вообще старалась занимать его, как хозяйка. Пани Стабровская, по обыкновению, не выходила из своей комнаты, Диде что-то нездоровилось, и Устенка заменяла их. Галактион посидел в столовой, выпил стакан чаю и начал прощаться.

– В другой раз как-нибудь заверну, Устенка... Некогда.

Девушка вышла провожать его в переднюю и, оглянувшись, проговорила тем же тоном, как раньше, когда учила его, как держать себя за чайным столом:

– Галактион Михеич, неужели это правда, что рассказывают про старика Малыгина?

– Я, право, в его дела не вмешиваюсь, Устенка.

– Значит, это неправда, что вы взяли деньги у Харитины?

Галактион почувствовал, что вдруг покраснел, как попавшийся школьник.

– А вам для чего это знать, Устенка?

– Да я так... Ах, не делайте этого, Галактион Михеич! Она нехорошая...

Эта сцена не выходила из головы Галактиона всю дорогу, пока он ехал к себе на Городище. Он опять краснел, припоминая умоляющее выражение лица Устенки. Какая она славная девушка, хотя и говорит о вещах, которых не понимает. Да, значит, уже целый город знает о деньгах Харитины... И откуда только такие вести берутся? Он сам никому не говорил ни одного слова и был уверен, что Харитина тоже никому не проговорила. Она не болтушка. Вероятно, добрые люди сообразили, что Харитине некуда было девать своего наследства.

«Э, не все ли равно?» – решил Галактион.

Ему было обидно только то, что Устенка назвала Харитину нехорошей. За что? Ведь Харитина никому не сделала зла, кроме самой себя.

Именно под этим впечатлением Галактион подъезжал к своему Городищу. Начинало уже темнеться, а в его комнате светился огонь. У крыльца стоял чей-то дорожный экипаж.

Галактион быстро взбежал по лестнице на крылечко, прошел темные сени, отворил дверь и остановился на пороге, – в его комнате сидели Михей Зотыч и Харитина за самоваром.

– Ну, принимай дорогих гостей, – проговорил Михей Зотыч. – Незваные-то гости подороже будут званых.

– Я рад, папаша...

– Я и Харитину захватил, – шамкал старик. – Одному-то скучно ехать, а она все равно без дела у тятеньки сидит. Вот и поехали.

Харитина была смущена и смотрела на Галактиона виноватыми глазами. Она чувствовала, что он недоволен ее выходкой, и молчала. Галактион тоже поздоровался с ней молча.

Старик Колобов был как-то необыкновенно весел и все время шутил с Харитиной.

– Ну, что же ты молчишь-то, а еще хозяин? – спрашивал он Галактиона. – Разве гости плохи? Вместе-то нам как раз сто лет, Харитинушка. В самый раз пара.

Вечером старик улегся, по обыкновению, спать рано. Галактион и Харитина сидели в конторе одни.

– Что ты и в самом-то деле надулся, как мышь на крупу? – говорила она.

– Этак я и домой завтра уеду. Соскучилась без тебя, а ты...

– Послушай, я не пойму, как это тебя угораздило вместе с отцом приехать сюда?

– А так... Он приехал прямо за мной, а я села и поехала. Тошнехонько мне, особенно по вечерам. Ты не бойсь и не вспомнишь обо мне.

– Вот немного устроюсь, тогда...

– Что тогда? А знаешь, что я тебе скажу? Вот ты строишь себе дом в Городище, а какой же дом без бабы? И Михей Зотыч то же самое давеча говорил. Ведь у него все загадками да выкумурами, как хочешь понимай. Жалее тебя...

– Он?

– Да, он... А ты как бы думал? Старик без ума тебя любит. Ты его совсем не знаешь... да. А мне показалось...

Харитина так и не досказала, что ей показалось.

На другое утро Михей Зотыч поднялся чем свет и обошел все работы. Он все осмотрел, что-то прикидывал в уме, шептал и качал головой, а потом, прищурившись, долго смотрел на реку и угнетенно вздыхал.

– Ну что, папаша, как вы нашли мою пристань? – спрашивал Галактион.

– Купец в лавке хвалит товар, сынок, а покупатель дома... Ничего, хорошо... Воду я люблю, а у тебя сразу две реки... По весне-то вот какой разлив будет... да.

– В половодье-то я из Заполья вашу крупчатку повезу в Сибирь, папаша, а осенью сибирскую пшеницу сюда буду поставлять. Работы не оберешься.

– Да, да... Ох, повезешь, сынок!.. А поговорка такая: не мой воз – не моя и песенка. Все хлеб-батюшко, везде хлеб... Все им держатся, а остальное-то так. Только хлеб-то от бога родится, сынок... Дар божий... Как бы ошибки не вышло. Ты вот на машину надеешься, а вдруг нечего будет не только возить, а и есть.

– Вот тогда-то и будет хорошо: где много уродится хлеба, откуда его и повезем. Всем будет хорошо.

– Так, так... То-то нынче добрый народ пошел: все о других заботятся, а себя забывают. Что же, дай бог... Посмотрел я в Заполье на добрых людей... Хорошо. Дома понастроили новые, магазины с зеркальными окнами и все перезаложили в банк. Одни строят, другие деньги на постройку дают – чего лучше? А тут еще: на, испей дешевой водочки... Только вот как с закуской будет? И ты тоже вот добрый у меня уродился: чужого не жалеешь.

– Это уже дело мое, папаша, у вас я, кажется, еще не просил ничего.

– Не дам, ничего не дам, сынок... Жалеючи тебя, не дам. Ох, грехи от денег-то, и от своих и от чужих! Будешь богатый, так и себя-то забудешь, Галактион. Видал я всяких человек... ох, много видал! Пожалуй, и смотреть больше ничего не осталось.

Больше всего старик поразил Галактиона своим отношением к Харитине. Она проспала чуть не до десяти часов, и Галактион несколько раз хотел ее разбудить.

– Оставь... Не надо, – удерживал его Михей Зотыч. – Пусть выспится молодым делом. Побранить-то есть кому бабочку, а пожалеть некому. Трудненько молодой жить без призору... Не сладко ей живется. Ох, грехи!..

Харитина поднялась не в духе; она плохо спала ночь.

– Ну, Харитинушка, испей чайку да складывайся в обратный путь, – торопил ее Михей Зотыч. – Загостились мы тут.

Ухаживанья старика привели Харитину в капризное настроение. Она уже больше не смущалась и смотрела на Галактиона вызывающим взглядом.

– Возьми меня, Галактион, в кухарки, – говорила она, усаживаясь в экипаж. – Я умею отличные щи варить.

– И то возьми, Галактион, – поддакивал Михей Зотыч. – Я буду наезжать ваши щи есть. Так, Харитинушка? Щи – первое дело. Пароходы-то пароходами, а без щей тоже не проживешь.

Галактион стоял все время на крыльце, пока экипаж не скрылся из глаз. Харитина не оглянулась ни разу. Ему сделалось как-то и жутко, и тяжело, и жаль себя. Вся эта поездка с Харитиной у отца была только злою выходкой, как все, что он делал. Старик в глаза смеялся над ним и в глаза дразнил Харитиной. Да, «без щей тоже не проживешь». Это была какая-то бессмысленная и обидная правда.

Целый день Галактион ходил грустный, а вечером, когда зажгли огонь, ему сделалось уж совсем тошно. Вот здесь сидела Харитина, вот на этом диване она спала, – все напоминало ее, до позабытой на окне черепаховой шпильки включительно. Галактион долго пил чай, шагал по комнате и не мог дожидаться, когда можно будет лечь спать. Бывают такие проклятые дни.

Когда Галактион, наконец, был уже в постели, послышался запоздалый колокольчик. Галактион никак не мог сообразить, кто бы мог приехать в такую пору. На всякий случай он оделся и вышел на крыльцо. Это была Харитина, она вошла, пошатываясь, как пьяная, молча остановилась и смотрела на Галактиона какими-то безумными глазами.

– Что с тобой? – удивился Галактион. – Идем в комнату.

Харитина долго ничего не могла выговорить и только плакала, закрыв лицо руками.

– Я его бранила всю дорогу... да, – шептала она, глотая слезы. – Я только дорогой догадалась, как он смеялся и надо мной и над тобой. Что ж, пусть смеются, – мне все равно. Мне некуда идти, Галактион. У меня вся душа выболела. Я буду твоей кухаркой, твоей любовницей, только не гони меня.

– Милая, перестань... Поговорим завтра.

Успокоить Харитину было делом нелегким, и Галактион провозился с ней до самого утра, пока она не заснула тут же на диване, не раздеваясь, как приехала.

Х

В доме Стабровских переживалось трудное время.

Диде было уже шестнадцать лет, и наступало то, чего так боялся отец. Врачи просмотрели тот момент, от которого зависело все, и только отцовский взгляд инстинктивно предчувствовал его. Раньше у Диди было два припадка – один в раннем детстве, другой, когда ей было тринадцать лет, то они еще ничего не доказывали. У детей сплошь и рядом бывают «родимчики». Дидю исследовали все знаменитости в Москве, в Петербурге и за границей, и все дали уклончивый ответ: все может быть и ничего может не быть. Такой приговор убивал Стабровского, и он изверился в знаменитостях, прикрывавших своею славой самое скромное незнание. Да и наука по части нервных болезней делала только свои первые

шаги. В конце концов Стабровский обратился к своим провинциальным врачам, у которых было и времени больше, и усердия, и свежей наблюдательности. Сам он изобрел только одно средство – поселить в своем доме Устенку, которая могла заразить здоровьем Дидю. В четыре года действительно Устенка сформировалась в настоящую здоровую девушку, а Дидя только вытянулась и захирела. Для Стабровского «славяночка» являлась живою меркой, и он делал ежедневные параллельные наблюдения. Сначала Дидя шла в умственном развитии далеко впереди, а потом точно начала уставать, и Устенка ее понемногу догнала. Дидя делалась с каждым годом все скрытнее, несообщительнее и имела такой вид, когда человек мучительно хочет что-то припомнить и не может. Она вся точно свертывалась в клубочек, когда чувствовала на себе наблюдавший ее отцовский взгляд.

В последнее время Стабровский начал замечать какие-то странные вспышки, неожиданные и болезненные, какие бывают только у беременных женщин. Он посоветовался с докторами, и те решили, что «девочка формируется». Мисс Дудль разделяла это мнение и с самоуверенностью заявила, что она «выдержит» девочку и больше ничего. Однако случилось нечто неожиданное. В один из таких моментов тренировки в духе доброй английской школы Дидя вспыхнула до того, что назвала мисс Дудль старой английской лошадкой. Это неслыханное оскорбление привело к тому, что мисс Дудль принялась собирать свои чемоданы. Может быть, этот прием употреблялся слишком часто и потерял свое психологическое значение, может быть, строгая англичанка была сама не права, но Дидя ни за что не хотела извиняться, так что вынужден был вмешаться отец. Он долго и убедительно объяснял дочери значение ее поступка и единственный выход из него – извиниться перед мисс Дудль, но Дидя отрицательно качала головой и только плакала злыми, чисто женскими слезами. Стабровский почувствовал что-то неладное во всей этой глупой истории и обратился к Кочетову.

– По-моему, девочка ненормальна, Анатолий Петрович.

– Мы все ненормальны. Главное – не нужно к ней приставать, а дать полный покой.

Стабровский кое-как уговорил мисс Дудль остаться, и это послужило только к тому, что Дидя окончательно ее возненавидела и начала преследовать с ловкостью обезьяны. Изобретательность маленького инквизитора, казалось, не имела границ, и только английское терпение мисс Дудль могло переносить эту домашнюю войну. Дидя травила англичанку на каждом шагу и, наконец, заявила ей в глаза.

– У вас не только нет ума, а даже самого простого самолюбия, мисс Дудль. Я вас презираю. Вы – ничтожное существо, кукла, манекен из папье-маше, гороховое чучело. Я вас ненавижу.

Эта сцена и закончилась припадком, уже настоящим припадком настоящей эпилепсии. Теперь уже не было места ни сомнениям, ни надеждам. Стабровский не плакал, не приходил в отчаяние, как это бывало с ним раньше, а точно весь замер. Прежде всего он пригласил к себе в кабинет Устенку и объяснил ей все.

– Устенка, вы уже большая девушка и поймете все, что я вам скажу... да. Вы знаете, как я всегда любил вас, – я не отделял вас от своей дочери, но сейчас нам, кажется, придется расстаться. Дело в том, что болезнь Диди до известной степени заразительна, то есть она может передаваться предрасположенному к подобным страданиям субъекту. Я не желаю и не имею права рисковать вашим здоровьем. Скажу откровенно, мне очень тяжело расставаться, но заставляют обстоятельства.

– Вы меня гоните, Болеслав Брониславич, – ответила Устенка. – То есть я не так выразилась. Одним словом, я не желаю сама уходить из дома, где чувствую себя своей. По-моему, я именно сейчас могу быть полезной для Диди, как никто. Она только со мной одной не раздражается, а это самое главное, как говорит доктор. Я хочу хоть чем-нибудь отплатить вам за ваше постоянное внимание ко мне. Ведь я всем обязана вам.

Стабровский обнял ее, со слезами поцеловал ее в лоб и проговорил:

– Вполне ценю ваше благородство, славяночка... да, ценю, но не могу согласиться, пока не поговорю с вашим отцом.

– Позвольте мне самой это сделать?

– Как знаете.

В качестве большой, Устенка могла теперь уходить из дому одна и бывала у отца ежедневно. Когда она объяснила ему, в чем дело, старик задумался.

– Мне кажется, папа, что тут и думать нечего. Как же я оставлю Дидю в таком положении одну? Она так привыкла ко мне, любит меня. Я останусь у Стабровских.

– Вот что скажет доктор, Устенка. Конечно, Стабровские – люди хорошие, но... Одним словом, ты у меня одна – помни это.

Даже старая нянька Матрена, примирившаяся в конце концов с тем, чтобы Устенка жила в ученье у поляков, и та была сейчас за нее. Что же, известно, что барышня Дидя порченная, ну, а только это самые пустяки. Всего-то дела свозить в Кунару, там один старичок юродивый всякую болезнь заговаривает.

Тарас Семеныч скрепя сердце согласился. Ему в первый раз пришло в голову, что ведь Устенка уже большая и до известной степени может иметь свое мнение. Затем у него своих дел было по горло: и с думскою службой и с своею мельницей.

– Как знаешь, Устенка. Ты уж сама не маленькая.

Стабровский очень был обрадован, когда «славяночка» явилась обратно, счастливая своим молодым самопожертвованием. Даже Дидя, и та была рада, что Устенка опять будет с ней. Одним словом, все устроилось как нельзя лучше, и «славяночка» еще никогда не чувствовала себя такою счастливой. Да, она уже была нужна, и эта мысль приводила ее в восторг. Затем она так любила всю семью Стабровских, мисс Дудль, всех. В этом именно доме она нашла то, чего ей не могла дать даже отцовская любовь.

В течение четырех лет перед глазами «славяночки» развернулся целый мир, громадный и яркий, перед которым запольская действительность казалась такою ничтожной. Устенка могла уже читать по-французски и по-немецки, понимала по-английски и говорила по-польски. Эти первые шаги ввели ее в сокровищницу мировой литературы, начиная с классиков. Затем она училась музыке, которую страстно любила. Пани Стабровская заставляла ее читать по вечерам на трех языках и объясняла все непонятное. Дидя не любила читать, и ее не принуждали, так что всею обстановкой дорогого воспитания пользовалась собственно одна Устенка. В ее уме все лучшее теперь неразрывно связывалось с теми людьми, с которыми она жила, – в этом доме она родилась вторично. Часто, глядя из окна на улицу, Устенка приходила в ужас от одной мысли, что, не будь Стабровского, она так и осталась бы глупою купеческою дочерью, все интересы которой сосредоточиваются на нарядах и глупых провинциальных удовольствиях. Разве можно так жить, когда на свете так много хорошего? Заполье представлялось ей какою-то ямой. И какие ужасные люди кругом! Через прислугу и разговоры больших Устенка уже знала биографию Прасковьи Ивановны, роман Галактиона с Харитиной и т. д. Городские новости врывались в дом Стабровского, минуя самый строгий контроль мисс Дудль.

Больше всего смущал Устенку доктор Кочетов, который теперь бывал у Стабровских каждый день; он должен был изо дня в день незаметно следить за Дидей и вести самое подробное *curriculum vitae*.^[7] Доктор обыкновенно приезжал к завтраку, а потом еще вечером. Его визиты имели характер простого знакомства, и Дидя не должна была подозревать их настоящей цели.

Доктор ежедневно проводил с девочками по несколько часов, причем, конечно, присутствовала мисс Дудль в качестве аргуса. Доктор пользовался моментом, когда Дидя почему-нибудь не выходила из своей комнаты, и говорил Устенке ужасные вещи.

– Вы никогда не думали, славяночка, что все окружающее вас есть замаскированная ложь? Да... Чтобы вот вы с Дидей сидели в такой комнате, пользовались тюремным надзором мисс Дудль, наконец моими медицинскими советами, завтраками, пользовались свежим бельем, – одним словом, всем комфортом и удобством так называемого культурного существования, – да, для всего этого нужно было пустить по миру тысячи людей. Чтобы Дидя и вы вели настоящий образ жизни, нужно было сделать тысячи детей нищими.

– Все это неправда. Мы никому не делали зла.

– А как вы полагаете, откуда деньги у Болеслава Брониславича? Сначала он был подрядчиком и морил рабочих, как мух, потом он начал спаивать мужиков, а сейчас разоряет целый край в обществе всех этих банковских воров. Честных денег нет, славяночка. Я не обвиняю Стабровского: он не лучше и не хуже других. Но не нужно закрывать себе глаза на

окружающее нас зло. Хороша и литература, и наука, и музыка, – все это отлично, но мы этим никогда не закроем печальной действительности.

– А вы сами что делаете, доктор?

– И я не лучше других. Это еще не значит, что если я плох, то другие хороши. По крайней мере я сознаю все и мучусь, и даже вот за вас мучусь, когда вы поймете все и поймете, какая ответственная и тяжелая вещь – жизнь.

Эти разговоры доктора и пугали Устенку и неудержимо тянули к себе, создавая роковую двойственность. Доктор был такой умный и так ясно раскрывал перед ней шаг за шагом изнанку той жизни, которой она жила до сих пор безотчетно. Он не щадил никого – ни себя, ни других. Устенке было больно все это слышать, и она не могла не слушать.

– С одной стороны хозяйничает шайка купцов, наживших капиталы всякими неправдами, а с другой стороны будет зорить этих толстосумов шайка хищных дельцов. Все это в порядке вещей и по-ученому называется борьбой за существование... Конечно, есть такие купцы, как молодой Колобов, – эти создадут свое благосостояние на развалинах чужого разорения. О, он далеко пойдет!

– Что же тогда делать? – спрашивала Устенка в отчаянии.

Доктор только горько улыбался.

– Знаете что, славяночка, не вам это спрашивать у меня и не мне разрешать вам такой всеобъемлющий вопрос. Полагаю, что для каждого должно существовать свое собственное решение этого вопроса. Все дело в совести, в нравственной чистоплотности... Ведь мы всю жизнь заботимся только о том, чтобы вот именно нам было хорошо, а от этого, по-моему, все несчастья. Да, именно от этого... Представьте себе простую картину: вам хочется есть, перед вами хороший завтрак, – разве вы можете его есть с покойной совестью, когда вас окружают десятки голодных девушек, голодных детей? Ведь кусок в горло не пойдет. Если вы и я едим спокойно свой вкусный завтрак, то только потому, что не видим этих голодных, – они где-то там, далеко, неизвестно где. И мы все делаем, чтобы не видеть их и чтобы, боже сохрани, наши дети не видели их... И каждый наш день – неправда и ложь, а отсюда и наше счастье и наше несчастье – тоже неправда и ложь. Ведь есть еще умственный голод, нравственный голод, душевная нищета, а отсюда дрянные, нехорошие несчастья... Чужое горе по психологическому контрасту обыкновенно вызывает наши симпатии, но есть такое горе, которое вызывает только отвращение. Ах, вы не подозреваете даже, как иногда человек может ненавидеть самого себя!

– Вот вы говорите о завтраке, доктор. Но если я отдам свой завтрак, то, во-первых, сама останусь голодна, а во-вторых, все равно всех не накормлю.

– Это правда, если вы будете одна. А если будут и другие думать о других, тогда получится совсем иное.

Устенка не могла не согласиться с большею половиной того, что говорил доктор, и самым тяжелым для нее было то, что в ней как-то пошатнулась вера в любимых людей. Получился самый мучительный разлад, заставлявший думать без конца. Зачем доктор говорит одно, а сам делает другое? Зачем Болеслав Брониславич, такой умный, добрый и любящий, кого-то разоряет и помогает другим делать то же? А там, впереди, поднимается что-то такое большое, неизвестное, страшное и неумолимое.

XI

Деятельность Зауральского коммерческого банка отзывалась не только на экономической стороне жизни Заполя, а давала тон всему общественному строю. У нас вообще принято как-то легко смотреть на роль банков, вернее – никак не смотреть. Между тем в действительности это страшная сила, которая кладет свою тяжелую руку на всех. Нарастающий капитализм является своего рода громадным маховым колесом, приводящим в движение миллионы валов, шестерен и приводов. Да, деньги давали власть, в чем Заполье начало убеждаться все больше и больше, именно деньги в организованном виде, как своего рода армия. Прежде были просто толстосумы, влияние которых не переходило границ тесного кружка своих однокашников, приказчиков и покупателей, а теперь капитал, пройдя через банковское горнило, складывался уже в какую-то стихийную силу, давившую все на своем пути.

Живым показателем этой новой силы для Заполя явился банковский юристконсульт Мышников. Он быстро вошел в свою роль и начал забирать силу. Клиенты без слов почувствовали свою мертвую зависимость от этого нового человека, которому стоило оказать одно слово – и банк закрывал кредит. Мышников уже показал свою власть над протестовавшими элементами и одним почерком пера разорил двух мельников с Ключевой, не оказавших ему должного уважения. Все понимали, что это только проба, цветочки, а ягодки впереди. Остальных клиентов Мышников выучил терпению. Они по целым часам ждали его в банке, теряя дорогое время, выслушивали его грубости и должны были заискивающе улыбаться, когда на душе скребли кошки и накопилась самая лютая злоба.

Главное, скверно было то, что Мышников, происходя из купеческого рода, знал все тонкости купеческой складки, и его невозможно было провести, как иногда проводили широкого барина Стабровского или тягучего и мелочного немца Драке. Прежде всего в Мышникове сидел свой брат мужик, у которого была одна политика – давить все и всех, давить из любви к искусству.

Но сфера специально банковской деятельности Мышникова не удовлетворяла. Он хотел большего, а главное – общего почета и заискивающего трепета. Червь тщеславия сосал его неустанно, и ему все было мало. Оперившись благодаря банку, Мышников попал о думу и принялся хозяйничать здесь. Состав думы был купеческий. Доморожденные ораторы говорили плохо, и Мышников сразу сделался светилом. Он во всех мелочах брал перевес, и гласные проходили мудрую школу подлаживанья и спасительного молчания. Всякая самостоятельность давилась в зародыше. Из думских ораторов пробовал бороться с Мышниковым полированный купчик Евграф Огибенин, но сейчас же погиб самым позорным образом: ему был закрыт кредит в банке. Это было хорошим уроком для других смельчаков.

Старик Луковников отлично понимал разыгравшуюся комедию и сознавал полное свое бессилие. Дума быстро превращалась в переднюю Зауральского коммерческого банка. Гласные-купцы тоже сообразили, что нужно только соглашаться с Павлом Степанычем, и заглядывали ему в рот, ожидая решения. Мышников скоро завладел всем городским самоуправлением и делал все, чего желал.

– Что же это такое будет, господа? – в отчаянии говорил Луковников гласным, которым доверял. – Мы делаемся какими-то пешками... Мышников всех нас заберет. Вон он и Драке, и Штоффа, и Галактиона Колобова в гласные проводит... Дохнуть не дадут.

– А что же мы поделаем, Тарас Семеныч? – угнетенно отвечали купцы. – Подневольные мы люди, и больше ничего. Скажи-ко поперечное слово Павлу Степанычу, а он в бараний рог согнет, как Евграф Огибенина. Жив человек смерти боится.

Луковников понимал, что по-своему купцы правы, и не находил выхода. Пока лично его Мышников не трогал и оказывал ему всякое почтение, но старик ему не верил. «Из молодых да ранний, – думал он про себя. – А все проклятый банк».

Протестом против мышниковской гегемонии явились разрозненные голоса запольской интеллигенции, причем в голове стал учитель греческого языка Харченко, попавший в число гласных еще по доверенности покойной Анфусы Гавриловны. Купцы могли только удивляться, как такой ничтожный училишко осмеливался перечить самому Павлу Степанычу и даже вот на волос его не боялся. В составе купцов-гласных Харченко являлся чем-то вроде тех проклятых исключений, которыми так богат греческий язык. Свое думское одиночество Харченко выкупал тем, что упорно выводил в целом ряде корреспонденции деятельность банка и несчастной купеческой думы. Как Мышников ни презирал живое слово прессы, но она лишала его известного престижа и время от времени наносила довольно чувствительные удары его самолюбию. Он затаил ненависть против плюгавого училишки и дал себе клятву стереть его с лица земли, чтобы другим впредь было неповадно чинить разные противности. Это была неравная борьба, и все смотрели на «греческий язык» с сожалением, как на жертву, которую Мышников в свое время пожрет. Но Харченко уже имел своих союзников, как доктор Кочетов, Огибенин и озлобившийся на всех Харитон Артемич.

– Катай их всех в хвост и гриву! – кричал Малыгин. – Эдаких подлецов надо задавить... Дураки наши купчишки, всякого пня боятся, а тебя ведь грамоте учили. Валяй, «греческий язык»!

Харченко был странный человек и для Заполя совсем непонятный. Из-за чего человек набивался на неприятности? Этого уже решительно никто не мог понять, а сам Харченко

никому не говорил. Например, он написал громкую обличительную статью против Мышникова, когда тот в качестве попечителя над городскими школами уволил одну учительницу за непочтительность. Последняя заключалась в том, что учительница недостаточно быстро вскочила, когда в школу приехал Мышников, и не проводила его до передней. Скажите, пожалуйста, стоило поднимать пыль из-за какой-то учительницы, когда сам Павел Степанович так просто говорит в думе о необходимости народного образования, о пользе грамотности и вообще просвещения. В корреспонденции между тем говорилось прямо, что принципиально высшее образование, конечно, вещь хорошая и крайне желательная, но банковский кулак с высшим образованием – самое печальное знамение времени. «До сих пор мы имели дело просто с кулаками, – сообщал корреспондент, – а кулак интеллигентный – явление, с которым придется считаться».

Мышников с своей стороны не терял времени даром и повел атаку против задорного училищника. Город давал прогимназии известную субсидию, и на этом основании Мышников попал в попечители прогимназии от города. Это был прямой ход уже на неприятельскую территорию. Забравшись в гимназическое правление, Мышников с опытом присяжного юриста начал делать целый ряд прижимок Харченке, принимавшему какое-то участие в хозяйственной части. Повелась травля по всем правилам искусства. В качестве забравшего силу, Мышников обратился к попечителю учебного округа с систематическим рядом замаскированных доносов и добился своего. Именно этой политики Харченко и не выдержал. Он ответил на запрос из округа в «возбужденном тоне» и получил приглашение оставить запольскую прогимназию, с переводом в какое-то отчаянное захолустье.

Мышников торжествовал, сбив врага с позиции. Но это послужило не к его пользе. Харченко быстро оправился от понесенного поражения и даже нашел, что ему выгоднее окончательно бросить зависимую педагогическую деятельность.

– Ну, что же ты будешь делать-то, петух? – язвил его Харитон Артемьич, хлопая по плечу. – Летать умеешь, а где сядешь? Поступай ко мне в помощники... Я тебя сейчас в чин произведу: будешь отставной козы барабанщиком.

– Ничего, папаша, за нами и не это пропадало... Свет не клином сошелся. Все к лучшему.

– Уж на что лучше, зятюшка, когда, напримерно, выставку по затылку сделают.

– Пустяки, мы еще только начинаем... Вот посмотрите, какой мы фортель устроим... Подтянем всех.

– А ты не пугай!

– Был доктор Панглосс, тестюшка, который сказал, что на свете все устраивается к лучшему.

– Так, так... Правильный, значит, доктор.

Харченко действительно быстро устроился по-новому. В нем сказался очень деятельный и практический человек. Во-первых, он открыл внизу малыгинского дома типографию; во-вторых, выхлопотал себе право на издание ежедневной газеты «Запольский курьер» и, в-третьих, основал библиотеку. Редакция газеты и библиотека помещались во втором этаже.

– Да разве я для этого дом-то строил? – возмущался Харитон Артемьич. – Всякую пакость натащил в дом-то... Ох, горе душам нашим!.. За чьи только грехи господь батюшка наказывает... Осрамили меня зятя на старости лет.

Особенный успех имела библиотека, показавшая, что в глухом провинциальном городке уже чувствовалась настоятельная потребность в чтении. Книга уже являлась необходимостью, и Харченко мечтал открыть книжный магазин. Около типографии и библиотеки сразу сплотился маленький кружок интеллигентных разночинцев. Тут были и учителя, и учительницы, и фельдшера, и мелкие служащие из управы и банка. Библиотека являлась сборным пунктом, куда приходили потолковать и поделиться разными новостями. В общем все эти маленькие люди являлись протестующим элементом против новых дельцов.

Особым выдающимся торжеством явилось открытие первой газеты в Заполье. Главными представителями этого органа явились Харченко и доктор Кочетов. Последний даже не был пьян и поэтому чувствовал себя в грустном настроении. Говорили речи, предлагали тосты и составляли планы похода против плутократов. Харченко расчувствовался и даже

прослезился. На торжестве присутствовал Харитон Артемьич и мог только удивляться, чему люди обрадовались.

– Всех ругать будете в газетине? – спрашивал он.

– Как придется... Смотря по заслугам.

– Нет, вы жарьте их, подлецов, а главное – моих зятьев накаливайте... Ежели бы я был грамотный, так я бы им сам показал, как лягушки скачут. От своей темноты и погибаем.

К огорчению Харитона Артемьича, первый номер «Запольского курьера» вышел без всяких ругательств, а в программе были напечатаны какие-то непонятные слова: о народном хозяйстве, об образовании, о насущных нуждах края, о будущем земстве и т. д. Первый номер все-таки произвел некоторую сенсацию: обругать никого не обругали, но это еще не значило, что не обругают потом. В банке новая газета имела свои последствия. Штофф сунул номер Мышникову и проговорил с укоризной:

– Это твоя работа, Павел Степаньч... Охота тебе была связываться с проклятым учительшкой. Растравил человека, а теперь расхлебывай кашу.

– Ничего, не беспокойся, – уверял Мышников. – Коли на то пошло, так мы свою газету откроем... Одним словом, вздор, и не стоит говорить.

В малыгинском доме закипела самая оживленная деятельность. По вечерам собиралась молодежь, поднимался шум, споры и смех. Именно в один из таких моментов попала Устенка в новую библиотеку. Она выбрала книги и хотела уходить, когда из соседней комнаты, где шумели и галдели молодые голоса, показался доктор Кочетов.

– Ах, это вы, Устенка!.. Здравствуйте.

– Здравствуйте, Анатолий Петрович.

– Как это мисс Дудль пустила вас одну?

– Я была у папы.

– Так... хотите, я вас познакомлю с нашей компанией? У нас очень весело!

Устенка смутилась, когда попала в накуренную комнату, где около стола сидели неизвестные ей девушки и молодые люди. Доктор отрекомендовал ее и перезнакомил с присутствующими.

– Это ваше молодое Заполье, и вы будете нашей, Устенка, – говорил он, усаживая ее на диван.

Полчаса, проведенные в накуренной комнате, явились для Устенки роковой гранью, навсегда отделившею ее от той среды, к которой она принадлежала по рождению и по воспитанию. Возвращаясь домой, она чувствовала себя какою-то изменницей и живо представляла себе негодующую и возмущенную мисс Дудль... Ей хотелось и плакать, и смеяться, и куда-то идти, все вперед, далеко.

XII

Наступила весна. Близившееся тепло уже висело в воздухе. Зима была снежная, и все ждали сильного половодья. Река Ключевая, как все сибирские реки, вскрывалась сначала верхом. В горах было особенно много снега, и ключевские мельники со страхом ждали полой воды, которая рвала и разносила по веснам их плотины. Но никто так не ждал навигации, как Галактион. Он с половины марта уехал вместе с Харитиной в Тюмень, чтобы принять там пароход и уже на пароходе вернуться в свое Городище. Это был самый решительный момент в его жизни, и Галактион считал минуты.

В «коренной» России благодаря громадной сети железных дорог давно уже исчезла мертвая зависимость от времен года, а в Сибири эта зависимость сохранялась еще в полной силе. Весной это особенно чувствовалось, когда замирал сибирский тракт, а летнее движение сосредоточивалось на водных путях. Все грузы стягивались за зиму к речным пристаням и здесь ждали открытия навигации. Но последняя выражалась в самых примитивных формах, как дело велось еще при Ермаке, – на барках, дощаниках, плотках. По Оби и Иртышу пароходы делали рейсы раз в неделю. Результаты получались самые жалкие. Сидя в Тюмени, где сосредоточивалась вся навигационная деятельность, Галактион мог только удивляться

мертвой сибирской косности. Сибирские капиталы уходили гласным образом на винокуренные заводы, золотопромышленность и разное сибирское сырье, обменивавшееся на московские фабрикатy. Получалась самая жалкая картина, причем главною причиною являлось полное отсутствие правильных путей сообщения, о чем сибиряки заботились меньше всего.

В Тюмени Галактион встретил Ечкина, который хлопотал здесь по каким-то своим делам, – не было, кажется, в России города, где у Ечкина не было бы дел. Он разыскал Галактиона на пристани, где ремонтировался пароход.

– Отлично, отлично, – повторял он, опытным глазом осматривая пароход.

– Собственно говоря, ваша посудина ни к черту не годится, но важен почин... да. Я сам когда-то мечтал открыть пароходство по всем сибирским рекам, но разве у нас найдешь капиталы на разумное дело? Могу только позавидовать вашему успеху.

Галактион был рад Ечкину, как своему человеку. Притом Ечкин знал все на свете и дал сразу несколько полезных советов. Он осмотрел пароход во всех подробностях и только качал головой.

– Ах, уж эта мне сибирская работа! – возмущался он, разглядывая каждую щель. – Не умеют сделать заклепку как следует... Разве это машина? Она у вас будет хрипеть, как удавленник, стучать, ломаться... Тьфу! Посадка велика, ход тяжелый, на поворотах будет сваливать на один бок, против речной струи поползет черепахой, – одним словом, горе луковое.

– Я новый пароход строю, Борис Яковлич. Только раньше осени не успеет. Машину делают в Перми, а остальные части собирают на заводах.

– Главное, помните, что здесь должен быть особый тип парохода, принимая большую быстроту, чем на Волге и Каме. Корпус должен быть длинный и узкий... Понимаете, что он должен идти шукой... да. К сожалению, наши инженеры ничего не понимают и держатся старинки.

По вечерам Ечкин приходил на квартиру к Галактиону и без конца говорил о своих предприятиях. Харитина сначала к нему не выходила, а потом привыкла. Она за два месяца сильно изменилась, притихла и сделалась такою серьезной, что Ечкин проста ее не узнавал. Куда только делась прежняя дерзость.

– Да, теперь все будет зависеть от железной уральской дороги, когда ее проведут от Перми до Тюмени, – ораторствовал Ечкин. – Вся картина изменится сразу... Вот случай заодно провести ветвь на Заполье.

– Далеконько будет, – сообщал вслух Галактион.

– Э, все пустяки!.. Была бы охота. Я говорил запольским купцам, и слушать не хотят. А я все равно выхлопочу себе концессию на эту ветвь. Тогда посмотрим...

– А где деньги?

– Деньги найдутся. Главное – идея... Понимаете?

Галактиона заражала эта неугомонная энергия Ечкина, и он с удовольствием слушал его целые часы. Для него Ечкин являлся неразрешимой загадкой. Чем человек живет, а всегда весел, доволен и полон новых замыслов. Он сам рассказал историю со стеариновым заводом в Заполье.

– Представьте себе, что мои компаньоны распространяют про меня... Я и разорил их и погубил дело, а все заключается только в том, что они не выдержали характера и струсили раньше времени.

– Однако деньги-то за заложенную фабрику вы оставили себе?

– Что же, разве я их не возвращу? Опять недоразумение... И какие деньги, – каких-то несчастных сто тысяч... Меня это в конце концов начинает возмущать серьезно.

Когда Ечкин уходил, Харитина искренне удивлялась.

– Ах, как он врет, как врет!.. До того врет, что даже хочется верить. А потом... какой он бессовестный.

– До того бессовестный, что даже сердиться нельзя? – смеялся Галактион. – А вот я его люблю... В нем есть что-то такое.

Наступила уже вторая половина апреля, а реки все еще не прошли. Наступавшая ростепель была задержана холодным северным ветром. Галактиону казалось, что лед никогда не пройдет, и он с немым отчаянием глядел в окно на скованную реку.

Раз, когда он стоял так у окна, к нему подошла Харитина, обняла его молча и вся точно замерла. Он с удивлением посмотрел на нее.

– Ты забыл про меня, – тихо прошептала она.

Он понял все и рассмеялся. Она ревновала его к пароходу. Да, она хотела владеть им безраздельно, деспотически, без мысли о прошедшем и будущем. Она растворялась в одном дне и не хотела думать больше ни о чем. Иногда на нее находило дикое веселье, и Харитина дурачилась, как сумасшедшая. Иногда она молчала по нескольку дней, придиралась ко всем, капризничала и устраивала Галактиону самые невозможные сцены.

– Послушай, да ты... кто ты такая? – кричал на нее взбешенный Галактион. – Даже не жена.

– Хуже, чем жена... Мне часто хочется просто убить тебя. Мертвый-то будешь всегда мой, а живой еще неизвестно.

– Перестань городить глупости.

– А Бубниха?.. Ты думаешь, я ничего не знаю?.. Нет, все, все знаю!.. Впрочем, что же я тебе говорю, и какое мне дело до тебя?

Полосы тихости и покорности сменялись у Харитины, как всегда, самым буйным настроением, и Галактион в эти минуты старался уйти куда-нибудь из дому или не обращать на нее никакого внимания. Ревновала Харитина ко всем и ко всему: к жене, к Ечкину, к пароходу, к Бубнихе, к будущей первой поездке на пароходе прямо в Заполье. Этот первый рейс засел у нее клином в голове, как личное оскорбление. Ей тоже хотелось ехать туда, и вместе с тем она не решалась, чтобы не компрометировать своим присутствием нового паромоточика. Теперь ведь уж все знали, что она такое, и в Заполье глаз нельзя показать.

Река тронулась ночью, и Харитина проснулась первой. Она в одной ночной кофточке высунулась в форточку и долго всматривалась в весеннюю ночную муть, – слышалось шипенье, мягкий треск и такой звук, точно по сухой траве ползла какая-то громадная змея. Харитине сделалось страшно до слез, и она не разбудила Галактиона. Ей целую ночь казалось, что что-то ползет вот тут, сейчас за стеной, громадное и холодное. Харитина с головой зарылась в подушки и едва заснула только на заре, когда занялось сырое апрельское утро.

Пароход мог отправиться только в конце апреля. Кстати, Харитина назвала его «Первинкой» и любовалась этим именем, как ребенок, придумавший своей новой игрушке название. Отвал был назначен ранним утром, когда на пристанях собственно публики не было. Так хотел Галактион. Когда пароход уже отвалил и сделал поворот, чтобы идти вверх по реке, к пристани прискакал какой-то господин и отчаянно замахал руками. Это был Ечкин.

– Как вам не стыдно, Галактион Михеич, – пенял он, когда переехал на лодке к пароходу, – уехать и не сказать?

– Я думал, что вам сейчас не по пути ехать со мной в Заполье, – не без ядовитости заметил Галактион.

– А вот назло вам поеду, и вы должны мной гордиться, как своим первым пассажиром. Кроме того, у меня рука легкая... Хотите, я заплачу вам за проезд? – это будет началом кассы.

– Нет, зачем же?.. Говоря откровенно... я очень вам рад.

Надулась, к удивлению, Харитина и спряталась в каюте. Она живо представила себе самую обидную картину торжественного появления «Первинки» в Заполье, причем с Галактионом будет не она, а Ечкин. Это ее возмущало до слез, и она решила про себя, что сама поедет в Заполье, а там будь что будет: семь бед – один ответ. Но до поры до времени она сдержалась и ничего не сказала Галактиону. Он-то думает, что она останется в Городище, а она вдруг на «Первинке» вместе с ним приедет в Заполье. Ничего, пусть позлится.

Берега были пустынные и голы. По оврагам еще лежал снег. Игравшие речки несли мутную воду. Попадались время от времени льдины. Галактион почти не сходил с капитанского мостика и молча торжествовал. Он уже любил этот дрянной пароходишко, и подавленный гул работавшей машины, и реку, и пустынные берега, и ненужную суету не обтерпевшейся у нового дела пароходной прислуги. В Тюмени он кстати захватил первый груз, который застрял там из-за распутицы и пролежал бы долго, пока просохнут дороги. Это было доказательство его права на существование.

В Городище действительно разыгралась маленькая семейная сцена. Харитина не захотела даже выйти на берег и на все уговоры только отрицательно качала головой. Галактион махнул рукой.

– Делай, как знаешь, Харитина, но только я этого не желал.

– А что ты такое мне? Ни муж, ни любовник... Оставь!

Плавание по Ключевой было уже другого характера. Приходилось идти с большою осторожностью, чтобы не сесть на мель. Положим, вода была выше межени на целых четыре аршина, но все-таки могли быть разные неожиданности. Галактион нарочно отвалил ранним утром, чтобы быть в Заполье засветло. Да, все должны были видеть его торжество. Его огорчало только поведение Харитины, которая продолжала дуться и, чтобы досадить ему, оказывала Ечкину преувеличенные любезности. Галактион боялся, что она выкинет какую-нибудь штуку, когда они приедут в Заполье, и следил за ней. Ечкин понял его тревогу и старался успокоить свою даму. Он рассказывал ей самые смешные анекдоты, удивлялся красотам пустынных берегов Ключевой и даже дошел до того, что начал декламировать стихи. Это развеселило Харитину.

– Будет вам, Борис Яковлич. Вы-то из-за чего хлопчете? Ведь я и стихов не понимаю.

А пароход быстро подвигался вперед, оставляя за собой пенившийся широкий след. На берегу попадались мужички, которые долго провожали глазами удивительную машину. В одном месте из маленькой прибрежной деревушки выскочил весь народ, и мальчишки бежали по берегу, напрасно стараясь обогнать пароход. Чувствовалась уже близость города.

Не доезжая верст пяти, «Первинка» чуть не села на мель, речная галька уже шуршала по дну, но опасность благополучно миновала. Вдали виднелись трубы вальцовой мельницы и стеаринового завода, зеленая соборная колокольня и новое здание прогимназии. Галактион сам командовал на капитанском мостике и сильно волновался. Вон из-за мыса выглянуло и предместье. Город отделялся от реки болотом, так что приставать приходилось у пустого берега.

– Ведь вот выбрали место под город, – возмущался Ечкин, глядя на город в кулак. – Неудобнее трудно было придумать.

Несмотря на удаленность города, на берегу уже двигались черные точки, и Галактион рассмотрел несколько экипажей. Очевидно, Ечкин успел послать из Тюмени телеграмму.

У Галактиона сильно билось сердце, когда «Первинка» начала подходить к пристани, и он scomандовал: «Стоп, машина!» На пристани уже собралась кучка любопытных. Впереди других стоял Стабровский с Устенкой. Они первые вошли на пароход, и Устенка, заалевшись, подала Галактиону букет из живых цветов!

– Это должна была сделать Дидя, – объяснил Стабровский, целуя Галактиона, – но девочка больна.

Харитина видела эту сцену и, не здороваясь ни с кем, вышла на берег и уехала с Ечкиным. Ее душили слезы ревности. Было ясно как день, что Стабровский, когда умрет Серафима, женит Галактиона на этой Устенке.

Часть пятая

I

По пыльному проселку шел совершенно легендарный путник, один из тех, каких описывали с такою охотой наши русские романтики. И рваная шляпенка, и котомка за плечами, и длинная палка в руках, и длинная седая борода, и заветренное лицо, изборожденное глубокими морщинами, и какая-то подозрительная таинственность во всей фигуре и даже в каждой складке страннического рубища, – все эти признаки настоящего таинственного странника как-то не вязались с веселым выражением его лица. Очевидно, ему было весело, несмотря на страннический посох, котомку, морщины и седую бороду. Даже, вероятно, нашлись бы завистники, которым казалось бы это веселое настроение обидным. Ведь нынче всему завидуют. Этот таинственный странник был не кто иной, как возвращавшийся из ссылки «по милостивому манифесту» знаменитый в летописях Зауралья исправник Илья Фирсыч Полуянов.

Итак, странник шел, испытывая прилив самой преступной радости. Он возвращался на родину... Недавний изгнанник снова чувствовал себя человеком и в качестве такового замыслил целый ряд предприятий. О, они радовались тогда, когда его судили! Они отреклись от него, они смеялись и торжествовали, а вот он возьмет да и придет. Вот я, милостивые государи и государыни! Вам это не нравится, черт возьми? Да? Вы заживо похоронили Илью Фирсыча Полуянова, а он вот взял да и воскрес. Ха-ха... И он еще вам покажет и всех на свежую воду выведет, – он, Илья Фирсыч Полуянов!

Из «мест не столь отдаленных» Полуянов шел целый месяц, обносился, устал, изнемог и все-таки был счастлив. Дорогой ему приходилось питаться чуть не подаванием. Хорошо, что Сибирь – золотое дно, и «странного» человека везде накормят жалкие сибирские бабы. Впрочем, Полуянов не оставался без работы: писал по кабакам прошения, солдаткам письма и вообще представлял своею особой походную канцелярию.

– Будет день – будет хлеб, – повторял Полуянов, пряча заработанные гроши. – А на Руси с голоду не умирают.

Сидя где-нибудь в кабаке, Полуянов часто удивлялся: что было бы, если б эти мужланы узнали, кто он такой... д-да. Раз под пьяную руку он даже проболтался, но ему никто не поверил, – это уже было недалеко от Запольского уезда, где полуяновская слава еще жила. Кабацкие мужики хохотали в лицо Полуянову, настоящему Полуянову, который осмелился назвать себя своим собственным именем. Получалась настоящая трагикомедия, и настоящий Полуянов точно раскололся надвое: один Полуянов в прошлом, другой в настоящем, и ничего, ровно ничего, что связывало бы этих двух людей. От первого Полуянова ко второму не было никакого перехода, а так взял да точно оборвался в какую-то пропасть. Роскошный Полуянов превратился в скитальца и нищего, в «подозрительную личность» полицейских протоколов.

Но, несмотря на всю глубину падения, у Полуянова все-таки оставалось имя, известное имя, черт возьми. Конечно, в местах не столь отдаленных его не знали, но, когда он по пути завернул на винокурный завод Прохорова и К о, получилось совсем другое. Даже «пяточок», как называли Прохорова, расчувствовался:

– Илья Фирсыч, голубчик, да ты ли это?.. Ах, боже мой! Давай, сейчас же переоденься, а то муторно на тебя глядеть.

– Нет, этого не будет, – с гордостью заявил Полуянов. – Прежде у меня был один мундир, а теперь другой... Вот в таком виде и заявлюсь в Заполье... да. Пусть все смотрят и любуются. Еще вопрос, кому стыдно-то будет... Был роскошен, а теперь сир, наг и странен.

Прохоров подумал и согласился, что в этом «мундире», пожалуй, и лучше явиться в Заполье. Конечно, Полуянов был медвежья лапа и драл с живого и мертвого, но и другие-то хороши... Те же, нынешние, еще почище будут, только ни следу, ни дороги после них, – очень уж ловкий народ.

– Ведь отчего погиб? – удивлялся Полуянов, подавленный воспоминаниями своего роскошества. – А? От простого деревенского попа... И из-за чего?.. Уж ежели бы на то пошло

и я захотел бы рассказать всю матку-правду, да разве тут попом Макаром пахнет?

– Да, было дело, Илья Фирсыч... Светленько пожил, нечего сказать.

– Ничего, умел пожить... Пусть-ка другие-то попробуют. И во сне не увидят... да. Размаху не хватит.

– Куда же им, нынешним-то, Илья Фирсыч? Телята залижут.

– У меня, брат, было строго. Еду по уезду, как грозовая пуча идет. Трепет!.. страх!.. землетрясение!.. Приеду куда-нибудь, взгляну, да что тут говорить! Вот ты и миллионер, а не поймешь, что такое был исправник Полуянов. А попа Макара я все-таки в бараний рог согну.

Полуянов пил одну рюмку водки за другой с жадностью наголодавшегося человека и быстро захмелел. Воспоминания прошлого величия были так живы, что он совсем забыл о скромном настоящем и страшно рассердился, когда Прохоров заметил, что поп Макара, хотя и виноват кругом, но согнуть его в бараний рог все-таки трудно.

– Мне трудно? – орал пьяный Полуянов. – Ха-ха... Нет, я их всех в бараний рог согну!.. Они узнают, что за человек Илья Фирсыч Полуянов! Я... я... я... А впрочем, ежели серьезно разобрат, так и не стоит связываться. Наплевать.

– Вот это ты уж напрасно, Илья Фирсыч. Поп-то Макара сам по себе, а тогда тебя устиг адвокат Мышников. В нем вся причина. Вот ежели бы и его тоже устигнуть, – очень уж большую силу забрал. Можно сказать, весь город в одном суставе держит.

– Что же, можно и Мышникова подтянуть, – великодушно согласился Полуянов. – Даже в лучшем виде.

– Уж так бы это было хорошо, Илья Фирсыч! Другого такого змея и не найти, кажется. Он да еще Галактион Колобов – два сапога пара. Немцы там, жида да поляки – наплевать, – сегодня здесь насосались и отстали, а эти-то свои и никуда не уйдут. Всю округу корчат, как черти мокрою веревкой. Что дальше, то хуже. Вопль от них идет. Так и режут по живому мясу. Что у нас только делается, Илья Фирсыч! И что обидно: все по закону, – комар носу не подточит.

Полуянов говорил все время о прошлом, а Прохоров о настоящем. Оба слушали только себя, хотя под конец Прохоров и взял перевес. Очень уж мудреные вещи творились в Заполье.

– Ты теперь и не узнаешь города, – с сокрушением сообщил Прохоров. – От старинки-то как есть ничего не осталось. Да и люди совсем другие пошли. Разе где старички еще держатся. А главная причина – все себя богатыми показывают. Из банка так деньги и черпают. Ничего не разберешь: возьмет деньги в банке под вексель, выстроит на них дом и заложит его опять в банке же. И все так. Теперь вот мельники сильно начали захудать. Сперва действительно дело было выгодное, ну, все и накинулись, а теперь друг дружку поедом едят. Помнишь старика Колобова, – так он какую штуку уколел. Выстроил три мельницы, а как начал получать со всех трех убыток, – взял две новые заложил в банке да застраховал, а потом и поджег. Вот какую моду старичонко придумал. А сам Галактион еще почище родителя будет, хотя и по другой части пошел.

Речь о Галактионе заходила уже несколько раз, но Прохоров сейчас же заминался и сводил на другое. Из неловкого положения его вывел сам Полуянов.

– Знаю, знаю все... Харитина-то у него живет, у Галактиона.

– Разное болтают, Илья Фирсыч... Не всякое лыко в строку.

– Перестань зубы заговаривать... Знаю. Рано немножко обрадовалась Харитина Харитоновна. Я не позволю себя срамить... я... я...

На Полуянова напало бешенство. Он страшно ругался, стучал кулаками по столу, а потом неожиданно расплакался.

– В сущности я Харитину и не виню, – плаксиво повторял он, – да. Дело ее молодое, кругом соблазн. Нет, не виню, хотя по-настоящему и следовало бы ее зарезать. Вот до попа Макара я доберусь.

Много новостей узнал Полуянов с первого же раза: о разорении Харитона Артемьича, о ссудной кассе писаря Замараева, о плохих делах старика Луковникова, о новых людях в Заполье, а главное – о банке. В конце концов все сводилось к банку. Какую силу забрал

Мышников – страшно выговорить. Всем городом так и поворачивает. В думе никто пикнуть против него не смеет. Про Стабровского и говорить нечего. Прохоров только вздыхал и чесал в затылке при одном имени Стабровского. Кстати, он рассказал всю историю отчаянной кабацкой войны.

– Теперь плачу дань ему, – признался он. – Что ни год, то семьдесят тысяч выкладывай. Не пито, не едено – дерут... да. Как тебя тогда, Илья Фирсыч, засудили, так все точно вверх ногами перевернулось.

– Ага, вспомнили Полуянова?

– Еще как вспомнили-то. Прежде-то как все у нас было просто. И начальство было простое. Не в укор будь тебе сказано: брал ты, и много брал, а только за дело. А теперь не знаешь, как и подступиться к исправнику: водки не пьет, взятки не берет, в карты не играет. Обморок какой-то.

Полуянов прожил на винокуренном заводе два дня, передохнул и отправился дальше пешком, как пришел.

– Будет, поездил, – говорил он, прощаясь с Прохоровым. – Нахожу, что пехтура весьма полезна для здоровья.

– Конечно, – соглашался Прохоров. – Уж ежели для здоровья, так на что лучше.

Отойдя с версту, Полуянов оглянулся на завод, плюнул и проговорил всего одно слово:

– Подлец!

Он даже погрозил кулаком всему винокуренному заводу.

Философское настроение оставило Полуянова только в момент, когда он перешел границу «своего» уезда. Даже сердце дрогнуло у отставного исправника при виде знакомых мест, где он царил в течение пятнадцати лет. Да, все это были его владения. Он не мог освободиться от привычного чувства собственности и смотрел кругом глазами хозяина, вернувшегося домой из далекого путешествия. Свой уезд он знал, как свои пять пальцев, и видел все перемены, какие произошли за время его отсутствия. Прежде всего его поразило полное отсутствие запасных скирд, когда-то окружавших деревни. Куда девалось это мужицкое богатство?

В одной деревне Полуянов напустился на мужиков, собравшихся около кабака.

– Где у вас хлеб-то, а?.. Прежде-то с запасом жили, а теперь хоть метлой подмети.

– Да уж оно, видно, так вышло.

– Недород, что ли, был?

– Нет, пока господь миловал от недороду, а так воопче.

– Что «воопче»-то? На винокуренный завод свезли хлеб, каналы, а потом будете ждать недорода? Деньги на вине пропили, да на чаях, да на ситцах?

– А тебе какое дело? Чего ты ругаешься-то, оголтелый?

– А вот такое и дело. Чего старики-то смотрят?

Полуянов принялся так неистово ругаться, что разозлившиеся мужики чуть его не поколотили.

Чем дальше подвигался Полуянов, тем больше находил недостатков и прорух в крестьянском хозяйстве. И земля вспахана кое-как, и посева плохи, и земля пустует, и скотина затошала. Особенно печальную картину представляли истощенные поля, требовавшие удобрения и не получавшие его, – в этом благодатном краю и знать ничего не хотели о каком-нибудь удобрении. До сих пор спасал аршинный сибирский чернозем. Но ведь всему бывает конец.

– Ах, мерзавцы! – ругался Полуянов, палкой измеряя толщину пропаханного слоя чернозема. – На двух вершках пашут. Что же это такое? Это мазать, а не пахать.

Попадались совсем выродившиеся поля с чахлыми, золотушными всходами, – хлеб точно был подбит молью. Полуянов, наконец, пришел в полное отчаяние и крикнул:

– Голод будет! Настоящий голод!

Он стоял посреди поля один и походил на сумасшедшего. Ему хотелось кого-то обругать, подтянуть, согнуть в бараний рог и вообще «показать».

II

Появление Полуянова произвело в Заполье известную сенсацию. Он нарочно пришел среди бела дня и медленно шагал по Московской улице, останавливаясь перед новыми домами. Такая остановка была сделана, между прочим, перед зданием Зауральского коммерческого банка.

– Эй, ваше превосходительство, здравствуй, – крикнул Полуянов появившемуся в дверях подъезда швейцару Вахрушке. – У вас здесь деньги дают?

– Дают.

– Богатым дают, а бедные пусть сами добывают?

– Около того, господин.

– А как это, по-твоему, называется?

– Даже очень просто: ходите почаще мимо.

– Ах вы, прохвосты!.. Постой-ка, мне как будто твое рыло знакомо. Про Илью Фирсыча Полуянова слышал?

Вахрушка посмотрел на странника и оторопел. Он узнал бывшую грозу и малодушно бежал в свою швейцарскую.

– Ага, не понравилось? – торжествовал Полуянов. – Погодите, вот я доберусь до вас!.. Я вам покажу!

Дальше следовал целый ряд открытий. Женская прогимназия, классическая мужская прогимназия, только что выстроенное здание запольской уездной земской управы, целый ряд новых магазинов с сажеными зеркальными окнами и т. д. Полуянов везде останавливался, что-то бормотал и размахивал своею палкой. Окончательно он взбесился, когда увидел вывеску ссудной кассы Замараева.

– Замараев? Фамилия знакомая. Тэ-тэ-тэ!.. Это уж не суслонский ли писарь воссиял? Да, ведь Прохоров рассказывал.

Полуянов отправился в кассу и сразу узнал Замараева, который с важностью читал за своею конторкой свежий номер местной газеты. Он равнодушно посмотрел через газету на странника и грубо спросил:

– Что тебе нужно?

– А ты посмотри на меня хорошенько.

– Много тут вас таких-то, шляющих!

– А ежели я палку свою пришел закладывать? Дорогого стоит палочка. Может, и кожу прикажете с себя снять?

– Ступай, ступай, откуда пришел.

Замараев сделал величественный жест и указал глазами на странника «услужающему». К Полуянову подскочил какой-то взъерошенный субъект и хотел ухватить его за локти сзади.

– Как ты смеешь, рракалия? – грянул Полуянов.

Газета у Замараева вывалилась из рук сама собой, точно дунуло вихрем. Знакомый голос сразу привел его в сознание. Он выскочил из-за своей конторки и бросился отнимать странника из рук служащего.

– Илья Фирсыч, голубчик... ах, боже мой!..

– Ага, узнал?.. То-то!

Замараев потащил дорогого гостя вверх, в свои горницы, и растерянно бормотал:

– Не прикажете ли водочки, Илья Фирсыч? Закусочку соорудим. А то чайку можно сообразить. Ах, боже мой! Вот, можно сказать: сурприз. Отец родной... благодетель!

Угощая дорогого гостя, Замараев даже прослезился.

– Господи, что прежде-то было, Илья Фирсыч? – повторял он, качая головой. – Разве это самое кто-нибудь может понять?.. Таких-то и людей больше не осталось. Нынче какой народ пошел: троюродное наплевать – вот и вся музыка. Настоящего-то и нет. Страху никакого, а каждый норовит только себя выше протчих народов оказать. Даже невероятно смотреть.

– Что же, всякому овощу свое время. Прежде-то и мы бывали нужны, а теперь на вашей улице праздник. Ваш воз, ваша и песенка.

– У волка одна песенка, Илья Фирсыч.

От Замараева Полуянов услышал только повторение того, что уже знал от Прохорова, с небольшими дополнениями и поправками.

– Так, так, – повторял он, качая в такт рассказа головой. – Все по-новому у вас... да. Только ведь палка о двух концах и по закону бывает... дда-а.

– Ох, забыли и про палку и про протчее, Илья Фирсыч!

Выпив две рюмки водки, Полуянов таинственно спросил:

– Ну, а как поживает суслонский поп Макар?

– Ничего, слава богу.

– Что-о? – грянул Полуянов, вскакивая. – Слава богу? Да я... я...

– Ох, обмолвился! Простите на глупом слове, Илья Фирсыч. Еще деревенская-то наша глупость осталась. Не сообразил я. Я сам, признаться сказать, терпеть ненавижу этого самого попа Макара. Самый вредный человек.

– То-то!

– Недавно приезжал он деньги вкладывать, а я не принял. Ей-богу, не принял... Одним словом, вредный поп.

От Замараева Полуянов отправился прямо в малыгинский дом, и здесь его удивление достигло последних границ. На доме висела вывеска: «Редакция и контора ежедневной газеты Запольский курьер».

– Что-о-о? – зарычал Полуянов, не веря собственным глазам. – Газета? в моем участке? Да кто это смел, а? Газета? Ха-ха!

На этот крик в окне показалась голова Харитона Артемьича. Он, очевидно, не узнал зятя и смотрел на него с удивлением, как на сумасшедшего.

– Газета?.. Это ты придумал газету? – крикнул ему Полуянов, размахивая палкой.

– А тебе какое дело, рвань коричневая?

– Мне?.. В моем участке газеты разводить? Да вы тут все сбесились без меня?

– А ты вот покричи, так я тебе и шею накостыляю, – спокойно ответил Харитон Артемьич и для большей убедительности засучил рукава ситцевой рубашки. – Ну-ка, иди сюды. Распатроню в лучшем виде.

– Да ты с кем говоришь-то, седая борода? – орал Полуянов.

– Нет, ты с кем говоришь? – орал Харитон Артемьич, входя в азарт.

– Газетчик проклятый!.. Прохвост!

Это было уже слишком. Харитон Артемьич ринулся во двор, а со двора на улицу, на ходу подбирая полы развевавшегося халата. Ему ужасно хотелось вздуть ругавшегося бродягу. На крик в окнах нижнего этажа показали улыбающиеся лица наборщиков, а из верхнего смотрели доктор Кочетов, Устенка и сам «греческий язык».

– Здравствуй, тещюшка, – проговорил Полуянов, протягивая руку. – Попа и в рогоже узнают, а ты родного зятя не узнал...

– Тьфу!.. Да ты откудова взялся-то?

– Где был, там ничего не осталось.

Старики расцеловались тут же на улице, и дальше все пошло уже честь честью. Гость был проведен в комнату Харитона Артемьича, стряпка Аграфена бросилась ставить самовар, поднялась радостная суета, как при покойной Анфусе Гавриловне.

– Ох, горюшко наше объявилось! – причитала Аграфена, раздувая самовар.

– Вот чему не потеряться-то! Кабы голубушка Анфуса-то Гавриловна была жива!

Все мысли и чувства Аграфены сосредоточивались теперь в прошлом, на том блаженном времени, когда была жива «сама» и дом стоял полною чашей. Не стало «самой» – и все пошло прахом. Вон какой зять-то выворотился с поселения. А все-таки зять, из своего роду-племени тоже не выкинешь. Аграфена являлась живою летописью малыгинской семьи и свято блюла все, что до нее касалось. Появление Полуянова с особенною яркостью подняло все воспоминания, и Аграфена успела, ставя самовар, всплакнуть раз пять.

Весь дом волновался. Наборщики в типографии, служащие в конторе и библиотеке, – все только и говорили о Полуянове. Зачем он пришел оборванцем в Заполье? Что он замышляет? Как к нему отнесутся бывшие закадычные приятели? Что будет делать Харитина Харитоновна? Одним словом, целый ряд самых жгучих вопросов.

А Полуянов сидел в комнате Харитона Артемьича и как ни в чем не бывало пил чай стакан за стаканом.

– Ну, брат, удивил! – говорил Харитон Артемьич, хлопая его по плечу. – Придумать, так не придумать такого патрета... да-а!.. И угораздило тебя, Илья Фирсыч!

– Чему же ты удивляешься? Сам не лучше меня.

– Ох, не лучше! И не говори, зятюшка. Ах, что со мной сделали зятя!.. Разорвать их всех мало!

– А вот погодите, тятенька, мы их всех подтянем.

– Подтянем?

– Еще как!

– Ты законы-то не забыл, Илья Фирсыч?.. Без тебя-то много новых законов объявилось... земство... библиотека... газета...

– Ну, закон-то один, а это так... Одним словом, подтянем.

– Мне бы, главное, зятьев всех в бараний рог согнуть, а в первую голову проклятого писаря. Он меня подвел с духовной... и ведь как подвел, пес! Вот так же, как ты, все наговаривал: «тятенька... тятенька»... Вот тебе и тятенька!.. И как они меня ловко на обе ноги обули!.. Чисто обделали – все равно, как яичко облупили.

– Ничего, мы доберемся... Скажем, что духовная была подложная.

– Н-но-о?

– Только и всего.

– А в Сибирь нельзя сослать всех зятьев зараз?

– Ну, Сибирь, это другое. Подтянуть можно, а относительно Сибири совсем другой разговор.

Эта беседа с Полуяновым сразу подняла всю энергию Харитона Артемьича. Он бегал по комнате, размахивал руками и дико хохотал. Несколько раз Полуянову приходилось защищаться от его объятий.

– Подтянем, Илья Фирсыч? Ха-ха! Отцом родным будешь. Озолочу... Истинно господь прислал тебя ко мне. Ведь вконец я захудал. Зятя-то на мои денежки живут да радуются, а я в забвенном виде. Они радуются, а мы их по шапке... Ха-ха!.. Есть и на зятьев закон?

– Для всего есть свой закон.

– Отец!.. В ножки поклонюсь!.. А жиды Ечкина тоже подтянем? и Шахму?

– Этих-то уж совсем просто, Харитон Артемьич. Все дело как на ладони.

– Главное, чтобы все по закону... Катай их законом... И жиды, и писаря, и немца Полуштофа, и Галактиона – всех валяй!.. Ты живи у меня, – ну, вместе и будем орудовать.

– Конечно, вместе. Я-то проклятого попа буду добывать... В порошок его изотру!

Старики заперлись в своей комнате и проговорили долго за полночь. В типографии было слышно, как хохотал Харитон Артемьич, и стряпка Аграфена со страхом крестилась.

– Никак рехнулся наш Харитон Артемьич от радости... Ох, владычица скорбящая, помилуй нас!

Все жаждали еще раз посмотреть на Полуянова, но он так и не появился.

На другой день Полуянов проснулся очень рано и отправился к заутрене. Харитон Артемьич едва дождался его, сидя за самоваром.

– Уж я думал, что ты совсем ушел, Илья Фирсыч... Даже испугался.

– Не беспокойся, никуда не уйду... Помолиться богу сходил, с попом поговорил, потом старика Нагибина встретил.

– Кошей проклятый!

– Потом, иду это по улице, как шарахнется мимо рысак... Чуть-чуть не задавил. Смотрю, Мышников катит.

– Вот, вот... Он у нас раздулся, как клещ в собачьем ухе. Всех зорит.

– Потом встретил Луковникова с дочерью. Старик-то что-то на одну ногу припадает... А дочь совсем большая.

– Тоже плох и Тарас Семеныч. Того гляди, и совсем скапнутится. Завяз он с своею вальцовою мельницей.

Харитон Артемьич страшно боялся, чтобы Полуянов не передумал за ночь, – мало ли что говорится под пьяную руку. Но Полуянов понял его тайную мысль и успокоил одним словом:

– Подтянем!

III

Устенка Луковникова жила сейчас у отца. Она простилась с гостеприимным домом Стабровских еще в прошлом году. Ей очень тяжело было расставаться с этой семьей, но отец быстро старился и скучал без нее. Сцена прощания вышла самая трогательная, а мисс Дудль убежала к себе в комнату, заперлась на ключ и ни за что не хотела выйти.

– Мы все так сжились с тобой, – говорил Стабровский, обнимая Устенку.

– Я по крайней мере смотрю на тебя и думаю о тебе, как о родной дочери. Даже как-то странно представить, что вдруг тебя не будет у нас.

– Ведь я попрежнему буду бывать у вас каждый день, Болеслав Брониславич, – точно оправдывалась Устенка. – И потом я столько обязана всем вам... Сейчас, право, даже не сумею всего высказать.

Они просидели целый вечер в кабинете Стабровского. Старик сильно волновался и несколько раз отворачивался к окну, чтобы скрыть слезы.

– Вот уж вы совсем большие, взрослые девушки, – говорил он с грустной нотой в голосе. – Я часто думаю о вас, и мне делается страшно.

– Чего же бояться, папа? – удивлялась Дидя. – Под старость ты делаешься сентиментальным.

– Чего я боюсь? Всего боюсь, детки... Трудно прожить жизнь, особенно русской женщине. Вот я и думаю о вас... что вас будет интересовать в жизни, с какими людьми вы встретитесь... Сейчас мы еще не пойдем друг друга.

Стабровский действительно любил Устенку по-отцовски и сейчас невольно сравнивал ее с Дидей, сухой, выдержанной и насмешливой. У Диди не было сердца, как уверяла мисс Дудль, и Стабровский раньше смеялся над этой институтской фразой, а теперь невольно должен был с ней согласиться. Взять хоть настоящий случай. Устенка прожила у них в доме почти восемь лет, сроднилась со всеми, и на прощанье у Диди не нашлось ничего ей сказать, кроме насмешки.

– Папа, будем смотреть на вещи прямо, – объясняла она отцу при Устенке. – Я даже завидую Устенке... Будет она жить пока у отца, потом придет с ярмарки купец и возьмет ее замуж. Одна свадьба чего стоит: все будут веселиться, пить, а молодых заставят целоваться.

Устенка густо покраснела и ничего не ответила, а Стабровский вспылал, – это был, кажется, еще первый случай, что он рассердился на свою Дидю.

– Да, она идет к своим, – заговорил он, делая широкий жест. – Это законное стремление. Птенчик оперился, вырос и прибивается к своей стае... А вот ты этого не понимаешь, Дидя, что есть свои и что есть мертвая тяга к общему делу. О, как я это ценю!.. Мы во многом не согласимся с Устенкой, за многое она отнесется ко мне критически, может быть, даже строго осудит, но я понимаю ее теперешнее настроение, хорошее, светлое, доброе... Устенка, я понимаю больше, чем ты думаешь, хотя многого и не могу сейчас высказать. Иди, славяночка, к своим и ничего не бойся... Великая будущность перед русскою женщиной и великая, счастливая работа. Дай я тебя благословлю.

Диде сделалось стыдно за последовавшую после этого разговора сцену. Она не вышла из кабинета только из страха, чтоб окончательно не рассердить расчувствовавшегося старика. Стабровский положил свою руку на голову Устенки и заговорил сдавленным голосом:

– Славяночка, ты уходишь из этого дома навсегда... Впечатления детства остаются в памяти на всю жизнь, и ты запомни, что отсюда ты вынесла. Здесь тебе говорили: нет ни немцев, ни жидов, ни славян, а есть просто люди, люди хорошие и дурные... Счастье заключается в труде на пользу других. Пока мы можем быть, в лучшем случае, справедливыми и хорошими только у себя в семье, но нельзя любить свою семью, если не любишь других. Мы, старики, прошли тяжелую школу, с нами были несправедливы, и мы были несправедливы, и это нас мучило, делало несчастными и отравляло даже то маленькое счастье, на какое имеет право каждая козявка. Иди, славяночка, к своим, там уже есть много хороших людей. Добрым и честным принадлежит мир. Есть богатые и бедные люди, красивые и некрасивые, старые и молодые, образованные и необразованные, но одно великое равняет всех, это – совесть. Без совести нельзя жить, как без солнечного света... Ведь и любовь тоже совесть, высшая совесть, когда человек делается и лучше, и чище, и справедливее.

«Господи, отец, кажется, сошел с ума! – с ужасом думала Дидя, стараясь смотреть в угол. – Говорит, точно ксендз... Расчувствовался старикашка».

Да, Устенка много хорошего вынесла из этого дома и навсегда сохранила о Стабровском самую хорошую память, хотя представление об этом умном и добром человеке постоянно в ней двоилось.

Вернувшись к отцу, Устенка в течение целого полугодия никак не могла привыкнуть к мысли, что она дома. Ей даже казалось, что она больше любит Стабровского, чем родного отца, потому что с первым у нее больше общих интересов, мыслей и стремлений. Старая нянька Матрена страшно обрадовалась, когда Устенка вернулась домой, но сейчас же заметила, что девушка вконец обасурманилась и тоскует о своих поляках.

– Испортили они тебя, Устинья Тарасовна, – повторяла старуха при каждом удобном случае. – Погляжу я на тебя, как тебе скушно дома-то.

Замечал это и сам Тарас Семеныч, хотя и не высказывался прямо. Ничего, помаленьку привыкнет... Самое главное, что больше всего тяготило Устенку, это сознание собственной ненужности у себя дома. Она чувствовала себя какою-то гостьей.

– Это скучно, папа, сидеть без дела, – объясняла она отцу.

– Что же я-то могу придумать? Ежели в учительницы идти, так будешь хлеб отбивать у других бедных девушек... Это нехорошо. Уроки давать – то же самое. Поживи, отдохни.

– Ах, какой ты, папа! От чего отдыхать? Это, наконец, смешно!

– Читай книжки.

Устенка много читала, но это еще не было настоящим делом. Впрочем, ее скоро выручили полученные в доме Стабровского знания. Раз она пришла в библиотеку, и доктор Кочетов сразу предложил ей занятия при газете.

– Мы все тут очень слабы по части языков, а ведь вы знаете... Одним словом, вы нам поможете, Устенка. Кажется, вы даже по-английски переводите?

– Я училась, но, право, не знаю, справлюсь ли. Вам что нужно переводить?

– Ах, да!.. Главного-то я и не сказал: нам нужна переводчица для газеты. Понимаете, это известный даже шик – пользоваться материалами из первоисточника, а не из третьих рук.

Благодаря своему знанию языков Устенка попала прямо в центр провинциального оппозиционного издания. С составом редакции благодаря доктору Кочетову она была знакома еще раньше, а теперь сделалась невольною участницей уже самого дела. Это и были те свои, о которых говорил ей на прощанье Стабровский. Да, это действительно были свои, – те свои, которым она принадлежала по инстинкту. Работа в редакции «Запольского курьера» для Устенки была своего рода воскресением. Сюда стекались «протестующие элементы» с громадной территории, и, как ни была стеснена деятельность маленького провинциального издания, она все-таки сказывалась в общем строе. Конечно, ничего систематического здесь не могло быть, и все дело сводилось на то, чтобы с большею или меньшею ловкостью «воспользоваться моментом», как говорил Харченко. Хитрый хохлик сосредоточил все свои боевые силы на преследовании банковских воротил, а главным образом, конечно, Мышников. Его уже раз пять судили в окружном суде за диффамацию и клевету, и он с торжеством выходил сух из воды.

– А мы опять воспользуемся моментом, – говорил он, возвращаясь из суда в редакцию. – Подождите, господа, смеется последний, а мы еще посмотрим.

В редакции по вечерам собирались разные «протестанты» и обсуждали нараставшие злобы дня. Собственно редакцию составляли Харченко и Кочетов, а остальные только помогали. Здесь Устенка прошла целый курс знаний, которых нельзя получить было нигде больше. Она отлично познакомилась с вопросами городского хозяйства, с задачами земского самоуправления, с экономической картиной целого края, а главное – с тем разрушающим влиянием, которое вносили с собой банковские дельцы, и в том числе старик Стабровский. Ей часто делалось больно, когда упоминалось это дорогое для нее имя с очень злыми комментариями, – и больно и досадно, а нельзя было не согласиться. Получалась самая мучительная раздвоенность.

– Ну, что у вас нового? – спрашивал Тарас Семеныч, когда Устенка возвращалась домой с кипой газет. – Все за мухой с обухом гоняетесь?

Втайне старик очень сочувствовал этой местной газете, хотя открыто этого и не высказывал. Для такой политики было достаточно причин. За дочь Тарас Семеныч искренне радовался, потому что она, наконец, нашла себе занятие и больше не скучала. Теперь и он мог с ней поговорить о разных делах.

– Ты у меня теперь в том роде, как секретарь, – шутил старик, любуясь умною дочерью. – Право... Другие-то бабы ведь ровнешенько ничего не понимают, а тебе до всего дело. Еще вот погоди, с Харченкой на подсудимую скамью попадешь.

– Если б это было нужно, папа, то отчего же не пойти за правое дело?

– Оно, конечно, так, а мы вот все боимся правды-то.

Приглядываясь к новым людям, Устенка долго не могла разобраться в своих впечатлениях и многого не могла понять. Жизнь давала себя знать, разбивая на каждом шагу молодые иллюзии и счастливые верования. По временам Устенке делалось просто страшно. Боже мой, кругом столько самого бессмысленного и обидного зла! Большинство точно сознательно старалось делать зло даже самим себе. Тут даже не спасало образование. Живым примером являлся доктор Кочетов, который все чаще и чаще приходил в редакцию в ненормальном виде. Первое время он стеснялся Устенки, а потом махнул рукой.

– Доктор, неужели вы не можете удержаться? – спрашивала его Устенка.

– Ведь есть же сила воли.

– Вам жаль меня?

– Да.

– Не стоит!.. Я сам сначала тоже жалел себя, а потом... Одним словом, не стоит говорить.

Устенке делалось жутко, когда она чувствовала на себе пристальный взгляд доктора. В этих воспаленных глазах было что-то страшное. Девушка в такие минуты старалась его

избегать.

– Барышня, а вы не находите меня сумасшедшим? – спросил ее раз доктор с больною улыбкой. – Будемте откровенны... Я самое худшее уже пережил и смотрю на себя, как на пациента.

– Не знаю, доктор... Вы просто нездоровы.

– Да, да... Нездоров. Ах, если бы вы только видели, какие ужасные ночи я провожу! Засыпаю я только часов в шесть утра и все хожу... Вдруг делается страшно-страшно, до слез страшно... Хочется куда-то убежать, спрятаться.

В маленьких провинциальных городках тайны не могут существовать. Устенка, несмотря на свое девичье положение, знала многое, чего знать девице и не полагалось. Источником этих закулисных сведений являлась главным образом старая нянька Матрена. Семейное положение доктора Кочетова давно сделалось притчей во языцех. Все знали, как он женился и как Прасковья Ивановна забрала его под башмак. Последнею новостью в докторской биографии было то, что адвокат Мышников сильно ухаживал за Прасковьей Ивановной и ежедневно бывал в бубновском доме.

– Раньше-то сама Прасковья Ивановна припадала к нему, – объяснила Матрена с старческой наивностью. – Даже совсем без стыда гонялась... А нынче уж, видно, Мышников погнался за ней. Змей лютей, одним словом... Ох, грехи!

– Няня, не смейте мне ничего говорить о докторе.

– Да ведь весь город говорит. Только в колокола не звонят.

Разгадка мрачного настроения доктора была налицо.

IV

Доктор Кочетов переживал ужасное время. Он дошел до того состояния, когда люди стараются не думать о себе. В нем точно жили несколько человек: один, который существовал для других, когда доктор выходил из дому, другой, когда он бывал в редакции «Запольского курьера», третий, когда он возвращался домой, четвертый, когда он оставался один, пятый, когда наступала ночь, – этот пятый просто мучил его. Мысль о сумасшествии появлялась у доктора уже раньше; он начинал следить за каждою своею мыслью, за каждым словом, за каждым движением, но потом все проходило. Эти припадки мнительности начали повторяться все чаще и принимали все более мучительную форму. Успокоение давала только мадера. В бубновском доме царил какой-то дух мадеры. Доктор пил потихоньку, как это делал покойный Бубнов и как сейчас это делала Прасковья Ивановна.

Окончательным поворотным пунктом в психологии доктора послужило открытие, что Прасковья Ивановна устроилась по-новому. Сначала доктор получил анонимное письмо, раскрывавшее ему глаза на отношения жены к Мышникову, получил и не поверил, приписав его проявлению тайной злобы. Потом получено было второе письмо, третье, четвертое, – тайный враг не дремал и заботился о нем, как самый лучший друг. Невольно доктор начал следить за женой и убедился в том, что тайный корреспондент был прав. Он знал, когда жена уходила на свидание, знал, когда она ждала Мышникова, знал, когда она рассчитывала, что он уйдет из дому, – знал и скрывался. Теперь роли переменялись, раньше Прасковья Ивановна ухаживала за Мышниковым, а сейчас наоборот. Дело дошло до того, что всесильный Мышников даже ухаживал за ним. Доктору делалось стыдно за любовников, за себя, за тот позор, который густым облаком покрывал всех. Ведь и сам он не лучше других.

Больше всего пугало доктора то, что его ничто не интересовало. Не все ли равно? Сегодня жена обманывает его, завтра будет он ее обманывать, – только небольшая перемена ролей. Он давно перестал бывать у Стабровских, раззнакомился почти со всеми и никого не желал видеть. Для чего? Оставалась, правда, газета, и тут дело сводилось на простую инерцию и на отдел привычных движений. Сначала доктор стеснялся приходить в редакцию в ненормальном виде, а потом и это чувство простого физического приличия исчезло. Не все ли равно? Он приходил теперь в редакцию с красными глазами, опухшим лицом и запойным туманом в голове. Что же, пусть все видят, удивляются, презирают, жалеют. В глубине души доктор все-таки не считал себя безнадежным алкоголиком, а пил так, пока, чтобы на время забыться. Иногда у него являлась спасительная мысль бежать из проклятого Заполья куда глаза глядят, но ведь это последнее средство было всегда в его распоряжении. Его все-таки

что-то удерживало, какое-то смутное чувство собственного угла, какого-то неисполненного дела. Что-то такое еще оставалось впереди, неопределенное и смутное.

Одной ночи доктор не мог вспомнить без ужаса. Он выпил вечером целых две бутылки мадеры. Долго ходил он по кабинету, думал вслух, ложился на диван и снова вставал, чтобы шагнуть по кабинету. Он знал, что не уснет до самого утра. Вдруг, лежа на диване, он почувствовал, как в нем стынет вся кровь и сердце перестает биться. Его охватила ужасная мысль, вернее – ощущение, точно он раздваивался и переставал уже быть самим собой. Да, он это чувствовал всем своим телом, опухшими от пьяной водянки ногами, раздутой печенью. Он больше не был он, доктор Кочетов, а тот, другой, Бубнов, который вот так же лежал на диване, опухший от пьянства и боявшийся каждого шороха. Доктор боялся пошевелиться, открыть глаза, точно его что придавило. Да, он превратился в Бубнова.

Галлюцинация продолжалась до самого утра, пока в кабинет не вошла горничная. Целый день потом доктор просидел у себя и все время трепетал: вот-вот войдет Прасковья Ивановна. Теперь ему начинало казаться, что в нем уже два Бубнова: один мертвый, а другой умирающий, пьяный, гнилой до корня волос. Он забылся, только приняв усиленную дозу хлоралгидрата. Проснувшись ночью, он услышал, как кто-то хриплым шепотом спросил его:

– Ты здесь?

Это был бубновский голос, и доктор в ужасе спрятал голову под подушку, которая казалась ему Бубновым, мягким, холодным, бесформенным. Вся комната была наполнена этим Бубновым, и он даже принужден был им дышать.

Целых три дня продолжались эти галлюцинации, и доктор освобождался от них, только уходя из дому. Но роковая мысль и тут не оставляла его. Сидя в редакции «Запольского курьера», доктор чувствовал, что он стоит сейчас за дверью и что маленькие частицы его постепенно насыщают воздух. Конечно, другие этого не замечали, потому что были лишены внутреннего зрения и потому что не были Бубновыми. Холодный ужас охватывал доктора, он весь трясся, бледнел и делался страшным.

– Вам дурно, доктор? – спрашивала Устенка, сидевшая за своим столиком с корректурами. – Я принесу воды.

– Ради бога, не двигайтесь, – умолял доктор шепотом.

Ему казалось, что стоило Устенке подняться, как все мириады частиц Бубнова бросятся на него и он растворится в них, как крупинка соли, брошенная в стакан воды. Эта сцена закончилась глубоким обмороком. Очнувшись, доктор ничего не помнил. И это мучило его еще больше. Он тер себе лоб, умоляюще смотрел на ухаживавшую за ним Устенку и мучился, как приговоренный к смерти.

Память вернулась только ночью, когда доктор лежал у себя в кабинете и мучился бессонницей.

Так продолжалось изо дня в день, и доктор никому не мог открыть своей тайны, потому что это равнялось смерти. Муки достигали высшей степени, когда он слышал приближавшиеся шаги Прасковьи Ивановны. О, он так же притворялся спящим, как это делал Бубнов, так же затаивал от страха дыхание и немного успокаивался только тогда, когда шаги удалялись и он подкрадывался к заветному шкафику с мадерой и глотал новую дозу отравы с жадностью отчаянного пьяницы.

Когда пришел навестить его старик Кацман, произошла совсем дикая сцена.

– Ну, что, collega, как вы себя чувствуете? – спрашивал Кацман, нюхая пропитанный мадерой воздух.

– Ничего, отлично.

– А дайте-ка ваш пульс.

Эта фраза привела Кочетова в бешенство. Кто смеет трогать его за руку? Он страшно кричал, топал ногами и грозил убить проклятого жида. Старик доктор покачал головой и вышел из комнаты.

Однажды ночью, когда Кочетов шагнул по своему кабинету, прибежала какая-то запыхавшаяся женщина и Христом богом молила его ехать к больной.

– Ох, у смерти конец, родненький, – причитала она. – Зашлась наша-то барыня... Лежит, глазки закатила... Ох, смертынька!

– Да какая барыня, говори толком?

– А Серафима Харитоновна!

– Какая Серафима Харитоновна?

– Ах ты, господи!.. Ну, которая за Колобовым, за Галактионом Михеичем. Еще пароходы у него.

Доктор давно не практиковал, но тут, по какой-то инерции, согласился и поехал.

В маленьком домике Колобова, где жила Серафима с детьми, шел страшный переполох. Доктора встретила в передней Харитина, бледная, но спокойная.

– Простите, что мы потревожили вас, Анатолий Петрович. С сестрой плохо, а Кацман сам болен.

Проходя мимо двери в столовую, Кочетов увидел Галактиона, который сидел у стола, схватившись за голову.

Больная лежала в спальне на своей кровати, со стиснутыми зубами и закатившимися глазами. Около нее стояла девочка-подросток и с умоляющим отчаянием посмотрела на доктора.

– Мама умерла... – прошептала она, точно боялась кого разбудить.

Доктор приложил ухо к груди больной. Сердце еще билось, но очень слабо, точно его сжимала какая-то рука. Это была полная картина алкоголизма. Жертва запольской мадеры умирала.

Пущены были в ход холодные компрессы, лед, нашатырный спирт и обтиранья, пока больная не вздохнула и не открыла глаз.

– Принесите сюда мадеры, – шепнул доктор Харитине.

Через минуту в спальню вошел с только что откупоренною бутылкой вина Галактион, налил рюмку и подал больной. Она взглянула на него, отрицательно покачала головой и проговорила слабым голосом:

– Вы, кажется, считаете меня за пьяницу, а я совсем не пью...

Как доктор ни уговаривал ее, больная осталась при своем. Галактион понял, что она стесняется его, и вышел Харитина приподняла больную на подушки, но у нее голова свалилась на сторону.

– Посылайте скорее за священником, – шепнул доктор.

– Да ведь мы старожилы... Никого из наших стариков сейчас нет в городе, – с ужасом ответила Харитина, глядя на доктора широко раскрытыми глазами. – Ужели она умрет?.. Спасите ее, доктор... ради всего святого... доктор...

– От паралича сердца спасенья нет.

– Доктор... доктор!..

Но доктор уже шел в столовую с бутылкой в одной руке и с рюмкой в другой. Галактион сидел у стола.

– Идите, проститесь с женой, – сказал доктор, усаживаясь к столу и ставя перед собой бутылку. – Все кончено.

Галактион взглянул на него, раскрыл рот, чтобы сказать что-то, и выбежал из столовой. Доктор проводил его глазами, улыбнулся и спокойно налил себе рюмку мадеры.

Больная полулежала в подушках и смотрела на всех осмысленным взглядом. Очевидно, она пришла в себя и успокоилась. Галактион подошел к ней, заглянул в лицо и понял, что все кончено. У него задрожали колени, а перед глазами пошли круги.

– Серафима, благослови детей! – проговорил он сдавленным голосом.

Больная наморщила лоб и тревожно посмотрела кругом, кого-то отыскивая. Галактион понял этот взгляд и подвел дочь Милочку.

– Сережи нет... он уехал в гимназию; благослови Милочку.

Девушка зарыдала, опустилась на колени и припала головой к слабо искавшей ее материнской руке. Губы большой что-то шептали, и она снова закрыла глаза от сделанного усилия. В это время Харитина привела только что поднятую с постели двенадцатилетнюю Катю. Девочка была в одной ночной кофточке и ничего не понимала, что делается. Увидев плакавшую сестру, она тоже зарыдала.

Больная благословила девочку и сделала глазами Харитине знак, чтоб увели детей. Когда Харитина вернулась, она посмотрела на нее, потом на Галактиона и проговорила с удивительной твердостью:

– Пожалейте детей... я... я не буду никому больше мешать.

Харитина всхлипывала и, припав головой к изголовью умиравшей, шептала:

– Сима, прости... Сима... Сима...

Галактион стоял и не чувствовал, как у него катились по лицу слезы. Харитина подвела его к постели и заставила стать на колени.

– Сима... я... меня... – бормотал Галактион, точно каждое слово приросло к горлу и он должен был его отдирать. – Нет нам прощенья, Сима... я... меня...

Умирающая уже закрыла глаза. Грудь тяжело поднималась. Послышались мертвые хрипы. В горле что-то клокотало и переливалось.

– Матушка ты наша... касатушка, – причитала около кровати точно из-под земли выросшая Аграфена. – Голубушка барышня...

В дверях стоял Харитон Артемьич. Он прибежал из дому в одном халате. Седые волосы были всклокочены, и старик имел страшный вид. Он подошел к кровати и молча начал крестить «отходившую». Хрипы делались меньше, клокотанье остановилось. В дверях показались перепуганные детские лица. Аграфена продолжала причитать, обхватив холодевшие ноги покойницы.

– Матушка ты наша, барышня... на кого ты час, сироток, оставляешь?

Доктор продолжал сидеть в столовой, пил мадеру рюмку за рюмкой и совсем забыл, что ему здесь больше нечего делать и что пора уходить домой. Его удивляло, что столовая делалась то меньше, то больше, что буфет делал напрасные попытки твердо стоять на месте, что потолок то уходил кверху, то спускался к самой его голове. Он очнулся, только когда к нему на плечо легла чья-то тяжелая рука и сердитый женский голос проговорил:

– Ты это што за моду придумал лакать винище в этакой-то час, бесстыжие твои глаза? Ступай домой, горький...

Это была Аграфена. Она в следующий момент взяла доктора под руку и повела из столовой. Он попробовал сопротивляться, но, посмотрев на бутылку, увидел, что она пуста, и только махнул рукой.

– *Finita la commedia*... Да, горький... именно... Галактион обманывал свою жену, а она умерла... и Прасковью Ивановну тоже обманывал, а она жива... Не правда ли, как это странно?

V

Смерть жены для Галактиона являлась только продолжением разных других неудач. Ему вообще не везло в последнее время. На Иртыше затонула баржа с незастрахованным чужим товаром, пароход «Первинка» напоролся на подводный камень и целое лето простоял без работы, было несколько запоздавших грузов, за которые пришлось платить неустойку, – одним словом, одна неудача за другой. В банке положение Галактиона тоже пошатнулось. Забравший силу Мышников пробовал на нем свое влияние. Даже старик Стабровский, покровительствовавший Галактиону до сих пор, заметно охладил к нему без всякой видимой причины. Последнее особенно беспокоило Галактиона, хотя он крепился и никому ничего не высказывал. Все складывалось против него как раз с того момента, когда он сошелся с Харитиной. В этом было что-то роковое... Впрочем, сама Харитина давно это заметила и тоже мучилась.

– Это я тебе принесла несчастье, – повторяла она, глядя на Галактиона виноватыми глазами.

Последнее его бесило каждый раз. Да и прежней Харитины, веселой, сумасбродной, красивой русалочьею красотой, уже не было, – может быть, она изменилась, может быть, постарела, а может быть, просто он привык к ней. О ее красоте он мог теперь судить только по тому впечатлению, какое она производила на других. Но его злило и это, когда эти другие любовались Харитиной, точно и в этом был какой-то скрытый обман. Особенно не шло к Харитине, когда она делалась печальной, начинала жаловаться и вообще хныкала. Галактион возмущался, говорил ей дерзости, доводил до слез, а потом начинал жалеть молча, не имея сил проявить свою жалость активно.

Теперь все служило поводом к домашним сцепам, недоразумениям и настоящим ссорам. Обыкновенно начинал Галактион, которого одинаково возмущало, если Харитина раздражалась или оставалась хладнокровной. Он успокаивался только тогда, когда Харитина выходила из себя и начинала рвать и метать. Несколько раз она бросалась на него прямо с ножом. Галактион не сомневался, что она в таком состоянии может зарезать кого угодно. Но именно такое бешенство его удовлетворяло, снимая с души какую-то тяжесть. Как ни был несправедлив Галактион к Харитине, но одного достоинства он не мог не признать за ней: ни один посторонний глаз не видел ее слез, никто не слышал ее жалоб. Она для других была только в хорошем или дурном настроении, что еще не давало повода делать какие-нибудь предположения об ее интимной жизни.

В сущности Харитина была глубоко несчастна, потому что продолжала любить Галактиона, и любила его тем сильнее, чем больше он охладевал к ней. Есть такие натуры, чувства которых требуют препятствий, особенно такое чувство, как любовь. Если бы Галактион любил ее попрежнему, Харитина, наверное, не отвечала бы ему тою же монетой, а теперь она боялась даже проявить свою любовь в полной мере и точно прятала ее, как прячут от солнца нежное растение. В то же время она отлично понимала, что такое Галактион и что любить его не стоит. Ведь он всю жизнь думал только о себе и своих планах, а женщины для него являлись только печальной необходимостью. В сущности он никого и не в состоянии любить, как все эгоисты. И все-таки, зная все это, Харитина радостно вся вздрагивала, когда он входил в комнату. О, она так ждала его каждый раз, точно он приходил к ней прощаться навсегда! Да, ждала и ненавидела себя именно за это, как ненавидит каторжник свои цепи.

Последнею каплей в этой чаше испытаний для Харитины было появление в Заполье мужа. Галактион приехал из города в Городище и заявил с злорадством:

– Твой Илья Фирсыч приехал, то есть пришел пешком... В полной форме: и котомка и палочка. Только недостает кошеля...

– Какой же он мой? – тихо ответила Харитина, боясь обидеться.

– А чей же? Конечно, твой... Вот он придет к нам в гости и попросит хлебца, как бродяжка.

Харитина молчала. Ее возмущал до глубины самый тон, каким говорил с ней Галактион. Точно это она желала, чтобы Полуянов вернулся из ссылки.

– Да, твой, твой, твой! – уже кричал Галактион, впадая в бешенство. – Ведь ты сама его выбрала в мужья, никто тебя не неволил, и выходит, что твой... Ты его целовала, ты... ты... ты...

Он задыхался от ярости, сжимал кулаки и, кажется, готов был броситься на Харитину и убить ее одним ударом. О, как он ревновал ее к ее прошлому, как ненавидел ее и с радостью растоптал бы ее, как топчут змею!

– Зачем же он придет к нам? – заметила Харитина.

– Зачем? Придет за своею законною женой. Он в своем полном праве. Ты забыла, чья ты жена.

Харитина молчала, что уже окончательно взбесило Галактиона. Он схватил ее за руку и крикнул задыхавшимся голосом:

– Ведь ты... ты любила его... да! Ты его целовала, и он...

Закончилась эта дикая сцена тем, что Галактион избил Харитину, зверски избил, как бьют своих жен только пьяные мужики, а потом взял и запер в комнате, точно боялся, что она

убежит и будет жаловаться на него. Это был ужасный момент. Харитина целый день просидела в темном углу, как задранный зверь, и вся дрожала, когда слышались чьи-нибудь шаги. Ей казалось, что Галактион вернется и убьет ее. О, как она была бы рада умереть, заснуть, найти вечный покой, когда ничто не будет тревожить, волновать и мучить! Это была смертная жажда покоя. Харитина не плакала, а сидела молча, уничтоженная, жалкая, несчастная.

– За что? – повторяла она про себя, закрывая глаза. – Господи, за что?

Из всех чувств оставалось только физическое чувство страха, то чувство, которое заставляет собаку лизать только что наказавшую ее руку.

Галактион бил ее уже не в первый раз, но тогда было другое. Опомившись, Харитина пришла к тому заключению, что ей даже некуда деваться. Ни близких знакомых, ни друзей, ни родных – никого. С сестрами она совсем не виделась, да и не любила никого. Значит, оставалось опять жить с Галактионом и терпеть новые побои, – она сознавала, что нынешний день только начало еще худших дней. Что же делать? Броситься в воду? А он будет радоваться, что избавился от обузы... да. Потом женится... В сердце Харитины закипела дикая ненависть именно к этой другой, а в воображении пронеслась страшная картина убитого Галактиона, любя убитого, вперед оплаканного и еще более дорогого. Одна земля будет разлучницей. Харитина старалась не думать об этом, даже принималась со страха молиться, а в голове стояла одна мысль, эта же мысль наполняла всю комнату и, как ночная птица, билась с трепетом в окно.

Теперь из-за Полуянова начали повторяться постоянные истории. Галактион не только не чувствовал угрызений совести, но выискивал всевозможные случаи, чтобы придрататься к Харитине. Смерть жены на время прекратила это ожесточенное настроение, и Галактион точно отмяк. На первый план выступили теперь сироты-дети. Нужно было их куда-нибудь пристроить. Со смертью матери-пьяницы рушился последний призрак своего дома. Харитина боялась предложить взять их к себе в Городище. Она потихоньку от Галактиона написала Агнии, умоляя ее всеми святыми не оставлять сирот. Агния очень ловко повела дело и уговорила Галактиона. У нее было уже двое своих детей.

– Мне ведь все равно с ребятами-то сидеть, – убеждала она. – Заодно уж хлопотать... Да и твои большие совсем.

Галактион долго не соглашался, хотя и не знал, что делать с детьми. Агния убедила его тем, что дети будут жить у бабушки, а не в чужом доме. Это доказательство хоть на что-нибудь походило, и он согласился. С Харченком он держал себя, как посторонний человек, и делал вид, что ничего не знает об его обличительных корреспонденциях.

Все-таки, когда Галактион перевез детей к бабушке, его охватило мучительное чувство пустоты. Что-то такое порвалось, чего уж нельзя было соединить никакими силами. И обидно и грустно. Сколько раз Галактион раньше думал о том, как было бы хорошо, если бы Серафима умерла. И сама не мучилась бы и ему развязала бы руки. Вот теперь ее нет, и нет свободы. Мысль о детях стала являться все чаще в чаще, заставляя проверять себя. Конечно, Галактион давал на их содержание много денег, но это было еще не все. Именно дети вставали теперь перед его глазами живым упреком, напоминая все несправедливости прошлого. Под давлением этой мысли он даже к Харитине сделался добрее, то есть не притеснял ее и держал себя так, точно ее совсем не было и на свете.

В грустный день помещения детей у деда Галактион остался в Заполье и решительно не знал, что ему делать. Ехать в Городище тоже не хотелось. Именно в этот критический момент он вспомнил про старика Луковникова. Строгий был человек, правильной жизни. Галактиону мучительно захотелось, чтобы кто-нибудь его бранил, попрекал, говорил строгие слова. Он вечером отправился к Луковникову именно под этим настроением. Старик встретил его довольно неприветливо и смотрел такими глазами, что зачем-де пожаловал незванный гость.

– Давненько не видались, Галактион Михеич.

– Да, давненько, Тарас Семеныч. Все собирался как-нибудь завернуть.

– Уж и собирался? Перестань пустые-то слова говорить... На что вам меня, старика?

– Сами не молодые, Тарас Семеныч.

Сначала старик подумал, что не приехал ли Галактион занимать у него денег, – ведь слава богатого человека еще оставалась за ним, – а потом догадался по выражению лица Галактиона и по тону разговора, что дело совсем не в этом. В последнее время он сильно недолго любил Галактиона и теперь не мог побороть в себе этого чувства. Так бы вот, кажется, все и отпечатали... На, слушай, Галактион пробовал что-то говорить, но разговор не вязался. И гость и хозяин молчали Луковников поднялся, прошелся по комнате, разгладил седую бороду и проговорил как-то в упор:

– Что, Галактион Михеич, худо?.. То-то вот и есть. И сказал себе человек: напльно житницы, накоплю сокровища. Пей, душа, веселись!.. Так я говорю? Эх, Галактион Михеич! Ведь вот умные люди, до всего, кажется, дошли, а этого не понимают.

– А разве виноват человек, если он не понимает, Тарас Семеныч?

– Кругом виноват... На то ему дан разум, – не ум, а разум. Богатство – это нож... Им можно много хорошего сделать, а делают больше зла... да.

– Опять-таки, Тарас Семеныч, и злой человек себе худа не желает... Все лучше думает сделать.

– Да, для себя... По пословице, и вор богу молится, только какая это молитва? Будем говорить пряменько, Галактион Михеич: нехорошо. Ведь я знаю, зачем ты ко мне-то пришел... Сначала я, грешным делом, подумал, что за деньгами, а потом и вижу, что совсем другое.

– Да, другое, – откликнулся Галактион, точно эхо. – Сегодня вот детей к тетке Агнии свез.

– И будешь возить по чужим дворам, когда дома угарно. Небойсь стыдно перед детьми свое зверство показывать... Вот так-то, Галактион Михеич! А ведь они, дети-то, и совсем большие вырастут. Вырасти-то вырастут, а к отцу путь-дорога заказана. Ах, нехорошо!.. Жену не жалел, так хоть детей бы пожалел. Я тебе по-стариковски говорю... И обидно мне на тебя и жаль. А как жалеть, когда сам человек себя не жалеет?

– А как вы думаете, Тарас Семеныч, бывают на свете проклятые люди? Так, от рождения?..

Луковников хотел что-то ответить, но в этот момент вошла Устенка сказать, что чай готов. Она очень удивилась, когда увидела Галактиона, и раскланялась с ним издали.

– Чай готов, папа.

– Что же, дело хорошее. Пойдем, Галактион Михеич.

Галактион тоже смутился. Он давно не видал Устенки. Теперь это была совсем взрослая девушка, цветущая и с таким смелым лицом. В столовой несколько времени тянулась самая неловкая пауза.

– Галактион Михеич, я сегодня видела ваших детей, – заговорила первой Устенка. – Девочка такая милая и мальчик...

– Да? – спросил Галактион, не понимая. – Ах, да, дети!..

Наступила опять пауза. Устенка упорно отмалчивалась и старалась не смотреть на гостя, а потом торопливо выпила свою чашку и вышла.

– Ты вот что, Галактион Михеич, – заговорил Луковников совсем другим тоном, точно старался сгладить молодую суровость дочери. – Я знаю, что дела у тебя не совсем... Да и у кого они сейчас хороши? Все на волоске висим... Знаю, что Мышников тебя давит. А ты вот как сделай... да... Ступай к нему прямо на дом, объясни все начистоту и... одним словом, он тебе все и устроит.

– Мышников?

– Да, Мышников. Уж я-то его вот как хорошо знаю.

VI

Когда Галактион ушел, Устенка напала на отца с необыкновенным азартом.

– Папа, я решительно не понимаю, как ты можешь принимать таких ужасных людей, как этот Колобов. Он заколотил в гроб жену, бросил собственных детей, потом эта Харитина, которую он бьет... Ужасный, ужасный человек!.. У Стабровских его теперь не принимают... Это какой-то дикарь.

– И я его тоже не хвалю... да. А мне его жаль. Ведь умница и характер – железо. Только как-то вся жизнь у него вверх дном. Одним словом, несчастный человек.

– Он? Несчастный?

– Совсем несчастный! Чуть-чуть бы по-другому судьба сложилась, и он бы другой был. Такие люди не умеют гнуться, а прямо ломаются. Тогда много греха на душу взял старик Михай Зотыч, когда насильно женил его на Серафиме. Прежде-то всегда так делали, а по нынешним временам говорят, что свои глаза есть. Михай-то Зотыч думал лучше сделать, чтобы Галактион не сделал так, как брат Емельян, а оно вон что вышло.

– И Михай Зотыч тоже дрянной. Ведь это он мельницы свои сжег?

– Ну, это еще неизвестно, Устенка. Могли и сами сгореть. Мало ли что зря болтают.

– Ты, папа, всегда и всех защищаешь, а так нельзя.

– Поживешь с мое, так и сама будешь то же говорить. Мудрено ведь живого человека судить... Взять хоть твоего Стабровского: он ли не умен, он ли не хорош у себя дома, – такого человека и не сыщешь, а вышел на улицу – разбойник... Без ножа зарежет. Вот тут и суди.

Для такой философии у Луковникова было достаточно материала. Особенно в последнее время пошатнулся народ, и совсем не разберешь, где кончается хороший человек и где начинается дурной. Да и вообще кругом делалось бог знает что. Не заметишь, как и сам попадешь в негодяи. Раздумывая о самом себе, Луковников приходил именно к такому заключению. Его дела с вальцовой мельницей затягивались в какой-то проклятый узел. Все операции давно вышли из всяких предварительных смет и намеченных бюджетов. Сама по себе мельница стоила около трехсот тысяч, затем около семисот тысяч требовалось ежегодно на покупку зерна, а самое скверное было то, что готовый товар приходилось реализовать в рассрочку, что составляло еще около полумиллиона рублей. Около дела таким образом сосредоточивался в общей сложности капитал в полтора миллиона рублей. Таких денег налицо у Луковникова не было, и добрую половину приходилось добывать в кредит. Обороты этих трех капиталов, которые представляла собой мельница, зерно и готовый товар, шли с неравномерной скоростью, и трудно было подводить общий торговый баланс. Иногда каких-нибудь две недели стоили десятков тысяч, потому что все хлебное дело постепенно перешло в какую-то азартную игру. Рвал куши тот, кто умел поймать момент. Кроме того, в верховьях Ключевой выстроены были две новых вальцовых мельницы, представлявших очень опасную конкуренцию как при закупке зерна, так и при сбыте крупчатки. На рынок выдвигались страшные капиталы, которые беспощадно давили хлебную мелюзгу, как крупные хищники давят хлебных мышей. Сплетались тысячи условий, которые трудно было предугадать, и выдвигались с каждым годом все новые.

Особенно характерен был для хлебного дела прошлый год, когда в полосе Зауралья, прилегавшей к горам, случился недород благодаря дождливому лету. Произошла крупная игра на хлеб степной полосы. Скупались миллионные партии, и мелкотравчатые мельники, как старик Колобов, остались совсем без зерна. Нечего было молоть. Шла именно игра, спекуляция с миллионным риском, а не обыкновенное промышленное дело. Тут выяснился в первый раз роковой вопрос, что золотое дно, каким до сих пор считалось Зауралье, не может обеспечивать равномерно хлебом работу всех мельниц. До сих пор рынок пополнялся из старых крестьянских запасов, а сейчас их уже не было, и приходилось жить одним годом. Производитель зерна жил от одной осени до другой и весь находился в полной зависимости от одного урожая. Этого раньше не было.

Окончательно достукала зауральского мужика только что открытая Уральская железная дорога. Это открытие совпало с неурожаем в Поволжье, и зауральский хлеб полился широкою волной в далекую Россию. От этой операции нажились главным образом верховые мельники, стоявшие в самом горле, то есть у железной дороги. Они сбыли миллионные партии и нажили целые состояния. Мельница Луковникова тоже работала отлично, хотя и в менее выгодных условиях, проигрывая на летней перевозке гужом, – верховые мельники подвезли зерно по дешевой зимней дороге. Особенно один случай остался в памяти Луковникова как зловещий признак. Он еще с осени законтрактовал партию в тридцать тысяч

мешков дешевого сибирского хлеба, которую Галактион обязался доставить на своих пароходах в Тюмень. Весна вышла неопределенная, и по официальным бюллетеням об урожае трудно было судить, что еще будет. В общем ожидался средний урожай, и цены на муку не поднимались. Луковников задержал партию на всякий случай, выжидая цену. Наступил июнь, а цены не поднимались. Тогда Луковников послал в Рыбинск своего доверенного и запродавал всю партию чуть не за свою цену. Но не прошло двух недель, как цена сразу поднялась на два рубля с мешка, – другими словами, подожди он две недели, и это дало бы шестьдесят тысяч чистого барыша. Одним словом, шла самая отчаянная игра, и крупные мельники резались не на живот, а на смерть. Две-три неудачных операции разоряли в лоск, и миллионные состояния лопались, как мыльные пузыри. А тут еще помогал банк, закрывая кредит пошатнувшимся фирмам и увеличивая ссуды тем, которые и без этой помощи шли в гору.

Естественным результатом такого обострившегося порядка вещей было то, что по Ключевой началось оплошное разорение средней величины мельников, как старик Колобов. Это были жертвы даже не конкуренции, а биржевой игры на хлеб. У них был отнят и зерновой рынок, и кредит, и заперт семью печатями оптовый сбыт. Кое-кто еще держался, торгуя по мелочам, но в общем дело было конченное. Вопрос теперь заключался в том, что будет с полсотней крупчаточных мельниц, построенных на Ключевой. Первую мельницу-крупчатку поставил старик Колобов, и он же показал выход, когда застраховал две новых мельницы и сжег их. Это точно послужило сигналом. Мельничные пожары начали из года в год повторяться с математической точностью, так что знатоки дела вперед предсказывали, чьи теперь мельницы должны были гореть. И обреченные мельницы в указанный срок загорались.

Разъезжая по своим делам по Ключевой, Луковников по пути завернул в Прорыв к Михею Зотычу. Но старика не было, а на мельнице оставались только сыновья, Емельян и Симон. По первому взгляду на мельницу Луковников определил, что дела идут плохо, и мельница быстро принимала тот захудалый вид, который говорит красноречивее всяких слов о внутреннем разрушении.

– Ну, как вы тут поживаете, Емельян Михеич? – спрашивал гость.

– А ничего... Помаленьку.

– Чего тут помаленьку! – вступился не утерпевший Симон. – Совсем конец приходит, Тарас Семеныч... Тятенька-то забрал все деньги за сгоревшие мельницы и ушел с ними в скиты, а мы вот тут и выворачивайся, как знаешь.

– Слышал, слышал, – уклончиво ответил Луковников. – Что же, надо терпеть, пока молодцы. Под старость будет зато легче.

– А я уйду, как сделал Галактион... Вот и весь разговор. Наймусь куда-нибудь в приказчики, Тарас Семеныч, а то буду арендовать самую простую раструсочную мельницу, как у нашего Ермилыча. У него всегда работа... Свое зерно мужички привезут, смелют, а ты только получай денежки. Барыши невелики, а зато и убытков нет. Самое верное дело...

– Правильно, Симон Михеич. Это точно... да. Вот и нашим вальцовым мельницам туго приходится... А Ермилыча я знаю. Ничего, оборотистый мужичонко и не любит, где плохо лежит. Только все равно он добром не кончит.

– Все мы плохо кончим... На людях и смерть красна.

Луковникову нравился этот молодой задор Симона. Вот так же Устенка любит спорить... Да, малому трудненько было жить на разоренной мельнице ни у чего. И жаль, и помочь нечем.

– И Галактиону не сладко приходится, – сказал Луковников, чтобы утешить чем-нибудь Симона. – Даже и совсем не сладко.

– Все-таки Галактион у своего дела, Тарас Семеныч. Сам большой, сам маленький... А мы с Емельяном, как говорится, ни к шубе рукав.

– А тятеньку-то забыл? Он теперь за всех в скитах своих вот как молится... Не ропщи, молодец.

Проезжая мимо Суслона, Луковников завернул к старому доброму попу Макару. Уже в больших годах был поп Макар, а все оставался такой же. Такой же худенький, и хоть

бы один седой волос. Только с каждым годом старик делался все ниже, точно его гнула рука времени. Поп Макар ужасно обрадовался дорогому гостю и под руку повел его в горницы.

– Вот уж угодил, можно оказать... – бормотал он. – Редкий гость, во-первых, а во-вторых...

Поповский язык точно замерз. Поп Макар придержал гостя и шепотом сообщил:

– А ведь там у меня того... значит, в горнице-то, нечестивый Ахав сидит.

– Какой Ахав?

– А Полуянов? Вместе с мельником Ермилычем приехал, потребовал сейчас водки и хвалится, что засудит меня, то есть за мое показание тогда на суде. Мне, говорит, нечего терять... Попадья со страхов убежала в суседи, а я вот сижу с ними да слушаю. Конечно, во-первых, я нисколько его не боюсь, нечестивого Ахава, а во-вторых, все-таки страшно...

«Нечестивый Ахав» действительно сидел в поповской горнице, весь красный от выпитой водки. Дорожная котомка и палка лежали рядом на стуле. Полуянов не расставался с своим ссыльным рубищем, щеголяя своим убожеством. Ермилыч тоже пил водку и тоже краснел. Неожиданное появление Луковникова немного всполошило гостей, а Ермилыч сделал движение спрятать бутылку с водкой.

– Не тронь... – остановил Полуянов. – Сие посох страннический.

По Зауралью Луковников слыл за миллионера, а затем он был уже четвертое трехлетие городским головой. Вообще именитый человек, и Ермилыч трепетал.

– Здравствуйте, господа, – просто поздоровался Луковников. – Как это ты сюда попал, Илья Фирсыч?

– Я-то? А даже очень просто... Пешком пришел сказать вот попу Макару и Ермилычу, что окручу их в бараний рог... да. Я не люблю исподтишка, а прямо действую.

– Не прежние времена, Илья Фирсыч, чтобы рога-то показывать, – ответил пап Макар, на всякий случай отступая к стенке. – Во-первых...

– Что-о? – зарычал Полуянов. – Да я... я... я вот сейчас выпью рюмку водки... а. Всех предупреждаю... Я среди вас, как убогий Лазарь, хуже, – у того хоть свое собственное гноище было, а у меня и этого нет.

– Богатство тоже к рукам, Илья Фирсыч, – заметил Луковников, подсаживаясь к столу. – И голова к месту, и деньги к рукам... Да и считать в чужих карманах легче, чем в своем.

– Х-ха! – замялся Полуянов. – А вот я в свое время отлично знал, какие у кого и в каких карманах деньги были. Знал-с... и все меня трепетали. Страх, трепет и землетрясение...

– Да будет тебе... – останавливал его Ермилыч.

– Что-о?

– В самом деле, довольно, – заговорил Луковников. – В самом деле, никому не страшно. Да как-то оно и нехорошо: вон в борода седая, а говоришь разные пустые слова. Прошлого не воротишь.

– Нет, постойте... Вот ты, поп Макар, предал меня, и ты, Ермилыч, и ты, Тарас Семеныч, тоже... да. И я свою чашу испил до самого дна и понял, что есть такое суета сует, а вы этого не понимаете. Взгляните на мое рубище и поймете: оно молча вопиет... У вас будет своя чаша... да. Может быть, похуже моей... Я-то уж смирился, перегорел душой, а вы еще преисполнены гордыни... И первого я попа Макара низведу в полное ничтожество. Слышишь, поп?

– Ох, слышу!.. Пил бы уж ты лучше свою водку, Илья Фирсыч, да прилег отдохнуть.

– Не понравилось? Х-ха!.. Не любите? Х-ха! Не согласны? Х-ха!..

Запас энергии Полуянова вдруг исчез, он уже машинально выпил залпом две рюмки и заснул тут же на диване.

Из своей «поездки по уезду» Полуянов вернулся в Заполье самым эффектным образом. Он подкатил к малыгинскому дому в щегольском дорожном экипаже Ечкина, на самой лихой почтовой тройке. Ечкин отнесся к бывшему исправнику решительно лучше всех и держал себя так, точно вез прежнего Полуянова.

– Вот не ожидал... да... – откровенно удивлялся Полуянов. – Препные-то дружки смотреть не хотят, два пальца подают, а то я прямо отвертываются... да. Только в несчастии узнаешь людей.

– И все по-своему правы, Илья Фирсыч, – объяснял Ечкин. – Ведь все люди, если разобраны, одинаковы, потому что все – мерзавцы.

– Именно!

– Поэтому истинный философ никогда не огорчается... Вот посмотрите на меня: чего я не перенес? Каких гадостей про меня не говорили? А я все терплю и переношу.

– Именно!.. И я тоже много испытал, Борис Яковлич... Царствовал, можно оказать, а сейчас яко Иов многострадальный... Претерпел, можно сказать, до конца. И не ропщу... Только вот проклятого попа извести, и конец всему делу.

Харитон Артемьич, ждавший возвращения Полуянова с детским нетерпением, так и ахнул, когда увидел, как он приехал в одном экипаже с Ечкиным. Что же это такое? Обещал засудить Ечкина, а сам с ним по уезду катается...

– Ты это что, Илья Фирсыч? Никак совсем сбесился? – накинулся старик на Полуянова. – Обещал судиться с Ечкиным, а сам...

– Погоди, старче, гусей по осени считают.

– Да ты мне не заговаривай зубов! Мне ведь на свои глаза свидетелей не надо... Ежели ты в других зятьев пойдешь, так ведь я и на тебя управу найду. Я, брат, теперь все равно, как медведь, которого из берлоги подняли.

– А ты не сказывай никому... Сказанное слово серебряное, а не сказанное – золотое. Так я говорю? А потом, как ты полагаешь, ежели, например, этот самый Ечкин мне место предлагает? Да-с.

– Место? О-хо-хо!.. На подсудимую скамью вместо себя али в острог? О нем давно острог-то плачет.

– Да ты слушай: настоящее место. Он будет в Заполье железную дорогу строить, а я смотрителем.

– Друг на дружку будете смотреть да любоваться? Ох, прокураты!

– Ну, ладно... Смеется последний, как говорят французы. Понимаешь, ведь это настоящий пост: смотритель Запольской железной дороги. Чуть-чуть поменьше министра... Ты вот поедешь по железной дороге, а я тебя за шиворот: стой! куда?

– Ох, уморил!.. Ох, смертынька!.. Вам надо с Ечкиным тятр открывать да представление представлять. Ох, животики надорвали!

Полуянов даже обиделся. Ечкин действительно предложил ему место на будущей железной дороге, и он с удовольствием согласился послужить. Что же, он еще в силах и может быть полезным, особенно где требуется порядок. Его, брат, не проведут... Х-ха! Полуянова проверти, – нет, еще такой шельмы не родилось на белый свет. С другой стороны, Полуянов и не нуждался даже в этом месте, а принимал его просто по дружбе. У него и других мест достаточно. Сделайте милость, дела всякого сколько угодно. Во-первых, Замараев предлагает в своей кассе место бухгалтера потом Харченко предлагает в газете работать.

Харченко действительно имел виды на Полуянова, – он теперь на всех людей смотрел с точки зрения завязатого газетчика. Мир делился на две половины: людей, нужных для газеты, и – людей бесполезных.

– Голубчик, ведь вы для нас настоящий клад, – уверял он Полуянова. – Ведь никто не знает так края, как вы.

– Да, немножко знаю... С завязанными глазами пройду пять уездов.

– И по истории у вас много есть интересных фактов.

– Чего лучше: сам история с географией.

Выбор между этими предложениями было сделать довольно трудно, а тут еще тяжба Харитона Артемьича да свои собственные дела с попом Макаром и женой. Полуянов достал у Замараева «законы» и теперь усердно зубрил разные статьи. Харитон Артемьич ходил за ним по пятам и с напряжением следил за каждым его шагом. Старика охватила сутяжническая горячка, и он наяву бредил будущими подвигами.

– Мне бы только начать, – мечтал он, – а там уж я и сам как-нибудь изловчился бы.

– Ну, это, брат, дудки! – огорошивал Полуянов. – Какие тебе законы, когда ты фамилию свою с грехом подписываешь?

– А я словесно.

– Нет, твоей словесности не требуется, а надо все по форме.

– Ох, уж эта мне форма!.. Зарез. Все по форме меня надували, а зятя лучше всех... Где же правда-то? Ведь есть же она, матушка? Меня грабят по форме, а я должен молчать... Нет, шалишь!

Полуянов мог только улыбаться, слушая этот бред, подводимый им под рубрику «покушений с негодными средствами». Он вообще усвоил себе постепенно покровительственный тон, разговаривая с Харитоном Артемьичем, как говорят с капризничаящими детьми. Чтоб утешить старика, Полуянов при самой торжественной обстановке составлял проекты будущих прошений, жалоб и разных докладных записок.

– Ты у меня, как волчий зуб, – льстил Харитон Артемьич, благоговей перед искусством зятя, – да... Ох, ежели бы да меня учить, – сколько во мне этой самой злости!.. Прямо бери и сади на цепь.

– Тут злостью ничего не возьмешь. Пусти тебя в суд, ты первым бы делом всех обругал.

– Ох, обругал бы!.. А там хоть расколи на части... Только бы сердце сорвать.

– Вот то-то и есть. Какой же ты адвокат? Тебе оглоблю надо дать в руки, а не закон.

Никогда еще у Полуянова не было столько работы, как теперь. Даже в самое горячее время исправничества он не был так занят. И главное – везде нужен. Хоть на части разрывайся. Это сознание собственной нужности приводило Полуянова в горделивое настроение, и он в откровенную минуту говорил Харитону Артемьичу:

– Без меня, брат, как без поганого ведра, тоже не обойдешься... И тут нужен, и там нужен, и здесь нужен. Вот тебе и лишенный особенных прав и преимуществ... Х-ха!.. Вот только не знаю, куда окончательно пристроиться.

– А ты не разбегайся, – советовал Харитон Артемьич. – Ломи в одну точку, и шабаш. Значит, накаливай по одному месту.

– Не беспокойся, охулки на руку не положим.

– То-то... Первое дело, будем добывать проклятого писаря, а там закорчим и других.

Полуянов долго не решался сделать окончательный выбор деятельности, пока дело не решилось само собой. Раз он делал моцион перед обедом, – он приобретал благородные привычки, – и увидел новую вывеску на новом доме: «Главное управление Запольской железной дороги». Полуянов остановился, протер глаза, еще раз перечитал вывеску и сказал всего одно слово:

– Эге!

На другой день он, одетый с иголки во все новое, уже сидел в особой комнате нового управления за громадным письменным столом, заваленным grossбухами. Ему нравилась и солидность обстановки и какая-то особенная деловая таинственность, а больше всего сам Ечкин, всегда веселый, вечно занятый, энергичный и неутомимый. Одна квартира чего стоила, министерская обстановка, служащие, и все явилось, как в сказке, по щучьему велению. В первый момент Полуянов даже смутился, отозвал Ечкина в сторону и проговорил:

– А я думаю, Борис Яковлич, очки себе купить... дымчатые, в золотой оправе... да.

– Разве у вас глаза слабы?

– Нет... Но в очках как-то солиднее. Стабровский носит очки, Мышников, – одним словом, все серьезные люди.

– Отчего ж, можно и очки, – милостиво согласился Ечкин, думавший совсем о другом. – Да, конечно, очки...

– Купцы, и те нынче в очках ходят. Вон Евграф Огибенин... да.

На следующий день Полуянов явился в золотых очках и даже подстриг бороду а la граф Шамбор. Нельзя, дело было слишком серьезное, и каждая мелочь имела свое значение.

Все, знавшие Ечкина, смеялись в глаза и за глаза над его новой затеей, и для всех оставалось загадкой, откуда он мог брать денег на свою контору. Кроме долгов, у него ничего не было, а из векселей можно было составить приличную библиотеку. Вообще Ечкин представлял собой какой-то непостижимый фокус. Его новая контора служила несколько дней темой для самых веселых разговоров в правлении Запольского банка, где собирались Стабровский, Мышников, Штофф и Драке.

– Это какое-то безумие, – говорил Мышников. – Я на месте Ечкина давно бы повесился, а он железную дорогу строить придумал.

– Будет стеариновые свечи возить с закрытого завода, – вышучивал Штофф. – Даже можно так и назвать: стеариновая дорога...

– Что-нибудь тут кроется, господа, – уверял Стабровский. – Я давно знаю Бориса Яковлича. Это то, что называют гением без портфеля. Ему недостает только денег, чтобы быть вполне порядочным человеком. Я часто завидую его уму... Ведь это удивительная голова, в которой фейерверком сыплются самые удивительные комбинации. Ведь нужно было придумать дорогу...

– Да, гений... – соглашался Мышников. – Совсем нового типа гений: вексельный. Ему все равно – терять нечего... Недостает только, чтоб он объявил какую-нибудь войну.

– Какую войну? – не понимал, по обыкновению, Драке.

– Мало ли какую... Была же какая-то война за испанское наследство. Вот бы Ечкину примазаться в самый раз.

Вообще банковские воротилы имели достаточно времени для подобных разговоров. Дела банка шли отлично, и банковские акции уже поднялись в цене в два с половиной раза.

Пока банковские заправила шутили, Ечкин неутомимо хлопотал. Он то пропадал из Заполья, то снова появлялся, точно метеор. И только один Полуянов, сохранивший чутье старого сыщика, понял, наконец, в чем дело. Ечкин, потихоньку от всех, «разрабатывал» неприступного миллионера Нагибина. Какими путями он пробрался к нему, чем заслужил доверие этого никому не верившего скряги, – оставалось неизвестно. Но Полуянов отлично знал, что по вечерам, когда стемнеет, Ечкин ездил к Нагибину, жившему на краю города, и проводил там по несколько часов. Конечно, даром Ечкин не стал бы терять золотое время. Он, впрочем, не один раз возвращался в изнеможенном отчаянии, брал Полуянова за пуговицу его сюртука и говорил:

– Ведь я – святой человек, Илья Фирсыч, святой по терпению... Господи, чего только я не терплю? Нет, кажется, такой глупости, которую не приходилось бы продельвать. И, ей-богу, не для себя хлопочу, а для других...

– Глупый народ, Борис Яковлич... Ничего не понимают. Я тоже натерпелся вполне достаточно...

– Да, да... Например, деньги – что такое деньги, когда они лежат без всякой пользы? Это все равно – если хорошенькую женщину завязать в мешок... да. Хуже: это разврат.

– Совершенный разврат, Борис Яковлич.

– Нужно быть сумасшедшим, чтобы не понимать такой простой вещи. Деньги – то же, что солнечный свет, воздух, вода, первые поцелуи влюбленных, – в них скрыта животворящая сила, и никто не имеет права скрывать эту силу. Деньги должны работать, как всякая сила, и давать жизнь, проливать эту жизнь, испускать ее лучами.

– Я то же самое всегда думал, Борис Яковлич.

Таинственные визиты Ечкина к Нагибину закончились совершенно неожиданно. Даже видавший всякие виды на своем веку Полуянов ахнул, когда Ечкин однажды утром заявил ему:

– Илья Фирсыч, вы мне сегодня нужны... Ведь вы умеете быть шафером?

– Случалось. Только я-то сейчас не гожусь. Шафером бывают молодые, неженатые люди, а я... гм...

– Э, пустяки!.. Там где-то нужно что-то такое расписаться, – одним словом, глупая формальность.

– Свидетелем могу быть.

– Дело в следующем... да. Ведь вы знаете, что у этого миллионера Нагибина есть девица-дочь. Ей уже за тридцать... да. А ведь женщина – тоже капитал, который необходимо реализовать. Хорошо. Вы помните, что есть молодой человек Колобов, Симон? Он сидит на отцовской мельнице совсем без дела и ловит мух. Я и поехал к нему на мельницу и все объяснил. Если он женится на Нагибиной, у него будет все. Понимаете?.. Ну, конечно, молодой человек сначала ничего не понимал... Мне же пришлось ему объяснять, что ранняя молодость и женская красота в семейной жизни еще не составляют счастья, а нужно искать душу... Понимаете?.. Ломался-ломался, а я все-таки его привез и прямо к Нагибиным. Пришлось быть сватом. Без меня у них ничего бы не вышло. Так вот, будет свадьба, такая – без шуму, и вы будете свидетелем.

Полуянов смотрел на Ечкина с раскрытым ртом, потом схватил его за руку и восторженно проговорил:

– Борис Яковлевич... Ведь это что же такое, а? Это... это... Вам бы по-настоящему сибирским исправником быть!

VIII

Мы уже сказали выше, что за время отсутствия Полуянова в Заполье было открыто земство. В соседних губерниях земские учреждения действовали уже давно и успели пережить первую горячую пору увлечений, так что запольские земцы уже не увлекались ничем. Да и контингент гласных был почти тот же, что и в думе, с прибавкой нескольких мужиков, писарей и деревенских попов, как о. Макара из Суслона. В Запольском уезде не было ни одного помещика, поэтому земство получило отчасти купеческий характер. Из новых людей выдались сразу Замараев, двоюродный брат Прасковьи Ивановны Голяшкин, повторявший, как эхо, чужие слова, Евграф Огибенин и уже известные дельцы, как Мышников, Штофф и компания. К числу новых людей можно было отнести Стабровского. Его даже выбаллотировали в председатели земской управы, но он великодушно отказался в пользу кандидата, которым был Огибенин. И здесь, как в думе, подавлял всех Мышников, но его влияние в земских делах уже не имело той силы, как в купеческой думе. В земстве составилась совершенно самостоятельный кружок гласных, не зависевших от Запольского банка, и Мышников получал отпор при каждой попытке проявить свой деспотизм. Он свои неудачи теперь вымещал на Огибенине, которого преследовал по пятам. В земских делах особенную силу получила гласность. Харченко попал в число гласных и работал по земским вопросам с каким-то ожесточением. Его прочили уже в члены управы. Недостаток людей чувствовался в земстве еще больше, чем в думе, и работала небольшая кучка. Вообще деятельность земства проявила себя с очень хорошей стороны, а главное – дело шло совершенно независимо от всяких посторонних влияний.

Деятельность этого нового земства главным образом выразилась в развитии народного образования. В уезде школы открывались десятками, а в больших селах, как Суслон, были открыты по две школы. Пропагандировал школьное дело Харченко, и ему даже предлагали быть инспектором этих школ, но он отказался. Газета, типография и библиотека отнимали почти все время, а новых помощников было мало, да и те были преимущественно женщины, как Устенка.

– Было бы дело, а люди будут, – уверенно повторял Харченко.

По земским делам Харченко особенно близко сошелся со стариком Стабровским. Этому сближению много способствовала Устенка. Она знала, что Стабровский увлекается земством

и в качестве влиятельного человека может быть очень полезен. Вышла довольно комичная сцена первого знакомства.

– Мы с вами враги по части банковских и винокурных дел, – откровенно объяснил Стабровский, – но думаю, что будем друзьями в земстве.

– Это будет видно.

– Я почти уверен... Здесь наши интересы вполне совпадают.

Стабровский никогда и ничего не делал даром, и Устенка понимала, что, сближаясь с Харченкой, он, с одной стороны, проявлял свою полную независимость по отношению к Мышникову, с другой – удовлетворял собственному тяготению к общественной деятельности, и с третьей – организовал для своей Диди общество содержательных людей. В логике Стабровского все в конце концов сводилось к этой Диде, которая была уже взрослою барышней.

– Сморчок какой-то, – резюмировала Дидя свое впечатление, познакомившись с Харченкой. – Я удивляюсь пристрастию папы к разным монстрам.

Устенка бывала у Стабровских довольно часто, хотя и с перерывами. Но стоило ей не быть с неделю, как старик встречал ее ворчаньем и выговорами. Он вообще заметно старился, делался требовательнее и брюзжал, как настоящий старик. Устенку забавляло, как он ревновал ее ко всем и требовал самого подробного отчета в поведении, точно отец. С другой стороны, это упорное внимание трогало и подкупало ее. Она так любила Стабровского, когда он был у себя дома. В нем было столько какой-то неудовлетворенной жажды деятельности, особенной теплоты и еще более особенной польской культурности. Никто так не умел взвесить и оценить во всех мельчайших подробностях всякое новое явление, как Стабровский. В земской деятельности он хотел точно искупить самого себя и отдавался ей с жаром молодого человека.

– Ах, как я завидую вам, молодым людям! – повторял он с какою-то тоской. – Ведь перед вами целая жизнь впереди. Жаль подумать, в какое время нам пришлось прожить свою молодость. Я тебе как-нибудь расскажу, Устенка. Да, тяжелое было время. Когда говорят о недостатках и недочетах настоящего, я всегда вспоминаю это далекое прошлое, бесправное, несправедливое и темное. Ведь теперь каждая земская школа является уже светлым лучом, знаменем времени, залогом будущего... Впереди – грамотная Россия, свободный труд, нарастающая культура!

Насколько сам Стабровский всем интересовался и всем увлекался, настолько Дидя оставалась безучастной и равнодушной ко всему. Отец утешал себя тем, что все это результат ее болезненного состояния, и не хотел и не мог видеть действительности. Дидя была представителем вырождавшейся семьи и не понимала отца. Она могла по целым месяцам ничего не делать, и ее интересы не выходили за черту собственного дома.

Когда приходила Устенка, Стабровский непременно заводил речь о земстве, о школах и разных общественных делах, и Устенка понимала, что он старается втянуть Дидю в круг этих интересов. Дидя слушала из вежливости некоторое время, а потом старалась улизнуть из комнаты под первым предлогом. Старик провожал ее печальными глазами и грустно качал головой.

Раз, среди самого серьезного разговора, Устенка неожиданно спросила старика:

– Скажите, Болеслав Брониславич, вы очень не любите Галактиона Михеича?

– Да, не люблю.

– Не будет с моей стороны нескромным вопросом, если спрошу: за что?

– Причин достаточно, а главная – та, что из него вышло совсем не то, что я предполагал. Впрочем, это часто случается, что мы в людях не любим именно свои собственные ошибки. А почему тебя это интересует?

– Да так... Он нынче бывает у отца, и я возмущалась, что отец его принимает.

– Ах, это совсем другое дело! Мы, старики, в силу вещей, относимся к людям снисходительнее, хотя и ворчим. Молодость нетерпима, а за старостью стоит громадный опыт, который говорит, что на земле совершенства нет и что все относительно. У стариков, если хочешь, своя логика.

Устенька не без ловкости перевела разговор на другую тему, потому что Стабровскому, видимо, было неприятно говорить о Галактионе. Ему показалось в свою очередь, что девушка чего-то не договаривает. Это еще был первый случай недомолвки. Стабровский продумал всю сцену и пришел к заключению, что Устенька пришла специально для этого вопроса. Что же, это ее дело. Когда девушка уходила, Стабровский с особенной нежностью простился с ней и два раз поцеловал ее в голову.

– Умница ты моя... – повторял он взволнованно.

Раз, когда Устенька была одна, неожиданно появился Галактион. Она встретила его довольно сурово, но он, кажется, совсем был нерасположен что-нибудь замечать.

– Папы нет дома.

– Нет? А я его подожду.

– Как хотите.

Он говорил таким тоном, каким говорят с прислугой. Устенька обиделась и вышла из комнаты. Пусть сидит один, невежа! Галактион действительно сидел у стола и ничего не хотел замечать. Устенька два раза посмотрела на него в щель двери и совсем рассердилась. В самом деле, это нахальство – явиться в дом, сесть и не обращать ни на кого внимания. Устенька волновалась. Ее раздражение достигло высшей степени, когда она услышала, что Галактион сидит и смеется. Нет, это уж слишком... Она вышла к Галактиону и увидела, что он сидит с последним номером «Запольского курьера» и хохочет.

– Может быть, вам что-нибудь нужно передать папе?

– Ах, это вы, барышня! – удивился Галактион, продолжая смеяться.

– Чему вы смеетесь?

– Да очень уж смешно в газете пишут.

– Ничего смешного нет.

– Да вы не читали... Вот посмотрите – целая статья: «Наши партии». Начинается так: «В нашем Заполье городское общество делится на две партии: старонавозная и новонавозная». Ведь это смешно? Пишет доктор Кочетов, потому что дума не согласилась с его докладом о необходимых санитарных мерах. Очень смешные слова доктор придумал.

– А по-моему, так это просто неприличные слова... Вероятно, и доктор придумал их в ненормальном состоянии.

– Ничего вы не понимаете, барышня, – довольно резко ответил Галактион уже серьезным тоном. – Да, не понимаете... Писал-то доктор действительно пьяный, и барышне такие слова, может быть, совсем не подходят, а только все это правда. Уж вы меня извините, а действительно мы так и живем... по-навозному. Зарылись в своей грязи и знать ничего не хотим... да. И еще нам же смешно, вот как мне сейчас.

– Кто же вам велит так жить?

– Кто велит?... Вот видите, барышня, как я с вами буду разговаривать... Если вам сказать все прямо, так вы, пожалуй, и обидитесь.

– Можно все говорить, если серьезно.

– Да? Так... Хорошо. Прежде всего все мы звери. Вы скажете: «Ах, это мужчины звери, а женщины бедные» и прочее. Так? Хорошо? Отчего же теперь постоянно такая вещь выходит: вот я вдовец, у меня дети, я женюсь на хорошей девушке, а эта хорошая девушка и начинает изживать со свету моих детей?... Одним словом, мачеха. Ведь таких случаев сколько угодно... да. Значит, у мужчины одно зверство, а у женщины другое, а вместе нам одно название: звери. Конечно, есть такие особенные хорошие люди, да лиха беда, что их очень уж мало... Вот переберите-ка свои поступки и обдумайте... да. Так-то вот я часто про себя думаю... Думаешь-думаешь – и даже страшно делается. Да разве это я? да разве я такой?... Если бы про другого рассказали это, так не поверил бы... да.

– И я не верю.

– Кому?

– Вам... Да, не верю. Вы – нехороший человек... Вам этого никто не смеет сказать, а я скажу, чтобы вы и сами знали. Ведь каждый человек умеет очень хорошо оправдывать только самого себя.

Девушка покраснела и откровенно высказала все, что сама знала про Галактиона, кончая несчастным положением Харитины. Это был целый обвинительный акт, и Галактион совсем смутился. Что другие говорили про него – это он знал давно, а тут говорит девушка, которую он знал ребенком и которая не должна была даже понимать многого.

– Да, да, да... – азартно повторяла Устенка, точно Галактион с ней спорил. – И я удивляюсь, как вы решаетесь приходить к нам в дом. Папа такой добрый, такой доверчивый... да. Я ему говорила то же самое, что сейчас говорю вам в глаза.

Галактион поднялся бледный, страшный, что-то хотел ответить, но только махнул рукой и, не простившись, пошел к двери. Устенка стояла посреди комнаты. Она задыхалась от волнения и боялась расплакаться. В этот момент в гостиную вошел Тарас Семеныч. Он посмотрел на сконфуженного гостя и на дочь и не знал, что подумать.

– Галактион Михеич, куда же ты бежишь?

Галактион обернулся и, показывая на Устенку, проговорил всего одно слово:

– Она права.

У Луковникова произошло довольно неприятное объяснение с дочерью:

– Устенка, так нельзя. Наконец, какое ты имела право оскорблять человека в своем доме?

– А если я не могу, папа?.. Ведь вы все молчите, а я взяла и сказала. Я ему все сказала.

– И он тоже все сказал... Ведь хороший бы человек из него мог быть, если бы такая голова к месту пришлась.

По своему характеру Луковников не мог никого обидеть, и поведение Устенки его серьезно огорчило. В кого она такая уродилась? Права-то она права, да только все-таки не следовало свою правоту показывать таким манером. И притом девушка – она и понимать-то не должна Харитининых дел. Старик почти не спал всю ночь и за утренним чаем еще раз заметил:

– А я все-таки не согласен с тобой, Устенка. И правде бывает не место. Какие мы с тобой судьи? Ты думаешь, он сам хуже нашего понимает, где хорошо и где нехорошо?

Устенка выслушала все и ничего не ответила. Тарас Семеныч только пожал плечами и по пути в свою думу заехал к Стабровскому. Он очень волновался, рассказывая все подробности дела.

– Ах, милая, милая! – восхищался Стабровский. – Господи, если б у меня была такая дочь! Ведь это молодое, чистое золото, Тарас Семеныч... Да я сейчас же поеду к ней и расцелую ее. Бедняжка, наверное, теперь волнуется.

– Нет, этого вы, пожалуйста, не делайте, Болеслав Брониславич. Пусть уж лучше она одна про себя раздумается.

IX

Галактион приходил к Луковникову с специальной целью поблагодарить старика за хороший совет относительно Мышникова. Все устроилось в какой-нибудь один час наилучшим образом, и многолетняя затаенная вражда закончилась дружбой. Галактион шел к Мышникову с тяжелым сердцем и не ожидал от этого похода ничего хорошего, а вышло все наоборот. Сначала Мышников отнесся к нему недоверчиво и с обычной грубоватостью, а потом, когда Галактион откровенно объяснил свое критическое положение, как-то сразу отмяк.

– Что же вы мне раньше ничего не сказали? – заметил Мышников с укором делового человека. – Без Стабровского можно обойтись, и даже очень.

– Да ведь вы, Павел Степаныч, знали положение дела. Что тут было говорить? Потом мне казалось, что вы относитесь ко мне...

– Вздор!.. Никак я не относился... У меня уж такой характер, что всем кажется, что я отношусь как-то нехорошо. Ваше дело хорошее, верное, и я даже с удовольствием могу вам помочь.

Собственно деловой разговор занял очень немного времени.

– Вы понимаете, что если я даю средства, то имею в виду воспользоваться известными правами, – предупреждал Мышников. – Просто под проценты я денег не даю и не желаю быть ростовщиком. Другое дело, если вы мне выделите известный пай в предприятии. Повторяю: я верю в это дело, хотя оно сейчас и дает только одни убытки.

Это был самый лучший исход, и деньги Мышникова не ложились на пароходство займом, а входили живым капиталом. Главное – не было никаких нравственных обязательств и ответственности. Подсчитав актив и пассив, Мышников решил так:

– Скажу вам откровенно, Галактион Михеич, что всех своих денег я не могу вложить в пароходство, а то, что могу вложить, все-таки мало. Ведь все дело в расширении дела, и только тогда оно делается выгодным. Так? Отчего вы не обратились к Штоффу, тем более что он не чужой вам человек?

– Вот именно последнее и служит препятствием, Павел Степаныч. С посторонним человеком всегда как-то легче вести дело и даже получить отказ не обидно.

– В таком случае позвольте мне с ним переговорить. Я думаю, что наша компания всего лучше устроится на таких основаниях: у вас два пая, а у меня со Штоффом по одному.

Галактиону приходилось только соглашаться. Да как и было не согласиться, когда все дело висело на волоске? Конечно, было жаль выпускать из своих рук целую половину предприятия, но зато можно было расширить дело. А главное заключалось в том, что компаньоны-пароходчики составляли большинство в банковском правлении и могли, в случае нужды, черпать из банка, сколько желали.

Одним словом, все дело устроилось наилучшим образом, и Галактион не смел даже мечтать о таком успехе. Оставалось только оформить договор и приступить к делу уже «сильною рукой», как говорил Павел Степаныч. Именно под этим впечатлением Галактион и отправился к Луковникову, чтобы поделиться со стариком своею радостью, а вместо этого получился такой разгром, какого он еще не испытывал. Кто угодно выскажи ему то же самое, что говорила Устенка, не было бы так обидно, а тут удар был нанесен такою чистою и хорошею рукой.

Выйдя от Луковникова, Галактион решительно не знал, куда ему идти. Раньше он предполагал завернуть к тестю, чтобы повидать детей, но сейчас он не мог этого сделать. В нем все точно повернулось. Наконец, ему просто было совестно. Идти на квартиру ему тоже не хотелось. Он без цели шел из улицы в улицу, пока не остановился перед ссудною кассой Замараева. Начинало уже темнеть, и кое-где в окнах мелькали огни. Галактион позвонил, но ему отворили не сразу. За дверью слышалось какое-то предупреждающее шушуканье.

– Дома Флегонт Васильевич? – спросил Галактион горничную.

Горничная посмотрела на него какими-то оторопелыми глазами и потом убежала. Галактион снял пальто и вошел в гостиную. Где-то захлопали двери и послышался сердитый шепот.

«Они, кажется, здесь с ума сошли?» – невольно подумал Галактион.

В этот момент открылась дверь хозяйского кабинета, и в дверях показался Голяшкин, одетый во фрак, белый галстук и белые перчатки. Он поманил гостя пальцем к себе.

– Ну, Галактион Михеич, ты нам всю обедню испортил, – шепотом заявил Голяшкин, запирая за собой дверь. – Ни раньше, ни после тебя принесло. Горничной-то прямо было наказано никого не принимать, а она увидала тебя и сбежала. Известно, дура.

– Куда это ты вырядился-то петухом галанским?

– Я-то? А мы на свадьбу.

Голяшкин зажал себе рот и изобразил ужас.

– Ох, продал проклятый язык! – виновато забормотал он, озираясь на запертую дверь. – Ведь сегодня твоего брата Симона женим... да.

– Симона?

– Его самого... В том роде выходит, что не невеста убогом выходит замуж, а жених. Совсем особенное дельце.

– Ничего не понимаю.

– И я тоже... Спроси Ечкина: он все оборудовал.

Теперь Галактион уже решительно ничего не понимал. Его выручил появившийся Замараев. Он еще в первый раз в жизни надел фрак и чувствовал себя, как молодая лошадь в хомуте.

– Накрыл ты нас, Галактион Михеич, – заговорил он, стараясь придать голосу шуточный тон. – Именно, как снег на голову. Мы-то таимся, а ты тут как тут.

После некоторого ломанья Замараев рассказал все подробности предстоящей свадьбы. Галактион выслушал и спросил только одно:

– А отец ничего не знает?

– Никто и ничего не знает. Ечкин обернул дело уж очень скоро. Симон-то на отчаянность пошел. Всего и свидетелей трое: мы с Голяшкиным да Полуянов. В том роде, как бывают свадьбы-самокрутки.

– Отчего же Симон мне ничего не сказал? Ведь не чужие.

– А уж об этом ты его спроси сам.

– Хорошо, я спрошу. Вместе с вами поеду на свадьбу. Вперед не обманывайте добрых людей.

– Чего же тут обманывать? Слава богу, Симон-то Михеич не двух лет по третьему. В своем уме паренек.

– Оно и похоже, что в своем.

– Да ведь и ты, Галактион Михеич, женился не по своей воле. Не все ли одно, ежели разобрать? А я так полагаю, что от своей судьбы человек не уйдет. Значит, уж Симону Михеичу выпала такая часть, а суженой конем не объедешь.

На этот разговор вышла Анна Харитоновна и начала уговаривать Колобова не ездить на свадьбу. Но эта политика суслонской писарихи имела как раз обратное действие. Галактион заявил решительно, что поедет.

– Ну, как знаете, Галактион Михеич, – обиделась Анна, – я, значит, вам же добра желаю. Прежде-то соседями живали, так оно тово...

Замараев едва успел придумать предупредительную меру, – он потихоньку послал Голяшкина вперед, а сам поехал вместе с Галактионом.

– Я вас на своей лошадке подвезу, Галактион Михеич.

– А Голяшкина загонщиком послал? Не бойся, будут рады.

– Мне-то что же? Не к чужому человеку едете, а я только так... вообще...

Предупрежденный Симой встретил брата спокойно, хотя и с затаенной готовностью дать отпор. Свадьба устраивалась в нагибинском доме, и все переполошились, когда узнали, что едет Галактион, особенно сама невеста, уже одевавшаяся к венцу. Это была типичная старая девица с землистым цветом лица и кислым выражением рта.

– Где Ечкин? – спрашивала она, бросая свои наряды.

Как на грех, Ечкин, вертевшийся все время на глазах, куда-то пропал. Старик Нагибин совершенно растерялся и спрятался со страха.

– Позовите сюда Галактиона Михеича, – решила невеста. – Я сама с ним поговорю. А главное – чтоб он не оставался с глазу на глаз с Симоном.

Посредником явился все тот же Голяшкин, точно он готов был вылезть из собственной кожи.

– Галактион Михеич, вас невеста зовет. Пожалуйте к ним в комнату. Они вам хотят словечко сказать... очень просили.

Так братья и не успели переговорить. Впрочем, взглянув на Симона, Галактион понял, что тут всякие разговоры излишни. Он опоздал. По дороге в комнату невесты он встретил скитского старца Анфима, – время проходило, минуя этого человека, и он оставался таким же черным, как в то время, когда венчал Галактиона. За ним в скит был послан нарочный гонец, и старик только что приехал.

Когда Галактион вошел в комнату, его встретила невеста и подала первая сухую и костлявую руку.

– Милости просим, Галактион Михеич, – заговорила она, подавляя невольное волнение. – Вы это очень хорошо сделали, что приехали к нам на свадьбу. Я даже не знала, что вы в городе.

– И я тоже случайно узнал про вашу свадьбу. Извините, я даже не знаю, как вас зовут.

– Натальей, а отца Осипом, – значит, вышла Наталья Осиповна.

Невеста говорила теперь уже совсем смело, овладев собой. Она сделала Голяшкину знак глазами, чтоб он убирался.

– Садитесь, – предложила она. – У нас все так скоро случилось, что даже не успели оповестить родных. Уж вы извините. Ведь и ваша свадьба тоже скороспелкой вышла. Это прежде тянули по полугоду, да и Симон Михеич очень уж торопил.

– Что же, я ничего не говорю. Вам жить с Симоном, вам и знать, как и что.

– О нас не беспокойтесь, – с улыбкой ответила невеста. – Проживем не хуже других. Счастье не от людей, а от бога. Может быть, вы против меня, так скажите вперед. Время еще не ушло.

– Я? Нет, я ничего не могу сказать. Конечно, оно как-то неловко, что Симон женится тайком, а впрочем, все равно.

– Он стыдится, что берет жену старше себя, – объяснила невеста без заминки.

Невеста понравилась Галактиону своим решительным характером. Именно такую жену и нужно бесхарактерному и податливому Симону. Эта будет держать его в руках.

Когда жених, а потом невеста уехали в моленную, явился Ечкин, весь сиявший румянцем и бриллиантами. Увидев шагавшего по пустой гостиной Галактиона, он радостно крикнул:

– Кого я вижу! Вот удружил, что сам догадался приехать! А я нарочно разыскивал тебя по всему городу.

– Не ври ты, пожалуйста, – оборвал его Галактион. – Ты это все устроил потихоньку. Не беспокойся, понимаю, что тебе нужно. Обращаешься этого старого дурня?

– Тсс... Ради бога, тише!.. Просто, не могу видеть мертвый капитал, а каждая девушка и молодой человек – именно мертвый капитал.

– Перестань морочить. Одно скажу: ловко. Да, очень ловко.

Пока происходило длинное раскольничье венчание, старик Нагибин заперся в своей собственной моленной и все время молился, откладывая земные поклоны. Он даже прослезился и все шептал: «Слава тебе, господи!»

Из свидетелей запоздал к обряду один Полуянов, но зато он вернулся из моленной первым. Его встретил на крыльце Нагибин, расцеловал и все повторял:

– Слава тебе, господи!

– Что же, дело правильное, Осип Григорьич. И в писании сказано: не хорошо жити единому.

Против общего ожидания скороспелый свадебный стол прошел очень оживленно. Невесту провожали совершенно неизвестные Галактиону раскольничьи девушки, вырядившиеся в старинные парчовые сарафаны, а одна даже была в кокошнике. Старец Анфим за столом попал между Полуяновым и Ечкиным и под столом несколько раз перекрестил «жида». Молодая держала себя очень свободно, просто и смотрела на мужа уже с чувством собственности. Приехавшая к свадебному столу Анна Харитоновна не могла надивиться: давно ли вот эта самая Наташа была такая тихая да застенчивая, а тут откуда прыть взялась. Мужчины скоро подвыпили, и поднялось свадебное галденье. Выпил и сам

старик Нагибин. Пошатываясь, он обходил всех гостей, всех целовал и всем повторял одно и то же:

– Слава тебе, господи! Родимые мои, слава тебе, господи!

Ечкин сидел рядом с Галактионом и несколько раз толкал его локтем.

– Посмотри на Замараева и Голяшкина: эти два плута далеко пойдут, – шептал он.

– Не дальше тебя, Борис Яковлич.

Галактион все время молчал, находясь под впечатлением давешней сцены с Устенкой. Если б она увидела этот тир благочестивых разбойников! – ведь все разбойники, как одна масть, и невеста разбойница.

X

Свадьба Симона, как и свадьба Галактиона, закончилась крупным скандалом, хотя и в другом роде. Еще за свадебным столом Замараев несколько раз подталкивал Симона и шептал:

– Ты, смотри, не дай маху. Сейчас же требуй денег с тестя.

– Да неловко как-то, Флегонт Васильич. Как-нибудь потом.

– А ты не будь дураком. Эх, голова – малина! У добрых людей так делается: как ехать к венцу – пожалуйста, миленький тятенька, денежки из рук в руки, а то не поеду. Вот как по-настоящему-то. Сколько по уговору следовало бы получить?

– Никакого уговора не было. Ведь одна дочь.

Замараев вскипел и обругал молодого:

– Убил ты бобра, Симон... да. Ну, не дурак ли ты после этого, а? Да ведь тебя как бить надо, а?

Симон обиделся и обругал Замараева.

– Да ведь я тебе добра желаю, пень ты березовый! Вот уж помянешь меня добрым словом.

Молодые должны были ехать на мельницу в Прорыв через два дня. Замараева мучило глупое поведение Симона, и он забегал к нему несколько раз за справками. Эти приставанья начали тревожить Симона. Он потихоньку выпил для храбрости коньяку и решил объясниться со стариком начистоту.

– Тятенька, как, значит, я с женой уезжаю завтра на мельницу, так нам надо, значит... Вообще насчет капиталов.

У Нагибина сейчас же сделалось испуганное лицо, и он, по обыкновению, прикинулся непонимающим в даже глухим.

– Каких капиталов? – переспросил он.

– Ведь у вас, тятенька, одна дочь, и, значит, должны вы ее наградить.

– За что это награждать-то, милый зять?

– Да уж так ведется.

– А, ты вот про что! Ну, это ты даже совсем напрасно. Приданое за дочерью я дал в полной форме, а что касемо капиталов, так у меня их и у самого-то нет.

Симон опешил и не знал, что ему говорить.

– Нет у меня ничего, – уверял старик. – Вот хоть сейчас образ со стены сниму. Зря про меня болтают. Я-то женился сам на босоножке, только что на себе было, а ты вон капиталов требуешь.

Этим все разговоры и кончились. Симон отправился к Замараеву и передал свой разговор с тестем.

– Врет, все врет! – клялся Замараев всеми святыми. – А ты прямо на горло ему наступи. Эх, горе ты лыковое. Ты его, старого черта, припугни хорошенько. Да нет, у тебя ничего не

выйдет. Тоже свадьба называется! Вот что: ведь вы едете в Суслон, и старик туда же притащится? Ну, и я поеду. У нас с Голяшкиным зуб разыгрался. Мы уж на мельнице выправим настоящую-то свадьбу. И старика прижмем. Скажи прямо: так и так, богоданный тятенька, очень я задолжал Замараеву, и грозит он меня в острог засадить. Вот погляди, как жена-то за тебя уцепится.

Симон чуть не плакал. Он надеялся через женитьбу вырваться с мельницы, а тут выходило так, что нужно было возвращаться туда же со старою «молодой». Получился один срам. Оставалась последняя надежда на Замараева.

Принял участие в деле и Голяшкин, считавший себя до известной степени прикосновенным к делу лицом, как участник. Даже был вызван Полуянов для необходимого совещания.

– Это ведь мы подвели парня, – говорил Голяшкин. – Надо его выручать.

– Трудненько выручать-то, – соображал Полуянов. – Вот ежели бы была устроена рядная запись, или ежели бы я был исправником. Тогда бы я ему показал! Я бы его выворотил на левую сторону!

На этот конгресс попал даже Харитон Артемьич, разыскивавший Полуянова по всему городу. Старик одолевал своего поверенного и успел ему надоесть.

– А, свидетели! – сообразил Харитон Артемьич. – Чужое наследство делите? Ловко вас обзатылил Осип-то Григорьич. Эх вы, горькие!

– Вот видите? – огорчился Голяшкин. – Теперь над нами все будут смеяться.

– Летать любите, а садиться не умеете, – не унимался старик. – То-то. А знаете пословицу: свату первая палка. Наступите на жида: его рук дело.

– И то, братцы! – спохватился Замараев. – Что же это мы дураков валяем?

Полуянов скромно отмахивался, как лицо заинтересованное. Выходило настоящее похмелье в чужом пиру. Да и так он не посоветовал бы посылать Ечкина для переговоров. Как раз он получит деньги, да себе в карман и положит, как было с стеариновой фабрикой. Хороший человек, а деньги показывать нельзя.

– Давайте я схожу к старику, – предлагал Харитон Артемьич.

– Нет, тятенька, вам никак невозможно, – протестовал Замараев. – Известно, какой у вас неукротимый характер. Еще обругаете, а то и врукопашную пойдете.

Пока шли эти конференции, дело разрешилось само собой. Молодая узнала об этих недоразумениях слишком поздно и принялась стыдить мужа.

– Ты это что придумал-то? Ведь я одна дочь у отца, и все мне достанется. Зачем грешить прежде времени? Папаша уж старичок и, того гляди, помрет. Одним словом, пустяки.

Она скрыла от мужа свой разговор с отцом. Дело было довольно крупное.

– Вы, папаша, в самом деле дайте денег, – заявила она отцу. – Не мужу, а мне. Ведь я у вас одна дочь.

– Не дам ни гроша... Помру, тогда все твое. Да и нет у меня денег.

– Да ведь я-то знаю, сколько у вас их везде наплетано. Пожалуйста, не запирайтесь.

– Ну, хорошо. Поезжайте теперь на мельницу с богом, а потом я сам привезу. В банке у меня деньги.

– А не обманете?

– Наташка, прокляну!

– Вы лучше деньги-то дайте, а проклясть всегда успеете.

– Ей-богу, привезу, только поезжайте.

Молодой и самой хотелось до смерти поскорее вырваться из Заполя, и она согласилась. Провожая молодых, Нагибин прослезился и все повторял:

– Слава тебе, господи! Родимые мои, слава тебе, господи!

Когда экипаж скрылся из виду, старик хихикнул и даже закрыл рот горстью, точно самые стены могли подслушать его родительскую радость.

Вечером в каморке Нагибина, – старик занимал самую скверную комнату во всем доме, – сидел Ечкин. Миллионер, чтобы отблагодарить благодетеля, вытащил полбутылки мадеры, оставшейся от свадьбы...

– Ведь я не пью, Осип Григорьич.

– Ох, отлично делаешь! – стонал Нагибин. – Ведь за мадеру деньги плачены. И что только мне стоила эта самая Наташка!.. Теперь возьми, – ведь одеть ее надо? Потом один-то я и старых штец похлебаю или редечкой закушу, а ей подавай котлетку... так? Да тут еще свадьбу справляй... Одно разорение. А теперь пусть кормит и одевает муж... Так я говорю?

– Конечно, Осип Григорьич.

– Слава тебе, господи!.. А уж тебя не знаю, чем и благодарить. По гроб жизни не забуду... И в поминанье даже запишу, хоть ты и некрещеный.

– Мне ничего не нужно, Осип Григорьич.

– Вот, вот... Еще первого такого-то человека вижу... да. А я теперь вольный казак. По рукам и по ногам вязала дочь. Ну, много ли мне одному нужно? Слава тебе, господи!

По городу ходила молва, что Ечкин обрабатывает выжившего из ума миллионера, и все с нетерпением ожидали, чем вся эта история разыгрется. Уверяли, что Ечкин уже втянул Нагибина в свою концессию и черпает деньги, как из своего кармана. Другие клялись, что крепок Нагибин и ничего из этого не выйдет. Все соглашались только в одном, что очень уж ловко Ечкин поддел старика, высватав дочери молодого жениха. Уж лучше этой штуки и не придумаешь. А приданое, конечно, Ечкин получит за свои труды. В этом тоже никто не сомневался. Из-за чего же он хлопотал да беспокоил себя?

Избавившись от дочери, Нагибин повел жизнь совершенно отшельническую. Из дому он выходил только ранним утром, чтобы сходить за провизией. Его скупость росла, кажется, по часам. Дело дошло до того, что он перестал покупать провизию в лавках, а заходил в обжорный ряд и там на несколько копеек выторговывал себе печенки, вареную баранью голову или самую дешевую соленую рыбу. Даже торговки из обжорного ряда удивлялись отчаянной скупости Нагибина и прозвали его кощеем.

К себе Нагибин не принимал и жил в обществе какой-то глухой старухи кухарки. Соседи видели, как к нему приезжал несколько раз Ечкин, потом приходил Полуянов, и, наконец, видели раз, как рано утром от Нагибина выходил Лиодор. Дальнейшие известия о Нагибине прекратились окончательно. Он перестал показываться даже на улице.

Прошло после свадьбы не больше месяца, как по городу разнеслась страшная весть. Нагибин скоропостижно умер. Было это вскоре после обеда. Он поел какой-то ухи из соленой рыбы и умер. Когда кухарка вошла в комнату, он лежал на полу уже похолодевший. Догадкам и предположениям не было конца. Всего удивительнее было то, что после миллионера не нашли никаких денег. Имущество было в полной сохранности, замки все целы, а кухарка показывала только одно, что хозяин ел за час до смерти уху.

Судебное следствие ничего не могло выяснить. Осмотр трупа ничего не дал, насильственных знаков на теле не оказалось. Сгоряча врачи решили, что старик отравился рыбным ядом. Но это было опровергнуто доктором Кочетовым, который в «Запольском курьере» напечатал целую статью о том, что рыбный яд заключают в себе только голопокрывные рыбы, а Нагибин ел уху из соленой головы максуна, то есть рыбы чешуйчатой. Пришлось сделать вскрытие тела, и анализ внутренностей показал присутствие стрихнина. Этого было достаточно, чтобы сейчас же были арестованы по подозрению Ечкин и Полуянов, а потом Лиодор.

Город ужасно волновался. Ходили упорные слухи, что отравил старика не кто другой, как Ечкин. Весь вопрос заключался только в том, через кого он отравил – видели Полуянова и видели Лиодора. Во всяком случае, все трое были одинаково подозрительны, особенно Ечкин. Ведь он нарочно устроил эту свадьбу, чтоб удалить из дому дочь, потом, что значили его таинственные визиты к Нагибину, наконец, какую роль играл ссыльный Полуянов? Дело запутывалось. Общественное мнение было против Ечкина, отнесшегося к своему аресту совершенно спокойно, как человек, уже подготовившийся к всяким случайностям.

Еще больше смуты внесла приехавшая «молодая». Она рвала и метала, обвиняя настойчиво во всем Ечкина.

– Как же вы можете говорить так уверенно? – удивлялся следователь. – Во всяком случае, дело совершенно темное.

– Некому больше, – с женской логикой отвечала свидетельница. – Он и меня просватал, чтобы лучше было отравить папашу... Это вам всякий скажет.

Следователя сбивало многое. Во-первых, Ечкин держал себя слишком уж спокойно и слишком с достоинством, как настоящий крупный преступник. Ясно было, что все было устроено через Лиодора, который путался в показаниях и завирался на глазах. Но опять странно, что такой умный и дальновидный человек, как Ечкин, доверит исполнение беспутному и спившемуся Лиодору.

– Я действительно заходил к Нагибину, – показывал Лиодор. – Не было опохмелиться... Ну, а он меня прогнал.

Это было слишком наивно. Загадку представлял собой и Полуянов, как слишком опытный человек, в свое время сам производивший тысячи дознаний и прошедший большую школу. Но он был тоже спокоен, как Ечкин, и следователь приходил в отчаяние. Получалась какая-то оплошная нелепость. В качестве свидетелей были вызваны даже Замараев и Голяшкин, которые испугались больше подсудимых и несли невозможную околесную, так что следователь махнул на них рукой.

– Это мой зятек Замараев стравил Нагибина! – кричал Харитон Артемьич прямо на улице. – Прямо в острог его, подлеца!.. Да и других зятьев тоже! Весь альбом в острог.

XI

Мышников бывал в бубновском доме почти каждый день, что его тяготило, возмущало и заставляло молча негодовать. Мышников, всесильный и заставлявший всех чувствовать свою тяжелую руку, ничего здесь не мог поделать. Так хотела Прасковья Ивановна. Стоило ей прислать безграмотно нацарапанную записку, и он беспрекословно исполнял каждую букву, кажется, даже неистовые грамматические ошибки. Прасковья Ивановна писала: «соводни», «намедни», «делашь», «куфня», «леменация» и т. д. Мышников дошел до того, что был в восторге от такого правописания. Ведь это писала Прасковья Ивановна, а все, что она делала, конечно, хорошо. Одним словом, получалась картина полного рабства. Прасковья Ивановна через Мышникову имела большое влияние в самом банке и открывала и закрывала кредит по своему усмотрению. Мышникова поражало, что она могла предвидеть события. Последним случаем в этом отношении было обращение Галактиона за помощью к своему врагу, каким был Мышников. У нее было что-то вроде спорта ставить людей в неловкие положения, причем Мышникову доставалось больше всех. Так было и тут.

– Галактион придет к тебе, вот посмотри, – уверяла она.

– Нет, не придет... Не такой человек.

– А я тебе говорю: придет. Ты его ревнуешь по мне?

– Я?.. Нисколько.

– Ведь Галактион умница, и ему можно доверить какой угодно капитал. Ты ему дашь денег?

– Не знаю... гм... как тебе сказать.

– Вот и вышло, что ревнуешь... да. Разве я не знаю, как ты его все время жмешь?.. Одним словом, он придет, и ты дашь ему денег.

И Галактион пришел. Только когда все было кончено, Мышникову пришла проклятая мысль, что не подслала ли его сама же Прасковья Ивановна. От нее всего можно было ожидать.

С одним только не мог Мышников помириться: это с визитами в бубновский дом. Каждый раз, когда он ехал туда, его разбирала самая тупая злость. Ведь все пальцами указывают: вон Мышников покатил к своей сударушке. Затем его коробила мысль о соперничестве с пьяницей доктором. Это было что-то уже окончательно невозможное.

Мышников каждый раз испытывал такое чувство, точно он что-то ворует, и притом дрянно ворует. Есть крупные воры и мелкие воришки, – он причислял себя к последней категории. Сколько раз Мышников предлагал Прасковье Ивановне разойтись с мужем и жить с ним по-настоящему.

– Да ты никак с ума сошел? – удивлялась Прасковья Ивановна. – Теперь-то я мужняя жена, а тогда пришей хвост кобыле... Прикащики засмеют.

– Все равно и теперь все знают про наши отношения.

– Болтать болтают, а знать никто ничего не знает... Ведь не про нас одних судачат, а про всех. Сегодня вот ты приехал ко мне, а завтра я могу тебя и не принять... С мужнею-то женой трудно разговаривать, не то что с своею полюбовницей. Так-то, Павел Степаныч... Хоть и плохой, а все-таки муж.

Последнею штукой Прасковьи Ивановны было то, что она задумала ехать гостить к Харитине, которая жила в Городище и в Заполье не показывала глаз.

– Что-то я стосковалась по ней, – коротко объяснила она Мышникову. – И ты поедешь... Ну, будто пристань посмотреть, – теперь свое дело наполовину. Вот тебе и заделье, а не зря поедешь.

Злейшим враг не придумал бы для Мышникова более неприятного положения. С одной стороны, он давно старался не встречаться с Харитиной, на которую сердился за свое неудачное ухаживанье, затем он подозревал Галактиона в некоторых успехах у Прасковьи Ивановны, – одним словом, как ни поверни, а выходило неудобно и так и этак. И все-таки Мышников поехал, презирая собственное подчинение Прасковье Ивановне. Он придумал только одно – предупредить Штоффа о поездке. Хитрый немец должен был служить в качестве какого-то изолирующего элемента.

Когда Мышников с Прасковьей Ивановной приехали в Городище, Штофф был уже там. Он сделал вид, что приехал случайно. Хозяйева встретили гостей очень радушно, а особенно был весел Галактион. Таким уже давно его не видали. Харитина была бледна и молчалива, но Прасковья Ивановна, несмотря на самое точное исследование, не нашла и следов тех синяков, о которых рассказывали в Заполье. Это даже огорчило гостью, которой хотелось видеть Харитину именно в синяках. Очень бы уж это было хорошо. Прасковья Ивановна не могла забыть, как Харитина отбила у нее Галактиона. Кто знает, может быть, овдовевший Галактион и женился бы на ней, на Прасковье Ивановне?

Харитина в свою очередь отнеслась к госте с большим подозрением. Неспроста эта мудреная птица прилетела. Но она сделала вид, что ничего не подозревает, и несколько раз принималась обнимать и целовать гостью, а раз подвела гостью к зеркалу и проговорила:

– Посмотри, Паша, какие мы с тобой старые да некрасивые стали... Вот у тебя морщины около глаз, и волос скоро сесть будет. Совсем состарились.

– Ты можешь стариться, а я не согласна, – обиделась гостя.

Мужчины были заняты осмотром пристани, складов, баржей и нового парохода «Компания». Галактион увлекся и не замечал, что компаньоны уже порядочно утомились и несколько раз посматривали на часы. Наконец, Штофф не вытерпел:

– Вот что, Галактион... И пристань, и пароход, и амбары – все это отлично, а хорошо и рюмочку водки выпить.

– И закусить кусочком хлеба с маслом, – прибавил Мышников, пародируя любимое выражение Штоффа.

– Да вот что, мы будем обедать прямо на пароходе, – предлагал Галактион. – Через час пары будут готовы.

Все общество отнеслось к этому предложению с большим сочувствием. День был прелестный. Можно проехать вверх по Ключевой верст на сорок, почти до самого Заполья.

Дамы приняли эту затею, хотя и без особенного восторга, но с удовольствием. В самом деле, хорошо прокатиться по реке. «Компания» была выстроена по-новому – наполовину буксирный и наполовину пассажирский, так что была общая каюта, рубка и кухня.

– Хоть один раз пообедаем за свои денежки, – шепнул Штофф на ухо Мышникову. – Бывают такие обеды.

– Не каркай, немецкая душа! – тоже шепотом ответил Мышников.

Харитина как-то сразу оживилась и бойко принялась собирать все необходимое. Она когда-то умела так мило хлопотать, когда была и молода, и красива, и счастлива. Прасковья Ивановна следила за ней улыбающимися глазами и думала: вот отчаянная эта Харитина, как увидела посторонних мужчин, так и запрыгала брынскою козой.

Мышников тоже наблюдал хозяйку и про себя жалел ее. И похудела она, и подурнела, и какая-то запуганная, и глаза смотрят, как у наказанной только что собаки. Порядочная скотина этот Галактион, если разобрать. Давешнее беспокойство Мышникова относительно неловкости этого визита совершенно улеглось благодаря ловкости Штоффа, умевшего занять какое угодно общество. Сделалось даже совсем весело, когда в ожидании парохода мужчины выпили и закусили. Прасковья Ивановна пила вместе с другими рюмку за рюмкой, а Харитина наотрез отказалась.

– Галактиона боишься? – третила ее гостья.

– Никого я не боюсь, а так, не хочется.

– Прежде-то вместе пивали? – не отставала Прасковья Ивановна.

– Мало ли что было прежде.

Харитина даже покраснела и опустила глаза. Она начинала ненавидеть торжествовавшую за ее счет Прасковью Ивановну. В довершение всего выпивший Галактион, – он пил редко и поэтому хмелел быстро, – начал ухаживать за гостьей довольно откровенно.

– А вы все еще молодцом, Прасковья Ивановна, – говорил он немного прилипавшим языком. – А моя Харитина на ободранную кошку скоро будет походить.

– Значит, вы плохо ее бережете, Галактион Михеич.

– Ну, уж это пусть она сама себя бережет.

– Женщина – деликатное существо и требует самого нежного ухода.

– Что-то как будто не видал таких.

– Уж будто и не видали?

Прасковья Ивановна загадочно улыбнулась.

Штофф в свою очередь наблюдал всех остальных, улыбался и думал: «Нечего сказать, хорошенькие две семейки!» Его больше всего смешило то, как Мышников ревнует свою Прасковью Ивановну. Тоже нашел занятие... Да, видно, правда, что каждый дурак по-своему с ума сходит.

– Ты это чему смеешься? – привязался к нему Мышников.

– Я? А я думаю, что нам недостает только Ечкина и Полуянова.

– Ты глуп, немец.

– Я? Я человек вежливый и давно уступил совершенство другим. По-моему, даже обидно быть совершенным в обществе людей с недостатками... А впрочем, каждый глуп как раз настолько, насколько это нужно.

– Прилично глуп?

– Нужно соблюдать приличия и в уме.

Интересная беседа была прервана появившимся штурманом, который пришел оказать, что пароход готов. Все обрадовались, потому что начинало уже накапливаться какое-то скрытое недовольство.

– Ах, как я люблю воду! – повторяла Прасковья Ивановна, с восторгом хлопая ладонями. – Плыть, плыть без конца!

– А еще коньяку желаете выкушать? Я заметил, что вы вообще равнодушны к жидкостям, – приставал Штофф.

– Отстаньте, невежа!

Прасковья Ивановна находилась в кокетливом настроении и с намерением старалась побесить Мышникова, начинавшего ревновать ее даже к Штоффу. Да, этих мужчин всегда следует немного выдерживать, а то они привыкают к женщинам, как ребенок к своей кукле, которую можно колотить головой о пол и по целым дням забывать где-нибудь под диваном. Живой пример – Харитина.

Поездка на пароходе удалась на редкость. Особенно развеселился Галактион. Он редко пил, а тут разрешил. Обедали на открытой палубе и перебирали текущие новости, среди которых первое место занимала таинственная смерть Нагибина, связанная самым глупым образом с глупою женьбой Симона.

– Нет, скажите мне, куда девались деньги? – приставал ко всем подвыпивший Штофф. – Ведь они были... да. И всем это известно... И какая публика подобралась: Ечкин, Полуянов, Лиодор... Ха-ха!.. Лиодор всех путает.

– Я уверен, что Ечкин тут решительно ни при чем, – уверял Мышников. – А Полуянов трус... Лиодор глуп. По-моему, все это устроил кто-нибудь четвертый.

– Ясно одно, что все дело сделано своим человеком, который знал все, а главное – знал, куда старик прятал деньги. Да, нечего сказать, дельце интересное!

Когда все подвыпили, Штофф делал несколько попыток к тостам, но его останавливал Мышников.

– Перестань, Карла... Все равно никто тебе не поверит.

– Ах, да! – соглашался Штофф.

– Ведь все свои, и смешно будет самому слушать свои собственные глупости.

Штофф соглашался, а потом забывал и делал новую попытку развиться спичем. Это смешило всех. Время вообще летело незаметно, и все удивились, когда штурман пришел сказать, что дальше подниматься вверх по Ключевой опасно. До Заполя оставалось всего верст пятнадцать.

– Э, пустяки! – заявил Галактион. – Я сам поведу пароход.

Его едва уговорили не братья за руль, а предоставить дело штурману, как более знающему и опытному. Этим моментом и воспользовался Штофф.

– Господа, всего два слова на отвлеченную тему... Я хочу сказать о том, что такое герой... да. Вы не смейтесь.

– Герой – это пьяный немец, – вышучивал Мышников.

– Нельзя ли без остроумия, от которого столько же вреда, сколько от жеваной бумаги? Итак, *mesdames* и *messieurs*, что такое герой? Герой – не тот завоеватель, который с вооруженным полчищем разоряет беззащитную страну, не тот, кто, по выражению Шекспира, за парами славы готов залезть в жерло орудия, не хитрый дипломат, не модный поэт, не артист, не ученый со своим последним словом науки, не благодетель человечества на бумаге, – нет, герои этого разбора покончили свое существование. Другое время, другие птицы и другие песни... Нынешний, настоящий герой не имеет даже имени, история не занесет его в свои скрижали, благодарное потомство не будет чтить его памяти... Сам по себе он даже не интересен и даже лучше его совсем не знать, ибо он весь растворяется в своем деле, он фермент, бродильное начало, та закваска, о которой говорится в писании... да. Одним словом, я говорю о Галактионе.

– Вот так фунт! – ахнул Мышников. – Карла, если бы ты меня возвел в такие герои, я на тебя подал бы жалобу мировому... Галактион, хочешь, я вчиню иск об оскорблении? Свидетели налицо... Все дело поведу на свой риск. Ха-ха!.. Герой оптом... Раньше герои имели значение в розницу, а теперь оптовый герой, беспаспортный.

– Говорите, говорите! – поощряла Прасковья Ивановна. – Это интересно!

– Позвольте мне кончить, господа... Дело не в названии, а в сущности дела. Так я говорю? Поднимаю бокал за того, кто открывает новые пути, кто срывает завесу с народных богатств, кто ведет нас вперед... Я сравнил бы наш банк с громадной паровой машиной, причем роль пара заменяет капитал, а вот этот пароход, на котором мы сейчас плывем, – это только один из приводов, который подчиняется главному двигателю... Гений заключается только в том, чтобы воспользоваться уже готовою силой, а поэтому я предлагаю тост за...

Штоффу сегодня было суждено не кончить. В самый интересный момент, когда уже стаканы были подняты, с капитанского мостика раздался голос штурмана:

– Галактион Михеич, пожар!

Все поднялись разом. Где пожар? Что случилось? Всех больше перепугался Штофф, – перепугался до того, что готов был броситься в воду. Скоро дело разъяснилось: пожар был впереди, в той стороне, где чуть брезжило Заполье.

– Заполье горит! – вырвалось у всех.

Галактион сам стал у штурвала, чтобы проехать как можно дальше. Ненагруженный пароход сидел всего на четырех четвертях, а воды в Ключевой благодаря ненастью в горах было достаточно. Но не прошло и четверти часа, как на одном повороте «Компания» врезалась в мель.

– Ну, теперь кончено! – ахнул Штофф. – Господи, всего-то оставалось верст двенадцать!.. Батюшки, что же мы будем делать?.. Посмотрите, господа, ведь это наша Московская улица горит!

По прямой линии до Заполья было всего верст шесть. С капитанской рубки картина пожарища развертывалась с каждой минутой все шире. Громадные клубы дыма поднимались уже в четырех местах, заволакивая даль грозною багровою пеленой.

– Если бы лошадь... Боже мой, дайте мне лошадь! – орал Штофф, в бессильной ярости бегая по палубе. – Ведь у меня все там осталось.

– Господа, идемте пешком, – предлагал Галактион. – Это будет вдвое скорее, если мы станем подниматься на лодке вверх по течению.

– И я с вами, – заявляла Прасковья Ивановна.

– Нет, уж извините, мадам, – резко ответил Штофф. – Куда вы с своими юбками? Вас же придется нести на руках.

Галактион и Мышников были того же мнения.

– Свињи! – обругала всех Прасковья Ивановна.

Когда мужчины переехали на спасательной лодке на берег и трусцой побежали прямо полями, она еще раз обругала их.

А пожар разливался с каждой минутой все сильнее, и через какой-нибудь час Заполье представляло из себя один сплошной костер.

XII

Пожар начался в городском предместье Теребиловке, где засела мещанская голь перекатная. Загорелась какая-то несчастная баня. С бани огонь перекинулся на соседнюю стройку, а потом уже охватил разом целый порядок. Пожарная команда оказалась в неисправности, как и следует быть пожарной команде, – прогресс еще не дошел до нее. Бочки рассохлись, рукава полопались, помпы не желали выкидывать воды, – одним словом, все как и должно быть. Стоявшая засуха делала из деревянных мещанских построек какую-то подтопку, и огонь захватывал одну улицу за другой. Самое главное неудобство заключалось в том, что нельзя было проехать за водой к Ключевой. Река была на виду, а добраться до нее нельзя. Сделавшие отчаянную попытку бочки пожарного обоза застряли в трясине, да еще на беду сломался ветхий мостик через болото. Получалась картина полной беспомощности.

Когда из Теребиловки перекинуло на главную Московскую улицу, всех охватила настоящая паника. Спасенья не было. Не прошло часа, как город уже был охвачен пламенем. Теперь сразу горело в нескольких местах. В виде отчаянной меры были выпущены даже арестанты из острога. А пожар все разливался. Носились тучи искр, огонь перебрасывало через несколько кварталов, а тут еще поднялся настоящий вихрь, точно ополчилось на незащитный город само небо. Горел хлебный рынок, горел Гостиный дом, новые магазины, земская управа, женская гимназия, здание Запольского банка. Картина получалась страшная. Большинство домов были деревянные, и притом по амбарам везде хранилась пенька, лен, льняное семя и т. д. Везде по улицам горами валялось вытащенное из домов добро, и не

было свободного проезда. Одуревшая скотина лезла в огонь. У ворот стояли старики и старухи с образами в руках.

Отдельные сцены производили потрясающее впечатление. Горело десятками лет нажитое добро, горело благосостояние нескольких тысяч семей. И тут же рядом происходили те комедии, когда люди теряют от паники голову. Так, Харитон Артемьич бегал около своего горевшего дома с кипой газетной бумаги в руках – единственное, что он успел захватить.

– Ведь говорил Михей-то Зотыч! – кричал он, накидываясь на встречных.

– Он все говорил!.. Чего наша дума смотрела? Где пожарные? Где подъезд к реке?.. Бить надо... всех надо бить!..

Дом, в котором жил Стабровский, тоже занялся. У подъезда стояла коляска, потом вышли Стабровский с женой и Дидей, но отъезд не состоялся благодаря мисс Дудль. Англичанка схватила горшок с олеандром и опрометью бросилась вдоль по улице. Ее остановил какой-то оборванец, выдернул олеандр и принялся им хлестать несчастную англичанку.

– Разе такое теперь время, штобы цветы таскать?

Стабровский не хотел уезжать без мисс Дудль, и это все расстроило. Около экипажа уже образовалась целая толпа, и слышались угрожающие голоса:

– Поляки подожгли город!.. Видишь, как ловко наклались уезжать! Ребята, не пушай!

Произошло замешательство.

– Папа! стреляй! – крикнула обезумевшая от страха Дидя.

Трудно было предвидеть, чем бы закончилась эта дикая сцена. В такие моменты не рассуждают, и самые выдержанные люди теряют голову. Стабровский по опыту знал, что такое возбужденная толпа. Его чуть не разорвали в клочья, когда он занимался подрядами в Сибири. А тут еще Дидя с своею сумасшедшею фразой... Всех спасла мисс Дудль, которую привели под руки. Она так смешно сопротивлялась, кричала и вообще произвела впечатление. Толпа расступилась, и Стабровский воспользовался этим моментом. Он увел всех во двор, велел затворить сейчас же ворота и огородами вывел всех уже на другую улицу.

– В огонь их надо было бросить! – жалели в оставшейся у ворот толпе. – Видишь, подожгли город, а сами бежать!

Магнату пришлось выбраться из города пешком. Извозчиков не было, и за лошадь с экипажем сейчас не взяли бы горы золота. Важно было уже выбраться из линии огня, а куда – все равно. Когда Стабровские уже были за чертой города, произошла встреча с бежавшими в город Галактионом, Мышниковым и Штоффом. Произошел горячий обмен новостей. Пани Стабровская, истощившая последний запас сил, заявила, что дальше не может идти.

– Спасайтесь вы на пароход, а я умру здесь, – спокойно советовала она.

– Мне все равно не дойти.

– Я сейчас достану лошадь, – вызвался Галактион. – Подождите меня.

Мышников и Штофф задыхались от усталости.

– Тебе я не советую идти в город, – говорил Стабровский едва бежавшему Штоффу. – Народ потерял голову... Как раз и в огонь бросят.

Галактион сдержал слово и через полчаса вернулся в простой крестьянской телеге. Это было уже величайшее счастье. Пани Стабровскую, Дидю и мисс Дудль усадили кое-как, а Стабровский поместился на облучке кучером. Галактион указал, по какому направлению им ехать к пароходу. Через час телега подъезжала уже к Ключевой, с парохода подавали лодку.

– Хорошо то, что хорошо кончается, – заметил Стабровский, соображая все обстоятельства дела.

Пароходные дамы встретили гостей с распростертыми объятиями: они сгорали от нетерпения узнать последние новости.

Когда банковские дельцы вошли в город, все уже было кончено. О каком-нибудь спасении не могло быть и речи. В центральных улицах сосредоточивалось теперь главное пекло. Горели каменные дома.

– Вот это так кусочек хлеба с маслом! – ворчал Мышников, задыхаясь от далекой ходьбы. – Положим, у меня все имущество застраховано.

– И у меня тоже, – отозвался Штофф. – Интересно, выдержат ли наши патентованные негоряемые шкафы в банке... Меня это всего больше занимает. Ведь все равно когда-нибудь мы должны были сгореть.

Это хладнокровие возмутило даже Мышникова. Кстати, патентованные негоряемые шкафы не выдержали опыта, и в них все сгорело. Зато Вахрушка спас свои капиталы и какую-то дрянь, спрятав все в печке. Это, кажется, был единственный поучительный результат всего запольского пожара, и находчивость банковского швейцара долго служила темой для разговоров.

Единственный человек, который не тревожился, ничего не спасал и ничего не боялся, это был доктор Кочетов. Когда к нему в кабинет вбежала горничная с известием о пожаре, он даже не шевельнулся на своем диване, а только махнул рукой. Пожар? Что такое пожар? Он, Кочетов, уже давно сжигал самого себя на медленном огне... За последние дни галлюцинации приняли обостренную форму, и он все время страшно мучился, переживая свои превращения в Бубнова. Боже, как это было и тяжело, и страшно, и безвыходно!.. Пожар? Что такое пожар? У него уже давно разливался этот пожар в крови и в мозгу: это действительно страшно, потому что от такого пожара никуда не убежишь. И потом, как мог убежать Кочетов, когда на дороге мог превратиться в Бубнова?

– Доктор, уходите! – умоляли его прибежавшие из магазина приказчики.

– Хорошо, хорошо. Не беспокойтесь.

И горничная и приказчики не заметили, что с ними говорил не доктор Кочетов, а пьяница Бубнов. Доктор Кочетов мог только смеяться над этой мистификацией. Впрочем, о нем скоро забыли. Он стоял у открытого окна и любовался пожаром. Ведь это очень красиво, когда такая масса огня... Огонь – очищающее начало. Вон уже загораются соседние дома... Тоже очень не дурно. Становилось жарко. В окна врывалась струя едкого дыма, а доктор все стоял, любовался и дико хохотал, когда пламя охватило его собственный дом. Он хохотал потому, что теперь для него сделалось все совершенно ясно. Да, именно ясно, ясно как день... Стоя у окна, он несколько раз превращался в Бубнова, и этот Бубнов ужасно трусил, трусил до смешного, – Бубнову со страху хотелось бежать, выпрыгнуть в окно, молить о помощи.

– Ага, наконец-то ты мне попался, голубчик! – злорадствовал доктор, потирая руки. – Я тебя живого сожгу... Ха-ха!

Бубнов трусил еще больше. Чтобы он не убежал, доктор запер все двери в комнате и опять стал у окна, – из окна-то он его уже не выпустит. А там, на улице, сбежались какие-то странные люди и кричали ему, чтоб он уходил, то есть Бубнов. Это уже было совсем смешно. Глупцы они, только теперь увидели его! Доктор стоял у окна и раскланивался с публикой, прижимая руку к сердцу, как оперный певец.

– Извините, господа, а я не могу его выпустить.

Потом ему пришла уже совсем смешная мысль. Он расхохотался до слез. Эти люди, которые бегают под окном по улице и стучат во все двери, чтобы выпустить Бубнова, не знают, что стоило им крикнуть всего одну фразу: «Прасковья Ивановна требует!» – и Бубнов бы вылетел. О, она все может!.. да!

– Ага, голубчик, попался! – хохотал доктор, продолжая раскланиваться с публикой. – Я очень рад с тобой покончить... Ты ведь мне, говоря правду, порядочно надоел.

Сумасшедший сгорел живым.

Эпилог

I

Скитские старцы ехали уже второй день. Сани были устроены для езды в лес, некованные, без отводов, узкие и на высоких копыльях. Когда выехали на настоящую твердую дорогу, по которой заводские углепоставщики возили из куреней на заводы уголь, эти лесные сани начали катиться, как по маслу, и несколько раз перевертывались. Сконфуженная лошадь останавливалась и точно с укором смотрела на валявшихся по дороге седоков.

– Эх, Анфим, не умеешь ты править!

– А ты сам попробуй, Михей Зотыч, родимый мой.

– И попробую... Ты, значит, садись в самый зад, а я на облучок. Ну, вот так...

– Стой!.. Вывалишь!.. Держи правее!..

Сани раскатывались, и крушение повторялось. Скитские старцы даже повздорили из-за этого обстоятельства и напрасно менялись местами, показывая свое искусство.

Дело дошло чуть не до драки, когда в одном ложке при спуске с горы сани перевернулись на всем раскате вверх полозьями, так что сидевший назади Михей Зотыч редькой улетел прямо в снег, а правивший лошадью Анфим протащился, запутавшись в вожжах, сажень пять на собственном чреве.

– Ведь я тебе говорил: держи право! – кричал озлобившийся Михей Зотыч, с трудом вылезая из снега.

– Ну, говорил?... Я и держу, а сани влево и отнесло...

– Держу, держу! – передразнил его Михей Зотыч. – Худая ты баба, вот что... Тебе кануны по упокойникам говорить, а не на конях ездить.

– И ты хорош, заводский варнак! – вскипел Анфим. – Сколько разов-то вывалил сам? Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала... Сам ты баба!..

– Нет, ты... Я говорю: держи право! А ты...

Скитники стояли посреди дороги, размахивая руками, старались перекричать друг друга и совсем не заметили, как с горки спустились пустые угольные коробья, из которых выглядывали черные от угольной пыли лица углевозов.

– Запали его в уху, дедко! – крикнула одна черная рожа.

– Ну, вали, другой, дедко!.. Эх, орут, точно черти над кашей!

Первым опомнился Анфим и даже испугался, когда, наконец, заметил черные рожи углевозов, – настоящий чертов поезд. Он сердито отплюнулся, а потом перекрестился.

– Ох, наваждение, Михей Зотыч! – виновато бормотал он. – Прости, родимый, на скором слове...

– Бог тебя простит... А только ты все-таки вправо должен был держать... да.

Старики уселись и поехали. Михей Зотыч продолжал ворчать, а старец Анфим только встряхивал головой и вздыхал. Когда поезд углевозов скрылся из виду, он остановил лошадь, слез с облучка, подошел к Михею Зотычу, наклонился к его уху и шепотом заговорил:

– И что я тебе скажу, родимый мой...

– Ну, что? – тоже шепотом спрашивал Михей Зотыч, озираясь по сторонам.

– А ты не заметил ничего, родимый мой? Мы-то тут споримся, да перекоряемся, да худые слова выговариваем, а он нас толкает да толкает... Я-то это давно примечаю, а как он швырнул тебя в снег... А тут и сам объявился в прескверном образе... Ты думаешь, это углевозы ехали? Это он ехал с своим сонмом, да еще посмеялся над нами... Любо ему, как скитники вздорят.

Для Михея Зотыча все сделалось ясно. Он тоже вылез из саней и бухнул в ноги Анфиму.

– Прости, отче, на скором слове...

– Бог тебя простит, Михей Зотыч...

Оглядевшись, Анфим подмигнул и проговорил опять шепотом:

– Пусть он теперь поликует, всескверный лстец... То-то давеча я замечая, что держу вправо, а сани относит влево. А это он своей мерзкой лапой уцепит и тащит...

– А я слышал, как он когтем царапал, – шепотом же сообщал Михей Зотыч, – в том роде, как пес в двери скребется...

– Вот, вот... Посмеялся он над нами, потому его время настало. Ох, горе душам нашим!.. Покуда лесом ехали, по снегу, так он не смел коснуться, а как выехали на дорогу, и начал приставать... Он теперь везде по дорогам шляется, – самое любезное для него дело.

Дальше скитники ехали молча и только переглядывались и шептали молитвы, когда на раскатах разносило некованные сани. Они еще вывалились раз пять, но ничего не говорили, а только опасливо озирались по сторонам. В одном месте Анфим больно зашиб руку и только улыбнулся. Ох, не любит антихрист, когда обличают его лестные кознования. Вон как ударил, и прямо по руке, которая творит крестное знамение. На, почувствуй, старец Анфим!

В Кукарский завод скитники приехали только вечером, когда начало стемнеться. Время было рассчитано раньше. Они остановились у некоторого доброхота Василия, у которого изба стояла на самом краю завода. Старец Анфим внимательно осмотрел дымившуюся паром лошадь и только покачал головой. Ведь, кажется, скотина, тварь бессловесная, а и ту не пожалел он, – вон как упарил, точно с возом, милая, шла.

– Знаменья въявь творятся, – шепотом сообщил Анфим своему спутнику, когда вошел в избу. – Я лошадь-то рогожкой прикрываю, а она, милая, вся трясется со страху... Тоже чувствует, хоша объяснить и не может по своей бессловесности. Ох, искушение, Михей Зотыч!..

– А ты не малодушествуй... Не то еще увидим. Власть первого зверя царит, имя же ему шестьсот и шестьдесят и шесть... Не одною лошадью он теперь трясет, а всеми потряхивает, как вениками. Стенания и вопль мног в боголюбивых народах, ибо и земля затворилась за наши грехи.

Доброхот Василий поместил гостей в заднюю избу, чтобы никто не видел скитников. Неровен час, и чужой человек навернется, да и бабешки тоже разнести могут.

– Ну что, Васильюшка, как дела? – спрашивал Анфим.

– И не говори, отец честной... Глаза бы не глядели. Скотинку теперь распродаем... Не то что скотине, а самим жевать нечего. Пудик ржаной мучки за целковый перешел еще об рождестве, а обещают в два вогнать.

– Ну, вам-то с полугоря: фабрика прокормит.

– Работы сокращают везде по заводам... Везде худо. Уж как только народ дотянет до осени... Бедуют везде, а башкир мрет целыми деревнями. Страсти рассказывают.

– Слышали мы про беду... Не первый год она копилась. Главное – народ ослабел.

Михей Зотыч только слушал и молчал, моргая своими красными веками. За двадцать лет он мало изменился, только сделался ниже. И все такой же бодрый, хотя уж ему было под девяносто. Он попрежнему сосал ржаные корочки и запивал водой. Старец Анфим оставался все таким же черным жуком. Время для скитников точно не существовало.

Разговоры с доброхотом Василием шли далеко за полночь, особенно когда зашла речь о дешевом сибирском хлебе.

– Вся надежда у нас теперь на него, на сибирский хлебушко, – повторил убежденно Василий. – Только бы весны дожидаться, когда реки пройдут... Там, сказывают, пудик-то мучки стоит всего-навсе семнадцать копеечек. Вот какое дело, честные отцы!

Скитники на брезгу уже ехали дальше. Свои лесные сани они оставили у доброхота Василия, а у него взамен взяли обыкновенные пошевни, с отводами и подкованными полозьями. Теперь уж на раскатах экипаж не валился набок, и старики переглядывались. Надо полагать, он отстал. Побился-побился и бросил. Впрочем, теперь другие интересы и картины захватывали их. По дороге то и дело попадались пешеходы, истомленные, худые,

оборванные, с отупевшим от истомы взглядом. Это брели из голодавших деревень в Кукарский завод.

– Ох, сердяги! – вздыхал Анфим. – Кукарским-то самим есть нечего...

Голодные, очевидно, плохо рассуждали и плелись на заводы в надежде найти какой-нибудь заработок. Большинство – мужики, за которыми по деревням оставались голодавшие семьи. По пословице, голод в мир гнал.

Самое сильное впечатление произвели первые встречи, и скитники роздали все свои скитские подорожники. Дальше и помотать было нечем... Скитские старцы не представляли себе по чужим рассказам бедствие в таких размерах. Из деревень брела настоящая рабочая сила. Сердце поворачивалось смотреть на этих мужиков, которые не ели по два, по три дня. Молчаливые муки написаны были на лицах, светились лихорадочным светом в глазах, и каждое движение точно было связано этою голодною мукой. В одном месте прямо на снегу лежал пластом молодой мужик, выбившийся из сил. Скитники ехали и не могли ничем помочь.

В другом месте скитники встретили еще более ужасную картину. На дороге сидели двое башкир и прямо выли от голодных колик. Страшно было смотреть на их искаженные лица, на дикие глаза. Один погнался за проезжавшими мимо пошевнями на четвереньках, как дикий зверь, – не было сил подняться на ноги. Старец Анфим струсил и погнал лошадь. Михей Зотыч закрыл глаза и молился вслух.

– Что же это такое? – спрашивал Анфим. – Последние времена настали, Михей Зотыч...

– И давно настали... Хлебушко извели на винице, а он отрыгнул железом, ситцами, самоварами да блондами.

– А как ты полагаешь насчет орды? Ведь тоже живая душа...

– Голод-то всех сравнял... Он всех донимает, и все равны перед его лицом.

Самую ужасную картину представляла башкирская деревня, – первая станция по заводскому тракту. Башкирия прилегала к горам, а русские поселения уже шли дальше. Башкиры голодали и вымирали каждую зиму, так сказать, нормальным образом, а теперь получалось нечто ужасное. Половина башкирских изб пустовала, – хозяева или вымерли, или разбрелись куда глаза глядят. Нужно было покормить лошадь на постоялом, и скитники отправились посмотреть. Они в первой же жилой избе натолкнулись на ужасающую картину: на нарах сидела старуха и выла, схватившись за живот; в углу лежала башкирка помоложе, спрятав голову в какое-то тряпье, – несчастная не хотела слышать воя, стонов и плача ползавших по избе голодных ребятишек.

Михей Зотыч побежал на постоялый двор, купил ковригу хлеба и притащил ее в башкирскую избу. Нужно было видеть, как все кинулись на эту ковригу, вырывая куски друг у друга. Люди обезумели от голода и бросались друг на друга, как дикие звери. Михей Зотыч стоял, смотрел и плакал... Слаб человек, немощен, а велика его гордыня.

Возвращаясь на постоялый двор, скитники встретили сельского старосту и пристали к нему с расспросами, чего смотрит начальство.

– Как не смотреть, смотрит начальство, – спокойно ответил башкир. – Больно хорошо смотрит.

– А где у вас общественный магазин?

– Мало-мало посмотри...

Староста привел стариков к общественному магазину, растворил двери, и скитники отступили в ужасе: в амбаре вместо хлеба сложены были закоченевшие трупы замерзших башкир.

– Это урядник на дороге собирал, – объяснил невозмутимо башкир. – Урядник все смотрит.

Вернувшись на постоялый двор, старец Анфим заявил:

– Ну, Михей Зотыч, поедем-ка мы назад в скиты... Помирать, так помирать честно, у себя дома.

– Как знаешь, честной отец. А я поеду дальше... Мне нельзя.

Анфим только вздохнул и отринул накативший малодушный стих.

II

Самые ужасные картины голода были именно в «орде». И без того башкиры вымирают во время зимних голодовок, а тут вымирали вдвойне. Помощи уже ниоткуда не могло быть. Обыкновенно орда по зимам кормилась около русских деревень, а теперь и там ничего не было. Михей Зотыч захватил с собой все свои капиталы и потихоньку творил тайную милостыню. С ним было до пятидесяти тысяч, которые он вез на раздачу своим староверам, но кругом стояла такая отчаянная нужда, что не было уже своих и чужих, а просто умиравшие с голоду. Денег старик не любил давать, а закупал, где только мог, хлеб и помогал натурой. Да и что значили в такое время какие-нибудь пятьдесят тысяч – капля в море. Море народной беды выступало из берегов.

Скитники по краю Башкирии, прилегавшему к горам, проехали в земли казачьего Оренбургского войска, где своих было достаточно. Михею Зотычу давно хотелось пробраться в этот заветный край, о котором ходила красная молва. Главное – земли было вдоволь, по тридцати десятин на душу, и какой земли – чернозем, как овчина. Особенно на слуху были крепкие степные травы, росшие на солончаках. Всякая скотина отгуливалась здесь, как на ковре. Но первые же станицы поразили скитников своим убожеством, напоминавшим убогую башкирскую городьбу. Казачья лень так и лезла в глаза.

– Ох, ленивы казаченьки! – повторял Михей Зотыч, опытным хозяйским глазом оглядывая всякую мелочь. – Пожалуй, не далеко отстали от башкыр-то.

– Есть ленца, – соглашался Анфим. – Неудержно живут нога за ногу задевают.

В одном месте Михей Зотыч возмутился до глубины души:

– Погляди-ка, Анфим, на казачью работу!

Анфим смотрел кругом на снежную поляну и ничего не понимал.

– Не видишь? – злился Михей Зотыч, останавливая лошадь.

Он вылез из саней, пошел в сторону и принес несколько сухих дудок, торчавших из-под снега.

– Это как называется?

– У нас дудкой медвежьей зовут.

– А что это обозначает? Ах, Анфим, Анфим! Ничего-то ты не понимаешь, честной отец! Где такая дудка будет расти? На некошенном месте... Значит, трава прошлогодняя осталась – вот тебе и дудка. Кругом скотина от бескормницы дохнет, а казачки некошенную траву оставляют... Ох, бить их некому!

Все станицы походили одна на другую, и везде были одни и те же порядки. Не хватало рук, чтобы управиться с землей, и некому ее было сдавать, – арендная плата была от двадцати до пятидесяти копеек за десятину. Прямо смешная цена... Далек ли податься до башкир, и те вон сдают поблизости от заводов по три рубля десятину. Казачки-то, пожалуй, похуже башкир оказали себя.

Станичники тоже голодали, а главным образом нечем было кормить скотину, которую и продавали за бесценок.

– Ох, вы бы лень-то вашу куда-нибудь продали, – корил Михей Зотыч. – Живете только одним годом, от урожая до урожая. Хоть бы солому-то оставляли скотине... Ведь год на год не приходится, миленькие.

Огорчили станичники Михея Зотыча. Очень уж ленивы и прямо от себя голодают. К вину тоже очень припадошны, – башкиры хоть ленивы, да вина не пьют.

– Ну, тут и смотреть нечего, – решил Михей Зотыч. – Хлеб-то тоже к рукам. Владеют городом, а помирают голодом.

Причина казачьей голодовки была налицо: беспросыпная казачья лень, кабаки и какая-то детская беззаботность о завтрашнем дне. Если крестьянин голодает от своих четырех десятин надела, так его и бог простит, а голодать да морить мором скотину от тридцати – прямо

грешно. Конечно, жаль малых ребят да скотину, а ничем не поможешь, – под лежач камень и вода не течет.

Из станиц Михай Зотыч повернул прямо на Ключевую, где уже не был три года. Хорошего и тут мало было. Народ совсем выбился из всякой силы. Около десяти лет уже выпадали недороды, но покрывались то степным хлебом, то сибирским. Своих запасов уже давно не было, и хозяйственное равновесие нарушилось в корне. И тут пшеничники плохо пахали, не хотели удобрять землю и везли на рынок последнее. Всякий рассчитывал перекрыться урожаем, а земля точно затворилась.

– Ручки любит земля-то матушка! – вздыхал Михай Зотыч. – Черная земляка родит беленький-то хлебец и черных ручек требует... А пшеничники позазнались малым делом. И черному бы хлебу рады, да и его не родил господь... Ох, миленькие, от себя страждете!.. Лакомство-то свое, видно, подороже всего, а вот господь и нашел.

Эти строгие теоретические рассуждения разлетались прахом при ближайшем знакомстве с делом. Конечно, и пшеничники виноваты, а с другой стороны, выдвигалась масса таких причин, которые уже не зависели от пшеничников. Первое дело, своя собственная темнота одолевала, тот душевный глад, о котором говорит писание. Пришли волки в овечьей шкуре и воспользовались мглой... По закону разорили целый край. И как все просто: комар носу не подточит.

В Суслон приехали ночью. Только в одном поповском доме светился огонек. Где-то ревели голодная скотина. Во многих местах солома с крыш была уже снята и ушла на корм. Вот до чего дошло! Веяло от всего зловещею голодною тишиной. Навстречу вышла голодная собака, равнодушно посмотрела на приезжих, понюхала воздух и с голодною зевотой отправилась в свою конуру.

«И пес перед хлебом смиряется», – подумал Михай Зотыч, припоминая старинную поговорку.

Емельян уехал с женой в Заполье, а на мельнице оставался один Симон. В первую минуту старик не узнал сына, – так он изменился за этот короткий срок.

– Ну, здравствуй, сынок.

– Здравствуй, тятенька.

– Вот приехал посмотреть, как вы тут поживаете.

– А ничего... Везде одно и то же.

– Видел, милый, что ничего... Хоть шаром покати... да. Чисто живете, одним словом. Давно мельница-то стоит?

– А с осени... Нечего молоть. Вот ждем сибирского хлеба.

– Ждите, миленькие... Только как бы он мимо рта не проехал. Очень уж вы любите дешевку-то.

Отца Симон принял довольно сухо. Прежнего страха точно и не бывало. Михай Зотыч только жевал губами и не спрашивал, где невестка. Наталья Осиповна видела в окно, как подъехал старик, и нарочно не выходила. Не велико кушанье, – подождет. Михай Зотыч сейчас же сообразил, что Симон находится в полном рабстве у старой жены, и захотел ее проучить.

– Ну, спасибо, сынок, за хлеб-соль, – заявил он, поднимаясь.

– Папаша, куда вы? – спросил Симон. – Наташа сейчас выйдет.

– Какая Наташа?

– Жена Наташа.

– Ну, и пусть выходит, когда проспится. Прежде-то снохи свекров за ворота выскакивали встречать, а нынче свекоры должны их ждать, как барынь... Нет, это уж не модель, Симон Михеич. Я вот тебе загадку загну: сноху привели и трубу на крышу поставили. Прощай, миленький!

Старик Анфим, распрягавший лошадь, нисколько не удивился, когда пришел Михай Зотыч и велел снова запрягать. Он привык к выходкам ндравного старика. Что же, ехать так

ехать.

– Вот как нынче в гости к деткам приезжают, – объяснял Михей Зотыч, выезжая с мельницы. – Пожалуйте почаще мимо-то.

Наталья Осиповна выглядывала на гостей из-за косяка и говорила:

– С богом... Губа толще – брюхо тоньше.

Симон чувствовал себя постоянно виноватым перед женой, а теперь еще больше. Но Наташа не взъелась на него, а только прибавила:

– Будет ломаться-то старым чертям... В чужой век живут. Нет, видно, не прежние времена.

Скитники переночевали у какого-то знакомого Михею Зотычу мужичка. Голод чувствовался и в Суслоне, хотя и в меньшей степени, чем в окрестных деревнях. Зато суслонцев одолевали соседи. Каждое утро под окнами проходили вереницы голодающих. Михей Зотыч сидел все утро у окна, подавал купленный хлеб и считал голодных.

– Ох, боковы работнички, нехорошо! – шамкал он. – Привел господь с ручкой идти под чужими окнами... Вот до чего лакомство-то доводит! Видно, который и богат мужик, да без хлеба – не крестьянин. Так-то, миленькие!.. Ох, нужда-то выучит, как калачи едят!

Старец Анфим молчал всю дорогу, не желая поддаваться бесовскому смущению, а тут накинудся на Михея Зотыча:

– Што это ты дребезжишь, как худой горшок? Чужую беду руками разведу... А того не подумаешь, что кого осудил, тот грех на тебе и взыщется. Умен больно!

– А ежели правда?

– Правда-то ко времю... Тоже вон хлеб не растет по снегу. Так и твоя правда... Видно, мужик-то умен, да мир дурак. Не величайся чужой бедой... Божье тут дело.

Михей Зотыч смущенно умолк. Терпелив был Анфим, а как прорвет – удержу нет.

– Ну, прости на скором слове, честной отец, – покорно проговорил Михей Зотыч.

– Мне-то чего тебя прощать, скрипуна, а вот ты ложкой кормишь, а стеблем глаза колешь.

– Ох, согрешил, честной отец!

Смирения у Михея Зотыча, однако, хватило ненадолго. Он узнал, что в доме попа Макара устраивается «голодная столовая», и отправился туда. Ему все нужно было видеть. Поп Макар сильно постарел и был весь седой. Он два года назад похоронил свою попадью Луковну и точно весь засох с горя. В первую минуту он даже не узнал старого приятеля.

– Вы насчет земства? – спрашивал старик Михея Зотыча. – Ах, да что же это я!.. Во-первых, здравствуй, Михей Зотыч, а во-вторых, будь гостем.

– Спасибо, спасибо, батя... Вот зашел проведать тебя. Как вы тут поживаете?

– А плохо, Михей Зотыч. Как попадья померла, так и пошло все вверх дном. Теперь вон голод... При попадье-то о голоде и не слыживали, а как она померла...

– Сказывают, казна будет кормить?

– Наехали земские... Как же!.. У меня сняли на дворе избу под столовую. Земская барышня приехала, а потом Ермилыч орудует... Он ведь нынче тоже по земству.

«Земской барышней» оказалась Устенка, которая приехала с какими-то молодыми людьми устраивать в Суслоне столовую для голодающих. Мельник Ермилыч в качестве земского гласного помогал. Он уже целое трехлетие «служил» в земстве и лез из кожи, чтобы чем-нибудь выдвинуться. Конечно, он поступал во всем, руководствуясь советами Замараева.

Появление скитского старца в голодной столовой произвело известную сенсацию. Молодые люди приняли Михея Зотыча за голодающего, пока его не узнала Устенка.

– Михей Зотыч, как вы-то сюда попали? – удивлялась она, здороваясь со стариком.

– А мимо ехал, красавица. Ехал, да и заехал. Эти молодцы-то поповичи будут?

– Нет, студенты. Сами приехали. Вот двое фельдшерами будут, а другие так, помогать.

– Так, так... Дай бог. А я думал, поповичи, потому бойки больно.

Как раз в этот момент подвернулся Ермилыч, одетый уже по-городскому – в «спинжак», в крахмальную сорочку и штаны навывпуск.

– А, Михею Зотычу, сорок одно с кисточкой! – бойко поздоровался он.

– Здравствуй, здравствуй, миленький.

– Завернул поглядеть, как мы будем народ кормить? Все, брат, земство орудует... От казны способность выхлопотали, от партикулярных лиц имеем тоже. Как же!.. Теперь вот здесь будем кормить, а там деньгами.

– Так, так... От денег-то народ и в раззор пошел, а вы ему еще денег суете. От ваших денег и голод.

– Как же это так, Михей Зотыч? – смутился Ермилыч.

– А вот так... Ты подумай-ка своим-то умом. Жили раньше без денег и не голодали, а как узнали мужички, какие-такие деньги бывают, – ну, и вышел голод. Ну, теперь-то понял?

Ермилыч только чесал в затылке, а Михей Зотыч хлопнул его по плечу и вышел.

III

Вернувшись домой, Михей Зотыч опять должен был каяться в «скором слове», а честной отец Анфим опять начал его.

– Это он тебя подтыкает на скорые-то слова, Михей Зотыч... Мирское у тебя на уме. А ты думай про себя, что хуже ты всех, – вот ему и нечего будет с тобой делать. А как ты погордился, он и проскочит.

– Не могу я умирить себя. Даве это меня Ермилыч ушиб... Все у них деньги на уме.

– Расширился, оказывают, Ермилыч-то... В рост деньги дает мужикам, а сам все за бесценнок скупают. Ему несут со всех сторон, а он берет... Тоже ремесло незавидное. Да еще хвалится: я, грит, всех вас кормлю.

– Не к добру распыхался.

Из Суслона скитники поехали вниз по Ключевой. Михей Зотыч хотел посмотреть, что делается в богатых селах. Везде было то же уныние, как и в Суслоне. Народ потерял голову. Из-под Заполья вверх по Ключевой быстро шел голодный тиф. По дороге попадались бесцельно бродившие по уезду мужики, – все равно работы нигде не было, а дома сидеть не у чего. Более малодушные уходили из дому, куда глаза глядят, чтобы только не видеть голодавшие семьи.

За Суслонем рассажались по Ключевой такие села, как Роньжа, Заево, Бакланиха. Некоторые избы уже пустовали, – семьи разбрелись, как после пожара. Михей Зотыч купил муки у попа Макара и раздавал фунтами и просто пригоршнями. Бабы так и рвали с причитаньем и плачем.

Когда старцы уже подъезжали к Жулановскому плесу, их нагнал Ермилыч, кативший на паре своих собственных лошадей. Дорожная кошевка и вся упряжка были сделаны на купеческую руку, а сам Ермилыч сидел в енотовой шубе и бобровой шапке. Он что-то крикнул старикам и махнул рукой, обгоняя их.

– Ко мне заезжайте, старички! – донеслось уже издали.

– Ловко катается, – заметил Анфим. – В Суслоне оказывали, что он ездит на своих, а с земства получает прогоны. Чиновник тоже. Теперь с попом Макаром дружит... Тот тоже хорош: хлеба большие тысячи лежат, а он цену выжидает. Злобятся мужички-то на попа-то... И куда, подумаешь, копит, – один, как перст.

– Вот и ты осудил, – поймал его Михей Зотыч. – Хоша он и не наш поп, а все-таки на нем сан... Взыск-то с тебя вдвое.

– И то согрешил, Михей Зотыч... Согрешил, родимый. Народ-то болтает, – ну, и я за другими.

– А ты поддержи язык-то за зубами. Заедем, што ли, к Ермилычу на мельницу? Надо на него поглядеть дома-то.

– И то завернем. Коня хоть покормим.

Мельница Ермилыча была уже в виду, когда навстречу скитникам попал скакавший без шапки мужик.

– Ох, не ладно, родимые! – крикнул он на скаку. – В Суслон... в волость... Ох, не ладно!

Подъезжая уже к самой мельнице, скитники заметили медленно расходившуюся толпу. У крыльца дома стояла взмыленная пара, а сам Ермилыч лежал на снегу, раскинув руки. Снег был утоптан и покрыт кровавыми пятнами.

– Ох, не ладно! – повторил Анфим слова скакавшего мужика.

Остановив сани, скитники подошли к убитому, который еще хрипел. Вся голова у него была залита кровью, а один глаз выскочил из орбиты. Картина была ужасная. На крыльце дома показался кучер и начал делать скитникам какие-то таинственные знаки. Начинаясь расходиться толпа опять повернула к месту убийства.

– Уезжайте подобру-поздорову! – уже крикнул кучер. – Расстервенился народ.

– Ну, нас-то это не касаемо, – спокойно ответил Михей Зотыч. – Кто сделал, тот и ответ даст.

Толпа все надвигалась. Послышался чей-то одинокий голос:

– Ребята, да ведь это старичонко с Прорыва!

– Он!.. Братцы, это Колобов!.. Он первую крупчатку поставил и всех нас разорил. Его работа.

– Он наколдовал, старичонко, голод-то!.. Ишь как ловко присунулся!

Толпа загалдела вся разом и двинулась к Мельникову дому. Задние подталкивали передник. Анфим забрался в сани и умолял Михея Зотыча уезжать.

– Не боюсь я дурачков! – спокойно ответил упрямый старик.

Толпа продолжала наступать, и когда передние окружили Михея Зотыча, Анфим не вытерпел и понукал лошадь. Кто-то хотел загородить ему дорогу, кто-то хватался за поводья, но лошадь была ученая и грудью пробил живую стену. Мелькнули только искаженные злобой лица, сжатые кулаки. Кто-то сдернул с Анфима шапку. Полетела вдогонку толстая палка. Все это случилось так быстро, что Анфим опомнился только за околицей.

Оглянувшись, Анфим так и обомлел. По дороге бежал Михей Зотыч, а за ним с ревом и гиком гналась толпа мужиков. Анфим видел, как Михей Зотыч сбросил на ходу шубу и прибавил шаг, но старость сказывалась, и он начал уставать. Вот уже совсем близко разъяренная, обезумевшая толпа. Анфим даже раскрыл глаза, когда из толпы вылетела пара лошадей Ермилыча, и какой-то мужик, стоя в кошевой на ногах, размахивая вожжами, налетел на Михея Зотыча.

– Господи, прости раба твоего Михея! – взмолился Анфим, погоняя лошадь.

К своему ужасу он слышал, что пара уже гонится за ним. Лошадь устала и плохо прибавляла ходу. Где же одной уйти от пары? Анфим уже слышал приближавшийся топот и, оглянувшись, увидел двух мужиков в кошевке. Они были уже совсем близко и что-то кричали ему. Анфим начал хлестать лошадь вожжами.

– Эй, не гони! Лошадь изведешь! – кричал кто-то сзади.

А топот был все ближе. Вот уже совсем наседают. Даже слышно, как тяжело храпит закормленный коренник.

– Стой!

Анфим продолжал отчаянно хлестать лошадь вожжами, когда кошевка поровнялась с ним.

– Стой, отчаянный! Лошадь изведешь!

Анфим только сейчас узнал голос Михея Зотыча. Да, это был он, цел и невредим. Другой мужик лежал ничком в кошевке и жалобно стонал.

– Вот так погостили! – добродушно смеялся Михей Зотыч, останавливая взмыленных лошадей. – Нечего сказать, ловко!

Лежавший в кошевке кучер продолжал стонать.

– Ох, убили!.. Смертынька моя!

– Ну-ка, покажи, какой тебе гостинец достался? – спокойно говорил Михей Зотыч.

– А плечо у меня... как саданет Гришка Уметов оглоблей.

Михей Зотыч осмотрел ушиб, затекавший багровым пузырем, ощупал, цела ли кость, и решил:

– Ничего, заживет... Твое счастье, что по шубе пришлось, а то остался бы без руки.

Молодой парень кучер сел в кошевке и зарыдал истерически.

– Расстервенились, варнаки!.. Дядя-то Егор с поленом за мной гнался... Это, кричит, змей, а не племянник!.. А тут подвернулся Гришка Уметов... Ка-ак саданет...

Парень долго не мог успокоиться и время от времени начинал причитать как-то по-бабьи. Собственно, своим спасеньем Михей Зотыч обязан был ему. Когда били Ермилыча, кучер убежал и спрятался, а когда толпа погналась за Михеем Зотычем, он окончательно струсил: убьют старика и за него примутся. В отчаянии он погнал на лошадях за толпой, как-то пробился и, обогнав Михея Зотыча, на всем скаку подхватил его в свою кошевку.

– Кабы не твоя догадка, так лежать бы мне рядышком с Ермилычем, – спокойно соображал Михей Зотыч. – Спасибо, выручил.

Расщедрившись, старик добыл два медных пятака и сунул их за пазуху рыдавшему спасителю.

– На, пригодятся, миленький.

Когда кучер немного успокоился, скитники узнали, как было все дело с Ермилычем.

– Злобились раньше на него наши мужички, – рассказывал кучер, охая и ощупывая ушибленное место. – Давно злобились, потому как он всю округу забрал в лапы, не тем будь помянут покойник... Все у него были в долгу, как рыба в сети. За его-то денежки, кроме процента, еще отрабатывать приходилось. Даст под заклад два рубля, вычтет вперед проценты в сорок восемь копеек да еще отрабатывай ему в страду. А тут, в голод-то, он и совсем лютовать начал... Что хошь бери, а только не дай с голоду помереть. Напоследях он и удумал штуку... Суслонскому-то попу Макару зазорно самому хлеб в четьредорога продавать, – ну, он через Ермилыча, а Ермилычу опять свой процент с поповского хлеба идет. Мужички-то тошнее того озлобились... Ну, как мы приехали сегодня из Суслона-то, мужички и окружили... «Опять, гряд, за поповским хлебом ездил, кровопивец?» Оно бы ничего, ежели бы Ермилыч не выпимши был... Учал он мужичков ругать, а потом выхватил левольверт и учал левольвертом грозить... Тут уж дядя Егор как саданет его стягом... Потом все бросились и давай рвать, как волки. Дыхануть одинова не успел... А дядя Егор расстервенился и на меня. «Одной свиньи, кричит, мясо!» Ну, я и убежал в сени. А тут вы, как на грех, подъехали... Я-то обозначал вам, штоб уехали, а вы толчетесь около Ермилыча... Ох, смертынька моя!.. Зря человека порешили. Потом опомнятся, как начальство наедет. Не свой брат... Ох, ущемило у меня в плече, Михей Зотыч!

Опасность налетела так быстро и так быстро пронеслась, что скитники опомнились и пришли в себя только вечером, когда приехали в свою раскольничью деревню и остановились у своих. Анфим всю дорогу оглядывался, ожидая потони, но на их счастье в деревне не нашлось ни одной сытой лошади, чтобы догонять скитников. Михей Зотыч угнетенно молчал и заговорил только, когда улеглись спать.

– Анфим... ты спишь?

– Нет.

– А ведь даве-то был у смерти конец.

– Совсем конец приходил, Михей Зотыч.

Колобов только тут припомнил, как предательски поступил с ним честной отец – бросил на растерзание, а сам угнал.

- Анфим, разве это порядок, чтоб угонять?
– А ежели ты уперся, как пень?
– Трусу ты спраздновал, честной отец... Ах, нехорошо! Кабы не догадливый кучер... Ох, горе душам нашим!
– Борзость свою хотел показать, Михей Зотыч.

Припомнив все обстоятельства, Михей Зотыч только теперь испугался. Старик сел и начал креститься, чувствуя, как его всего трясет. Без покаяния бы помер, как Ермилыч... Видно, за родительские молитвы господь помиловал. И то сказать, от своей смерти не посторонись.

- Анфим, а ворота заперты?
– Заперты.
– Точно как будто на улице шум?
– Блазнит тебе, Михей Зотыч. Перекрестись да спи.

Михей Зотыч не мог заснуть всю ночь. Ему все слышался шум на улице, топот ног, угрожающие крики, и он опять трясся, как в лихорадке. Раз десять он подкрадывался к окну, припадал ухом и вслушивался. Все было тихо, он крестился и опять напрасно старался заснуть. Еще в первый раз в жизни смерть была так близко, совсем на носу, и он трепетал, несмотря на свои девяносто лет.

- Анфим, ты спишь?

Анфим притворился спящим и ничего не отвечал.

Потом Михею Зотычу сделалось страшно уже не за себя, а за других, за потемневший разум, за страшное зверство, которое дремлет в каждом человеке. Убитому лучше – раз потерпеть, а убивцы будут всю жизнь казниться и муку мученическую принимать. Хуже всякого зверя человек, когда господь лишит разума.

– Господи, помяни ненавидящие нас!.. Анфим, ты спишь?.. Господи, умири раба твоего Анфима!

IV

В доме Стабровского царило какое-то гнетуще-грустное настроение, хотя по логике вещей и должно было бы быть наоборот. На святках вышла замуж Дидя, и с этим моментом кончились отцовские заботы Стабровского. Жених явился из Польши, откуда его направили бесконечные польские тети. Он даже приходился каким-то отдаленным родственником Стабровскому и приехал, как свой человек. Молодой, красивый инженер ехал в далекую Сибирь с широкими планами обновить мертвую страну разными предприятиями. Тети предупредили Стабровского, что пан Казимир Ярецкий может составить отличную партию для Диди. Старик громко расхохотался над этим предположением. Конечно, Дидя – женщина и в свое время должна пройти свой женский круг, но примириться на каком-то Ярецком... Дидя хотя и не совершенство, но она еще так мало видела людей и легко может сделать ошибку в своем выборе. Вообще эта комбинация не входила в планы Стабровского. Он мечтал завершить образование Диди поездкой за границу, чтобы показать дочери настоящую жизнь и настоящих людей. В сущности Дидя все-таки провинциалка и ничего не знает, а там раскроются новые горизонты и наберется для сравнения новый материал. Но эта предполагаемая поездка все не устраивалась. С одной стороны, свои дела не пускали, а с другой – как-то неловко было оставить больную жену. Тащить ее за границу тоже не приходилось, потому что домашних удобств и привычек ничто не могло ей заменить, никакая заграница, она уже была в таком возрасте, когда тяжелы всякие перемены. Так дело и тянулось из года в год, тем более что и Дидя была слишком молода.

К молодому пану Казимиру Стабровский отнесся довольно холодно, как относятся к дальним родственникам, а Дидя с первого раза взяла над ним верх и без стеснения вышучивала каждый его шаг. Стабровский успокоился, потому что из такой комбинации, конечно, ничего не могло выйти. Сам по себе пан Казимир был неглуп, держал себя с тактом, хотя в нем и не было того блестящего ума, который выдвигает людей из толпы. Стабровскому казалось, что в молодом пане те же черты вырождения, какие он со страхом замечал в Диде.

Впрочем, в данном случае старик уже не доверял самому себе, – в известном возрасте начинает казаться, что прежде было все лучше, а особенно лучше были прежние люди. Это – дань возрасту, результат собственного истощения.

По всей вероятности, пан Казимир уехал бы в Сибирь со своими широкими планами, если б его не выручила маленькая случайность. Еще после пожара, когда было уничтожено почти все Заполье, Стабровский начал испытывать какое-то смутное недомоганье. Какая-то тяжесть в голове, бродячая боль в конечностях, ревматизм в левой руке. Все это перед рождеством разрешилось первым ударом паралича, даже не ударом, а ударцем, как вежливо выразился доктор Кацман.

– Это первое предостережение, доктор, – спокойно заметит Стабровский, когда пришел в себя. – Зачем себя обманывать?.. Я понимаю, что с таким ударцем можно протянуть еще лет десять – пятнадцать, но все-таки скверно. Песенка спета.

Стабровского приятно поразило то внимание, с каким ухаживала за ним Дидя. Она ходила за ним, как настоящая сиделка. Стабровский не ожидал такой нежности от холодной по натуре дочери и был растроган до глубины души. И потом Дидя делала все так спокойно, уверенно, как совсем взрослая опытная женщина.

Организм у Стабровского был замечательно крепкий, и он быстро оправился. Всякое выздоровление, хотя и относительное, обновляет человека, и Стабровский чувствовал себя необыкновенно хорошо. Именно этим моментом и воспользовалась Дидя. Она как-то вечером читала ему, а потом положила книгу на колени и проговорила своим спокойным тоном, иногда возмущавшим его:

– Папа, ты не любишь Казимира, я это знаю.

– Не то чтобы совсем не люблю, Дидя, а так, вообще... Есть люди особенные, выдающиеся, сильные, которые делают свое время, дают имя целой эпохе, и есть люди средние, почти бесформенные.

– Вот именно к таким средним людям и принадлежит Казимир, папа. Я это понимаю. Ведь эта безличная масса необходима, папа, потому что без нее не было бы и выдающихся людей, в которых, говоря правду, я как-то плохо верю. Как мне кажется, время таинственных принцев и еще более таинственных принцесс прошло.

– Дидя, а иллюзии? Ведь в жизни иллюзия – все... Отними ее – и ничего не останется. Жизнь в том и заключается, что постепенно падает эта способность к иллюзии, падает светлая молодая вера в принцев и принцесс, понижается вообще самый *appetitus vitae*... Это – печальное достояние нас, стариков, и мне прямо больно слышать это от тебя. Ты начинаешь с того, чем обыкновенно кончают.

Девушка посмотрела на отца почти с улыбкой сожаления, от которой у него защемило на душе. У него в голове мелькнула первая тень подозрения. Начато не обещало ничего хорошего. Прежде всего его обезоруживало насмешливое спокойствие дочери.

– Ты что-то хочешь сказать мне, Дидя?

– Да.

– Предыдущее служило подготовлением?

– Да.

Наступила неловкая пауза, и Стабровский со страхом посмотрел на дочь. Вот когда началось то, чего он боялся! До сих пор она принадлежала ему, а теперь...

– Дидя, ты влюблена? – тихо спросил он, чувствуя, как весь начинает холодеть.

– Нет.

Она засмеялась. Он облегченно вздохнул. Она наклонилась к нему, поцеловала и проговорила:

– Папа, я неспособна к этому чувству... да. Я знаю, что это бывает и что все девушки мечтают об этом, но, к сожалению, я решительно не способна к такому чувству. Назови это уродством, но ведь бывают люди глухие, хромые, слепые, вообще калеки. Значит, по аналогии, должны быть и нравственные калеки, у которых недостает самых законных чувств.

Как видишь, я совсем не желаю обманывать себя. Ведь я тоже средний человек, папа... У меня ум перевешивает все, и я вперед отравлю всякое чувство.

– А ты не ошибаешься?

– Опять спасительная логика среднего человека, папа... Вместо иллюзии здесь является довольно грустный житейский расчет.

– Дитя, ты меня пугаешь...

– Поговорим, папа, серьезно... Я смотрю на брак как на дело довольно скучное, а для мужчины и совсем тошное. Ведь брак для мужчины – это лишение всех особенных прав, и твои принцы постоянно бунтуют, отравляют жизнь и себе и жене. Для чего мне муж-герой? Мне нужен тот нормальный средний человек, который терпеливо понесет свое семейное иго. У себя дома ведь нет ни героев, ни гениев, ни особенных людей, и в этом, по-моему, секрет того крошечного, угловатого эгоизма, который мы называем семейным счастьем.

Рассудительность Диди тяжело подействовала на Стабровского, – ведь это своего рода холодный и беспринципный разврат. С другой стороны, она совершенно застрахована от обыкновенных женских слабостей, хотя такие сдержанные натуры иногда и кончают очень плохо.

Долго раздумывал Стабровский и так и этак, а главное – о том, что не сегодня-завтра он может умереть и Дидя останется совершенно на произвол судьбы. Конечно, пан Казимир заставляет желать многого, чтобы сделаться приличным совершенством, но все равно другого выбора нет. Старик плохо помнил, как дал свое согласие на этот брак, а через неделю после свадьбы уже проклинал себя. Где у него были глаза? Ведь пан Казимир прежде всего глуп, да еще самонадеянно глуп, а потом он получил взамен ума порядочную дозу самой нехорошей мелкой хитрости, и, наконец, он зол, как маленькое бессильное животное. Стабровский возненавидел зятя и просто не мог выносить его присутствия. В довершение всего Дидя, умненькая, рассудительная и холодная, как маленькая змейка, ничего этого не видела и, кажется, была счастлива, что связала свою жизнь с этим вырождающимся ничтожеством.

Раз у Стабровского с зятем разыгралась довольно крупная сцена. Старика больше всего поразило то, что присутствовавшая при этом Дидя упорно молчала, она была согласна с мужем и только из вежливости не противоречила отцу. Ясно, что произошла перемена подданства. Результатом этой сцены был второй, уже настоящий удар, уложивший Стабровского на три месяца в постель. У него отнялась вся правая половина, скосило лицо и долго не действовал язык. Именно в таком беспомощном состоянии его и застала голодная зима. И было достаточно трех месяцев, чтобы все, что подготовлялось целую жизнь, разом нарушилось. Произошло нечто вроде отложения подданных. Прежде всего распалось соглашение винокуров, и Стабровский перестал получать отступное; потом в банке, видимо, на Стабровском поставили крест и не считали нужным даже отвечать на его письма; наконец, отдельные лица, обязанные ему всем, проявили самую черную неблагодарность. Особенно типичным примером таких отношений был тот, когда Галактион отказался не только платить взятые у Стабровского пятьдесят тысяч, но даже отказался приехать для личных объяснений.

– Зачем я поеду к нему? – удивлялся Галактион с прямолинейностью настоящего мошенника. – Пусть господин Стабровский лучше посчитает, сколько я ему доставил барышей, когда трепался по кабакам...

И другие были не лучше: Штофф, Мышников, свои собственные служащие, и лучше всех, конечно, был зять, ждавший его смерти, как воскресения. О, как теперь всех понимал Стабровский и как понимал то, что вся его жизнь была одною сплошною ошибкой!

Сознание вернулось, но говорить правильно Стабровский не мог. Он подыскивал или забывал слова и говорил совсем не то, что желал. Это доводило его до слез. Все понимать и не иметь возможности все объяснить – что может быть хуже? Болезнь развила в нем страшную подозрительность, – он теперь не верил даже родной дочери. Из всех окружающих он отдавал предпочтение деревянной мисс Дудль, которая была всегда одинакова, да еще Устенке, которая приходила навещать его почти каждый день. Девушка приносила с собой неистощимый запас печальных новостей.

– Если бы вы только могли видеть, Болеслав Брониславич! – говорила Устенка со слезами на глазах. – Голодающие дети, голодающие матери, старики, отцы семейств... Развивается голодный тиф.

– Да? – равнодушно удивлялся Стабровский. – И я тоже голоден... А что значит: есть?.. Меня доктора заставляют есть.

В другой раз Стабровский сказал Устенке:

– Они голодны? Какое счастье!.. Если б я мог быть голодным!

Он даже приподнялся на подушке и со слезами на глазах объяснил свою мысль:

– Я постоянно голоден, но не могу есть... И это даже не голод в собственном смысле, а это... это... это... Ах, я все готов был бы отдать за то, чтобы быть таким голодным, как ваши голодные!.. Я им завидую.

Это был какой-то сумасшедший бред, и Стабровский только по сдержанно-грустному выражению лица Устенки догадывался, что он говорит что-то невозможное, старался поправиться и окончательно запутывался в собственных словах.

Устенка в отчаянии уходила в комнату мисс Дудль, чтоб отвести душу. Она только теперь в полную меру оценила эту простую, но твердую женщину, которая в каждый данный момент знала, как она должна поступить. Мисс Дудль совсем сжилась с семьей Стабровских и рассчитывала, что, в случае смерти старика, перейдет к Диде, у которой могли быть свои дети. Но получилось другое: деревянную англичанку без всякой причины возненавидел пан Казимир, а Дидя, по своей привычке, и не думала ее защищать.

– Они выгонят меня из дому, как старую водовозную клячу, – спокойно предусматривала события мисс Дудль. – И я не довела бы себя до этого, если бы мне не было жаль мистера Стабровского... Без меня о нем все забудут. Мистер Казимир ждет только его смерти, чтобы получить все деньги... Дидя будет еще много плакать и тогда вспомнит обо мне.

– Мисс Дудль, если вы почему-нибудь вздумаете – переезжайте прямо ко мне, – предлагала несколько раз Устенка. – Право, мы проживем вместе недурно.

Мисс Дудль каждый раз удивлялась и даже целовала Устенку. Эти поцелуи походили на прикладывание мраморной плиты. И все-таки мисс Дудль была чудная девушка, и Устенка училась, наблюдая эту выдержанную английскую мисс.

V

После пожара прошло пять лет, и Заполье выстроилось заново. От старого города осталось очень немного. Показались пустыри, на которых некому было строиться. В общем город получил новенький вид и, пожалуй, был красивее старого. Этот пожар dokonчил разорение того среднего купечества, которое составляло силу старого города. Повидимому, была и торговля и промышленность, то все это являлось каким-то призраком. Теперь вся жизнь строилась на кредите: дома строили в кредит, промысла в кредит, торговля в кредит. Свободных капиталов не было, как раньше. Пожар разорил даже таких капиталистов, как Евграф Огибенин и старик Луковников. Это были последыши запольского разорения. На их месте возникали новые состояния буквально из ничего, как на растительном перегное растут грибы: во главе стояли банковские воротилы – Мышников, Штофф и Галактион, а из-за их широких спит выдвигались совсем уже темные люди, как бывший писарь Замараев, сладкий братец Прасковьи Ивановны Голяшкин.

Разорение ушло далеко в степь. Киргиз Шахма держался только банком, Сашка Горохов разорился и спился, винокур Прохоров, хотя и держался, но тоже был в худых душах. У банка была какая-то задача систематически разорять всех.

Вскоре после пожара старик Луковников привел в порядок свои дела и пришел к печальному открытию, что он разорен бесповоротно. Все капиталы съела мельница, дававшая в последние годы дефицит около тридцати тысяч рублей, да еще к этому следовало прибавить мертвый капитал, затраченный на нее и не дававший процента, платежи по банковским ссудам и т. д. Доходные годы не могли покрыть этих дефицитов, а только на время отдаляли неминуемую беду. Все дело заключалось только в том, чтобы выиграть время и дожидаться, когда какой-нибудь один год даст сотни тысяч дивиденда. Но для этого нужны были новые средства, а кредит уже кончался. Луковникова удивляло больше всего то, что все другие знали его дела, пожалуй, лучше, чем он сам. Это выяснилось особенно точно, когда ему пришлось закладывать мельницу в Запольском банке.

– Мы, собственно, такими операциями не занимаемся, – заявил Штофф, к которому обратился Луковников. – Вам всего лучше обратиться куда-нибудь в другой банк.

– Время дорого, Карл Карлыч.

Тяжело было Луковникову обращаться именно в Запольский банк, где воронил всеми делами Мышников, но делать нечего – нужда загнала. Банковское правление долго тянуло это дело, собирало какие-то справки, и, наконец, состоялось решение выдать под мельницу ссуду в тридцать тысяч рублей.

– Господа, да ведь она мне стоит больше трехсот тысяч! – взмолился Луковников. – Ведь вы все хорошо это знаете.

– Отчего вы не обратились в другой банк, Тарас Семеныч? – объяснил Драке, по своему обыкновению, вопросом. – Разве мы кому-нибудь даем больше? Вообще вы, значит, недовольны?..

Пришлось помириться на этой сумме, чтобы заткнуть кое-какие кредитные дыры. Кредиторы точно сговорились и наступали на Луковникова все теснее.

Заклад мельницы оттянул окончательное разорение на очень небольшое время. Явился первый протестованный вексель, когда-то выданный еще покойному Нагибину, а это вызвало закрытие банковского кредита и объявление несостоятельности. Назначен был конкурс, и все имущество поступило уже в его ведение. Тяжелее всего Луковникову было то, что ему не пришлось дослужить последнего трехлетия городским головой и выйти даже из состава гласных. Все рушилось как-то разом. Старик в каких-нибудь полгода совершенно поседел, как-то опустился и принял тот недоумевающий вид, как и все другие «конкурсные». У него теперь явились какие-то необычайные планы, детские расчеты и еще более детские надежды. Главное, что его мучило, это – Устенка, которая из богатой невесты превратилась в нищую. Эта последняя мысль ела старика день и ночь.

– Перестань, пожалуйста, папа, – уговаривала его Устенка. – Не стоит даже и говорить о таких пустяках... Будет день – будет и хлеб.

– Ах, Устенка, Устенка, ничего ты не понимаешь!

– Нет, папа, отлично понимаю. Ну, скажи, пожалуйста, для чего нам много денег: ведь ты два обеда не съешь, а я не надену два платья?.. Потом, много ли богатых людей на свете, да и вопрос, счастливее ли они от своего богатства?

Когда дом и все имущество были описаны, Устенка наняла небольшую квартиру в три комнаты и переехала в нее с отцом и старой нянькой Матреной. Девушка была совершенно счастлива, что может на свои средства содержать отца, – она зарабатывала уже около пятидесяти рублей в месяц, потому что, кроме переводов в «Запольском курьере», занимала еще место секретаря этой газеты. К Луковниковым же переселился в качестве квартиранта и Ечкин, выпущенный из острога «по недостатку улик». Устенка сама предложила ему квартиру, отплачивая ему за то добро, которое он сделал ей, когда определил к Стабровским. Тюремное почти годовое заключение подействовало на Ечкина самым разрушающим образом. Из цветущего и жизнерадостного мужчины он сразу превратился в подержанного джентльмена, точно весь вылинял. Главное, что его погубило, это – невозможность выехать из Заполья. И все из-за дурацкого дела об отравлении Нагибина. Кредиторы заперли его в Заполье, как охотники обкладывают в берлоге дикого зверя, обязав подпиской о невыезде. А что мог сделать Ечкин в этом разоренном городе?

У Ечкина попрежнему роились тысячи планов, он ждал каких-то спасительных сроков, писал без конца кому-то и куда-то бесконечные деловые письма и не думал сдаваться.

– У тебя, как у лисы, тысячи думушек, – добродушно шутил над ним Луковников. – Оба, брат, мы с тобой, как в сказке лиса, попали банковской бабе на воротник... У банка-то одна думушка!

Устенка очень рада была Ечкину, который развлекал отца и не давал ему задумываться. Они как-то особенно близко сошлись между собой и по вечерам делились своими планами...

– Мне всего две недели подождать, – по секрету сообщал Ечкин, подмигивая, – а там...

– И мне тоже, Борис Яковлич... Всего две недели тоже!

И они ждали свои две недели, как дети. Устенка должна была выслушивать этот бред и соглашаться.

Нагибинское дело остановилось в неопределенном положении. За недостатком улик был выпущен и Полуянов. Выпущенный раньше Лиодор несколько раз являлся к следователю с новыми показаниями, и его опять сажали в острог, пока не оказывалось, что все это ложь. Все внимание следователя сосредоточивалось теперь именно на Лиодоре, который казался ему то психически ненормальным человеком, то отчаянным разбойником, смеявшимся над ним в глаза. В последний раз Лиодора к следователю отправил сам Харитон Артемьич.

– Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, господин следователь второго участка, – заявлял старик. – Сам привел к вам разбойника... Он стравил Нагибина. Уж поверьте родному отцу.

– Действительно я, – равнодушно соглашался Лиодор.

Он даже рассказал целую историю этого отравления, пока следователь не догадался отправить его на испытание в больницу душевнобольных. Отец тоже был ненормален и радовался, как ребенок, что еще раз избавился от сына.

– Туда ему и дорога, разбойнику! – повторял он, крестясь. – Он и меня стравит.

Вообще в Заполье появился целый ряд тронувшихся людей, как Малыгин с сыном, бывший исправник Полуянов и Луковников с Ечкиным. У каждого был свой пунктик.

Разорению Луковникова предшествовала романическая история Устенки с Галактионом. Это было что-то нелепое, почти невозможное, если б оно не было на самом деле. Устенка относилась к Галактиону с гадливым презрением и в глаза высказывала, за что его принимает. Но Галактиона это не остановило. Его так и тянуло в дом к Луковникову. Он являлся под всевозможными предлогами, чтобы хоть издали увидеть своего красивого молодого врага. Галактиона охватила самая тяжелая страсть, страсть пожилого человека, терявшего голову. Тут уже не было ни молодых расчетов, ни сдержанности, ни самолюбия. Одно желание охватывало всего человека: видеть ее. Галактион еще до пожара заявил Харитине, что любит Устенку и женится на ней во что бы то ни стало. Харитина к этому откровенному признанию отнеслась совершенно равнодушно. Она слишком устала жить... Что же, пусть женится, если нравится.

Сама Устенка страшно перепугалась, когда открыла истинную причину частых визитов Галактиона. Он показался ей просто сумасшедшим человеком, и она всячески старалась избегать его. Каждый звонок заставлял ее вздрагивать. В свою редакцию она бежала так скоро, точно кто за ней гнался. И все-таки она часто встречала Галактиона. Он, как мальчишка, по целым часам поджидал ее на улице, бродил по вечерам, как тень, под окнами редакции «Запольского курьера», где она занималась, и был счастлив, когда мог раскланяться с ней хоть издали. Устенка боялась какой-нибудь грубой выходки, открытого нападения, но все дело ограничивалось молчаливым преследованием. Последнее ее успокоивало, и она даже набралась столько храбрости, что раз остановилась на улице, дождалась провожавшего ее издали Галактиона и очень резко заявила ему:

– Вы меня компрометируете, Галактион Михеич... У вас свои взрослые дочери, и, кажется, уж вам-то должно быть стыдно. Я вас презираю.

Галактион только смотрел на нее и молчал. Он весь был в этом взгляде, и его молчание было красноречивее всяких слов. Устенка повернулась и почти бегом бросилась домой. Она не стала пить чай, хотя отец и Ечкин каждый вечер ждали ее возвращения, как было и сегодня, а прошла прямо в свою комнату, заперлась на крючок и бросилась на кровать. Ее душили бессильные слезы. Галактион казался ей каким-то проклятым человеком, который тенью бродил по городским улицам. Ведь он довел до мертвого запоя нелюбимую жену, он разыграл роман с Прасковьей Ивановной, он теперь мучил несчастную Харитину... И все эти женщины за что-то любили этого проклятого человека, ждали его ласкового взгляда, улыбались ему счастливыми улыбками и потом проклинали.

Ночное раздумье привело Устенку к решению. Она должна была, как это ни тяжело, объясниться с Галактионом. Вообще получалась самая глупая и нелепая история.

Объяснение произошло в квартире Харченки, куда Галактион пришел навестить детей.

– Что вам от меня нужно? – резко спросила девушка.

– Ничего, – виновато ответил Галактион.

– В таком случае, вы понимаете, что ваше преследование меня по пятам – мерзость... За меня даже заступиться некому, и вы пользуетесь моею беззащитностью. Ко всем хорошим качествам, о которых я вам уже говорила, вы присоединяете новое.

– А если мне тошно, Устинья Тарасовна? Может быть, впору руки на себя наложить.

– Скажите, пожалуйста, вы, должно быть, повторяете это всем женщинам, имевшим неосторожность увлекаться вами? Я не из таких.

Галактион вообще имел такой несчастный вид, что приготовившаяся его разнести девушка немного растерялась. Некого было даже бранить.

– Меня удивляет ваша бессовестность, – говорила она, напрасно стараясь рассердиться. – Да, полная бессовестность.

– Если бы вы меня не ненавидели, Устинья Тарасовна, я давно сделал бы вам предложение.

– Не смейте этого говорить, несчастный!.. Вы годитесь мне в отцы!

– Устинья Тарасовна, когда с вами случится это, тогда вы меня вспомните. Есть такие роковые люди.

После этого откровенного объяснения, происходившего вскоре после пожара, Галактион на время оставил девушку в покое. Но затем он неожиданно явился прямо в дом к Луковникову, когда Устенка была одна.

– Я сейчас уйду, Устинья Тарасовна... Пожалуйста, не бойтесь меня. Я пришел предложить помощь Тарасу Семенычу.

– Я скажу папе, чтоб он просто не принимал вас.

– Но ведь он разорится?

– Это вас не касается.

Галактион молча поклонился и вышел. Это была последняя встреча. И только когда он вышел, Устенка поняла, за что так любили его женщины. В нем была эта покрывающая, широкая мужская ласка, та скрытая сила, которая неудержимо влекла к себе, – таким людям женщины умеют прощать все, потому что только около них чувствуют себя женщинами. Именно такую женщиной и почувствовала себя Устенка.

VI

Первые приступы голода начались еще с осени, когда был съеден первый хлеб. Урожай был настолько скуден, что в большинстве случаев не собрали семян. Тяжелая крестьянская беда обложила все. Остановилась прежде всего всякая торговля. Купцы сидели в пустых лавках. Промыслы тоже стали. Нигде никакой работы, а впереди целая голодная зима. Продовольственных капиталов совсем не оказалось, считавшиеся на бумаге хлебные магазины стояли пустыми. Положение вообще было вполне безвыходное. Уже с осени, по первым заморозкам, Заполье очутилось в каком-то малом осадном положении. В город со всех сторон брели толпы голодающих, – это был авангард страшной голодной армии. Городское управление решительно не знало, что делать. В городе тоже начинался свой собственный голод, а тут толпы нищих из уезда. Никаких специальных сумм на удовлетворение страшно разгоравшейся беды не было, на частную благотворительность совсем нельзя было рассчитывать, а оставалось одно земство, которое должно было заботиться о своем уезде. «Ступайте в земскую управу», – предлагали голодным. После Луковникова городским головой был избран Мышников, изображавший собой «маленького губернатора», как вышучивал «Запольский курьер». Новый городской голова принимал всевозможные меры, чтоб оградить свои владения от вторжения голодающих, и ничего не мог поделать.

Запольское земство еще после уборки хлеба раннею осенью представило губернскому земскому собранию подробный доклад о положении дела. Доклад писал Харченко толково и обстоятельно. Требовалась настоятельная правительственная помощь. Экстренное земское собрание решило хлопотать о миллионной ссуде, но это ходатайство было опротестовано

губернатором, приславшим своего чиновника особых поручений для расследования дела на месте. Чиновник приехал в Заполье и узнал от Мышникова, что голод придуман «Запольским курьером», а в действительности есть только недород. В этом смысле губернатором и было решено, и ссуда была понижена на семьдесят процентов, а «Запольскому курьеру» сделано соответствующее внушение Мышников острил, называя эту газету «голодной». Наступившая зима показала, что дело обстоит совсем не смешно и что необходимы энергические меры. Так как нужно было что-нибудь говорить, все толковали о дешевом сибирском хлебе. Только бы дожидаться весны, когда вскроются реки. Доверенные крупных уральских хлеботорговцев еще с осени уехали в Сибирь и закупили там громадные партии. Много толковали о тюменских и екатеринбургских купцах, сосредоточивавших все свои силы на сибирском хлебе. В Заполье оставался один крупный мучник, старик Луковников, да и тот как раз уже разорился, и вальцовая мельница, стоившая до четырехсот тысяч, ушла с торгов всего за тридцать. Ее купила компания Замараева, Голяшкина и Ермилыча. Это были дельцы уже новой формации, сменившие старое степенное купечество. Они спекулировали на чужом разорении и быстро шли в гору.

– Не все банку денежки-то огребать, – говорил Замараев. – Надо и протчим народам что-нибудь оставить на зубок.

Со смертью Ермилыча компания осталась из двух, и Замараев высчитал, что наживет на этом тысяч двадцать. Конечно, жаль Ермилыча, хороший был человек, а опять и деньги тридцать тысяч не лишние. Собственно, хлебом Замараев начал заниматься «из-за руки», благодаря Ермилычу, устроившему в Заполье разные хлебные «комиссии». Особенных барышей от этих поручений не было, но и себе не в убыток. Когда начались недороды, Замараев воспользовался случаем и несколько раз надул Ермилыча, утаив львиную долю прибыли. Впрочем, и сам Ермилыч несколько раз обувал Замараева на обе ноги и только глупо хихикал, когда тот начинал ругаться. Эти маленькие недоразумения не мешали большой дружбе, и Замараев искренне жалел безвременно погибшего друга.

– От своей доброты погиб, – говорил Замараев со вздохом. – Конечно, жалел бедноту, – ну, и одолжал, а доброта вон как отрыгнулась.

Свое дело Замараеву окончательно надоело. С грошами приходится возиться и при этом как будто низко. Вон банк обдирает начистоту, и все благородные, потому что много берут, а он, Замараев, точно какой искарיות. Все даже пальцами указывают.

– Тоже вот от доброты началось, – вздыхал он. – Небойсь мужички в банк не идут, а у меня точно к явленной иконе народ прет.

Действительно, замараевская касса осаждалась каждое утро целую толпой крестьян. Закладывался настоящий деревенский мужик, тащивший в город самовары, конскую сбрую, полушубки, бабьи сарафаны и вообще свое мужицкое «барахло», как называл Замараев этот отдел закладов. Нужно отдать справедливость, он принимал эти вещи из участия к захватившей деревню бедности, а настоящего коммерческого расчета с барахлом не могло быть. Бывший волостной писарь отлично понимал ту отчаянную деревенскую нужду, которая закладывалась у него последними потрохами. Купеческие и господские денежки легкие, как и пожитки, а тут выбрасывалось мужицкое добро, точно поднималась тяжелая почвенная вода. Особенно негодовала жена Замараева, потому что от этого мужицкого добра «очень уж тяжелый дух по всему дому идет».

– Ничего ты не понимаешь, Анна, – усовещивал ее Замараев. – Конечно, я им благодетель и себе в убыток баланс делаю: за тридцать-то шесть процентов в год мне и самому никто не даст двугривенного. А только ведь и на мне крест есть... Понимаешь?

Выпущенный из тюрьмы Полуянов теперь занимался у Замараева в кассе. С ним опять что-то делалось – скучный такой, строгий и ни с кем ни слова. Единственным удовольствием для Полуянова было хождение по церквам. Он и с собой приносил какую-то церковную книгу в старинном кожаном переплете, которую и читал потихоньку от свободы. О судах и законах больше не было и помину, несмотря на отчаянное приставанье Харитона Артемьича, приходившего в кассу почти каждый день, чтобы поругаться с зятем.

– Пора о душе тебе позаботиться, – советовал Полуянов.

– Ну, это уж попы знают... Ихнее дело. А ты, Илья Фирсыч, как переметная сума: сперва продал меня Ечкину, а теперь продаешь Замараеву. За Ечкина в остроге насиделся, а за

любезного зятя в самую отдаленную каторгу уйдешь на вечное поселенье... Верно тебе говорю.

Замараев не обращал внимания на ругань богоданного тятеньки и только время от времени повторял:

– Тятенька любезный, все мы под богом ходим и дадим ответ на страшном пришествии, а вам действительно пора бы насчет души соображать. Другие-то старички вон каждодневно, например, в церковь, а вы, прямо сказать, только сквернословите.

Банковские воротилы были в страшной тревоге, то есть Мышников и Штофф. Они совещались ежедневно, но не могли прийти ни к какому результату. Дело в том, что их компаньон по пароходству Галактион держал себя самым странным образом, и каждую минуту можно было ждать, что он подведет. Сначала Штофф его защищал, а потом, когда Галактион отказался платить Стабровскому, он принужден был молчать и слушать. Даже Мышников, разоривший столько людей и всегда готовый на новые подвиги, – даже Мышников трусил.

– Утопит он нас, вот посмотри! – уверял он Штоффа. – Ведь теперь какой момент – он сразу вылезет в миллион, а тогда его уж не достанешь.

– Д-да... вообще... Одним словом, черт его знает, что у него на уме. Главное, как-то прячется ото всех.

Недоразумение выходило все из-за того же дешевого сибирского хлеба. Компаньоны рассчитывали сообща закупить партию, перевести ее по вешней воде прямо в Заполье и поставить свою цену. Теперь благодаря пароходству хлебный рынок окончательно был в их руках. Положим, что наличных средств для такой громадной операции у них не было, но ведь можно было покредитоваться в своем банке. Дело было вернее смерти и обещало страшные барыши.

– Тюменские купцы вон уже зафрахтовали пароходы на всю навигацию, – сообщил Штофф. – Хлеб закупили от семнадцати до двадцати трех копеек за пуд, а продавать хотят по два рубля. Это уж бессовестно.

– Конечно, бессовестно... Мы будем продавать по полтора рубля.

– Другими словами, от каждого пуда возьмем полтину убытка. Ну, да уж как быть, надо послужить миру.

Да, все было рассчитано вперед и даже процент благодеяния на народную нужду, и вдруг прошел слух, что Галактион самостоятельно закупил где-то в Семипалатинской области миллионную партию хлеба, закупил в свою голову и даже не подумал о компаньонах. Новость была ошеломляющая, которая валила с ног все расчеты. Штофф полетел в Городище, чтоб объясниться с Галактионом.

– Это правда? – спрашивал он после некоторых предисловий.

– Да, – коротко ответил Галактион.

– А как же мы-то?

– Вы получите, что причтется на вашу долю за фрахт.

– Ну, это, брат, стара штука!.. Дудки!..

– А контракт? Ведь контракт-то сам Мышников писал: там только и говорится о фрахте, а о совместных закупках товара ничего не сказано, да и капиталов таких нет.

– Капитал мы достанем.

– Об этом раньше надо было подумать, а теперь поздно. Я взял весь фрахт на себя.

– Галактион, есть у тебя совесть? То есть, тьфу... Какая там совесть! Ведь ты тогда пропал бы, если бы мы тебя не выручили, а теперь что делаешь?

– Вы свой кусок хлеба с маслом и получите. Достаточно вы поломались надо мной, а забыли только одно: пароходы-то все-таки мои... да.

– Послушай, да тебя расстрелять мало!.. На свои деньги веревку куплю, чтобы повесить тебя. Вот так кусочек хлеба с маслом! Проклятый ты человек, вот что. Где деньги взял?

– Это уж мое дело. Ведь я не спрашиваю, где вы деньги берете. Одним словом, нам нечего разговаривать.

Вернувшись в Заполье, Штофф резюмировал Мышникову свое мнение:

– Это... это гениальный мерзавец! Все так предусмотреть... Нет, это, наконец, свинство!

Мышникова больше всего занимал вопрос о том, откуда Галактион мог достать денег. Ведь на худой конец нужно двести – триста тысяч.

– Нет, ты считай! – кричал Штофф, начиная рвать редевшие волосы. – Положим, что ему обойдется по двадцать пять копеек пуд – миллион пудов, значит, двести пятьдесят тысяч. Хорошо. Фрахт – пятнадцать копеек с пуда, ну, накладных расходов клади десять копеек – итого пятьсот тысяч. Так? Положим, что он даст за двести пятьдесят тысяч процентов из двадцати пяти – итого шестьдесят две с половиной тысячи. Всего, следовательно, он затрачивает сумму в пятьсот шестьдесят тысяч. Так? А выручил полтора миллиона, если пустит хлеб по нашей цене, значит, голенький миллион в кармане. Нет, это черт знает что такое!

Дальше сделалось известным, что Галактион арендовал мельницу отца в Прорыве, потом ведет переговоры относительно вальцовой мельницы Замараева и Голяшкина и что, наконец, предлагал земству доставить хлеб по одному рублю семидесяти копеек. Все Заполье теперь только и говорило о Галактионе. Он сделался героем дня, которого ждали столько лет. Еще ничего подобного не видали в Заполье, и самый банк с его операциями являлся какою-то детской игрушкой. Слава Галактиона выросла в несколько дней, как снеговой ком. Поднялись все аппетиты и тайные вождения ухватить свою долю. Но дорог был момент: других пароходов не было, и Галактион железною рукой захватил весь хлебный рынок.

Самое скверное было то, что Мышников и Штофф очутились в смешном положении, и все на них указывали пальцами. Ведь они спасли Галактиона, когда он погибал со своими пароходами, а теперь должны были смотреть и ожигаться.

Мышников теперь даже старался не показываться на публике и с горя проводил все время у Прасковьи Ивановны. Он за последние годы сильно растолстел и тянул вместе с ней мадеру. За бутылкой вина он каждый день обсуждал вопрос, откуда Галактион мог взять деньги. Все богатые люди наперечет. Стабровский выучен и не даст, а больше не у кого. Не припрятал ли старик Луковников? Да нет, – не такой человек.

– Решительно негде взять такой суммы! – повторял Мышников, изнывая от желания раскрыть тайну Галактиона. – Ведь уж, кажется, мы-то знаем, у кого и сколько денег... да.

– Умный человек – вот главная причина, – язвила Прасковья Ивановна. – Я всегда это говорила.

– Да ты же и меня тогда подвела дать денег Галактиону на его проклятые пароходы.

– А зачем дурацкий контракт написал?

В довершение всего в «Запольском курьере» появилась анонимная статья «о трех благодетелях». В ней подробно рассказывалась история пароходной компании, а роль Мышникова и Штоффа выставлялась в самом комическом виде. Это была месть Харченки.

VII

Начиная с осени Устенка была завалена работой, особенно когда начали открываться столовые для голодающих и новые врачебные пункты. Немного было местной интеллигенции, но она горячо откликнулась на народное бедствие, особенно молодежь. Рабочие руки были страшно дороги, да и было их немного. Первые опыты с кормлением голодающих производились в Заполье, и скоро выработался определенный тип таких столовых, а по ним уже открывались столовые в уезде. Нужда была так велика, а средства так ничтожны, да и те с величайшим трудом добывались главным образом из России. В Заполье благотворителем оказался только Стабровский, на средства которого было открыто до двадцати столовых, а остальные богачи очень туго поддавались на просьбы о помощи. Устенка теперь часто бывала у Стабровского, который давал ей средства, не говоря, откуда они.

Чем больше шло время к весне, тем сильнее росла нужда, точно пожар. Раз, когда Устенька вернулась домой из одной поездки по уезду, ее ждала записка Стабровского, кое-как нацарапанная карандашом: «Дорогой друг, заверните сегодня вечером ко мне. Может быть, это вам будет неприятно, но вас непременно желает видеть Харитина. Ей что-то нужно сказать вам, и она нашла самым удобным, чтоб объяснение происходило в моем присутствии. Я советую вам повидаться с ней».

«Что ей нужно от меня? – подумала девушка, испытывая неприятное чувство, – она никогда не любила Харитину. – Какая-нибудь глупость».

Она сама не пошла бы на это объяснение, если бы не настойчивый совет Стабровского. Старик не будет даром советовать.

Неприятное чувство усиливалось по мере того, как Устенька подходила к дому Стабровского. Что ей за дело до Харитины, и какое могло быть между ними объяснение? У девушки явилась даже малодушная мысль вернуться домой и написать Стабровскому отказ, но она преодолела себя и решительно позвонила.

Харитина сидела в кабинете Стабровского, одетая вся в черное, точно носила по ком-то траур. Исхудавшее бледное лицо все еще носило следы недавней красоты, хотя Устенька в первый момент решительно не узнала прежней Харитины, цветущей, какой-то задорно красивой и вечно веселой. Дамы раскланялись издали. Сам Стабровский был сильно взволнован.

– Вы хорошо сделали, что пришли, – обрадовался он, крепко пожимая руку Устеньке. – Да, хорошо. Ах, что они делают, что делают! Ведь это же ужасно, это бесчеловечно.

Устенька чувствовала на себе упорный и тяжелый взгляд Харитины и плохо понимала, что говорил Стабровский.

– Представьте себе, Устенька, – продолжал старик. – Ведь Галактион получил везде подряды на доставку дешевого сибирского хлеба. Другими словами, он получит сам около четырехсот процентов на затраченный капитал. И еще благодетелем будет считать себя. О, если бы не мая болезнь, – сейчас же полетел бы в Сибирь и привез бы хлеб на плотах!

Харитина молчала, опустив глаза.

– А другие еще хотят больше получить, – как-то стонал Стабровский, тяжело ворочаясь в своем кресле. – Это называется снимать рубашку с нищего... да!

Когда Стабровский немного успокоился, Устенька проговорила, обращаясь к гостье:

– Болеслав Брониславич писал мне, что вы желаете меня видеть.

Харитина вздрогнула и ответила не сразу. Голос у нее был такой слабый, с какою-то странною хрипотой.

– Да. Видите ли, я... то есть я хочу оказать...

Она умоляюще посмотрела кругом своими широко раскрытыми серыми глазами, точно искала какой-то невидимой помощи.

– Я знаю, что вы меня не любите... да, – выговорила она, наконец, делая над собой усилие, – и не пошли бы, если б я сама вас пригласила. А мне так нужно вас видеть.

Стабровский, нахмурившись, рассматривал свои ногти.

– Вы слышали, что сейчас говорили про Галактиона Михеича, а он совсем не такой, то есть не злой.

– Мне это решительно все равно, какой он, – отозвалась Устенька с удивившею ее самое резкостью.

– Может быть, я ошибаюсь, – еще мягче заговорила Харитина, глядя прямо в глаза Устеньке. – Но я совсем ушла оттуда, из Городища... то есть он меня прогнал... да.

– Пожалуйста, увольте меня от этих подробностей. Я решительно не понимаю, к чему вы все это говорите.

– Дело в том... да... в том, что Галактион Михеич... одним словом, мне его жаль. Пропадет он окончательно. Все его теперь бранят, другие завидуют, а он не такой. Вот хоть и

это дело, о котором сейчас говорил Болеслав Брониславич. Право, я только не умею всего сказать, как следует.

Наступила неловкая пауза. Стабровский закрыл глаза, стараясь не смотреть на сумасшедшую гостью. Ему казалось, что она ненормальна.

– Я жду, – проговорила Устенка.

Харитина посмотрела на нее и проговорила сдавленным голосом:

– Отчего вы не хотите идти за него замуж? Он был бы другой, поверьте мне... Ведь он сходит с ума вот уже три года.

– Немного странный вопрос, Харитина Харитоновна, – с улыбкой ответила Устенка. – И, право, мне трудно отвечать на него. Мы, кажется, не понимаем друг друга. Просто не желаю. Он мне не нравится.

– Он? Галактион Михеич? – в каком-то ужасе прошептала Харитина.

– Да, Галактион Михеич. Даже больше, чем не нравится. Говоря откровенно, я его презираю... Он по натуре нехороший человек.

– Неправда! – резко проговорила Харитина и даже вся выпрямилась.

– Потом мне странно, что спрашиваете меня именно вы.

– Да ведь я ушла совсем и никогда больше не увижу его.

– И я тоже постараюсь никогда с ним не встречаться.

Устенке показалось, что Харитина чуть-чуть улыбнулась и посмотрела на нее злыми глазами. Она не верила ей.

– Думаю, что мы достаточно все выяснили, и поэтому кончимте, пожалуйста, – заговорила Устенка, наблюдая Стабровского. – Кажется, довольно оказано.

Харитина поднялась, протянула руку Стабровскому и, простившись с Устенкой поклоном, вышла из кабинета. Благодаря худобе она казалась выше, чем была раньше.

– Это приходило само несчастье, – проговорил Стабровский, глядя на дверь. – А знаете, Устенка, она была дивно хороша вот сейчас, здесь, хороша своим женским героизмом.

– Я таких женщин не понимаю. Кажется, такой бесцельный героизм относится к области эстетики, а в действительной жизни он просто неудобен.

– Не говорите. Кстати, я вызвал вас на это свидание вот почему: все равно – она разыскала бы вас, и бог знает, чем все могло кончиться. Я просто боялся за вас. Такие женщины, как Харитина, в таком приподнятом настроении способны на все.

– Что же она могла сделать со мной?

– Мало ли что: облить кислотой, выстрелить из револьвера. Она ревнует вас к этому Галактиону. Заметьте, что она продолжает его любить без ума и дошла до того, что наслаждается собственным унижением. Кстати, она опять сходитя с своим мужем.

– С Полуяновым? Это тоже из области дивного героизма?

– Пожалуй, если хотите. Она хочет хоть этим путем подогреть в Галактионе ревнивое чувство. На всякий случай мой совет: вы берегайтесь этой особы. Чем она ласковее и скромнее, тем могут быть опаснее вспышки.

Стабровский в последнее время часто менял с Устенкой тон. Он то говорил ей ты, как прежде, когда она была ребенком, то переходил на деловое вы. Когда Устенка уходила, Стабровский пошутил:

– Устенка, смотрите, в самом деле не влюбитесь в Галактиона. В нем действительно есть что-то такое, что нравится женщинам, а сейчас он уже окончательно на геройском положении. Для меня лично, впрочем, он теперь совсем определившийся негодяй.

От Стабровского Устенка вышла в каком-то тумане. Ее сразу оставила эта выдержка. Она шла и краснела, припоминая то, что говорил Стабровский. О, только он один понимал ее и с какою вежливостью старался не дать этого заметить! Но она уже давно научилась читать между строк и понимала больше, чем он думал. В сущности сегодняшнее свидание с

Харитиной было ее экзаменом. Стабровский, наконец, убедился в том, чего боялся и за что жалел сейчас ее. Да, только он один будет знать ее девичью тайну.

Вернувшись домой, Устенка заперлась в свою комнату, бросилась на постель и долго плакала. Ум говорил одно, а сердце другое. Получался ошеломлявший ее разлад. Плакала слабая женщина, платившая дань своей слабости. Устенка не умела даже сказать, любит она Галактиона или ненавидит. Но она много думала о нем, особенно в последнее время, и жалела себя. Именно только с таким мужем она могла быть счастливой, если б он не имел за собой тяжелого прошлого и этого ужасного настоящего. Да, это была сила, и сила недюжинная. Для сравнения у Устенки было сейчас достаточно материала. Хороших людей много, но все они такие бессильные. Все только на языке, в теории, в области никогда не осуществимых хороших чувств. Может быть, и хороши они только потому, что ничего не стоили своим владельцам. Устенка перебирала все свои хлопоты по голодному делу и не могла не прийти к заключению, что все так мало и неумело сделано, ничего не подготовлено, как-то вяло и пассивно. А если бы за это же дело взялся Галактион... о, он один сумел бы прокормить целый уезд, создать работу, найти приложение даром пропадавшим силам и вдохнуть мужскую энергию!

Именно это и понимал Стабровский, понимал в ней ту энергичную сибирскую женщину, которая не удовлетворится одними словами, которая для дела пожертвует всем и будет своему мужу настоящим другом и помощником. Тут была своя поэзия, – поэзия силы, широкого размаха энергии и неудержимого стремления вперед.

Стоило Устенке закрыть глаза, как она сейчас видела себя женой Галактиона. Да, именно жена, то, из чего складывается нераздельный организм. О, как хорошо она умела бы любить эту упрямую голову, заполненную такими смелыми планами! Сильная мужская воля направлялась бы любящею женскою рукой, и все делалось бы, как прекрасно говорили старинные русские люди, по душе. Все по душе, по глубоким внутренним тяготениям к правде, к общенародной совести.

Именно ведь тем и хорош русский человек, что в нем еще живет эта общая совесть и что он не потерял способности стыдиться. Вот с победным шумом грузно работает пароходная машина, впереди движущаяся дорогой развертывается громадная река, точно бесконечная лента к какому-то приводу, зеленеет строгий хвойный лес по берегам, мелькают редкие селения, затерявшиеся на широком сибирском приволье. Хорошо. Бодро. Светло. Жизнь полна. Это счастье.

И вдруг ничего нет!.. Нет прежде всего любимого человека. И другого полюбить нет сил. Все кончено. Радужный туман светлого утра сгустился в темную грозовую тучу. А любимый человек несет с собой позор и разорение. О, он никогда не узнает ничего и не должен знать, потому что недостойн этого! Есть святые чувства, которых не должна касаться чужая рука.

Харитина не успокоилась и несколько раз приходила к Луковниковым, пока не поймала Устенку.

– Что вам, наконец, нужно от меня? – рассердилась девушка.

Но с Харитиной трудно было говорить. Она рыдала, ломала руки и вообще сумасшествовала.

– Ради бога, скажите: любите вы его? – приставала Харитина. – Ну, немножечко, чуть-чуть!.. Разве можно его не любить?

– Я не желаю с вами говорить.

– А я вас ненавижу, всю ненавижу! Вы все меня обманываете!

Потом Харитина опять начинала плакать, целовала руки Устенки и еще больше неистовствовала. Девушка, наконец, собралась с силами и смотрела на нее, как на сумасшедшую.

Разъезжая по уезду, Устенка познакомилась в раскольничьих семьях с совершенно новым для нее типом женщины, – это были так называемые чернички. Они добровольно отказывались от замужества и посвящали свою жизнь обучению детей и разным душевспасительным подвигам. Причин для такого черничества в тяжелом складе народной жизни было достаточно, а на первом плане, конечно, стояло неудовлетворенное личное чувство. Устенка сначала рассматривала этих черничек с любопытством, потом жалела их и,

наконец, пришла к убеждению, что ведь и она, Устенка, тоже в своем роде черничка, интеллигентная черничка.

Этим все разрешалось и все делалось ясно. Устенка совершенно определилась, как определился, по словам Стабровского, Галактион.

VIII

Вахрушка с раннего утра принимался «за чистоту», то есть все обметал, тер щеткой, наводил лоск суконкой, обдувал и даже в критических случаях облизывал языком. Это было целое священнодействие. Но события последнего времени совершенно лишили его необходимого душевного равновесия, и он уже не испытывал прежнего наслаждения от наведения чистоты. Дело в том, что поместил его в банк на службу Галактион, на которого он молился, а теперь у Галактиона вышли «контры» с Штоффом и самим Мышниковым. Конечно, Вахрушка – маленький человек и ни в чем не был виноват, а все-таки страшно. Вдруг Павел Степаныч скажет: «Ну-ка, ты, такой-сякой, Галактионов ставленник!» У Вахрушки вперед уходила душа в пятки, и он трепетал за свой пост, вероятно, больше, чем какой-нибудь министр или президент. В самом деле, извольте-ка: сделался человеком вполне, и вдруг опять пожалуйста в прежнее ничтожество. Мысленно Вахрушка перебирал все подходящие места и находил одно, что другого места, как банковский швейцар, даже и не бывает.

«Ну что же, поцарствовал, надо и честь знать, – уныло резонировал Вахрушка, чувствуя, как у него даже „чистота“ не выходит и орудия наведения этой чистоты сами собой из рук валяются. – Спасибо голубчику Галактиону Михеичу, превознес он меня за родительские молитвы, а вперед уж, что господь пошлет».

Главным образом Вахрушку съедала затаенная алчба: он копил деньги, и чем больше копил, тем жаднее делался.

Именно в одно из таких утр, когда Вахрушка с мрачным видом сидел у себя в швейцарской, к нему заявился Михей Зотыч, одетый странником, каким он его видел в первый раз, когда в Суслоне засадил, по приказанию Замараева, в темную.

– Ну, здравствуй, служба! Каково прыгаешь?

– Ух, как ты меня испугал, Михей Зотыч!

– Видно, грехов накопил, вот и пугаешься всего. Ну что же, денежный грех на богатого. Вот я и зашел тебя проведать, Вахрушка.

– Куда опять наклался-то, Михей Зотыч?

– А дельце есть, милый. Иду на свадьбу: женится медведь на корове. Ну-ка, угадай?

– Ох, не выкомуривай ты со своими загадками, Михей Зотыч! Как это ты учтешь свои загадки загадывать, так меня даже в пот кинет.

– Не любишь, миленький? Забрался, как мышь под копну с сеном, и шире тебя нет, а того не знаешь, что нет мошны – есть спина. Ну-ка, отгадай другую загадку: стоит голубятня, летят голуби со всех сторон, клюют зерно, а сами худеют.

– Будет тебе, Михей Зотыч. Не хочешь ли чайку?

– Чайку, да табачку, да зелена винца? В самый это мне раз. Уважил, одним словом. Ох, все мы выхлебали в чаю Ваньку голого.

Михей Зотыч любил помудрить над простоватым Вахрушкой и, натешившись вдоволь, заговорил уже по-обыкновенному. Вахрушка знал, что он неспроста пришел, и вперед боялся, как бы не сболтнуть чего лишнего. Очень уж хитер Михей Зотыч, продаст и выкупит на одном слове. Ему бы по-настоящему в банке сидеть да с купцами-банкротами разговаривать.

– Ты, оказывают, нынче по скитам душу спасаешь? – политично завел Вахрушка разговор.

– Около того. Душу-то спасал, а тут вдруг захотел сибирского дешевого хлеба отведать... да. Сынок Галактион Михеич всех, сказывают, удоволил.

– Пригнал первый караван из Сибири и по рублю семи гривен все продал. Большие тысячи наживает.

– Умный он у меня, Галактион-то. Сердце радуется.

– И точно умный, Михей Зотыч.

Вахрушка припер двери, огляделся и заговорил шепотом:

– Другие-то рвут и мечут, Михей Зотыч, потому как Галактион Михеич свою линию вперед всех вывел. Уж на что умен Мышников, а и у того неустойка вышла супротив Галактиона Михеича. Истинно сказать, министром быть. Деньги теперь прямо лопатой будет огребать, а другие-то поглядывай на него да ожигайся. Можно прямо оказать, что на настоящую точку Галактион Михеич вышли.

– Вот, вот. Все завидуют... да.

Михей Зотыч пожевал губами, поморгал и прибавил:

– Дурачки вы все, Вахрушка.

– Это по какой-такой причине, Михей Зотыч?

– А по такой. Все деньги, везде деньги; все так и прячутся за деньги, а того не понимают, что богача-то с его деньгами убогий своим хлебом кормит.

– Ничего я не понимаю в этих делах, Михей Зотыч. Мы-то на двугривенные считаем.

– Вот и насчитали целый голод.

Михей Зотыч поворчал, поглумился, а потом начал рассказывать про свою поездку из скитов. Вахрушка в такт рассказа только вздыхал и качал головой. Ох, пришла беда всем крещеным, – такая беда, что и не выговоришь!

– Посмотрел я достаточно, – продолжал Михей Зотыч. – Самого чуть не убили на мельнице у Ермильча. «Ты, – кричат мужики, – разорил нас!» Вот какое дело-то выходит. Озверел народ. Ох, худо, Вахрушка!.. А помочь нечем. Вот вы гордитесь деньгами, а пришла беда, вас и нет. Так-то.

Потом Михей Зотыч принялся ругать мужиков – пшеничников, оренбургских казаков и башкир, – все пропились на самоварах и гибнут от прикачнувшейся легкой копеечки. А главное – работать по-настоящему разучились: помажут сохой – вот и вся пахота. Не удобряют земли, не блюдут скотинку, и все так-то. С одной стороны – легкие деньги, а с другой – своя лень подпирает. Как же тут голоду не быть?

– Ну, это уж ты врешь, Михей Зотыч! – азартно вступился Вахрушка. – И даже понимать по-настоящему не можешь.

– Нно-о?

– Я тебе говорю. Ты вот свой интерес понимаешь в лучшем виде, а мужика не знаешь.

– А вот и знаю!.. Почему, скажи-ка, по ту сторону гор, где и земли хуже, и народ бедный, и аренды большие, – там народ не голодает, а здесь все есть, всего бог надавал, и мужик-пшеничник голодает?.. У вас там Строгановы берут за десятину по восемь рублей аренды, а в казачьих землях десятина стоит всего двадцать копеек.

Старики жестоко распорились. В Вахрушке проснулся дремавший пахарь, ненавидевший в лице Михея Зотыча эксплуататора-купца. Оба кричали, размахивали руками и говорили друг другу дерзости.

– Ты вот умен, рассчитывал всю крестьянскую беду на грошики, – орал Вахрушка. – Зубы у себя во рту сперва сосчитай... Может, господь милость свою посылает: на, почувствуйся, сообразись, – а ты на счетах хочешь сосчитать эту самую беду. Тут все дело в душе... Понял теперь? Отчего богатая земля перестала родить? Отчего или засуха, или ненастье? Ну-ка, прикинь... Все от души идет. А ты поешь дорогого-то сибирского хлеба, поголодуй, поплачь, повытряси дурь-то, которая накопилась в тебе, и сойдет все, как короста в бане. И тот виноват у тебя и этот виноват, а взять не с кого. Все виноваты, а все от души.

– И орда мрет от души, по-твоему?

– И у орды своя душа и свой ответ... А только настоящего правильного крестьянина ты все-таки не понимаешь. Тебе этого не дано.

Сбитый с позиции Михей Зотыч повернул на излюбленную скитскую тему о царствующем антихристе, который уловляет прельщенные души любезных своих слуг

гладом, но Вахрушка и тут нашелся.

– Это вам про антихриста-то старухи скитницы на печке наврали. Кто его видел?

– Я его видел... то есть не видел, а бежал он за мной, когда я ехал сюда из скитов. За сани хватался.

– Ну, плохой антихрист, который будет по дорогам бегать! К настоящему-то сами все придут и сами поклонятся. На, радуйся, все мы твои, как рыба в неводу... Глад-то будет душевный, а не телесный. Понял?

Увлечшись этим богословским спором, Вахрушка, кажется, еще в первый раз за все время своей службы не видал, как приехал Мышников и прошел в банк. Он опомнился только, когда к банку сломя голову прискакал на извозчике Штофф и, не раздеваясь, полетел наверх.

– Здесь Павел Степаныч?

– Никак нет-с, Карл Карлыч.

– Врешь ты, старое чучело! Негде ему быть.

Через минуту он уже выходил вместе с Мышниковым. Банковские дельцы были ужасно встревожены. Еще через минуту весь банк уже знал, что Стабровский скоропостижно умер от удара. Рассердился на мисс Дудль, которая неловко подала ему какое-то лекарство, раскрыл рот, чтобы сделать ей выговор, и только захрипел.

– Господи, помилуй нас, грешных! – повторял Вахрушка, откладывая широкие кресты. – Хоть и латынского закону был человек, а все-таки крещеная душа.

– Главное, что без покаяния свой конец принял, – задумчиво отвечал Михей Зотыч. – Ох, горе душам нашим!

– Не до тебя, Михей Зотыч, – грубо остановил его Вахрушка. – Шел бы ты своей дорогой, куда наклался.

– И то пора, миленький... Прости на скором слове, ежели што.

– Ну, бог тебя простит, только уходи.

Михей Зотыч вышел на улицу, остановился на тротуаре, посмотрел на новенькое здание банка, покачал головой и проговорил:

– Ничего, крепкая голубятня налажена... Много следов входящих, а мало исходящих.

Штофф и Мышников боялись не смерти Стабровского, которая не являлась неожиданностью, а его зятя, который мог захватить палии с банковскими делами и бумагами. Большой Стабровский не оставлял банковских дел и занимался ими у себя на дому.

В доме Стабровского происходил ужасный переполох. Банковских дельцов встретила Устенка, заплаканная, жалкая, растерявшаяся. Девушка никак не могла помириться с мыслью, что теперь лежал только холодевший труп Стабровского, не имевший возможности проявить себя ни одним движением. Еще утром человек был жив, что-то рассчитывал, на что-то надеялся, мог радоваться и негодовать, а теперь уже ничего было не нужно. Для Устенки это была еще первая смерть близкого человека, и она в первый раз переживала все ощущения, которые вызываются такими событиями. Поднялось разом что-то такое огромное, беспощадное, перед которым все были равны по своему ничтожеству. В сущности ведь никто не думает о собственной смерти, великодушно предоставляя умирать другим. В смерти есть неутомимая правда.

В кабинете были только трое: доктор Кацман, напрасно старавшийся привести покойного в чувство, и Дидя с мужем. Устенка вошла за банковскими дельцами и с ужасом услышала, как говорил Штофф, Мышникову:

– Необходимо все опечатать... Папки с банковскими бумагами у него всегда лежали в левом ящике письменного стола, а часть в несгораемом шкафу. Необходимо принять все предосторожности.

Мышников ничего не ответил. Он боялся смерти и теперь находился под впечатлением того, что она была вот здесь. Он даже чувствовал, как у него мурашки идут по спине. Да, она пронеслась здесь, дохнув своим ледящим дыханием.

– Я боюсь, – признался он Штоффу, останавливаясь у дверей кабинета. – Ступай ты один.

Устенка слышала эту фразу и поняла: ведь все чувствовали себя как-то неловко, точно были все виноваты в чем-то.

Пан Казимир отнесся к банковским дельцам с высокомерным презрением, сразу изменив прежний тон безличной покорности. Он уже чувствовал себя хозяином. Дидя только повторяла настроение мужа, как живое зеркало. Между прочим, встретив мисс Дудль, она дерзко сказала ей при Устенке:

– Это вы уморили отца... да. Можете считать с этого дня себя вполне свободной.

Англичанка ничего не ответила, а только чопорно поклонилась. Устенку возмутила эта сцена до глубины души, но, когда Дидя величественно вышла из комнаты, мисс Дудль объяснила Устенке с счастливою улыбкой:

– Не нужно обращать внимания на ее выходки... да. Она в таком положении.

– В каком? – не понимала Устенка.

– Она беременна.

Смерть сменялась новою жизнью.

В передней на стуле сидел Ечкин и глухо рыдал, закрыв лицо руками. Около него стояла горничная и тоже плакала, вытирая слезы концом передника.

IX

Стоял уже конец весны. Выпадали совсем жаркие дни, какие бывают только летом. По дороге из Заполя к Городищу шли три путника, которых издали можно было принять за богомолков. Впереди шла в коротком ситцевом платье Харитина, повязанная по-крестьянски простым бумажным платком. За ней шагали Полуянов и Михей Зотыч. Старик шел бодро, помахивая длинною черемуховою палкой, с какою гонят стада пастухи.

– Слава богу, тепло стоит, – повторял Полуянов, просматривая по сторонам зеленевшие посевы. – И травка и хлебушко растут. Скотина по крайней мере отдохнет.

– Много ли ее осталось, этой скотины? – спрашивал Михей Зотыч. – Которую прикололи и сами съели, а другую пораспродали.

Странники внимательно осматривали каждое поле и оценивали его. Редко где попадалась хорошая пахота, и зерно посеяно кое-какое и кое-как. Не хватало лошадей на настоящую пахоту, да и пахали голодные руки. В большинстве случаев всходы были неровные, островами и плешинами, точно волосы на голове у человека, только что перенесшего жестокий тиф. И трава росла так же, точно не могла собраться с силами. Впрочем, ближе к реке Ключевой, где разлеглись заливные луга, травы были совсем хорошие. Любо было смотреть на эту зеленую силу; река катилась, точно в зеленой шелковой раме. Дорога была пыльная, и Харитина уже давно устала, но шла через силу, чтобы не задерживать других. Она даже сама не знала, куда они идут. Просто Илья Фирсыч велел идти, и она повиновалась с какою-то ожесточенною покорностью. Ей доставляло теперь какое-то мучительное наслаждение презирать самое себя. Одно слово «муж» чего стоит... И она шла, как овца, которую тащили на бойню. Полуянов изредка презрительно смотрел на нее и сразу подтягивался, точно припоминая что-то. Он ненавидел даже тень, которая колеблющимся и расплывающимся пятном двигалась по дорожной пыли за Харитиной.

– Скоро уж Горохов мыс, – проговорил Михей Зотыч, когда они сделали полпути и Харитина чуть не падала от усталости. – Надо передохнуть малость.

– Важные господа всегда отдыхают, – сурово ответил Полуянов.

Горохов мыс выдавался в Ключевую зеленым языком. Приятно было свернуть с пыльной дороги и брести прямо по зеленой сочной траве, так и обдававшей застоявшимся тяжелым ароматом. Вышли на самый берег и сделали привал. Напротив, через реку, высились обсыпавшиеся красные отвесы крутого берега, под которым проходила старица, то есть главное русло реки.

Харитина упала в траву и лежала без движения, наслаждаясь блаженным покоем. Ей хотелось вечно так лежать, чтобы ничего не знать, не видеть и не слышать. Тяжело было даже думать, – мысли точно сверлили мозг.

– Уж лучше нашей Ключевой, кажется, на всем свете другой реки не сыщешь, – восторгался Михай Зотыч, просматривая плесо из-под руки. – Божья дорожка – сама везет...

Полуянов ничего не ответил, продолжая хмуриться. Видимо, он был не в духе, и присутствие Харитины его раздражало, хотя он сам же потащил ее. Он точно сердился даже на реку, на которую смотрел из-под руки с каким-то озлоблением. Под солнечными лучами гладкое плесо точно горело в огне.

Харитина думала, что старики отдохнут, закусят и двинутся дальше, но они, повидимому, и не думали уходить. Очевидно, они сошлись здесь по уговору и чего-то ждали. Скоро она поняла все, когда Полуянов сказал всего одно слово, глядя вниз по реке:

– Идет...

Лежавший на траве Михай Зотыч встрепенулся. Харитина взглянула вниз по реке и увидела поднимающийся кудрявый дымок, который таял в воздухе длинным султаном. Это был пароход... Значит, старики ждали Галактиона. Первым движением Харитины было убежать и куда-нибудь скрыться, но потом она передумала и осталась. Не все ли равно?

Пароход двигался вверх по реке очень медленно, потому что тащил за собой на буксире несколько барок с хлебом. Полуянов сидел неподвижно в прежней позе, скрестив руки на согнутых коленях, а Михай Зотыч нетерпеливо ходил по берегу, размахивал палкой и что-то разговаривал с самим собой.

Пароход приближался. Можно уже было рассмотреть и черную трубу, выкидывавшую черную струю дыма, и разгребавшие воду красные колеса, и три барки, тащившиеся на буксире. Сибирский хлеб на громадных баржах доходил только до Городища, а здесь его перегружали на небольшие барки. Михея Зотыча беспокоила мысль о том, едет ли на пароходе сам Галактион, что было всего важнее. Он снял даже сапоги, засучил штаны и забрел по колена в воду.

Пароход подходил уже совсем близко. Пароходная прислуга столпилась у борга и глазела на стоявшего в воде старика.

– Эй, стой! – крикнул Михай Зотыч.

– Мы не бере-ем пассажиров! – ответил в рупор кто-то с капитанской рубки.

– Лодку подавай!

У колеса показался сам Галактион, посмотрел в бинокль, узнал отца и застопорил машину. Колеса перестали буравить воду, из трубы вылетел клуб белого пара, от парохода быстро отделилась лодка с матросами.

– Давно бы так-то, – заметил Михай Зотыч, когда лодка ткнулась носом в берег. – Илья Фирсыч, садись...

Матросы узнали Харитину и не знали, что делать, – брать ее или не брать.

– Забирай всех, – приказывал Михай Зотыч. – Слава богу, не чужие люди.

Садясь в лодку, Полуянов оглянулся на берег, где оставалась и зеленая трава и вольная волюшка. Он тряхнул головой, перекрестился и больше ни на что не обращал внимания.

– Вот мы, слава богу, и домой приехали, – говорил Михай Зотыч, карабкаясь по лесенке на пароход. – Хороший домик: сегодня здесь, завтра там.

Галактион протянул руку, чтобы помочь отцу подняться, но старик оттолкнул ее.

– Оставь... Уж я как-нибудь сам взберусь.

Старик, наконец, взобрался и помог подняться Полуянову и Харитине, а потом уже обратился к Галактиону:

– Ну, теперь здравствуй, сынок... Принимай дорогих гостей.

Галактион уже предчувствовал недоброе, но сдержал себя и спокойно проговорил:

– Пожалуйста, папаша, в мою каюту. Там будет прохладнее.

– Нет, уж мы здесь, – протестовал Полуянов, выдвигаясь вперед.

– Ну, говори, – подталкивал его Михай Зотыч.

– Уж так и быть скажу.

– А я вас не желаю здесь слушать, – заявил Галактион.

Все гурьбой пошли в капитанскую каюту, помещавшуюся у правого колеса. Матросы переглядывались. И Михай Зотыч, и Полуянов, и Харитина были известные люди. Каютка была крошечная, так что гости едва разместились.

– Судить тебя пришли, сынок, – заявил Михай Зотыч. – Ну, Илья Фирсыч, ты попервоначалу.

Галактион стоял у двери бледный, как полотно, и старался не смотреть на Харитину.

– И окажу... – громко начал Полуянов, делая жест рукой. – Когда я жил в ссылке, вы, Галактион Михеич, увели к себе мою жену... Потом я вернулся из ссылки, а она продолжала жить. Потом вы ее прогнали... Куда ей деваться? Она и пришла ко мне... Как вы полагаете, приятно это мне было все переносить? Бедный я человек, но месть я затаил-с... Сколько лет питался одною злобой и, можно сказать, жил ею одной. И бедный человек желает мстить.

Полуянов тяжело перевел дух. Галактион продолжал молчать. У него даже губы побелели.

– Но ведь бедному человеку трудно мстить, – продолжал Полуянов. – Это могут позволить себе только люди со средствами... И опять, бедному человеку трудно разбогатеть. И я все думал и даже просил бога... Помните вы, Галактион Михеич, старика Нагибина? Что же я говорю, – вместе тогда на свадьбе у Симона были... да-с... Так вот тогда мне на этой свадьбе и пришла мысль-с... да-с... И я оную мысль воспитал и взлелеял... вот как детей воспитывают: все одно думаю, все одно думаю. Помните, что тогда старик отказал Наталье Осиповне в приданом?.. Она тоже затаила злобу на родителя. Хорошо-с... А старик живучий... Одним словом, мы и отравили его по взаимному соглашению с Натальей Осиповной, то есть отравил-то я, а деньги забрала она и мне вручила за чистую работу некоторую часть. И ловко я все устроил, так ловко, что, кажется, никакие бы следователи в мире не нашли концов. Сам производил дознания и знаю порядок, что и к чему. Тут еще Лиодор много помог, потому что вконец запутал следователя. Впрочем, что же я вам рассказываю, – ведь вы это и без меня отлично знаете.

– Ничего я не знаю! – резко ответил Галактион. – А вы с ума сошли!

– Нет, не сошел и имею документ, что вы знали все и знали, какие деньги брали от Натальи Осиповны, чтобы сделать закупку дешевого сибирского хлеба. Ведь знали... У меня есть ваше письмо к Наталье Осиповне. И теперь, представьте себе, являюсь я, например, к прокурору, и все как на ладони. Вместе и в остроге будем сидеть, а Харитина будет по два калачика приносить, – один мужу, другой любовнику.

– Ну что, сынок, доволен? – спрашивал Михай Зотыч.

Галактион посмотрел на него и ответил с улыбкой:

– Никогда этого не будет, папаша...

Старик вскочил, посмотрел на сына безумными глазами и, подняв руку с раскольничьим крестом, хрипло крикнул:

– Если ты не боишься суда земного, так есть суд божий... Ты кровь христианскую пьешь... Люди мрут голодом, а ты с ихнего голода миллионы хочешь наживать... Для того я тебя зародил, вспоил и вскормил?.. Будь же ты от меня навсегда проклят!

Харитина тихо вскрикнула и закрыла лицо руками. Галактион вздрогнул именно от этого слабого женского крика и сделал движение выйти, а потом повернулся и сказал:

– Харитина Харитоновна, мне нужно сказать вам два слова... Выйдите на минутку.

Когда Харитина подошла к нему, он наклонился к ее уху и прошептал:

– Кланяйся той... Устенке...

Когда Полуянов выходил из каюты, он видел, как Галактион шел по палубе, а Харитина о чем-то умоляла его и крепко держала за руку. Потом Галактион рванулся от нее и бросился в

воду. Отчаянный женский крик покрыл все.

Через час на Гороховом мысу лежал холодный труп Галактиона.

Разбойники*

Мое детство прошло в далекой глуши Уральских гор, захватив последние годы сурового крепостного режима, окрашенного специально заводской жестокостью. Небольшой горный завод с пестрым населением, согнанным сюда из разных концов России, точно был вставлен в зубчатую раму вечнозеленых гор. Эта горная панорама являлась первым сильным впечатлением, а с ней неразрывно связывалось представление воли, дикого простора и какого-то размаха. Правда, что и осевшее в горах волей и неволей население резко отличалось от крепостного расейского брата, отличалось именно неумиравшим духом протеста, глухой борьбой и взрывами дикой воли. Одним из самых ярких воспоминаний моего детства является именно разбойник, как нечто необходимо-роковое, как своего рода судьба и кара, как выражение чего-то такого, что сплеча ломило и разносило вдребезги все установившиеся нормы, до дна возмущая мирное течение жизни и оставляя после себя широкий след.

В репертуаре действующих лиц этого детства разбойник являлся самым ярким героем. Даже сейчас я как-то не могу себе представить родных гор без того, чтобы в них где-нибудь не притаился разбойник. Да, настоящий разбойник, так сказать, не умирающий, потому что, когда ловили одного, на смену ему являлся сейчас же другой. Если есть какая-то законность в известном числе писем, ежегодно отправляемых без адреса, то и здесь была тоже своя законность, только уже формулируемая совсем иначе. Разбойник являлся необходимым действующим лицом, как производивший известное брожение фермент. Он служил неистощимой темой для рассказов, сказок и легенд, которые без конца рассказывались в задумчивые летние сумерки и бесконечные зимние вечера. Няня, кухарка, кучер, разные старушки, бродившие из дома в дом, – все знали тысячи разбойничьих историй, которыми охотно делились с нами, детьми. Делалось это, конечно, под сурдинку, когда дома не было отца и матери или когда они не могли слышать. Некоторые рассказы отливались уже в стереотипную форму и повторялись сотни раз, но все-таки вызывали дрожь. Получалось какое-то тяготение к «страшному», которое вот сейчас тут, за стеной, где с воем и стоном гуляет зимняя метель. Начинало казаться, что что-то такое неугомонное и роковое бродит у самой стены и ищет удобного случая, чтобы ворваться в дом и разом нарушить наше скромное существование. Делалось страшно до слез и вместе с тем было кого-то жаль, даже вот это мятущееся «неприкаянное» зло.

Один рассказ особенно волновал нас, и мы приставали к старушке Филимоновне, остававшейся иногда домовничать с нами:

- Баушка, расскажи про репку...
- Будет вам, пострелы!.. Намедни рассказывала...
- Баушка, миленькая...

Баушка Филимоновна жила бобылкой и существовала тем, что кое-чем приторговывала у себя на дому – мукой, медом, крупой, сальными свечами, китайской выбойкой, холстом и проч. Она появлялась в доме при каждом необыкновенном случае, как родины, крестины, именины, похороны, и была всегда желанной гостьей. Между прочим, она обладала талантом рассказывать «страшное».

- Баушка, расскажи про репку...

Старушка, поломавшись «для прилику», начинала рассказ каким-то особенным, былинным речитативом, причем у слушателей уже вперед захватывало дыхание со страху.

– Жила я еще в девушках тогда, – начинался рассказ о репке стереотипной фразой. – Годов, значит, с сорок тому назад. Ну вот, летней порой, как-то утром, народ и бежит по улице... «Корнило беглого убил». Я-то еще глупая была, по шестнадцатому году, и тоже за другими бегу, а Корнило жил в Пеньковке. Кержак^[8] был и злой-презлой. Еще один глаз у него был кривой... Народ бежит, я бегу, ну, прибежали в Пеньковку – все в огород, а там в борозде и лежит бегляк-то. Так, мужчина на возрасте, с бородой, в красной рубахе... А кровь из него так и хлещет. Застрелил его Корнило, значит, в бок жеребьем. А всего-то дела было,

что покорыстовался бегляк репкой. Отощал, значит, да ночью и забрался в огород к Корниле, а у того собака. Ну, значит, собака заурчала, а Корнило сейчас снял ружье со стены, посмотрел в огород из окошка, ну, видит, что кто-то шевелится в борозде, – он и пальнул. Злой был... Целые сутки промаялся сердяга.

Получалось страшное несоответствие между преступлением и наказанием, – в этом и заключалась вся суть трагического начала. Старушка делала драматическую паузу и уж потом разрешала взволнованную совесть.

– Ну, народ-то сбежался, все смотрят на бегляка... Женщины которые плачут, потому хоть и бегляк, а душа-то человечья. А он мается, сердечный, и все только пить просит, потому как в нутре у него горит все. Потом уж затихать стал – раньше-то стонал, ну, у смерти конец. Тогда он и говорит: «Прости, народ православный... Это я в Невьянском заводе вдову с мальчиком зарезал». Сказал и сейчас же помер. Оно и вышло, что Корнило-то его не за репку застрелил, а так, бог злодея нашел. Дело-то такое было... Жила вдова в Невьянске, сын у ней по седьмому годочку. Ну, значит, этот бегляк и заберись к ней ночью в избу и сейчас наел на вдову: «Подайвай деньги...» Душил ее, тиранил, ну, баба и придумала: «В голбце у меня деньги спрятаны...» Значит, в подполье. Повела она его туда. А потом как закроет западню да на щеколду. И как уж это случилось, а мальчоночко-то с бегляком в голбце и попал. Бегляк кричит: «Пусти, а ежели не пустишь, мальчика зарежу...» Вот и взметалась вдова: и разбойника выпустить невозможно и мальчоночка жаль. А мальчоночко-то из голбца кричит: «Мамынька родимая, бегляк мне пальчик режет ножом... Мамынька родимая, на ножке пальчик отрезал...» Легко это материнскому сердцу!.. И молилась она и плакала... А разбойник-то уж на одной ручке все пальчики обрезал мальчику. Ну, тогда она не стерпела и выпустила его, а он совсем растервенился и ее затиранил до смерти... А потом ограбил все и убежал. Мальчоночко-то жив остался, только пальчиков на одной руке не осталось. Так и ушел бегляк и все бегал, пока Корнило его не застрелил за репку. Как ни бегал, значит, а бог-то все-таки нашел...

Нам как-то особенно хотелось слушать этот рассказ о репке, вероятно, потому, что в нем разбойничья психология была мотивирована и разбойничья жестокость несла высшую кару. Слушатель успокаивался, потому что порок наказывался. Стихийное зло покрывалось возмездием и отмщением.

Текущая действительность иллюстрировалась подвигами «природных» заводских разбойников. Они не переводились.

Савка, Федька Детков, Чеботка – всё это были свои люди. Их ловили, сажали в острог, потом они убегали и их опять ловили. Разбойник всегда был тут, под рукой. Случаи убийства повторялись довольно часто: убили узниковца Илью, который накануне у нас пил чай, потом на дороге застрелили поверенного, который вез деньги, потом Чеботка бросился с ножом на заводского приказчика Павла Зотеича, потом насмерть избили целовальника Мишку, потом насмерть самым зверским образом замучили гулящую солдатку и т. д. Уголовщина не прекращалась, но случайные примеры еще ничего не доказывали и скоро забывались, а на первом плане оставался все-таки настоящий разбойник, в своем роде специалист и профессиональный человек. Он являлся чем-то обреченным, роковым и неизбежным.

Как теперь помню ноябрьское серенькое утро. Снег только выпал и не успел еще потерять присвоенной первому снегу девственной белизны. Для нас, мальчишек, это был праздник. В саду, сейчас под окнами, мы уже устраивали катушку, то есть гору, как говорят здесь. Эта катушка занимала все наше внимание, и с мыслью о ней мы просыпались каждое утро. Итак, в одно прекрасное утро, когда по установившемуся порядку мы должны были готовить уроки, я не утерпел и незаметно ускользнул из классной, чтобы хоть посмотреть на предмет наших вожделений. Шел мягкий снежок, обещавший новые наслаждения. Выбегаю стремглав в сад и останавливаюсь как вкопанный. По нашей катушке ходил какой-то мужик с метлой и волочил зловеще звонившую цепь, – он был в ножных кандалах.

«Разбойник...» – мелькнуло у меня в голове, и я прынул назад.

Детское любопытство неудержимо. Следующую вылазку мы сделали уже совместно с братом. Сначала посмотрели в щель – разбойник с самым мирным видом разметал снег с

нашей катушки. А цепи так и звенят... Мы выглянули в приотворенные ворота, потом долго стояли в воротах и, наконец, подталкивая друг друга, подошли на «приличное расстояние» к самому разбойнику.

- Ты это что делаешь, дядя?
- Снег подметаю...
- А ты кто такой?
- Кузнец...
- А тебя как зовут?
- Аверкием звали...
- А зачем у тебя кандалы на ногах?
- А уж, видно, так случилось...

Страшного в этом разбойнике решительно ничего не было. Самый обыкновенный мужик. Небольшого роста, широкоплечий, с добродушным бородатым лицом и веселыми серыми глазами. Говорил он с какой-то мягкой ласковостью. И эта мужицкая обыкновенность как-то уже совсем не вязалась с лязганьем кандалов.

- А ты как к нам попал, Аверкий?

– Да я в школе сiju... В машинной места не хватает. Крепостное зверство иногда отличалось самыми наивными

формами. Кузнец Аверкий попался с поличным, как фальшивый монетчик, – преступление, за которое предусматривалась каторга и даже, кажется, предварительное наказание плетью. Человека схватили, заковали в кандалы и посадили в пустую школу, где он должен был стеречь себя уже сам. Мы жили в казенном заводском доме, а пустая школа стояла рядом. Аверкию наскучило сидеть в ней без дела, он вышел в сад и сейчас же нашел себе работу. Как видите, все так просто и наивно.

Сначала появление Аверкия произвело сенсацию в нашем доме, то есть его кандалы, а потом все успокоилось. Страх уступил место совершенно другому чувству: все прониклось сожалением к несчастному. В самом деле, Аверкий смастерил из олова несколько очень скверных двугривенных, сейчас же попался с ними и теперь сидел в школе, ожидая с каким-то фатальным терпением, когда «выйдут» плети и каторга. Преступление было такое наивное, а наказание такое страшное, что Аверкия нельзя было не жалеть. Притом это был свой человек, и его знал весь завод как кузнеца. А там где-то уже по всем правилам искусства приготовлялась каторга, чей-то мозг подводил все под закон, чья-то воля должна была осуществиться...

– Эх, пропала твоя голова ни за грош, – в глаза жалел наш кучер Яков будущего каторжника.

- И то пропала...

- Дернуло тебя, Аверкий!.. Хоть бы по настоящему какому уголовству попался, а то...

Аверкию и самому себя, видимо, было тоже жаль, именно с прибавлением этих комментариев. Он встряхивал головой и как-то застенчиво улыбался. С другой стороны, как мне кажется, он никак не мог поверить в свое грозное будущее. Как-то уж все очень быстро случилось...

Мы с ним познакомились в несколько дней и постоянно бегали в школу, куда с нами отправлялась разная еда. В благодарность Аверкий мастерил нам свои мужицкие игрушки. Его тяготило больше всего вынужденное безделье, оставлявшее слишком много времени для тяжелого раздумья.

- А ты не боишься? – допытывали мы с детской бестактностью.
- Чего бояться: и там люди живут. Значит, уж богу угодно...

Я помню, что по вечерам, когда зажигали огонь, я постоянно думал об Аверкий, и мне делалось за него страшно. За разрешением этого вопроса мы постоянно приставали к отцу, так что надоели ему.

- Отстаньте вы от меня, – ворчал он. – Я сам ничего не понимаю...

Большие тоже волновались и по-своему выражали разные мелкие знаки внимания несчастному узнику. Мать посылала ему разную еду, а отец нарочно ходил похлопотать к заводской власти. Но дело уже переходило из инстанции в инстанцию, и остановить его никто не мог. Заводский приказчик тоже от души жалел глупого кузнеца, хотя и поймал его сам. Вообще получалась неразрешимая путаница, которую могла порвать только рука запятого мастера.

Днем никто не приходил навестить Аверкия. Может быть, мешали свои домашние дела, а может быть, удерживал спасительный страх. Чаще других приходила его жена, забитая и молчаливая баба. Она приводила с собой мальчика лет шести, который тоже молчал и пугливо прятался за мать. Помолчав с полчаса, она говорила:

– Ну, я пойду...

– Ступай, – сурово отвечал Аверкий.

Почему-то присутствие жены его раздражало каждый раз. Впрочем, под этой формой могло скрываться другое чувство, которое он боялся обнаружить, как проявление немужской слабости.

Совсем другое настроение являлось у него, когда приходил его проведать солдат-кузнец. Это был совсем подозрительный субъект с слезившимися глазками и медной серьгой в ухе. Он всегда был под хмельком и всегда ругался.

– Ироды, вот што! Да... Другие-то похуже в тыщу разов, да живут. Прямые душегубы, которые бывают... да. А тут на тебе... Здорово живешь... Тьфу, дьяволы...

– Ты это кого, солдат, ругаешь? – спросил я однажды.

– А вот вырастешь большой, так сам узнаешь... Право, дьяволы!.. Да я, кажется, своими бы руками всех растерзал... Не тронь! Не моги трогать... Закон – да я тебе такой закон напишу, что ни взад ни вперед.

Раз солдат явился в сопровождении собственной жены, красивой женщины с зелеными глазами и зелеными серьгами. Она была одета совсем не по-заводски, то есть не в сарафан, а в ситцевое платье. Удивительное было у ней лицо – дерзкое, нахальное, с тяжелым взглядом. Я окончательно стал ее бояться, когда узнал, что солдат взял ее в жены «с эшафота», как объяснил нам кучер Яков. Этот Яков знал все и отличался большими наклонностями к философии.

– Она, значит, мужа стравила, ну, ее на эшафот... А ты не трави!.. Ну, а тут солдат и подвернись... Так и так, желаю жениться на этой самой отраве. Ну, по закону вместо плетей да каторги ее за солдата замуж выдали... Теперь она его уже три раза зачинала травить, да живуч солдат. Отлежится и насмерть ее изобьет, а она отлежится – опять его травить...

Аверкий прожил в школе месяца два, а потом вдруг исчез. Как его увезли и когда – мы не видали.

– В Верхотурье повезли, – сурово объяснил Яков на все наши вопросы и выругался в пространство. – Там рассудят...

Не прошло и полугодя, как разнеслась весть, что Аверкий бежал из верхотурского острога. Почему он не бежал, когда сидел в школе один, что было в тысячу раз легче сделать, почему не бежал с дороги, что тоже сравнительно легче, – трудно сказать. Может быть, его ошеломила острожная обстановка, может быть, проснулась смертная тоска по воле, может быть, он убедился, что все равно, как ни пропадать и где ни пропадать. И ушел Аверкий с большой дерзостью, как не могли уйти опытные и бывалые острожные сидельцы. В нем как-то разом проснулся настоящий разбойник, а не глупый фальшивый монетчик. Думал-думал, прикидывал умом и так и этак и, наконец, придумал. Ведь это наша русская историческая панацея – спастись от всякой беды бегством. Аверкий являлся только ничтожной единицей в общей арифметике всяческого бегства.

– Молодец, – угрюмо похвалил Яков бежавшего Аверкия. – Давно было нужно так-то сделать...

– А если его поймают?

– Ну, еще это надо пообедать... Такого-то зверя не скоро взловишь, потому как человек он свежий и весь расстервенился.

Предсказания Якова скоро сбылись. Аверкия пытались где-то ловить, и он для первого раза зарезал полесовщика, – это было уже настоящее вступление на разбойничий путь, и возврата не было.

Через полгода дошли слухи, что Аверко (уже не Аверкий) показался в окрестностях нашего завода и что-то замышляет. Два раза сгоняли народ его ловить, но он уходил из-под носу. Дальше уже начались прямо дерзости: он ночевал у себя в собственной избе. Вероятно, это было его мечтой и заветной целью, именно, хотя одну ночь чувствовать себя человеком, а не лесным зверем. Сказалась мучительная тяга к родному пепелищу... Заводская администрация поднялась на ноги, потому что Аверко, видимо, не желал уходить от родных мест и спасался по покосным избушкам, промысловым балаганам и куреням. Его встречали там и сям. Кто-то донес, что он в такой-то день опять придет ночевать к жене. Но Аверко предпочел провести эту ночь в нашей бане.

Последнее всех переполошило. Смелость Аверки начинала переходить даже границы, дозволенные «прямым разбойникам».

– Пустяки, – уверял один Яков. – С чего он нас-то будет трогать? Мы ему вреда не делали... И разбойник чужую хлеб-соль не забывает.

Яков был прав. Аверко больше не показывался и не тревожил никого.

Закончилась эта разбойничья карьера тем, что Аверко, подобрав партию из других шляющих людей, ограбил почту и убил почтальона. Шляющие были скоро переловлены, а Аверко еще раз ушел, вернее, не ушел, а только скрылся на время. Поднята была на ноги вся заводская полиция, и Аверку, наконец поймали где-то в горах. Это был уже совсем другой человек, несколько не походивший на прежнего Аверкия. Наряжен был чрезвычайный военный суд, который и порешил наказать преступников шпицрутенами по месту жительства. К счастью, экзекуция совершалась не на нашем заводе, а в соседнем. Аверко не вынес своих четырех тысяч.

– Напоили его водой – вот и помер, – объяснил Яков. – Другим-то не дали пить во время наказания, ну, они и остались живы.

Тряхнув головой, Яков прибавил:

– И чего, подумаешь, пропал человек... И двугривенные-то делал не он, а солдат с женой. Ну, а улики на него выпали... Эх, жисть!.. Он мне сам сказывал...

Заводское крепостное право отличалось особенной жестокостью, и благодаря этому, как я уже говорил выше, создался целый цикл крепостных заводских разбойников. Это был глухой протест всей массы заводского населения, а отдельные единицы явились только его выразителями, более или менее яркими. Такой свой заводский разбойник пользовался всеми симпатиями массы и превращался в героя. Он шел за общее дело и масса глухо его отстаивала.

Последним и самым ярким выразителем этого разбойничьего типа явился знаменитый Савка.

От нас через площадь виднелось деревянное здание заводской конторы, выстроенное в стиле аракевского ренессанса, то есть греческий фронтон с колоннами прикрывал кордегардию. Эта контора была страшным местом для населения, и, проходя мимо, можно было слышать вопли наказуемых отеческой крепостной рукой. Во дворе конторы стояло специальное здание, известное под именем «машинной», где хранились пожарные машины и происходили все внушения и порки, а также содержались узники. Кстати, в самом названии этого застенка слышалась злая ирония, – именно машинная, потому что роль всех машин и коварных ухищрений европейской техники здесь заменял заводский кнут и розги. Просто, коротко и для всех понятно... «Машинная» никогда не стояла пустой, и здесь получали высшее образование будущие знаменитости по разбойничьей части. В числе других довершил здесь свой курс и Савка, посаженный в «машинную» за какую-то продерзость. Из «машинной» были две дороги: в верхотурский острог или в лес. Самые энергичные люди предпочитали последний путь, а в том числе и Савка.

Савка «бегал» больше десяти лет. Его несколько раз ловили, сажали в «машинную», препровождали в верхотурский острог, а из последнего он уходил уже сам. Легенда говорила, что Савка знает «такое слово», которого не выдерживают никакие тюремные стены. Так и велась борьба между заводской «машинной» и «таким словом» Савки с переменным успехом. В качестве отпетого человека Савка пользовался известной популярностью даже у заводского начальства, и к нему относились совершенно иначе, чем к рядовым разбойникам. Впрочем, среди всяких правонарушителей есть всегда своя аристократия, блюдущая свои привилегии гораздо лучше всякой другой аристократии. И заводский приказчик и заводский исправник были, кажется, убеждены, что провиденциальное назначение Савки выражается одним словом – бегать, и мирились с этим, как с логической необходимостью. Кстати, говоря о заводских египетских работах, должен оговориться, именно, что люди, осуществлявшие жестокие способы, меры, приемы и формы, сами по себе совсем не были ни злыми, ни жестокими людьми, а только более или менее добросовестно «творили волю пославшего». Это уж такая черта русского характера, что по приказанию самые добрые люди могут превратиться во что угодно.

Именно таким человеком был дореформенный следователь Николай Иваныч, который после обедни в воскресенье завернул к нам напиться чаю. К числу резких внешних признаков этой страшной власти принадлежал необыкновенно маленький рост, так что как-то странно было видеть на нем военный мундир. Между прочим, мой брат, отличавшийся большой наивностью, долго присматривался к этому гостю и кончил тем, что подошел к нему с какой-то игрушкой и серьезно предложил:

– Пойдем поиграем...

А этот Николай Иваныч явился к нам на завод во главе полусотни оренбургских казаков с специальной целью во что бы то ни стало поймать знаменитого Савку. Этого требовал новый главный заводский управляющий, поклявшийся подтянуть все заводы, а главное – уничтожить институт специально заводских разбойников. На первой очереди стоял Савка. Нас всех страшно занимал вопрос, как такой маленький Николай Иваныч поймает такого страшного разбойника, как Савка.

Итак, обедня кончилась, и Николай Иваныч, выпив два стакана чаю, только что направился к закуске, так аппетитно, расставленной на особом столике. В открытые окна

глядел жаркий летний день, располагавший к самым мирным мыслям.

– Как же это ты поймал Савку? – спрашивал отец грозное начальство (они учились вместе).

– А вот и поймал, – спокойно отвечал Николай Иваныч, – выпивая рюмку водки. – Да... Я, брат, шутить не люблю. У меня: раз, два – и готово...

– Ну, гусей по осени считают.

Николай Иваныч уже прицелился к какому-то соленому груздю, как к самому окну подскакал верховой казак:

– Ваше скородие, Савка...

– Где Савка?..

– Ён, ваше скородие... ён побег в гору.

– Да говори толком, дурак!

– Слушаю-с... Вон по горе, ваше скородие, бежит. Казак указал на гору Кокурникову, которую отлично было

видно от нас из окна, а по дороге забирала в гору какая-то точка.

– Где сотник?! – заорал Николай Иваныч, преисполняясь административной энергией. – Отрядить в погоню пятерых казаков.

– Слушаю-с...

– Да скажи сотнику, что он дурак... Вместо того чтобы послать погоню, он меня посылает спрашивать.

– Слушаю-с.

– Живо! Одна нога здесь, другая там...

– Точно так-с, ваше...

Через какую-нибудь минуту мимо нашего дома, припав к седельным лукам, вихрем пронеслась казачья пятерка, точно спущенная свора борзых. Наступил томительный момент ожидания... Вот они уже проскакали заводскую плотину, потом миновали узкую поперечную улочку и марш-маршем понеслись в гору. К нашему удивлению, черная точка, служившая воплощением Савки, остановилась, точно делала рассчитанную паузу, чтобы подразнить казаков.

– Ах, мерзавец! – задыхался Николай Иваныч, сжимая маленькие кулачки. – Валяй его!.. Бери... бей...

Мы все наблюдали за движением казачьей пятерки, затаив дыхание. Вот она уже совсем близко... вот она и совсем насела... Но тут случилось что-то необыкновенное: черная точка – Савка – оказалась ниже казаков, а потом она пошла вправо от дороги, к небольшому леску, который зеленым гребнем венчал Кокурникову.

– Ах, мерзавец... – как-то застонал Николай Иваныч, топая в отчаянии ногами. – Держи его... валяй!..

Все облегченно вздохнули, когда черная точка благополучно исчезла в лесу. О, как это страшно, когда на глазах травят живого человека!.. Я помню, как наша кухарка Агафья благочестиво крестилась все время, пока Савка бежал в гору, – она выбежала за ворота вместе с другими и с замирающим сердцем наблюдала происходившую сцену. Много еще таких же простых баб провожали глазами бежавшего Савку, покрывая его своей хорошей бабьей жалостью.

Трудно описать неистовство Николая Иваныча, когда пятерка вернулась и давешний казак донес о случившемся конфузе.

– Мы его достигли совсем, ваше скородие... А ён стоит посередь дороги. Ну, а потом на нас... «Кланяйтесь, грит, вашему следователю, а мне некогда». Как стрелит между нами... Я его одиновою зацепил нагайкой... А потом ён в сторону и в лес.

– Он смеялся над вами, дураками!..

Смелый маневр Савки, бросившегося на казаков, чего они уже никак не ожидали, произвел на всех ошеломляющее впечатление, как новое проявление Савкиной удали и находчивости. Он бравировал у всех на глазах, точно ответственный первый артист какой-то труппы.

Цель стратегического маневра Савки была ясна для всех. Николай Иваныч привел с собой полусотню казаков и расставил их постоем по раскольничьим домам, потому что Савка был раскольник и находил постоянную поддержку и сочувствие главным образом среди раскольничьего населения. Можно представить себе ужас строгой и чистоплотной староверческой семьи, когда в ней поселялся казак, табашник и скобленое рыло. Эта драгоннада должна была довести раскольников до повинной. Так соображал Николай Иваныч. Бегство Савки у всех на глазах было ему ответом.

– Нет, брат, шалишь!.. – хвастался Николай Иваныч. – Не мытьем, так будем брать катаньем... Видишь, что придумали!.. Заморю постоем, пока не выдадут Савку головой... Ха-ха! Будут поминать Николая Иваныча...

К неумолимому начальству являлась целая раскольничья депутация с умильным словом, но Николай Иваныч ничего и слышать не хотел.

– Я вас всех выкурю табаком, как тараканов... да!.. – кричал Николай Иваныч, топя маленькими ножками. – Вы будете меня помнить... А без Савки не уеду. Так и знайте!..

2

Началось тяжелое отсиживание от неумолимого власто-держца. Николай Иваныч пил чай, гулял, купался, по вечерам играл у приказчика в преферанс и выдерживал характер.

– Еще старуха надвое сказала, – повторял он, подмигивая. – Хе-хе... Посмотрим, чья возьмет.

Раскольники крепились укрепой богатырской и не сдавались. Да и Савки не было уже в заводе, – он ушел в горы.

– Э, стара штука! – смеялся Николай Иваныч. – Я уеду, а он вернется... Не согласен! Да-с...

День проходил за днем в томительном ожидании. А тут еще близился Петров день, когда работы на фабрике прекращались и все отпускались на страду до успенья. Какая же тут могла быть страда, когда в заводе останутся домовничать казаки! Одним словом, дело начинало усложняться с каждым днем. Получалась такая альтернатива: или должны были раскольники предать Савку, или сам Савка должен был явиться с повинной.

Выручило всех случайное обстоятельство. Прошел слух, что Савка болен и лежит где-то в горах, в пещере. Кто пустил этот слух, осталось неизвестным. Может быть, даже сам Савка, которому было все равно, где ни помирать. Впоследствии передавали, что его выдали какие-то скитские старцы, пожалевшие измученную казачьим постоем свою раскольничью паству. Расчет был чисто арифметический: лучше уж одному Савке пострадать, чем всем мучиться за него.

– Я сам его поймаю, – решил Николай Иваныч. – А то казаки одни опять упустят...

В горы была снаряжена целая экспедиция с Николаем Иванычем во главе. К казакам были присоединены свои заводские лесообъездчики и конюхи из «машинной». Конечно, приготовления делались в страшной тайне, такой, что все знали о ней за несколько дней вперед.

Опять наступали дни томительного ожидания, и опять все волновались, от мала до велика. Наша кухарка Агафья громко молилась по вечерам за татя и душегубца раба божия Савелия. Кучер Яков принял какой-то особенно таинственный вид и постоянно бегал в кабак, где сосредоточивались все политические известия и последние новости.

Прошел день, другой, третий – об экспедиции ни слуху ни духу.

– Он им глаза ответит, – уверяла Агафья.

– Тут не в глазах дело, – с достаточным презрением отвечал Яков. – Ежели который человек знает такое слово... А ты все равно ничего не поймешь. В прошлый-то раз никому

глаз не отводил, а ушел. Они на него всей пятеркой, а он свое слово сказал – и только всего. Мне один казак сам рассказывал...

Ожидания решились сами собой, когда на четвертый день Савка был привезен ночью и водворен в «машинную» под строжайший караул. Его нашли действительно в пещере, далеко в горах. Савка лежал больной и не оказал ни малейшего сопротивления.

Николай Иваныч торжествовал и ходил петушком.

– Э, брат, со мной, брат, шутки плохие!.. Да я и один бы поймал такого гуся. Савка, Савка – нашли какого Александра Македонского... Теперь, брат, никуда не уйдет.

Успех вскружил голову Николаю Иванычу, и он для важности стал ходить на цыпочках.

Савка лежал в «машинной» больной целую неделю. Мы, дети, потихоньку бегали его навестить. Ведь настоящий живой разбойник, которого все боялись... Правда, было очень страшно, но любопытство превозмогло все. Конечно, все устроилось только при благосклонном содействии кучера Якова, у которого в «машинной» была рука в лице конюха Паньши, молодого, но очень угрюмого мужика.

– Што его смотреть? – угрюмо заявлял Паньша. – Не зверь какой...

Стража из двух казаков была подкуплена, кажется, гривенником. Савка лежал в узенькой камерке, скупо освещенной маленьким оконцем. Он для безопасности был в ручных и ножных кандалах. Мы смотрели на знаменитого разбойника в маленькое оконце в толстой двери. Я был даже огорчен, что Савка, кроме простой кумачной рубахи и плисовых шаровар, ничем не отличался от других мужиков. Ему было лет сорок. Лицо самое обыкновенное, с самой обыкновенной русой бородкой. Мы, кажется, его разбудили, и Савка сел на своей лавке, гремя кандалами.

– Што вам надо? – глухо спросил он, глядя исподлобья. Нам почему-то сделалось страшно, и мы бежали самым позорным образом. Самым ужасным были, конечно, кандалы.

Следователь выждал воскресенья, когда фабрика не работала, чтобы отправить Савку с большой помпой. День был солнечный, горячий. Вся площадь перед конторой покрылась народом. Казачья полусотня выстроилась перед воротами, откуда должны были вывезти Савку. Для пушшего эффекта Николай Иваныч нарочно затянул момент отправки. Все видели, как он сидел в господском доме у окна и преспокойно пил чай стакан за стаканом.

Собравшийся на площади народ вел себя очень сдержанно. Ни громкого галденья, ни движения, ни смеха.

Наконец, следователь махнул в окне белым платком, что служило сипи алом к выступлению. Казаки выстроились в две шеренги, ворота растворились, и в них выехала простая крестьянская телега, на которой сидел Савка. Руки у него были прикованы к грядкам телеги. Он был без шапки и низко раскланывался на обе стороны. Он был страшно бледен.

– Братцы, простите...

Толпа замерла. И только один голос крикнул точно из-под земли:

– Бог тебя простит, Савелий Тарасыч!.

На площади телега остановилась, ожидая, когда выедет из господского дома следовательский экипаж. Казаки раздвинули толпу, и, когда показался экипаж, началась джигитовка. Казаки были рады оставить это раскольничье гнездо и выделывали на своих низеньких лошаденках чудеса эквилибристики; Появление самого Николая Иваныча было встречено залпом.

Я помню, как вся процессия тронулась вперед, а над толпой точно плыла красным пятном кланявшаяся фигура Савки. Картина получилась самая импонирующая... Задние ряды зрителей глухо роптали. Где-то слышалось подавленное бабье причитание.

– Ничего, уйдет, – решительно заявлял какой-то седой старик с длинной палкой в руках. – Вот уж Савелий Тарасыч скажет им свое словечко.

Лет через двадцать мне пришлось заглянуть в родное гнездо. Те же зеленые горы кругом, та же фабрика, те же заводские улицы... Только заводская контора представляла уже развалину. Я зашел во двор. «Машинная» еще сохранилась, но была заколочена наглухо. В ней никто не нуждался больше.

Крепостные заводские разбойники покончили свое существование вместе с открытием «воли». Савка в числе других принес повинную, где-то отсидел назначенный срок и жил в заводе, как мирный обыватель.

Яркий солнечный день. Короткое сибирское лето точно выбивалось из сил, чтобы прогреть хорошенько холодную сибирскую землю. Именно чувствовалось какое-то напряженное усилие со стороны солнца, та деланная ласковость, с которой целуют нелюбимых детей. А в ответ на эти обидные ласки так хорошо зеленела густая сочная трава, так мило прятались в ее живом шелку скромные сибирские цветочки, так солидно шептал дремучий сибирский лес какую-то бесконечную сказку. Да, и солнце, и зелень, и застоявшийся аромат громадного бора, – недоставало только птичьего гама. Сибирский лес молчалив, точно он затаил в себе какую-то свою скорбную думу, которую раздумывают про себя, а не выносят в люди. Мне лично нравится эта молитвенная тишина кондового сибирского леса, хотя подчас от нее делается жутко на душе, точно сам виноват в чем-то, и виноват по-хорошему, с тем назревающим покаянным настроением, которое так понятно русскому человеку.

– Эй вы, залетные! – покрикивает сибирский ямщик, который сидит на облучке «этаким чертом». Мне кажется, в его голосе звучит какая-то смутная ласковость, вызванная хорошим летним днем. Со своей стороны, я инстинктивно стараюсь попасть в тон этому настроению и завожу один из тех бесконечных разговоров, которые ведутся только дорогой.

– Ты из Успенского завода, ямщик?

– Так точно.

– У тебя там дом есть, то есть свой дом?

– А то как же? – удивляется ямщик несообразному вопросу. – И дом, и обзаведенье..

Это говорится таким тоном, точно все люди должны иметь собственные дома и свое обзаведенье.

– Так есть дом и обзаведенье? Что же, хорошо.

– Какой же я буду мужик, барин, ежели, примерно, ни кола ни двора? Которые правильные мужики, так те никак не могут, чтобы, значит, ни на дворе, ни на улице..

– Так-то оно так, да ведь у вас на заводе того... гм..

Ямщик оборачивает ко мне свое лицо, улыбается и одним словом разрешает застрявшую фразу:

– Варнаки мы, барин... Это точно. Уж такое место... да. Каторга, значит, была... Оставили ее, каторгу-то, когда, значит, волю дали. Ну, а мы-то остались, как и были, варнаками. Все под одну масть... Так все и зовут нас: успенские варнаки.

Все это говорилось таким добродушным тоном, что делалось жутко. Я только теперь рассмотрел своего ямщика. Это был еще крепкий старик с удивительно добрым лицом. На мой пристальный взгляд он снял шапку, откинул на виске волосы и проговорил:

– Из клейменных, барин..

На виске были вытравлены каким-то черным составом буквы С и П, что в переводе с каторжного языка значило: ссыльно-поселенец.

– С тавром хожу, чтобы не потерялся..

– Ты, значит, тоже на каторге был?

– Коренной варнак... Уж нас немного осталось, настоящих-то, а то все молодь пошла. Значит варначата..

– Из какой губернии?

– Мы рязанские были..

Старик совсем повернулся ко мне и заговорил как-то скороговоркой, точно боялся забыть что-то:

– Значит, мы княжеские были... Именье-то было огромное, а княжиха, значит, старуха была, ох какая лютая. Сыновья у ней в Питере служили, офицеры, а она управлялась в усадьбе. Здоровущая была старуха и с палкой ходила... Ка-ак саданет палкой, так держись. Лютая была... Ну, из-за нее и я в каторгу ушел. Только и сама она недолго покрасовалась... Повар у ней был, ну так она каждое утро его полировала первого. Терпел он, терпел, ну, раз вот этак утром-то как ударит ее ножом прямо в брюхо. Так нож и остался там... К вечеру померла... Ох, лютая была!.. Повара-то засудили тут же... Четыре тыщи палок прошел. Могутный был человек, а не стерпел – на четвертой тыще кончился.

Старик сделал паузу, тряхнул головой и опять любовно и весело прикрикнул на лошадей:

– Да эх вы, залетные!..

Лошади дружно рванулись и полетели вперед, чуя близость жилья. Лес поредел, точно он расступался сознательно, давая дорогу. Показались покосы, росчисти, просто поляны и лужайки. Мелькнула прятая в зелени полоска воды, прогремел под колесами деревянный мостик, шарахнулась в сторону стреноженная лошадь, побиравшаяся около дороги, а там впереди уже сквозь редешную сетку деревьев смутно обрисовался силуэт высокой колокольни. Через несколько минут раскрылась вся картина каторжного пепелища в отставке... Как-то странно было увидеть это солнце, всевидящим оком радостно сиявшее над местом недавнего позора, каторжных воплей и кровавого возмездия. Ведь оно и тогда так же сияло, как сейчас, оставаясь немим свидетелем каторжных ужасов.

Что-то вроде предместья, грязная улица, целые ряды горбившихся крыш, точно чешуя гигантского пресмыкающегося, вдали до краев налитый заводской пруд, у плотины новое громадное здание строившейся первой в Сибири писче-бумажной фабрики, выходявшей главным фасадом на заводскую площадь с какими-то развалинами.

– Вот тут была каторжная пьяная фабрика, объяснил мой возница, указывая на эти развалины.

Да, не винокурный завод, а именно пьяная фабрика.

2

Цель моей поездки в Успенский завод (Тобольской губернии) была довольно неопределенная – посмотреть первую писче-бумажную фабрику, погостить у знакомого человека, заняться немножко археологией и т. д. Мой знакомый, инженер Аполлон Иваныч, строил фабрику и обещал показать все достопримечательности бывшей каторги. Кстати, он занимал квартиру в помещении бывшей каторжной конторы, имевшей самый мирный вид запущенной помещичьей усадьбы. Через полчаса мы пили чай в комнате, где производились когда-то дознания, следовательские допросы и всяческий иной сыск.

Прислуживавшая за столом горничная была из коренных варначек. Чистое русское лицо, без сибирской скуластости и узкоглазия. Великорусский тип сказывался во всем.

– У нас тут все каторжные, – коротко объяснил Аполлон Иваныч, отвечая на мой немой вопрос.

– И что же, есть какая-нибудь разница с другими селениями?

– Никакой... Такие же люди, как и все другие. Даже повышенной преступности никакой не замечается. Ни краж, ни разбоев, ни убийств... Вообще все тихо и мирно. А между тем сейчас еще есть человек двадцать старух из каторжанок... Совсем хорошие женщины и все до одной семейные. Клейменных стариков, кажется, человек шесть наберется. Кстати, последний каторжанин с рваными ноздрями умер лет пятнадцать тому назад. – Я сам его не видел, а передаю, что слышал от других.

По этому отзыву можно сделать совершенно неожиданный вывод, именно, что старая каторга имела самое благотворное влияние, в корне истребляя зло и совершенствуя преступную волю. Но, как увидим ниже, тут были совсем другие причины и основания.

После чая мы отправились осматривать новую фабрику, что заняло около двух часов. Первая сибирская фабрика была выстроена по последнему слову науки, которое именно здесь, на месте бывшей каторжной «пьяной фабрики» имело особенное значение. Там, где каторжными руками гналось зелено вино для царева кабака, теперь труд вольного человека

нашел приложение к совершенно другому делу, – бумага уже сама по себе являлась величайшим культурным признаком. Кто знает, может быть, на этой фабрике выделается та бумага, на которой новые последние слова науки, знания гуманизма рассеют историческую тьму, висящую над Сибирью тяжелою тучей. Впрочем, – это, кажется, уже область исторического сентиментализма и еще далеких иллюзий. Самой фабрики я не буду описывать, – для меня она являлась только культурным фактором, характерным именно в этом разоренном царстве кнута, шпицрутенов и плетей.

– А как здесь жили прежде! – рассказывал Аполлон Иваныч, когда мы выходили из новой фабрики. – Каторжный винокурный завод сдавался в аренду, и откупщики наживали громадные деньги. Настоящее разливанное море было... Шампанское лилось рекой, и в Успенский завод часто гости ехали со всех сторон целыми обозами. Еще и сейчас старожилы помнят это неистовое веселье. Тут каторга, и тут же веселье.

Да, какое-то нелепое время было... Сейчас даже и приблизительно трудно себе представить, что здесь творилось. Кстати, вон на плотине стоит скамейка – на ней отдыхал знаменитый откупщик Поклевский. Выйдет на бережок и дышит свежим воздухом. Про него рассказывают чудеса. Однажды он приходит в каторжную контору, а там идет следствие: убили арестанта, и убийцу никак не могли открыть. Каторжные его не выдавали, и следователь ничего не мог поделывать. Тогда Поклевский и говорит: «Позвольте, я его сейчас узнаю». Подходит к выстроенным в шеренгу каторжникам, пристально вглядываясь в лица, а потом как ударит одного по лицу: «Ты, такой-сякой, убил?». Тот свалился с ног и во всем признался. Удивительно все просто было..

Деревянное здание упраздненной каторги еще сохранилось. Оно стояло с заколоченными окнами, как ослепший призрак. Вечером мы долго гуляли по заводским улицам. Стройка здесь отличалась от обычной сибирской архитектуры тем, что около домиков там и сям зеленели садики на великорусский манер. Очевидно, здесь жили невольные выходцы откуда-нибудь из коренной России. Сибиряк не выносит подобных нежностей, что и понятно – и без садика достаточно кругом леса. Попадавшиеся варнаки и варначки заметно выделялись красотой какого-то смешанного типа, особенно женщины. В Сибири вообще так мало красивых лиц, благодаря слишком большой примеси всевозможной инородческой крови.

– Кого-кого только тут нет, – объяснил Аполлон Иваныч. – И великорусы, и хохлы, и остзейские немцы, и черкесы – настоящая каторжная мозаика. Потом все это слилось, выработался свой смешанный тип, то есть совсем новый этнографический человек. Кстати, завтра, воскресенье, так сами увидите нашу публику.

– Скажите, отбывшие каторгу и переведенные в разряд ссыльно-поселенцев делались семейными людьми?

– Обязательно... Невест доставляли со всех концов России на каторгу в достаточном количестве – выбирай любую. Из всех этих каторжанок вышли прекрасные жены, матери и хозяйки. Я на знаю ни одного случая, чтобы баба отбилась от дому и разрушила семью. Оно и понятно: каждая прошла такую ужасную школу, что свой угол являлся раем. Замечательно, что все эти каторжники были совсем молодые и почти поголовно дворовые. Я как-то просматривал списки и нашел всего двух в бальзаковском возрасте. Кстати, у нашего батюшки есть списки, и вы сами посмотрите..

В течение целого дня все наши разговоры обязательно сводились на каторгу. Да иначе, конечно, и быть не могло. Самый воздух здесь был насыщен этими каторжными мыслями...

В Успенском заводе мне пришлось прожить дня три, и самое интересное, что я видел, это подробный список каторжан за несколько лет. В моих руках был исторический документ громадной важности, в своем роде синодик крепостного права и его резюме. Раньше я говорил о заводских крепостных разбойниках, являвшихся единицами, а тут получалась уже полная картина. Список был красноречиво – краток: имя, звание, состав преступления и форма наказания. Рассматривая этот список и делая из него выписки, я осязательно убедился прежде всего в том, что главный контингент преступников создавался именно крепостным правом. Некоторые преступления носили почти сказочный характер: один крепостной крестьянин был приговорен к четырем годам каторги за кражу сахара у своей помещицы,

другой к такому же наказанию за кражу меда и тоже у помещицы. Что это такое – ирония, насмешка, глумление?.. Логика отказывалась здесь работать, да и какая могла быть логика в этом царстве произвола и всяческого насилия? Еще характернее была группа женщин. Все это были молодые девушки и поголовно из дворовых, в возрасте от семнадцати до двадцати пяти лет. Главное преступление – поджог. Очевидно, мы тут имеем дело с тем протестующим возрастом, который никак не мог согласиться с существующим порядком. Женщина служила здесь тонким реактивом всеразьедавшего яда. В числе этих преступниц только одна приговорена была за детоубийство, и та была солдатка, а затем другая за сорок лет, польского звания, «по особым причинам». Читая этот мартиролог, приходилось переживать гнетущее чувство... Ведь под этими именами, датами и лаконическими отметками наказаний похоронено целое море никому не высказанных страданий, зол, бед и стихийного бессмысленного зла. А главное, читателю было ясно, что все эти преступления и наказания сделались немыслимыми после 19 февраля. Только читая этот мартиролог, понимаешь во всем объеме всю величину того зла, которое уже отошло в область преданий.

В мужской группе каторжан после преступлений против помещичьей власти выступали нарушители воинского устава. Палочная солдатчина поставляла громадный запас каторжного мяса. И какие наказания... Строевой солдат шестидесяти лет, – заметьте: строевой, – приговорен был к четырем тысячам шпицрутенов. Вообще что-то совершенно невероятное, подавляющее, колоссальное. И что всего замечательнее, что все эти правонарушители, «отбив каторгу», то есть шпицрутены, плети, кнут и пьяную фабрику, сейчас же превращались в самых мирных обывателей, делались семейными людьми и не обнаруживали какого-нибудь особенного тяготения к преступлениям. Каторга не исправляла их, а только снимала с них крепостное ярмо, невыносимую солдатчину и прочее зло доброго старого времени. Пример в высшей степени поучительный..

Из Успенского завода мне пришлось возвращаться с тем же клейменым ямщиком.

– Что, дедушка, тяжело было на каторге?

– Несладко, барин... А только ежели сказать правду, так ведь мы здесь в Сибири свет увидели. Поселенец, и все тут. Теперь-то все стали вольные, так и не поймут этих самых делов. Дома-то у себя в Рассее похуже каторги случалось... Особенно бабам эта самая каторга была на руку: отбыла года и вся своя.

– Бабам легче было?

– Ну, у них своя причина... Конечно, на пьяной фабрике они не работали и по зеленой улице их не гоняли, опять же не клеймили, ну, а только очень уж обижали смотрителя, особенно которая из лица получше. Навязался тут один старичонка смотритель, ласковый такой да богомольный, так он, кажется, ни одной не пропустил... Как новую партию пригонят, так он только ручки себе потирает. Одним словом, озорник..

– А наказывали страшно?

– Случалось... Палач был Филька, ну, так его привозили к нам из Тобольска. Здоровущий черт был... Ну, как его привезут, сейчас у нас сборка денег ему, чтобы, значит, не лютовал. Ведь ежели бы он все по закону достигал, так и в живых никто не остался бы.

– А шпицрутены?

– Ну, это почище плетей в тыщу разов... И рассказывать-то барин, страшно. Одного тут у нас наказывали... Ермилом Кожиным звали. Он целую семью загубил. Ну, так его и повели по зеленой улице... Нас всех для остраски в две роты выстроили. Ну, раздели его – могутный мужик, тело белое. Этакому-то труднее... На первой тысяче свалился... Положили его на тележку и везут. Все-таки второй тысячи не дотерпел... Дохтур уж его пожалел: «Дайте, говорит, водицы испить». А уж это известно: как на наказании напился воды – тут тебе и конец. Ну, с двух тысяч Кожин-то и кончился... Все одно, от начальства был приказ забыть его насмерть, и солдат расставили пошире, чтобы замах делали больше. Ох, и вспоминать-то это самое дело нехорошо...

Опять был солнечный день. Опять по сторонам дороги сплошным войском тянулся лес. Опять стояла тишина знойного дня, и невольно казалось, что эта та зловещая тишина, которая наступает в доме, где покойник: за нами оставался громадный покойник – каторга. Кстати, есть характерная русская поговорка: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет.

Разбойник и преступник

I

Наступивший школьный возраст надолго разлучил меня с родным гнездом, а вместе с тем прервались непосредственные отношения к разбойничьему репертуару. Раньше разбойник являлся живым человеком, вполне реальной величиной, органически связанной со всем укладом создавшей его жизни, а теперь он расплылся в общее отвлеченное представление преступника. Живя в городе, трудно понять эту разбойничью психологию в ее захватывающей полноте. Дышавший жизнью образ потускнел и разбился в ничем не связанные между собой подробности. Зачем вот этот городской «преступник» убивает, грабит и производит всяческие насилия? Когда его ловят и начинают судить, он нервничает и плачет на скамье подсудимых, как все эти темные дельцы, которые попадают с подлогами и разными некрасивыми плутнями. Прежде всего, здесь недостает эпического спокойствия.

Такой преступник, попавший в руки правосудия, не испытывает жгучего порыва покаяться и выкупить свои разбойничьи вины тяжким наказанием, которое воспринималось за какую-то стихийную форму возмездия. Настоящий разбойник выходил на высокое место лобное, кланялся на все четыре стороны и повторял стереотипную формулу всенародного покаяния: «Прости, народ православный...» Так делали и Стенька Разин, и Емелька Пугачев. «Преступник» поступает совсем наоборот: нервничает, плачет, старается всячески увильнуть, свалить свою вину на другого и, осужденный по всем пунктам, уносит из суда озлобленное убеждение в собственной невинности. Ну, чем же он виноват, что считал убитого богатым человеком, а у него, подлеца, оказалось всего полтора рубля? Разбойник нес в себе какое-то обаяние как трагическая сила, и, как всякая крупная сила, он вне своей профессиональной деятельности являлся и добрым и любящим, а преступник – весь дрянной и дрянной по-маленькому, как бывают дрянные насекомые. Исторический «вор» удал – добрый молодец окружен известным поэтическим ореолом в сознании народной массы именно потому, что являлся настоящей крупной силой, а преступник является чем-то вроде фабричных отбросов и в большинстве случаев относится уже к области ассенизации. Преступника создала обезличивающая городская жизнь, тот индивидуализм, который не имеет оправдания даже в остроге, и такой преступник не вызывает спасительного чувства страха, а только презрение. Народная масса может все понять и простить, кроме ничтожества.

Настоящий разбойник еще продолжал жить только по глухим углам, где и проявлял себя время от времени в той или другой форме. В город он попадал только поневоле, как подсудимый, чтобы получить заслуженное воздаяние.

Помню зимний день с легким снежком. Это было воскресенье. Когда мы, школяры, выходили из церкви от обедни, пронесся общий крик:

– Грешника будут наказывать... Грешника!..

Народ бежал по улице к хлебному рынку, где по воскресениям был торжок. Мы, конечно, понеслись туда же, увлекаемые живой волной. Все бежали к роковому пункту по молчаливому соглашению, как бежали и другие – деревенские мужики, городские мещане, мастеровые, какие-то безыменные бабы, а главным образом, детвора, задыхающаяся от волнения. Вероятно, так же сбегался на казнь народ и в Москве, и в древнем Новгороде, и в новом Петербурге. Жажда увидеть своими глазами эту публичную «торговую» казнь превозмогал все остальные добрые инстинкты, известную совесть и прямое физическое отвращение при виде чужих страданий. Может быть, психологической подкладкой здесь являлся необъяснимейший факт массовой жестокости, когда люди превращаются в диких зверей. Особенно характерно это проявляется на женщинах, достигающих последней степени неистовства.

Мне особенно запомнилась одна благочестивая старушка, которая бежала прямо из церкви к площади и на ходу крестилась. В левой руке она держала заздравную просвиру, завернутую в платок.

– Помяни, господи, царя Давида и кротость его... – бормотала старушка, изнемогая от старческого бессилия.

Площадь уже была забита народом, так что нам стоило большого труда пробиться поближе к черному квадрату эшафота. Пощады не было – мы толкали всех, и нас все толкали. Затрещины и подзатыльники в счет не шли. У меня перед глазами стояла красным пятном рослая фигура палача Афоньки. Издали казалось, что этот заплечный мастер ходит по головам сбившейся в одну стену публики. Афонька являлся героем дня, на нем сосредоточилось жадное внимание трехтысячной толпы.

– Вот он, Афоня, каким орлом расхаживает! – с восторгом говорит молоденький купеческий приказчик в бараньей шубе.

– Ой, господи, батюшка... – вздыхает благочестивая старушка с просвирой, каким-то чудом пробившаяся прямо к эшафоту. – И што только будет?.. Никола милосливый...

– Не дребезжи! – сурово оговаривает ее мещанин с красным носом. – Нашла, о чем вздыхать... В четырех душах грешник-то, а она – Никола милосливый. Отпетый человек.

Заплечный мастер – исторический герой. О нем складываются целые легенды. Он живое олицетворение наказующей руки. Да, он тут, высокий, широкоплечий, с окладистой рыжею бородой, с подстриженными в казацкую скобку волосами и с голыми по локоть руками. В одной руке у него плеть, а в ругой – стакан с водкой. В качестве премьера готовящегося представления он рисуется, принимает театральные позы и с изысканною небрежностью оглядывает толпу налитыми кровью глазами.

– Палач... палач!.. – слышится сдержанный шепот толпы и сейчас же смолкает, когда заплечный мастер оглядывается.

2

Я видел наказание грешника уже во второй раз, видел того же Афоньку и все-таки сильно волновался.

– Везут! Везут! – пронесся ропот по толпе.

Да, эта толпа ахнула и замерла, как один человек. Страшным контрастом явился звон медных пятак, редким дождем посыпавшихся на эшафот. Это была традиционная умиловительная жертва заплечному мастеру.

Издали уже показались высокие сиденья позорных колесниц, а на них, спиной к публике, мотались жертвы карающего правосудия. Эти страшные преступники казались такими маленькими и жалкими, что зависело и от позорной высоты, на которой они сидели, и от арестантских серых халатов, облежавших грешные тела такими тощими складками.

– Вон на второй колеснице Голоухова везут, – объяснял купеческому молодцу стоявший рядом мещанин, от которого пахло сырмятной кожей. – Значит, в четырех душах повинился... С каторги бежал два раза. А сколько еще несчитанных у него душ, в которых и повиниться некому... его, Голоухова, три года ловили.

Страшные колесницы были уже совсем близко. На эшафоте появляется толстенький священник, который волнуется и оглаживает окладистую бороду. Афонька торопливо собирает валяющиеся на эшафоте пятаки. В толпе народа уже пробита целая улица, но колесницы двигаются с расчетливой медленностью, и за ними улица смыкается живою стеной.

– А за Голоуховым бабенку везут, – сообщает мещанин. – Она трех мужей стравила... Афонька-то, гли, как насторожился... Я его как-то в кабаке видел – водку так ароматным стаканом и хлещет.

– О, господи милосливый... – молится вслух старушка с просвиркой, вынимает копеечку и неловко бросает ее прямо в священника.

– Молчи ты, старая кожа!.. – ворчит неизвестный голос. – И к чему только подобных старушенок пуцают... Сидела бы на печи да грехи замаливала. Туда же лезет...

– А ты бы помолчал, так в ту же пору, – огрызается озлившаяся старушка. – Ох, угодники-бессребренники... Парасковья-пятница...

Меня толпа притиснула к самому эшафоту. Когда колесницы остановились, Афонька встряхивает жирно смазанными волосами и каким-то театральным шагом спускается с

эшафота. Так ходят только знаменитые тенора, которые уверены в своей благосклонной публике. Он привычной рукой отвязывает с первой колесницы какого-то тщедушного и малорослого старика и ведет его под руку на эшафот. Преступник заплетает ногами в халате и неловко кланяется на обе стороны.

– Простите, православные... – шепчут белые губы. – Простите...

Он с трудом поднимается на эшафот, каким-то испуганным взглядом окидывает толпу и опять начинает кланяться. Афонька сдергивает арестантскую серую шапку, и все смотрят на эту обриту наполовину арестантскую голову.

– Это в духу душах... – слышится шепот. – Тоже из каторги бегал... Жену родную зарезал... Настоящий, природный разбойник, хоть и глядеть не на кого.

На эшафоте столпилось какое-то начальство, заслоняющее от нас преступника. Все обнажили головы – значит, священник совершает напутствие. Потом начальство раздается, и Афонька с каким-то азартом схватывает свою жертву, ведет по ступенькам и привязывает к позорному столбу. На груди у преступника висит черная дощечка с белой надписью: «убийца». Он теперь на виду у всех. Бритая голова как-то бессильно склонилась к левому плечу, побелевшие губы судорожно шевелятся, а серые большие остановившиеся глаза смотрят и ничего не видят. Он бесконечно жалок сейчас, этот душегуб, и толпа впивается в него тысячью жадных глаз, та обезумевшая от этого зрелища толпа, которая всегда и везде одинакова.

Выступает вперед какое-то начальство и неверным голосом читает приговор дореформенного суда. Слышатся обрывки каких-то деревянных, казенных фраз, жестких и безжалостных, как те веревки, которыми привязан сейчас преступник к столбу. Снег продолжает падать мягкими хлопьями и своей невинной белизной покрывает черное пятно эшафота. Это придает всей картине какую-то трагическую простоту. Голова преступника склоняется совсем на грудь к концу чтения приговора, и только потом, когда Афонька подходит к столбу, она поднимается и смотрит своими остановившимися глазами. Афонька театральным жестом отвязывает его, на ходу срывает арестантский халат и как-то бросает на черную деревянную доску, приподнятую одним концом, – это знаменитая «кобыла». Афонька с артистической ловкостью захлестывает какие-то ремни, и над кобылой виднеется только одна бритая голова.

– Берегись, соловья пушу, – вскрикивает Афонька, замахиваясь плетью.

Я не буду описывать ужасной экзекуции, продолжавшейся всего с четверть часа, но эти четверть часа были целым годом. В воздухе висела только одна дребезжащая нота: а-а-а-а-а!.. Это был не человеческий голос, а вопль – кричало все тело...

Впрочем, Афонька, как объяснил потом всеведущий мещанин с запахом сырмятной кожи, не наказывал, а только мазал, сберегая силы для следующего номера, составлявшего гвоздь всего представления.

Выведенный на эшафот Голоухов держал себя с отчаянной смелостью и привязанный к столбу, смотрел на толпу смелыми темными глазами, чем сразу всех подкупил. Он красиво раскланялся на все четыре стороны, прежде чем лечь на «кобылу», и вообще «форсил» до последней минуты. Это был здоровенный и рослый детина средних лет.

Опять предупреждающий окрик палача, страшный свист плети и ни звука в ответ...

– Молодец! – крикнул какой-то голос из толпы.

Но довольно...

«Наказание грешников» послужило темой для разговоров на целую неделю. особенно волновался хозяин того дома, в котором мы квартировали школьниками. Это был типичный мещанин, по фамилии Затыкин. Чем он существовал – трудно сказать, и меньше всего, вероятно, мог бы объяснить он сам. По временам он пропадал, потом таинственно возвращался с подбитым глазом или подвязанной щекой. Иногда являлась полиция и уводила его, но через некоторое время Затыкин неизменно возвращался на свое пепелище и почему-то считал необходимым, в виде очистительной жертвы, исколотить жену. Он чем-то

приторговывал, комиссионерствовал, пел по воскресеньям на клиросе, принимался за все в качестве специалиста и, между прочим, принимал ближе всего к своему сердцу кровавую работу палача Афоньки. Для Затыкина этот заплечный мастер был идеалом всяческого геройства и неистощимой темой для разговоров. Конечно, Затыкин бегал на каждое наказание «грешника» и глазом спортсмена следил за каждым движением своего идола. Он по первому взгляду определял приблизительный исход экзекуции, что зависело, прежде всего, от настроения Афанасия Иваныча.

– Как левую руку заложил за спину – шабаш. Пиши вперед поминанье... А ежели, напримерно, потряхивает Афанасий Иваныч головкой – ну, тогда счастье грешнику. Ведь он что угодно может сделать плетью: положи лист почтовой бумаги на спину грешника, размахнется со всего плеча, ударит – и лист целешенек останется, а в другой раз пополам может расшибить, ежели растравится. Он плетью-то как на скрипке играет. Сам Афанасий-то Иваныч из настоящих природных разбойников. Любовницу зарезал...

Случай с Голоуховым, который не издал звука под плетью Афанасия Иваныча, произвел на Затыкина самое горестное впечатление. звезда Афанасия Иваныча как будто померкла... Это был еще первый случай, что грешник всенародно осрамил чистую работу знаменитого заплечного мастера. И в самом деле обидно: Афанасий Иваныч польсает плетью со всего плеча, а грешник молчит. С другой стороны, геройство грешника сильно подкупало Затыкина, и подкупало против его воли, так что он целый день скреб у себя в затылке и ругался в пространство.

– Да, вышла ошибочка... – бормотал Затыкин.

Затыкин принимался для успокоения за целый ряд дел – что-то строгал, таскал какие-то веревки, приволок откуда-то жердь и кончил тем, что совсем рассердился, плюнул на все, вышел за ворота, сел на скамеечку и стал выжидать, на ком бы сорвать свое сердце.

По нашей улице делал ежедневную прогулку седой старичок – доктор из ссыльных поляков. Он ходил зиму и лето, держа шляпу в руке, повторял каждую фразу и слыл за человека тронутого. Уличные мальчишки дразнили его одним словом: «Палочки! палочки!...» Молва говорила, что несчастный помешался, присутствуя по обязанности в качестве врача при наказании шпицрутенами. Он частенько останавливался у наших ворот и разговаривал с Затыкиным. Старик впадал в старческую болтливость. Завидев доктора, Затыкин встрепенулся.

– Вашему высокоблагородию сорок одно.

– А, здравствуй... – добродушно поздоровался доктор. – Да, здравствуй.

Потом он достал из кармана старинную черепаховую табакерку с портретом какой-то дамы и любезно предложил Затыкину, который с ожесточением курил, нюхал и даже жевал табак. Сделав самую отчаянную понюшку, точно в носу у него была спрятана пожарная машина, Затыкин сейчас же начал коварный разговор.

– Афанасий-то Иванович, ваше благородие, как сегодня остранился... дда-а!..

– Какой Афанасий Иваныч? Какой Афанасий Иваныч?

– А палач наш.

Доктор только хотел присесть на лавочку рядом с Затыкиным, как одно слово «палач» заставило его вскочить, и добродушное лицо доктора приняло такое жалкое и испуганное выражение.

– Палач? Да, палач... – растерянно бормотал он. – Нет, не нужно... Пожалуйста, не нужно.

Но Затыкин был неумолим. Он взял старика за борт его ветхого осеннего пальто и заставил выслушать всю историю сегодняшнего наказания грешников, услащенную спортсменскими комментариями. Доктор весь съежился и даже закрыл глаза.

– Не нужно, не нужно...

– Нет, вы мне объясните, ваше благородие, как это самое дело могло случиться? Ведь у Афанасия Иваныча ручка-то... дда! А Голоухов даже не пикнул. Я так полагаю, что не иначе это дело, что Голоухов слово такое знает: Афанасий Иваныч его полосует, а Голоухов свое

слово говорит. Опять же и то, что настоящий природный разбойник, а не дрянь какая-нибудь, слякоть.

– Оставьте меня, оставьте меня... – умолял доктор.

Доктор кое-как вырвался от Затыкина и торопливо зашагал по деревянному тротуару, на ходу отмахиваясь рукой, точно старался кого-то отогнать от себя.

– Ваше благородие, ведь вы еще при зеленой улице состояли дохтуром и можете вполне соответствовать! – крикнул вдогонку Затыкин.

Старик остановился, весь затрясся и начал браниться. В этот момент мы окружили его целой гурьбой и с мальчишеской жестокостью затагнули хором:

– Палочки!.. палочки!.. палочки!..

Мы были свидетелями предшествующей сцены, и все наши симпатии были на стороне Затыкина. Мы уже давно прониклись философией настоящего разбойника и настоящего заплечного мастера.

– Палочки!.. палочки!..

Нужно было видеть, что делалось со сморщенным и желтым лицом старика. Недавний гнев сменился опять страхом, потом страх перешел в сожаление, потом... потом случилось то, чего мы никак не ожидали.

– Подойдите ко мне, детки... – с глухими слезами в голосе заговорил он. – Сюда, ближе... Вы были там... да?.. Видели палача, и разбойника, и плети?

У него перехватило дух, но он собрал последние силы и задышающимся голосом проговорил:

– Дети, вы видели величайшее зло и позор... да... Но ваши дети этого уже не увидят... Может быть, будет хуже... очень может быть... Но свою жестокость люди не будут выносить на площадь, а будут творить ее тайно... И это великое дело, когда люди уже стыдятся явной жестокости... Да, великое... Вот вы уже не увидите того, что я видел, а ваши детки не увидят того, что вы видели, а дети ваших детей, быть может...

Доктор махнул своей шапкой и зашагал от нас, не досказав, что могут увидеть дети наших детей.

Рассказы 1902–1907

Ийи

Святочная фантазия*

Уже второй месяц шли проливные тропические дожди. Озеро Ням-Ням превратилось в безбрежное море, и только по верхушкам камышей, выставившимся из воды, можно было приблизительно определить русло вытекавшей из озера реки Миу-Миу. Период дождей даже для привычных ко всему дикарей племени Ийи являлся проклятым временем, потому что в разлив не ловилась никакая рыба, и приходилось питаться только земляными червями, улитками и ананасами. Впрочем, ананасы, когда их употребляли в пищу в большом количестве, не удовлетворяли голода, а только вызывали расстройство желудка и рвоту, поэтому ими кормили только одних женщин. Лучшим праздником являлось то, когда женщины ловили где-нибудь ежа и приносили его своему повелителю, царю царей, старому Ийи. Это было его любимым кушаньем, и царь царей съедал ежа живьем, оставляя подданным одну ежовую щетину. Сколько было лет старому Ийи, никто не знал, но у него сохранился прекрасный аппетит и замечательное обоняние, как у шакала. Его считали бессмертным, как единственного и прямого потомка грозного бога Ийи. От него получило название и все племя, состоявшее из сорока шалашей. Один царь царей помнил то счастливое время, когда племя Ийи имело до тысячи шалашей и жило в благословенной местности, где росли финиковые пальмы, где текли полные рыбой реки и где паслись стада остророгих антилоп. Да, все это было, а сейчас племя Ийи ютилось на плоской возвышенности, которую не заливала вода. Если царь царей Ийи считал роскошью полакомиться живым ежом, то остальные довольствовались полевыми мышами, ящерицами и змеями, спасавшимися от наводнения на сухой возвышенности. Когда и эта живность была истреблена, пришлось питаться червями и шариками из жирной глины. Вообще было очень скверное время, и все дикари удивлялись ему, хотя оно и повторялось ежегодно.

Нынче разлив был особенно велик, и всем приходилось особенно скверно. Исхудавшие, голодные, озлобленные дикари уже несколько раз приступали с угрозами к своему царю царей и говорили:

– Царь царей, владыка вселенной, мы умираем с голоду... Наши женщины превратились в скелеты, обтянутые кожей. Ты должен нас накормить...

– Подождите, несчастные. Бог богов Ийи накормит всех, как он кормит каждую мышку и каждую травку. Своим недовольством вы вызовете только гнев бога богов... Подождите,

Это «подождите» всегда спасало царя царей. Волновавшиеся подданные на время успокаивались, тем более что они страшно боялись бога богов Ийи. Ведь он все ведает и знает, и от него не спрячется даже земляной червь, как бы он глубоко ни зарылся в землю.

Царь царей, старый Ийи, тоже волновался за участь своего вымиравшего на его глазах племени и старался принять свои меры. Он ежедневно наказывал роптавших подданных самым жестоким образом, сжигал их шалаша, чтобы лишить последнего крова, – одним словом, принимал самые отеческие меры. Но ничто не помогало, и царь царей решился прибегнуть к последней мере, которая пускалась в ход только в самых крайних случаях.

– Конечно, виноват во всем бог богов Ийи, – решал про себя царь царей Ийи. – Зачем он посылает столько дождя? Зачем озеро Ням-Ням разлилось до самого неба? Нет, погоди, куманек, тебя нужно поучить... Ты любишь принимать жирные жертвы и забываешь о своих обязанностях.

Шалаш царя царей Ийи ничем не отличался от шалашей его подданных, за исключением того, что в нем хранились две святыни, – во-первых, деревянный идол бога богов Ийи и, во-вторых, священный барабан. Идол представлял собой деревянный обрубок с грубым подобием человеческой головы самого зверского вида, – страшные глаза из черных раковин, красный рот до ушей с оскаленными зубами из перламутра и безобразными ушами. На нем были повешены разные амулеты, хвосты антилоп, зеленые перья попугаев и разные побрякушки из кости. Священный барабан был обтянут кожей убитого царем царей вождя враждебного племени Киу-Киу. Снаружи шалаш царя царей был украшен деревянными шестами, на которых были повешены черепа убитых им врагов. За шалашом в один ряд помещались маленькие шалаша четырех жен царя царей, совсем еще молоденьких девушек, главная обязанность которых заключалась в том, чтобы прокармливать своего повелителя.

Они же составляли его почетную стражу. Была еще пятая жена, самая красивая, с атласной черной кожей, тонкими пальцами и жирными бедрами, но царь царей так ее любил, что не мог удержаться и съел.

Итак, старый Ийи решил проучить зазнавшегося бога богов Ийи.

Это было глубокою ночью, когда он ударил в священный барабан. Спавшие подданные повскакали, как сумасшедшие. Царские жены уже разводили громадный костер из сухого тростника. Царь царей сидел у своего шалаша и неистово колотил в барабан. Ему скоро ответили десятки других барабанов, забивших усиленную тревогу, как во время войны. Женщины подняли усиленный вой.

Когда все собрались вокруг огня, старый Ийи бросился в шалаш и вытащил оттуда деревянного идола. Он его бросил на землю и, наступив ногой на грудь, дико крикнул:

– погоди, куманек, я тебе покажу, как заставлять нас умирать от голода!..

Все собравшиеся вокруг огня женщины и мужчины замерли от страха, а потом, как по команде, бросились на землю вниз лицами.

– Я много терпел от тебя, Ийи, – продолжал царь царей. – Но у меня болит живот от земляных червей, а мои женщины от твоих ананасов превратились в живые скелеты. Я тебя, Ийи, накажу самым позорным образом для мужчины: тебя высекут женщины.

Подданные старого Ийи не смели дышать от ужаса. А между тем жены царя царей отправились в шалаш за прутьями, которых даже в самое голодное время хранился достаточный запас. Приготовлялось что-то небывало ужасное, но, когда женщины вернулись к огню с пучками розог, случилось нечто удивительное...

II

Женщины уже замахнулись розгами, и богу богов было бы нанесено не смываемое ничем оскорбление, но царь царей остановил их одним движением руки. Он понюхал воздух и проговорил:

– Около нас скрывается чужой человек, да.

У старого Ийи сохранилось обоняние настоящего шакала. Он еще раз понюхал воздух и утвердительно кивнул головой. Все повскакали. Мужчины бросились в свои шалаша за копьями и луками.

– Он там, в камышах, – объяснил Ийи, вооружаясь священной боевой палицей.

Устроена была настоящая облава, как на дикого зверя. Когда камыши были окружены, остальные дикари тоже почували присутствие чужого человека. Он был тут, совсем близко. По сигналу царя царей разом вспыхнули десятки факелов и раздался военный клич. В ответ из камышей поднялись две черные руки.

– Не убивайте его, – командовал Ийи. – Он просит пощады...

Смельчаки бросились в камыш и скоро вытащили оттуда громадного кафра, который даже и не думал сопротивляться. Его все-таки связали по рукам и ногам и тащили по земле, как дикое животное. Царь царей подошел к нему и, погрозив своей священной дубиной, грозно проговорил:

– Зачем ты здесь?

– Я три дня не ел... – с трудом ответил кафр.

Царь царей присел около него на корточки и самым внимательным образом осмотрел его голову и все тело. Его особенное внимание привлекли рубцы по всей спине кафра. Опытным глазом старый Ийи определил их хронологию: одним рубцам было лет десять, а последним, еще не поджившим хорошенько, всего несколько месяцев.

– Меня поймали рыжие английские дьяволы и хотели продать в неволю, – объяснял кафр, – но я вырвался и убежал...

– Так, так... – соглашался старый Ийи, не веря ни одному его слову.

Он что-то соображал про себя и кончил тем, что расхохотался. Он только сейчас понял все: бог богов Ийи перехитрил всех...

По приказанию царя царей кафра перетащили на то место, где лежал деревянный идол; старый Ийи присел на корточки у самой его головы и дал женщинам знак начинать экзекуцию. В воздухе засвистели розги, и корчившийся от боли кафр неистово закричал.

– У тебя прекрасный голос, – проговорил старый Ийи, подмигивая и улыбаясь.

– Лучше меня убейте! – умолял кафр. – За что вы меня наказываете? Я ничего не сделал дурного...

– Ты глуп, куманек... Бог богов Ийи хитер и вместо себя подставил под розги тебя. Притом он совсем не умеет кричать и заставил вместо себя кричать тебя. О, он отлично знает, что самая лучшая музыка на свете – это когда человек кричит от боли... Да, у тебя прекрасный голос.

Кафр, наконец, догадался и притворился мертвым. Тогда его оставили в покое. Старый Ийи сделал вид, что верит ему. Он еще раз ощупал его и только покачал головой. Кафр был слишком истощен, чтобы его съесть, а, затем он как-то пробовал кафрского мяса, и оно ему не понравилось. Известно, что все кафры очень дурно пахнут...

После жестокой экзекуции спина кафра была обложена кашицей из алоэ. Он сейчас же заснул и проспал до полудня. Одна сжалившаяся старушка принесла ему освежиться ананас, и он съел его с жадностью. Старый Ийи велел его развязать и еще раз повторил:

– Да, у тебя чудный голос. Если бы ты знал, какой я веселый человек и как люблю хорошие голоса, когда развеселюсь... Вот ты недоволен/что тебя высекли, а мои жены считают за счастье, когда я их велю сечь. Прежде, когда я был молод и глуп, я выбирал в жены самых красивых девушек, а нынче выбираю девушек с лучшими голосами, – которая сильнее кричит от боли, та мне и лучше. У меня четыре жены, и каждая кричит по-своему: старая жена И вопит басом, вторая жена Ии кричит контральто, третья жена Ийи кричит дискантом, а четвертая жена Ийии визжит, как поросенок, и я ее люблю больше всех. Да, я очень веселый человек и люблю хорошие голоса.

– И я тоже был веселым человеком, – признался кафр, охая от боли. – Меня и погубило веселье... Я объехал целый свет, и везде меня хвалили за веселый характер. Вот только заживет спина, я покажу тебе самые веселые штуки. О, я все видел и все знаю!

– Ты видел, как живут белые люди у себя дома? – изумился царь царей. – Вероятно, они живут на самых высоких деревьях или в больших шалашах? Значит, ты плавал на их больших железных лодках, из которых идет густой дым?

Царь царей засыпал кафра вопросами. Он вообще отличался любопытством и слушал кафра с жадностью. Временами от радости он так хохотал и кувыркался по земле, как обезьяна.

– Только, пожалуйста, не обманывай и говори правду, – умолял он. – У меня закон: за каждое ложное слово я выбиваю по зубу.

Но кафр был слишком утомлен, чтобы много говорить. Он все жаловался на голод и засыпал на полуслове. Во сне он что-то бредил на непонятном языке, вскакивал и поднимал руки вверх, что всех заставляло хохотать до слез. К счастью кафра, вода начала быстро спадать, и появилась рыба в изобилии. Его заставляли есть до рвоты и залечивали раны. Через неделю он настолько поправился, что мог отвечать на вопросы царя царей со всеми подробностями.

– Ты видишь, какой хитрый бог богов Ийи, – объяснил ему, подмигивая, царь царей. – Только я его наказал хорошенько, – сейчас вода и спала. А ты еще жаловался, глупый, когда тебя секли...

– Меня всю жизнь секли, – сознавался кафр. – И все напрасно...

– А белые люди секут хорошо?

– О, это дьяволы!..

Среди стана дикарей теперь весело горел костер, около которого собирались все дикари, чтобы послушать рассказы кафра о том, как живут белые люди у себя дома. Многие из его рассказов казались невероятным. Разве можно жить в пятиэтажных каменных шалашах?

Разве можно плавать по воде в железных громадных домах? А больше всего дикарей удивляли те изобретения, которыми гордится европейская цивилизация: громадные пушки, ружья, динамит и т. д.

– Если бы мне хоть одну такую пушку, которая сразу убивает сто человек, – с тоской говорил царь царей. – Я завоевал бы целый свет... Ни одного белого человека не осталось бы.

– Ты не беспокойся, Ийи, белые люди сами истребят друг друга, – успокаивал его кафр. – Они постоянно воюют между собой...

Кафр действительно был в Европе и в Америке, где изображал в разных цирках дикого человека. Он должен был для удовольствия цивилизованных зрителей есть живых голубей, глотал зажженную паклю, перегрызал железную проволоку, глотал шпаги и т. д. Потом его охватила тоска по родине. Он обокрал содержателя цирка и вернулся на родину как раз к войне буров с англичанами. Но на родине ему не повезло. Сначала он служил лазутчиком у англичан, но попался в плен к бурам и был тяжело наказан; затем он служил в той же должности у буров и попался в плен к англичанам, наказан еще сильнее и приговорен к повешению. Спасся он только благодаря ночному нападению буров на английский лагерь и бежал к северу. Ему все казалось, что англичане преследуют его по пятам. Он прятался, как дикий зверь, по разным логовищам, пока не попался в плен к племени Ийи. Его рассказы, как очевидца, о бурской войне приводили царя царей в неистовый восторг. Старик катался по земле, танцевал вокруг огня и бил в священный бахар.

– Белые убивают белых? – повторял он тысячу раз и дико хохотал.

– Целыми сотнями, – подтверждал кафр. – А стариков, женщин и детей морят голодом... Все дома сжигают, скот съедают...

– Ах, как отлично! – восхищался царь царей. – Знаешь что, я со своими воинами тоже отправлюсь туда. Мне ужасно хочется повоевать... Только я не оставил бы ни одного живого пленного. Белые люди глупы и кричат: «Руки вверх!», – вместо того чтобы всех убивать. Мне все равно, кого убивать: англичан или буров. Моим воинам тоже все равно, потому что они храбрее всех на свете. А главное, как будет доволен и счастлив бог богов Ийи... Он любит кровь, стоны раненых, хрипение умирающих... Ведь это он устроил, чтобы белые начали убивать белых... Ха-ха!..

Царь царей катался по земле, хохотал до боли в животе и заставлял кафра по десяти раз рассказывать, как англичане убивают буров, а буры англичан. Относительно предложения идти на войну кафр скромно отмалчивался и только почесывал иссеченную спину.

III

Царь царей ужасно полюбил кафра и даже поместил его в собственном шалаше.

– Я еще в первый раз в жизни вижу такого удивительного человека, – уверял царь царей гостя. – Да... А кажется, я достаточно видел хорошего на свете. Я два раза был счастлив, а сейчас счастлив в третий раз.

Царь царей обнимал кафра, терся своим носом об его щеки и проявлял вообще самые нежные чувства. Его жены обязаны были каждое утро натирать кафра рыбьим жиром и кормили разжеванным ими сахарным тростником.

– Тебе нравятся мои жены? – лукаво спрашивал царь царей. – Выбирай любую, голос которой тебе больше нравится.

Старый Ийи велел сечь поочередно и вместе несчастных жен, но кафр отказался от этого царского подарка. Он подозревал царя царей в какой-нибудь гнусности и сильно боялся, что вместе со своими женами он велит высечь и его, чтобы получился единственный в своем роде квинтет.

– Нет, мне не нужно твоих жен, – скромно объяснял он. – У меня на родине остались свои жены, и я не желаю их огорчать.

– Как знаешь, – соглашался царь царей. – Я не желаю тебя обижать, если ты не знаешь толку в хорошей музыке.

Раз, когда они вечером сидели у огня, царь царей не выдержал и рассказал, как он был счастлив два раза.

– Я только никак не могу решить, в который раз был счастливее, – задумчиво говорил царь царей, улыбаясь. – В первый раз... Да... Это было давно, когда у моего племени было до двухсот шалашей. Тогда мы жили далеко отсюда, в области великих озер, и я питался исключительно языками гиппопотамов и яйцами страусов. О, это было чудное время!.. Но пришли белые люди и заставили нас нести на головах их тюки с разными товарами, съестными припасами и оружием. Меня полюбил главный вождь этих белых людей и поручил нести за ним его ружье и патроны. Я в первый раз видел, как белые люди стреляют из ружей, и пришел в восторг. Я не спал ночей и все думал о том, как бы добыть себе такое же ружье. Случай мне помог: белый вождь захворал лихорадкой, я украл у него ружье и патроны и бежал... Ах, как я был тогда счастлив!..

Царь царей закрывал глаза от наслаждения и долго хихикал.

– Когда я вернулся с ружьем домой, – продолжал он, – то прежде всего... Ах, что это было! Недалеко от нас жило враждебное нам племя Киу-Киу. Мы жили в шалашах, а Киу-Киу на громадных деревьях, где у них устроены были тростниковые хижины. Киу-Киу часто нападали на нас и спасались на своих деревьях, как обезьяны. Достать их было невозможно. И вот благодаря своему ружью я каждый день отправлялся на охоту... О, они меня сразу поняли и спасались на самых вершинах. Но у Ийи зоркий глаз, и я убивал их десятками, пока не перестрелял всех до одного. Бог богов Ийи приходил ко мне два раза ночью и благодарил за чудную жертву. Последним я убил вождя Киу-Киу и из его кожи сделал священный барабан. Да, я был счастлив...

Кафр слушал его с жадностью, и его черные глаза загорались завистью... Он никогда не испытал такого счастья...

– А когда ты был счастлив во второй раз? – спросил он, затаивая дыхание.

– Счастье вообще проходит быстро, – философствовал царь царей. – У меня украли мое ружье, и первое счастье кончилось. Но бог богов не забыл меня. О, боги всегда справедливы, даже боги жестоких белых людей... Когда у меня украли ружье, я готов был сойти с ума. А потом только я понял, что это бог богов Ийи сделал неспроста, а только хотел испытать меня. Да... Кажется, не прошло двух лет, как у нас опять появились белые люди. Но только без ружей и жестокости. Это были очень смелые люди, потому что они явились вдвоем. Он называл себя миссионером, а она называла себя его дьякониссой. Он читал нам толстую-толстую книгу о том, как мы должны любить друг друга, прощать обиды, любить своих врагов, – одним словом, это были совсем глупые люди. Они прожили у нас около трех лет, и наши женщины начали даже увлекаться их учением. Да... Я тоже притворялся, что слушаю их, а, в сущности, только слушал, как поет дьяконисса. Она была отвратительна: кожа, как молоко антилопы, золотистые волосы и... и самое ужасное – это серые, прозрачные, как вода в источнике, глаза. Вот благодаря ей я и получил любовь к женскому пению... Я целых три года слушал, как она поет, и только под конец понял, что она поет исключительно для одного меня. Ах, какая это была удивительная женщина!.. Я даже простил ей ее белую кожу.

Царь царей прерывал свой рассказ и весело кувырркался по земле. Кафр дико хохотал и ходил на руках кругом костра.

– Да, прошло три года, – рассказывал царь царей. – Я больше не мог ждать и в одно прекрасное утро убил миссионера самым вежливым образом, то есть зарезал его сонного. Потом мы его съели, но он оказался очень невкусным. Дьякониссу я взял себе, и эта глупая женщина страшно кричала и плакала. Она не могла понять, что лучше быть женой царя царей, чем женой какого-то миссионера. Впрочем, она мне скоро надоела, и я велел своим женам ее откармливать. Наши женщины умеют это делать удивительно искусно. Они перевязали ей руки и ноги тонкими бечевками, положили на землю и так привязали к кольшкам, вбитым в землю, что она в течение шести недель не могла сделать ни одного движения. Она была настолько глупа, что хотела умерить себя голодом, и мои жены имели терпение все время кормить ее насильно. Но она осталась глупой до самого конца. Когда она настолько разжирела, что даже кожа на животе начала лопаться, я пришел и заявил ей, что ее завтра зарежут, она подняла самый отчаянный крик. Это с ее стороны была самая черная неблагодарность, и я чуть не рассердился. «О чем ты кричишь, белая женщина? – говорил я ей самым убедительным образом. – Разве мы заставляли тебя голодать хоть один день? Разве мы заставляли тебя работать?» Она продолжала упорно ничего не понимать и опять кричала.

«Пожалуйста, белая женщина, не порти мне аппетита, – уговаривал я ее. – Как ты не хочешь понять, что тебя зарежет не кто-нибудь, а царь царей своими собственными руками и что я съем самые жирные куски твоего откормленного тела. Такое счастье достается немногим... А когда я тебя съем, ты ведь войдешь в кровь царя царей и сделаешься частицей самого меня. В моем собственном желудке ты найдешь ту вечную жизнь, о которой проповедовала нам целых три года. Если тебе совестно за свою отвратительную белую кожу, то я тебе велю оказать последнюю милость и велю перед смертью выкрасить всю самой лучшей черной краской». Кажется, я говорил убедительно, но голос истинной мудрости не доходил до сердца неблагоприятной белой женщины, и она продолжала неистово кричать.

– Подожди, Ийи, – остановил его кафр. – Мне пришла в голову очень счастливая мысль...

Кафр не договорил и, как акробат, перевернулся в воздухе. Потом он дико захохотал и принялся танцевать вокруг огня.

– Ну, теперь продолжай, – проговорил он, хлопая царя царей по животу. – Ведь ты съел эту дьякониссу?

– И даже с большим удовольствием, – самодовольно ответил царь царей, облизываясь. – Я ей, перед тем как резать, сказал откровенно: «Ты напрасно сердись, белая женщина... Если кто из нас должен сердиться, так это я. Ты забыла, как мы зажарили твоего мужа миссионера и как он жестоко обманул нас даже мертвый. Мясо у него оказалось жесткое, как у старой жирафы, и я сломал о него лучший из своих зубов. Он сам виноват, что не получил в моем желудке вечной жизни». Она осталась глупой до самой последней минуты, но зато какое вкусное мясо оказалось у нее. Я в течение всей своей жизни ничего вкуснее не едал... Я только тут понял, что она все время притворялась и скрывала, какое у нее нежное и сочное мясо, точно у молодой антилопы.

Когда царь царей кончил свой рассказ, кафр принялся так неистово кувыркаться, точно он был сделан из резины. Потом он рычал, как шакал, хохотал, танцевал и проделывал все, чему его научили в цирках. Царь царей кричать по старости лет не мог, а только катался по земле и хихикал.

– Ну, а какая у тебя счастливая мысль? – спросил царь царей кафра, когда тот успокоился.

– А вот какая: у тебя что-нибудь осталось от съеденной дьякониссы?

– Как же, осталось. Золотое кольцо и зеленое шерстяное платье... Остальное все украдено. Мои подданные – все страшные воры.

– Отлично, довольно платья и кольца, Ийи. Тебе ведь хочется посмотреть на войну белых?

– О, страшно!..

– Вот мы и отправимся вдвоем. Только сделаем это потихоньку от всех.

– Я буду рад отдохнуть... А то мне, признаться, порядочно надоело управлять своими ворами-подданными. Да и жены мне надоели... Может быть, мы с тобой где-нибудь еще закусим белой женщиной.

– Непременно.

IV

Начались приготовления в далекий путь, причем соблюдалась величайшая таинственность.

– Если мои жены догадаются, они бросятся за нами в погоню, – шепотом сообщал царь царей. – Они безумно меня любят... А далеко нам идти?

– Недели две, а может быть, и больше.

В ночь, когда было назначено выступление, весь план чуть не расстроился благодаря тому, что старый Ийи непременно хотел захватить деревянного идола. Кафр не соглашался. Тащить этого дурацкого чурбана триста верст – благодарю покорно. Порешили на том, чтобы

зарыть его в землю вместе с священным барабаном и священной палицей, на чем царь царей и успокоился.

Кафр устроил из зеленой юбки съеденной дикарями дьякониссы широкий мешок и сложил в него необходимые припасы. Он особенно дорожил ею и тщательно разглаживал каждую складку. Вообще он что-то замышлял и так же бережно относился к царю царей.

В одну из прекрасных африканских ночей они покинули лагерь племени Ийи. Когда дикари хватились их утром – их и след простыл. Старый Ийи и кафр умели ходить, не оставляя следов.

Беглецы шли главным образом ночью, пользуясь прохладой, а спали днем. На одной из таких стоянок царь царей показал кафру маленького деревянного идола бога богов, которого специально смастерил для дороги.

– Все-таки я тебя перехитрил, – хвастался он, лукаво хихикая.

Кафр отнесся к этой хитрости совершенно равнодушно, потому что слишком был занят собственными мыслями. Он теперь день и ночь думал о родном краале, где его считали погибшим. И вдруг он явится... У него даже выступали слезы от этих мыслей.

На полдороге царь царей настолько утомился, что решительно отказался идти дальше.

– Я умираю от усталости, – объяснял он упавшим голосом. – У меня нет больше силы...

Пришлось сделать дневку, но это мало помогло. Царь царей продолжал капризничать. Тогда кафр придумал новый способ путешествия. Царь царей уже страдал старческой худобой, и кафр посадил его в зеленую юбку дьякониссы и потащил на собственных плечах. Старому Ийи этот способ путешествия очень понравился, и он, сидя в юбке, едва одерживал смех.

Кафр был силен, как лошадь, и ему ничего не стоило тащить царя царей.

Это оригинальное путешествие продолжалось целых двадцать дней, так что даже железное терпение кафра начало истощаться. Ему начало казаться, что проклятый старик с каждым днем начинает делаться все тяжелее. Они шли уже по территории, разоренной англичанами. Везде стояли развалины сожженных бурских ферм, хлеб на полях был или сожжен, или вытоптан, кое-где бродил одичавший скот. Раз ночью кафр в первый раз услышал глухой гул отдаленного пушечного выстрела.

– Это бог богов Ийи сердится, – шепотом объяснил проснувшийся царь царей.

– Нет, это стреляют из пушек.

Царь царей от радости начал кувыркаться по земле. Наконец-то он увидит, как белые люди убивают белых людей...

Им пришлось идти еще целый день, прежде чем на высоком плоскогорье забелели палатки укрепленного английского лагеря. Царь царей визжал от радости, когда над лагерем взвивались белые клубы дыма от пушечных выстрелов. О, это – настоящая война, и бог богов Ийи радуется. Ведь это он руками белых людей стрелял из пушек в белых людей. От восторга царь царей хотел вылезть из своего мешка и идти пешком, но кафр этого ему не позволил.

– Сиди смирно и крепче держись за мою шею, – советовал он.

Подойдя к линии английских аванпостов, кафр поднял руки вверх и что-то крикнул часовым по-английски, что вызвало общий смех.

– Да это наш Сам! – крикнул кто-то из толпы солдат, одетых в серые хаки и такие же серые шлемы из пробки.

Кафр торжественно внес царя царей в середину лагеря и остановился только у палатки полковника Гич-Гича. Его окружили со всех сторон и со смехом рассматривали выставлявшуюся из зеленого мешка голову царя царей.

– Это – старая обезьяна, – острил кто-то из молодых офицеров.

Когда из палатки вышел сам полковник Гич-Гич в сопровождении своего адъютанта Гип-Гипа, кафр сам опустил зеленый мешок на землю и с торжеством проговорил:

– Полковник, я принес тебе людоеда, который на берегах озера Ням-Ням съел миссионера и его жену... Я его тащил на собственной спине целых три недели.

Кафр Сам, очевидно, рассчитывал на эффект своего заявления, но полковник Гич-Гич молча посасывал свою трубочку, заложив руки в карманы штанов.

– Развяжи-ка своего людоеда, – скомандовал адъютант Гип-Гип.

Вытащив царя царей из зеленого мешка и поставив его на ноги, кафр Сам объяснил, показывая мешок:

– А это – зеленая юбка той дьякониссы, которую съел вот этот Ийи... Он называет себя царем царей.

Офицеры хотели рассмеяться над последней фразой, и даже по рыжим усам полковника Гич-Гича проползло что-то вроде улыбки, как в этот момент раздался оглушительный пушечный выстрел, и царь царей подпрыгнул высоко в воздух, а потом начал кататься по земле. Это вызвало общий хохот. Царь царей не понял, что Сам говорил про него по-английски, и был очень доволен произведенным впечатлением. Он тоже хохотал вместе с другими.

– Веселая каналья, – заметил адъютант Гип-Гип, любуясь хохотавшим Ийи. – Я в первый раз вижу людоеда и не думал, что людоеды ходят на плохо вычищенный ваксой сапог.

Полковник Гич-Гич узнал Сама с первого раза и решил про себя, что единственной наградой этому изменнику может служить только виселица. Что касается людоеда, то и его тоже следует повесить, но предварительно разобрать все дело. Полковник отличался истинно английской корректностью.

– Заковать в кандалы этих негодяев, – приказал он, повернувшись и ушел в свою палатку.

Кафр Сам понял все значение этого лаконического приказа и дико завыл. Он рассчитывал, что за доставку людоеда ему простятся его грехи и что даже будет дано вознаграждение, а получалось нечто ужасное. Царь царей ничего не понимал и только глупо озирался кругом, когда их повели в дальний конец лагеря, где стояли фургоны с артиллерийскими снарядами.

Исполнявший приказание адъютант Гип-Гип велел приковать обоих к колесам одного фургона. Царя царей приковали к переднему колесу на короткую цепь, а кафра Сама – на длинную к заднему. Очутившись прикованными, недавние друзья сейчас же рассорились.

– Тебя, людоеда, повесят, – сообщил Сам. Царь царей только рычал и плевал на него.

V

Негодяев повесили бы в тот же день, но это была суббота, да и буры усиленно обстреливали английский лагерь. На глазах у царя царей было убито несколько английских солдат шрапнелью, и он помирился со своей участью. Несмотря на всю безнадежность своего положения, старый Ийи не мог не любоваться, как над его головой в воздухе разрывались шрапнели, осыпая своими осколками и картечью английских солдат. Еще лучше были бурские гранаты, которые с визгом и шипением зарывались в землю, и потом следовал ужасающий взрыв. Полковник все время сидел в своей палатке, а распоряжался боем адъютант Гип-Гип, отвечавший на каждый бурский выстрел из своих орудий.

Адъютант Гип-Гип время от времени подходил к царю царей и долго смотрел на него задумчивыми серыми глазами. Старый Ийи не выносил этого взгляда и весь съеживался.

– Он хочет есть, – коротко объяснял Сам.

Когда подали походный котелок с какими-то объедками от солдатского обеда, кафр Сам отнял его у царя царей и съел все один. Старый Ийи рычал, ругался и плевал на бессовестного кафра, что сместило собравшихся около них солдат до слез. Для царя царей ничего ужаснее не было, как чувство голода. Ведь он своих пленных, которых съедал, всегда кормил до отвала, даже насильно, как зеленую дьякониссу. Вообще англичане казались ему невоспитанными и грубыми людьми до последней степени.

– Это бессовестно – морить царя царей голодом! – кричал старый Ийи, хотя его и понимал один кафр Сам. – Мои жены кормили меня ежами, жеванным сахарным тростником, древесными улитками...

Канонада с обеих сторон продолжалась до самой полночи. Когда наступила темнота, взрывы шрапнелей и гранат были особенно эффектны. Это бог богов Ийи бросил в англичан огненную смерть за то, что они морили голодом царя царей Ийи. Дело было ясно, как день.

Ровно в полночь выстрелы прекратились. Наступило воскресенье. Весь английский лагерь заснул, не опасаясь за нападение, потому что и буры тоже чтит священный день. Не спалось только одному царю царей, которого мучил жестокий голод. Чтобы чем-нибудь утишить страдания, он делал из земли шарики и глотал их. Лучше уж боли в животе, чем голод. А тут рядом наевшийся до отвала Сам храпит, как буйвол... Это еще усиливало муки царя царей.

Так старый Ийи и заснул на новоселье голодным. Зато во сне к нему явился сам бог богов Ийи и сказал:

– Царь царей, не плачь, что ты голоден... Подожди немного, пока белые перебьют друг друга и вся земля достанется чернокожим. Не останется ни одного белого человека...

Проснулся царь царей от странной музыки, какой он никогда не слышал. Около палатки полковника собрались все солдаты. Аdjутант Гип-Гип играл на фисгармониуме, украденном с бурской фермы, воскресный гимн, а солдаты пели. Получалась самая трогательная картина христианского праздника. Когда гимн кончился, полковник Гич-Гич долго читал библию.

– Что они делают? – спрашивал царь царей Сама.

– Молятся своему белому богу, – объяснил кафр, показывая свои белые зубы. – Разве забыл, как пела твоя дьяконисса?

Воспоминание о дьякониссе привело старого Ийи в бешенство: он еще никогда в своей жизни не хотел так есть, как сейчас. У него даже в голове начинало мутиться при одном воспоминании о сочном мясе дьякониссы. Царь царей рычал от голода и грыз свою цепь, а Сам громко хохотал.

Эта дикая сцена между дикарями прервала английское богослужение. Полковник Гич-Гич, одетый не в мундир, а в длиннополый сюртук английского пастора, подошел с библией в руках к неистовствовавшим детям природы и проговорил кротким голосом:

– Что вы делаете, дети мои? Зачем вы нарушаете покой великого дня мира и любви?

– Я уже два дня не ел!.. – кричал царь царей с пеной У рта.

Гич-Гич скромно опустил глаза и начал говорить о покаянии, о прощении обид ближнему, о бесконечном милосердии божьем, о спасении души вообще, а для этого прежде всего нужно перейти в лоно англиканской церкви.

– Зачем ты все это говоришь? – спрашивал его кафр Сам. – Я ведь знаю, что завтра ты велишь обоим нас повесить...

– Сегодня я ваш брат и говорю, как брат, ничего не знаю, что завтра закон велит мне исполнить, как начальнику.

Кафр Сам хохотал самым глупым образом, но полковник Гич-Гич несколько не смутился и в целях обращения этих дикарей на путь истины прочел им целых три главы из библии. Верный сын англиканской церкви еще не терял надежды, что эти чернокожие негодяи по крайней мере умрут добрыми христианами. Черный Сам отлично знал эту толстую книгу, которую читал полковник. Он три раза принимал христианство и получал за это деньги, обувь, платье и пищу. И старый Ийи тоже узнал ее, – точно такая же толстая книга была у миссионера, которого он съел. Разница вся заключалась только в том, что этот миссионер стрелял из пушки в своих же белых людей, которые читали такую же толстую книгу.

Воскресный день прошел, как всегда, очень скучно. Единственным развлечением для солдат было кормление дикарей. Черный Сам с ловкостью акробата выхватил котелок с едой из-под самого носа у царя царей и съел все без остатка. Старый Ийи щелкал зубами от голода и выл, как гиена.

На другой день рано началась опять канонада. Англичанам приходилось плохо, и полковник Гич-Гич решил перенести лагерь в другое место.

– А куда мы денем этих негодяев? – спросил адъютант Гип-Гип.

– Ах, да... Устроим сейчас же полевой суд. Куда нам таскать их за собою... Приготовьте все, чтобы не было задержки.

Суд происходил на открытом воздухе перед палаткой полковника. Председательствовал сам полковник Гич-Гич, обвинял один из офицеров, а адъютант Гип-Гип занял место секретаря. Главным обвинителем явился черный Сам, который со всеми подробностями рассказал печальную историю съеденной царем царей миссионерской четы. Полковник равнодушно покуривал коротенькую трубочку, прислушиваясь к усиливавшейся канонаде. Адъютант Гип-Гип усердно рисовал красивую женскую головку, под которой написал: «Милая мисс Мод». Спрошенный, признает ли себя виновным, старый Ийи показал себе на рот, то есть, что он голоден, но это было принято за признание, что он сознается в своем преступлении.

Через полчаса оба дикаря были лишены всех особенных прав и преимуществ и приговорены к повешению – Сам, как дезертир и изменник, а старый Ийи, как людоед. В качестве вещественных доказательств на судейском столе лежала одна зеленая юбка дьякониссы.

– Вам остается только привести приговор в исполнение, – обратился полковник к своему адъютанту. – Да поторопитесь...

– Слушаю, господин полковник! – браво ответил адъютант, делая под козырек.

Когда черный Сам объяснил царю царей о состоявшемся решении суда, старик горько заплакал.

– О чем плачет эта старая обезьяна? – спросил полковник черного Сама, служившего переводчиком.

– Он голоден, – коротко объяснил черный Сам и не без дерзости прибавил: – Я целых три дня съедал его порцию.

Плечи полковника сделали нетерпеливое движение.

– Ну, теперь уже некогда вас кормить и не для чего, – решил он.

Когда осужденных повели на казнь, он прибавил с презрением:

– Этакie животные...

В лагере не было ни одного «приличного» дерева, на котором можно было бы повесить двух преступников. Строить специально для них виселицу было слишком большой роскошью, да и времени для этого не оставалось. Полковому фельдшеру пришла, впрочем, счастливая мысль: поднять повыше дышло артиллерийского фургона – и виселица готова. Старый Ийи все время рыдал и повторял одно и то же:

– Я никогда не поступал так со своими пленными. Повесить голодного – это бесчеловечно.

Адъютант Гип-Гип во всем копировал своего полковника: так же цедил слова сквозь зубы, так же принимал скучающий вид, так же закладывал руки в карманы штанов и так же ничему не удивлялся и ничем не возмущался, чтобы не портить своего характера и аппетита. Он следил равнодушными глазами, как шли приготовления к – повешению людоеда, – его была первая очередь. Старый Ийи вдруг присмирел и смотрел моргающими глазами кругом. Его вздернули на дышло, как котенка, и он как-то жалко задрогал худыми ногами. Адъютант Гип-Гип подозвал к себе военного фельдшера, который должен был констатировать смерть, и что-то ему шепнул на ухо.

– О, yes!^[9], – ответил фельдшер.

Именно этим моментом и воспользовался Сам. Он неожиданно прорвался через цепь солдат и ринулся к брустверу с быстротой испуганной лошади. Растерявшиеся солдаты дали по нем залп, когда он уже был за линией аванпостов. Но все было напрасно. Кафр спасся каким-то чудом, и адъютант в бинокль видел, как его темная фигура мелькала в темной заросли у линии бурских аванпостов.

– Адъютант, готово... – шепнул фельдшер, осторожно передавая какой-то мягкий сверток.

– Снесите ко мне в палатку, – ответил адъютант, не решаясь прикоснуться к таинственному свертку.

VI

Вся добрая старая Англия любовалась красавицей мисс Мод. Ее встречали везде: на первых представлениях в театре, на скачках Дерби, на знаменитых гребных гонках, где благородное юношество из Оксфорда и Кембриджа оспаривало пальму первенства перед лицом всей нации, и т. д. Она поднималась на Везувий и чуть не поднялась даже на Монблан; она отлично правила четверкой кровных белорожденных лошадей, запряженных цугом, немного рисовала, немного играла на рояле, немного пела и т. д. Одним словом, талантам мисс Мод не было конца. Прибавьте к этому, что никто не умел одеваться с таким вкусом, как мисс Мод, и репортеры описывали ее бальные костюмы, как выдающееся событие дня. Но всего замечательнее была сама мисс Мод – высокая, стройная, гибкая, с удивительно красивым лицом, освещенным загадочным взглядом двух зеленоватых глаз, напоминавших восточные хризолиты. Вообще это было последнее слово европейской цивилизации, и художники боялись признаться, что мисс Мод даже сложена лучше, чем античные статуи. В мире английского искусства она получила название белокурой римлянки, хотя это и не выражало ничего, кроме желания определить неопределимое. Поклонники мисс Мод не знали главного ее недостатка, который она тщательно скрывала: у нее были широкие и плоские ступни. Это ее убивало, и мисс Мод называла себя Венерой на гусиных лапах.

И, несмотря на все перечисленные совершенства, к общему удивлению, мисс Мод упорно продолжала оставаться девушкой... Добрые люди, которые привыкли заниматься чужими делами, самым добросовестным образом уверяли, что мисс Мод мешала ее чудовищная гордость и что будто бы она желала сделаться не меньше, как герцогиней. Герцогов в Англии достаточно, но они, отдавая должную дань ее личным достоинствам и миллионам приданого, не могли простить ей ее довольно темного происхождения. Достаточно сказать, что ее прадед, от которого началось благосостояние рода, был простым капитаном невольничьего корабля, а папаша торговал опиумом в Китае, устраивал какие-то сомнительные тресты и синдикаты по всевозможным отраслям промышленности и вообще был довольно сомнительный джентльмен. Даже в Англию он приезжал для свидания с единственной дочерью под строжайшим incognito, чтобы не компрометировать мисс Мод.

У мисс Мод на морском берегу был чудный замок, в котором она жила одна, как сказочная красавица. Посторонний глаз не мог ее видеть. Наш рассказ застает ее именно в этом замке, в момент появления таинственного отца, которого в глаза не знала даже ее собственная прислуга. Она в эти немногие дни свидания с отцом чувствовала себя всегда нехорошо, капризничала и даже плакала потихоньку от всех. Отец и дочь встречались только в столовой, когда вместе завтракали и обедали. Он как-то боязливо смотрел на нее влюбленными глазами, как смотрят на божество, что уже совсем не шло к его точно отлитой из бронзы фигуре, загорелому, суровому лицу и большим красным рукам.

– Мод, у тебя опять глаза красные? – нерешительным тоном проговорил он, когда она вышла к завтраку. – Ты опять плакала?

– Нет... так...

– Тебе скучно?

– Как всегда...

– Тебе, может быть, что-нибудь нужно?

– Благодарю. У меня все есть и даже слишком много совершенно ненужных вещей. Я не знаю даже, что мог бы придумать человек, который пожелал бы мне что-нибудь подарить. Ты меня избаловал, как принцессу...

– Ты знаешь, как я тебя люблю, Мод... – как-то виновато проговорил он, точно оправдываясь перед дочерью. – И мне кажется, что все мало и все недостойно тебя... Могу сказать с гордостью, что из твоего замка я сделал музей редкостей. Каждая вещь – unicum, и другой такой не найдешь... Одни китайские лаки и китайский фарфор чего стоят, – им больше тысячи лет, и им нет цены даже в Китае. Это приобретено мною по случаю, из добычи, которую захватил маршал Пелисье, когда ограбил в первый раз Пекин. А китайская

бронза? А коллекции индийских вещей после разграбления Дели? А золотая статуэтка Изиды из Танагры? А мумия священной кошки из пирамиды фараона Хеопса? А целая коллекция китайских ваз из нефрита?

– Да, да, ты прав, отец... – со вздохом соглашалась мисс Мод.

– Ты не подумай, что это я грабил... Грабили другие – французы, немцы, американцы, англичане, а я только покупал за наличные деньги. А какие у тебя жемчуга, рубины и сапфиры из Голконды, бриллианты всех цветов... Помнишь, я тебе подарил один восточный изумруд, в пятьдесят карат? Это камень первой воды... И, собственно, это даже не изумруд, как мне определили в Парижской Академии наук, а восточный зеленый корунд. А твой любимый карбункул из малоазиатских раскопок, который походит на сгусток запекшейся крови?

Отец хорошо знал, чем угодить дочери, и чудное лицо мисс Мод покрылось счастливым румянцем. О, ведь она и сама – тоже величайшая редкость... Отец умел ее любить, и его любовь светилась разноцветными огнями драгоценных камней, радужными теплыми переливами жемчуга, сияла золотом, смотрела на нее блеклыми тонами гобеленов и старых шелков, молочной белизной слоновой кости. Сколько черного и самого тяжелого труда было затрачено на все эти коллекции, сколько искусства, гения, энергии! И все это только для того, чтобы мисс Мод могла сказать: все это сейчас мое. Она чувствовала себя среди этих драгоценностей маленькой царицей, для которой добрыми европейцами ограблен был весь мир.

– Знаешь что, отец, – задумчиво проговорила мисс Мод, когда вопрос был исчерпан. – У самой лучшей медали есть оборотная сторона... Мне вперед жаль моего будущего жениха. Бедняжке трудно будет придумать что-нибудь подарить мне.

– Гм... да... А разве уже есть такой?

– Пока определенного ничего еще нет, но один молодой человек мне почти нравится... Впрочем, он далеко, и говорить о нем не стоит. Он хорошей фамилии и будет лордом, когда умрет его старший сумасшедший брат.

– Сумасшедшие имеют дурную привычку жить дольше, чем им следует...

Этот интересный разговор был прерван лакеем-индусом в белой кисейной чалме, который с низким поклоном подал своей повелительнице на серебряном подносе письмо и какой-то футляр. Мисс Мод знаком руки велела ему удалиться и, пробежав адрес, с удивлением проговорила:

– Вот кстати... Мы только что о нем говорили, отец. Это письмо от того офицера, который... Ты меня извинишь, что я буду читать это письмо при тебе. Кстати, он пишет всегда такие длинные письма, точно у него собственная писчебумажная фабрика.

Любящему отцу пришлось шагать по столовой довольно долго, пока Мод прочла письмо до конца. Она несколько раз останавливалась и, откинув прелестную головку, шептала:

– Ах, какой он милый, мой Арчибальд!.. И храбрый, и великодушный, и все время думает только обо мне.

Кончив чтение, мисс Мод раскрыла футляр, в котором лежала темная кожаная записная книжка в золотой оправе с бриллиантами.

– Отец, посмотри, что это за прелесть!.. – восхищалась мисс Мод. – Оправа из настоящего африканского золота с настоящими африканскими бриллиантами...

Любящий отец повертел в руках записную книжку и по привычке мысленно ее оценил. Книжка стоила не больше тридцати фунтов стерлингов. Мисс Мод поняла эти коммерческие соображения и весело засмеялась.

– Эта книжка будет самой замечательной вещью во всех моих коллекциях, – объяснила она с детской серьезностью и прибавила, предупреждая недоверчивую улыбку отца. – Представь себе, она сделана из кожи людоеда... Да, настоящего живого людоеда, которого Арчибальд взял в плен и казнил. Это был гигантского роста человек, зверской наружности... У него даже ногти были отточены, как у тигра, и отравлены ядом гремучей змеи...

– Виноват, кажется, в Африке гремучих змей нет?

– Ах, не перебивай меня... Посмотри, какая удивительная кожа... совсем темная...

– Очевидно, негритянская.

– Когда его казнили, Арчибальд велел вырезать из него кусок кожи и послал ее в Лондон... Он все время думает обо мне. Как это мило с его стороны... Такой книжки решительно ни у кого в целом свете нет и не было.

– На одном аукционе в Париже продавали портсигар из кожи Пранцини...

– Что такое Пранцини? Простой бульварный убийца, а это настоящий людоед. Нет, я чувствую, что сразу полюбила Арчибальда... Он будет со временем главнокомандующим и превзойдет рыцарским великодушием даже лорда Китченера. Ах, кстати, какая смешная была фамилия у этого людоеда: Ийи.

На следующий день мисс Мод занесла в новую записную книжку несколько мыслей.

«Во-первых, как я люблю моего Арчибальда... Эта удивительная книжка – его свадебный подарок, и она останется навеки доказательством победы цивилизации и гуманности над варварством. Во-вторых, мой Арчибальд, я тебе скажу по секрету, что нам с тобой принадлежит весь мир. Мы – белокурые римляне... Черноволосые римляне боялись моря, и от этого пала их цивилизация. Когда буры будут истреблены до последнего человека, весь мир удивится нашему геройству, как сейчас завидуют нашим славным подвигам. В-третьих, мой Арчибальд, я еще немножко люблю тебя...»

Ответа не будет*

Рассказ

I

– Так у нас будет яблоневый сад? – спрашивала она, подводя левый глаз черным карандашом.

– Да... Весной яблони чудно цветут... – отвечал он, наблюдая, как она быстро и умело гримировалась.

– А внизу Волга?

– Усадьба стоит на самом обрыве... С балкона открывается вид верст на пятнадцать, а в весенний разлив Волга разливается верст на семь.

– Очень хорошо, то есть хорошо и обрыв, и разлив Волги, и цветущие яблони. А знаете, чего недостает в вашем саду?

Она повернула к нему свое раскрашенное лицо и посмотрела улыбающимися глазами. О, это было удивительное лицо, которое тянуло его к себе, как электромагнит. Чего стоили одни глаза, серые, с поволокой, маленький рот, при каждой улыбке открывавший два ряда белых, как слоновая кость, зубов, розовые, маленькие уши, лукавые ямочки на подбородке, небольшой, но красиво вылепленный лоб, даже родинка на левой щеке, – все было хорошо и точно картина было вставлено в живую раму мягких, слегка вьющихся, с золотистым отливом белокурых волос.

– Да, недостает в вашем саду fleuredorange, – проговорила она, медленно роняя слова.

Он не понял, что она хотела сказать, и совершенно серьезно ответил:

– Fleuredorange – это цветы помераадевого дерева, прр-ще сказать, апельсинового...

– Да-а? Вот удивительно!.. Значит, из каждого бутона подвенечных цветов выросло бы по апельсину, и только?

– И только...

– Ах, зачем вы это мне сказали?.. А я думала, что fleure d'orange – совсем особенное растение, вроде лилии и что оно специально растет, как эмблема юности и невинности. Ведь это жалкая проза: апельсин.

Он продолжал не понимать и смущенно улыбался. Она хлопнула его лежавшим на столе веером и проговорила серьезным тоном:

– Ну-с, что же мы стали бы делать в вашем саду?

– Каждый день гуляли бы...

– А в усадьбе?

– А в усадьбе стали бы жить...

Она засмеялась, запрокинув голову. Он видел ее точеную круглую шею, тяжело подымавшуюся грудь и вздрагивавшие от смеха покатые плечи.

– Гулять в саду... жить... – повторяла она, вытирая набежавшие от смеха на глаза слезы. – Вот вы мне испортили весь грим. Ах, милое дитя!.. Сколько вам лет?

– Будет двадцать три...

– Прекрасные года, и могу только позавидовать вам. А как вы думаете, сколько мне лет? Впрочем, лучше не угадывайте, да я и сама начинаю забывать собственную хронологию...

Разговор происходил в артистической уборной одного из веселых летних уголков Петербурга, на дверях которой была прилеплена бумажка с надписью: *Марья Ивановна Гуляева*, Внутренность этой уборной поражала своим убожеством. Стены были устроены кое-как из барочного леса с круглыми дырами от деревянных гвоздей; эти дыры служили

источником вечного сквозняка, несмотря на затычки из ваты, тряпок и бумаги. Обстановка состояла из просиженного диванчика, двух стульев, туалетного столика и умывальника. В углу на вешалке в артистическом беспорядке размещены были разные театральные костюмы. Застоявшийся воздух был пропитан запахом одеколона, пудры, дешевых крепких духов. Единственное окно, выходившее в сад, было целомудренно завешено пожелтевшей от времени кисеей, – во время спектакля, когда Марья Ивановна переодевалась, его было неудобно открывать, а в остальное время дня и ночи не нужно. Но и такая уборная составляла известного рода роскошь, доступную только «первым номерам» летней садовой труппы. Марья Ивановна находилась уже в предельном возрасте садовых этуалей и вела отчаянную борьбу с наступавшей, неумолимой, как смертный грех, артистической старостью. Ее дни были сочтены, но она держалась на летних сценах прочно благодаря громкому имени. В каждой профессии есть свои громкие имена.

Стоявший пред ней молодой человек был ни красив, ни дурен, а только молод, молод нетронутый молодостью. Окладистая русая бородка придавала ему солидный вид не по годам, а серьезные карие глаза смотрели как-то обыкновенно просто и доверчиво. По изящному легкому костюму можно было без ошибки определить, что он принадлежал к людям «из общества». Марья Ивановна отлично изучила свою садовую «зоологию» и видела каждого насквозь с первых минут знакомства. Молодой человек ей нравился именно своей порядочностью, и она позволяла ему бывать у себя в уборной. Но сегодня он ее удивил, так что даже Марья Ивановна растерялась, стараясь придать всему шуточный тон.

– Не забудьте, что я говорил все совершенно серьезно, – проговорил он немного глуховатым тоном: у него от волнения пересохло во рту.

– Да? Ах, да... Пожалуйста, не мешайте мне своими шутками! Сейчас мой номер... Что вам спеть?

– Все равно, что хотите.

– Хорошо. Я знаю, что вы любите больше всего.

Она хотела еще что-то сказать, но послышался осторожный стук в дверь – это было приглашение режиссера. Она быстро поднялась, подхватила длинный трен и, шелестя шелковыми юбками, как очковая змея своей сухой кожей, торопливо вышла из уборной. Идя по грязному коридору, едва освещенному жалкими керосиновыми лампочками, она улыбалась и повторяла про себя:

– Ах, какой смешной, какой глупый!.. Милый!

Дверь в уборную оставалась открытой, и он слышал, как раздавался неистовый вопль тысячи голосов, аплодисменты и тот особенный шум человеческой толпы, который так напоминает морской прибой. Это она показалась на сцене, и толпа ревела, как хищный голодный зверь, которому бросили кусок сырого мяса. Потом все стихло. Потом послышались первые слова романса, который он так любил:

Не зажигай огня...

Он замер от волнения, впивая в себя каждую ноту. Да, это она пела для него и делала признания чужими словами...

Звуки замолкли. Легкая пауза. И опять целая буря, как тысячеголосое эхо на призыв и ласку. Он поднялся и начал ходить по уборной быстрыми шагами. У него в душе тоже была буря, но молчаливая, как собирающаяся гроза. О, как он ненавидел сейчас все: и эту неистово ревущую толпу и всю кабацкую обстановку, даже самый воздух, пропитанный специфическими миазмами бесшабашного разгула! Это было настоящее гнилое болото, точившее из себя ядовитые испарения, а она – та водяная лилия, чистая и благоухающая, невинную белизну которой не могли убить все болотные яды, взятые вместе. Кабацкий ад и первый окрыляющий лепет любви...

Публика продолжала неистовствовать, заставляя петь все новые номера. Марья Ивановна пела из «Гейши», модные цыганские романсы и т. д. В уборную она вернулась усталой, с красными пятнами на лице, с помутившимися глазами. В руках у нее было несколько визитных карточек, которые она небрежно швырнула на туалетный столик. На его немой вопрос она устало проговорила:

– Ах, это все приглашения на ужин в отдельном кабинете... Мои милые поклонники, кажется, думают, что у меня, как у верблюда, шесть желудков... И все наши провинциалы, и все семейные люди, и все старички. Дома-то стыдно с певицами по отдельным кабинетам ужинать, а здесь их никто не знает, – ну, и пользуются случаем покутить.

Поймав ревнивое выражение в его глазах, она с улыбкой прибавила:

– Не бойтесь, у вас соперников нет. Я хочу сегодня быть только сама собой, что составляет для меня недоступную роскошь. Всего один вечер быть самой собой...

Потом она положила ему свои белые полные руки на плечи и, пылливо глядя в глаза, прошептала вполголоса:

– И ведь не каждый вечер предлагают руку и сердце... Не правда ли?

Он опустил глаза, и она поняла, что сказала бестактность.

II

По окончании спектакля они отправились в дальний уголок сада, где в низеньком каменном здании были устроены отдельные кабинеты. Она шла с ним под руку и осторожно оглядывалась кругом, точно боялась встретить кого-нибудь из знакомых. Он это чувствовал и тоже оглядывал толпу. Без встречи, однако, не обошлось. Попались два актера: один толстый, с красным лицом, другой – красивый брюнет с наглыми темными глазами. Они переглянулись, и толстяк что-то шепнул по адресу Марьи Ивановны. Брюнет улыбнулся одними глазами и презрительно повел плечом.

«Негодяи!..» – думала Марья Ивановна, ускорив шаги.

Отдельный кабинет походил, как все кабинеты, на кабацкое логовище. Захватанная, грязная мебель, исцарапанное брильянтами зеркало, заношенный ковер на полу и т. д. В дверях кабинета Марью Ивановну догнал капелъдинер и хотел тайно сунуть ей в руку еще две визитные карточки, но она брезгливо отстранила его.

– Довольно, довольно! Скажи, что я умерла... да, умерла. Когда дверь затворилась, она упала в кресло и проговорила упавшим голосом:

– Ах, как я устала, если бы вы знали!.. Кстати, ведь я забыла, как вас зовут... простите...

– Павел Константинович Ружищев.

– Да, да. Еще раз простите. У меня такая плохая память, а потом...

Она хотела сказать: «...У меня столько знакомых, и каждый день все новые», – но вовремя удержалась. Он рассматривал меню кушаний, не зная, что предложить.

– Павел Константинович, я хочу сегодня выбрать что-нибудь самое дешевое: борщок, сосиски с капустой, печенку в сметане.

– А я хотел вам заказать паровую стерлядь.

– Ах, нет... Мне до смерти надоели все эти деликатесы. Я хочу чего-нибудь самого-самого простого.

– А какое вино?

– Не нужно вина... Спросите бутылку самого дешевого пива. Поужинаем по-студенчески. Сейчас я закажу вареной колбасы с чесноком. Знаете, ломтиками с переплетом из кожицы?.. Потом кусок дешевого русского сыра, который крошится под ножом. Прелесть!..

Он засмеялся, довольный ее фантазией. Получивший заказ официант презрительно посмотрел на Ружищева, – разве гости так угощают Марью Ивановну? Помилуйте, первый номер, и вдруг бутылка пива!

– Отлично, отлично, – повторяла она, рассматривая суженными глазами Ружищева.

Она сбросила летнюю накидку и несколько раз подходила к окну и прислушивалась к смутному гулу садовой толпы.

«Следовало уехать куда-нибудь в дешевенький ресторанчик, – соображала она. – Есть такие... Там всегда пахнет пригорелым маслом, жареным луком, селедкой. Впрочем, теперь

уже все закрыто, кроме самых дорогих ресторанов».

Ужин вышел совсем по-семейному. Марья Ивановна имела привычку выпивать на ночь рюмку водки, «для нервов», как она объясняла. Сейчас она раскраснелась и казалась совсем миловидной. Впечатление портили только остатки грима около глаз. Ружищев все время любовался ею и с большим вниманием слушал бесконечную женскую болтовню.

– Я вам надоедаю? – несколько раз спрашивала она с какой-то виноватой улыбкой. – А мне так хочется рассказать вам все, все... то есть уж не совсем все, а то, что вам может быть интересно. Родилась я и выросла там, далеко, на юге. Семья была не богатая и не бедная, а так, концы с концами сводились. Детство прошло скучно и неинтересно... А вот когда я перешла в четвертый класс гимназии... Мне тогда было ровно четырнадцать лет, но я казалась гораздо старше, а коротенькое платье-форма делало меня даже пикантной. О, я рано узнала себе цену... Может быть, в этом и заключалось все несчастье последующей жизни. Вы, мужчины, не понимаете, как радостно просыпается в девочке-подростке женщина... Что вы торчите в кресле, Константин Павлыч?

– Павел Константинович.

– Виновата... Садитесь вот сюда, на диван, рядом. Чокнемтесь! Да, было очень хорошо... Как сейчас, вижу себя таким подростком. У меня был великолепный рост, большая коса, чудный цвет лица, красивые, ласковые глаза... Я могу теперь говорить так о себе, потому что это было давно, и я говорю о себе, как о постороннем человеке, как говорила бы о тех девочках, которых встречаю сейчас на улице и которыми искренне восхищаюсь. Да садитесь вы ближе! Ах, какой вы... странный! Или лучше я сама подвинусь к вам... Вот так!..

Она почти касалась плечом его плеча. Он чувствовал теплоту ее тела, запах пудры... Голова слегка кружилась, и глаза застилало туманом, как в горячее летнее утро, когда земля курится невидимым ароматом. Было и жутко и хорошо, и хотелось сказать так много, сказать теми удивительными словами, которые так же трудно поймать, как собственную тень. А она болтала, прихлебывая из своего стакана пиво и обсыпая крошками сыра свое платье.

– Вы обращали внимание, Констан... то есть Павел Константинович, на выражение человеческих глаз? Боже, как хорошо смотрят маленькие дети, совсем маленькие!.. У мальчиков чистота взгляда утрачивается быстро, а у девочек сохраняется лет до шестнадцати... Да, именно, чистота... Хочется смотреть в такие глаза, как на тихую воду, не возмущенную еще ветром. Такими глазами смотрит вся душа, пока она чиста и нетронута... Да, так я была в четвертом классе, потом перешла в пятый. Мне было уже неудобно ходить в коротеньком форменном платье...

Она вздохнула и откинула голову на спинку дивана, полузакрыв глаза. Он взял ее руку и тихо ее гладил. Она не отнимала руки и не открывала глаз. Это было сладкое полузабытье, и Марья Ивановна продолжала видеть себя девочкой-подростком.

– Да, это было чудное время, – прошептала она, точно просыпаясь. – А потом...

– Я знаю, что было потом, – перебил он. – То есть догадываюсь.

Ее охватила страстная жажда рассказать ему все, все, рассказать всю свою жизнь. Ведь он такой хороший, такой весь чистый и должен знать, какую женщину хочет привести в свою родовую усадьбу, в свой любимый Яблоневый сад. Конечно, он отвернется от нее, будет презирать, но это все-таки лучше подлого обмана... О, она так много лгала, целую жизнь лгала, каждое ее слово было ложь. Когда он давеча сделал ей предложение, она сочла это за одну из тех шуток, какие пускаются в оборот для сближения с такими женщинами, как она. В ее репертуаре было несколько таких случаев. Но сейчас она чувствовала, чувствовала как-то всем своим существом, что он говорил с ней совершенно серьезно, как чувствовала его удивительный взгляд, – он смотрел на нее тоже всем своим существом, смотрел каждой каплей своей неиспорченной, чистой крови.

Они молчали несколько минут, но это молчание было красноречивее всякого разговора. Он понял, о чем она думала, и предупредил ее.

– Да, я знаю, – заговорил он, с трудом подбирая слова, – знаю, что у вас было прошлое... Да... Но *это* меня не касается, я *этого* не желаю знать. Есть чувства, которые покрывают все, как огонь очищает металл от ржавчины. Я отлично сознаю, что делаю и на что иду... Только одно условие: ради бога, никогда и ни одного слова об этом прошлом! Мне было бы обидно, больно и ужасно слышать о нем, да еще от вас.

Она молчала, чувствуя, как ей начинает не хватать воздуха и как перед глазами начинают ходить разноцветные круги.

– Да, никогда, никогда! – повторил он, крепко сжимая ее руку. – Человек – не в своих ошибках, а в своей душе, в своем сердце...

Он говорил еще что-то, серьезно и просто, как брат с сестрой. А из сада доносился шум гулявшей толпы, звуки садовой музыки... Марье Ивановне казалось, что ее зовут туда, где бурлит эта тысячная толпа, и ей хотелось спрятаться, уйти куда-то далеко, оставив здесь навсегда ту Марию Ивановну, которую знала садовая публика и к которой относилась как к своей собственности. Так думают безнадежные больные, которые мечтают уехать как можно дальше от собственной болезни.

– Вы хороший и добрый, – говорила она материнским тоном. – Главное, добрый... Добрых людей так мало на свете. Добрым нельзя сделаться, – это в крови... Вероятно, у вас и отец и мать очень добрые люди?

– Да, не злые...

Они просидели до глубокой ночи, болтая о разных посторонних вещах, получивших в их глазах сейчас какое-то особенное значение и важность. На прощание она его крепко поцеловала. Это был первый Поцелуй, и она удивилась, что ее сердце бьется чаще обыкновенного.

Стояла безлунная, белая ночь. В саду оставались только запоздавшие гости. Из одного кабинета доносился шум пьяной драки. Измученные официанты торопливо сновали с пустой посудой и неоплаченными счетами. Воздух был напоен пьяным угаром.

Ружищев проводил Марию Ивановну до извозчика и посадил ее в экипаж.

– Я не люблю, когда меня провожают, – ласково предупредила она с загадочной улыбкой.

III

Да, стояли безлунные, белые петербургские ночи...

С Марьей Ивановной было плохо. Она испытывала такое ощущение, как будто ее что-нибудь придавило. Марья Ивановна плакала и злилась на себя.

– Ах, старая дура, старая дура!..

Она подходила к зеркалу, рассматривала с особенным вниманием начинавшее блекнуть лицо и горько улыбалась.

– Старая, совсем старая...

Когда-то Марья Ивановна так издевалась над старившимися женщинами, которые отчаянно молодились для сцены. А теперь наступала ее очередь. Время безжалостно. Она в немом отчаянии хваталась за голову, проклинала себя и опять плакала. О, никто, никто не должен ничего знать!.. В течение одного дня у нее составлялось по десяти разных решений. Конечно, она никогда не выйдет за Ружищева: это было бы просто смешно – мужу двадцать четыре года, а жене тридцать семь. Целая пропасть в тринадцать лет. Нет, она будет его любить так, просто, без всяких обязательств, пока он будет ее любить... год, может быть, два. Быть лишней, быть нелюбимей – это еще ничего, а быть смешной – это уже свыше всяких сил. С другой стороны, женятся же старики на совсем молоденьких девушках, бывают браки на взаимном уважении, бывают, наконец, мужчины, которые любят всего один раз в жизни и видят в жене человека, друга, лучшую часть самого себя. Еще дальше: ведь она может умереть в разгар своего счастья и он тоже. Наконец, она всегда может уйти, заметив перемену в его чувствах, и вернуть ему полную свободу.

Ее увлечение уже не составляло тайны для товарищей по сцене. Ее встречали двусмысленными улыбками, а толстый комик Бутусов пустил в оборот перифраз известной французской остроты:

– Наша Марья Ивановна, в добрый час будь сказано, хочет переменить свою сорокафранковую монету на две двадцатифранковых: одна наличными деньгами, а другая в кредит. Это называется конверсией внутреннего займа...

Добрые друзья, конечно, передавали Марье Ивановне все эти сплетки, пересуды и плоды дешевого остроумия. Она злилась и отвечала одно:

– Они ничего не понимают, поэтому и злятся.

В интернациональном хоре была одна белокурая девушка, которую звали Таней. Она недавно поступила на сцену, и в ней еще не погасла девичья застенчивость. Марья Ивановна немного покровительствовала ей и часто приглашала к себе в уборную, чтобы приколоть живые цветы к ее корсажу или угостить конфетами. Эта Таня относилась к Марье Ивановне как к недостижимому идеалу. Она поджидала ее в коридоре перед выходом на сцену, как влюбленная, ловила каждый ее взгляд и провожала влюбленными глазами. Это немое обожание забавляло Марью Ивановну, и она по какому-то инстинкту жалела немного эксцентричную, милую девушку. Выслушав ее закулисные сплетни, Таня подкараулила Марью Ивановну в коридоре и без приглашения вошла за ней в уборную.

– Тебе что-нибудь нужно, Таня? – спросила Марья Ивановна.

– Нет, то есть да...

Девушка сконфузилась, а потом проговорила:

– Все говорят, что вы влюблены.

– Ах, какие глупости, Таня! И хочется тебе повторять, что другие болтают!

– Нет, я знаю, Марья Ивановна, что вы влюблены.

– Ну, предположим, что это так. Что же из этого следует?

– Я хотела вас спросить: как это бывает? Марья Ивановна невольно расхохоталась.

– Ах, дурочка, дурочка!.. Догадываюсь: ты тоже влюблена?

– Не знаю... За меня сватаются двое: старший капельдинер Иван Тимофеич и парикмахер Альфред.

– Которого же ты любишь?

– Мне оба нравятся одинаково.

– Ах, глупенькая, глупенькая!.. Если оба нравятся, значит, не любишь ни одного из них. Любят только одного... Твое время еще не пришло, Таня. Когда полюбят, то никого об этом не спрашивают.

Марья Ивановна обняла и расцеловала наивную девушку, у которой выступили слезы на глазах.

– Вас все любят, Марья Ивановна, за вами все ухаживают, – шептала Таня, прижимаясь своей белокурой головкой к плечу Марьи Ивановны. – Вы только не хотите мне сказать, а сами все знаете... Капельдинер Иван Тимофеич с горя пьет третью неделю, а парикмахер Альфред грозит застрелиться, и я не знаю, что мне делать...

Над этой сценой Марья Ивановна долго смеялась, но Ружищев находил ее совсем не смешной.

Они виделись каждый день. Ружищев каждый вечер проводил в саду, как на дежурстве. Он знал в лицо не только всех артистов, капельдинеров и официантов, но и садовых завсегдатаев, котов и хулиганов. И чем ближе он знакомился с этой клоакой, тем сильнее ее ненавидел. Это было нечто ужасное, безобразное и безнадежное... Он нестерпимо страдал, глядя, как на подмостках безобразно кривлялись артисты и артистки в угоду пьяной толпе. Особенно отличались артистки, стараясь превзойти одна другую в цинизме. Марья Ивановна была не лучше других, когда распевала скабрзные шансонетки и канканировала. Ружищев хватывал ужас, когда он смотрел на нее, нарумяненную, увешанную поддельными бриллиантами, с нахальной улыбкой и циничными движениями. Каждый вечер за ужином он повторял ей одно и то же:

– Маня, уйдем отсюда... Это ужасно! Ты не можешь себе представить, как мне больно смотреть на тебя, когда ты кривляешься на этой проклятой сцене... Я тебя не узнаю. У тебя делается совсем другое лицо, другие движения, улыбка, голос.

– Милый, это от непривычки... Ведь наш цинизм именно для нас лично и не существует, как не существует смысла в площадной брани для тех, кто к ней привык. А уйти я не могу,

потому что связана неустойкой.

– Я заплачу неустойку.

– А репутация? Какой антрепренер возьмет меня в труппу, если я нарушу здесь контракт? Наша артистическая репутация – наш капитал. Сегодня ты меня любишь, все хорошо, а кто знает, что будет с нами завтра!

– Ради бога, не говори так, Маня!..

Они были на «ты». Ружищев держал себя скромно, почти застенчиво и как-то избегал говорить о себе. Но в среде артистов не бывает тайн, и Марья Ивановна знала через других, что он единственный сын богатого приволжского помещика, кончил университет, служит при каком-то министерстве без жалованья и т. д. Около садовых артистов вертелся какой-то подозрительный господин в цилиндре и золотых очках. Он говорил на нескольких языках, знал, кажется, решительно всех на свете и являлся для артистов, а особенно для артисток, чем-то вроде комиссионера. По фамилии – Астмус. – Говорили, что это очень темная личность и что он не брезгает ничем. Свести выгодное знакомство, напечатать хвалебный отзыв или инсинуацию где-нибудь в газете, пустить сплетню – все было делом его рук. Марья Ивановна была знакома с ним несколько лет, пользовалась его услугами и теперь боялась его, как огня. Ведь Астмус отлично знал все ее бурное прошлое и мог каким-нибудь анонимным письмом испортить ее все нараставшее счастье. Он это отлично понимал и держался с ней с вызывающей фамильярностью.

– Эге, мы устраиваем роман, Марья Ивановна! – шутил Астмус, глядя на нее в упор своими бессовестными глазами. – Что же, не следует терять дорогого времени, милашка... На мою скромность можете вполне рассчитывать, потому что я живая могила всех женских тайн. Это мой принцип, Марья Ивановна... Впрочем, вы имели достаточно случаев, чтобы убедиться в моей корректности. Потом, знаете, Марья Ивановна, мы были бы совсем друзьями, если бы вы оказали мне маленькую услугу... Да. Вы ведь знаете эту хористочку, Таню... Она мне очень нравится и разыгрывает из себя недотрогу. Если бы я мог встретиться с ней у вас на квартире, конечно, случайно... Да... Я знаю, что она любит вас, и вы могли бы повлиять на нее, как женщина опытная и разумная...

Марья Ивановна вся вспыхнула и резко ответила:

– Извините, господин Астмус: я такими делами не занимаюсь.

– Бойтесь конкуренции, милашка? Хе-хе!.. Благодарю, не ожидал...

После такого разговора ничего не оставалось, как бежать. Да, именно не уходить, а бежать...

IV

Ружищев пришел в неистовую радость, когда Марья Ивановна сообщила ему о своем решении оставить сцену.

– Я сегодня пою в последний раз, – объявила она, наблюдая его счастливыми глазами. – А завтра объявлю директору... Мне немного совестно, что я оставляю сцену в разгаре сезона. Ведь я все-таки являлась известной приманкой, публика привыкла ко мне... Мой уход может отразиться на делах всей труппы.

– Милая, милая, ведь найдется же кто-нибудь другой, чтобы заменить тебя!

– Ты забываешь, что мне придется заплатить громадную неустойку, что-то около шести тысяч... У меня сбережено про черный день около двух тысяч...

– О деньгах не может быть речи.

– Выходит так, как будто ты выкупаешь будущую жену из плена.

– Именно... совершенно верно!.. Итак, в последний раз на сцене?

– В последний раз, милый... И в последний раз поужинаем в этом кабаке.

Они крепко расцеловались. Она начала гримироваться для своего номера, а он ушел в партер, чтобы в последний раз посмотреть на свой позор. Кабака больше не было, не было шантажистов, котов, хулиганов, кутивших напропалую провинциальных старцев,

приехавших в Петербург по делам... Все это исчезло, как дурной сон. Ружицев даже не видел отдельных лиц, – все сливалось в одно бессмысленное, живое, движущееся пятно, как капля зараженной крови под микроскопом. Только бы вырваться отсюда на свежий воздух, увезти свое счастье на берег родной Волги...

Время точно остановилось, как текучая вода, встретившая на своем пути непреодолимую преграду. Марья Ивановна пела последней, и публика, точно предчувствуя разлуку, вызывала ее без конца. Ружицев торжествовал, повторяя про себя:

– Будет... довольно...

Его удивляла странная и непонятная для него фантазия Марьи Ивановны поужинать в последний раз в отдельном кабинете. Нужно было бежать, очертя голову... Впрочем, есть, с одной стороны, женские фантазии, а с другой, может быть, это было прощание с прошлым, последняя дань дурной привычке.

Он ждал ее в «своем» кабинете, который ему сегодня не казался даже таким грязным и отвратительным, как раньше.

Она пришла позднее обыкновенного, счастливо встревоженная и радостная.

– Все кончено? – спросил Ружицев.

– Да...

– Видела своего директора?

– Мельком... я его предупредила. Не будем об этом говорить.

Она бросила на стол несколько визитных карточек и рассмеялась.

– Милые провинциальные старички не дают мне покоя, – коротко объяснила она, делая гримасу. – Вот кого я ненавижу от всей души... Развратничает не молодежь, а вот именно такие почтенные отцы семейств, добродетельные мужья и живые примеры тихого семейного счастья.

Она могла бы прибавить, что эти карточки были доставлены при благосклонном участии г-на Астмуса, служившего, между прочим, и поставщиком живого товара.

Ужин опять заказан был по-студенчески. Они сидели на диване, обнявшись, и предавались воспоминаниям. Марья Ивановна смотрела на Ружицева и повторяла:

– Боже мой, как все это недавно было... точно сон... Позволь, как мы познакомились? Я, право, не могу припомнить.

– Ну, знакомство не из интересных... Вот так же, в отдельном кабинете... Забыла?

– Позволь... с тобой были тогда какие-то два старичка, да? Один еще такой смешной, маленький и называл себя доктором Киндербальзамом... Он рассказывал, что вы познакомились только здесь, в саду...

– Нет, он тебя просто мистифицировал, Маня. Ружицев засмеялся и прибавил:

– Это будет нашей маленькой тайной, Маня... Видишь ли, мой отец – очень добрый и хороший человек, но иногда любит покутить...

Она вырвалась из его объятий, вскочила и, вся бледная и дрожащая, проговорила задыхавшимся голосом:

– Это... это был твой... отец?!

Он тоже поднялся, взял ее за руки и хотел усадить.

– Да, отец... Он очень хороший, хотя и не без маленьких недостатков.

– Отец! – в ужасе повторяла она, прислушиваясь к звуку собственного голоса. – Отец?!

Потом она вырвалась из его рук и бессильно упала в кресло.

– Маня, Маня, что с тобой? Такие пустяки...

Но она ничего не отвечала, а только закрыла лицо руками.

– Маня, ты его извинишь... Вообще пустяки. Она только стонала, схватившись за голову.

– Со мной это иногда случается, – объясняла она, не отнимая рук. – Страшные головные боли... Ты не сердись... Я сейчас же должна уехать домой. Окончательный мой ответ получишь здесь... вечером. Нужно окончательно переговорить с директором...

– Я тебя провожу, Маня.

– Ах, ради бога, не нужно!.. – испугалась Марья Ивановна. – Меня проводит Таня.

Он все-таки проводил ее до уборной. Таня уже собиралась домой и была счастлива, что может ехать на одном извозчике с самой Марьей Ивановной. Ружищев усадил их в экипаж и остался на тротуаре. Он ничего не понимал. Марья Ивановна на прощание как-то особенно долго смотрела ему в глаза и крепко поцеловала.

Извозчик отъехал всего сажен пятьдесят, как Марья Ивановна горько зарыдала, не обращая никакого внимания на возвращавшуюся по тротуарам садовую публику.

– Марья Ивановна, милая, что с вами?! – испуганно бормотала Таня, обнимая обожаемую женщину. – Марья Ивановна...

Марья Ивановна посмотрела на нее дикими глазами и, не вытирая катившихся по лицу слез, проговорила задышавшимся голосом:

– Марьи Ивановны нет... Марья Ивановна умерла... Ах, боже мой!.. Вот когда пришла твоя казнь.

– Голубушка, Марья Ивановна... Мужчины все обманщики.

– Ах, не то, Таня!.. Он хороший, чистый... Ты у меня останешься ночевать... да... Мне страшно... Я тебе не могу объяснить, что случилось.

От сада до квартиры Марьи Ивановны было всего несколько кварталов, но она успела все передумать и решить. В ее голове мысли неслись вихрем, а роковое слово «отец» стучало, как молот. Да, отец... Она его видела сейчас, как живого, и вздрагивала всем телом. После знакомства в отдельном кабинете, устроенного Астмусом, он бывал у нее на квартире раза три... Привозил букеты, цветы, дорогие безделушки... Это был жизнерадостный, хорошо сохранившийся для своих лет провинциальный старичок. После каждого визита доктора Киндербальзама Марья Ивановна находила на своем ночном столике под коробкой пудры сторублевую ассигнацию. Эти воспоминания жгли сейчас Марью Ивановну, как раскаленное железо, и она слышала голос доктора Киндербальзама:

«Молодые люди ничего не понимают... мальчишки... А доктор Киндербальзам – специалист по женским болезням, лекарства для которых выписываются по рецептам экспедиции заготовления государственных бумаг в ювелирных магазинах...»

Марья Ивановна чувствовала, как она тонет в той грязи, в которой барахталась целую жизнь... Разве она могла выйти замуж за сына после этой истории с отцом? Довольно, будет... И она, гадкая, отвратительная, смела еще любить!.. И не было такой казни, какую она могла бы себе придумать...

Вечером на другой день Ружищев с нетерпением ожидал ответа от Марьи Ивановны... Таня разыскала его и молча подала длинный конверт. На почтовом листке была написана всего одна фраза Маргариты Готье: «Ответа не будет»...

Марья Ивановна, отправив письмо с Таней, отравилась.

Мумма волновалась уже несколько дней, волновалась, по обыкновению, не за себя, а за других. Мумме бог дал доброе сердце, которое служило источником бесконечных страданий. Глядя на ее круглое румяное лицо, никто бы не подумал, сколько эта женщина перенесла.

Да, Мумма волновалась...

«Ах, уж это мне десятое сентября...» – повторяла она про себя и угнетенно вздыхала.

Особенно грустно было то, что прежде это был такой веселый день, а потом с каждым годом молодое веселье таяло, сменяясь нараставшей тоской.

Сентябрьский денек выдался кисленький, с мелким назойливым дождем. Окна отпотели. В Петербурге такие дни производят особенно унылое впечатление, точно в окна на вас кто-то смотрит заплаканными глазами.

Неприятности начались с утра. Мумма поднялась рано, когда все еще спали. Ей было за пятьдесят; когда-то белокурые волосы проросли сединой, старческое ожирение скрыло всякую фигуру, что при небольшом росте выходило очень некрасиво, но у нее оставались живыми карие большие глаза и почти молодая бодрость движений. Она коротко стригла волосы, что ее молодило. Мумма до сих пор не знала устали. Кстати, ее звали Капитолиной Евграфовной, а Муммой называли дети.

Неприятности подготовлялись с вечера. Во-первых, приехал из провинции старший сын Вадим. Боже мой, сколько забот, труда и надежд было вложено в этого человека, а он не только не оправдал их, а остался жалким неудачником. Кажется, уж все системы воспитания были применены, все последние слова педагогики были использованы, и это только для того, чтобы получился «человек двадцатого числа», кое-как пристроившийся в акциз. Как все неудачники, он женился очень рано, студентом, а потом жена его бросила, и он привез двух своих детей, Олега и Игоря, к матери.

– Что я с ними буду делать, Мумма, – говорил он. – Я целый день на службе, матери нет, а ты по натуре насадка... Вот тебе благодарный материал.

Мы уже сказали, что Мумма была добра и приняла на воспитание внучат без слова, даже со слезами на глазах. Она все-таки безумно любила своего неудачного Вадима, в котором видела свою молодость. Притом мальчики уже были в школьном возрасте, и в Мумме проснулось желание воспитывать. О, она целую жизнь занималась воспитанием, и вы ее, наверно, встречали на всех собраниях разных педагогических кружков, на лекциях, выставках, актах и беседах. Мумма глубоко верила в то, что только при помощи воспитания можно пополнить все пробелы и недочеты человеческой природы и создать ту новую породу людей, о которой мечтала еще великая Екатерина.

Семья Туразовых состояла из двух сыновей и двух дочерей. О старшем, Вадиме, мы уже говорили, а младший, Ярослав, еще учился в университете. Старшая дочь, известная в семье под кличкой «Нинка-буржуйка», была давно замужем за биржевым маклером, который презирал семью жены за ее интеллигентность, потому что сам мог думать только о деньгах. Мумму возмущало до глубины души, что ее дочь может любить такого человека и еще больше – быть счастливой. Младшая дочь Лия находилась в критическом возрасте «девушки на взлете», как дразнили ее братья, следившие за каждым ее шагом, который вел к ловле жениха. Это была миловидная девушка, кончившая гимназию и побывавшая на всевозможных курсах. Она отличалась какой-то странной апатией и почти не интересовалась ничем, что делалось кругом. Это очень огорчало Мумму. Много ли хороших, выигрышных лет у каждой девушки, и проспять их бессовестным образом... Мумма невольно вспоминала свою бурную, веселую молодость, когда каждый день являлся целым капиталом.

Когда Вадим приезжал в гости, он разыгрывал какого-то хозяина. Все критиковал, делал недовольное лицо и вообще, как говорится, фыркал. Впрочем, он это делал только при

матери, а при отце сдерживался. Сегодня он встал поздно и долго ворчал на горничную, а потом вышел в столовую с таким видом, точно его только что вытащили из воды.

– Поздравляю... – лениво протянул он, здороваясь с матерью. – Сегодня у тебя, кажется, особенно отличный день?

– Именно?

– Мыслящему реалисту исполнилось шестьдесят лет... Это немножко много для серьезного человека.

– Именно?

– Как это тебе сказать, Мумма. В шестьдесят лет, как говорят вежливо китайцы, порядочные люди уже раскланиваются с здешним миром для будущего блаженства.

– Негодяй...

– Нет, серьезно... Потом, Мумма, я считаю, что вы просто живете на мой счет. Отец ничего не зарабатывает, и вы преспокойно проедаете мое наследство. Ведь наследников нас двое: я и Ярослав. Вот и посчитай сама, что нам стоит содержать вас двоих. Мыслящий реалист не привык ни в чем себе отказывать...

Мумма смотрела расширенными глазами на своего любимца и не находила слов для ответа. Господи, что же это такое, наконец? Бывают границы и шуткам... «Мыслящим реалистом» в семье называли отца, Андрея Гаврилыча, как старого шестидесятника, и находили это очень смешным. У бедной Муммы появились даже слезы на глазах.

Вадим продолжал нервничать и безжалостно изводил мать. По наружности он не походил ни на мать, ни на отца, – длинный, вихлястый, весь какой-то серый. Его вытянутое лицо, едва тронутое чахлой растительностью, всегда имело раздражительное выражение.

– Вот что, Вадим, – заговорила Мумма, собравшись с силами. – Я не понимаю, зачем ты приехал?

– Как зачем? Выправлять тятенькины именины... Ведь у вас все на купеческую руку, хотя вы и считаете себя интеллигентами, а по купечеству должно уважать родителей. Да и посмотреть на мыслящих реалистов интересно...

– Немного уж их осталось, и ты напрасно имеешься, Вадим... Да, каждый год собирается все меньше и меньше. Ты не можешь себе представить, как это тяжело и грустно, когда убывают такие дорогие и близкие люди, а остающиеся в живых ждут своей очереди. Прошлой зимой умер Егоров... Помнишь, такой высокий, худой?

– Что-то такое помню...

– Ах, какой был человек!.. Какая чудная, светлая душа... Потом весной почти в одно время умерли Погода ев и Никонов. Летом умерла Елена Ивановна Грекова, с которой мы вместе жили в Вилуйске... Ракитин разбит параличом, у Бурцева грудная жаба... Какие все люди!..

– Бессмертие, Мумма, не обязательно – это, во-первых, а Есваторых, удел всякой рухляди – уничтожаться в свое время.

– Ты меня оскорбляешь, Вадим... Ты сам отец и должен понимать, как тяжело переносить оскорбления от детей.

– Это уж закон природы: черная неблагодарность потомков...

Игорь и Олег воспользовались приездом отца и дедушкиными именинами и не пошли в гимназию. Они проспали чуть не до самого завтрака, потом принялись шалить и кончили ожесточенной дракой, потребовавшей вмешательства бабушки.

– Дети, как вам не стыдно?! – возмущалась Мумма, появляясь в дверях детской в позе римского трибуна. – Вы забываете, что вы уж большие...

– Мумма, я тебе стихи сегодня напишу, – говорил Олег, мальчик лет пятнадцати, занимавший в семье пост поэта.

– Хорошо, хорошо... Одевайтесь и не дурачьтесь. Стыдно. Студент Ярослав еще спал в своей комнате, потому что вернулся домой только в пять часов.

– Мумма, с именинником! – кричали сорванцы, когда бабушка ушла в коридор.

«Мыслящий реалист» сидел в своем кабинете, в кресле с колесами. У него был ревматизм сочленений, и двигаться он мог с величайшим трудом. По наружности это был почти цветущий мужчина, несмотря на свои шестьдесят лет. Плотный, широкий в плечах, с типичным русским лицом. Длинные седые волосы придавали ему профессорский вид.

Стены кабинета сплошь были заняты полками с книгами. В простенках между ними висели портреты знаменитостей шестидесятых годов. Громадный письменный стол занимал почти половину комнаты и был завален тем ненужным хламом, какой набирается только на письменных столах.

Разговор в столовой велся настолько громко, что «мыслящий реалист» мог кое-что слышать, а об остальном догадываться. Он только пожимал плечами и думал вслух:

– Вот негодяй... а?

Ему всегда было обидно, когда дети начинали вышучивать Мумму, а теперь, кроме обиды, явилось еще сожаление. В доме давно установился слишком свободный тон благодаря убеждению Муммы, что нельзя стеснять детскую свободу. Теперь приходилось переносить результаты такого воспитания. Положим, в присутствии отца дети сдерживались, но было тем хуже, что они так много себе позволяли с матерью. Много раз «мыслящий реалист» хотел прекратить все эти выходки, но, как настоящий русский человек, ограничивался мелкими вспышками, а потом себя же чувствовал виноватым по нескольку дней.

Возмущенный поведением Вадима, Андрей Гаврилыч покотился на своем кресле в столовую с твердым намерением разделать негодяя на все корки, но по дороге вспомнил, что он сегодня именинник и что в такие дни все-таки неудобно поднимать семейные истории. В конце концов всех больше огорчилась бы та же Мумма, души не чаявшая в своем первенце.

«А ну его к черту, негодяя», – решил именинник, вкатываясь в столовую.

К завтраку собралась вся семья. Ярослав очень походил фигурой и наружностью на отца, хотя и старался подражать старшему брату по части недовольства. Вышла из своей комнаты Лия, немного заспанная и апатичная. Прибежали Олег и Игорь, счастливые тем, что не пошли в свою гимназию. Последней приехала Нинка-буржуйка, высокая и костлявая дама, походившая на брата Вадима.

– Ну, вот мы и все собрались, дети, – говорила Мумма, чтобы сказать что-нибудь.

– А Анатолий Денисович? – перебил ее Олег, поглядывая на покрасневшую Лию.

– Он днем занят и приедет только вечером, – коротко объяснила Мумма, сдерживая волнение. – Я говорю про свою семью, а он не член нашей семьи.

Все переглядывались, сдерживая улыбки, и Андрей Гаврилыч догадался, что от него что-то скрывают.

– Мне этот ваш Анатолий Денисович совсем не нравится, – брезгливо заметила Нинка-буржуйка. – Он и на мужчину не походит... Так, слизняк какой-то.

– Ну, уж это ты того: «ах, оставьте!» – авторитетно проговорил Ярослав.

– Анатолий Денисыч – гений! – с азартом вмешался Олег и даже покраснел от волнения. – Да, гений...

– Да? – иронически удивилась Нинка-буржуйка. – Скажите, пожалуйста, а я-то, глупая, и не замечала... Не могу не отдать ему справедливости, что он удивительно искусно скрывает свою гениальность.

Андрей Гаврилыч не вмешивался в спор и только улыбался. Мумма заметила, что Лия смотрит на отца и тоже начинает улыбаться. Последнее задело ее за живое.

– Анатолий Денисыч пишет громадное сочинение... – вызывающе проговорила она, глядя на мужа. – Да-с, сочинение.

– А можно узнать, о чем он именно пишет? – спросил Андрей Гаврилыч, продолжая улыбаться.

– Он... он не из того сорта людей, которые, как курица, высидят какого-нибудь болтуна и будут кричать <на всю улицу.

– Он нам читал некоторые отрывки, Мумма, – поддержал мать Ярослав. – Действительно гениально... Но, к сожалению, мы не имеем права прежде времени раскрывать основные идеи его труда.

– Скрытый гений, как бывает скрытая теплота, – съязвила Нинка-буржуйка. – С этим ничего не поделаешь... Остается вера, как во все чудеса.

– И даже очень глупо! – вспыхнул Ярослав. – Анатолий Денисыч не виноват, что есть такие люди, то есть женщины, которые... которые...

– Я договорю за тебя, – перебила Нинка-буржуйка, – «которые глупы, как пробка». Да?

– Мадам, не смею с вами спорить...

– Господа, довольно, – вступилась Мумма. – Вы начинаете говорить друг другу дерзости, а это плохое доказательство в спорах.

Несмотря на ее старания потушить огонь, неприятный разговор о гении поднимался с новой силой несколько раз, и зачинщицей опять являлась Нинка-буржуйка, видимо, старавшаяся угодить отцу. Один Вадим мрачно отмалчивался. Отец не обращал на него внимания, что опять волновало Мумму. Все-таки человек приехал поздравить отца, а он даже не хочет его замечать.

Спор закончился неожиданным заявлением Нинки-буржуйки:

– Все вы, господа, непротивленыши... Не правда ли, папа? А этот Анатолий Денисыч является вождем этого несчастного стада.

– Нина, довольно, – строго остановила ее Мумма. – Нужно уважать чужие убеждения... да. А критиковать других можно только тогда, если ты в состоянии стать на их точку зрения. Да.

– Мне жаль папу, которому приходится выслушивать всякую декадентскую галиматью, – не унималась Нинка-буржуйка. – Больничный бред нищезанятия, проникновенное бормотание пьяного босячества, политико-экономический мистицизм, безумный эгоизм в основе переоценки всех ценностей, новейшая эстетика при закрытых дверях, горячечные галлюцинации декадентства...

– Нинка, заткни фонтан своего красноречия! – накинулся на нее Ярослав. – Это скучно даже для нашего мыслящего реалиста...

– Меня ты можешь оставить в покое, – с улыбкой заметил Андрей Гаврилыч. – Я уже давно привык ко всему и все-таки навсегда останусь мыслящим реалистом... Я горжусь последним.

– Господа, вы забываете, что папа сегодня именинник, – проговорил Вадим и со скучающим видом зевнул. – Не следует огорчать человека в такие торжественные минуты...

– Вадим?! – взмолилась Мумма, ожидая семейной сцены.

Но Андрей Гаврилыч только посмотрел на нее грустными глазами и, ничего не ответив, покатился из столовой.

Лия демонстративно поднялась и ушла в свою комнату. Чтобы сорвать сердце, Мумма накинулась на Нинку-буржуйку:

– Это все ты! Да, ты, ты! Я могу только удивляться, зачем ты приехала к нам?

– Мумма, ты меня гонишь?

Все разом накинулись на Нинку-буржуйку, но она решила дорого продать свою жизнь и отчаянно защищалась.

– Вы – непротивленыши, декаденты, вырожденки... да!.. Туразовский дом являлся чем-то вроде караван-сарая для

всевозможных модных течений. Это объяснялось живым, увлекающимся характером Муммы, которая не могла слышать равнодушно о чем-нибудь новом. Последовательно, как по ступенькам, шла через позитивизм, утилитарианизм, народничество, марксизм, пока окончательно не застряла в непроходимых дебрях нищезанятия, толстовщины, декадентства

и босяцкой проникновенной философии. Как это все укладывалось у нее в голове – не мог объяснить ни один философ. Но это было так. Дело в том, что Мумма привязывала каждую теорию к какому-нибудь живому лицу, и почему-то случалось всегда так, что носителем новой идеи являлся мужчина. Женщин-философов, как известно, до сих пор еще не было, и Мумме, несмотря на то, что она была яркая феминистка, поневоле приходилось верить порабителю женщин – мужчинам, как она верила больше врачам-мужчинам.

Милая Мумма, как она страдала, перелезая с одной ступеньки на другую. Происходило что-то вроде переезда на новую квартиру, причем старая мебель ломалась, являлась смутная тоска о насиженном угле и неопределенный страх пред будущим. Но история требует жертв, как уверяла себя Мумма, и приспособляемость с годами утратила свою эластичность.

Последней стадией в ряду этих метаморфоз явился Анатолий Денисыч Бурнашев. С ним в туразовский дом влилась новая струя, которую трудно было даже назвать. Это была переоценка всех ценностей на религиозно-мистической подкладке. В доме как-то вдруг водворились давно позабытые слова. Мумма растерялась, как пойманный врасплох школьник, и даже испугалась. Она многого не понимала и только судила по молодежи, что это нахлынувшее новое представляет собой силу и, как всякая сила, имеет право на существование. Мумма не спорила и не соглашалась, а только слушала, что говорят между собой «потомки». Сам по себе Бурнашев ничего особенного не представлял, хотя был солидно образованный человек с очень выдержанным характером. У него было состояние, и он жил холостяком без занятий. Мумму поражало больше всего то, что апатичная Лия заметно интересовалась им, как и он в свою очередь обращал на нее особенное внимание.

«Что же, все бывает на свете... – по-матерински думала Мумма. – Человек серьезный, обеспеченный...»

Накануне отцовских именин Лия неожиданно заявила матери:

– Мумма, Анатолий Денисыч сделает мне предложение. Он мне ничего не говорил об этом, но я знаю.

III

Готовность так быстро устроить судьбу Лии удивляла самое Мумму. Она старалась проверить себя. Выходило как-то так, что она была и права и в то же время не права. Конечно, вполне естественно со стороны матери позаботиться о судьбе дочери, тем более что она, Мумма, из принципа никогда не насильствовала воли своих детей, оставляя за собой только право высказать свое мнение. С другой стороны, она как-то инстинктивно чувствовала, что этот Бурнашев – человек из другого мира, совершенно случайно попавший к ним в дом. Он останется навсегда чужим, как и муж Нинки-буржуйки. Но что было делать? Где нынче настоящие люди?

Мумма усиленно волновалась; волновалась, что ей решительно было не с кем поделиться охватившим ее настроением. Конечно, естественнее и ближе всего было обратиться к «мыслящему реалисту» и поговорить с ним откровенно. Она с этой целью даже входила несколько раз под разными предлогами к нему в кабинет – и возвращалась. Ей делалось так жаль этого больного старика, с которым она рука об руку прошла всю жизнь. Зачем его напрасно тревожить, когда, может быть, Лия преувеличивает и ошибается.

Было еще одно обстоятельство, которое заставляло ее сдерживаться. В последнее время «мыслящего реалиста» начала серьезно беспокоить мысль о смерти, а каждые новые именины точно подталкивали к роковому концу, напоминая о прожитых годах. Прямо он ничего не говорил, но она чувствовала его настроение и старалась не выдавать своего собственного беспокойства. А сегодня «мыслящий реалист» имел такой грустный вид.

Андрей Гаврилыч действительно переживал тяжелый день, тяжелый особенно уже тем, что никаких определенных оснований для этого не было.

«Старческая тоска, – думал он, покачивая головой. – Сердце перестает функционировать нормально. Да... Маразм вообще...»

Когда в кабинет входила Мумма, он старался приободриться и делал беззаботное лицо. Перед ним на столе лежала последняя книжка нового журнала «с настроением», и он малодушно прятался за нее. В сущности от текущей литературы он порядочно отстал, а

говоря проще, – перестал понимать новых авторов, хотя и не желал в последнем признаться даже самому себе. Старые моряки испытывают, вероятно, такое же чувство, когда смотрят на новые суда, построенные при новых условиях и требованиях техники и последних слов морской войны.

Дверь кабинета выходила в гостиную, и «мыслящий реалист» мог слышать обрывки разговоров. Нинка-буржуйка продолжала волноваться и ссорилась с Вадимом. Студент Ярослав дразнил гимназистов Игоря и Олега и хохотал неестественно громко.

«В кого они все такие уродились? – невольно думал Андрей Гаврилыч. – Какие никчемные и никчemuшные люди».

Было и обидно и досадно, и поднималась глухая тоска за то, что не осуществилось в жизни, а когда-то манило вперед, радовало и делало счастливым. Ах, если бы эти несчастные деца могли только понять, что переживал сейчас «мыслящий реалист»!

– Наш мыслящий реалист сегодня не в своей тарелке, – доносился из гостиной голос Ярослава. – Он недоволен существующим порядком...

Обед прошел как-то – особенно скучно. Даже неугомонная Нинка-буржуйка молчала и все поглядывала на мать. Андрей Гаврилыч догадывался, что в семье что-то происходит и что все от него что-то скрывают. Мумма чутко прислушивалась к звонку в передней, – она ожидала официального появления будущего жениха. Лия сидела с опущенными глазами и старалась избегать пытливых взглядов матери.

«Точно семья заговорщиков...» – невольно подумал Андрей Гаврилыч, не желая даже догадываться, что происходит.

Он не дождался третьего блюда и укатился к себе в кабинет, куда попросил подать ему кофе.

Вадим проводил его глазами и, прищурившись, заметил вполголоса:

– Мыслящий реалист сегодня напоминает мне того опереточного короля Бобеша, у которого во всем государстве был всего один жук и которому этот единственный жук попал в стакан чая.

Мальчики не могли удержаться и прыснули.

– Замолчите, несчастные! – накинулась на них Нинка-буржуйка.

– Ох, страшно! – иронически отозвался Ярослав, набивая рот любимым ореховым тортом.

Мумма молчала, опустив глаза, а потом быстро поднялась и демонстративно вышла из комнаты. Ради сегодняшнего дня она не хотела поднимать семейной истории. Вадим в ее глазах продолжал оставаться тем ребенком, которого из приличия иногда журят и которому тем не менее прощается все.

– Козявки несчастные! – ругалась Нинка-буржуйка. – А тебе, Вадим, как старшему, уж совсем не к лицу говорить глупости. Мать бежит от вас...

Вадим сделал удивленное лицо, поднял брови и проговорил с самым невинным видом:

– При чем же я тут?! Может быть, у Муммы живот болит!

Мальчики замерли сначала от находчивости Вадима, а потом закатились неудержимым хохотом. Для них Вадим всегда являлся идеалом, и они копировали каждый его жест, интонации голоса и по неделям повторяли его остроумные словечки.

До самого вечера время тянулось мучительно медленно, как это всегда бывает, когда ждут обязательных гостей.

Получено было несколько поздравительных телеграмм. Первый звонок обманул всех: это был портной. От скуки Ярослав собрал мальчуганов в гостиной и принялся читать вслух критическую статью о Бальмонте. Он нарочно читал настолько громко, чтобы в кабинете «мыслящего реалиста» слышно было каждое слово.

– «...Бальмонт – залетная комета. Она повисла в лазури над сумраком, точно рубиновое ожерелье... И потом сотнями красных слез пролилось над заснувшей землей. Бальмонт –

заемная роскошь кометных багрянцев на изысканно-нежных пятнах пунцового моха. Сладкий аромат розовеющих шапочек клевера, вернувших им память о детстве».

– Восхитительно, – шептал Олег.

– Проникновенно! – авторитетно подтвердил Игорь.

– Гениально, черт возьми! – восхищался Вадим. – Немного, а все сказано.

– Позвольте, господа, дайте кончить, – остановил эти неистовые восторги Ярослав. – Я продолжаю: «Он, то есть Бальмонт, разукрасил свой причудливый грот собранными богатствами. На перламутровых столах расставил блюда с рубиновыми орешками... Золотые фонарики вечности озарили. Он возлег в золотой короне. Ложем ему служит бледно-розовый коралл, и он ударял в лазурно-звонкие колокольчики. И он разбивал звонкие колокольчики рубиновыми орешками...»

– Фу, какая глупость! – послышался голос «мыслящего реалиста» из кабинета. – Будет, Ярослав!.. Меня просто начинает тошнить.

– Папа, значит, ты отрицаешь свободу человеческой мысли? – отозвался Ярослав. – Кажется, это не либерально.

– А ну вас, сумасшедших! – ворчал «мыслящий реалист».

– Н-не по-нра-ви-лось! – ехидно заметил Вадим, кивая головой в сторону отцовского кабинета. – Что делать, силой милому не быть...

Он взял лежавший на столике томик Ницше: «Так говорил Заратустра» и, перелистывая, проговорил:

– Попробуем почитать эту книжку... Например: «Счастье мужчины называется: „я хочу“. Счастье женщины называется: „она хочет“. И повиноваться должна женщина и присоединить глубину к поверхности своей. Поверхность – душа женщины, подвижная, беспокойная волна на мелкой воде». Гм, недурно. А вот далее: «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!»

Он перевернул несколько страниц и с особенным удовольствием прочел:

– «...Для тебя, чародейка, я пел до сих пор, теперь – ты должна кричать для меня! Под такт плетки моей должна ты плясать и кричать».

– Не правда ли, как просто и ясно разрешен весь женский вопрос? Наша Мумма напрасно хлопотала целую жизнь, разрешая его.

– Не-го-дя-и! – слышалось из кабинета.

– Папа, ты опять лишаешь нас свободы слова? – вмешался Ярослав, не боявшийся отца. – Это уж рабство!

Раздавшийся в передней звонок прекратил начинавшуюся семейную бурю.

Это был сам Бурнашев.

IV

Он входил всегда как-то крадучись и непременно оглядывался кругом своими близорукими глазами, точно боялся засады. И протягивал руку с нерешительной улыбкой, – он постоянно улыбался. По наступившей почтительной тишине в гостиной Мумма догадалась из своей комнаты, кто пришел.

«Ох, уж скорее бы», – подумала она.

Бурнашев отлично знал, что старик Туразов его ненавидит, но делал вид, что ничего не замечает, и сейчас отправился прямо в кабинет поздравить дорогого именинника.

– Благодарю, очень благодарю, – бормотал Андрей Гаврилыч.

У Бурнашевой всегда была в запасе какая-нибудь сенсационная новость, которую он получал из верных источников, и всегда он начинал разговор стереотипной фразой:

– А вы слышали?

Андрею Гаврилычу приходилось разыгрывать гостеприимного хозяина, хотя эта роль и плохо удавалась ему. Бурнашева он совершенно не понимал. Что это за человек? В чем заключается секрет его влияния на молодежь? Почему даже глупости, которые он проповедовал, имели такой успех? Несомненно было одно, что он был неглупый и образованный человек, но какой-то весь сдавленный и съезжившийся. Он и говорил такими же сдавленными словами, напоминавшими палый осенний лист. Но всего неприятнее была его покровительственная манера спорить, точно он делал величайшее одолжение каждым звуком своего голоса. Впрочем, Андрей Гаврилыч избегал этих споров.

На этот раз беседа с Бурнашевым была счастливо прервана. Раздался необыкновенно громкий звонок, так что Мумма даже выскочила из своей комнаты.

– Господи, да это какой-то разбойник ломится в дверь? – взмолилась она.

Все невольно притихли. Горничная бросилась отворять дверь с особенной быстротой. В передней послышалось какое-то гудение, точно ворвался громадный шмель.

– Дома старик-то, а? И старуха дома, а?

– Господа все дома, – обидчиво ответила горничная, разглядывая незнакомого гостя.

– Ну, и отлично... – добродушно гудел он. – Скажи, что Яким Образов приехал.

Проходя гостиной, гость поздоровался с молодыми людьми за руку, причем всем без церемонии говорил «ты». Особенное его внимание обратил на себя Бурнашев, которого он принял за старшего сына.

– Эге-ге! Да в кого ты вырос такой щупленький... а? Ни в мать, ни в отца...

– Вы, вероятно, ошиблись и приняли меня за Вадима Андреича, – с достоинством ответил Бурнашев.

Неловкую сцену прервала Мумма. Она без церемонии взяла громкого гостя за руку и потащила в кабинет.

– Да погоди, старуха! – упирался тот. – Столько лет не видались. Надо же и поцеловаться по христианскому обычаю. Еду в Питер, а сам думаю: уж застану ли вас живыми.

– А ты все такой же, Яким! – удивлялась Мумма, качая головой.

– Все такой же... Ха-ха!.. Пробовали меня переделывать на все лады, да, как видишь, ничего из сего не вышло.

Он крепко обнял Мумму и расцеловал из щеки в щеку.

– Где ты пропадал столько лет, Яким? – спрашивала она, с трудом вырываясь из его мочучих объятий.

– Где я пропадал? Ха-ха... Лучше спроси, где я не пропадал. Ну, да это неинтересно...

Когда гость ушел в кабинет, гостиная точно опустела.

– Вот это так мыслящий реалист, – заметил Вадим. – Ему кули таскать на набережной.

– Д-да-а... – протянул Бурнашев. – Вероятно, из духовных. Отличный протодьякон вышел бы.

– А я его отлично помню, – вмешалась Нинка-буржуйка. – Он меня, маленькую, на руках носил. Страшный добряк.

Гость наполнил гудением кабинет и несколько раз принимался целовать хозяйина.

– Ну, вот и увиделись, – повторял он. – Давно ножки-то потерял?

– Да уж скоро десять лет будет, Яким.

– Это у вас, у дворян, уж повадка такая... Даже и сти-шонки такие есть: «Стала немножко шалить его правая ножка».

Мумма сидела на кушетке и во все глаза смотрела на громкого гостя, вместе с которым ворвалось в дом такое далекое-далекое, такое хорошее-хорошее прошлое. А этот богатырь, который был известен в студенческих кружках шестидесятых годов под кличкой Еруслана, оставался все таким же младенцем. Да, громадный седой младенец, широкоплечий, с широким русским лицом, с мягким русским носом, с окладистой бородой, с громким

голосом. Говорил он, как настоящий «володимерец», сильно упирая на *о*, и, кроме того, ставил ударение над словами совершенно по-своему: «деятельность», «современный», «молодежь». Товарищи по медицинской академии и университету были убеждены в духовном происхождении Еруслана и уверяли, что он скрывает в себе притаившегося дьякона. Но это была неправда: Образов происходил из мещанской семьи, промышленявшей плотничьими подрядами. Голос у него был действительно громадный и никакого слуха. На студенческих пирушках Еруслан ревел, как бык, не слушая никого. Временами он пропадал неизвестно куда, потом как-то неожиданно появлялся, причем не любил рассказывать о своих приключениях.

– Емль его и давяше, – смеялся он над самим собой.

После первых разговоров, которые после долгой разлуки обыкновенно плохо вяжутся, Мумма спросила:

– Что же, Яким: у тебя есть семья, дети?

– У меня? – удивился Еруслан. – Некогда было... Понимаешь, некогда – и все тут. Одним словом, фасон не вышел... Не по моей специальности. Так и остался перекасти-полем.

Дальше начались воспоминания, те обидные стариковские воспоминания, которые совершенно непонятны молодым людям. Мумма с трогательным чувством перечислила умерших друзей, болящих и вообще всех отсутствующих.

– Что же, и нам скоро пора очистить место молодым, – спокойно ответил Образов. – Нужно смотреть на вещи философски... Больше ничего не поделаешь. Было наше время, пожили недурно, а теперь пора и честь знать.

Андрей Гаврилыч все время молчал и улыбался какой-то виноватой улыбкой. Когда-то, в дни молодости, он очень ревновал Мумму к Образову и почему-то боялся его. Теперь, конечно, никакой опасности не представлялось, но жуткое и фальшивое чувство сохранилось. Образов принадлежал к типу тех странных русских людей, от которых всю жизнь ожидают чего-то особенного и необыкновенного.

Обед прошел шумно и весело. Говорил, конечно, один Образов, а Бурнашев демонстративно молчал и только изредка улыбался своей ехидной улыбкой. Мумма с затаенной тревогой наблюдала за Нинкой-буржуйкой, которая довольно бесцеремонно рассматривала гостя, как в зоологическом саду рассматривают редких зверей. Ее немного огорчило и шокировало, что Образов по-прежнему глотал водку рюмку за рюмкой, все больше краснел и начал хохотать неестественно-громким голосом.

– Да, так вот вы какие... – повторял он, обращаясь к наблюдавшей его молодежи. – Чистенькие, вымытые... да... Очень хорошо. Значит, всякому овощу свое время... Так я говорю. Мумма?

Дурной привычкой Образова было задавать вопросы и отвечать на них самому. Вообще он не привык стесняться, и Мумма даже незаметно отодвинулась от него.

– Да, были хорошие люди... – повторял Образов с тяжелым вздохом. – Иных уж нет, а те далече.

Бурнашев долго молчал, а потом неожиданно привязался к какой-то фразе. Образов с удивлением посмотрел на него и добродушно проговорил:

– Я не люблю спорить... Мое время прошло.

– Это, может быть, очень великодушно с вашей стороны, – заметил Бурнашев, – но манера не отвечать на вопросы – это плохое доказательство.

– А если я не желаю вам ничего доказывать? Да, не же-ла-ю...

Бурнашев только пожал плечами. Мумма смотрела на него умоляющими глазами. Все притихли. Андрей Гаврилыч с самым глупым видом катал шарики из черного хлеба. Это была одна из его дурных привычек, всегда возмущавшая Мумму. Хорошо еще, что Образов никогда не замечал, что делалось вокруг него.

Обед, к общему удовольствию, кончился благополучно, и все вздохнули свободно.

Когда гость и хозяин ушли после обеда в кабинет курить сигары, Нинка-буржуйка с удивлением увидела, что мать плачет.

– Мама, что с тобой? Мумма только махнула рукой.

– Ах, Нина, сейчас ты меня не поймешь... У старых людей свои мысли и своя логика. Могу только пожалеть, что ты не увидишь того, что в свое время переживали мы... да...

Бурнашев остался в столовой и с обиженно-ядовитым выражением лица наблюдал происходившую чувствительную сцену. Да, его присутствия милые хозяйки не замечали, и ему, по примеру милого хозяина, остается одно: катать хлебные шарики. Он демонстративно поднялся и начал прощаться. Верхом неприличия было то, что его не удерживали. Когда Мумма вышла проводить его в переднюю и с официальной любезностью хозяйки дома спросила, почему он торопится уходить, Бурнашев с рассчитанной грубостью проговорил:

– У меня, знаете... да... у меня разболелся живот.

А из кабинета доносилось ровное и густое гудение, точно туда залетел громадный шмель.

V

Мумму интересовало, зачем Образов вернулся в Петербург и что предполагает делать. Спросить об этом прямо она не решилась. Между ними уже легла громадная полоса жизни, мешавшая взаимному пониманию. В самом деле, что думает этот странный человек? Чем больше думала Мумма на эту тему, тем сильнее ей делалось жаль друга юности. Да, над его седевшей головой уже витало холодное и обидное одиночество бесприютной старости. На эту тему Мумма пробовала говорить с мужем, но Андрей Гаврилыч только разводил руками и повторял стереотипную фразу, какой отвечают непонимающие мужики:

– А кто его знает...

– Но ведь такое одиночество ужасно?

– Что же, сам виноват, если не умел вовремя устроиться иначе.

– Какой ты странный... Разве можно судить таких людей по обычному шаблону. Он мне прямо сказал, что ему просто было *некогда* подумать о личном счастье.

– Ну, этого мы еще не знаем и будем спорить о неизвестном.

– Есть вещи, которые проделывают одинаково умные и глупые люди. А затем, я даже не вижу оснований, чтобы непременно все женились или выходили замуж... да. Возьми Англию, там уже образовался так называемый третий пол, то есть целый класс девушек, которые, выражаясь по-немецки, никогда не получают мужа.

Мумма не могла понять этого вынужденного безбрачия и протестовала с женским азартом. В самом деле, такой выдающийся по душевному складу человек и должен влачить свое существование бобылем, – Мумма подумала именно этой заученной книжной фразой.

Сам Образов, по-видимому, меньше всего думал и заботился о собственной особе. У него были какие-то дела в Петербурге, и он то пропадал на несколько дней, то появлялся совершенно неожиданно и непременно в самые неудобные часы, – то слишком рано утром, когда дамы еще были не одеты, то слишком поздно вечером, когда пора было ложиться спать, то после обеда, когда ему приходилось подавать отдельно, точно в ресторане. Это была дурная привычка думать только о себе. Потом, он держал себя, как будто он был хозяином в доме, и дело доходило до того, что он без церемоний уходил в кабинет Андрея Гаврилыча и, не раздеваясь, разваливался спать на диване. Мумму такое поведение старого друга очень смущало, главным образом потому, что дети откровенно его не понимали. Особенно волновалась Нинка-буржуйка.

– Это уж слишком бесцеремонно, мама, – говорила она, пожимая худенькими плечами. – Кажется, он принимает наш дом за трактир, где можно и наесться и выспаться.

– Ах, ты ничего не понимаешь, – отговаривалась Мумма, напрасно подбирая слова. – Одним словом, это такой человек... как тебе сказать? Ну, совсем, совсем особенный человек.

Образов упорно не желал ничего замечать и даже больше – обращал особенное внимание на Нинку-буржуйку и производил ей что-то вроде экзамена. Раз она не выдержала и довольно резко ему заметила:

- Вы меня, Яким Ильич, кажется, принимаете за свою ученицу.
- Ну-с, и что же? – невозмутимо спросил он и даже улыбнулся.
- А то, что я уже совсем взрослый человек и в экзаменах не нуждаюсь.
- Так-с... да... Ну, мы так и запишем: окончательно взрослая девица с амбицией.

Старый друг начинал тяготить Туразовых, и Мумма все чаще и чаще начинала думать о том, когда же он, наконец, уедет. Ее немного шокировало и то, что этот старый друг точно ухаживает за Ниной, а та в свою очередь делала такой вид, что ей такое ухаживание противно. В результате получалось что-то совсем несообразное и нелепое. Волновались и мальчишки и ревниво наблюдали за каждым движением старого мамино друга.

Раз Образов пришел в такое время, когда стариков не было дома. Волей-неволей пришлось принимать дорогого гостя Нинке-буржуйке. Он, как всегда, не замечал неприветливости и сухого тона молодой хозяйки и спокойно рассказывал что-то о своих бесконечных странствиях. Когда Мумма вернулась домой, она нашла Образова в столовой. Он сидел и пил пиво. Мумму возмутило, что Нинка-буржуйка не умела занять гостя. Образов понял ее настроение и совершенно спокойно проговорил:

- Барышня обиделась на меня.
- Вы поссорились?
- Нет... то есть видишь ли, Мумма, я, как это у вас говорится, сделал ей предложение...
- Ты?! Предложение?!
- Да... А она заплакала и убежала в свою комнату. Одним словом, никак не могу понять, чем я мог ее обидеть. Конечно, дело самое обыкновенное.

Мумма поступила как настоящая любящая мать, то есть присела к столу, закрыла лицо платком и заплакала. Вот уж *этого* она никак не ожидала.

Нинка-буржуйка подслушивала из соседней комнаты этот разговор, и, когда в столовой все стихло, она осторожно приотворила дверь и увидела необыкновенную картину. Образов целовал Мумму и задышавшимся шепотом повторял:

- Она напомнила мне мою молодость... напомнила тебя, когда ты была молодой... О, ведь я так тебя любил...

Мумма отняла руки от заплаканного лица и ответила тоже шепотом:

- Ты? Любил меня?
- И потом... всегда...

Мумма обняла его и молча поцеловала. Нинка-буржуйка была жестоко наказана за свое любопытство, осторожно притворила дверь и расплакалась уже настоящими слезами.

Через два дня Мумма исчезла. Все, конечно, ужасно встревожились, а Андрей Гаврилыч совершенно потерял голову. Прошло целых два дня, пока получено было письмо от Муммы. Она извещала, что больше не вернется домой, просила прощения и умоляла ее не разыскивать. Она бежала с Образовым за границу.

Комментарии

Хлеб*

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1895, № № 1–8. При жизни писателя выходил отдельным изданием в 1896 и 1901 годах.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Хлеб», М., 1901 год, с исправлением опечаток по предшествующим изданиям.

В письмах А. П. Пятковскому от 25 мая 1891 года и А. Н. Пыпину от 21 октября того же года Мамин-Сибиряк сообщал, что он собирал материал для романа «Хлеб» в течение десяти – двенадцати лет.

Его глубоко волновали периодические голодовки приуральского сельского населения, которые принимали в ряде уездов (особенно в Шадринском) хронический характер/Писатель совершал длительные поездки по Уралу и Приуралью и внимательно изучал сложные процессы, происходившие в пореформенной деревне. Он ознакомился с состоянием хлебного рынка в городе Шадринске (в романе город Заполье), одном из крупнейших центров хлебной торговли в ближнем Зауралье, исследовал условия труда и быта многих деревень Шадринского уезда, расположенных на реке Исети, и впервые остро поставил вопрос о причинах разорения и голода русской деревни в письмах-очерках «С Урала» (печатались с апреля по октябрь 1884 года в газете «Новости»).

Периодические голодовки в Шадринском уезде привлекали внимание и местных уральских газет и столичной прессы. Газета «Новости» весной 1884 года напечатала несколько статей, в которых делалась попытка выяснить, почему оскудел некогда богатейший хлебный край и население уезда находится в бедственном положении. Автор этих статей объяснил систематические неурожаи и недороды крестьянской темнотой, истощением земли, а также неудовлетворительной деятельностью шадринского земства.

Мамин-Сибиряк считал коренной, органической причиной разорения крестьянства проникновение в деревню крупных капиталов, банковские спекуляции, конкуренцию виноторговцев, то есть «постоянно действующие факторы», характерные для пореформенной деревни всей страны. Вместе с Салтыковым-Щедриным и Глебом Успенским он пишет о тлетворном влиянии колупаевской цивилизации как на мужика, так и на старозаветного купца, о «малодушестве» крестьянина, расходующего деньги на дешевую водку, «на ситцы, самовары и разное другое баловство» («Новости и биржевая газета», 1884, 6 сентября, № 246). Здесь же Мамин-Сибиряк впервые показал губительное влияние на деревню водочной конкуренции. Крупные заводчики и виноторговцы, сделавшие запасы хлеба в урожайные годы, душили мелких винных заводчиков и торговцев именно в голодные годы в расчете на то, что не имевшая больших хлебных запасов «водочная мелкота» не выдержит конкуренции. Полуголодные мужики не удерживались от соблазна, покупали дешевую водку, пили сверх всякой меры «дешевку» и окончательно разорялись.

В 1885 году Мамин-Сибиряк создал рассказ «Дешевка», основным содержанием которого была конкуренция «водочных королей» и ее губительное воздействие на деревенскую жизнь. В переработанном виде этот рассказ вошел в роман «Хлеб». Одним из эскизов романа является рассказ «Попросту» (1887). Здесь в первоначальном варианте даны образы доктора Кочетова, купчихи Бубновой и ее первого мужа, старшего городского врача Кацмана и др. Как и в «Хлебе», в рассказе «Попросту» обнищание мелких производителей объясняется проникновением в пореформенную деревню крупных капиталов. Город Пропадинск, в котором разворачивается действие рассказа, «служил долгое время главным хлебным рынком, но освобождение крестьян и прилив сильных капиталов все перевернули вверх дном».

Сюжетная линия, связанная с образом исправника Полуянова, подготавливается рассказами «Сибирские орлы» (1888) и «Исторические люди» (1888).

Отдаленным прообразом Михея Зотыча Колобова послужило реальное лицо – Климентий Ушков (о нем Мамин-Сибиряк рассказывает в очерке «Платина», опубликованном в журнале «Северный вестник», 1891, № № 10, 11, 12). Образ Стабровского, некоторыми чертами напоминающий образ Ляховского («Приваловские миллионы»), восходит также к

реальной личности крупного заводчика и виноторговца А. Ф. Поклевского-Козелл (см. статью Вл. Бирюкова «Лица и события в романе Д. Н. Мамина-Сибиряка „Хлеб“». «Уральский современник», 1944, № 8).

Как свидетельствуют выдержки из записной книжки Мамина-Сибиряка, опубликованные Б. Д. Удинцевым в 1952 году, писатель набросал начальные контуры романа 1 февраля 1891 года. В этих «записях-отрывках», как назвал их Б. Д. Удинцев, перечислены действующие лица произведения (некоторые из них получили краткие характеристики), указано место действия, приведены пословицы и поговорки и дан небольшой чертеж части реки Исети, где обозначены мельницы и населенные пункты (Суслон, Заево, Роньша, Бакланово и др.) (см. Б. Удинцев «Из записной книжки Д. Н. Мамина-Сибиряка. К вопросу о творческой истории романа „Хлеб“». Альманах «Южный Урал», 1952, № № 8–9). Вскоре после этого Мамин-Сибиряк приступил к работе над произведением, о чем сообщал в письме к А. С. Маминой 23 июня 1891 года: «Пишу... роман о хлебе для „Наблюдателя“ и исторический роман (о пугачевщине в Зауралье) для „Исторического Вестника“».

В письме к А. П. Пятковскому от 25 мая этого же года автор предложил напечатать в 1892 году свой новый роман в журнале «Наблюдатель» при условии первоначального представления его в редакцию не в завершённом виде, а частями, начиная с октября 1891 года. В этом письме автор дал развернутую характеристику задуманного произведения. «Роман будет о хлебе, – писал он, – действующие лица – крестьянин и купец-хлебник. Хлеб все, а в России у нас в особенности. Цена [на хлеб. – А. Г.] „строит цены“ на все остальное, и от нее зависит вся промышленность и торговля. Собственно, в России тот процесс, каким хлеб доходит от производителя до потребителя, трудно проследить, потому что он совершается на громадном расстоянии и давно утратил типичные переходные формы от первобытного хозяйства к капиталистическим операциям. Я беру темой Зауралье, где на расстоянии 10–15 лет все эти процессы проходят воочью. Собственно, главным действующим лицом является река Исеть, перерезывающая благословенное Зауралье. Это единственная в России река по своей населенности и работе; на протяжении 300 верст своего течения она заселена почти сплошь, на ней 80 больших мельниц, два города, несколько фабрик, винокуренных заводов и разных сибирских „заимок“. Бассейн Исети снабжал своей пшеницей весь Урал и слыл золотым дном. Центр хлебной торговли – уездный город Шадринск – процветал, мужики благоденствовали; все это существовало до того момента, когда открылось громадное винокуренное дело, а затем Уральская железная дорога увезла зауральскую пшеницу в Россию. На сцене появились громадные капиталы, и мелкое хлебное купечество сразу захудало. Хлебные запасы крестьян были скуплены, а деньги ушли на ситцы, самовары и кабаки. Теперь это недавнее золотое хлебное дно является аренной периодических голодовок, и главными виновниками являются винокурение и вторжение крупных капиталов. Все эти процессы проходят наглядно, и тема получает глубокий интерес. Я собирал для нее материал в течение 10 лет и все не мог решиться пустить их в ход...» («Русская старина», 1916, декабрь).

Договор автора о печатании романа «Хлеб» в журнале «Наблюдатель» не состоялся. Осенью 1891 года Мамин-Сибиряк начал переговоры о его печатании с журналом «Вестник Европы». В письме от 21 октября 1891 года к А. Н. Пыпину, одному из редакторов этого журнала, автор рассказал о фактической основе романа «Хлеб», раскрыл причины обнищания зауральской деревни и сослался на актуальность этой темы в связи с голодом 1891 года, охватившим многие губернии России. Мамина-Сибиряка возмущала нераспорядительность власти и безразличное отношение к народному горю пермской губернской администрации. Когда стало известно, что губернатор не поместил Пермскую губернию в список голодающих, писатель резко выразил свое возмущение: «Мерзавец губернатор о своей шкуре заботится больше всего, чтобы в его губернии было все благополучно» (письмо А. С. Маминой 22 сентября 1891 года).

«Хлеб» – последний роман Мамина-Сибиряка, замыкающий длинный ряд его романов («Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Бурный поток», «Дикое счастье», «Именинник», «Три конца», «Весенние грозы», «Падающие звезды», «Черты из жизни Пепко», «Золото» и др.). По своему содержанию он примыкает к многим произведениям о голоде, созданным в эти годы передовыми русскими писателями (Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, В. Г. Короленко и др.).

Некоторые мотивы и образы романа «Хлеб» перекликаются с мотивами и образами горьковских произведений. Сюжетное развитие начальных глав «Хлеба» (появление Михея

Колобова в Заполье и выбор места для будущего предприятия тайком от местных жителей, женитьба одного из сыновей на дочери купца того города, в окрестностях которого Колобов думает построить свое предприятие) близко напоминает начальные главы «Дела Артамоновых».

Критика оживленно обсуждала роман «Хлеб». В большинстве отзывов периодической прессы («Русские ведомости», 1895, №№ 30, 88, 153, 246; «Литературное обозрение», 1895, № № 16, 20, 37, 38; журнал «Мир божий», 1895, декабрь) отмечались высокие художественные достоинства произведения.

А. Богданович, критик журнала «Мир божий», указал на антибуржуазный характер романа Мамина-Сибиряка и противопоставил его народнической литературе, идеализировавшей русскую деревенскую жизнь. А. Богданович указал также на широкое обобщающее значение основных образов романа, в которых нашли отражение типические стороны не только сибирской, но общерусской действительности. Анализируя образ Устенки Луковниковой, критик писал: «В ... характеристике настроения Устенки автор затронул глубокую психологическую черту не только „сибирской“, а вообще русской женщины... Словами, „идеями“, не может удовлетвориться сердце современной женщины, а „дела“, живого, настоящего дела ей не может предложить любимый человек в огромном большинстве случаев. Она видит, всем существом своим понимает, что все это дело мелко, жалко и, в сущности, сводится к „словам и словам“» («Мир божий», 1895, декабрь).

Высоко оценивали роман «Хлеб» и другие произведения Мамина-Сибиряка такие писатели, как Н. С. Лесков и А. П. Чехов. В беседе с корреспондентом газеты «Новости» Н. С. Лесков сообщал: «Вот я сейчас читаю в „Русской мысли“ роман Мамина-Сибиряка под заглавием „Хлеб“. Что это за прелесть!» («Русские писатели о литературе», т. II, 1939, стр. 305–306). О восхищении Лескова талантом автора «Хлеба» писал А. Хирьяков: «Читая Ваши последние произведения и от души восхищаясь ими, покойный Николай Семенович Лесков просил меня познакомить его с Вами» (письмо А. Хирьякова к Мамину-Сибиряку от 22 февраля 1895 года. Не опубликовано. Рукописный отдел Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина).

Редактор «Русской мысли» В. А. Гольцев писал Мамину-Сибиряку 27 мая 1895 года: «Я обедаю твоим „Хлебом“. Умно и талантливо выпечен!.. Беседовал о „Хлебе“ с Скабичевским... Мои почти восторженные рассуждения возражений не встретили».

А. П. Чехов в письме к А. С. Суворину 23 марта 1895 года в связи с одобрительными отзывами о «Хлебе» в литературных кругах писал о его авторе: «Мамин-Сибиряк очень симпатичный малый и прекрасный писатель. Хвалят его последний роман „Хлеб“ (в „Русской мысли“); особенно в восторге был Лесков. У него есть положительно прекрасные вещи, а народ в его наиболее удачных рассказах изображается несколько не хуже, чем в „Хозяине и работнике“» (А. П. Чехов. Собрание сочинений, т. 12, М., 1957, стр. 78–79).

Терракота – обожженная глина

«Двоеданы» – см. примечание Мамина-Сибиряка к очерку «Бойцы», т. IV настоящего издания, стр. 84.

...хвост куклой подвязал – скрутил и связал узлом; кукла – моток кудели.

Был доктор Панглосс... – персонаж повести Вольтера (1694–1778) «Кандид».

Разбойники*

Впервые напечатаны в газете «Русские ведомости», 1895, февраль – апрель.

Весь цикл «Разбойники» в первой публикации состоял из пяти очерков, которые печатались в следующем порядке: I. «Аверко» (15 февраля, № 45); II. «Савка» (24 февраля, № 54); III. «Последние клейма» (9 марта, № 67); IV. «Разбойник и преступник» (9 апреля, № 96); V. «Неизвестный человек» (19 апреля, № 106).

Последний, пятый очерк был исключен при подготовке отдельного издания цикла в составе сборника «Преступники» (1902), хотя по первоначальной авторской наметке этот очерк должен был войти в состав сборника.

В письме к издателю Д. П. Ефимову от 5 июля 1901 года Мамин-Сибиряк предложил напечатать сборник под названием «Разбойные люди» в таком составе:

«1. Разбойники: пять глав – Аверко, Савка, Последние клейма, Разбойник и преступник, Неизвестный человек.

2. Дружки.

3. Красное яичко.

4. Неразвязанный грех.

5. Ночь.

6. Варнак.

7. Испытание о. Спиридона (Грех)» (Рукописный отдел Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина).

По требованию Д. П. Ефимова увеличить объем книги (цена книги была определена заранее, и издателю было выгодно увеличить ее объем) Мамин-Сибиряк в письме от 24 сентября 1901 года сообщил о высылке дополнительно трех рассказов для этого сборника: «Наследник», «На месте преступления», «С голоду» – и при этом заметил, что расширение книги за счет новых рассказов нарушает ее цельность и единство, что, в свою очередь, требует изменения заглавия сборника: «...дело в том, – писал Мамин-Сибиряк Ефимову, – что эти рассказы уже не о разбойниках, а о преступлениях, поэтому сборник лучше назвать не „Разбойные люди“, а как-нибудь иначе – „Преступники“, „Злая воля“ и т. д.» (Рукописный отдел Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина).

В процессе подготовки сборника «Преступники» автор ввел в его состав большую повесть «Без особенных прав» и исключил очерк «Неизвестный человек». Последнее произведение было исключено из цикла «Разбойники», вероятно, потому, что главный персонаж этого очерка не соответствовал типу разбойника, созданному в первых четырех очерках и других произведениях Мамина-Сибиряка.

Расширив состав сборника по требованию издателя, автор неоднократно высказывал сожаление, что сборник рассказов о разбойниках лишился необходимой цельности и единства: «Томик рассказов о разбойниках, – писал он Д. П. Ефимову 17 октября 1901 года, – получился очень хороший, а теперь пришлось его разжидить рассказами о преступниках, и получился совсем не тот фасон» (Рукописный отдел Гос. библ. СССР имени В. И. Ленина). Из всей переписки автора с Д. П. Ефимовым следует, что Мамину-Сибиряку был особенно дорог печатающийся здесь цикл рассказов о разбойниках.

«Разбойники» печатаются по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Преступники». Рассказы и повести. Издание второе. М., 1906 год, с исправлением опечаток по предшествующим изданиям.

Заводское разбойничество привлекало внимание Мамина-Сибиряка на протяжении многих лет его творчества. Тема разбойничества возникает в его ранних произведениях, написанных в студенческие годы и печатавшихся в третьестепенных мещанских журналах: «Старцы» (1875), «Красная шапка» (1876), «В горах» (1876), «В водовороте страстей» (1876) и во многих его рассказах, повестях, романах, написанных в 1880-1890-е годы: «На Шихане» (1884), «Морок» (1887), «Не у дел» (1888), роман «Три конца» (1891) и др.

В так называемых заводских разбойниках автор видел силу, направленную против заводчиков, а в разбойничестве – одну из форм протеста уральских мастеровых. Именно этим объясняется устойчивый интерес Мамина-Сибиряка к теме разбойничества. Наибольшее число произведений о заводских уральских разбойниках было создано в период подъема массового освободительного движения в России, а подготовка специального сборника о разбойных людях и народных преступлениях, как печальном следствии ненормальных общественных отношений, совпала с годами подготовки первой русской революций.

Жеребей – отлитый по калибру ружья кусочек металла, употребляемый вместо пули.

Кордегардия – помещение для военного караула.

Провиденциальный – предопределенный, идущий от провидения.

Драгоннада – здесь размещение в домах раскольников ненавистных им по религиозным взглядам казаков; в конце XVII века во Франции в числе других карательных мер в домах протестантов поселяли драгун с целью принудить протестантов перейти в католичество.

Ийи. Святочная фантазия*

Произведение впервые напечатано в газете «Русские ведомости», 1902, №№ 48, 59.

При жизни писателя не переиздавалось. Печатается по тексту газеты «Русские ведомости».

«Ийи» представляет собою отклик Мамина-Сибиряка на англо-бурскую войну.

Крааль – в Южной Африке название особого типа деревень, окруженных общей изгородью

Пелисье Жан Жак (1794–1864) – французский маршал, участвовавший во многих захватнических войнах Франции; был губернатором Алжира.

Изида (Исида) – древнеегипетская богиня плодородия.

Танагра – город в древней Греции.

Нефрит – белый или зеленоватый минерал, употребляемый для изготовления ваз, статуэток, украшений и облицовки в строительстве.

Китченер Гораций Герберт (1850–1916) – английский генерал, отличившийся чрезвычайной жестокостью по отношению к порабощаемым туземцам; во время войны Англии с бурами был начальником штаба.

Ответа не будет*

Впервые напечатан в «Журнале для всех», 1904, № 1. Перепечатан в «Уральском сборнике», 1909, № 1.

Печатается по тексту «Журнала для всех»,

Мумма*

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1907, № 1. При жизни писателя не переиздавался.

Печатается по тексту журнала «Русская мысль».

А. Груздев и С. Груздева.

Примечания

1

Бус – хлебная пыль, которая летит при размолке зерна. (прим. автора)

Поскотина – изгородь, которой отделяется выгон. (прим. автора)

Виноходец – иноходец. (прим. автора)

4

О, да... (англ.)

Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо... (лат.)

6

Всякому свое (лат.).

7

жизнеописание (лат.).

Кержак – раскольник. (прим. автора)

9

О, да (англ.)